АНТОЛОГИЯ РУССКОГО СОВЕТСКОГО РАССКАЗА


СОВРЕМЕННИК

Составитель и автор вступительной статьи и примечаний
С. Боровиков

Рецензент *А. И Овчаренко*

АНТОЛОГИЯ РУССКОГО СОВЕТСКОГО РАССКАЗА

*

(20-е годы)

«Современник»
Москва
1985

Р2
А72

А $\frac{4702010200-032}{М106(03)-85}$ 111—84

ББК84Р7
Р2

ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ РУССКОГО СОВЕТСКОГО РАССКАЗА

Стремительность развития советской литературы поражает. Если в 1920 году Государственное издательство печатало сборники рассказов А. Серафимовича, С. Подъячева, В. Муйжеля, А. Ремизова, А. Грина и других «старых» писателей, созданные, как правило, еще до революции, то через десятилетие, к началу тридцатых годов, тот же Госиздат и другие издательства выпустили или приступали к выпуску собраний сочинений писателей, успевших за этот короткий срок не просто заявить о себе, но прославиться — Л. Леонова, К. Федина, Вс. Иванова, Л. Сейфуллиной.

Оглавление этой книги, собравшей лишь часть литературных имен двадцатых годов, напомнит о том, как много их было.

Наряду с молодыми писателями-коммунистами Александром Фадеевым, Дмитрием Фурмановым, Михаилом Шолоховым, работали в те годы Михаил Пришвин, Ольга Форш, Алексей Толстой, Николай Никандров, другие известные еще до революции литераторы. Огромную работу проводил Максим Горький; он, как всегда, внимательно следил за новыми именами, помогал им словом и делом, по его инициативе начинали образовываться новые журналы, издательские серии.

Первые шаги советской литературы относятся к жанру рассказа.

В литературоведении нередко встретишь ходячее определение рассказа как жанра-«разведчика». С рассказа действительно начинают чаще, чем с крупных жанров. Из представленных в этом сборнике авторов многие в дальнейшем стали романистами и порою уже вовсе не писали рассказов. Во всяком случае, М. Шолохов, Л. Леонов, А. Фадеев, К. Федин, М. Булгаков вошли в историю советской литературы не ранними рассказами, а широкими романными полотнами, и редко кто, подобно Шолохову с его знаменитой «Судьбой человека», вновь обращался к рассказу.

Но можно ли рассказы двадцатых годов рассматривать лишь как почву для будущих эпопей, как этюды к большим полотнам? Нет, ибо лучшие рассказы обладают не меньшей ценностью, чем повести или романы.

Ведущими темами рассказов русских советских писателей двадцатых годов были темы рождения нового и крушения старого мира, классовой схватки, судеб людей, опаленных пламенем гражданской войны, тема трудной, зачастую мучительной, порою трагической борьбы нового и старого в самом человеке, всех тех страданий, которые всегда сопровождают рождение нового.

Особое место занимает тема минувшей гражданской войны.

Впрочем, совсем еще не минувшей: двадцатый, двадцать первый, двадцать второй годы — это ведь и разгром Врангеля, и война с панской Польшей, это подавление Кронштадтского мятежа, схватка с японскими интервентами за Дальний Восток, ликвидация антоновщины и иного политического бандитизма в разных районах страны, вплоть до среднеазиатского басмачества, борьба с которым затянулась до середины двадцатых годов.

Вошедшие в эту книгу рассказы А. Серафимовича, А. Фадеева, Ф. Гладкова, Вс. Иванова, А. Веселого, М. Шолохова, М. Шагинян возвращают читателя к дням гражданской войны, да и во многих других произведениях сборника авторы так или иначе касаются этой поистине неисчерпаемой темы советской литературы; лишь разразившаяся спустя два десятилетия Великая Отечественная война может быть сравнима с гражданской по мощному влиянию на искусство.

Крылатые слова Алексея Толстого: «Октябрьская революция как художнику дала мне *все*» — порою толкуют упрощенно, лишь в смысле каких-то прав, которые дала революция писателю, общественного отношения к нему и т. п. Прежде всего в эти слова вложен восторг художника, которому довелось быть современником величайшего исторического потрясения всемирного масштаба.

Сравним: сейчас, вот уже сколько лет, советская литература не отрывается от темы Великой Отечественной войны, которая получает все более широкое и верное отображение на страницах книг. И все же огромная тема эта еще не исчерпана. То же и с темою Октября и гражданской войны, которые до сих пор вдохновляют художников. Но есть и существенное различие. Для нас уже не только 1917-й, но и 1941 год — далекое прошлое. Для писателей же двадцатых годов Октябрь и гражданская война были живой реальностью. Не все из созданных в Великую Отечественную и в первые послевоенные годы произведений выдержали испытание временем, и в поисках художественной правды о войне читатель обращается к книгам Ю. Бондарева, В. Быкова, Е. Носова, К. Воробьева и другим, созданным много спустя. Но до сих пор основным отображением Октября и гражданской войны остаются произведения тех же лет — двадцатых. Не только рассказы, но и первые два тома «Тихого Дона», первые два романа трилогии А. Толстого «Хождение по мукам», «Железный поток» А. Серафимовича, «Барсуки» Л. Леонова, «Разгром» А. Фаде-

ева, «Белая гвардия» М. Булгакова, «Города и годы» К. Федина, «Чапаев» Дм. Фурманова созданы почти одновременно с изображаемыми историческими событиями.

В литературном процессе двадцатых годов активно участвовали писатели не только разных поколений (биографические справки о них см. в комментариях), но порой и убеждений.

И все же в целом нельзя не видеть того, как лучшие писатели, каждый своим путем, быстрее или медленнее, приходили к осознанию великого смысла тех социальных преобразований, которыми был занят народ под руководством партии Ленина. Говорить, что путь этого осознания был легок и безоблачен, значило бы в конечном счете принижать значение этого пути. Вот что писал на примере творчества и высказываний Мариэтты Шагинян (начавшей свой творческий путь в самой гуще позднего символизма, под влиянием кружка Гиппиус—Мережковского, писавшей стихи, проникнутые религиозным содержанием) известный в свое время критик И. Машбиц-Веров: «Писательница Мариэтта Шагинян честно признается, что еще по сегодняшний день переживает сложную трагедию своего перерождения под давлением Октября. Она уже многое поняла, многое пережила, но ведь принять Октябрь — не механическая перестановка себя. Важно, что М. Шагинян уже понимает необходимость «...пересмотреть свое мировоззрение»... Шагинян пришла к знаменательному для интеллигенции выводу: «Надо суметь выйти из страдательных состояний и не побояться начать новую причинную цепь событий своей внутренней жизни...»[1]

Тормозила литературный процесс борьба литературных групп, а их насчитывались многие десятки, среди них РАПП, Союз крестьянских писателей, «Перевал», «Кузница», «Молодая гвардия», «Цех поэтов» ЛЕФ... Читая сейчас страницы журналов — органов литературных группировок, и протоколы заседаний — многочисленных заседаний! — с сожалением отмечаешь, как бесполезно, бездарно растрачивались силы и время, какой тяжелой недружелюбностью отмечена полемика, которую зачастую (особенно рапповскую и лефовскую) и полемикой-то назвать нельзя. Пробравшиеся в руководство РАППа демагоги и крикуны пытались зачеркнуть вместе с классической литературой таких художников, как Алексей Толстой и Федин, Есенин и Булгаков, Пришвин и Зощенко. Множество драгоценных часов проводили литераторы не за письменными столами и не в общении с жизнью, но в залах заседаний, где вырабатывались резолюции, резолюции, резолюции... Печально и то, что тон этому псевдолитературному, политиканскому существованию задавали, как правило, люди творчески бесплодные, выскочки, мечтающие сделать

---

[1] Машбиц-Веров И. Писатели и современность: Статьи. М.: Федерация, 1931, с. 105.

личную карьеру на той или иной «платформе», но втягивать им удавалось в эту жизнь и крупных писателей.

Между тем партия внимательно и не без тревоги следила за все усиливающимся противоречием между действительным развитием литературы и ее формами общественно-политической организации. Если где и встретишь непредвзято-доброжелательные и по-партийному строгие суждения — так это прежде всего в «Правде». Именно орган ЦК давал высокую оценку произведениям писателей, третируемых рапповцами,— А. Толстого, К. Тренева, других. Но «бешеная литературная борьба» (слова В. Маяковского) продолжалась. ЦК РКП(б) 18 июня 1925 г. вынес резолюцию «О политике партии в области художественной литературы», в которой отмечались и достижения молодой советской литературы, и сложность стоящих перед ней задач, решительно осуждалось «комчванство» (термин коммунистического чванства как особого рода зазнайства среди коммунистов и советских работников был широко распространен в двадцатые годы) «как самое губительное явление», руководители литературных организаций призывались к «беспощадной борьбе против контрреволюционных проявлений в литературе» и одновременно к «величайшему такту, осторожности, терпимости по отношению ко всем тем литературным прослойкам, которые могут пойти с пролетариатом и пойдут с ним»[1]. Писатели с огромной надеждой восприняли постановление Центрального Комитета партии. «Тучи весьма мрачного свойства, грозившие весьма чреватыми последствиями молодой нашей литературе, рассеяны, будем надеяться, навсегда. Политика наскока и полуадминистративного нажима в литературе, а порою и просто подсиживание, осуждена партией, так же как и бесшабашная кружковая распря, истощавшая попусту наши общие силы»,— заявил Леонид Леонов.

Одно за другим появляются все новые произведения, находящие самую благодарную аудиторию. Подобного читателя еще не знала не только Россия, но ни одна страна в мире. Никогда не было у народных масс такой поглощающей жажды знаний. Каждое произведение становилось достоянием многомиллионной аудитории, о нем спорили, над героями книг устраивались литературные суды, скажем, над Ольгой Зотовой, героиней знаменитого рассказа Алексея Толстого «Гадюка». Писатель занимал в стране то место учителя, друга и помощника *народа*, о котором мечтал веками.

После тщательной подготовительной работы, детального обсуждения в писательских кругах было принято очень краткое, и как показало время, историческое постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-

[1] Цит. по изд.. Русская советская литературная критика (1917—1934): Хрестоматия. М.: Просвещение, 1981, с. 83.

художественных организаций» (23 апреля 1932 г.), которым ликвидировались РАПП и другие организации, как «узкие и тормозящие серьезный размах художественного творчества». Было решено организовать «единый союз советских писателей». Так началась новая глава в истории советской литературы.

Рассказы двадцатых годов незримыми, но прочными нитями связаны и с прошлым, и с настоящим, и с будущим. Их авторы — люди, родившиеся и воспитанные в старом мире, а также люди, тесно связанные с революционной деятельностью, подготовкой свержения царизма; среди них — немало участников гражданской войны и начала созидательной работы, немало коммунистов. Отсюда — темы, связанные и с войною, и со строительством, и с идейной и политической борьбою.

Все, что написал старейший пролетарский писатель Николай Ляшко, до последней строки подкреплялось его личным опытом, опытом трудового человека, солдата, революционера. Его суровая и очень скромная муза донесла тем не менее до нас живые эпизоды борьбы российского пролетариата, один из них — рассказ «Первое красное знамя».

В совершенно ином, отнюдь не героическом ракурсе о проникновении революции в самую толщу русской действительности поведала Ольга Форш в рассказе «Марсельеза».

Автор знаменитого романа «Чапаев» Дмитрий Фурманов прожил короткую жизнь. Его творческое наследие сравнительно невелико по объему, рассказов он написал всего несколько. Рассказ «Шакир» был написан под впечатлением встречи с безработным татарином Шакиром. В этом крошечном повествовании писателю удалось не только создать живой человеческий образ доброго и бесхитростного человека, живущего в тяжелой нужде, но и зримо раскрыть любовь народа к Ленину. «Так, значит, и он, этот вот темнейший человек, знает, знает и чувствует, что имя Ленина можно назвать лишь там, где говорят о труде, что Ленин и труд — одно и то же?» — размышляет рассказчик.

Особое место, естественно, занимал в литературе Максим Горький. Двадцатые годы — время создания великим писателем повести «Мои университеты» и романа «Дело Артамоновых», очерка «В. И. Ленин», начало работы над «Жизнью Клима Самгина». Середина двадцатых годов в значительной степени рубеж, определивший резко возросшую творческую и общественную активность писателя, его огромную и многогранную связь с литературой Страны Советов, редакторскую, издательскую деятельность в СССР. Видимо, не случайно большинство произведений Горького начала и середины двадцатых годов обращены в прошлое давнее и недавнее: для писателя, вошедшего в литературу в конце минувшего века и тесно связанного со всем ходом жизни страны, и не только России, сопричастного самым крупным историческим собы-

тиям, писателя весьма современного и нередко даже злободневно-тенденциозного, наступает пора подведения итогов, осмысления огромного жизненного, литературного и политического опыта, венцом которого станет создание четырехтомной эпопеи «Жизнь Клима Самгина».

«Рассказ о необыкновенном» это рассказ и об эпохе, и о конкретном человеке, не столько участнике, сколько соглядатае событий. Его доморощенная философия о вреде для людей «необыкновенного», о необходимости «упростить» жизнь – явно неприятны автору, столь же как и сам рассказчик, на прямой речи которого с таким мастерством строится рассказ. Повествование охватывает целую эпоху, в отраженном свете являются и японская война, и первая русская революция, и первая мировая война, и февраль, и Октябрь... Напряженный интерес художника к русскому человеку, свидетелю этих событий, и определяет особую, «горьковскую», тональность рассказа.

После возвращения на родину в 1928 году М. Горький много ездил по стране, жадно наблюдая перемены, которые произошли в тех местах, которые он когда-то исходил пешком, встречался с людьми, бывал на стройках, фабриках, в школах. Вскоре после посещения совхоза «Гигант» и был написан «Рассказ», воспевающий творческую, созидательную силу человеческого разума и труда.

Советские писатели молодого поколения обращались к сравнительно недавнему прошлому. В событиях первой русской революции, в людях, начинавших борьбу с самодержавием, они искали истоки тех огромных социальных потрясений, свидетелями и участниками которых были сами. Валентин Катаев написал рассказ о матросе-потемкинце, его возвращении на Родину, после того, как героический броненосец был интернирован в Румынии. Жуков не может и не хочет оставаться на чужбине, хотя и знает, что ожидает его в России, попадись он в руки полиции. Рассказ интересен свойственным В. Катаеву уже в ранних вещах ярко-изобразительным мастерством, пластическим воплощением земной реальности, а также умением строить острый, хотя и вполне естественно развивающийся сюжет.

Попытку панорамного исторического охвата содержит и рассказ Александра Яковлева «Жгель».

Большинству вошедших в сборник рассказов присуща острота социального подхода к действительности. В статье о творчестве молодого тогда Михаила Шолохова его земляк Александр Серафимович заметил: «Никогда, ни в одном месте Шолохов не сказал: класс, классовая борьба. Но, как у очень крупных писателей, незримо в самой ткани рассказа, в обрисовке людей, в сцеплении событий это классовое расслоение все больше вырастает, все больше ощущается, по мере того как развертывается грандиозная эпоха».

Ранние рассказы писателя, к которым относится и «Бахчевник»,

уступают будущей эпопее «Тихий Дон» и глубиной психологизма, и языковым мастерством. Но в них легко обнаруживаешь истоки будущего романа. Мир донских станиц и хуторов, мотив классовой непримиримости, вошедшие в мировую литературу с «Тихим Доном», открывается и в «Донских рассказах».

Известным писателем двадцатых годов был молодой Всеволод Иванов. Человек уникального жизненного опыта, он запечатлел в своих произведениях и революционные события в Сибири, и жестокую борьбу старого мира с Советской властью, и немыслимую пестроту причудливого быта российской провинции, развороченной, разбуженной революцией. Среди множества испробованных будущим писателем профессий была и та, которой посвящен рассказ «Когда я был факиром», носящий, по признанию самого Вс. Иванова, «автобиографический характер».

Смакованию натурализма отдавали тогда дань многие, прежде всего Б. Пильняк и И. Бабель. Против подобного видения гражданской войны и русского человека на ней решительно выступили М. Горький, А. Луначарский, Алексей Толстой, которому принадлежит следующее замечательное высказывание: «...непереносим какой-то, прочно установившийся — патологически половой подход к Революции,— нутряной... Теплушки, вши, самогон, судорожное куренье папирос, бабы, матерщина и прочее, и прочее,— все это было. Но это еще не революция. Это явления на ее поверхности, как багровые пятна и вздутые жилы на лице разгневанного человека».

Творческая практика самого А. Толстого решительно опровергала этот «нутряной» подход. В знаменитой трилогии, рассказах «Гадюка», «Голубые города», не чураясь изображения жестокости войны, писатель не забывал завет Ф. М. Достоевского несмотря ни на что искать в человеке человека. Не исключение и небольшой рассказ «Бывалый человек». Можно ли дать прямую моральную оценку личности и поступкам героя рассказа? Кто он вообще, этот бойкий на язык, тертый-перетертый, хлебнувший лиха на чужбине русский солдат? Подойдет ли к нему мерка «хороший» или «плохой» человек? Он — не передовой, здесь спору нет. Вряд ли он сможет сформулировать цели Революции, он рад будет поскорее отбыть домой (хотя в дезертирстве его заподозрить трудно, он говорит: «не страшно умирать, а страшно умирать зря»). Герой Толстого — обыкновенный русский человек, на долю которого выпали необыкновенные испытания. Ведущее в его мироощущении — естественное, как сама жизнь, чувство Родины. Кто он?— пылинка в мировом урагане, и как будто совершенно своею судьбой не распоряжается: призвали в армию, отправили во Францию, оттуда с деникинскими «добровольцами» в Россию, где «офицерика прикололи, царствие ему небесное, и перебегли к зеленым. А оттуда пообсмотрелись и по деревням». А ведь не так безропотны к своей судьбе эти бывалые люди — ни во Франции он не остался,

прельстившись на тамошнюю «культуру», ни у белых, ни у зеленых И хоть в Красную Армию его тоже мобилизовали — «закрючили», но здесь он воюет, потому что знает, «за что воевать».

Куда более суровым, воспринимающим мир в резкости его противоречий был недооцененный и рано ушедший из жизни Артем Веселый. В книге «Россия, кровью умытая» он сумел развернуть широчайшую картину жизни России, вздыбленной, взвихренной войнами (действие начинается в 1916 году) и Революцией, картину огромной географической протяженности, многолюдную, многоплановую. Широта эпического замысла, оригинальность таланта писателя привели его к поискам новой формы. «Россия, кровью умытая» представляет собой сложную (но не нарочито усложненную) жанровую систему, сочетающую традиционно романное повествование с отдельными, небольшими «этюдами» — новеллами.

В этюде «Отваги зарево» сталкиваются два смертельных врага — старый мир (графиня и ее сын — офицер) и революционный народ (Егор Ковалев и его помощники). Изображение революции у более слабых или менее смелых художников почти неизбежно несло моральную коррекцию: представители революционного народа не могли чинить насилия, и, напротив, контрреволюция зверствовала, убивая всех подряд. Артем Веселый не пытается приукрасить страшные в своей жестокости классовой ненависти события. Критик Вяч. Полонский писал в 1927 году: «Именно здесь, в изображении разнуздавшегося «мужичья», сломал бы себе шею буржуазный писатель, в котором ненависть к «мужику», свирепому в своем бунтовском протесте, одержала бы верх над всеми другими мотивами. <...> В картинах жестоко мрачных автор сохраняет невозмутимое спокойствие. Мы не знаем, какой ценой оно ему достается, но думаем, что без него немыслимо создание художественного произведения из такого материала. <...> Оттого-то жестокая живопись его не вызывает угнетающего чувства»[1].

Приговаривая «седую контрреволюцию» к могиле, Егор Ковалев руководствуется не столько необходимостью (он не может не понимать практической безвредности старухи), сколько понятием, выраженным Бунчуком в «Тихом Доне»: «...они нас, или мы их!.. Середки нету». Так же, не раздумывая, поступает с Егором белый офицер. Их разговор автор называет веселым — от сознания собственной смелости, от возможности сказать врагу в лицо свою правду, от своеобразного уважения к смелости и беспримесной классовой чистоте противника. История с фотографией как бы сюжетно оттеняет сущность происходящих событий, показывая калейдоскопическую прихотливость, с которой эпоха вычерчивала личные судьбы людей.

---

[1] Полонский В. П. На литературные темы: Избр. статьи. М.: Сов. писатель, 1968, с. 284—285.

Рассказ Федора Гладкова «Зеленя» имеет немало общего с рассказами А. Веселого и М. Шолохова; с «Бахчевником» его роднит и место действия, и фигура подростка в центре повествования. У Шолохова едва ли не все вырастает из быта казачьего уклада, дома и двора — «база». Гладков как будто тоже вводит приметы бытового уклада, но как условен фон повседневной жизни, как книжна лексика («колеса телеги хрустально звенят»), краски в «Зеленях» не создают полотна, а выделяют то одну, то другую деталь, придавая рассказу, несмотря на реалистичность ситуации, условно-поэтическую тональность.

Перекликаясь ситуацией с «Зеленями», рассказ Александра Серафимовича «Два брата», напротив, свободен от всякой приподнятости, этот небольшой рассказ — из циклов, что создавались после поездок старейшего писателя на фронты гражданской войны.

Сдержанность тона отличает рассказ А. Фадеева «Рождение Амгуньского полка» Писатель словно изначально дал слово сторониться каких-либо эмоций, характеристики скупы, но отчетливы, краски сведены к минимуму Фадеев был мастером новой, я бы сказал, политической поэтики. У кого-то другого подобный зачин мог показаться ходульным: «Это была упорная и жестокая борьба между старым названием и новым. За старое боролся весь полк во главе с командиром Семенчуком, за новое — комиссар полка Челноков» и т. д. Но Фадеев обладал, повторяю, магией политической увлекательности, как, пожалуй, ни у кого другого, в его книгах политическая борьба раскрывается в своей человеческой сути. Может быть, причина кроется в самой биографии писателя, в том, что сам он был творцом судеб не только вымышленных героев, но творцом судеб революционных полков и партизанских отрядов, партийных ячеек и жарких митингов. Судьба коммуниста Фадеева неотделима от его творчества.

Необъятность человеческого, социального, трагического содержания революции и гражданской войны давала возможность художникам не только разным, но едва ли не художественно полярным черпать впечатления в этом бездонном источнике, полном неповторимых судеб и событий.

Писатель иного жизненного опыта, Мариэтта Шагинян искала новые художественно выигрышные ситуации. Герой-рассказчик (рассказ «Агитвагон») — автор и исполнитель куплетов — фигура, конечно, куда более понятная автору, чем «спящий в углу пассажир-коммунист». Большое значение М. Шагинян уделяет именно психологической характеристике рассказчика, и куда меньше — собственно агитвагону и героизму его обитателей. «Много довелось мне читать всяких романов. Я испортил себе глаза над описанием разных героических подвигов. <...> Ничего не доводилось мне читать подобного тому, что я увидел»,— утверждает рассказчик, вспоминая героическую смерть комиссара.

Восприятием действительности с М. Шагинян роднился и Исаак Бабель. Последовав совету М. Горького, молодой писатель отправился «в люди»: «Командировка моя длилась семь лет, много дорог было мною исхожено и многих боев я был свидетель». Он переменил множество профессий, он служил в Первой конной армии, что и дало ему богатый материал для последующего творчества. Казалось бы, Бабелю не занимать опыта, широты познания революционной России. Но то был опыт особого рода, опыт вхождения в жизнь с записной книжкой с целью специального изучения ее для будущего творчества. Подобный метод не мог не сказаться на самих произведениях. Рассказы, вошедшие в книгу «Конармия», вызывали споры в критике, одобрение М. Горького и резко отрицательную оценку С. М. Буденного. Бабель, разумеется, не собирался оклеветать тех, с кем познакомился, кого наблюдал в боях Первой конной, как казалось Буденному. Дело и не в художественных просчетах книги: «Конармия» по-своему безукоризненна. Дело в отношении писателя к людям как к литературному материалу. Человек на войне вписан у Бабеля в художественную систему мира, где в центре интеллигент Лютов, мучительно и тщетно протискивающийся в окружающую его жизнь. Он искренне завидует несомневаемости своих товарищей, их жестокости, их заскорузлой гармоничности. Автор как бы ставит Лютова в невыгодное положение, не приукрашивает его, но — странное дело! — все же он оказывается несравненно многомернее остальных персонажей. Происходит это потому, что Лютов ясен автору, а души Афонек и Прищеп — за семью печатями. Он видит лишь их поступки. Не отрицая талантливости автора «Конармии», ее стилистического своеобразия, Д. Фурманов вместе с тем отмечал: «нет боев», «нет массы», «нет подлинных коммунистов».

Александру Неверову не надо было «изучать» действительность, он никогда, собственно, не отличался от своих героев, вырос из своей среды и своего времени, из голода крестьянина и борьбы рабочего и солдата — и свое творчество без остатка связал с революцией, посвятил простым людям. Самое известное произведение писателя — повесть «Ташкент — город хлебный» — вошло в литературу как ярчайшее описание голода, охватившего Поволжье в 1921 году. Описаний мук человеческих, прежде всего голода, страданий плоти, убивающих и дух, в рассказах Неверова (а он писал в основном рассказы), вероятно, больше, чем у кого бы то ни было из современных ему писателей — а то время, отраженное в литературе, изобиловало примерами тягот и страданий.

Один цикл рассказов 1922 года так и назван им — «Страдание». Нередка была и отчаянно-пессимистическая нотка, как бы оправдывающая писательское имя его. И все же никогда Неверов не живописал страданий, стремясь напугать читателя, не эстетизировал безобразное (как Бабель: «из горла его вылился пенистый коралловый ручей»). В конечном счете Неверову было свойственно убеждение во всемогуществе

человеческого единения, и, скажем, рассказ «Великий поход» (1922), начинающийся словами: «Смерть нам. Опять двенадцать месяцев борьбы за жизнь. Мы съели лошадей, кошек, собак, трупы братьев и отцов — кто потащит нам борону по десятине?» — кончается знаменательным восклицанием: «Слава тебе, Труд человеческий, братский!» Веру молодого писателя в торжество справедливости революции отметил еще Александр Блок во внутренней рецензии на одну из пьес Неверова: «...автору... удалось, не давая обещаний, которые дальше слов бы не пошли, и не скрывая тяжелой правды,— склонить читателя к новому».

Рассказ «Далекий путь» тематически примыкает к повести «Ташкент — город хлебный». Более того, он создавался по дороге в Ташкент, куда отправился Неверов с группой самарских литераторов в хлебном эшелоне. Отсюда свойственный многим произведениям Неверова стиль хроникальности, впечатление сиюминутности происходящего, что придает рассказу особую достоверность.

Немало памяти о человеческом горе донесла до нас своим правдивым пером литература двадцатых годов. Голод в рассказах Неверова — может быть, крайнее, на грани возможного, среди моря страданий русского народа. Но разве не страдают герои, жизнь которых уже не висит на волоске, которых не терзает голод и не угрожает пуля врага? Продолжение классовой борьбы, прежде всего в деревне, занимало писателей. В начале двадцатых годов Вячеслав Шишков, всегда непоседливый, особенно много странствовал по Руси, преимущественно по Петроградской, Новгородской, Костромской губерниям. «Первый раз иду по своей земле, по Российской Советской Республике, первый раз встречаю свободного мужика, русского республиканца...» Отношение писателя к революции и строительству социализма в первую очередь проявлялось в его взгляде на русскую деревню и крестьянина. В сущности Шишков тех лет — это очеркист, дотошно и пристально наблюдающий северо-западную деревню, и не только в сборнике очерков «Ржаная Русь», но и в рассказах. Так, «Свежий ветер», при всей по-шишковски живописной реальности быта и беллетристической сюжетности, все же в своей сути публицистичен. История о том, как сын-коммунист стреляет в отца, озверевшего от самогона и неостанавливаемой темной ярости,— одновременно и типична и преувеличена. Типична она, если видеть в ней конфликт нового и старого, «отцов и детей», когда «в смене, в буре рушатся подгнившие дубы». А преувеличена оголтелая злоба Терентия. Мало ли по Руси таких вот Терентиев, налившихся самогоном, колотили жен, кричали песни? Но так ли беспросветно черны были души их, как у Терентия, так ли безответны жены, так ли безнадежно было взывать к их совести, как вышло у Петра? Позиция Шишкова тех лет своеобразна. Наряду с восторженным восприятием социалистических перемен в экономике, преобразований в хозяйстве, он видел положительную силу в крепком мужике, в умном и расчет-

ливом хозяине. «Мужик стал цепким, локти — врозь, стал зубастым, лезет на хутора, заводит многополье, сеет клевер, выращивает племенной скот...» — писал Вяч. Шишков в ноябре 1925 года М. Горькому в Италию.

Тема крестьянства, естественно, занимала огромное место в литературе крестьянской страны, какой оставалась еще Россия, ставшая Советской. Одним из самых талантливо-бесстрашных и глубоких исследователей пореволюционной судьбы русского крестьянства стал Леонид Леонов, которого М. Горький считал надеждой русской литературы уже после первого его романа «Барсуки». Среди прочих достоинств, прежде всего «анафемски» хорошего языка Горький обращал внимание на трезвосуровое отношение молодого писателя к российской действительности, прежде всего к крестьянину: «...я не заметил, не почувствовал той жалостной, красивенькой и лживой «выдумки», с которой у вас издавна принято писать о деревне, о мужиках».

В самом деле, перо молодого писателя поражало мастерской отточенностью, его взгляд на мир — строгостью и высотой нравственно-социальных критериев. Среди его рассказов двадцатых годов выделяется цикл «Необыкновенные рассказы о мужиках». Рапповская критика немедленно обвинила писателя в том, что «живого Леонов не замечает, и он все больше занимается утверждением: мертвый торжествует». Поводом для подобных утверждений послужило по-художнически обостренное, по-граждански мужественное видение Леоновым реальных противоречий жизни. Не конструируемый в напостовских статьях «живой человек», не воображаемо-идеальный просветившийся и сознательный пейзанин, а реальный, в плоти и крови, несущий на себе куда больше от вековдавнего, чем от нового, человек явился со страниц леоновских произведений. В «Возвращении Копылева», имеющем, как и остальные рассказы цикла, оттенок «необыкновенности», анекдотическую свежесть ситуации, это сам Мишка Копылев. Он-то, казалось бы, человек вполне нового века, вскинутый «великим ветром на великие вершины». Однако Мишка понимает новую жизнь и собственную власть весьма своеобразно: «Я нонче в зенитах, все могу. Могу заветную рощу сжечь, могу коней пострелять... все в моей власти». К тому же он полагает, что измывается над людьми во имя их же блага, во имя некоей абстрактной цели. Что ж, на этом мог бы и кончить иной писатель — ведь показала же Л. Сейфуллина «инструктора красного молодежа» в момент бесславного крушения его «карьеры». Но Леонов совсем не затем взялся за перо, чтобы «разоблачить» Мишку,— писателю важно разобраться, что и как случилось на Руси, что такое этот «мужикорожденный Мишка», который пошел на родное гнездо огнем и мечом, дабы его претворить (а главное, себя показать)? Анекдотическая канва рассказа с мнимою кончиной Мишки в сути своей символична: чуть не умер, не погиб человек, который напрочь оторвался от своего земного угла, да еще и пожег его. Здесь ярко проявился гуманизм леоновской

музы: ожесточившиеся мужики, миром приговорившие Мишку «порешить», смягчаются, они полагают, что несмотря ни на что Мишка — «парень крепкий, устойчивый, наш», и, жестоко наказав его телесно, они сразу и напрочь прощают «злодея», даже сами чувствуют вину перед ним. И Мишка после всего понимает, что здесь — его доля. Его возвращение в жизнь — залог будущей жизни, недаром непокорная Аринка прибежала к нему. Мишка, сидящий верхом на коньке новой кровли, с невысказанным чувством гармонии в душе, вырастает в фигуру большого типического масштаба и вместе с тем теплой человеческой достоверности.

Но нередко писатели обращались как бы к продолжению в советских условиях старых тем и образов. О чем рассказ Алексея Чапыгина «Лободыры»? О том, с какими трудностями приходилось сталкиваться посланцам власти в борьбе за настоящий, сознательный, самоотверженный труд? Конечно, и об этом, и читатель следит за безуспешными попытками комиссара управлять массой недобровольных сплавщиков, неспешно растворяющей в себе любые пламенные порывы и призывы.

Это и рассказ о быте северной деревни, с особым ее укладом («ладом» — как скажет наш современник В. И. Белов). Но это и рассказ о национальном характере, вернее, лишь об одной его черте. Странная, так удивляющая иностранцев черта! Она, бывало, выручала русских, когда в лихие годины умели они самоотверженно, без остатка напрячь все силы на общее дело. И она же вечно тормозила, погружала в сон и лень будничные дела, не давая инерции движения, ровного, а не скачкообразного. Воплощением этой черты стал герой рассказа В. Г. Короленко «Река играет» перевозчик Тюлин. Вот и чапыгинские непутевые лободыры-пьяницы, подобно Тюлину-перевозчику, до поры до времени находятся в ленивой отрешенности от тревог и забот, им, как говорится, на все наплевать... но вот минута, когда вся сила и ловкость, ум и удаль соберутся в кулак — и покажет человек, на что способен...

Чем-то сродни «лободырам» и герои рассказа С. Н. Сергеева-Ценского «Сливы, вишни, черешни». Впрочем и у Максима и у Луки и Алексея можно найти немало общего и с толстовским «бывалым человеком». Это — простые русские люди, находящиеся, сами того не ведая, на историческом распутье. Они все еще в прошлом, но, не сознавая того, собою, своими страданиями и приключеньями подготавливают жизнь будущим поколениям.

Рисуя старое и новое в причудливой, порою комической смеси, настоящие художники не проводили между ними очень резкой грани. Трудная ломка устоев и сопряженные с ней болезненные процессы перестройки неизбежно порождали недостатки и нелепости, порой выглядевшие как по-

рождение революции, тогда как являлись лишь своеобразной пеной на бурном ее потоке.

На первый взгляд фигура Ивана Ершова из рассказа Лидии Сейфуллиной «Инструктор «красного молодежа» — пример анекдотический. Писательница с юмором описывает его «агитацию» за «союз красного молодежа, свободную любовь и пролетарскую революцию» с помощью угроз вздернуть несогласных «на вниселку», «на телеграфные столбы», с призывами «через трупы врагов» шагать к торжеству социализма. Ситуация в рассказе действительно смешна, но одновременно — опасна, и писательницу не на шутку тревожило, что подобным людям с «большой бумагой» и в самом деле доставалась порою власть (Сейфуллина отталкивалась от реального факта), что Иван Ершов по чьему-то недосмотру своими идиотскими речами дискредитировал начинания Совет ской власти.

Приметой нового выступает и «голый» в рассказе Михаила Булгакова «Ханский огонь». В глазах старого княжеского слуги Ионы Голый — символ разрушения и бесстыдства, которое шествует в срамном виде по княжеским мраморам и паркетам. Естественно, что сам князь Тугай-Бег ворвавшегося в его покой человека в шортах восприиимает с ненавистью, как торжество «чумазого», торжество «хамской» власти Но — как сам писатель относится и к голому, и к Тугай-Беку, и к Ионе? Можно ли отождествить М. Булгакова с теми, о ком писал он? (В этом упрекали его тогдашние критики.) Конечно, нет! Даже очень пристрастным оком не разглядеть симпатии автора к раскосому князю — Батыеву потомку. Писатель со вкусом описывает княжеский дворец — это море драгоценных вещей, каждая из которых связана со страничкой истории. Было — так, а стало, как бы говорит он,— вот как, и не без усмешки изображает экскурсию, в которой, впрочем, если кто и вызывает неприязнь, так это агрессивный голый человек в шортах, а его спутники показаны не без добродушия, так же как и старый Иона, с его поистине поэзией холопства. «Не вернется ничего. Все кончено. Лгать не к чему» — к такому выводу приходит бешено исходящий злобой, но трезвого ума Тугай-Бег. Писатель не пробуждает жалости к гибели старого мира. Но будущее для него туманно.

На почти анекдотическом и гротесково-увиденном факте подойдет к той же теме старого и нового Борис Лавренев в рассказе «Погубитель». Стихия быта — ее разоблачали тогда многие писатели. Быт, об руку с мещанскими умонастроениями и твердокаменностью бюрократии — «совбуров», советских бюрократов, как их называли, не на шутку тревожил писателей.

Когда в разряд писателей-юмористов, вроде тех, что выступают сейчас в уголках «сатиры и юмора» или на телевечерах, зачисляют Михаила Зощенко — есть известная доля справедливости. М. Зощенко писал в двадцатые годы очень много, и далеко не все из публиковавшегося

им в многочисленных журналах и в маленьких «зощенковских» сборничках, пользовавшихся фантастической популярностью, было достойно его самобытного таланта, кое-что и подходило под разряд «юмористики». Но в целом Зощенко — отнюдь не фельетонист, бичующий жуликов и пьяниц. На самом будничном материале труднейшего послевоенного быта — переполненных коммуналках, пивных, трамваях, Зощенко творил, в сущности, свой, необычный мир. Косноязычные его герои необыкновенно искренни и откровенны с читателем, их недолгие мыслишки и затрапезные чувства представляют вопиющее противоречие с высоким смыслом человеческой жизни и целями нового общества. Это противоречие, мучившее писателя, и составляло собственно его тему творчества. Зощенко превыше всего ценил пропагандистскую, воспитательную роль искусства, и сам на двух-трех страничках нелепиц и неурядиц, создавал сцену, от души веселящую читателя, но — и воспитывающую, ибо на месте его героев ни один из читателей оказаться бы не хотел. Подобно большим сатирикам прошлого, Зощенко воспитывал на отрицательных примерах, но нередко преувеличивал силу захлестывающих существование человека низменных побуждений. Особое восхищение читателя вызывал язык его рассказов, обычно именуемый «сказом», умение на основе обывательского жаргона создать новый и очень многомерный стиль. Слово обычно предоставлено условному персонажу, рассказывающему о каком-нибудь пустяке вроде разбитого стакана или покупки ботинок. В мире, где обитает рассказчик, эти пустяки — серьезные события, и повествуется о них долго, трудно, язык его то и дело спотыкается, заедает, он силится выпутаться из затруднений, выразиться как-нибудь поинтеллигентнее, поученее, отчего речь его становится еще комичнее. Добравшись, наконец, до конца, рассказчик делает вывод из сказанного — «мораль» весьма неожиданного свойства.

Щедрую дань «нэповским» темам, сатирическому разоблачению мещанских нравов отдали Валентин Катаев, Михаил Булгаков, Пантелеймон Романов, Николай Никандров и другие. Было в этом немало двойственного. Видя уродливое и безобразное в действительности, писатели, прежде всего те, кто склонялся к сатире, приблизившись к поистине неисчерпаемой луже, которую представлял собой быт нэпманов, обывателей, растратчиков-кассиров, держателей бегов, актрисок, жуликов и т. д., на все лады стали его «разоблачать». Разоблачение далеко не всегда достигало цели, ибо рождалась и своеобразная реклама нэпманскому образу жизни. Появилась реальная опасность того, что какие-то литераторы пойдут на поводу у этой публики, потрафляя ей ее собственным разоблачением. Нечто подобное произошло, скажем, с талантливым П. Романовым, сделавшимся на время эстрадным писателем, исполнителем собственных юмористических рассказов, собиравшим огромные (вплоть до Колонного зала Дома Союзов) и не самые требовательные

аудитории. В критике порой сближается с ним и Николай Никандров, однако отнюдь не замкнутый темами «бывших», но с любовью изображающий жизнь простых людей — рыбаков, виноградарей. Рассказ Н. Никандрова «Диктатор Петр» представляет собой сатиру на отсиживающегося в Крыму литератора и его семью, не потерявших еще надежд на реставрацию. Н. Никандров, обладавший редкостным даром комического рассказчика (что высоко ценили в нем Горький и Куприн), развертывает в повествовании, которое не выходит за пределы жилища Петра, целую бытовую энциклопедию: как в заколдованном кругу, семейство бывшего литератора существует в мечтах о еде. Причем, как окажется, совсем не так уж голодно им и холодно, но сравнивание того, что *было*, с тем, что *есть*,— выводит их из себя, и даже бурчанье в животе они готовы принять за звуки канонады: «французы и англичане к нам пробиваются» Они сами не видят и не хотят видеть подлинной жизни, потому не верится в достоинство их прежнего бытия. Н. Никандров, зачастую добродушный, к этим духовным мешочникам относится без всякого снисхождения.

Беспощаден и К. Федин к своему герою, гимназическому учителю, для которого конец старой России стал «концом мира». Он не пойдет воевать за свое в общем-то призрачное благополучие, но сопровождающие его всю жизнь ощущения трусости и подлости в годы испытаний закономерно приведут его к торговле жизнями товарищей.

Интересно контрастирует с ним Николай Тихонов, этот вечный романтик советской литературы, которого называли седым юношей. Беспокойный странник, офицер-кавалерист в первую мировую, путешественник, он населял свои книги людьми, превыше всего ставящими волю в древнем смысле этого слова — его героям душно под крышею, они не могли бы маяться в прокуренном учреждении, их удел седло, засада, поединок с врагом или зверем. И тема «бывшего» — бывшего царского полковника — не стала юмористическим выковыриванием жалких подробностей его быта или разоблачением его низкой натуры. Бирюзовый полковник не в обиде на Советскую власть даже за то, что его «вычистили» из партии за происхождение. Человек этот поглощен проектами переустройства мира, разумного и целесообразного строительства «научными способами». Омолаживание, ловля рыбы, механизация — порой кажется, что в создании обаятельной чудаковатости Н. Тихонов перебарщивает: для реалистического портрета Ведерников несколько условен.

Тема строительства нового мира, можно сказать, постепенно вытеснила в литературе двадцатых годов темы гибели старого, тему гражданской войны, она дала такие известные произведения, как «Соть», Л. Леонова и «Цемент» Ф. Гладкова. Андрей Платонов являл собою редкий в русской литературе тип писателя, близко стоявшего к пафосу технической революции, научного преобразования природы, писателя

с особой, тонкой «железной» эстетикой. Среди его героев машинисты, мелиораторы, электрики. Рассказ «Родина электричества» — не исключение, в нем, как и во всех лучших произведениях А. Платонова, трогает какая-то особая, бедняцки-солидарная нежность к трудовому человеку

Классика и литература двадцатых годов — вопрос очень сложный и неоднозначный. Лучшая, крепкая часть писателей училась у русской классики, и критика легко обнаруживала творческое влияние Ф. М. Достоевского на Л. Леонова, Л. Н. Толстого на А. Фадеева, Н. В. Гоголя на М. Булгакова и т. д. Однако еще свежи были в памяти футуристические наскоки «на гнилого последыша буржуазии — поганую культуру ее» (слова футуриста Б. Кушнера)[1], наконец, в громогласных приказах журналов «На посту» и «На литературном посту» сквозило нескрываемое презрение к «дворянско-буржуазной» литературе, «Войне и миру» и «Илиаде», романам Тургенева и поэзии Тютчева.

С другой стороны, существовало и иное сопротивление русским классическим традициям. Такие молодые писатели, как Ю. Олеша, Б. Пильняк, Н. Никитин и другие, будучи отнюдь не необразованными людьми и не занимаясь декларативным ниспровержением прошлой культуры, ориентировались в своей творческой практике и на западную литературу, прежде всего французскую и немецкую, и на тех русских писателей, кто, в сущности, зачинал в России модернизм.

Огромную роль в борьбе за сохранение и развитие реалистических традиций русской прозы сыграли писатели, которых тогда принято было называть «старыми» (хотя некоторым из них едва перевалило за сорок): это прежде всего М. Горький, А. Серафимович, В. Вересаев, М. Пришвин, А. Толстой, Вяч. Шишков. Они боролись за чистоту русского языка, ясность и отточенность формы, сохранение гуманистического отношения к человеку не в декларативных призывах, а прежде всего своими художественными произведениями.

В двадцатые годы раскрылся как писатель редчайшего дарования М. Пришвин.

Его более всего привлекали романная форма и очерк. Но и рассказ «Нерль» дает хорошее представление о писателе. За непритязательным повествованием о собаке проступают коренные вопросы человеческого природного существования, его взаимоотношения со «средой», которые так занимают нас сейчас и которые во многом предвосхитил М. Пришвин. По словам М. Горького, он «утверждает совершенно оправданный... крепко обоснованный геооптимизм, тот самый, который — рано или поздно — человечество должно будет принять как свою религию».

---

[1] Гвз. Искусство коммуны, 1918, № 1.

Таким образом, и далекие, казалось бы, на внешний взгляд от передовых проблем современности писатели, как М. Пришвин, если они были крупными художниками, кровно связанными с народом, каждый по-своему участвовали в жизни страны, творя ей на благо художественные ценности, которые живут и по сей день.

С. Боровиков

Николай Ляшко

ПЕРВОЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ

1

В механической шла получка. Со стороиы поля в окиа пожарищем било солице. Шкивы, ремии, стаииины четко чериели на пламени; лица рабочих, шереигою двигавшихся к кассиру, менялнсь. Получившие путались в золотой паутиие света, обегалн лнтье, машииы и с порога тоиули в сиией вечерией тени.

Во дворе, иа ржавых шестернях, сндел жилистый, с вииду добродушиый Парамои.

— Что, зубья иа шестериях высиживаешь?— спрашивали его.

— Чай, я не курнца,— баснл ои.— Долгн собнраю.

— А-а, богачом стал?

— Я-то? Я всегда был богатым.

Одииочкн клали иа его широкую ладоиь моиеты, подмигивали ему и торопились к проходиой. Ои отмигивался, бросал деиьги в боковой кармаи, и те звякали там о стальиой метр и высуиувший блестящие иожки внутромер. Каждый гривеииик ои присчитывал в уме к получеииым и хозяйствеиио мечтал: «Эх, кабы вся мастерская поиимала. Четыреста человек,— черта можно в люди переделать».

На улицу он вышел последиим. Лиловатая, влажиая, до глади утоптаииая весеиияя дорога пружиинла под иим. От ворот расходились торговки, в лавчоиках стоял гомои, в пивиых голосили гармоиики. На углу жеищииа оплакивала получку:

— Удрал, аспид... через забор иебось... За иочь иа ветер все пустит.

2

На рыиок Парамон шел под раииее киамкаиье колоколов. Лавкн только что открылнсь, н голоса торговцев были хриплыми спросоиок:

— Любезный, пожалте! Все есть: на рубахи и рубахи, на блузы и блузы!

— Мне бы на кофту сестре.

— Сколько угодно... на почин, вот-с...

— Нет, мне не такое: моя сестра красное любит...

— Красное? Можно, вот-с... вот-с...

С полок на прилавок слетали штуки темно-красного, розового, красного в крапинку, красного в полоску, с цветочками. Все не то. Парамон из лавки увидел в корзине торговца огненное пятно и ринулся к нему.

— Стой, дядя!.. Это что у тебя?

— Платок.

По цвету платок — загляденье, а развернули — на нем зеленые цветы.

— Эх ма,— пожалел Парамон.— А без цветков такого нету?..

— Без цветков? Какая радость бабе в платке, ежли он без цветков? Ты только глянь, живые...

— Да, только у меня баба особенная: ей бы гладкий такой...

— Есть и гладкий... белый вот.

— Ну, белый: белый я и даром не возьму...

Торговцы надрывались, уламывали, и Парамона разбирал смех: чудаки. Он и к шелку подходил, да прицепился — и назад: кусается. Пришлось остановиться на ярко-красном сатине.

— Режь пять аршин...

— Пять аршин?— удивился торговец.— Да что вы? Если на две кофты, так надо шесть аршин, на две рубахи — восемь, а вы — пять. Прикажите накинуть аршинчик или три... А так ничего не выйдет.

— Выйдет, у меня все выходит. Режь.

3

У оберточницы Аннушки стоял стрекот. Парамону пришлось со всеми знакомиться, ухмыляться и пить чай. Скучно. Начал он заводить разговор; заикнулся на том, как в одном городе папиросниц, участвовавших в забастовке, освидетельствовали и выдали им желтые билеты. Но разговор не клеился. Аннушка глаз прищурила и уголками губ дернула: не трудись, мол, впустую, этих не сагитируешь.

— Ну, что ж так сидеть? Хоть песню спойте,— сказал он.

Девушки хмыкнули и заторопились.

— Запишут тебя в мои ухажеры,— сказала Аннушка и стала настоящей, своей.— Ну, как у вас?

— У нас ничего. А у вас?

— Да все так же. Нашла подруг подходящих, с этими вот поговорить собиралась. К лету, думаю, собираться будем.

— Так, старайся. А я к тебе и Серафиме с работенкой. Жаль, сам не умею. Ох, уж и сделал бы. Ты только глянь.

Парамон развернул узелок, разгладил сатин и приложил к нему позументы:

— Во-о, понимаешь, что будет? Знамя. Две штуки делайте: если одно отшибут, другое выкинем. Чтоб покрасивше было, обмозгуйте... Слова нашьете вот эти...

Парамон достал из-за клеенки картуза записку:

— Вот! Посередине чтоб... Подрубить надо, в трех местах пришить по две тесемки. И ты вникни: впервой это будет, никогда здесь этого не было... Постарайтесь, глаз чтоб у фараонов с морды рвало... Ну, прячь... Ребята, поди, уж собрались...

4

Город ушел за кирпичный завод, потом выпрыгнул, промелькал макушками церквей и окончательно скрылся за насыпью. В роще уже зеленели усики трав, под ногами похрустывало, шуршало. Парамон обдумывал, что скажет ребятам. На язык наворачивались шутки. Он юркнул в яр, выбрался к леску, увидел на опушке своих и погрозил:

— Я вас!.. Го-го-го-о!

Из яра отгокнулось эхо. Двадцать пар губ расплылись в улыбку. В двадцать ртов прыгнуло солнце и сверкнуло на зубах. Арматурщик Царьков поднял руку:

— Тссс...

Беседа была в разгаре. Парамон кивнул, сел на пригретую бурую листву и уставился на говорившего.

5

— А я тебя жду, тревожусь. Мать услала к сестре с ночевкой. Сейчас улажу все.

Серафима раскрыла окошко, схватила замок и пошла наружу. Выглянула на улицу, вложила в кольца замок, и — щелк. Еще раз оглянулась и через окошко полезла в дом:

— Теперь никто не войдет.

— Молчком придется,— шепнула Аннушка.

— Зачем? Чепуха! Если придет кто, скажем — уснули, а мать заперла и унесла ключ. Давай скорее.

Занавесили окна, разостлали на полу одеяло, расплеснули по нем купленный Парамоном сатин и опустились на колени... Примерили, разрезали и подвернули края.

Шепотом сговорились, что надо вышить, где слова поместить. Наметили все мелком. Замелькали иголками, позументами, защелкали ножницами и незаметно запели.

6

Среди недели, в обед, Парамон сходил к модельной мастерской и подобрал сделанные по его заказу, отшлифованные стеклянной бумагой, палки. Стороною пробрался к механической и скакнул в оконную пробоину. Ждавший его Царьков спрятал палки у стены, под валики, закрыл паклей и пошел за котельную...

Там, на блестевшем зеленью пустыре, спали, играли в шашки, читали и спорили. У забора верстою стоял инструментальщик. За ним кругом, голова к голове, лежало человек тридцать. Среди голов по-турецки сидел питерский фрезеровщик и вслух читал книжку, оставляя на углах страниц следы пальцев.

За забором из синевы падал звон жаворонков, с поля подплывал к забору и плескался на головы. Парамон и Царьков читали книжку раньше, но слушали. Слова смешивались со звоном, с теплом. От избытка сил мускулы забились, и глаза весело подмигивали: идет дело...

7

Вечером Парамон взял из выдолбленной в бревне дыры сверточек и по золотой, в редких синих блузах, улице зашагал к кондитерской фабрике. Поспел к звонку и пошел с Аннушкой. Дорогою бубнил о собрании на опушке и намекал Аннушке, чтоб она не отставала.

— А я отстаю?— вспыхнула она.— Или я виновата, что вы отгораживаетесь от нас? Куда, мол, бабам... Трусихи...

— Ну, это ты брось... Иные думают и так, я чуть иначе... А ты не обращай внимания. Пустое это. Знай шевелись.

Аннушка снизу взглядывала на Парамона и цвела. С таким, как он, все было бы нипочем, с таким не отстанешь.

Но сказать об этом было боязно: выслушает, сдвинет брови, махнет рукою и брякнет:

— Ну, вот я так и знал: любовью пахнет.

У двора она оставила его на скамеечке, скрылась и выбежала с узелком. Он спрятал его, а ей подал сверточек.

— Возьми, развей завтра у себя, среди сорок. Хоть и сороки, мол, вы, а и ваш все-таки нынче праздник... Ну, завтра, может, случится что, а ты — хороший человек, правду надо сказать... Давай я хоть руку пожму тебе.

Аннушка подала правую руку, левой потянулась к его плечу, но пальцы правой хрустнули, как в клещах, и она присела:

— Ой!

— Больно? Ничего... Зато слышала, как руку жали. Прощай...

И зашагал. Вечерний холодок Аннушка ощутила, когда синие сумерки поглотили Парамона.

8

Блуза Парамона засинела на улице чуть свет. Охваченный заботой, он шнырял по дворам, стучал в окна и шептал в сонные лица. Последним, к кому надо было зайти, был Царьков. Он подождал его и, против обыкновения, взял под руку.

— Ну, идем, брат... Главное-то не забыл? Ну вот... До поры ты ни во что на заводе не ввязывайся... А если со мною случится что, не дремли.

— Ладно, знаю.

Обоим утро казалось необычным. Оба словами притрушивали тревогу. У шлагбаума Царьков сказал:

— А знаешь, Парамон, когда наша возьмет, я свою фамилию пошлю к черту...

— Фамилию?

— Ну да. Дед мой — мужик, отец — слесарь, дядя — литейщик, а фамилия — Царьков... Рабья... И дадут же, чтоб их черт взял.

— Брось, бабья забота это,— буркнул Парамон.— Не такой день, чтоб об этом думать.

Против завода сели на приступки лавчонки и уставились на дорогу. После гудка к ним начали подсаживаться другие... Разговаривали, смеялись и поглядывали в сторону города.

— Идет,— шепнул Парамон.

— Где?

— Вот в кепке...

Шел тот, что говорил на опушке. На нем была синяя блуза и сапоги. Все встали, на ходу окружили его и почти пронесли через проходную контору завода.

— Есть, примерзло...

9

Грянул третий гудок. Зашушукали ремни, заворчали переборы, шестерни зазвенели... Из-под резцов брызнула медь, черным снегом повалили хлопья чугуна, шуршащими стружками заерзало железо... Сверкнул и в глухом громе двинулся продольный кран.

Парамон от станка следил, как склонялись к работе головы. А когда голоса мастерской наладились, из глубины их хлестнуло зычным буйным свистом, потом в разных концах раздалось:

— Бросай! Останавливай!

Парамон выдернул из-под валиков палку и ринулся вдоль станков. Останавливал станки, дергая цепочки проводов, ронял в лица:

— Ведь Первое мая нынче, праздник!

У выхода кипело блузами. Иные озирались. Часть хлынула к соседним мастерским, и среди корпусов грянула перекличка:

— Бросай! Товарищи!

— В двор!

— К механической! На демонстрацию!

Но котлы у котельной не переставали чокать и реветь под кувалдами. У кузницы неумолчно земля стонала под молотом. Из мастерских в контору, из конторы, по проволокам, в город ринулись крики тревоги. Замелькали мастера, сторожа, табельщики. И стало ясно: механическая одна. Напружилась, вспыхнула и вот-вот побито поплетется назад, к станкам. Лица будто мелом запылило. Но охрипшие от призывов, брани и криков нашлись:

— В мастерскую!

Не успели ворота проглотить топот, грянуло:

— Запирай все выходы! Никого не пускай!

В ту же минуту на станине строгального станка вспыхнуло и плеснуло в восемьсот глаз красное. А на красном вспыхнуло вышитое Аннушкой и Серафимой солнце, а с солнца брызнуло словами о рабочем празднике, борьбе, победе.

Держали красное Парамон и питерский фрезеровщик,— Парамон за палку, подобранную у модельной, а фрезеровщик — за верхний угол. Десяток рук взбросил к ним того, что говорил на опушке. Он выпрямился, сдвинул с себя кепку и указал на красное:

— Над нами впервые знамя. Куда оно зовет?..

...Слова, капавшие из вышитого солнца, ожили, раздвинули стены, и под своды механической из-за равнин, гор и морей хлынул синеблузый мир.

10

Въехали казаки, солдаты вошли. Среди околышей мелькнул котелком директор. Калитка механической открылась легко, и начальство увидело ее обычной, размеренной: шушукались ремни, урчал в углу вал трансмиссии, трещала под резцами медь, хлопьями черного снега падал чугун. Лишь склоненные головы косо поблескивали глазами из-под бровей.

Директор и люди в цветных околышах переглянулись и искривили губы:

— Пустяки, ложная тревога.

Штыкам не колоть, пулям и нагайкам не свистать. Знамена под синими блузами прижаты к телу. Сердца барабанили в солнце, вышитое работницами, и в брызжущие с него зовы о борьбе и победе рабочего люда.

1923

Ольга Форш

МАРСЕЛЬЕЗА

Когда лавочнику Гордею Карпычу прислали из Москвы наложенным платежом посылку, он сейчас же погнал мальчишку за полицейским Сверчуком. Сверчук был приятель Гордея Карпыча, такой же, как и он, любитель музыки, и распаковывать без него долгожданные кружки граммофона было бы не по-товарищески.

Сверчук с утра был на любимом своем базарчике против станции, и так как дело вышло между двумя поездами и его Дунька не торговала,— оба сидели рядком на пустом ящике и наперегонку лущили семечки, ставя на заклад карамель «Иру» тому, кто шелуху сплюнет дальше.

— Ой, врешь!— вскрикнул радостно Сверчук, когда запыхавшийся мальчишка передал ему поручение лавочника, и, не глянув на Дуньку, зашагал в лавку, придерживая рукой тяжелую шашку.

Толстый Гордей Карпыч, держа наготове большие клещи, увидя приятеля, заколыхался веселым смешком:

— Дражайшие гости, Сверчук, самоличнейше из Москвы... дьякон Розов, Федор Иваныч Шаляпин...

— Давай я, ты еще их царапнешь,— сказал, бледнея от волнения, Сверчук, взял клещи из белых, пухлых пальцев Гордея Карпыча, похожих на личинки майских жуков, ловко вывернул гвозди и бережно высвободил кружки граммофона из бумаги.

— Боже мой, боже мой! Певица Вяльцева, два Шаляпина, румынский оркестр...— жмурясь, как толстый кот, стонал Гордей Карпыч,— столица, Сверчук, вся столица!

— Дьякона Розова нет, что ж это ты,— сказал вдруг с такой обидой Сверчук, что Гордей Карпыч спустил с лица улыбку и, подгребая к себе кружки, стал озабоченно класть их стопочкой, как блины:

— Десять чернушек, Сверчук, как заказано; тут дьякон Розов, тут он!

— Нет дьякона!— и, отойдя к бочке с солеными огурцами, Сверчук продолжал, горячась:— Не ожидал я от тебя такого афронта, Гордей Карпыч,— десять мы их и выписывали... Будучи знаток в музыке, я тебе рекомендовал стоящие кружки, но писал ты один, помни это,— значительно подчеркнул Сверчук,— я — должностное лицо, я бы себе не позволил... да я и забыл, как она называется, сейчас только и припомнил.

— Царица небесная,— неожиданным бабьим голосом пискнул Гордей Карпыч,— ничегошеньки в толк не возьму!

Сверчук подошел опять к стойке, пошарил в черных кружках и, отделив один, поднес его Гордею Карпычу:

— Вот за эту сам ответ и неси, дело мое — сторона, я, братец мой,— должностное...

— «Мар-се-льеза»,— прочел с изумлением лавочник,— ей-богу, Сверчук, впервой слышу, должно, в Москве подшутили аль перепутали. А что ж она, разве того... непотребная?

— Хуже,— сказал все еще недоверчивый и раздраженный Сверчук,— она — запрещенная.

Однако сердце не камень, приятели помирились. Гордей Карпыч так жалостно причитал, складывая на толстом животе белые пухлые пальцы, с таким трудом выговаривал незнакомое слово, что пришлось Сверчуку поверить в его невинность. Кружок решили отослать обратно, взамен требуя дьякона Розова.

Агафоклея подала приятелям самоварчик, красную пастилу и лимон; выпили, размягчились, пустили в первую голову Вяльцеву. «Умчи-мся в края...» — выводит Вяльцева, и мечтают приятели. Гордей Карпычу чудится: идет он мальчишкой с покойной матушкой, странницей-богомолкой, идет, простор кругом, вечереет, огоньки табора красным маком цветут, цыгане оглобли вздернули, кулеш варят; у цыган этих и заночуют, а назавтра дальше. Легко, привольно, словно крылатый идешь, и все тебе праздник, все радость.

— Бож-же мой, бож-же,— томится Гордей Карпыч сладкой болью о минувшей свободе, и жалко ему себя, теперешнего, закрепощенного в лавке, оплывшего, старого человека.

Сверчук, красный от чая и от разнежившей музыки, смотрит в окошко на пылающий под закатом лес; скуластое молодое лицо его подрагивает, и поволокой берутся глаза. Припоминаются ему разные барыни-пассажирки, каких

за два года своей службы на станции удалось ему увидать, иной раз оказать услугу; видится их походка, в перчатках ручки, духи, кружева, и знает он сейчас, что влюблен он не в базарную Дуньку, а вот в такую шикарную, и она — в него. Это — не Вяльцева в граммофоне, это — шикарная барыня, обмахиваясь кружевным веером, как одна летом в купе, поет ему, Сверчуку: «И будем мы там делить пополам и мир, и любовь, и блаже-енство».

После Вяльцевой переживают каждый по-своему вальсы, марши, «На земле весь род людской». В конце ставят «Дубинушку».

«Мой ве-ли-кий наро-од»,— не жалея богатства, как царь, покрыл Шаляпин голосом хор, хрип граммофона, гам улицы. Дрогнул и прослезился Гордей Карпыч, не снес и Сверчук: выпятил грудь, да как хватит заодно с хором: «Эй! дубинушка, ухнем».

— Ах, нет, Сверчук,— говорит слабым тенором Гордей Карпыч,— другой раз ее последней не ставь, так душу всю и расперло... нехорошо к ночи, не уснуть... «Дунайские» вот «волны»,— их лучше нет в конце: лад ихний забирает с поверхности, полегонечку, плывешь — ровно в зыбке дите,— ни тебе расстройства, ни жалости...

— Я программочку дома составляю, по номеркам,— обещает Сверчук,— ну, до завтрашнего, до приятного!

И приятели целуются.

Так каждый вечер лавочник Гордей Карпыч и полицейский Сверчук обогащали свою бедную событиями жизнь, вкрапывая в однообразную ткань ее, как великолепие радуги в дождливом небе, волшебные кружки музыки, пробуждая ими все грезы и порыванья своей души.

Но когда кружки граммофона были переиграны бесконечное число раз, а вызываемые ими образы не пополнялись в воображении приятелей новыми,— оба из творцов стали просто слушателями и заскучали. У Сверчука радостное чувство через край бьющей жизни сменило всегда ему нестерпимое ощущение безделья; а Гордей Карпыч, прохладно хваля певцов и оркестры, опять привычно и тяжело стал носить в душе своей всю невыплаканную неудачу своей жизни. И, не умея разобраться и назвать, что случилось, оба просто зараз догадались:

— Надо бы новых кружков!

— Скоро ль пришлют, Гордей Карпыч, дьякона Розова?— спросил полицейский.

И, замявшись, промямлил лавочник:

— Да пришлют ужо!

Сверчук глянул на приятеля и понял, что «Марсельезу» тот все еще не послал.

— Ежели б я — не должностное лицо...— начал Сверчук раздумчиво и вдруг запнулся; припомнил, как урядник еще недавно наказывал ему особое наблюдение за двумя там какими-то: «Без чемоданов приехали, на керосинке обед сами стряпают, в лесу, где подальше, сойдутся, «дела» обделают, «Марсельезу» горланят...»

«Мар-се-льеза́»,— долго учил примету поднадзорных Сверчук, и понравилось слово, жалел даже, когда позабыл; ан тут слово нежданно само подвернулось.

— Я — лицо должностное,— твердит, сам от себя защищаясь, Сверчук, а уже в пальцах запрещенную чернушку вертит: нацарапано на ней все, как на прочих, слова, видать, французские,— как звучат-то? Должно, на тех барынь шикарных похоже...

— Что ее отсылать-то, Сверчук?— набирается храбрости Гордей Карпыч,— она лежит — есть не просит, может, когда пикничок состряпаем, в лесу ее дерганем. Кто в лесу слышит?

— В лесу хулиганье всякое,— злобно вспоминает Сверчук поднадзорных,— хулиганье эту саму как раз и горланит...

— Ну, ну, отложим,— покоряется Гордей Карпыч,— приторгую скоро опять на свежий десяток: новых чернушек выпишем, эту кстати в обмен.

Человек предполагает — бог располагает; не пришлось Гордею Карпычу скоро выписать новых чернушек. Грянули такие события,— до чернушек ли?

Сверчук, озабоченный, но словно повышенный в чине, то метался по станции с красными призывными листками, то нагружал на поезд запасных, то срамил на всю базарную площадь какого-нибудь опоздавшего насчет трезвости:

— Такие ли дни сейчас, чтобы от тебя, такой-сякой, ею пахло?

— Етта старрая пахнет...— божился, пошатываясь, человек,— всю-то жизнь ее пил, а она штоп тебе сразу... и выдохлась!

Гордей Карпыч в своей тоске и ожирении нездорового человека с трудом понял, что случилось, и, пугаясь, что от кого-то ему будет плохо за то, что, зная о великих событиях, он по-прежнему ест, пьет и торгует,— с тяжелым раз-

вальцем подходил к каждому поезду с запасными, и мальчик нес за ним жертву: муку, чай и сахар.

Маленькая станция в несколько дней совсем изменилась: на базарной площади то и дело стояли кучками запасные — вчерашние всем знакомые деревенцы, кричали бабы, плакали дети. У самого Гордея Карпыча и в соседней, только что отстроенной лавке — те же запасные, уже с голубыми походными чайниками, покупали в дорогу припасы; лавочница, Авдотья Васеевна, маленькая блондинка, с очень толстыми боками, выпиравшими, как подушки, из модной, обтянутой юбки, не поспевая отпускать, смеясь и плача, говорила запасным:

— Уж вы себе сами, родимые, отпускайте, хоть и обвесите, чай, вам в последний!

Запасные, чувствуя себя героями, не чинясь, клали гирьки и долго и внимательно проверяли чашки весов:

— Блинкин и Робинзон, один фунт и с четвертью...

— Господи боже, владычица,— причитала у дверей старушонка,— враг-то уж в Ладоцком, весь ихний флот, пальбу слышали...

— Ежели в Ладоцком, тут ему крышка, рукой взять, что раков...

— Да Ладоцкое ж, братцы мои, озеро,— гогочет запасной,— ну и тетки — образование!

— Поезд везут!— крикнули на улице.

Запасные схватили карамель с весов, стремглав слетели с крыльца, за ними поспешили к платформе провожающие, дачники, торговки с корзинами яблок.

Из-за леса, над макушками сосен, словно выдыхаемый великаном из трубки, толчками всплывал густой белый дым, и слышался тяжкий вздох паровоза.

Молодцеватый Сверчук, кое-кого трогая ножнами черной шашки, вежливо, но твердо прокладывал сквозь толпу путь запасным:

— Расступитесь, господа, дело службы.

Толстая вдова пристава, в бордовой вязаной кофте с желтыми пуговицами и хлястиком выше талии, стоя отдельно на приступочке, держала пред собою белый платок с таким решительным и угрожающим видом, как будто каждый глаз ее готовился не пустить слезу, а вдруг выстрелить.

Откуда-то появилась толпа гимназистов и барышень с французскими и русскими флагами.

— Вот, Лялечка, наши соседи-то труса празднуют,— говорит один рыжий барышне с голубым шарфом,— свою

дачу бросили, след простыл, а вывеску «Waldesruh» заменили «Родимой отрадой».

— А наши знакомые из Стендеров — вдруг Подставкины...

Паровоз, покряхтывая, выставляя узкую куриную грудь и словно хлопая себя по бокам, встает перед станцией. Бесконечные вагоны, уходя за дрова, кажутся многорукими, еще не бывшими чудищами: в глубине голова на голове, наружу — защитного цвета руки машут фуражками...

— Ур-ра!— голосит станция, барышни веют шарфами, гимназисты швыряют вверх шапки, старушки крестят воздух, и, приветствуя поезд флагами, поют гимназисты — кто гимн, а кто «Марсельезу». Блестят зубы на загорелых, летних лицах солдат; они уже привыкли к восторженным встречам и с преувеличенной важностью кивают в ответ публике, как кланяется в свой бенефис заслуженный, слегка утомленный артист, и только один, высокий, с рябоватым добрым лицом, стоя на площадке, всхлипывал и, широко разводя руки, как баба, когда загоняет на ночь цыплят, говорил:

— Всё значит тут, всё... и больше ничего!

— Ур-ра!— кричали опять на прощанье,— ра... ра,— катится в поле, из поля в сосенник и словно ухает с откоса в речку. Паровоз сдвинулся и пошел. Замахали на платформе шарфы, а им из окон вагонов ответно фуражки защитного цвета в руках.

Босой мальчик Сенька, в розовой рубашке, вдруг обезумел от криков, гимнов, солдат, припустился бежать, на ходу прыгнул на подножку вагона и, не зажимая рта, махая трехцветным флажком, сорванным с древка, орал и мчался бог весть куда.

— Нн-у, Гордей Карпыч, и дела...— сказал, входя вечером в лавку, запыленный и красный, как из бани, Сверчук,— дела-то какие! Восемь держав уж воюют, и еще, почитай, столько же к войне готовятся; водке крышка пришла, поднадзорным я нонеча честь отдавал, обои прапорщиками...

— Предпоследние дни,— сказал, вздохнув, Гордей Карпыч,— секира у древа.

— А что, Гордей Карпыч,— подошел к граммофону Сверчук,— продохнуть хоть разок, вставь иглу новую, на черныш-ку, на ту... запрещенную, она сейчас уже — союзный гимн.

— Поди ж ты! Долежалась,— усмехнулся Гордей Карпыч, поставил иглу, насадил пластинку, смахнул пыль с желтой трубы граммофона и, прижимаясь к ней всей своей

жирной щекой, насторожив ухо, чтобы не пропустить звук, он пустил «Марсельезу».

И Сверчук в ту же минуту почувствовал себя на коне командиром несметной армии, ведущим полки в наступление, и когда попадались слова, похожие на русские, он выкрикивал их, как приказ к атаке:

— Лапа-три! Тир-они!

1923

Дмитрий Фурманов

ШАКИР

Багажом пришло ко мне пуда три книг. Попробуй-ка, дотяни по нынешней дороге: все развезло, осклизло, распустилось. Со мною крошечные саночки (сосед-спекулянт больших не дал). Везу. От станции продвинулся еще всего 60 — 70 саженей, а пот так и садит — вижу, что до Арбата не вынесу. Стою — раздумываю, как быть...

— Ай, товарищ-господин, давай я...

Из толпы выделилась фигура татарина: зипунишко, лапти, обычная татарская шапка... Дыры, лоскутья, клочья, заплаты... Усы моржовые — темно-рыжие, мокрые. Глаза чуть видно — моргают, слезятся... Голосок тонкий, умоляющий...

— Денег нет, брат, платить нечем будет...

— Мешок картошки везешь? — спросил он, указывая на груз и, видимо, предполагая получить «натурой».

— Нет, книги.

— Книги... Куда книги везешь?

— Далеко, на Арбат.

— Далеко на Арбат? Давай я...

— Так нет, чего же, братец, давай уж лучше вместе, я тоже тебе помогу...

— И вместе харашо, давай вместе...

— Ну, так за сколько же?

— Рупь давай.

— Это сто тысяч?

— Сто тысяч давай.

— Так и быть — поедем...

Мы тронули... Целимся больше на дорогу — тут кое-где сохранился лед и снег... Мчатся автомобили, окатывают нас каскадами навозной жижицы, перегоняют на тротуар...

Спутника моего зовут Шакиром — он беженец с голодного Поволжья. Только вчера похоронил жену, осталась

иа руках полуторагодовалая малютка. Не знает, куда теперь с нею деваться, чем кормить. Сам работы не нашел, околачивается возле больших вокзалов. Но и тут дела шакиру не даются: санок нет, купить их не на что, а на ручной багаж монополию захватили станционные носильщики, злобно встречающие ободранных конкурентов. Шакиру за пятьдесят пять, силенок у него осталось немного, на тяжелую работу не годится.

— Таскать все надо,— говорит он.— Есть хочешь — таскаишь. А таскать не будет — есть не будишь. Ящик таскаишь...

— Да у тебя и силы-то нет, Шакир, где тебе ящики подымать?

— Хлеба хочишь — сила есть, хлеба не хочишь — сила нет.

— А ты обедал сегодня?

— Вчера обедал...

— Ел сегодня?

— Вчера ел.

— А будешь есть?

— Буду есть — ты хлеба дай...

— Дам... А девочка твоя — кто ее-то кормит?

— Дворника жена есть... У нее девочка... Сколько деньги принес — жене дворника отдал, все ей отдал.

— А далеко живешь, Шакир?

— Тагански...

— Это пешком туда и пойдешь?

— Сегда пешком ходим... Деньги дочка нужны...

Я посмотрел ему на ноги: лапти запутаны в лохмотья; все это намокло, пропиталось навозным соком, грязью...

— Ноги-то мокрые?

— Ноги сегда мокрые.

— Болят они у тебя?

— Доктор ходил, сказал — болят ноги...

— Лечишь, значит?

— Больше доктор не ходил, станция ходил... работать надо. Деньги дочка носил.

За долгий путь о чем только ие переговорили мы с Шакиром. Он рассказывал, как жил в батраках, как работал, нуждался. И выходило так, что прошлая жизнь была у него только чуть-чуть получше той, что настигла теперь... Ои не запомнит времени, когда семья была бы разом — и сыта, и одета, и обута. Чего-нибудь всегда не хватало, а семья была в семь человек. Теперь кто поумирал, кто замуж повы-

ходил, остался Шакир с женою вдвоем, да тут еще на грех девчонка роднлась.

— Девчонка зря родился,— говорил мне Шакир.— Девчонка не нада родиться... Малака иет, хлеба нет, голод есть — девчонка не нада родиться...

Но делать уж нечего: бьется, а кормит. Теперь, без «бабы» ему совсем тяжело: она хоть что-нибудь сварит, бывало, когда Шакир денег прннесет, а теперь н денег заработает, да варить-то уж некому.

— Купишь хлеб, огурец, капуста, вода попил, больше нет ничего...

— И так каждый день?

— Так сегда... Только хлеб не сегда.

— Плохо тебе, Шакир, живется... А будет лучше? Как ты думаешь — будет лучше или нет?

Мне хотелось узнать — ждет лн он чего, надеется лн на что-нибудь? Только я опасался, что не поймет Шакир вопроса. Ан иет, понял — глаза осветились, расширилнсь, помолодели.

— Все будит хароший...

— Так где же хорошо-то,— донимал я его,— посмотри, как ты нуждаешься...

— Сичас нет — н плоха... А когда будит — хорошо будит...

— Ты уж не доживешь, Шакир...

— Девчонка жить будит, дочка жить будит...

— А знаешь ты, что такое Совет?

— Совет?— переспросил он.— Совет знаю, ходил Совет...

— Нет, ты знаешь ли, как он выбирается, кто выбирает и что он делает?

Как ни силился Шакир что-то мне объяснить,— понять было невозможно. Я стал ему объяснять. Смеется радостно, останавливает меня среди луж и навозных кучек. Извозчикн н автомобили обдают грязью, а мы стоим, и возбужденный Шакир, глядя мне в глаза, спрашнвает торопливо:

— Бедный человек не будит?

— Не будет, Шакир.

— Все работать будим?

— Все...

— Ленин сказал?

Я радостно вздрогнул от этого вопроса. Мы про Ленина еще не говорнлн с ним ни слова — Шакир назвал его нмя первый.

Так, значит, и он, этот вот темнейший человек, знает,

знает и чувствует, что имя Ленина можно называть лишь там, где говорят о труде, что Ленин и труд — одно и то же?..

Перескажешь ли все, что говорили мы за двухчасовую дорогу. Только я заметил, прощаясь, что Шакиру слова мои запали в душу, что они ему радостны, что редко-редко, может быть никогда, не говорили еще с ним так, как это вышло теперь...

Взявши краюху хлеба в обе руки, поглаживая ее с концов, он уходил от меня, веселый и довольный, на свою далекую «Тагански», к голодающей малютке дочке.

10 марта 1922 г.

Максим Горький

РАССКАЗ О НЕОБЫКНОВЕННОМ

В одном из княжеских дворцов на берегу Невы, в пестрой комнатке «мавританского» стиля, загрязненной, неуютной и холодной, сидит, покачиваясь, человек, туго одетый в серый, солдатского сукна кафтан. Ему за сорок лет, он коренастый, плотный и хром на левую ногу. Сндит он вытянув ее, на ней тяжелый, рыжий сапог. Правую ногу он крепко поставил на паркет и, в сильных местах речн своей, притопывает каблуком, широким, точно лошадиное копыто.

На черепе его встрепаны сухие волосы мочального цвета, на скулах и подбородке торчат небогатые кустнки желтых, редких волос, под неуклюжим носом топырятся подрезанные усы, напоминая вытертую зубную щетку.

Большеротое, зубастое лицо этого человека неинтересно, такие щучьи лица, серые, угловатые, с глазамн неопределенной окраски,— обычны в центральных губерниях Россин. Такие лица обычно освещаются небольшимн глазами; глаза эти смотрят в землю, в небо и, почти всегда, мимо человека; во взгляде их чувствуешь некоторую духовную косоватость и недоверие существа, многократно обманутого людьмн. Но нередко где-то в глубине зрачка таких глаз сверкает холодное острие, как иглою неожиданно пронзающее наблюдателя искусно скрытой силой разума. Этот острый блеск глаз и вызвал у меня Диогеново стремление, свойственное каждому литератору,— я упросил зубастого человека рассказать мне его жизнь.

И вот он говорит не торопясь, «откалывая» слова, давая мне понять, что он уверен в своей значительностн и не впервые удивляет слушателя рассказом своим. Порою его речь звучит задорно, и серые волосы усов шевелятся, обнажая насмешлнво изогнутую, темную губу. А нногда слова угрюмы, печальны, он сурово морщит лоб, и без того обильный морщинами, белки его глаз приобретают влажный и странный

оттенок жемчуга, зрачки не то испуганно, не то удивленно расширяются.

Оставляя больную ногу неподвижной, он все время вертится, и это не совпадает с размеренным течением его сказки. Темные рукн беспокойно шевелятся, гладят коленн, передвигают на столе папку бумаг, чернильницу, пепельницу, щупают деревянную вставку для пера. Передвннув вещи с одного места на другое, он, прищурясь, оглядывает их н снова перекладывает в нной порядок. Потом, с явной досадой оттолкнув от себя все их, гладит ладонью нли ковыряет пальцем пеструю — золотую, красную, синюю — стену, изрезанную по штукатурке затейлнвымн арабесками.

Кажется, что ему тесно в этой необыкновенной комнате. Круто поворотив голову, он мннуты две молча смотрит в окно, мелко изрезанное угловатым узором переплета рамы, нщет чего-то на широкой, темной полосе пустынной Невы. Расстегивая и вновь застегивая крючки кафтана, он как будто хочет раздеться, встряхнуться, сброснть с себя какую-то внешнюю, накожную тяжесть.

Голос его звучит глуховато, отдаленно, глубоко из груди.

По месту жизни, по бумагам — я сибнряк, а по рождению — русский, рязанец из-под Саватьмы. Слово это — Саватьма — осталось у меня с детства, от родителей, они, бывало, объясняли:

— Мы из-под Саватьмы.

Лет до семнадцати я говорил не Саватьма, а Саматьма, и думал, что это — река, а вода в ней необыкновенно черная, однако никому об этом,— даже товарищам, ребятншкам,— не сказывал, не хвастался, а даже, пожалуй, стыднлся этого: в Сибирн реки светлые. Потом торговец сельскимн машннамн поправил ошибку мою, грубо сказал:

— Дурак, не Саматьма, а — Саватьма, н не река, а — город, уезд.

Я ему сразу поверил, прнятно мне было узнать, что ничего необыкновенного в Саватьме этой — нет.

Деревню свою — не помню, деревня, наверно, обыкновенная. А помню какое-то село над рекой, на угорье, н монастырь за селом, в полукружии леса; это село я и по сей день внжу, только как будто не человеческое жилье, а нгрушку; есть такне игрушки: домики, церковки, скот, все вырезано из дерева, а деревья сделаны из моха, окрашены зеленой краской. В детстве очень манило меня это село.

Родители мои переселились в Сибирь, когда мне было годов десять, что ли. Дорогой мать и братишка, меньше меня, вывалились из вагона, убились, отец тоже вскоре помер от случайности — объелся рыбой. Пошел я по миру, по деревням, со старичком одним, старичок спокойный, не бил меня. С год ходил я с ним, а потом, в городке каком-то, на базаре приметил меня мужик, старовер Трофим Боев, дал старичку целковый, что ли, старичок и уступил меня Боеву.

Это был человечище кряжистый, характера тяжелого, скопидом и богомол из таких, которые живут фальшиво, как приказчики на отчете у бога: сами грехом не брезгуют, а людям около них дышать нечем. Я его и всех, всю семью, сразу невзлюбил за строгость ко мне, за жадность, за все и, еще будучи подростком, увидал бессмысленность необыкновенного труда. Шесть лошадей было у него, семнадцать коров, свой бык, овцы, птица, всего вдоволь, а работал он и людей заставлял работать — каторжно. Ели противно: уж сыты, нет охоты есть, а все еще едят, покраснеют, надуются, а все чавкают, против воли. Непосильная работа да чрезмерная еда — в этом заключалась вся их жизнь. А в праздники отлично нарядятся и всем стадом — гонят в церковь, за двадцать верст.

Семья большая: сам, трое сыновей от первой жены,— один в солдатах,— две снохи, зять-вдовец, немой, откусил язык, упав с воза. От второй жены — дочь Любаша, года на два моложе меня. Жена — зверь-баба, глазищи лошадиные, сила мужичья. Был еще батрак Максим, тоже русский, этот спать любил, даже сто́я спать мог. Потом еще старухи какие-то, вроде крыс.

Когда мне минуло лет семнадцать, Максим, нечаянно, проколол мне бедро навозными вилами; с год болело бедро, гноилось; начал я прихрамывать.

Однажды, за ужином, старший сын, Сергей, говорит Боеву:

— Ходить Яшка тихо стал, надо бы полечить ему ногу-то.

А тот отвечает:

— Заживет и без того. А охромеет — выгода, в солдаты не возьмут.

Это меня обидело; я был парень здоровый, хромать мне стыдно перед девками, они уж смеются надо мной. Тут я задумал уйти от Боева. Сказал Любаше, она тоже советует:

— Конечно — уходи, а то заморят они тебя работой. Ты видишь: они — окаянные.

Любаша была плохого здоровья, грустная девушка.

Совсем бессильная, масло пахтать машиной и то не могла. Была она мне сердечной подругой, грамоте научила меня почти насильно. И одежу починит и рубахи пошьет. Братья, невестки не любили ее, смеялись над нашей дружбой.

— Какой он тебе жених, когда хромой!

А у нее этого и в мыслях не было, просто она помогала мне жить. Была она девушка честная, к баловству брезглива. Худенькая, глаза, как у матери, большие и свет внутри их. Смеялась — редко, а улыбнется — сразу легче станет мне. И не плакала; побьют ее, она только осунется вся, дрожит, прикрыв глаза. Самая умная в семье, а считалась недоумком и порченой. Однако — злая, мелкий скот, собак, кошек любила мучить, а особо приятно было ей цыплят давить; поймает цыпленка, стиснет его в ладонях и задавит.

— Зачем ты это?

Не сказывала, только плечиками поведет. Наверное, она гнев свой на людей так вымещала, что ли. Весною простился я с нею и ушел. Боев пробовал препятствовать, пачпорта не давал мне долго. Любаша и тут помогла.

Года два жил я вполне благополучно, так, что и рассказать не о чем. Жил в Барнауле у доктора, он мне и ногу залечил, хотя хромоту оставил. Скажу так: до двадцати лет жил я как во сне, ничего необыкновенного не видя. Иной раз, в скуке, вспомню село, подумаю:

«Надо там жить».

А где это село — не знаю. И опять забуду. Любашу только не забывал. Однова даже письмо послал ей, не ответила.

У доктора, Александра Кириллыча, было мне спокойно. Работы — мало: дров наколоть, печи истопить, кухарке помочь, сапоги, одежу почистить, потом возить его по больным. Человек я непьющий, ну, стакан, два могу допустить выпить для здоровья; в карты играл осторожно, бабы меня даром любили. Характером я был нелюдим. Считался придурковатым. Накопил денег несколько.

И сразу, точно под гору покатился, началась необыкновенная жизнь. По соседству убили двух, мужа и жену, а я в ту ночь не дома ночевал. Заарестовали меня, и тут оказалось, что у меня пачпорт испорчен, буквы перепутаны: настоящее имя-прозвище мое Яков Зыков, а в пачпорте стоит Яков Языков. Тогда, на грех, японская война начиналась. Следователь и говорит:

— Ты сам сознался, что по чужому виду живешь; значит — скрываешься от воинской повинности али от чего-то и еще хуже.

Указываю: ведь в пачпорте, в приметах, объявлено — хромой, стало быть, это я и есть, Зыков.

В Сибири никто никому не верит.

— Может, говорит, к убийству ты и не причастен, а всетаки надо собрать справки о тебе.

Доктора в те дни дома не было, он в Томск уехал и в Казань; заступиться за меня некому. Посадили в тюрьму, в тюрьме воры смеются надо мной:

— Вовсе ты не Зыков и не Языков,— а — Язёв, потому что у тебя морда рыбья.

Так и прозвали: Язёв.

Обидела меня эта необыкновенная глупость; ночей не сплю, все думаю: как это допускается — морить человека в тюрьме за пустяковую ошибку на бумаге. Жалуюсь богу; я в то время сильно богомолен был, хотя в тюрьме не молился: там над верой смеются. Бывало, спать ложась, только перекрещусь незаметно, а лежа прочитаю, в мыслях, молитвы две-три,— тут и все. А привык я молиться истово, на коленках стоя. «Верую», «Отче наш» читал по разу, «Богородицу-деву» — трижды. Акафист ей знал наизусть. Любаша многому научила меня. Писать учился шилом на бересте сначала.

Конечно, вера — глупость, но я тогда молодой был и, кроме бога, посторонних интересов не имел.

Валялось в камере, кроме меня, еще семеро,— четверо воров, конокрад чахоточный задыхался, старик-бродяга и слесарь с железной дороги, его гнали этапом куда-то в Россию. Воры целыми днями в карты играли, песни пели, а старик со слесарем держались в стороне от них и все спорили. Старик — высокий, тощий, длинноволосый, как поп, нос у него кривой, глаза строгие, злые, очень неприятный. Был аккуратен; утром проснется раньше всех, вытрет лицо чистенькой тряпочкой, намочив ее водою, расчешет голову, бороду, застегнется весь и долго стоит, молится не крестясь, не шевелясь; смотрит не в угол, где икона, а в окно, на свет, на небо. Сектант, конечно, а оказалось — умный сектант!

Слесарь — черный, как цыган или еврей, лет на десять старше меня. Речистый, и речь у него необыкновенная, даже слушать не хотелось. Голова ежом острижена, зубы блестят, усики чернеют. Глаза — как у киргиза. Лощеный весь и на тюленя похож, на ученого, каких в цирке показывают. Свистеть любил.

Вот, однова, когда воры заснули, слышу я — старик ворчит:

— Простота нужна. Все люди запутались в пустяках,

оттого друг друга и давят. Упрощение жизни надо сделать.

Слесарь — досадует, бормочет:

— И я про то же говорю.

— Врешь. Ты — вчерашнего дня поклонник. Я такого не первого вижу. Все вы обманщики. Ты — особенности добиваешься, необыкновенности, ты себя отделить от людей хочешь. А беда-то, грех-то жизни в том и скрыт, что каждый хочет быть особенным, отличия ищет. Тут — горе! Отсюда и пошло всякое барство, начальство, команда и насильство. Отсюда все необыкновенности в пище, одеже, все различия между людей. Это все надо — прочь, вот как надо! Где особенное, там и власть, а где власть — там вражда, непримиримость и всякое безумство. Оттого и враждуете, безумцы. Человек должен владеть только самим собой, а другими владеть он не должен. Вот — пришили тебя к бумаге и гонят куда хотят, а сам ты ни горю, ни радости не владыка.

Слышу я — правду говорит старик, слова его таковы, как будто я сам надумал их. Когда правда настоящая твоя, она тебе на все отвечает, у нее естество густое, ее хоть руками бери.

Воры меня осмеивали, считая парнем убогого ума, да я и сам дурачком притворялся. Так — спокойнее и людей скорее понимаешь, при дураках они не стесняются. Спорщики эти тоже глядят на меня, как на пустое место, и все ярятся, бормочут, а я — слушаю. И понимаю так, что спорить им будто бы не о чем, одинаково согласны: все на свете надобно сравнять, особенное, необыкновенное — уничтожить, никаких отличий ни в чем не допускать, тогда все люди между собой — хотят, не хотят — поравняются и все станет просто, легко. Обратить всех жителей земли в обыкновенных людей, а сословия,— попов, купцов, чиновников и вообще господ,— запретить, уничтожить особым законом. И чтобы никто не мог купить у меня ни хлеба, ни работы, ни совести.

— Душу окрылить надо,— доказывал старик.— Главное — свобода души, без этого нет человека!

Я все эти мысли проглотил, как стакан водки с устатка, и действительно душа у меня сразу окрылилась ясностью. Думаю:

«Господи Исусе, какая простота святая живет между людьми, а они всю жизнь маются!»

Думаю и даже улыбаюсь, а воры еще больше смеются надо мной.

— Глядите, Язёв о невесте думает!

Молчу, того больше притворяюсь дурачком, а сам,

знаешь, все слушаю, слушаю. Расходились спорщики только в одном: слесарь дразнил, что и бога не надо, а старик, понятно, сердился на него за это, да и мне досадно было слушать слесаря, резко говорил он, а в то время бог еще был недугом моим. Вред господства оба они бесстрашно понимали.

Вскоре погнали меня этапом на место приписки; там, конечно, Боево семейство удостоверило мою личность. Сам он, Боев, лежал, умирал, лошадь его разбила, что ли. Однако предлагает:

— Живи у меня, Яков; ты человек смирный, с придурью, бродяжить тебе не годится.

Отказал я ему. Я уже кое-что нагляделся, мысли в голове шевелились, в город тянуло, да и Любаша советует:

— Иди, иди, Яков, ищи свое счастье.

Конечно, я рассказал ей все, до чего дошел, целую ночь рассказывал и даже сам удивлялся, как плотно сложились мысли мои, как гладко идут. Любаша соглашается:

— Все — верно. Так и надо.

Я — ей:

— Шла бы ты со мной, Любаша!

Забоялась:

— Чем я тебе буду? Обузой. Здоровье у меня плохое. Да и чужих людей не люблю, а здесь я уж привыкла.

Н-да. Не пошла. Была она, говорю, девушка грустная. Тонкая девушка и приветлива душой. В душе ее я себя видел как в зеркале. Прощалась — заплакала, однако...

Вернулся я снова в Барнаул, к доктору. Это был человек хороший, даже почти совсем умный, только умный по-старому, а не по-моему. Был он характера резкого и на барина разве по привычкам похож, даже обличье имел мужицкое: плотный, коренастый, ходил солидно, как гусь, зря руками не махал; лицо большое, красное, борода. В ремесле своем был удачлив, лечил ловко. Водку пил помногу, а пьян не бывал. Больше водки — красное вино любил пить. Глаза у него прямые, с усмешкой внутри, он ею будто говорил каждому: «Не притворяйся, я твое уродство вижу».

Однако, хотя и бабы его любили и сам он был до них жаден, а я видел, что жить ему скушно, хмурится доктор, кряхтит, песенки сквозь зубы поет и все отхаркивается, будто гнилого поел. Нравился он мне простотой своей, а усмешечку его не любил я, показывала она, что доктор и меня дураком считает и ни на грош не верит мне. Обидно было. И — побаивался я его.

Встретил он меня хорошо, шутит:

— Ага, явился, мешок кишок!

Это у него любимая поговорка была — мешок кишок, он со всеми говорил шутливо, как с малыми детьми, сунет руки в карманы и — шутит. Поднес мне водки стакан, приказал старухе самовар согреть, сам пришел на кухню:

— Ну, говорит, рассказывай!

Было это зимней порой, к ночи, вьюга крутила, гудела, сижу я с доктором за столом, как будто в трактире с приятелем, рассказываю, а он слушает, папиросы курит, бороду щупает,— борода небольшая, куриным хвостом.

До этого вечера я ни с кем, кроме Любаши, открыто не говорил, а тут разманило, возмутился во мне смелый дух. Сидя в тюрьме да по дороге я научился думать обо всем даже до того, что задумаюсь и — будто нет меня, только одна душа в воздухе живет. Говорил так бойко, что сам себе удивлялся: вот бы Любаша послушала!

Рассказал, конечно, про старика, про слесаря — доктор хохочет:

— Ишь ты, говорит, как тебя вывихнуло! Ну, это хорошо: дураку жить — легче, умному — забавнее. Теперь тебе, Яков, надобно книжки читать. Ну, только в книжках доказано наоборот: управляет нами закон, который все простое дробит на особенное. В дочеловеческие времена, говорит, земля была сплошь камень и родить не могла ничего, до поры, пока не раздробилась на песок, глину, потом — чернозем. В незапамятных веках был один зверь, одна птица, а теперь от них разродились тысячи разных птиц и зверей. Также и все древние люди: сначала все были мужики, потом от них пошли князья, цари, купцы, чиновники, машинисты, доктора. Это — закон!

Ловко говорил; будто в мешок зашивает меня.

И, конечно, шутит:

— Надо, говорит, смотреть на все с этой кочки, в нашем болоте она самая высокая.

Сильно огорчил он меня словами своими и даже на время сбил с пути. Дал мне, хитрый, книжек, однако я тотчас вижу: это не те книжки, которые он сам читает. Его книжки — толстые, в переплетах, их два шкафа, а эти — тоненькие, детского вида, с картинками. Читаю. Назначение книжки имеют, чтобы отвести меня в сторону от моих мыслей; рассказывают, как люди жили в старину, а я, значит, должен понимать, что в старину жили хуже. Успокоительные книжки. Однако я соображаю:

«Как мне знать, правильно ли тут написано? Это было не при мне. К тому же я человек сегодняшний, какое мне дело до прошедшей жизни? Вчерашний день лучше не сделаешь, ты меня научи, как надобно завтра жить».

Доктор спрашивает:

— Читаешь?

— Читаю.

— Интересно?

— Интересно.

Молчу, конечно, что книжки его не по душе мне, не объясняю, что мне интересно не то, что там написано, а — для чего писалось. Писалось же, говорю, для успокоения моего.

Однако — читать я привык; наклонишься над книжкой, глядишь в нее, как в омут, текут, колеблются разные слова, и незаметно проходят часы; очнешься — удивительно! Будто тебя и не было на земле в часы эти. Слов книжных я не люблю помнить, не умею, да они мне и не нужны, у меня свои слова есть. Некоторые слова и вовсе не понимал: шелестит слово, а для меня ничего не обозначает. А суть книжки мне всегда легко давалась. Чужие мысли очень просто понять, когда свои в голове есть. Своя мысль — честный огонь, при нем чужую фальшь сразу видишь. От моей мысли всякая чужая прячется, как клоп от свечки. Этим я могу похвастать.

Гораздо больше, чем от книжек, видел я пользы для себя от бесед с доктором. Бывало — после работы в больнице и объезда недужных по городу, скинет доктор пиджак, ботинки, наденет туфли, ляжет на диван, около него бутылка красного вина, лежит он, курит, посасывает кислое винцо это, ухмыляется, балагурит, все об одном:

— Мы-де присуждены жить под властью прошедших времен, корни пустяков вросли глубоко, корчевать их надо осторожно, а то весь плодородный слой земли испортишь. Сегодняшним днем командует вчерашний, а настоящая жизнь обязательно будет командовать будущей, и от этой канители не увернешься, как ты ни вертись.

Но иной раз одолеет его скука, покинет осторожность, и тут доктор обмолвится:

— Конечно, лучше бы все сразу к черту послать...

Однако — сейчас же и прибавит:

— Ну — это невозможно!

Досадно мне слушать его.

«Ведь вот, думаю, и умен человек, и знает все, чего надо и не надо знать, и видно, что жизнью своей недоволен, а простого решения боится». А я уж решения достиг и оста-

новился на нем твердо: ежели райская птица, человечья свобода, запутана сетью фальшивых пустяков до того туго, что совсем задыхается,— режь сеть, рви ее!

Я даже намекал доктору, подсказывал ему, что нет другого способа освобождения человеку, а прямо сказать ему это не хотел: не то боялся — осмеет он меня, не то — по другой причине. Очень уважал я его за простоту со мной, за эти вечерние беседы, и если он, бывало, грубил мне, кричал на меня за какой-нибудь беспорядок — я на него не сердился.

От книжек его и разговоров с ним мне та польза была, что незаметно потерял я веру в бога, как незаметно лысеют: еще вчера щупал макушку — были волосья, а вдруг — хвать — на макушке голо! Да. Не то, чтобы стало мне боязно, а почувствовал я эдакий холодок в душе неприятный. Ненадолго, однако. Вскоре догадался, что до этого жил я на земле, как в чужой стороне, глядя на все из-за бога, как из темного угла, а теперь сразу развернулся предо мной простор, явилась безбоязненность и эдакая легкость разума. Простился я с богом, прямо скажу, без жалости. После окончательно увидал, что в бога верует только негодница людская, враги наши.

Крючки, которыми меня к чужому делу пристегнули, я научился видеть везде, куда их ни спрячь, и видел все мелкое, пустяковое, всю скорлупу наружную в жизни доктора. Много он лишнего накопил: книг, мебели, одежи, разных необыкновенных штучек. Доказывал, что необыкновенное нужно для красоты жизни,— для красоты пожалуйте в лес, в поле, там цветы, травы и никакой пыли. Звезды. Звезды тряпкой вытирать не требуется. А от этих разного вида земных бляшек — только вредное засорение жизни и каторга мелкой работы.

Доктор одевался, умывался — скажем — пять минут, а запонки в рубаху втыкал и галстук завязывал тоже не меньше времени. Втыкает, завязывает, а сам по-матерному ругается, как мужик. Тоже и ботинки с пуговицами — сколько времени требуют? А простой, русский сапог одним махом на ногу насаживаешь. Понимаете? Все эти галстуки, застежки, ленты, кружева и всякие фигурки украшения естества жизни я отчисляю от человека. Обставься крупной вещью — и сам крупнее будешь. А игрушки — прочь, игрушки надобно вымести вон...

Господскую привычку к пустякам я видел и в речах доктора. Кажется — правильно говорит человек, а отказаться от бляшек не хватает у него разума. И не видит он, что все

господство пустяками держится: книжками, игрушками, машинками — бумажной цепью оплело людей. Конечно, видеть это ему и пользы нет,— он сам соучастник господства. И выходило в речах у него так, что, ударив раз, два топором, он это же самое рубленое место паутиной разных словечек прикрывает, все насчет осторожности, дескать — сразу хорошо не сделаешь. Запнулся человек сам за себя. Даже иной раз жалко было мне его.

Между прочим, связался я с одной; была в больнице сиделка, рыжая, с зеленым глазом; в левый глаз ей скорняк, любовник, иглой ткнул, глаз вытек довольно аккуратно, веко опустилось плотно, и особенного безобразия лицу ее этот случай не принес. Лицо — худощавое. Нос был несколько велик, нос тоже не мешал мне. Жила она прищурясь; молчаливая такая, строгая, а говорили про нее, что распутна. И вот потянуло меня к ней, чувствую, что зеленый глазок ее разжигает плоть мою, как этого никогда не было со мной. Хотя я и хромой, а, видишь, мужик крепкий. Рожа у меня в ту пору еще добродушнее была. Бабы очень нахваливали глаза мои. Даже Любаша однова сказала:

— Глаза у тебя, Яков, как у барышни.

Однако при всем этом Татьяна отвергает меня. Говорю ей:

— Ты — кривая, я — хромой, давай вместе любовь крутить.

— Нет, говорит, не хочу, устала я от вашего брата.

Упрямство это еще больше распалило меня. Тогда поставил я игру на туза червей, на сердце, одолел бабу, и — точно в кипяток меня бросило; дико жадна и горяча была на ласку эта женщина! Любовь у нее была похожа на драку: я скоро приметил, что ей не столько любовь приятна, сколько приятно лишать меня силы, замаять до бесчувствия. Не выйдет это у нее, не одолеет — сердится.

И замечательного прямодушия была; спрашиваю ее:

— Обманывать меня будешь?

— Не буду,— говорит. А подумав несколько, вдруг — довесила:

— Только, видишь ли...

И — как по уху ударила:

— Буду.

Я ее чуть не избил, да она так вздохнула и так виновато поглядела единым глазом на меня, как будто не в ее воле обманывать мужиков. Огорчился я, конечно, любовь — дело опасное, того и гляди, что заразишься стыдной болезнью.

А все-таки прямота ее понравилась мне. Вскоре увидал я, что и по душе она — сестра мне и разум у нее не спит.

Характером была трудная; чуть заденешь ее, так вся и вспыхнет, а из каждого слова злоба брызжет, и глазок горит нехорошо, ненавистно. В ласковый час спросил ее:

— Чего ты такая злая?

Тут рассказала она мне необыкновенную историю: жила сиротой у сестры, а сестрин муж, машинист, выпивши, изнасиловал ее, когда ей шел еще шестнадцатый год; месяца два она, от стыда и страха, молчала об этом, терпела насильство, ну, а потом сестра догадалась и выгнала ее из дома. Года три жила она проституткой, потом избили ее пьяные, легла в больницу, доктор присмотрелся к ней и нанял в сиделки. Был скандал, требовали, чтоб он прогнал ее, но он не согласился.

— Жила ты с ним?— спрашиваю; она, прикрыв глазок, говорит насмешливо:

— Где уж нам уж, выйти замуж за такого зверя! Ни раза и не дотронулся.

— Что ж ты, говорю, насмехаешься? Тебе его благодарить надо.

Облизала губы и ворчит:

— Я еще поблагодарю.

Просто говоря, была она женщина редкая, это потом увидите. Тело тонкое, ловка, как белка, одевалась в свободные дни хоть и не богато, а достойно настоящей женщины из благородных. Да. Любаша была миловиднее лицом, а телом — неуклюжа.

Вот — живу я, обтачиваю сам себя потихоньку, а война все разыгрывается, глотает людей, как печь дрова. Позвали на войну и доктора, он говорит:

— Ну, мешок кишок, едем, что ли, изломанных дураков чинить?

Поехали. Татьяну тоже взяли сестрой, она фыркает:

— И — верно: дураки! Поломали бы ружья, пушки, вагоны — вот вам и война.

Известно, что на войне у нас ни удачи, ни порядка не было. Гоняют наш поезд со станции на станцию, катаемся без дела, а мимо нас тучами едут солдаты; туда едут — песни поют, оттуда ползут — стонут. Доктор сердится, бумаги пишет, телеграммы, требует, чтоб его допустили к делу. Говорит мне:

— Гляди, мешок кишок, как с народом обращаются!

Посерел, скулы обострились, рычит на всех и без оглядки

ругает начальство, войну, беспорядок жизни. Очень я удивлялся смелости его: зачем рискует? Указываю Татьяне:

— Вот как дерзко человек к делу рвется!

А она, прикрыв глазок, цедит сквозь злые зубы:

— Ему за это чины, ордена дадут.

«Ну, нет, думаю, тут должен быть другой расчет!»

Доктор говорил обо всем честно, правильно, как трезвой жизни сын про отца-пьяницу, как наследник хозяйству. Служащие на станции, солдаты охраны и весь мелкий народ слушает его речи с полной верой. Даже жандармы соглашаются — плохо, все плохо! Мне хотелось предупредить Александра Кириллыча, чтоб он говорил осторожней, ну, не нашел я подходящей для этого минуты, да и подойти к нему опасно было, того и жди, что простым порядком в морду ударит, совсем освирепел.

Вдруг выскочил на станцию легавый старичок, с красным крестом на рукаве, в шинели на красной подкладке, инспектор что ли, выпучил глаза и завертелся, закружился, орет на доктора:

— Под суд, под суд!

Доктор в дятлов нос ему бумаги тычет:

— Это что?

Ну, для начальства бумага — не закон, как для богомаза икона — не святыня. Арестовали доктора, посадили к жандармам, Татьяна моя начала бунтовать станцию. Тут я впервые увидал, до чего смела баба, так и лезет на всех, так и кидается. Некоторые смеются над ней:

— Что он, доктор, любовник тебе?

И надо мной смеются. Мне — конфузно. Хоть и не замечал я, что она обманывала меня с доктором, да ведь разве это заметишь? Дело тихое, минутное, а у баб и одежа лучше нашей приспособлена для блуда. Утешаюсь:

«Это она из благодарности за доктора старается».

Не знаю, как бы разыгрался Татьянин бунт, в те дни необыкновенное летало над землей, как воронье на закате солнца. Жандармы на станции с ног сбились, реворверами машут, угрожают стрелять. В эти самые минуты началась революция — побежал солдат с войны.

Ворвался к нам поезд, да так, что мимо станции версты на полторы продрал, ни кондукторов, ни машиниста не было на нем, одни солдаты. Высыпались они на станцию, и начался крутёж, такую пыль подняли — рассказать невозможно. Начальника станции — за горло:

— Давай машиниста!

Старика жандарма ушибли до смерти,— злой был старичок. Все побили, поломали, расточили, схватили машиниста водокачки и — дальше! Остались мы, как на пожарище, ходим, обалдев, битое стекло под ногами хрустит; доктор освободился, сунул руки в карманы, мигает, как только что спал да проснулся.

— Нам бы уехать отсюда,— говорю.

Он мне кулак показал:

— Я те уеду!

Приказал избитых, раненых в наши вагоны таскать, только что мы успели собрать их — еще поезд гремит, тоже полон сумасшедшей солдатней, и — пошло, покатило, стал народ вывертываться наизнанку. Тут рассказывать нечего, вам известно, какая тогда человеческая метель буянила.

Страха в те дни испытал я на всю жизнь. Особо страшно было, когда наш поезд угнали солдаты, фельдшер, сестры, санитары разбежались, и осталось нас трое: доктор, да я с Татьяной, да станционные, совсем уже обезумевший народ. А мимо нас все едут, едут с воем, с гиком,— подумайте, каково было ночами! Станция небольшая, место глухое, леса кругом, невдалеке прижалась к лесу деревенька поселенцев; зажгут огни в деревне, а огни, как волчьи глаза,— жуть! Проживешь в темной тишине, как в яме, часок-другой, и снова слышно: гремит, воет, катится одичалый солдат, будто черти гонят его.

Дней десять в этом страхе торчали мы, а — зачем? Этого я не мог понять. Больных у нас было все девять человек, четверо померло, а остальные не так хворы, как напуганы. Доктор всем говорит, что началась революция и должна быть перемена господства власти. Я — соображаю:

«Значит: другую узду на людскую нужду».

Догадка эта в ту пору у меня хорошо отлежалась, до плотности камня. Татьяна слушает доктора въедчиво.

Остался в памяти моей об этих днях один мелкий случай: подхожу я к жандармской квартире, где больные прятались, слышу Татьянин сухой голос:

— Брезгуете?

Заглянул я в окно, стоит она перед доктором, струной вытянулась, а он сидит, курит, бормочет, глядя под ноги ей:

— Иди, иди...

Вышла кривая на крыльцо, вытирает руки подолом халата, говорит:

— Жить нам тут незачем.

Смеюсь внутри себя, соглашаюсь:

— Конечно, незачем.

Я за ней очень следил,— хотелось мне поймать ее с доктором. Тогда бы избил я ее, потому что горда была она со мной, несчастной прошлой жизнью своей гордилась. А так, без вины бить ее,— не было у меня случая. И надоела она мне несколько.

Простились с доктором и пошли куда глаза глядят, ехать Татьяна не согласилась, понимая, что она для солдат — мышам сало. Шли вдоль железной дороги, зайдем в деревню — накормят нас, напоят. Жить можно. Крестьянство насторожилось, любопытствует: чего ждать? Татьяна докторовы слова говорит, я тоже, при хорошем случае, скажу тому, другому:

— Упрощения жизни ждать надо, вот чего. Слабеет сила господства, иссякает; он они и воевать разучились. Пустяками они держат нас под собой. Глядите,— надвигается наше время.

Отдохнем и опять шагаем, беседуем. Вижу я, что хоть у Татьяны кипит великая злоба против доктора, а речам его она поверила, революцию эту принимает как праздник свой. Говорю ей:

— Ты, дурочка, одно помни: без лакеев господа не живут.

Фыркает, не слушает меня.

Потом приснастились мы к смирному поезду и приехали в город Читу, а там идет крутёж во всю силу, на улицах, на площадях шумит народ, шевелится, вроде раков в корзине, у заборов китайцы прилипли, ухмыляются. Между прочим, скажу: китаец — человек умный, он со всеми согласен, а никому не верит. В карты играть с китайцем — не пробуй, обыграет.

Татьяна — у праздника. Блестит зеленым глазом, оскалила мелкие зубы свои, кричит всем:

— Довольно господа брезговали нами, будет!

Гляжу я на нее и тоже ухмыляюсь китайской манерой. Мне какая выгода, что некоторые шашки в дамки прошли? Пристроился газетой торговать, хожу, поглядываю. Завел знакомство с парнем одним,— политический, только что со ссылки бежал, силач, ручищи длинные, а — смешно сказать — человек мелкого дела, часовщик. Состоял в окрошке этой, которая власть в городе забрала. Бунт понимал так, что-де это первый шаг к народной свободе. Я ему говорю:

— Ты — шире шагай! Ты шагни через окрошку эту. Ты — мол — не ликуй, что в Думе рядом с господами сидишь.

— Погоди,— обещает,— шагнем!

Хороший был парень, а — простоват. Заторопился поверить в партию, а тогда — какая партия была! Я знаю, что была и рабочая, и крестьянская, и господских ие одиа, да только все они тогда дело крутили на власть, ие на интерес иарода, а против царя. Это вот теперь иаша партия правильно идет.

При мне и началось там иеобыкновенное истребление народа, явился генерал с солдатами, и вся затея рассыпалась прахом. Великое неистовство было. Рассказывал доктор, как в Петербурге иарод били, ну, я думаю, это пустяки, в Петербурге-то. В Чите народ истребляли, как кедровые орешки, где застигнут, там и бьют, без всякой волокиты. Так торопились убивать людей, как только можно от великого страха. Страх этот на всех рожах был: у солдат, у штатских. Взглянешь мельком — глаза человека будто остеклели, как у слепого или покойиика, а присмотришься — дрожат глаза.

Был у часовщика приятель Петр, резкого ума парень, моряк какой-то, тоже беглый; на левой руке у него шесть пальцев; хотела его полиция убить, а он откупился за семиадцать рублей и говорит:

— Вот, глядите, товарищи: словами мы все разрушаем, а иа деле крысу убить стыдимся, не то что городового, и если убьем кого, так нам это противно, а они нас бьют, как японцы тюленей.

Это — верно сказано: я сам видел, как у политических длиииа дорога от большого слова к маленькому делу. Вообще читиское время было для меня довольно поучительное, насмотрелся, надумался я и окреп в своих мыслях еще больше.

Я, счастливым случаем, уцелел от смертиой расправы; арестовали меня с этим часовщиком и повели расстреливать; вдруг унтер присматривается ко мие, спрашивает:

— Ты, хромой, откуда — не из Барнаула ли? Ну,— говорит солдатам,— я его знаю, это — дурак! Я его очень хорошо знаю, он у доктора в кучерах жил.

Я — обрадовался, шучу:

— Дураков зачем убивать? Это умников перебить надобно, чтоб они нам, дуракам, простую жизнь нашу не путали.

Унтер толкнул меня в переулок, кричит:

— Ступай прочь, сукин сын, моли бога за нашу доброту.

Убежал я, а часовщика расстреляли. Татьяна ходила смотреть на него, лежит, сказывала, как живой, горсть земли в руке зажал, а сапоги сняты.

С Татьяной я простился. Наклевалась она, длинным-то носом, политических мыслей у моряка и давай учить меня. Ну, а я уж видел, что политические — мелкий народ, разум у них вывихнут книжками и не понимают они, что такое настоящее упрощенне жизни. Я всякого человека насквозь вижу, я вам говорю: вернее своей мысли — меры нет! Политика — это тоже направление к господству, к насильству. Вндел я, как партийные состязаются друг с другом, а у всех — одна цель: показать себя умнее другого.

Татьяна говорит мне:

— Я знаю, что надо делать, а ты только чадишь и, кроме себя, ничего не склонен видеть.

Глупо говорила; она стала еще злей, а со зла люди всегда глупеют. И глаз у нее стал острее, травянистый глаз, вроде как бы медь окисла в зрачке, и такой стал ядовито мокренький глазок. В голосе — тоже медь звенит. Подурнела, еще боле усохла, нос вытянулся, губы истончились.

Да.

— Кроме себя, говорит, ничего не видишь.

Каждый из нас, дуреха, живет в своей коже, она ему всего и дороже. А кожа просит тепла, мягкости. Вот — святые, они будто на камнях спали, а оказалось, что святые-то и не надобны никому.

Стала мне эта женщина окончательно противна, ушел я от нее и нанялся сторожем на станцню одну,— название у нее смешное, вроде Потаскун. Живу, оглядываюсь. Поникли люди, сердце упало у всех. Прикинулся дурачком, дело свое делаю аккуратно, стараюсь всем угодить и говорю глупые мои слова: людей надо уравнять, жизнь упростить. Это — все понимают. Говорю бесстрашно и даже при жандарме,— жандарм там был хохол Кириенко, огромный мужик, морда — как у сома, усы китайские. Этот — действительно дурак. Вытаращит глазнщи, слушает и сопит, а ночами — я ночным был — придет ко мне, упрекает.

— Ты говоришь то самое, за что вашего брата насмерть бьют. Это тебя политические научили.

А я ему в простоте душевной отвечаю:

— Политическне, Осип Григорьич, не учителя простецам, а — враги. Онн хотят властн, а нам нужна свобода души.

Сопит Кнриенко:

— Очень прнятны твон слова, после того, что случнлось.

Все-таки ты будь осторожнее, потому что хошь ты и блаженный, ну, на это не посмотрят. Я, говорит, вижу, речи твои по евангелию, но теперь и это не годится.

Коротко сказать — стал мне Кириенко добрым дружком, и это мне очень помогало, потому что речи мои так по сердцу людям пришлись, что даже с других станций стали приезжать послушать меня, а некоторые и учить, в партию звать. Перед этими я дурака крутил во всю силу разума, и ничего, кроме досады, они от меня не получали, а Кириенко разика два сказал:

— Поглядывай!

И все бы у меня шло хорошо, и жил бы я там спокойно года,— вдруг черт сунул на мою дорогу Сеньку Куриашева, был такой смазчик, кудрявый, рожа пестрая, как у маляра, веснушками обрызгана, плясун, гармонист. Вроде паяца, а — шустрый, учение мое сразу принял. Однако — другие люди научили его не добру. Как-то весенней ночью слышу я — бах, бах! Стреляют за станцией, около казармы; бегу туда, не торопясь, первому-то прибежать — расчета нет; вижу — Сенька мчится к водокачке, на его счастье — не окрикнул я Сеньку, думал: не он, а в него стреляли. Кричат:

— Кириенку убили!

Действительно: лежит Кириенко поперек тропы, головой в кусты, руки вперед головы выкинул. Служащие сбежались, опасливо увещевают друг друга:

— Не трогайте тело.

Все поблекли, испугались, в ту пору за убийства взыскивалось очень строго: убьют одного, а вешают за это троих, пятерых. Сенька прибежал с молотком в руке, знаете — молоток на длинной ручке, которым по вагонным колесам стучат? Вот с таким. Суетится Сенька больше всех и твердит:

— Я — на водокачке был,— вдруг слышу — палят, а я на водокачке...

«Ах ты, думаю, дерзкая мышь!»

А в это время другой жандарм, старичок Васильев, кричит:

— Браунинг нашел, и от него нефтью пахнет, прошу всех понюхать — пахнет!

Люди нюхают оружие, и Сенька тоже понюхал, усмехается:

— Верно, пахнет!

А Васильев и объявляет ему:

— Нефтью пачкаются у нас двое — ты да Мицкевич, поэтому я вас подозреваю.

Глупый был старичок, ему бы молчать. Заявляю, что я в минуту выстрела видел Сеньку около водокачки,— мне парня жалко,— а Васильев свое твердит:

— Тут, главное,— нефть и рукоятка сальная. Тебя, Яков, я тоже арестую, ты сторож и должен был видеть.

Сенька отпрыгнул от него, да с размаха как свистнет старичка молотком-то по виску, тот и не охнул. Конечно, Семена схватили, связали, меня — тоже, да еще Мицкевича, машиниста с водокачки, заперли нас в зале третьего класса, сторожат, под окнами ходят, палки в руках у всех.

Мицкевич поплакал, поныл и заснул, а я шепотком говорю Сеньке:

— Зачем ты это сделал, дурак?

Не сознается, пыхтит; я его живо согнул в дугу, поник парнишко и рассказал, что его партийные уговорили на это дело, потому что Кириенко донес на некоторых, которые ко мне приезжали. Ну, в этом деле и моей вины был кусок, успокоил я парня, уговорил:

— Молчи!

Тогда суд был строгий,— найди виноватого где хочешь, а — подай сюда! Наказали парня смертью, велели повесить, хотя я и настаивал, что он в этом деле не участник и что я его видел у водокачки. Обвиняющий офицер отвергнул меня, заявил, что:

— Всеми здесь указано, что сторож этот — полоумный, верить ему нельзя.

Мицкевича вовсе не судили, а меня оправдали. Приятели очень удивлялись.

— До того опасно ты дурака крутил, что мы думали: затрет тебя суд!

Со станции меня, конечно, рассчитали, и лет семь я прожил цыганом,— где только не носило меня! На Урале, на Волге, в Москве два раза, в Рязани, по Оке ездил, матросом на буксире, Саватьму эту видел,— нищий городок. Живу, гляжу на все, а душа беспокойна и упрямо ждет: должно что-то случиться.

В Рязани зиму я легковым извозчиком был, конечно — от хозяина. Вот однова еду порожнем по улице, гляжу — монашенка идет, и это — Любаша! Даже испугался, остановил лошадь, кричу:

— Любаша!

И точно обожгло меня — не она! Даже и не похожа —

лицо гунявое, глаза сонные. С того часа обняла меня тревога еще больше и потянуло в Сибирь. Вы, может, так понимаете, что это — баловство, Любаша? Нет, тут другая музыка, тут, я думаю, детское играло в душе. Есть в миру такой особенный, первый человек, встретишь его, и — будто снова родился, вся жизнь твоя иначе окрашена. Жил я в Перми у инженера дворником, инженер этот пушки сверлил, человек суровый, было ему уже за сорок лет, дети у него, жена, а первый человек в доме — нянька. Ей лет восемьдесят, едва ходит, злая, тленом пахла, а ему была она вместо матери. Да и не всякую мать эдак-то уважают, как он — няньку.

В конце весны очутился я в Томске, пошел в больницу наниматься и сразу наткнулся на доктора, Александра Кириллыча. Очень обрадовался, хоша встречи с людьми, которых раньше видел, не по душе мне: намекают они, что ты все на одном месте вертишься. Доктор — поседел, щеки желтые, зубы в золоте; он тоже обрадовался, руку мне жмет, по плечу хлопает, как приятеля; конечно, шутит:

— Ну что, мешок кишок, много ли истребил необыкновенного?

Принял меня на службу к себе, и опять я заведую порядком его жизни. Жил он при больнице, во флигельке, окнами в сад, две комнаты, кухня. И снова рассказываю я ему, как старуха внуку, про все, что видел, говорю и сам слушаю: очень интересно! И пользу вижу для себя,— как будто все лишнее с души в чулан складываю, прячу, и — очищается настоящая суть души. Рассказывать — очень полезно, рассказал, забыл и — снова чист пред собой. Про Татьяну рассказал, хотел испытать: заденет это доктора? Никак не задело. Дымит табаком, ухмыляется.

— А ведь не просто все это, Яков, а?

Вижу, что ума доктор не потерял, а в мыслях никуда не подвинулся. Досадно было слушать, как он старается зашить меня в мешок, доказывая, какие петли везде заплетены, и не мог я понять: зачем это нужно ему? Трудно мне было с ним.

Вдруг — все понял: верные мысли приходят внезапно. Случилось это в цирке, я все в цирк ходил, глядеть на борцов; очень удивлял меня один чухонец. Не великой был он силы, не велик и телом, а одолевал людей и тяжеле и сильнее себя, одолевал необыкновенной своей ловкостью, тонкой выучкой. И вот смотрю я, как он охаживает здоровенного борца, русского, и сразу, как проснулся, догадываюсь:

«Выучка — вот главная фальшь, в ней спрятан вред жизни».

Даже в пот ударило меня, и будто все косточки мои, вздрогнув, выпрямились. В двух словах клад для души и ключ к жизни:

«Выучка — вред».

Ею одолевает слабый сильного, ею народ лишен свободы. До слепоты ясно озарило меня, что отсюда идет все необыкновенное и здесь начало дробления людей. Значит: дело так стоит, что надобно всех равномерно выучить или — объявить выучку запрещенной. Помню — шел домой осторожно, будто корзину сырых яиц на голове нес, и был я как выпимши.

Попросил доктора, чтобы дал он мне те книжки, которые в Барнауле давал, читаю и вижу вполне ясно: раскол людям от выучки. С той поры я окончательно выправился и отвердел сам в себе на всю жизнь. Я правильно говорю: своя мысль — море, а чужие — реки, сколько их стекает в морской-то водоем, а вода морская все соленая.

К доктору гости приходили, всё люди солидные, вели они политический разговор, не стесняясь меня; это было лестно мне. Изредка являлся осторожный старик, серый такой, в очках. Сутулый, шея у него не двигалась, так что головой он ворочал по-волчьи, вместе с туловищем, и голос у него подвывал голодным, зимним воем. Приходил он всегда с вокзала с чемоданчиком, потрет руки, лысину, бороду и требует отчета:

— Ну-с, как живем?

К старикам у меня нет уважения, старики — вроде адвокатов, все грехи, поступки готовы защищать. Кроме того, бродяги, я не встречал ни единого старика с твердым умом. Конечно, я понимал, что этот — опасно политический волк, а после Читы политика мне была вполне понятна.

Вот, летней ночью, приходит он с чемоданчиком, точно из печки вылез, закоптел весь, высох, поставил чемоданчик на пол и вместо — здравствуй!— говорит:

— Ну-с, будет война.

Действительно: прорвало глупость нашу, снова заварили войну. Крестный ход, колокольный звон, «ура» кричат на свою погибель; доктор подмигивает:

— Вот тебе, мешок кишок, упрощение жизни!

Приуныл я. В ту пору никто не мог понять, какую пользу эта война принести может, хотя старик и доказывал доктору,

что война обязательно кончится революцией, однако в этом я утешения не видел. Революция — была, а толку не родила; после нее еще хуже стало.

Доктора потребовали в армию, а он был до того ушиблен этой войной, что сказал волковатому старику:

— Пожалуй, честнее будет, если я пулю в лоб себе всажу.

Старик — свое твердит:

— Разобьют нас в три месяца, и будет революция.

Говорить о времени войны этой — нечего. Вавилонское безумие и суета сумасшедших. Мужиков сибирских тысячами гонят в Россию, а оттуда на их место гонят чехов, венгров, немцев и — черт их знает, каких еще. Разноязычие, болезни, стон, смешение кровей. Бабы одичали. Прямо скажу — оробел я. Доктора гоняют из города в город, из лагеря в лагерь,— он по пленным делам был. Отойти от него я не решался, он меня от солдатства освободил. Замечательный человек,— ночей не спит, пить-есть время не находит, очень восхищался я трудами его. Непонятно было: что доброго сделали ему люди, из какого расчета заботился он о них? Да и люди-то чужие. На себя надежд нет у него, чинов, орденов — не ищет, с начальством — зуб за зуб. Был такой случай: загнали куда-то пленников и забыли про них, явился к нам прапорщик — жалуется, люди у него замерзают, дохнут с голода. Доктор своей властью от первого же поезда велел конвойным солдатам отцепить два вагона муки, гороха и разбазарил на пленников. Его — под суд за это. Однако — отложили суд до конца войны. Вообще он неистово законы нарушал в заботах о людях.

В Тюмени встретил я Татьяну, кружится около пленников, одета в краснокрестный халат, темные очки на носу, пополнела, урядливая. Сказала, что она, еще до войны, выучилась на фельдшерицу. Доктор, само собою разумеется, поднял меня на смех:

— Выучка, Яков, а? Никакого упрощения жизни не заметно, а?

А я и сам в то время,— от усталости, что ли,— поколебался в этих мыслях, потускнел разум у меня.

Вдруг — как будто приостановилась чертова мельница: по дороге в Тобольск, на какой-то станции подали доктору депешу, прочитал он ее, зажал в кулак, побелел весь и говорит, гладя горло:

— Яков? Царя прогнали...

Меня тоже покачнули эти слова. Никогда я не думал

о царе серьезно, и если говорили, что от него все зло,— не верил в это. Зло — везде видел я. А теперь подумалось: а что, как и в самом деле царь и был головой господства? И вот — оторвали голову.

Доктор шумит, помощник его, Окунев, чуть не пляшет, и у всех вижу радость. Неужели — доехали и, значит, выпрягайся, народ? Вижу — так оно и есть, ощетинился народ ежом, вцепился в землю, как ярый парень в девку, и видать, что того, что было десять лет назад, он теперь не допустит, нет! С войны люди побежали не теряя разума, хозяйственно, с винтовками, а у некоторых и пулеметы и весь воинский снаряд. А главное — что им ни говори, все понимают: верно — кричат — довольно с нас, терпели до конца. За этот год я, пожалуй, говорил больше, чем за все свои сорок три. В грудях у меня колокол гудел. Великие радости испытал я в тот год, большое уважение от людей ко мне видел!

Пространства там огромные, места глухие, не то, что здесь, в тесноте, где деревня деревню в бок толкает, вся земля дорогами исхлестана и на каждых десяти верстах село, на каждой сотне — город. Там, сквозь леса, не все доходило до нас вовремя, так что когда начался крутёж назад, к старым порядкам,— я этому сначала не поверил.

От доктора я отказался, его в Иркутск угнали, живу в селе, под Николаевском, вдруг — конники приезжают, приказывают: пожалуйте воевать! С кем? Почему? Офицер, кудрявый такой, большелобый, объясняет: с Москвой, там будто какие-то немецкие наемники господство захватили. Говорил он довольно разумно, а — не верилось ему. В Сибири Москву не любят. Покряхтели мужики и пошли, а человек двадцать отговорил я: война это — дело непонятное нам, кто ее затеял — мы не знаем, прячься, ребята, в леса, выжидай, что будет, гляди, где господа.

Тут, на мое счастье, точно с облака спрыгнули двое городских парней и сразу объяснили нам господские затеи.

— Эта война — против народа, вас зовут могилы рыть самим себе. Это, говорят, змея недодавленная подняла голову. А вам, крестьяне, надо держаться Москвы, там честно думают. Идите за большевиками, бейте господ по затылкам, по тылам,— вот ваше дело.

Говорили они замечательно. Мужики видят, что я тоже одинаково с ними думаю, очень довольны мной.

— Ты, просят, не уходи от нас, твоя голова нам полезна.

А колчаковские все нажимают на деревни, на мужиков,

поборы пошли, грабеж, хлеб тащат, скот уводят, сено — всё! Слышим — кое-где мужики в драку пошли, отстаивая свое хозяйство, а рабочие помогают им. Явился и к нам рабочий отряд, девять человек, начальник у них кочегар, Ивков, черный, сухой парень, длинный, сядет на лошадь — ноги до земли. Просят нас парни эти помочь им побить грабителей, их человек сорок, конных, верстах в тридцати в деревне бесчинствуют. Наши, тоже неоднократно обиженные, согласились, собралось шестьдесят семь человек, все больше солдаты, даже и старичье пошло. Не в охоту было это мне, однако и я тоже винтовочку взял, иду.

Подобрались к деревне по свету и дали бой. Ну, бой был не велик, троих подстрелили до смерти, человек пять поранили, у нас тоже один был убит, другой в колодезь свалился, утоп. Четверых пулями задело, в том числе и меня, по неосторожности моей, чкнула пуля в плечо, в мякоть. Стрелок я был никакой, охотой никогда не занимался, а, однако, распалило и меня; ружье — инструмент задорный, ты его только наведи, оно само стреляет. Делом этим мужики очень возгордились, хвастаются друг перед другом, домой шли — песни пели.

А как подошли к своему-то селу — глядь, там тоже кольчаки озоруют, пожар в двух местах, вой, крик бабий. Ну, тут Ивков этот, кочегар, показал себя достойным воякой, разделил он нас на две части, обошел село, и — нагрянули мы врасплох. Тут дрались сердито, одних убитых оказалось с обеих-то сторон тридцать семь. Зато — досталась нам пушка, два пулемета, ружья и множество всякого снаряда, да одиннадцать кольчаковцев на нашу сторону перешло.

После этого решили мы совсем в лес уйти и жить на военном положении; ушли, пятьдесят семь человек. Живем на вольном воздухе, людей бьем, песенки поем. Да.

Во всякой форме жизни есть свой недостаток; явился недостаток и у нас: начали привыкать люди к бродячей жизни по лесам да полям, ленятся. Рваные, драные, а пошиться — неохота. Доносишь свое донельзя — с мертвого снимаешь, а мертвый тоже не барином одет. Отбивается народ от своей настоящей, избяной жизни. Скушно мне; ночами — думаю: когда конец этому крутежу? И мертвого духа нанюхался я много. Да и людей жалко — много людей погибало от глупости своей, ой, много!

Хоть я человек не боевой, а тоже раззадорился, стрелял и колол с большой охотой, однако вижу: война — занятие глупое и дорогое. Главное тут — огромнейший расход на

пули,— сотни пуль истрачены, а людей убито десяток, остальные разбежались. Кроме того — война вредное занятие: портит людей.

У нас был парнишко один, Петька, так он до того избаловался, что, бывало, наберем пленников, он обязательно пристает — давайте расстреляем! Просит Ивкова: дозвольте пристрелить! Глазенки горят, рожица красная. Миловидный был и с виду тихий. Запретит ему Ивков, а он все-таки застрелит пленника и оправдывается:

— Это я — нечаянно!

Или скажет:

— Да он все равно раненый был, не выжил бы!

Раза два бил его Ивков за эти штуки. Таких, набалованных на убийство, у нас не один Петька был.

Ивков, начальник наш, был характера угрюмого, ума невидного и все моря хвалил,— он был кочегаром на военном судне, потом, за политику, на Амуре работал, в каторге. Человек бесстрашный,— потом оказалось, оттого бесстрашен, что незначительно умен. Любил он вперед всех выезжать, выедет, грозит ружьем, как дубиной, и материо ругается, а в него — стреляют. Людей — не жалел.

— Честные люди — они на море живут, говорил, а на земле основалась сволочь.

Вообще же больше молчал, все покряхтывал, спина у него болела, били его в каторге, что ли. Нахватаем пленников, он посылает к ним меня:

— Ну-ко, Язёв-Князёв, безобразие, поди усовести их, чтобы к нам переходили, а не согласятся,— расстреляем, скажи.

Вот эдак-то захватили мы разъезд, пять человек солдат конных, и один, пораненный в руку и в голову, начал спорить со мной, да так, что прямо конфузит меня. Вижу — не простой человек. Спрашиваю:

— Из господ будешь?

Сознался: офицер, подпоручик, да еще к тому — попов сын. Я ему угрожаю:

— Мы тебя застрелим.

Он — гордый, бравый такой, складный, лицо серьезное, и большой силы; когда брали его — оборонялся замечательно. Смотрит прямо, глаза хорошие, хотя и сердиты.

— Конечно, говорит, расстрелять надо, это такая война, без пощады, без жалости.

Как он это сказал — мне его жалко стало. Говорил я с ним долго, очень захотелось переманить к нам. А он ругает

нас, особенно же Ивкова, оказалось, он за тем и ездил, чтоб Ивкова, наш отряд выследить, у них, кольчаковцев, пошла про нас слава нехорошая.

— Погубит, говорит, всех вас дурак, начальник ваш.

И так ловко обличил он Ивкова за то, что тот не умеет людей беречь, и за многое, что я сразу вижу: все — правда, дурак Ивков. И вижу, что офицер этот,— Успенский-Кутырский, фамилия его,— обозлился на всех и ничего ему не надо, только бы драться. Вроде нашего Петьки. Говорю ему шутя:

— Драться хотите? Так идите к нам, бейте своих.

Он только бровью пошевелил. Рассказал я про него Ивкову, хвалю — хорош человек!

Ивков ворчит:

— На них нельзя надеяться.

— Вояки-то мы плохие, говорю.

— Это — верно; силы много, а уменья нет. Поговори с ним еще. Расстрелять успеем.

Угостил я его благородие господина Кутырского самогоном, накормил, чаем напоил, говорю ему: правда на нашей стороне.

— А черт ее знает, где она!— бормочет господин Кутырский.— Может, и с вами правда. У нас ее — нет, это я знаю.

Коротко сказать — согласился Кутырский на должность помощника Ивкову, вроде начальника штаба стал у нас, если по-военному сказать. Ну, этот оказался мастером своего дела. Он так начал жучить нас, так закомандовал, что иной раз каялся я: напрасно не застрелили парня. И все у нас нахмурились, но тут пошли такие удачи, такие хитрости, что все мы поняли: это — молодчина! Он вперед, напоказ не совался, никакой храбрости не обнаруживал, он брал лисьей ухваткой, тихонько, крадучись, и действительно берег людей, не только в драке, а и на отдыхе. Он и ноги у всех оглядит, не стерты ли, и купаться приказывает часто, и стрелять учит неумеющих, на разведки гоняет, просто беда, покоя нет!

— Кто вшей разведет — того драть буду!— объявил.

Ивкова и не видно за ним. Старые солдаты очень хвалили его, а молодежь недолюбливала.

Было нас под ружьем шестьдесят семь человек, и вот в эдаком-то числе он водил нас на такие дела, что мы диву давались — как дешево удача нам стоила.

Вначале он много разговаривал со мной, но скоро отстал,— ничего не может понять, натура не позволяла ему.

— Ты, говорит, Зыков, с ума сошел.

Чужих людей он не любил, поляков, чехов разных, немцев, а русских несколько жалел. Суров был. Нахмурится, зубы оскалит, и — каюк пленникам! Это уже — после, когда он Ивкова заменил; Ивкова убили. Он, Петька да солдат японской войны купались в речке, а на наш стан наткнулась компания офицеров, человек десять. Услыхал Ивков пальбу и вместо того, чтоб спрятаться в кусты, побежал к нам, а офицеры бегут от нас, встречу ему,— застрелил его конник. Петрушке голову разрубили, тоже помер. Признаться, так Петьку и не жалко было, надоел он баловством своим.

А Ивкова как сейчас вижу: лежит на траве, растянулся в сажень, руки раскинул крестом — летит! В одной рубахе, около руки — наган револьвер. Его все пожалели, даже сам Кутырский присел на корточки, рубаху застегнул ему, ворот. Долго сидел. Потом сказал нам хвалебную речь:

— Это, дескать, был великий страдалец за правду и настоящий герой.

Он с Ивковым очень подружился, они и спали рядом. Оба не говоруны, помалкивают, а всегда вместе и берегут друг друга. А меня Кутырский — не любил и даже — я так думаю — боялся. Бояться меня он должен был, потому что я все-таки не верил ему. Ивков правильно сказал: не полагается верить таким, которые от своих уходят.

Так вот, значит, так и жили мы, вояки. Через пленников известно было нам, что поблизости ищут нас кольчаковские,— сильно надоели мы им. Кутырский, который умел все выспрашивать, повел нас к Ново-Николаевску, и тут по дороге случилась неприятная встреча: наткнулись на обоз, отбили двадцать девять коней и, с тем вместе, санитарных пять телег да девять человек пленных нашей стороны, партизанцев.

И вот оказалось: в одной телеге лежит доктор, Александр Кириллыч, а между пленниками этот читинский матрос, Петр, так избитый, что я его признал только по лишнему пальцу на руке. А доктора я и совсем не признал, он сам меня окрикнул:

— Эй, мешок кишок!

Гляжу — лежит старик, опух весь, борода седая, лысый, глаза недвижимы и уж — больше не шутит. Приказал, чтоб я ему табачку достал; хрипит:

— Трое суток не курил, черт вас возьми...

А закурив, все-таки спрашивает:

— Упрощаешь?

Вижу я, что хоть он и доктор, а — не жилец на земле. Даже говорить ему трудно.

А матрос спрашивает: помню ли я Татьяну? Оказалось, что она в Николаевске прячется и ему нужно видеть ее по делам разным. Упросил Кутырского послать за нею человека — послали. Мне любопытно: что будет? На третьи сутки прикатила она в шарабане, встретила меня как будто радостно.

— Большевик?

— Ну да,— говорю.— Конечно.

Хотя я тогда еще не очень большевикам доверял. Собрала она всех наших и речь сказала: Кольчаково дело — плохо, надо скорее добивать его и наладить мирную жизнь. Кричит, руками махает, щека у нее дергается, очки блестят. Постарела, усохла, лицо темное в цвет очкам, голодное лицо, а голос визгливый. Очень неприятная. Вечером рассказала мне, что она давно настоящая партийная и даже в тюрьме сидела два раза. С моряком встретилась всего три месяца тому назад, когда он, раненый, в больнице лежал. Ну, это не мое дело. Спрашивает:

— А знаешь, что доктор-то, хозяин твой, тоже с кольчаковцами?

Тут я говорю ей:

— Вон он, доктор, в холодке лежит, под кустом.

Так ее и передернуло всю,— жаль, не видно было, за очками, как ее глазок играет; не могла она забыть, что пренебрег доктор ейной бабьей слабостью, не могла! Я это давно знал, а в ту минуту совсем удостоверился. Смеюсь, конечно, над ней, а она доказывает, что доктор — враг. Пошел я к нему, говорю:

— Тут — Татьяна!

Он только усы языком поправил; хрипит:

— Вот как...

И больше ни слова не сказал. Следил я весь вечер: не пойдет ли она к нему, не разговорятся ли? Нет, ходит она сторонкой, прутиком помахивает; подойдет к матросу своему,— он на телеге лежал,— перекинется с ним словечком и опять ходит, как часовой. Я к доктору два раза подходил — спит он будто бы, не откликается. Будить — жалко, а хотел я сказать ему что-нибудь. Даже при луне заметно было, какое красное, раскаленное лицо у него,— у здоровых людей при луне-то рожи синие.

К полуночи начали мы собираться дальше в путь. Спрашиваю Кутырского:

— Чего будем делать, Матвей Николаич, с пленниками?

Шестеро было их: офицер поляк, трое солдат, все раненые, доктор да женщина еврейка, эта тоже умирала, уже и глаза у нее под лоб ушли. Кутырский — кричит:

— На кой они черт?

Мужики предлагают добить всех, а Кутырский лошади своей морду гладит и торопит:

— Собирайся!

Уговорил я сложить больных на берегу речки и оставить. Офицера, конечно, застрелили. А доктор, на прощанье, пошутил, через силу:

— Тебе бы, мешок кишок, надо упростить меня.

А я говорю:

— Сам скоро помрешь, Александр Кириллыч.

Все-таки жалко было мне его, много раз умилял он меня простотой своей. Хороший человек. Его, однако, убили; старик солдат, которого Японцем звали, да еще один охотник, медвежатник. Отстали от нас незаметно, а потом Японец, догнав, говорит мне:

— Пришиб я доктора твоего, не люблю докторов.

Они там всех добили, прикладами, чтоб не шуметь. Попенял я им, поругался немножко,— Кутырский сконфузил меня:

— А если б, говорит, на них на живых разведчики наткнулись?

Н-да. Конечно,— убивать людей — окаянное занятие. Иной раз, может, легче бы себя убить,— ну, этого должность не позволяет. Тут — не вывернешься. Начата окончательная война против жестокости жизни, а глупая жестокость эта в кости человеку вросла,— как тут быть? Многие совсем неисцелимо заражены и живут ради того, чтоб других заражать. Нет, здесь ничего не поделаешь, бить друг друга мы будем долго, до полной победы простоты.

Признаться — подумал я: не Татьяна ли посоветовала Японцу доктора добить? Потому что у Японца табаку не было, а тут вдруг он папиросы курит, и по знакам на коробке вижу я, что папиросы — Татьяниного дружка. Может быть, она это — из жалости, чтоб зря не мучился доктор. Бывало и так — убивали жалеючи.

Вот вы видите: я человек кроткий, а, однако, своей рукой прикончил беззащитного старичка, положим — не из жалости, а по другой причине. Я ведь говорил, что стариков — не люблю, считаю их вредными. Своим парням я всегда говорил:

— Стариков — не жалейте, они — вредные, от упрямства, о дряхлости. Молодой — переменится, а старикам перемениться — некуда. Они — самолюбивы, а сами собой любуются; каждый думает: я — стар, я и — прав! Они — люди вчерашнего дня, о завтре старикн боятся думать; он, на завтра, смерти ждет, старнк.

Тоже и насчет разных хозяйственных вещей я учил:

— Крупную вещь — шкафы, сундуки, кровати — не ломай, не круши; а мелкое, пустяки разные,— бей в пыль! От пустяков все горе наше.

Да. Так вот — пришлось мне соткнуться с одним ядовитым старичком. Началось с того, что заболел я тифом, сложили меня в селе одном, у хорошего хозяина, и провалялся я почти всю зиму. Сильно болел, всю память выжгло у меня, очнулся — ничего не понимаю, как будто года прошли мимо меня. Мужики, слышу, рычат, костят Москву, большевиков матерщиной кроют. В чем дело? И — нет-нет, а шмыгнет селом старик в папахе, с палочкой в руке, быстрый такой старикашка, глазки у него темненькие, мохнатые и шевелятся в морщинках, как жуки,— есть такой жучок, крылья у него будто железные. Одет старик этот не отлично, а издали прнметен.

Время — весеннее, я кое-как хожу, отдыхаю, присматриваюсь к людям,— другие люди, совсем чужие, кто уныло глядит, кто сердито, а бойкостн, твердости — нет. Жалуются на поборы, на комнссаров. Я, конечно, разговариваю их, объясняю, хотя сам не очень понимал: в чем суть? И вот, сижу однова за селом, у поскотины, катится по дороге старик этот, землю палочкой меряет, углядел меня, отвернулся в сторону и плюнул. Стало мне это любопытно. Спрашиваю хозяина избы, где жил:

— Это кто же у вас?

— Это, говорит, человек праведный и умный; он обмана не терпит.

Говорит — нехотя, сурово.

Был там один человек, Никола Раскатов, инвалид войны, молодой парень, без ноги, без пальцев на левой руке, он мне подробно рассказал:

— Это — вредный старик, он тут у нас давно живет, ссыльнопоселенец; раньше — пчел разводил, а теперь построился в лесу, живет отшельником, ложки режет, святым притворяется. Он с начала революции бубнил против ее, а когда у него пасеку разорили — совсем обозлился. Теперь стал на всю округу известен, к нему издаля, верст за сто,

приходят, советы дает, рассказывает, что в Москве разбойники и неверы командуют, и всю чепуху, как заведено: сопротивляться велит.

И рассказал такой случай: воротились в одно село красноармейские солдаты, двое, а старики собрали сходку и говорят: «Это — злодей. У этого его товарищи отца, мать убили, а у этого родительский дом сожгли, хозяйство разорили, так что родители его теперь в городе нищенствуют; будут эти ребята наших парней смущать, и предлагаем их казнить, чтобы дети наши видели: озорству — конец!» Связали голубчиков, положили головы ихние на бревно, и дядя красноармейца оттяпал головы им топором.

«Вот куда метнуло»,— думаю. Приуныл даже. Кроме Раскатова, было там еще с десяток парней новой веры, однако они, по молодости да со скуки, только с девками озорничали. Да и нечего кроме делать им,— отцы, деды наблюдают за ними, как за ворами, и — чуть что не по-прежнему парнишки затевают,— бьют их. Я внушаю им:

— Разве не видите, где злой узел завязан?

Боятся, говорят:

— Перебьют нас.

«Эх, думаю, черти не нашего бога!»

Решил я сам поговорить с этим стариком значительным, понимаю, что затевает он крутёж в обратную сторону, хочет годы назад повернуть. А я очень хорошо знаю, что деревенские люди — глупые, я к этому присмотрелся. У мужика для всех терпенья хватит, только для себя он потерпеть не хочет. Все торопится покрепче сесть да побольше съесть.

Старик основался верстах в семи от села, на пригорке, у опушки леса; избенка у него, как сторожка, в одно окно, огородишко не велики, гряд шесть, три колоды пчел, собачонка лохматенькая — в этом все его хозяйство. Пришел я к нему светлым днем, сидит старик на пеньке у костра, над костром в камнях котел кипит,— в котле чурбаки мякнут; на изгороди вершинки елок висят, лыком связаны,— мутовки будут, значит. Рукодельный старичок; согнулся, ложки режет, не глядит на меня. Одета на нем посконь синяя, ноги — босые. Лысина светится, над правым ухом шишка торчит, вроде бы зародыша еще другой головы, что ли. Чувствую — шишечка эта особенно злит мою душу.

— Вот, мол, пришел я потолковать с тобой.

— Толкуй.

И — молчит. Действует ножом быстро, стружка так

и брызжет на коленки, на ноги ему. Чурбаки сырые, режутся, как масло, от ножа никакого скрипа нет. В котле вода булькает, обок старика собака лает. А все-таки — тихо кругом старика.

— Чего ради ты людей мутишь?— спрашиваю.— Какая твоя вера, какая затея?

Молчит. Опустил голову и даже глаз не подымет на меня, как будто и нет перед ним человека. Ковыряет чурбак ножом и молчит, подобно глухому. Собачонка излаялась на меня до того, что дудкой свистит, а он и собаку унять не хочет. Сидит и только руками шевелит, да правое плечико играет у него, а кроме этого — весь недвижим, словно синий камень. Хорошо, спокойно вокруг его, старого черта; за избенкой — пахучий лес, перед ней, внизу — долина, речка бежит, солнышко играет.

«Ишь ты, думаю, как ловко отделился от людей, колдун».

Очень досадно мне было. И ругал я его, и грозил ему — ничего не добился, ни единого слова не сказал он мне, так я дураком и ушел. Иду, оглядываюсь: на пригорке костер светит. Соображаю:

«Действительно — это вредный зверь, старик!»

Не скрою: задел он меня за душу нарочитой глухотой ко мне. Меня многие сотни людей слушали, а тут — на-ко!

Через сутки, что ли, хозяин, глядя в землю быком, говорит мне:

— Что ж, Князёв, отлежался ты, шел бы теперь куда тебе надо.

И жена его, и обе снохи, и батрак-немец,— все глядят на меня уж неласково, говорят со мной грубо,— понял я, что старик рассказал им про меня. Да и все на селе избычились, будто не видят меня, а еще недавно сами на разговор со мной лезли. Задумался я: человек одинокий, убрать меня в землю — очень просто. Кого это обидит? Кто на это пожалуется в такие строгие к человеку дни? И тут — вскипело у меня сердце.

Пошел к Раскатову, говорю:

— Ну-ко, спрячь ты меня дня на три в незаметное местечко.

Простился я с хозяевами честь честью и будто бы на свету ушел из села, а Раскатов запер меня в бане у себя, на чердаке. Сутки сижу, двое сижу и третьи сижу. А на четвертые дождался ночи потемнее и пошел. Завязал голыш в полотенце, вышло это орудие вроде кистеня. Был у меня и реворверт, я его Раскатову продал; для одинокого

человека в дороге это инструмент опасный,— он характер жизни выдает.

Пришел к старику, стучусь смело, думаю: он к ночным гостям, наверно, привык, не испугается. Верно: открыл он дверь, хоть и держится рукой за скобу, ну, я, конечно, ногу вставил между дверью и колодой, и это — зря; старик сразу понял, что чужой пришел. Храпит со сна:

— Кто таков? Чего надо?

Собачка его вцепилась в ногу мне, тут я старика — по руке, а собаку — пинком; собаку надо бить под морду, снизу вверх, эдак ей сразу голову с позвонка сшибешь.

Вошел в избу, дверь засовом запер, а старик, то ли еще не узнал меня, то ли испугался,— бормочет:

— Почто собаку-то...

Шаркает спичками. Тут бы мне и ударить его, да это, видишь ли, не больно просто делается, к тому же и темно мне. Ну, засветил он лампу, а все не глядит на меня, от беззаботности, что ли, а может, от страха. Это и мне жутко было, даже ноги тряслись, особенно — когда он, из-под ладони, взглянул на меня, подался, сел на лавку, уперся в нее руками и — молчит, а глаза большие, бабьи, жалобные. И мне тоже будто жаль его, что ли. Однако говорю:

— Ну, старик, жизнь твоя кончена...

А рука у меня не поднимается.

Он бормочет, хрипит:

— Не боюсь. Не себя жалко — людей жалко,— не будет им утешения, когда я умру...

— Утешение твое, говорю, это обман. Богу молиться будешь или как?

Встал он на колени, тут я его и ударил. Неприятно было — тошнота в грудях, и весь трясусь. До того одурел, что чуть не решился разбить лампу и поджечь избенку,— был бы мне тогда — каюк! Прискакали бы на огонь мужики и догнали меня, нашли бы в лесу-то. Место мне незнакомое, далеко не уйдешь. А так я прикрыл дверь и пошел лесом в гору, до солнца-то верст двадцать отшагал, лег спать, а на сонного на меня набрели белые разведчики, что ли, девятеро. Проснулся — готов! Сейчас, конечно, закричали: шпион, вешать! Побили немного. Я говорю:

— Что вы деретесь? Что кричите? Тут, верстах в семи, большевики под горой стоят, сотни полторы, я от них сбежал, мобилизовать хотели...

Испугались, а — верят, вижу.

— Отчего кровь на онучах?

— Это, говорю, рядом со мной человеку голову разбили прикладом, обрызгало меня.

Ну,— обманул я их и напугал. Пошли быстро прочь и меня с собой ведут. Хорошая у меня привычка была — дурака крутить в опасный час, несчетно выручала она меня. К утру я с ними был на ровной ноге, совсем оболванил солдат. А-яй, до чего люди глупы, когда знаешь их! Во всем глупы: и в делах, и в забавах, и в грехе, и в святости.

Хотя бы старик этот... Ну, про него — будет. Это мне неохота вспоминать. Твердый старик был, однако...

Да, да,— глупы люди-то... А всё — почему? Необыкновенного хотят и не могут понять, что спасение их — в простоте. Мне вот это необыкновенное до того холку натерло, что сжели бы я не знал, как надобно жить, да в бога веровал,— в кроты бы просился я у господа бога, чтобы под землей жить. Вот до чего натерпелся.

Ну, теперь вся эта чертова постройка надломилась, разваливается, и скоро надо ждать — приведут себя люди в легкий порядок. Все начали понимать, что премудрость жизни в простоте, а жестокие наши особенности надо прочь отместь, вон... Необыкновенное — черт выдумал на погибель нашу...

Так-то, браток...

1923—24 гг.

Валентин Катаев

РОДИОН ЖУКОВ

I

Вольный картузик обязательно не налазит на обширную, ежом стриженную голову, и козырек обязательно съезжает со лба на сторону, куда-нибудь поближе к уху; штаны, хотя бы и закатанные по-рыбацки выше колен, топорщатся добрым флотским сукном, и запылившиеся тесемки исподних болтаются вдоль крутых, как булыжник, икр; ситцевая рубаха с васильковыми стеклянными пуговичками, аккуратно заправленная в брюки, облегает широкую грудь и надувается на спине пузырем...

Одним словом, какое бы барахло ни напялил на себя матрос Черноморской эскадры, как бы ни прикидывался вольным, куда бы ни отводил свои карие глаза с опаленными топкой ресницами — ничто не поможет. Все равно каждый встречный-поперечный увидит, что это не простой батрак из немецкой экономии, не рыбалка, шатающийся ради праздников из своего камышового куреня на баштан к девкам, не бродячий цыган, охотник до чужих лошадей и дынь...

И рябой урядник, прыгающий в клубах белой, как мука, пыли на кожаных подушках рессорной немецкой брички, поравнявшись на проселке с таким человеком, обязательно высунет из холщового капюшона свое страшно глупое лицо с кукурузными усами, поправит под пылевиком шашку и, чихая на солнце, тревожно подумает:

«А не нравится мне этот человек! Не забрать ли милого друга с собой да не поворотить ли обратно в волость?»

Но лошади, отбиваясь свистящими хвостами от слепней, бегут шибкой полевой рысью — только что разбежались как следует! Перепелки шныряют по жнивью, воздух лениво обтекает горизонт, и в его горячем течении плывут, колеблясь стеклянной зыбью, стебли трав, обкошенные могилы, копны и полынь, растущая на межах. А там,

смотришь, впереди уже завидиелись иад зеленью испаряющнеся коллодием черепичные крыши экономий, мачта кордона, беседка над обрывом и яркое, как синька, отрадное море. Куда уж тут останавлнваться н с полдорогн возвращаться обратно! Самое время теперь купаться, и к помещику сегодия зваи иа праздиик. Досадно не быть.

Да н подозрительный человек остался далеко позади. Может, его уже и вовсе нет иа дороге. Может, он свернул по своей нужде в кукурузу, прнсел над серой, туго полопавшейся землей среди толстых, узловатых палок и смотрнт, вытянув шею, на кочаиички, плотно обвериутые в жесткне острые лнстья, из которых ие пробиваются юные русые волосы, а зеленые металлические мухн стоят над ннм звенящим роем. Поди ищи его. «А, да иу его!— думает урядинк, пряча лнцо поглубже в капюшон.— Мало ли их тут шатается по-иад граинцей, всяких флотских, беглых, которые... Авось бог милует... Нехай гуляет, пока ие повесят».

И катится пыль колесами по проселку; слабый ветерок отиосит ее вместе с дилииьканьем колокольчнка в сторону, как кисею, н, словио сквозь шелковое сито, сквозь воздух она оседает тончайшим порошком на морщинах флотских штанов (от пылн они делаются бархатные), на ячменных бровях и на чуть курчавых, опалеииых знамеиитым огием ресницах вышедшего из кукурузы, с ремешком на шее, человека.

II

В числе семисот матросов, высаднвшихся с броиеносца «Потемкнн» на румынскнй берег, был Родиои Жуков. Ннчем замечательным не отлнчался он от прочих матросов мятежного корабля. С первой минуты восстания, той самой минуты, когда командир броиеносца в ужасе и отчаянии бросился на колени перед командой, когда послышались первые ружейные залпы и трупы иекоторых офицеров полетелн за борт, когда Матюшенко, коренастый н ладный, словно отлнтый из бронзы, с треском отодрал дверь адмиральской каюты,— с той самой мииуты Родион Жуков жнл, думал и действовал так же, как и большинство остальных матросов — в легком тумаие, в восторге и жару — до тех пор, пока не пришлось сдаваться.

Никогда до снх пор не ступала иога Родиона иа чужую землю. А чужая земля, как бесполезиая воля, широка н горька.

Непрнвычно красив и бел показался Родиону Жукову

город Констанца. Множество всякого интересного народу вышло на пристань встречать, как героев, русских моряков. Тут были лодочники в полосатых тельниках под пиджаками, и таможенные чиновники в пелеринах, застегнутых на груди пряжками в виде львиных голов, и хозяева турецких бригантин в фесках, и господа с биноклями, и дамы в узких жакетах с буфами на рукавах, и множество прочего городского люда. Нарядные зонтики и соломенные шляпы двигались по зеленой синеве глубокого, неспокойного моря. Шлюпки подскакивали на крутых волнах, терлись скрипучими уключинами о дикий камень набережной и с плеском ухали вниз, в пахнущий бычками мрак.

Полицейские оттесняли от матросов напиравшую толпу. Офицеры то и дело прикладывали пальцы в лимонных перчатках к расшитым золотыми ветками околышкам кепи и извинялись перед дамами. Дамы махали платочками. Толпа кричала «ура».

Среди сочувствия, шума и общего любопытства, стесняясь и разминая широкие плечи под тяжестью своих угловатых ладных сундучков, прошли матросы через пристань и вступили на мостовую города. И потом на казарменном дворе фотограф с ужасно черными бакенбардами раздвинул длинную гармонику своего аппарата и, сунув напомаженную, завитую голову под темное сукно, как одноглазое чудовище о пяти ногах (две свои, три деревянные), гремя и блистая медными винтами, полез, скрипя, на матросов...

И двадцать с лишним лет прошло с тех пор.

Где только не побывала эта лиловая, глянцевая фотография-группа, наклеенная на грубый картон, разукрашенная затейливыми штемпелями и медалями с парижской выставки! Долгое время выгорала она на солнце в витрине констанцского фотографа под холщовой маркизой с розовыми фестонами, была она затем отпечатана во французском иллюстрированном журнале и перепечатана в американском; купленная на память, лежала она не в одном сундучке под чистой голландкой с синим воротником и бритвой в дешевом футляре на самом дне, оклеенном обоями, и в сумрачной канцелярии одесского охранного отделения на столе подле полукруглого окна ее тщательно подшивал захудалый делопроизводитель с янтарными от табака ногтями, а потом, на докладе, полковник в коротком мундире, распространявшем запах штиглицевского сукна и одеколона, скользя по ней вываренными рыбьими глазами

и показывая мизинцем, спрашивал филера: «Этого знаешь? А этого, который сидит без фуражки, кто таков? Не Жуков?..»

Да мало ли...

Но прошло двадцать лет, двадцать таких лет, что, пожалуй, впору и сотне. Повалились с аптек золоченые деревянные орлы, ворвался народ через арку Главного штаба в Зимний дворец, пробежал по лаковым царским покоям, вырвал из рамы царский портрет, а самого царя увезли матросы на тройках в Сибирь, в тайгу, туда, где до сих пор лишь волки выли да звенели кандалы каторжан. Поднялась метель, лес встал стеной, завыл, заскрипел, застрелял — то ли сучьями застрелял, то ли чем другим — только царя и видели!

И теперь эта фотография, вытертая и пожелтевшая с годами, висит под стеклом на почетной стене музейного зала, в дворянском красивом доме в Москве. Подходят к ней разгоревшиеся с морозу экскурсанты — девушки и юноши в заштопанных, видавших виды шинельках,— постоят минутку, поглядят с любопытством и спешат дальше по залам, отражаясь всей своей молодой бедностью в стеклах витрин и расчищенных паркетов. Да, если правду сказать, мало интересного в этой неподвижной группе. На фоне белой стены с тремя решетчатыми окнами стоят, сидят и полулежат на земле в четыре ряда люди, русские матросы. Некоторые из них еще в военной форме, некоторые уже переоделись в вольное. Сбоку видны румынские офицеры в высоких кепи и белых кителях с незнакомыми медалями. Однако, как ни ищи, Родиона Жукова среди них нет. Только и всего. Мертвый кусок картона, выгоревший отпечаток некогда жившего, документ истории. Молодость жадна и тороплива. Подавай ей поскорей прокламации, метательные снаряды, станки подпольных типографий. Молодость любит дело, вещь... Чтоб можно было потрогать руками, убедиться. А фотография — это что!

А ведь двадцать лет тому назад, в румынском городе Констанце, в конце июня, после обеда, на казарменном дворе росли калачики и крученые паничи. С моря задувал летний ветер, крепкий и соленый, как огуречный рассол. В нем полоскались матросские воротники и ленты. У конюшни по брюхо в бурьяне стоял грязный надменный козел. Натянув мохнатую веревку и раздув верблюжьи свои ноздри, он неподвижно смотрел на толпу снимающихся людей и на фотографа. И пока фотограф щелкал деревянной рамой

кассеты и наводил объектив, через двор вперевалку прошла молодая старообразная румынка в подоткнутой юбке и выплеснула из корыта помои. Козел злобно шарахнулся в сторону, тряхнул бородой и снова изумленно окаменел. Мыльная вода вздулась среди прибитых землей стеблей, зашипела радужными пузырями и тотчас стала с шорохом сохнуть. Фотограф присел и, подняв левую руку, правой быстро снял с объектива крышечку. Из порта вытек густой пароходный гудок. Матросы неестественно замерли.

А Родион Жуков в это время находился за конюшней и, упершись в дикий камень стены, смотрел в море. «Потемкин» стоял совсем близко от пристани. Среди фелюг и грузовых пароходов, окруженный яликами, яхтами и катерами, рядом с тощим румынским крейсером «Елизавета», он был бесполезно велик, трехтрубен и сер. Белый андреевский флаг, косо перекрещенный голубым крестом, все еще висел, как конверт, высоко над орудийными башнями, шлюпками, реями. Пусто было на палубах и мостиках броненосца, лишь кое-где торчала прикладом вверх винтовка румынского часового. Но вот флаг дрогнул, опал и коротенькими скачками стал опускаться. Обеими руками снял тогда Родион фуражку и так низко поклонился, что кончики новых георгиевских лент мягко упали в пыль, как оранжево-черные деревенские цветы чернобривцы.

— Что, моряк, каешься? — раздался вдруг у самого Родионова плеча веселый голос.

Родион поднял голову и увидел знакомого минного машиниста. Он стоял, широко расставив короткие ноги, ухватившись горячими руками за тесемку ворота. Его рябое некрасивое лицо с медвежьими глазами было сведено курносой судорогой. Кадык двигался по горлу так трудно и туго, словно он подавился железным яблоком и задыхается от того железного яблока — не может проглотить.

— Что, землячок дорогой, с тюрьмой своей прощаешься? Слезы горькие проливаешь? Драгоценному царскому флагу кланяешься?

— Жалко все-таки, Степан Андреич, линейного корабля,— тихо ответил Родион Жуков.

Тут минный машинист ударил изо всей мочи фуражкой о землю и закричал:

— Зря, товарищи, на берег высаживались, зря сдавались!

А уж вокруг него собралось несколько матросов.

— Просто срам! Орудия двенадцатидюймовые, боевых

патронов — как тех дынь несчетных в погребе, наводчики один в одного. Зря Кошубу не послушались! Кошуба правильно говорил: кондукторов — паршивых шкур — за борт, потопить «Георгия Победоносца», идти в Одессу высаживать десант! Весь бы гарнизон подняли! Все бы Черное море! Эх, Кошуба, Кошуба, было б тебя послушаться... А такая ерунда получилась!

И увидели матросы то, чего никогда до сих пор не видели: минный машинист заплакал.

— Прощай, товарищ Дорофей Кошуба,— проговорил он,— прощай, линейный корабль «Князь Потемкин Таврический», прощай пропащая воля...— поклонился в пояс, и будто в ответ на его поклон над кораблем развернулся цветистый румынский флаг.

Тогда матрос надел измятую, покрытую пылью фуражку, и вдруг слезы мгновенно высохли на его рябых щеках. Словно вспыхнули — лоб побледнел.

— Ладно,— сказал он сквозь зубы,— ладно, не один Кошуба на свете. За нами не пропадет. Всю Россию подымем. Всех помещиков сожжем. Верно говорю, Жуков?

Он страшно заругался в Христа-бога-мать, поворотился спиной и пошел, пошатываясь, через бурьян в казарму, расставив широкие рукава, тесно застегнутые пуговичками у самых стиснутых кулаков.

В последний раз поклонился Родион Жуков своему кораблю и вместе с другими матросами печально возвратился во двор.

III

Только два прапорщика, все кондуктора да еще с ними человек тридцать команды продали товарищей — остались в Констанце, дожидаясь прибытия русской эскадры, чтобы сдаться на милость адмирала. О них нечего и говорить.

Остальные матросы поделили между собой по-братски судовую казну,— каждому вышло рублей по двадцать,— распродали румынским франтам на галстуки георгиевские ленты с фуражек, получили у префекта документы, купили на базаре вольное платье и разошлись навсегда по белу свету кто куда. Многие попали в такие страны, о которых раньше никогда и не слыхивали,— в Канаду, в Америку, в Швейцарию... Те же, которые остались в Румынии, поступили на заводы, на рудники, пошли на полевые работы.

Вместе с двумя своими земляками, тоже нерубайскими,

Тарасом Попиеико и Ваией Ковалевым, Родион Жуков иаиялся в батраки к русскому поселеицу-сектаиту в большое, скучное и богатое село, неподалеку от города Тульчи. За два года службы во флоте матросские спины и руки порядочно отвыкли от полевой работы. Одиако время подошло самое горячее, а чужой хлеб даром есть не приходится.

Поскидали земляки башмаки, завернули рукава выше локтей, поплевали иа ладони, и такая пошла работа, что только золотая полова пыльиая столбом встала от земли до самого выгоревшего степиого иеба. Целый месяц они вставали задолго до зари и выезжали в поле. Весь день возили хлеб и молотили, а ко двору возвращались только после захода солнца, когда уже за погребом, в потемках, под иавесом ярко пылала печь, стреляла в пламени сухая маисовая ботва и стряпуха, окружеииая огиенным паром, помешивала палкой варево, отворачиваясь от горького дыма и утирая подолом глаза.

Тотчас после ужииа матросы укладывались посредиие двора и крепко, без сиов и дум, засыпали под теплым, молочным от звезд небом.

Так прошел самый горячий мужицкий месяц июль, а в иачале августа, когда обмолотили хлеб и уже иачали возить с баштанов арбузы и дыни, однажды иочью Родион Жуков без причины проснулся и сквозь сон, еще не сошедший с ресниц, увидел Ковалева. Ои стоял неподвижио среди двора. Родион приподнялся иа локте. Ковалев не шевелился.

— Ваня, ты что? — спросил Жуков сонно.

Нежно и неслышно переступая босыми ногами по холодеющей земле, Ковалев подошел к Родиону, присел у его плеча на корточки и заглянул в лицо. Милая продолговатая голова Ковалева сразу заслоиила собой полнеба великолепных звезд.

— Лягай, Ваня, спи,— прошептал Жуков,— ие думай.

Но Ковалев загадочно манил его и легонько тащил за рукав. Родион встал и пошел. Они остановились посреди двора.

— Бачь,— сказал Ковалев,— погреб, бачь — веялка.

— Ну, бачу.

— А звезды, те три звезды, что так иизко стоят иад самым степом, бачишь?

— Бачу,— еле слышно вымолвил Родион.

— Так они же те самые звезды и есть! — воскликнул Ковалев в восторге, хлопая себя по штанам.— Те самые

звезды, что из наших окошек видать каждое лето!

И, обнаружив под темными усиками свои белые, как известь, зубы, он залился беззвучным, счастливым детским смехом.

И точно: между погребом и веялкой очень далеко горели три звезды, словно валялись в степи уголья гаснущего цыганского костра.

— Покурим, чтоб дома не журились.

Родион крякнул, достал из-за пазухи мешочек с крупным сухим румынским тютюном, скрутил папиросу, брызнул из кресала красными искрами и стал курить.

Была самая середина ночи. Собаки уже перестали брехать, а петухи еще не начинали петь. По всему большому селу, словно с акации, шел со степи, от этих звезд, ровный, теплый, серебристый воздух. На крышах плетеных клунь, на погребе, на длинной завалинке под решетчатыми окнами хаты — всюду, где повыше, тяжело и прочно, как глиняные, лежали круглые большие тыквы.

— Слушай, Родион,— снова зашептал Ковалев,— а вот так, чуешь, правей веялки, идет наша улица, а далее стоит церковь. А в церкви на спаса пахнет чернобривцами и мятой, стоят в церкви люди, а найкраще всех среди людей — дивчата; рукава у них шиты розочками, в косах богато разноцветных лент, на шейках бусы и монисты, а в ручках своих держат они невозможно красивые букеты. Родя, чуешь? Аж пить захотелось.

Ковалев вдруг воровато и весело оглянулся, точно желая сказать нечто важное, но не сказал, а вместо этого затанцевал с ноги на ногу. Громадными бесшумными ногами он бросился к погребу и через минуту вернулся, тяжело дыша.

— Сейчас напьемся, Родион. Принимай снаряд!

Родион протянул руки, и холодная с погреба дыня хлопнулась в его ладони с налету всей своей зрелой тяжестью, как продолговатый звонкий орудийный снаряд. Товарищи присели на завалинке, и пока Ковалев отколупывал ногтем тугой ножик на цепочке, Родион Жуков, положив дыню на колени и гладя ее, смотрел не мигая прямо перед собой во тьму. И уже не видел Родион ни знакомых звезд, ни своей хаты, ни веселого праздника спаса, когда вокруг церкви так сильно и радостно пахнет дегтем, маком и медом; не видел ни расшитых рукавов, ни лент, ни карих глаз, ни свечей. Черным морем обступила Родиона черная чужая земля; звезды сгустились, разгорелись и легли перед глазами низкими огнями портового города. Зашумел город, за-

горелись эстакады в порту, побежали люди, путаясь в бунтующем огне, длинными рельсами грянули железные ружейные залпы; качнулся двор корабельной палубой, зашипел над головой ослепительным рубчатым стеклом прожектор — медный интавр,— побежал светлый круг по волнистому берегу, вспыхивая, как мел, побледневшими углами домов, стеклами окон, бегущими солдатами, красными лоскутьямн, зарядиыми ящиками, лафетамн.

И увндел себя Родион потом днем в орудийной башне. Наводчик припал глазом к дальномеру. Башня поворачивается сама собой, наводя на город насквозь пустое, сняющее внутри зеркальными нарезами дуло. Стоп. Как раз точка в точку против купола театра, похожего на раковину. Там, среди невиданной роскоши, за зеленым сукном, осанистый генерал держнт военный совет против мятежников. В башне канителится жидкий телефонный звонок. Электрический подъемннк с медленным лязгом выносит из погреба снаряд — он качается иа цепях — прямо в руки Родиона. Сиаряд тяжел и холоден, ио сильны матросские руки. «Башенный огонь!» В тот же миг зазвенело в ушах, точно ударило что снаружи в башенную броню, как в бубен. Вспыхнул огонь, и обварило запахом жареного гребня. Дрогнул рейд во всю ширь. Закачались на рейде шлюпки. Железная полоса легла между броненосцем и городом. Перелет. Разгорелись руки у Роднона. Опять телефон. А второй снаряд сам из подъемника в руки лезет. Доконаем генерала, погоди! «Башенное, огонь!» И вторая полоса легла поперек бухты. Снова перелет. Ничего, авось в третий раз не подкачаем. Снарядов небось хватит. Полны имн погреба. Легче дыни показался Роднону третий снаряд. Только бы пустить его поскорее, только бы дым поскорей повалил из купола. А там пойдет пнсать губерння! Но что-то не звонит телефон... Поумнрални там, к чертовой матери, все наверху, что ли?.. Башня словно сама собой поворачивается обратно: «Отбой!» — и снаряд, выскользнув из Родноновых пальцев, опускается обратно в люк, медленно погромыхнвая цепями подъемника. «Да что же это такое? Эх, продалн, продали волю, чертовы шкуры. Сдрейфнли! Уж еслн бить, так бить до конца! Чтобы камня на камне не осталось!»

Очнулся Родион — точно сто лет прошло, а на самом деле прошла всего одна короткая мннута. Ковалев успел отколупнуть свой ножик и, вытащив из оцепеневших рук Родиона дыню, ловко, одним кривым движением взрезал ее впродоль, раскрыл, как писанку, и выхлестнул внутрен-

ности. В темноте сильно и душисто запахло спелой канталупкой. Ковалев протянул Родиону скибку.

— Добрая дыня. У хозяина купляли, сами выбирали. Кушайте на здоровьечко.

Он слабо забелел зубами, вдруг выронил ножик и, как невеста, положил свою голову на плечо Родиона.

— Скучаю я, Родион. Аж душа болит. Хочу до дому.

— А ты не брешешь?

— Ей-богу, не брешу. Скучаю.

— До Дуная шаг,— сказал тогда, тихо усмехаясь, Жуков,— через Дунай — два. До дому — три. Пойдешь со мной, Ваня?

Ковалев закрыл лицо руками, зажмурился и быстро затряс головой:

— Ни... Не пойду...

Он погладил Родиона по плечу и застенчиво прошептал:

— Боюсь, Родя, под суд идти. На каторгу присудят.

— Тогда добре,— еще тише усмехнулся Жуков,— тогда добре. Тараса я знаю, Тарас не пойдет. У Тараса баба дома хуже ведьмы...

Он прислушался. Тарас с присвистом храпел посреди двора, лицом в землю.

— Пойду один.

IV

Бывает голова тяжелая, неподвижная: клонит ее ко сну, к темной земле, а какая это земля, своя ли, чужая ли — все равно... Такой не добудишься. Бывает милая, веселая, лукавая голова, но услышит она песню про загубленную волю, увидит родные звезды над чужой степью — задумается вдруг, упадет в бессилии на плечо товарища. Словом, не голова, а головушка. Бывает голова крепкая, шишковатая, ежом стриженая, лоб низок, да широк; затылок крут; шея крепка — не согнется. Западет в такую голову мысль — колом не вышибешь. Вспыхнет огонь, опалит кончики ресниц несносным жаром корабельных топок, завоет осипший, разорванный морским ветром человеческий голос — и конец. Пиши пропало. Уж не голова это, а стальной снаряд, начиненный порохом. А порох такая вещь, что лежит, лежит, да уж когда-нибудь непременно выпалит — на то и выдуман. И нет ей больше покоя. Незаметно тлеет фитиль. И летит она, снедаемая огнем, напропалую.

Через несколько дней Родион Жуков переправился через гирло Дуная, возле Вилкова, на русскую сторону.

План у него был такой: добраться степью вдоль берега моря до Аккермана, оттуда на барже или на пароходе в Одессу; из Одессы до села Нерубайского рукой подать, а там как выйдет... Одно только знал Родион наверняка, что к прошлому для него возврата нет, что прежняя его жизнь, подневольная матросская жизнь на царском корабле и трудная родная крестьянская жизнь дома, в голубой мазанке с синими окошками среди жестких розовых и желтых мальв,— отрезана от него навсегда. Теперь — либо на каторгу, либо — скрываться, поднять среди своих восстание, жечь помещиков, идтн в город, в комитет.

По дороге Родион рассчитывал узнать от людей, что делается в России: скоро ли мир с японцами, есть ли где восстание, что слышно о «Потемкине», не дает ли царь воли?

Но села и экономии ему приходилось обходить степью, а в степи встречались люди, которые ничего не знали. Проходили в пыли отар черные, седые, глухие от старости чабаны. Проезжали подводы, полные желтых степных огурцов; прямо на них, вытянувшись во весь рост животом вниз, дрыхли, подпрыгивая, хлопцы. Переваливалась на высоких колесах, громыхая ведром, бочка. Веснушчатый мальчик в немецкой соломенной шляпе сидел на ней верхом и нахлестывал горячими кожаными вожжами потную кобылу; из туго забитого чоба все-таки просачивалась вода; крупные капли падали на дорогу, сворачивались и катились в пыли, как пилюли. Далеко от дороги, нагнувшись в ряд, стояли бабы в сборчатых юбках и копали картошку. Завидев Родиона, они бросали работать и, приложив ладони к глазам, долго и равнодушно смотрели ему вслед. Они ничего не знали.

Иногда дорога подходила к самому берегу и тянулась вдоль страшно высокого, отвесного обрыва. Тогда Родиона обдавало ветром (а в степи между тем было совсем тихо и жарко), окатывало холодным шумом шторма, ослепляло снегом и содой бушующей пены, резало глаза синей зеленью горизонта. Родион подходил к самому краю обрыва и, чувствуя головокружение, заглядывал вниз. Там, на многие мили, ярко белел на солнце блестящий песок, поминутно заливаемый прибоем. Взбаламученные волны волокли и крутили вдоль берега по гравию блестящее черное тело дохлого дельфина. Там лежали килем вверх длинные просмоленные баркасы, сохли на шестах невода, и рыбалка, обливаясь, пил воду из плоского бочонка, задрав голову и слегка согнув колени; он увидел Родиона, замахал руками

и закричал что-то, может быть очень важное. Но тонкий водяной туман стоял во всю громадную высоту обрыва, пушечное эхо звенело бронзой в оглушенном воздухе, а ветер, захлебываясь, свистал в ушах, как в насквозь пустом орудийном дуле. «Гай, гай, гай!» — только и долетело до Родиона снизу. И снова дорога поворачивала в безлюдную степь, отливавшую фиолетовой слюдой бессмертников, в тишину, в зной. А ночью, когда начинались звезды и сверчки заводили свою хрустальную музыку, во тьме загорался костер, и Родион шел на него без дороги — пятками по колючкам — напрямик, через темную степь к людям. Люди молча сидели вокруг казанка и ужинали. Родион вырастал у костра такой громадной тенью, точно головою своею она упиралась в звезды. Люди ничуть не удивлялись и, не расспрашивая его ни о чем, протягивали ему ложку. Родион садился с ними и, обжигаясь, ел горький от дыма кулеш, а поев, вытирал ложку об траву. «Лягайте с нами»,— говорили люди. Родион ложился, раскинув руки, среди чужих, молчаливых людей, среди чужой, молчаливой, древней степи. «А как слышно про волю?»—спрашивал вдруг среди ночи Родион. «Кто его знает? Болтают люди, что около Балабановки опять Котовский пожег экономию... А может, и не Котовский... А может, и брешут. Кто его знает? Мы по степу ходим». На рассвете, разбуженный холодом, Родион осторожно, чтобы не потревожить людей, вставал и снова шел, неся на лице ночную сырость.

И еще меньше, чем в Румынии, знал Родион о том, что делается в России,— и шел наугад, одиноко и тревожно, как слепой, без устали, лишь бы поскорее дойти до Днестровского лимана.

Однажды ранним утром дорога вновь свернула к обрывам, и Родион увидел вдалеке мачту кордона, черепичные крыши и беседку над морем. Солнце, вероятно, только что встало, но его не было видно за утренними облаками, холодно и нежно просвечивающими, как раковины. Море после шторма стало шелковым. Мертвая зыбь длинными морщинами лежала вдоль холодного берега, слабо отражая и катя на своем глянце зарю. Нанесенные вчерашним штормом мели отчетливо и кропотливо рябили, едва покрытые водой. На них, по колено в воде, ходили только голые голубые мальчишки. Они наклонялись, искали руками по дну, колотили по воде палками и кричали. Вдруг один из них вытащил широкую серебристо-розовую рыбу. Она отчаянно рванулась и забилась. Из разорванных цепкими пальцами жабр,

пурпурных, как петушиный гребень, потекла кровь, распускаясь в воде мутными пионами. «Ло-ви-и-и!» — закричал мальчик и, размахнувшись, забросил рыбу на берег. Две белоголовые девочки стояли, наклонясь над ивовой корзиной, с ужасом и восторгом разглядывая жирных окровавленных рыб, сгибавшихся в сильных судорогах и сбивавших с себя крупную прозрачную чешую.

Тогда Родион заметил, что по мелям двигаются целые стада этих рыб. Они натыкались на мальчишек, проходя меж ногами, неуклюже изворачивались и зарывались в песок. Сверху, очень увеличенные выпуклой водой, они походили на темные тени мин, медленно идущих по дну.

— Слепые рыбы! Слепые рыбы!— заорало несколько мальчиков в гимназических фуражках с гербами, пробегая мимо Родиона. Стаскивая через головы на бегу матросские рубашки, они бросились со всех ног вниз по вырезанному в глине спуску и, кинув одежду на песок, бухнулись в воду.

Слепые рыбы... Родион уже слышал о них. Иногда во время сильных штормов ветер загоняет из гирла Дуная в море громадные стаи карпов. Речные рыбы, попадая в соленую воду, слепнут и чумеют. Морское течение несет их, оглушенных штормом, вдоль чужого берега все дальше и дальше за много десятков миль от тихой родной воды. Шторм утихает, и они, умирающие, обессиленные и ничего не видящие в непонятной тяжелой среде, тупо и медленно раздувая жабры, передвигаются стаями, натыкаясь на берег, на мели и на ноги пришедших за ними людей. О них рассказал Родиону лодочник-контрабандист, когда они сидели в сырых камышах Дуная, дожидаясь, пока проедет дозорный катер. Теперь Родион увидел их.

V

Он спустился на берег, разделся и вошел в море. По колено в ледяной, стеклянной воде, от которой ломило ноги, качаемый зыбью, Родион дошел до мели и заглянул в воду. Темная большая рыба толкнулась в его ногу. Родион схватил ее за туловище. Она выскользнула из пальцев, юркнула вбок и, брызнув плавниками, пропала в замутневшем песке. Родион оступился, приподнятый волной, и окунулся с головой в воду. Его ожгло холодом. Сквозь крепкую соль, стоящую на глазах, он увидел рыбу, которая, раздув жабры, плыла, высунув из воды рот пятаком. «Брешешь»,— сказал Родион, задыхаясь, и схватил ее за голову. Рыба забилась, рванула хвостом и вновь ушла вниз. Родион ударил

ладонью по воде. Мимо него, тяжело вырывая колени из воды, проскакал голый мальчик, нагнулся, вытащил рыбу и забросил ее на берег. Родиона разобрала досада, и он принялся бегать по мели и бегал до тех пор, пока не выбросил на берег двух карпов. Тогда он вышел на песок и, стуча зубами, стал одеваться.

Между тем берег наполнялся. Дачники и дачницы то и дело появлялись на спуске. Бородатые мужчины в чесучовых рубахах, подпоясанных шелковыми шнурами с кисточками, шлепали парусиновыми туфлями по мягкой, цвета сухого какао, пыли. Они прижимали к груди толстые книги. Дамы в пенсне вели за руки голеньких, коричневых от загара детей. Отличные девушки с шеями и руками, гораздо более темными, чем их белые платья, размахивали на весу своими соломенными шляпами, похожими на цветочные корзины в лентах. Веселые восклицания и шум стояли над морем. Море поголубело. Небо прочистилось. Ярко заблестело солнце. Все великолепно сдвинулось.

Одевшийся, не обсохнув, весь мокрый под одеждой, Родион взял своих рыб и поспешил подняться наверх в степь.

— Матрос — в штаны натрес!— закричал озорной мальчишка в ситцевой рубахе с выбитыми передними зубами, кубарем скатываясь вниз мимо Родиона.

Родион прибавил шагу. Его губы полиловели, колени дрожали, пальцы были белы — он весь ежился от непривычной свежести ледяного долгого купанья. Ветер окатил его холодом в последний раз на верху подъема. Он пошел в степь, стараясь обойти дачи. В степи уже было жарко, но, несмотря на это, Родион продолжал дрожать. Глазам было неприятно горячо, ресницам щекотно. «Чертовы рыбы»,— проговорил он, не попадая зубом на зуб. Перед ним показалась дача. Он обошел ее огородом и наткнулся на другую. За живой изгородью сирени и туки виднелся молодой сад. Родион разобрал руками терпкие ветки с шишечками и увидел ряды фруктовых деревьев, обмазанных известью. Между ними шла дорожка, усыпанная смоленской крупой зеленоватых лиманных ракушек. На дорожке лежал клетчатый мяч. Дальше он увидел надутое, как парус, полосатое полотно террасы, ступени, клумбу бело-желтых лилий, похожих на узко нарезанные крутые яйца, среди них — лаковые детские игрушки и человека в черной косоворотке, лежащего в гамаке.

— Видите, в чем тут штука,— говорил человек, раз-

махивая газетой,— отчасти я с вами согласен. С одной стороны, мы стоим перед несомненно отрадным фактом пробуждения от тысячелетнего сна народных масс, которые почувствовали наконец на своей шее гнет самодержавия и произвола; перед фактом, так сказать, освободительного движения наиболее передовой части пролетариата и крестьянства и так далее. С этим я вполне согласен и, как революционер, готов приветствовать с этой точки зрения наступившую — подчеркиваю, наступившую,— революцию, но...— Он быстро поворотился в гамаке всем своим дородным телом, отчего гамак заскрипел, показал кремовую щеку с большой шоколадной родинкой и, строго сняв пенсне, посмотрел на своего собеседника. Его собеседник стоял на ступеньках террасы и, держа в руке стакан радужного молока, прищурившись, ел кусок калача с медом, мажа губы и близоруко роняя крошки на неопрятную бороду.— Но, доктор, я, как марксист, с другой стороны,— подчеркиваю, с другой стороны,— я никак не могу согласиться...

Ветка хрустнула под ногой Родиона. Господин в гамаке прервал свою речь и увидел его. Родион стоял в кустах, не смея сдвинуться с места. Господин строго кашлянул, прерванный на самом важном месте посторонним звуком, увидел в руках у Родиона рыб и, кисло сморщившись, замахал руками.

— На кухню, голубчик, неси их на кухню. Все утро нет от этих рыб отбою. Ступай, братец, на кухню. Кухарка купит. Ступай. Ну-с...

Родион вышел из кустов на огород и услышал за собой громкий голос господина:

— Ну-с, подчеркиваю, с другой стороны, я никак не могу согласиться, ни-ка-ак не могу согласиться...

Родион пошел по огороду. В глазах плыли ситцевые пятна. Озноб не проходил, хотя тело уже высохло. В голове надоедливо повторялся голос господина: «Никак не могу согласиться, никак не могу согласиться, никак не могу согласиться...» Пройдя в конец огорода, Родион уперся в кухню. Она стояла на отлете в бурьяне. Из трубы шел дым. На пороге сидела окровавленная кухарка и чистила рыбу. С трудом продираясь через бурьян, осыпающий его штаны желтой пылью цветений, Родион подошел к женщине.

Но она вдруг насторожилась, швырнула недочищенного карпа в синюю эмалированную миску, вытерла руки об фартук, вскочила и, поправляя в волосах железный гребень,

побежала через двор. Посередине двора возле цистерны, образуя круг, стояли праздные люди. Нарядные няньки и дети, разодетые ради воскресенья, спешили туда с разных сторон. Из средины круга неслись в высшей степени странные, ни с чем не схожие звуки, отдаленно напоминающие не то собачье тявканье, не то шипящий визг круглого точила. Родион подошел к толпе и из-за спин и голов увидел нечто необычайное. Худой бритый человек с очень длинным нерусским носом и маленькими голубыми глазами, одетый в грязное парусиновое пальто с клапаном, стоял на коленях, сосредоточенно наклоняясь к невиданной небольшой машинке. В ней с хрипом крутился толстый, как бы костяной, валик. Из машинки торчала узкая, не очень длинная медная труба, похожая на рупор. Шипящие, визгливые звуки с терпеливым трудом выдирались из нее, захлебываясь и наскакивая один на другой. Родион продвинулся плечом вперед, прислушался — и вдруг окаменел. Несомненно, эти звуки были не что иное, как очень маленький визгливый и хриплый торопливый человеческий голос, неразборчиво говоривший что-то сквозь рупорное шипение, как сквозь искры точильного камня. Едва Родион, прислушавшись, разобрал несколько слов, как шипение усилилось, загрохотало, и человек остановил машинку. Он порылся в мешке и вставил другой валик.

— Марш «Тоска по родине»,— сказал он, потея, и закрутил ручку.

Тут послышались крошечные рулады игрушечного духового оркестра, и Родион явственно разобрал мотив и пыхтящие такты марша.

Там! там-там!

Там-там! там-там! там-там!

— Я уез-жаю в даль-ний путь! Же-най-и-де-ти-до-маждуть! — с удивлением пропела кухарка и слегка притопнула босой ногой. На нее цыкнули.— Нечистая сила,— сказала она очарованно и задом пошла к кухне, притоптывая и приседая.

Родион пошел следом за ней и предложил рыб. Кухарка взяла заснувших карпов за жабры, попробовала на вес, подозрительно посмотрела на Родиона против солнца и спросила:

— А ты с какого куреня?

Родион махнул рукой.

— Не треба,— злобно сказала кухарка, возвращая рыбу.— Гуляй, откуда пришел. Нечистая сила. Каторжан!

Родион снова вышел на огород. Он бросил липких карпов в картофель на горячую землю и почувствовал головокружение. Оно, казалось ему, наплывало со двора лающими звуками тошнотворного марша; звуки эти все усиливались; они гремели уже литаврами и тромбонами в самых Родионовых глохнувших ушах, так что мозгам становилось больно от назойливого их такта; весь воздух вокруг горел нежной и вместе с тем непереносимо громкой музыкой полудня. «Я уезжаю в дальний путь, жена и дети дома ждуть...» — пело вокруг него хором на разные голоса. Он прошел за половником и попал на гарман. Длинные и высокие скирды соломы со всех сторон обкладывали дачу. На гладко убитой земле лежал гранитный рубчатый камень и стояла новенькая лакированная красная косилка с золотой иностранной надписью. Отшлифованные, обглоданные работой деревянные ее грабли блестели в воздухе, как крылья ветряных мельниц. На гармане было пусто. Родион сел в железное седло покачнувшейся косилки, и его стошнило. Он утерся рукавом, пошел и лег в тень, облокотясь головой о колючую скирду. Где-то на даче плотно щелкали крокетные шары, отдаваясь в висках револьверными выстрелами. За половником показались белые платки любопытных баб. Преодолевая болезнь, Родион встал, пошел в степь и попал на дорогу. Ничего не видя вокруг, он побрел по ней и прошел версты полторы. Вдруг раздалось дилинькание колокольчика, и мимо Родиона пронеслось облако белой, как мука, пыли. Он посторонился и увидел лишь потрескавшееся кожаное крыло брички, капюшон, кукурузные усы и красный нос. В тоске Родион свернул с проселка, залез в кукурузу и пошел без дороги в сторону. Дойдя до могилы, он лег в полынь и, дрожа, пролежал в беспамятстве до ночи.

VI

Уже степь была в свежей росе и небо в звездах, когда Родион очнулся. Ему очень хотелось пить. Он сорвал ветку полыни и стал сосать полную росы седую кисть. Но роса была горькая и горела во рту. Тогда Родион вспомнил Дунай — огромную темную массу мутной воды, отражавшую пресные звезды. Он вспомнил до тошноты острый зеленый запах тростника, щелкающий и скребущий ракушкой язык лягушек, болотную теплоту речного дна и вдруг понял, что заболел оттого, что пил дунайскую воду.

Голова по-прежнему была тяжела и слаба, живот ныл

нежной сосущей болью. Охваченный тошнотой одиночества и жажды, не зная, как выйти на дорогу и куда по ней идти, как выпутаться из полыни и жара, Родион встал, с трудом преодолевая вес своего больного тела, и побрел наугад через степь. В тихом и совершенно чистом воздухе явственно слышалась струнная музыка. Звуки скрипки, флейты и контрабаса весело летели по степи. «Не иначе как свадьба»,— подумал Родион, покорно идя на музыку. Он спотыкался и почти ничего не видел вокруг от обморочной темноты, пятнавшей глаза. Музыка становилась все отчетливее. Родион пробился сквозь кукурузу и внезапно очутился у задней стены хлева. Он услышал кислую свиную вонь, чавканье навозной жижи под копытцами и тяжелую давку трущихся боками животных. Где-то по бревнам переступали лошади и сквозь сон болтали индюки. Родион обошел скотный двор и увидел издали с незнакомого бока знакомый сад. Он был теперь полон света, движения и музыки. Бумажные фонари, готовые легко и жарко воспламениться изнутри, висели между деревьями молодого сада. По дорожкам двигались высокие тени людей. Дикий виноград просвечивал прозрачной зеленью меж переплетов террас и беседок. Родион пробрался к цистерне и приподнял тяжелое, холодное ведро. Вода сильно качнулась, ведро вырвалось из ослабевших рук и, воя, полетело в колодец, увлекая за собой гремящую цепь и наполняя бетон цистерны воющим гулом раскрутившегося ворота. Железная ручка наотмашь ударила Родиона в плечо и отбросила в сторону.

— А ну, кто там балуется у цистерны! — закричал из темноты мужской голос.— А ну, нарву уши.

Родион бросился на кухню, на огород и, остановившись, перевел дух. Пятка наступила на нечто холодное и скользкое. Родион нагнулся и увидел смутно белевшего дохлого карпа.

— Чертовы рыбы,— сказал он с отвращением и обошел дачу справа.

Перед ним открылся обрыв. Большая луна только что взошла над морем. Она еще была на четверть закрыта обрывом. Длинные травы совершенно отчетливо чернели на ее несветящемся красном диске. Родион подошел к самому обрыву, сел в траву и свесил вниз ноги. Он услышал редкий шум ночного прибоя, качающийся и пересыпающий ракушками. Степь ныла, как ушибленная ключица, и в помраченных глазах ночи плавало багровое пятно.

Родион в отчаянии опустил голову и вдруг совсем близко услышал благородный волнистый голос, который запел:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас мрачно гнетут...

Это была та самая песня, с которой «Потемкин», как призрак, вырастал у охваченных огнем берегов и, как призрак, трижды проходил сквозь враждебную цепь кораблей, мимо наведенных на него пушек. Это была песня Матюшенки и Кошубы, песня судового совета, которая железом ложилась поперек рейдов; песня, пригибавшая к морю штормовые тучи и трепавшая над башней двенадцатидюймовых орудий флаг со словами славы: «Свобода, Равенство и Братство». Она вернула Родиону помраченное сознание. Сильный и приятный баритон продолжал петь:

На бой кровавый, святой и правый,
Марш, марш вперед, рабочий народ...

Родион ухватился руками за траву. Совсем близко от него, вдоль обрыва, шли, обнявшись, двое: высокий студент в белом кителе, с длинными волосами, закинутыми наверх и открывавшими прекрасный костистый лоб, и девушка в светлом платье. Их плечи были прикрыты одним плащом. Они поравнялись с Родионом.

На бой кровавый, святой и правый,—

тихо и высоко повторил женский голос.

Родион встал перед ними во весь рост.

— Ах! — слабо воскликнула девушка и подняла белые руки к вискам.

Студент остановился и отступил. Луна, поднявшаяся довольно высоко и побледневшая, ярко осветила лицо матроса. Измученное тифом, оно было ужасно. Девушка вырвалась из плаща и побежала, поспешно мелькая белым платьем, к даче.

— Черт знает что,— пробормотал студент и, волоча плащ, быстро пошел назад, нагоняя барышню широкими шагами.— Шляются по ночам подозрительные типы,— проговорил он издали уже грозно. Родион услыхал усердные шаги. Два удаляющихся светлых пятна соединились и пропали, покрытые черным. Раздался легкий смех девушки, волнистый голос мужчины пропел негромко:

Вчера я видел вас во сне
И полным счастьем наслаждался.

Родион вырвал с корнем пучок травы и бросил его под ноги. Он сильно глотнул свежего морского воздуха и пошел к даче.

Невероятно яркие кусты и деревья, насквозь озаренные мышьяковым дымом зеленого бенгальского огня, удушливо вспухали во всю ширину сада. В беседке ужинали. Родион увидел стеклянные колпаки свечей, винные пробки, оловянные капсюли, груши, гусеницу на рукаве кителя, локоть и кремовую щеку.

— Господа, земский начальник ничего не пьет,— сказал сквозь звон посуды громкий бас.— Земский, выпей водки!

Чья-то рука подхватила падающую бутылку.

Четыре ракеты выползли, шипя, из гущи бенгальского дыма и с трудом пошли в гору.

— Дети, дети, на крокетную площадку! — закричал грудной женский голос.

Мимо Родиона пробежала длинноногая девочка в розовом платье. Задевая головой фонари, он пробрался на ощупь сквозь сад и увидел крокетную площадку. Посредине стояла дама с высоким бюстом и хлопала в ладоши: «Дети, стройтесь в пары». «Шествие, шествие!» — закричали удивительно разодетые дети, прыгая в оранжевом дыму римских свечей. «Россия, вперед»,— сказала дама, выводя из толпы большую краснощекую девочку в сарафане и кокошнике. У девочки в руках лежал сноп ржи. «Верка, не загорись!» — завизжал мальчик в желтой фуражке, одетый японцем. «Молчи, макака, япошка несчастный!» Закачались бумажные перья, и серебряный шлем рыцаря блеснул каленой лунной синевой, и такой синевой блеснула в кадке под яблоней темная вода, в которой плавало надгрызенное яблоко. Невидимый оркестр заиграл марш. Кто-то пробежал с фонарем, задев Родиона локтем. «Господа, пожалуйте на площадку! — невероятно громко закричал знакомый бас.— Что же вы, господа! Земский, пойдем смотреть шествие!» Гости и слуги окружили детей. Родион вырвался из яркого чада и, очумелый, пошел, шатаясь, задами под деревьями, как слепая рыба среди подводных растений, то и дело попадая на песчаные мели лунного света. На заднем дворе, между конюшнями, гуляли батраки, пришедшие поздравлять хозяина с хорошим урожаем. На сосновом столе, вынесенном на воздух, стояли бочонок пива, два штофа зеленой водки, миска жареной рыбы и пшеничный калач. Пьяная кухарка в новой ситцевой кофточке с оборками сердито подавала гуляющим батракам порции рыбы и наливала кружки. Захмелевший гармонист в расстегнутой рубахе, расставив ноги, качался на стуле, перебирая басовые клапаны задыхающейся

гармоники. Два парня с равнодушными лицами и несгибающимися туловищами, взявши друг друга за бока, подворачивали каблуки, вытаптывая польку. Несколько батрачек в новых платках, с грубыми щеками, блестящими от помидорного сока, вяло притопывали неудобными козловыми башмаками. Сам помещик в дворянской фуражке с белым верхом и в чесучовом сюртуке, скрипящем мелкими морщинами вокруг его небольшого тела, стоял, улыбаясь, у стола. В крупной руке он держал на весу стакан водки. Совершенно нетрезвый мужик, спотыкаясь, бегал вокруг него и, подмигивая кухарке, выговаривал сильно заплетающимся языком:

— Господину Андрею Андреевичу — слава, хозяину нашему, господину помещику — слава!

Родион обошел весь двор. В аллее мимо него, шелестя бумажными нарядами и обдав душистым ветром, с шумом пробежали дети. Цыганка била в бубен. Маленький казак, в фуражке набекрень, хлестал кнутом кривляющегося, как обезьяна, японца. Рыцарь блистал голубым серебром лат, девушка в кокошнике, хохоча, волокла сноп. Карлик с привязанной бородой размахивал бомбой.

За полковником, по колено в бурьяне, шатался страшно пьяный батрак с диким белым лицом. Он лупил кулаком в мазанную стену и кричал:

— Три рубля пятьдесят копеек! Подавись, чтоб тебя от моих денег разнесло! Три рубля пятьдесят копеек!

Родион вышел на баштан и споткнулся о дыню. Он нагнулся и сорвал ее. Она была тепла и тяжела. Пить! Луна стояла высоко над скирдами, сухо обложившими с трех сторон экономию. Наискось через зеленое небо проползла ракета. В лунном свете Родион увидел вокруг себя, на земле, множество поздних дозревающих дынь. Багровый дым бенгальских огней, блистательный и трескучий чад фейерверка, крутившегося и стрелявшего над дачей, шагающие, как на ходулях, тени людей — все это мятежом встало перед глазами Родиона. Тяжелая дыня лежала у него на руках, как снаряд. «Башенное, огонь!» — загремело в ушах Родиона, и в этот миг в небе вспыхнула и выстрелила ракета. Он стиснул в ладонях дыню. Ладони зажглись. Пить! Родион полез в карман за ножом и нашарил спички. «Башенное, огонь, башенное, огонь!» — било в Родионовы уши, как в бубен. «Продали, продали волю, чертовы шкуры! Не послушались Дорофея Кошубы!» Родион вдребезги разбил

дыню об землю и вытащил из кармана коробок. Ровным ветром тянуло со степи, через гарман, на дачу. Перепрыгивая через дыни, Родион добежал до первой скирды и сунулся в солому. Легкий сухой жар тронул его лицо, и в эту минуту он вспомнил непереносимый огонь корабельных топок, добела раскаленные колосники, обливающуюся вонючим кипятком машину и полосатые куски разрубленных шлюпок, корчащиеся в топке и обжигающие пламенем кончики ресниц...

И потом, идя без дороги через степь, спотыкаясь на межах, обдирая ноги о жнивья, плутая и задыхаясь от жажды, Родиону всю ночь снилось, что он плывет без конца и края, пересекая темное море, незримо проходит сквозь цепи враждебных эскадр, рубит шлюпки, стреляет, и розовое зарево за ним казалось ему заревом сожженного артиллерией города.

Он шел всю ночь, а на рассвете залез в виноградник и до вечера пролежал без сознания в сухом, одуряющем зное пустого шалаша, среди пыльных гроздей и бирюзовых от купороса листьев. Вечером он встал и опять пошел, уже ничего не видя перед собой и ничего не думая, а в полночь пришел, увязая по колено в песке, в Аккерман. Он обошел пустынные улицы, наткнулся на казачий разъезд и поспешно свернул к лиману.

На темном берегу, над зеленой от лунного света водой, над баржами и дубками стояла древняя турецкая крепость. Лунный свет косо лежал в узких амбразурах. Над зубчатыми башнями беззвучно кружились ночные птицы. Родион перебрался через дикий, заросший будяком вал, на котором лежала, блестя тусклой медью, щербатая пушка, и вошел в крепость. Посреди крепостного двора стояла черная, древняя, полусгнившая виселица. Под ней густо росла полынь. Родион лег в ее роскошную холодную росу и впал в беспамятство.

И не знал Родион того, что где-то, между Бухарестом и Одессой, над степью низко пела и ныла телеграфная проволока, белая стружка, извиваясь, выползала из медного колеса постукивающего Морзе; полковник, благоухая, говорил в телефон; кухарка стояла перед столом в канцелярии земского начальника и давала показания; и усатый человек в черном пиджаке и парусиновом картузе, приехавший из Одессы в Аккерман со вчерашним пароходом, храпел на лавке пароходной конторки, положив под голову летнее пальто.

Проснувшись утром, Родион сходил на базар и выпил кувшин молока. Его тут же стошнило. Он пошел на пристань и лег на горячую рогожу в тени тюков забитых в доски молотилок и аккуратно обшитых парусиной круглых корзин с персиками и виноградом. Изнемогая от тошнотворного блеска желтой воды, горящей оловом на солнце во всю громадную ширину Днестровского лимана, оглушенный рокотом вагонеток, шелковым шелестом ссыпаемого по желобам зерна, визгом и стуком паровых лебедок грузящегося парохода, бранью ломовиков, очумелый от душной мучной пыли, неподвижно стоящей в горячем воздухе, Родион не видел усатого человека, который дважды прошелся мимо него, равнодушно засунув руки в карманы.

Около трех часов дня Родион на последний полтинник купил билет третьего класса до Одессы и взошел на пароход.

VII

Пароход отошел от Аккермана в четыре и пришел в Одессу в десять.

Хлопотливо взбивая лопастями колес кофейную воду, он весело пробежал сначала вдоль скучных берегов лимана, обгоняя парусники и баржи. Потом обогнул Каролино-Бугас — песчаный, горячий мыс, возле которого солдаты Бугасского кордона с зелеными погонами стирали у берега белье, подробно освещенные солнцем. Впереди, резко отделяясь от желтой воды лимана, лежала черно-синяя полоса мохнатого моря. Едва пароход, минуя качающиеся буйки и шаланды, вошел в нее, как его сразу подхватила качка, обдало водяной пылью крепкого морского ветра. Мрачные клубы сажи, обильно повалившие из сипящих труб косыми коричневыми полосами, легли на парусиновый тент кормовой палубы. Машина задышала тяжелей. Кузов заскрипел тяжелым грузом корзин.

Белоснежная пена, взбиваемая под кожухами колес, волнисто бежала вдоль берегов. Официант во фраке, хватаясь за поручни белыми нитяными перчатками, пронес на палубу из буфета дымящуюся бутылку лимонада. Четыре слепых еврея в котелках и синих очках ударили в смычки. Чья-то соломенная шляпа уплывала за кормой, качаясь на широкой полосе пены. Бессарабские помещики играли в карты в каюте второго класса, то темневшей, то светлевшей от волн, заливавших иллюминаторы. Усатый человек в летнем

пальто с поднятым воротником и парусиновой фуражке, тесно натянутой на самые уши, перегнувшись за борт, равнодушно плевал в темно-зеленую воду, бегущую по легкой тени парохода.

Но ничего этого не видел Родион. В тяжелом бреду он лежал внизу среди скрипящего багажа и мучающихся от качки евреев, на грязном полу, в узком проходе между кухней и машинным отделением, откуда через отдушины шел горячий воздух, насыщенный запахом нагретого железа, кипятка и масла.

Когда он очнулся, уже был вечер и пароход подходил к городу. В синем промежутке, между бочками и ящиками, Родион увидел красный поворачивающийся глаз маяка, острые звезды портовых фонарей над гофрированными крышами пакгаузов и контор, топовые огни пароходов, зеленые и малиновые сигналы дубков.

Над головой, по верхней палубе, с грохотом пробежали матросы. Пристань навалилась на пароход. Пассажиры стеснились у сходней. Родион хотел встать, но не смог. Человек в летнем пальто подошел и взял его под локти. Родион с трудом встал и, шатаясь, пошел к сходням.

Ноющий визг конок, тарахтенье дрожек по дробной мостовой, хлопанье подков, высекающих беглые искры, гул ночной толпы — вся эта головокружительная музыка хлынула в уши Родиона и оглушила его. Он, шатаясь, сошел по сходням на пристань, и сейчас же к нему подошли двое.

— Жуков? — спросил один из них.

— Он самый,— весело ответил человек в летнем пальто.

Родиона крепко взяли под руки и посадили на извозчика.

Чувствуя сквозь жар и бред, что с ним происходит очень неладное, теряя сознание и валясь на плечи спутников, Родион в последний раз увидел великолепный блеск крутящегося, как фейерверк, города, услышал музыку, играющую на бульваре вальс... В последний раз перед ним вспух багровый чад бенгальского огня, пробежали дети в невиданных нарядах, выстрелила ракета, повалил из соломы белый дым, люди заметались среди фонариков на даче, охваченные с трех сторон пламенем, загремел набат. «Башенное, огонь!» — ударило в уши, как в бубен... Кошуба побежал с перекошенным лицом по забытому трапу... и Родион перестал видеть.

— Пошел,— сказал усатый человек, стоя на подножке

извозчика и нежно поддерживая вялое, тяжелое от обморока и в то же время как бы опустошенное тело Родиона.

— Знаешь, куда?

Извозчик молча кивнул клеенчатой шляпой, хлестнул лошадь и повез мимо обгорелой и изуродованной эстакады, мимо будок, где персы в нестерпимо ярком свете калильных ламп обмахивали прекрасные крымские фрукты шумящими бумажными султанами, мимо публичных домов, в город...

1925

Александр Яковлев

ЖГЕЛЬ

I

За болотами с синим маревом, за лесами за дремучими, в комарином царстве — Жгель.

Как морок она, эта Жгель, как пьяный аль похмельный сон. Идти к ней — дороги дальние да топкие; в лесах, что стоят стенами и справа и слева, вековечный мрак и седые мхи. Идет путник да ждет: сейчас в самой дреми будет избушка на курьих ножках, а там и баба-яга. Ан вот лес оборвался, стал стеной, уперся, точно идти дальше не хочет — боится. А прямо перед ним, на неохватной поляне толпой толпятся черные и красные трубы, и густой дым из них валит прямо в небо и чадно коптит копотью лицо небесное.

Над иными трубами пламя вздымается — так вот богатырской свечой сажени в полторы и стоит, полыхает. Красные кирпичные здания покоями да глаголями протянулись по обезображенным закоптелым полям, вздымаются двумя, а иной раз тремя ярусами. Рядом вот с ними, саженях в ста каких, гляди — расселся широко черный сарай, из крыши дым валит — прямо из щелей. Это горно. А деревушки там и здесь жалкие, подслеповатые, тоже будто закопченные. Глянуть издали,— батюшки, ведь ад! Похоже: и пламень, и дым, и копоть, и шум, и гудок басовитый гудит на каркуновском заводе.

И люди здесь под стать этим сумрачным лесам, этому пламени, дыму и копоти. Такие же сумрачные. Идет иной по дороге — закопченный, волосами зарос по самые глаза, полушубок и шапка рваные,— вот брось на дорогу, никто не возьмет, разве ногой брезгливо пошевелит.

— А-а, жгеляне бросили. Мастеровщина голопузая.

И обругается.

А жгеляне гордятся:

— Наша Жгель всем нос утрет. Мы кто? Мужики? Ни

в каком разе. Мы спокон веков мастера. Кто муравленую посуду царю Алексею Михалычу поставлял? Мы. Чьей посудой держатся трактиры в Москве? Нашей. Теперь и сочти, сколь мы сила в своем деле. Ты не гляди, что у меня полушубок в дырах. Мы, жгеляне,— проломи головы. Нам новое не к лицу: пропьем в первом кабаке.

Ну, само собой, не все пьяницы да голяки — и степенного народу, гляди, тоже хватит. Купцов-тысячников и то дюжиной считай: Фомины, Еремины, Гладилины, Сахаровы, Ревуновы... Жгель — вроде дно золотое, потому что жгельская глина славна исстари, умей только руку протянуть — и бери богатство полными горстями. И берут, и богатеют. Жгельские купцы не только в округе — в Москве гремят. Али вы не слыхали про жгельских купцов?

И первый-то между ними — Мирон Евстигнеич Каркунов.

Вот гляди, от дороги вправо длинные двухъярусные постройки из красного кирпича глаголем протянулись, это — каркуновская фарфоровая фабрика... Эге-ге-ге! Как не быть первым человеком, ежели вот они какие, корпуса-то! У иного купца жгельского и фабрика есть, да что в ней толку, ежели на всей фабрике рабочих с сотню не наберется? А у Каркунова на фабрике рабочих до тысячи человек работает, правда, больше бабы, а все-таки тысяча — цифра немалая.

За фабрикой на пригорке, мимо которого прохлыстнулась дорога, кичливо стоит просторный белый каменный дом с террасой стеклянной,— здесь сам Мирон Евстигнеич живет. Фабрика перед домом внизу, вся как на ладони. Знают рабочие: подойдет хозяин к окну — ему сразу видать, что делается на фабричном дворе, как горны горят, а глянет он из своего окна в одно фабричное окно, в другое — уже знает, как дела во всей фабрике двигаются. Орлом налетит, ежели неуправка какая,— у него не зазеваешься. Накричит, и всегда раз! раз! затрещину и мастеру, и рабочему, и бабе, и мальчонке,— он не поглядит, в каких ты чинах ходишь: проштрафился — получай по заслугам. Чем дело держится? Хозяйским глазом да хозяйской строгостью. Они — главнее всего. Недосмотришь — все может прахом пойти.

Мирон Евстигнеич маху не даст, у него прахом дело не пойдет... Ого-го-го! Не таков Каркунов, чтоб свое упустить.

II

От сергеева дня до покрова во всей Жгели переломная неделя: от лета к зиме — смена работ и рабочих, расчеты за старое и новые наймы и сделки.

Еще черти на кулачки не дрались, так темно, а на дворе каркуновской фабрики толпа гудит. Крикливыми галками кричат бабы и девки. Они густо обсели крыльцо конторы, пронзительно ругаются. Их много: точильщицы, уборщицы, мяльщицы — и кто-то из них ужо пойдет с угрюмым лицом отсюда, ненанятая, это все знают, и каждая теперь думает: не я ли? И уже заранее ненавидит своих счастливых соперниц и заранее готова сбить цену... Только степенные, франтоватые писарихи держатся спокойно и в стороне,— эти знают себе цену.

А мужики сгрудились у белого дома, у террасы. Мужики нанимаются не в конторе, а вот здесь. И нанимать их будет сам Мирон Евстигнеич. Они стоят угрюмо, смотрят на освещенные окна хозяйского дома, переговариваются вполголоса.

— Ишь, скажи пожалуйста: со вторыми петухами пришли, а он не спит.

— Евстигнеич-то?

— Да.

— Богатым никогда не спится. Они двужильные.

— Палач-то приехал?

— А как же? Без него дело не обойдется. Где ни где он, а к этому дню обязательно прискачет.

— Ну, загремят ныне чьи-то ребрышки.

— Уж не без этого.

— Выпить бы. Есть, что ли, у тебя?

— На сотку найдется. Пойдем.

— Для храбрости надо.

Утро все растет и растет. Вот внизу, у конторы, бабы закричали пронзительно, заволновались, наседают на крыльцо. А мужики здесь заговорили сумрачно:

— О-о, никак губахтер пришел?

— Он. Ну, теперь и наш, надо быть, скоро.

— Счас кухарка на двор выходила, говорит, что чай пьет.

— Эх, хорошо быть богатым.

— Чш... идет...

Дверь на террасе отворилась, и сквозь стекла видать, мелькнул там кто-то большой и черный. Невидимый вихрь

трепнул толпу — все качнулись, оправились: · кто сидел — встали, и все сняли шапки и картузы.

На высоком белом крыльце показался богатырь — сам Мирон Евстигнеич. Черный картуз на нем с широким тугим верхом, длинный кафтан староверский — сорокасборка, блестящие сапоги бутылками. Рыжая борода лопатой, из-под козырька широко глядят маленькие, серые, жуликоватые глазки. Широким размахом снял картуз Мирон Евстигнеич и три раза перекрестился на золотую полосу над лесом, откуда вот-вот покажется солнце. И, кланяясь, он привычно встряхивал длинными волосами, подстриженными в кружок. В толпе из угодливости закрестились.

— Здорово, братцы!

Голос у Мирона Евстигнеича звонкий, басовитый.

— Доброго здоровьица, Мирон Евстигнеич.

— Здравствуйте, ваше степенство.

И в голосах — заиск, униженность, козлиные блеющие нотки.

— Эге-ге, да вас многонько собралось ноне,— усмехнулся Мирон Евстигнеич,— куда мне столько? Мне столько не понадобится... Что вы, братцы? Да вы адресом ошиблись. Вам бы надо к Гладилину идти. Он ныне много нанимает.

— Да уж сколько вашей милости понадобится. Уж мы готовы послужить.

— Это я знаю, как вы готовы послужить. На второй-то спас выдали меня с руками-ногами.

— Да ведь это, как говорится, против рожна не попрешь. Там Степка Железный Кулак объявился. С ним разя сладишь?

— Так-так. Кто это говорит-то? Никак это ты, Тимофей?

— Нет, это Петрунька Ручкин.

— А-а, Ручкин? Ну, что ж, Ручкин, по-твоему, так-таки и не сладим?

Ручкин шагнул раз, другой, весь осклабился.

— Да где же сладить-то? Ен вон какой. У него кулаки-то ровно гири. Как меня по горбу смазал, так я ровно в яму пал.

— Ишь ты. А глядеть-то, мужик ты неплохой.

— Это уж как ваша милость.

— Так не сладим?

— Где же?.. Ен...

— А ну-ка, братец, иди отсюда к шутам.

Ручкин оторопел.

— Это как же?

— Иди-ка, иди. Нам таких не надо. «Не сладим»! Проводи-ка его, братцы, чтоб не мешал.

И братцы — их много — угодливо и торопливо берут Ручкина за ворот, за руки, за бока, толкают от крыльца, и минуты нет — Ручкин уже широко шагает вниз, к корпусам, а оттоль по дороге прочь. Мирон Евстигнеич смеется одними глазами, поглаживает бороду, смотрит в толпу. А толпа гудит виноватыми голосами:

— Ну, как не сладить? Сладим.

— Бог даст, сладим. Мы ему бока намнем.

— Зря это Ручкин-то...

Мирон Евстигнеич милостиво улыбнулся.

— Так сладим?

— Знамо, сладим...

— А ну, добре. Это мы поглядим. Только вот, братцы, как же? Много лишних пришло.

Он посмеивается хитренько, гладит белой рукой рыжую бороду,— все видят: рука у Мирона Евстигнеича вся обросла рыжими волосами.

— Не надо столько,— говорит он громко и, будто жалеючи, вздыхает.

Бормочут мужики виновато:

— Уж сколько вашей милости...

— Ну, что ж, кто из вас у меня работал? Отходи вот сюда.

Толпа колется надвое. Большая часть идет в сторону.

— Эге-ге, да вас много.

— Да как же! Мы испокон веков каркуновские...

Десятка полтора осталось, стоят на месте перед крыльцом.

— А вы откуда?

Мужики гомом гомонят, выкрикивают: Лужки да Подсосенки — деревушки жгельские.

— Ну, а драться умеете?

— Да как же, ваше степенство, не уметь? Сызмальства деремся.

— А ну, я посмотрю. Вот ты да вот ты, схватитесь-ка, а я погляжу. Кто побьет, того найму.

Два мужика — рослых, бородатых — снимают полушубки, пятнами яркими закрасиели рубахи кумачовые. Толпа с гоготом строит круг перед белым крыльцом, мужики надвинули шапки на глаза, натянули голицы, порасправились... И враз петухами один на другого. Гоготом заревела толпа. «Га-га-га, дай ему, дай!» И минуты нет — у бойцов кровь на бородах, и рубахи клочьями. Пятый, седьмой,

десятый раз сходятся и расходятся оии. Уже пар и кровь изо рта у того, что пониже. А не сдает: страшна, должно быть, голодиая зима без работы. А другой бьет его четко и сильио. Мирон Евстигнеич смотрит на них сверху с крыльца, и борода двигается от удовольствия. Уж видно: большой ломит, у малого кости трещат,— иди, малый, в рваиой рубахе, на печку домой. Вдруг малый увериулся, изловчился, трахнул большого под самую подложечку, и большой, взмахнув руками, со всего размаху грянул наземь. Взвыла толпа, вскружилась, а глазки Мирона Евстигнеича утоиули в улыбке.

— Молодец! Это молодец! Что ж, отходи вон к ним. Да и этого... водой его отлейте, да пусть и он становится иа работу. Крепок в кулаке.

Большого иа руках тащат в сторону, отливают водой. А счастливчик надевает полушубок и размазывает кровь на лице...

— А теперь вот ты и ты,— говорит Мирои Евстигнеич.

И еще пара становится в бой...

Час и два у террасы идет наем: бьют до полусмерти мужик мужика. Мироиу Евстигнеичу стульчик вынесли иа крыльцо. Сидит он, посматривает, ряду рядит.

Стоял в толпе мужик, вроде цыгана, черный. Показал на иего Мирон Евстигнеич.

— Вот ты. Ну-ка вот с этим схватись.

Черный мужик неторопко снял полушубок, поплевал в кулаки и, присев, потер их об землю. Встал, еще потер, понюхал и удало так крикнул:

— Эх, кулаки-то. Смертью пахнут.

И, развериувшись, ударил супротивника. Толпа ахнула: супротивник — высоченный мужичонка, пал, как подрезаииый. Пал и лежит. Даже Мирои Евстигиеич подиялся удивленный.

— Эге, ты вострый. Теперь вот с этим схватись-ка.

И еще показал на высокого.

Опять разошлись. И с третьего удара — высокий с копыт долой.

Мужики заробели. Жмутся, жмутся, ныряют друг за дружку, чтобы Мирон Евстигиеич их ие поставил против этого дьявола черного. И голоса робкие:

— С ём разя сладишь? Это Ленька Пилюгин, он известный.

— А ну, позвать сюда Палача! — крикнул Мирои Евстигнеич.

Рябой мужик вылез к крыльцу.

— Ну-ка, Микишка, покажи этому, а то он что-то больио храбер.

Микишка с развальцем вышел в круг и стал протнв черного.

Замерла толпа. Подиялся Мирои Евстигиенч на цыпочки, ястребом глядит.

Удары сыпятся гулкне, и екает у бойцов в грудях. Глаза у чериого выкатились из орбит, страшиые. Бьются пять минут, десять. Остервеиели оба.

— Будет, будет,— махиул рукой Мирон Евстигнеич.— Ну, молодцы...

И кричит оглушнтельио:

— Дуиька, водку сюда!

Дуиька уже тащит прямо в ведре зелеиую водку, перегнбается. В корзинке хлеб и огурцы малосольиые — закуска.

— А ну, братцы-бойцы, подходи.

И белые фарфоровые кружки тяиутся к ведру.

Мирои Евстигиеич угощает из своих рук чериого.

— Да ты чей такой? Я тебя что-то ие знаю.

Час спустя пьяиая толпа идет к коиторе заключить условне и получить задаток. А иа коиторском крыльце бабы стоят с лицами кривыми от злобы.

— Дьяволы. Обдиралы. Двадцать копеек иа деиь. Где это видаио? Хлеба одного иа гривеииик сожрешь.

А другие тут же плачут...

— Хоть бы какую работеику...

Уж после обеда сам Мирон Евстигиеич идет в коитору. Бабы ему в пояс, а кто в иоги прямо, так ковром стелются.

— Кормилец, и иас возьми.

— Ну, что ж. Сколь вас осталось? Сто пять. Пятналтыииый иа деиь дать можно. Кто хочет — оставайся...

III

Покров в Жгели престольный праздничище: три дня пьянство, четыре опохмелья, неделя вся в тумане пьяиом идет. Разочлись, иаиялись, порядились — опять дело в устой пошло на полгода иа целые. И девки с парнями, по старому обыку, по вековечиому, иоровят свадьбу подогнать к покрову. Пословица не мимо молвится: «Придет батюшка покров, девку покроет».

На покров последияя копеечка ребром ндет. Да ие просто идет — еще н вприсядку пляшет.

Гляди, обедня не отошла, а пьяных — урево. Федот Пантелеев у самой паперти сиял праздничный новый картуз, поклонился в землю, да так и остался лежать — силов уже нет подняться-то. Бабы засудачили:

— Ишь, нажрался спозаранку. Оттащить его надо, а то сейчас сам выйдет — рассердится.

— Знамо, оттащить. Задавят, матушки мои, недорого возьмут.

— Мужики, а мужики! Возьмите вот товарища.

А мужики уже сами на взводе, берут Федота, волокут, а у Федота ноги раскорякою.

Все каркуновские — у староверской церкви; есть которые и православные здесь тоже, даже татары-сторожа пришли — стоят кучкою в ограде. Раз у Каркунова работаешь, на покров ходи в староверскую церковь,— закон такой. Химик Карла Карлыч на что уж Лютеру подвержен, а гляди — стоит в обедни с самого начала.

В ограде говорят вполголоса, не курят (боже сохрани!), и только кое-где украдкой мелькнет полбутылка.

Федота оттащили за боковое крыльцо, положили.

Вот и трезвон грянул, заплясал в звонком воздухе: отошла обедня. Народ повалил из церкви, в ограде все задвигалось, двумя стенами стали вдоль дорожки деревянной, что протянулась от церкви до самого крыльца каркуновского белого дома. Вот и сам Мирон Евстигнеич вышел из церкви. На паперти он повернулся к иконе наддверной и три раза поклонился низко-низко, а уже потом, ступив на первую ступеньку, раскланялся с народом:

— С праздником вас.

И вся толпа гулом дружным:

— И вас также, Мирон Евстигнеич!

— С праздником!

Черные картузы, рваные шапки птицами мелькнули над головами, а бабы — в пояс, в пояс, в пояс, точно камыш на болоте под ветром.

За Мироном Евстигнеичем идет супруга его Матрена Герасимовна, не баба, а тулпёга, глядеть на нее — колом не своротишь. Идут они двое — он на шаг на один впереди, идет, кланяется направо, налево, картуз в руках держит, а она кубышкой за ним, вперевалку, и тоже румяной улыбкой светит на все стороны. И толпой за ними гости — толстые и тонкие, низкие и высокие, мужчины все в староверских кафтанах, женщины в старомодных шубейках атласных, все в платках белых. Здесь вся знать жгельская — фабри-

кантики, управители, старшина здесь. Фомины, Еремины, Ревуновы, Сахаровы. Есть и дальние — вон козырем идет щупленький человечек с тощенькой бороденкой, дулевский деляга Лексаша Перегудкин, а рядом с ним Григорь Митрич Храпунов — не человек, а столбина каменный. Гостей много, чести много.

Колокола залихватски трезвонят вперебор, словно радуются каркуновскому почету.

От церкви, проводив хозяина, толпа рабочих и работниц идет к фабрике, где в живописной, освобожденной на этот день от посуды, готов покровский обед от хозяина. Сколько? Тысячи две народа — очередями сотни по четыре — обедают у Каркунова в этот день.

И не обед дорог, не стакан водки дорог,— что обед и водка? — честь дорога: в гостях все были у хозяина, у Мирон Евстигнеича.

За первый стол садятся самые почетные. Мирон Евстигнеич сам приходит пригубить рюмку. Он с шуткой, с прибауткой угощает:

— Пей, ребята, в божью славу, в тук да сало, в буйну голову — вам испить, вам и силушки копить.

— А тебе, Евстигнеич, и силушку и богатство.

— Спасет Христос. Пейте на здоровье.

И пьют, и едят, и славят благодетеля. Выходят после из живописной, лица у всех будто лаком покрыты, и уже издали хозяйским окнам кланяются.

А у хозяина в хоромах просторных пир горой прет. Уже подрумянились все. Румяные сдобные купчихи хохотом хохочут. Вот он, Мирон-то Евстигнеич, прямо с ножом к горлу:

— Дарья Тимофеевна! Заморского-то? Настасья Ивановна! Что же ты не пригубила? Покорнейше прошу... У меня чтоб без отказу. Нельзя. Раз в году и выпить не грех... А ты — будет тебе. Э-э, что силу-то оставила? Уж пить, так до дна пить. Пейте-кушайте, покорнейше прошу.

— Больше невмоготу, Мирон Евстигнеич! Вдосталь.

— Вдосталь? А пуп трещит?

— Не только трещит — лопнет сейчас...

— А ну, я послушаю, трещит ли.

И ухом лезет слушать под хохот всеобщий да пьяный. Как тут откажешься? Известно, балясник.

А за торфяными кучами, на широкой поляне, уже сходится народ — парни, мужики, мальчишки, на побоище на кулачное. Уже мальчишки ярятся, сучат кулаками, орут звонко: «Давай, давай, давай!» На это побоище — на по-

кровское — сходится народ из десяти ближних деревень. Тулупы, пиджаки, чапаны, рукавицы, сапоги, лапти, бороды, шапки,— столько наперло, глазом не окинешь. Ребятишки уже схватились. Деревенских больше, но заводские ловчее и бойче — раз! раз! раз! — гляди, деревенские дрогнули, к лесу подрали. «Давай, давай!» Вот выскочил деревенский, чуть побольше — раз! раз! — остановил заводских.

Схватились, заводские драла... Вот и пареньки ввязались. Задорный, дразнящий шум повис в воздухе. Видать, все затомились.

— Эх, схватиться бы.

— Да чаво ж там? Сказать бы надо.

— Где Палач-то? Пошел бы, сказал.

— Чего народ зря томится?

— Эй, Микишка, сходи скажи. Народ ждет.

И все — и деревенские и заводские — кричат:

— Сходи, Микиша!

Микиша, вытулив спину, идет к белому дому — сказать хозяину, что народ ждет его,— без хозяина нет обыка зачинать покровские бои.

А мальчишки да пареньки-заводилы носятся лихо. «Давай, давай, давай!»

Меркнет короткий осенний день, вот-вот тусклое солнышко зацепит за дальний лес,— только тогда выходит Мирон Евстигнеевич на поляну. Пьяненькие гости идут с ним — здесь и щупленький Перегудкин, и столбина Храпунов, и два брата Фомины, и Сергей Иваныч Сахаров. А баб нет,— непристойно бабам драки смотреть да брань слушать. Каркуновские грудятся вместе. Палач с ними — на целую голову всех выше. Гулом довольным встречают они хозяина. И, чу! яростнее закричали ребята: «Давай, давай, давай!»

— Что ж, начинать бы надо,— сказал Мирон Евстигнеич, раскланиваясь с толпой.

— Вас ждем, ваше степенство.

— Без вас драка не в драку.

— Э, да ныне деревенских невпрогляд.

— Много пришло.

— Грозят, какую-то закуску для нас привели.

— Какую закуску?

— Не сказывают.

— А ну, посмотрим... Что ж, ребята, валите. Цыганок-то новенький здесь, что ль? А-а, здесь. Ну, что ж, ты и начни. Погляжу я, какой ты в настоящей драке.

Цыганок обеими руками поправил шапку и решительно пошел к дерущимся парням. Каркуновские повалили толпой за ним. Ага, и деревенщина заметила — гляди, задвигались и стеной пошли навстречу Цыганку. «Давай, давай, давай!» Ревут, как быки. И разом — двумя стенками. Мальчишки прочь, парни прочь в стороны, мелькнула чья-то красная рубаха. Цыганок ястребом — в самую кучу деревенских, над головами мелькнули кулаки, и посыпались удары, только слышно яростное уханье и глухие звуки — бук-бук-бук!.. Мирон Евстигнеич поднялся на кучу торфа, глядит издали, а сам весь ежится, ярится, будто его бьют и он бьет. Вот каркуновские сломили деревенских, и те побежали к лесу. Но вдруг там в посконной рубахе кто-то встал — видать, варом варит каркуновских. Гляди, уже куча лежит. Не выдержали каркуновские — деру назад.

Отсюда грянули в стенку остальные бойцы, что стояли с хозяином. Гляди, оба брата Фомины тоже грянули. Только Палач еще остался.

Сшиблись, остановили деревенских, вихрем закружились на месте, и за черными пиджаками пропала на момент посконная рубаха. «Давай, давай!» Толпа сжалась, крутится, только кулаки мелькают над головами и пар стоит,— вдруг стена сломилась, и каркуновские бросились врассыпную... Мирон Евстигнеич в проломе увидел мужика в посконной рубахе — мужик клал каркуновских направо и налево.

Мирон Евстигнеич зубами заскрипел от ярости:

— А-а-а, чей такой? Бейте его! Бей!

А угодливый голос уже гудит ему в ухо:

— Это и есть закуска, которой деревенские хвастались. Это Степка Железный Кулак. Хватовский.

— Бей его! — орет исступленно Мирон Евстигнеич.— Микишка, чего глядишь? Дай ему.

Микишка Палач глянул на хозяина — и по ярости понял: время и ему ввязаться. Он неторопливо снял пиджак и, засучивая рукава, пошел навстречу посконному мужику. И разом кругом замерли. Здесь и там остановились, опустили руки, точно разом у всех погасла ярость. И все только на них — вот Палач идет, вот посконный мужик — Степан Железный Кулак...

— А-а, не выдай, Микишка! — орет Мирон Евстигнеич.

Прямой и твердой поступью грянул Палач на мужика. Вот дошли. Раз... Палач ахнул мужика в плечо. Тот качнулся. Стон пролетел над толпой. Все сгрудились, окружили кругом.

Вдруг Степан тяпнул Палача в грудь, и оба сцепились, зарычали яростно. И вот — все видели — как-то наотмашь, с левши Степан ахнул Палача в висок... Палач нелепо взмахнул сжатыми кулаками и, точно пласт, грохнул на мерзлую землю. Каркуновские застонали. Мирон Евстигнеич бросился в круг сам, но уже все в ярости забыли, что надо его пропустить,— круг не разжимался.

— А-а-а! — ревела толпа.

Вдруг рев разом оборвался... И стало тихо. И у всех в испуге разинулись рты. И странное слово мелькнуло:

— Убил!

Круг расступился, и Мирон Евстигнеич увидел: лежит Палач, неловко подвернул под себя ногу, и кровь изо рта у него тянется широкой красной лентой. Деревенские попятились. Посконная рубаха мелькнула среди полушубков и пропала.

IV

А к утру другого дня уже лежал Никифор Палач в гробу, медный крест староверский восьмиконечный поблескивал поверх его холстинного савана, поблескивал в тех самых руках, что складывались в могучие кулаки, наминавшие бока и деревенским мужикам, и своим же, каркуновским, рабочим. Кусок ваты лежал у виска, и синие тени тянулись от виска по всему мертвому лицу. В хибарке набилось баб — не протолчешься, плачут, сморкаются, участливо смотрят на высокую дебелую бабу с заплаканным покрасневшим лицом, на мальца смотрят, что притулился у окошка возле гроба, жалеют.

— Осталась вдова с малым. Куда пойдет?

— Ну, помогнет хозяин. Любимый слуга был. Как же?

— Гляди, помогнет ли. Хозяин-то урядливый — это правда, да скупой больно...

— Ч-ш-ш... никак сам идет? Так и есть, сам.

— И-и, зол, бабы. Берегись!

Метнулись туда-сюда, которые к печке, которые в сени, а на крыльце уже топают гулко тяжелые ноги. Вошел Мирон Евстигнеич мрачнее ворона, отбил три поклона поясных перед гробом, подошел ближе, глядит в лицо мертвое. А баба, вдова-то новая, как загалдит, как запричитает:

— А милый ты мой, Микишенька! На кого ты меня спокинул? Кто теперь меня поить-кормить будет?

Таким голосом — вот и не слушал бы. Обернулся Мирон Евстигнеич, искоса поглядел на бабу.

— Ну, баба, не горюй. Ничего не сделаешь. На роду написано.

И хвать за карман — рылся, рылся в кошеле, вытащил красную десятирублевку.

— На-ка вот на похороны.

Баба кувырком в ноги. И опять вопить:

— Спокинул на кого, лебедик мой? Убили тебя злодеи злодейские!

Мирон Евстигнеич нахмурился, ушли глазки серые под брови.

— Ну, дура. Про чего это ты? Кто убил? Сам убился. Звони больше.

— Да как же мне теперь век жить-тужить?

— Ну, гляди, истужилась в лучинку. Потужишь да забудешь. А это ты выбрось из глупой башки, будто убили.

— Мальчонка вот, куда я с ним денусь?

Метнул косой взгляд Мирон Евстигнеич на Яшку хмурого да зеленого, буркнул:

— После праздников в контору придешь — переговорим. А теперь вот мой приказ — ныне же вечером хорони.

— Да как же это? И трех дней не лежал...

— А, говорить с тобой. Сказано, ныне — значит, надо. Поняла? Да гляди, не больно слова-то распускай: «Убили». Кто убил-то?

Растерялась баба, туда-сюда, а Мирон Евстигнеич одно слово:

— Ныне. Я и работников пришлю. Гляди, баба.

И пошел, громыхая лапищами. И через полчаса наскочили мужики, бабы каркуновские, засновали туда-сюда, враз вынос, в церковь — опомниться никто не успел, уже гроб в церковь тащат, уже отпели,— скоропыхом все. Прощаться сам хозяин опять приходил и пешком за гробом шел — до кладбища. Пьяным-пьяно было во всей Жгели. Так пьяненькой толпой и шли за гробом. Уже в сумерках зарыли гроб в землю. Сам Мирон Евстигнеич перекрестился, сел в пролетку и потек куда-то.

— Куда это он? — гадали в толпе.

— Надо быть, к становому, улаживать.

— Становой уже сам был у него. Все улажено.

— Гляди, на хватовску дорогу повернул.

На улицах везде — песни, крики, и опять за торфяными кучами на поляне орут ребятишки: «Давай, давай, давай!»

И ежели поминают кто про покойника, поминают восхищенно, но не жалеючи:

— Эх, и жулик был, царство ему небесное!

И еще тишком рассказывали: вчера Мирон-то Евстигнеич всех гостей прогнал.

— Ну,— говорит,— гости дорогие, попили, поели, а теперь домой пожалуйте. Мне не до вас.

И гости турманом от него, хотя приехали по-бывалошному — на три дня.

Через неделю отпраздновали. Опять задымились в Жгели трубы и зашумели горны столбами огненными, опять спозаранку глазасто засветились окна в корпусах, и люди, с прожженными водкой утробами, томились за токарными станками, у горнов, в мяльной, в живописной. И опять за стеклянной перегородкой в углу, в конторе, поглаживая рыжую бороду, сидел сам Мирон Евстигнеич. Сидит, улыбается довольный. И от хозяйской улыбки довольной будто свет во все стороны.

Шепотком говорили:

— Уладил все. И Степку-то хватовского к себе в кучера нанял — на место Палача.

— Да ну-у?

— Ей-богу. Приезжал сам к нему. «Иди, говорит, ко мне служить, а то засужу».

— И пошел?

— А как же? Пойдешь. Кому в каторгу охота?

— Вот. Ждал, чать, тюрьмы, а попал на само перво место.

В сенях конторы маячит Сычиха — Палачева жена — и мальчонка при ней. Хотела с утра идти, как приказал хозяин: «После праздников приходи», да бухгалтер отсоветовал:

— Погоди, баба, поглядим, каков он. Ежели зол — и ходить не стоит, а ежели добрый — тогда пойдешь.

Перед обедом объяснилось: добрый.

Бухгалтер Сычихе пальцем кивнул — иди, дескать. Баба вытулила спину, будто от горя, ухватила сына за руку, к стеклянной двери подошла и только через порог — кувырь прямо головой к резной ножке хозяйского письменного стола. Мирон Евстигнеич погладил бороду, сказал:

— Встань. Я не бог, кланяться-то мне. Чего надо?

— Не дай с голоду, батюшка, умереть сиротам.

— Ну, с голоду. Гляди, изголодалась, тумба. Говори толком.

— Вот мальчоику-то возьми, батюшка.

И толкает Яшку вперед. А Яшка сбычился, уперся, нейдет.

— Э-э, мозгляк какой? Куда его суиу?

— А ты, батюшка, ие смотри, что мозглявый. Умиый ои у меия, разумный.

— В отца, поди? — иасмешливо пробурчал Мирои Евстигиеич.

— Куда в отца. Лучше, батюшка. Ои у меия и цифирь произошел.

— А-а, цифирь? Ну, что ж, поглядим.

И темиыми глазами иасмешливо прямо в лицо мальчугану гляиул.

— А загадки можешь отгадывать? Ну-ка, угадай: под крыльцом-крыльцом ярнстым, кубаристым лежит каток иекатаный; кто покатает, тот и отгадает.

Яшка вдруг улыбиулся во весь рот:

— Это я зиаю. Это киижка.

— Ага. Зиаешь. Так. Ну, а вот: один заварил, другой иалнл — сколь ии хлебай, а на любую артель еще стаиет.

— Опять кинжка.

Темные глаза у Мирона Евстигнеича гляиули удивлеиио.

— Ого, да ты, малый, тямкий. Ну, что ж, мать, оставь, поглядим. В коитору приспособлю. Только уж очеиь ои у тебя тощой. Плохо кормишь, что ль?

И, ие дав время ответить, крикиул:

— Матвеич, подь-ка сюда.

А бухгалтер уже здесь, у двери.

— Куда бы иам этого мальчоику? Гляди, пригодится.

V

Вразвалочку, неторопко, как купчиха сытая, идет время в Жгели. По зимам поют вьюги иад лесами да иад полями жгельскимн, мечут сугробы. Да где ж? Не затушить горнов бурливых, ие загасить труб этих, кадил дьяволовых,— гляди, сколь сажи кругом оседает на белейшем снегу по ближиим полям и лесам.

А теперь уж и вовсе: Каркуиов новые корпуса воздвиг, трубу-то взгромоздил в сто четыре аршина вышииой — вот самое иебо подопрет. Еще растолстел, еще раздобрел,— гордится, что каркуиовский товар теперь в Персию, в Туркестаи пошел, спорит с императорскими фарфорамн.

— Мы,— говорит,— его если не качеством, так ценой забьем. Мы,— говорит,— покажем ему. Мы, Жгель, дело старое, мы при царе Алексее Михайловиче еще муравлену посуду делали. У нас,— говорит,— опыт. А эти что же? Глину везут с Урала, топливо — с Дону, рабочим — втридорога. А у нас все под рукой. И дома и замужем. Не-ет, где же. По просшествии времени мы развернемся, а он сгаснет.

И правда, развертывался все шире и шире. Контора теперь — одной конторы сорок семь человек. И Яшка Сычев первый деляга в новой конторе. Ежели Мирону Евстигнеичу ехать куда по делу н подручного верткого взять, он берет Яшку. Слушок ходит: не нахвалится хозяин Яшкой:

— Отец хороший слуга хозяину был, а сын еще лучше.

Гляди, пошутнт иной раз Мирон Евстигнеич:

— Жил-был человек Яшка, на нем была серая сермяжка, на затылке пряжка, хороша ли моя сказка?

Где это вндно, чтобы такой урядливый хозяин со слугой пошутнл? Как надо по-доброму? Строгость нужна, спрос нужен, а не шутка.

Яшка в пиджаке сером, рубашка с отложным воротом и галстук веревкою с помпонамн на концах. Причесан Яшка с пробором, кудерьки над висками. И все-то знает Яшка, во все вникает.

— В кого ты, Яшка? Отец-то у тебя дурковатый был.

— Не могу знать, Мирон Евстигненч. Считаюсь Сычевым, значит, отцовский сын.

— Уж больно ты совчивый, во все дыры нос суешь.

— По делу, Мирон Евстигнеич. Дело развязки требует.

И хоть поворчит иной раз Мирон Евстигнеич, а поручение какое — кого? — Яшку.

И уже величают все Яшку по нмени-изотчеству.

— Яков Никифорыч, как жив-здоров?

А Яшке и восемнадцати еще нет.

Будто баламутнее стал Мнрон Евстигнеич. От богачества ли? От почета ли? И будто никого на земле выше его. Что захочет — вынь да положь. Как прежде, любит кулачные бои. Угостить любит, и гостн теперь к нему в показанные дни трубой валят. Но года, надо быть, свое берут; засеребрилась бородица у него, поредела грива на маковке, и — к старости, что ли? — попов полюбил Мирон Евстигнеич. В церкви завел хор уставный; по солям, крюкам поют, вроде как на Рогож-

ском. Старинку скупает — иконы, книги — и частенько в белом дому под окнами иад книгой сидит, что в толстом кожаном переплете.

И к службам подвержен стал — ходит строго, и уже все зиают: коли хочешь угодить хозяину — ходи к самому иачалу, молись истово.

А Жгель была прежняя: и чад над полями, и пьянство в лачугах, и драки по зимам, и нищета кругом иищеиская. Что ж, это спокон веков ведется — кто изменит?

Только новые корпуса прибавились, новые горны, и тонкой полоской прохлыстнулась через леса узкоколейка с маленькими тонко посвистывающими паровозами. С гордостью говорили жгеляне, что к Каркунову новые машины поставили. Да, машины новые, но пьянство, нищета — все было старое, испокон веков ведущееся.

Лишь раз случилось чудо, и об этом чуде говорили жгеляне целый год. У Семен Семеиыча — конторщика, большого плута — одиажды ночью горючими слезами заплакала икона Казанской пресвятой богородицы. Жил Семеи Семеныч в дальием краю во Жгели,— домик маленький, ветхий, от папаши достался.

Набежали соседи, узнав про чудо. В самом деле, плачет. Крупные слезы натекают под глазами и потом вииз — иа ризу пречистую... Чистым платочком собирал Семен Семеныч слезы.

— Гляди, православные, как плачет пречистая.

И весть вихрем по всей Жгели. У двора Семеи Семеиыча чернели толпы. Бабы плотиыми стенами. Уж к вечеру и духовенство запело в тесных комнатах. Целую ночь народ со свечами в руках стоял перед Семен-Семенычевой избой,— молебен за молебном... А к утру попер народ и из окрестиых деревень. Мирон Евстигиеич приказал привести к себе Семеи Семеиыча.

— Что это у тебя?

— Пречистая заплакала.

— Гм... Да это как же?

— Мне еще бабушка говорила: как несчастье какое, так пречистая плачет загодя. И прежде, случалось, плакала. Как умереть отцу — плакала.

Мирои Евстигнеич пристально посмотрел на Семен Семеныча и спросил тихонько:

— А ты... Семка, ие врешь?

У Семен Семеныча глаза округлели в испуге.

— Что вы, что вы, Мирои Евстигнеич? Да разве я дозволю? Чудо налицо-с.

И днем Мирон Евстигнеич сам припожаловал, чтобы на чудо поглядеть.

Толпы народа стояли на улице перед избой, стояли на дороге. Слышно было в раскрытые окна, как попы густо пели молитвы в избе. Мужчины сняли шапки, когда Мирон Евстигнеич пробирался через толпу. Женщины отмахивали поклоны в пояс. И в толпе шушукались:

— Сам, сам идет.

В избе народу невпроворот, но Мирон Евстигнеича пропустили к самому переднему углу. Там на иконнике — древняя почерневшая уставного письма икона. Да, плачет. Семен Семеныч на платочке чистеньком и слезу подал Мирон Евстигнеичу, только что снял вот, на глазах,— так масляным пятном и расплылась слеза по платку. К самому лицу поднес Мирон Евстигнеич платочек, и пахнуло на него маслом деревянным. Что же, запах благочестивый, значит, все правильно. И приказал Мирон Евстигнеич отслужить молебен. К вечеру этого дня уже во всей Жгели остановились работы. Тысячная толпа запрудила улицу возле Семен Семенычева дома. Снопами горели свечи перед иконой.

Умильный и встревоженный вернулся перед полночью к себе в белый дом Мирон Евстигнеич.

— Перед несчастьем плачет. Слышь, мать? Как бы не случилось чего.

А Матрена Герасимовна только стонет.

— Знамо, жди несчастья. Ох, бога забыли. Забыли бога!

Ходит Мирон Евстигнеич по залам, женины вздохи слушает, раздумывает: по какому случаю икона плачет? И как теперь быть с народом? После обеда бабы и на работу не вышли: вроде праздник по всей Жгели устроили.

— А там вас Яков спрашивает.

Это горничная. Удивился Мирон Евстигнеич.

— Чего ему надо? Зови-ка.

Вошел Яшка, с приплясом будто, в глазах бесята бегают. Увидел его улыбку Мирон Евстигнеич, нахмурился.

— Что так поздно?

— К вашей милости. По секрету.

— Ну?

Яшка покосился на Матрену Герасимовну. Хозяин понял.

— Иди сюда.

И увел к себе в кабинет.

— Я насчет чуда этого,— заговорил Яшка.

— Ну?

Яшка улыбнулся хитро и сказал громким шепотом:

— Мошенство это — и более ничего.

У Мирон Евстигнеича глаза по колесу стали. И рот открылся — глянул черным пятном из-под усов.

— Что-о-о-о?

— Так точно, мошенство. Гляжу давеча, а у иконы глазки пропилены... я будто прикладываться — и пощупал. Маслица в ямки наливает Семен Семеныч. В рассуждении того, что в народе волнение может быть, когда объявится, я и пришел вам сказать.

Мирон Евстигнеич стал краснее моркови. И поспешно оделся.

— Идем.

А там все та же толпа. Правда, чуть меньше.

Кое-кто и спать лег здесь. Мирон Евстигнеич в дом. Старушки какие-то по углам сидят, черные, вздыхают. Увидали хозяина, поднялись, всполошились.

— Ну-ка, старые, уйдите на минуту.

Те со вздохами поплелись в сени. А Яшка цап рукой за чудотворную. Семен Семеныч вскипел:

— Ты что, дурак?

— Нисколько я не дурак. Вот глядите, Мирон Евстигнеич, вот дырочки прорезаны, а отсюда вот маслица Семен Семеныч пускает.

И правда, на обратной стороне иконы вырезаны ямки вроде рюмочек, и в них — маслице. Мирон Евстигнеич побагровел.

Кулаком из-под низу прямо в толстый подбородок долбанул он Семен Семеныча. У того аж все лицо перекосилось, и из горла вскрик вырвался: «Хеп!» Семен Семеныч кубарем в ноги.

— Простите! Согрешил!

И злым шепотом зашипел Мирон Евстигнеич:

— А-а... Что ж теперь делать? Делать-то, негодяй ты этакий? Обман? Всех обманул.

— Я... я все обдумал. Не беспокойтесь... Простите... Я... вознесется на небо.

Толстый Семен Семеныч ужом вился, бормотал, будто в бреду, и кровь из разбитых зубов мазала его подбородок.

— Что ты городишь? Кто на небо?

— Икона-с. Народу можно сказать, икона вознеслась на небо...

Яшка прыснул в смехе. Мирон Евстигнеич по-

смотрел на него нскоса, а Яшка сказал лукаво:

— Верно-с, самый лучший способ. Скажем, что вознеслась иа иебо.

Мирои Евстнгиеич пальцем в нкоиу:

— Яшка, бери.

Яшка ухватил с лавки тряпку и сиял икоиу. Повериул ее вверх тормашками и иасмешливо сказал:

— Эк, масла-то сколько. Куда вылить?

И вылил в цветочный горшок, что сиротливо на окне притулился. Семен Семеиыч стоял вииовато. И иа губах улыбка. Мирои Евстигиеич загремел сапогами.

— Ну, хахаль, ты тут вывертывайся. Да смотрн. Потом я поговорю с тобой. Пойдем, Яшка.

Яшка спрятал нкоиу под пиджак, и оба вышли.

Благополучио прошли сквозь благоговейиую толпу, пошлн в темь. Яшка спросил.

— Куда ее теперь?

— На чердаке зароешь у меия.

— Хи-хи-хн. На небо возиеслась.

Вдруг Мирои Евстигнеич схватил Яшку за плечо.

— Посмейся, богохульник. Пикиешь еще, пальцем прншибу. Поиял? Мерзавцы. Ты тоже такой, я зиаю. Ты иа все руки. А-а, что придумал, подлец!

Наутро во всей Жгели переполох по случаю иового чуда: икоиа возиеслась на иебо. Все только и говорили об этом. Ночью, когда все спали, она вознеслась.

А еще через неделю, когда все улеглось, Мирои Евстигнеич с глазу иа глаз поговорил с Яшкой:

— Ты мне скажи, как догадался?

Яшка засмеялся.

— Очеиь уж человек Семеи Семеиыч неблагочестнвый. У таких чудес не бывает. Что, думаю, такое? Пошел. Смотрю — льется масло. Ну, я туда-сюда. А под кроватью у Семен Семеныча целая четверть с маслом стонт. Я опять к нконе. И догадался.

— Ай да голова.

И после, уже без Яшкн, другнм этак ворчлнво, а вместе и гордо:

— Умен, собака.

VI

Что же, слезы этн, для кого оин фальшнвы? Для Яшкнхитреца. Для Мирон Евстнгиеича. Во Жгели онн только н зиали тайну чуда этого, потому что месяц спустя Мирои Евстиг-

неич услал Семен Семеныча в Москву на службу в амбар, а там приказал прогнать вон. Был слух — запил Семен Семеныч, сбился с панталыку. А Жгель верила вся: чудо было, богородица плакала, а поплакав, вознеслась на небо. А плакала она перед несчастьем.

И что же сказать? Ранней весной было чудо, а в переломе лета грянула весть: война.

И сразу все в крутяге закрутнлось.

Под бабий вой — пронзительный и трепетный — пошли сперва запасные со Жгели, а неделю спустя пошли ратники, и во сне не видавшие, что когда-нибудь им придется войну узнать. Мирон Евстигнеич первые дни «ура» кричал, на прощанье целовался с солдатами, но уже через месяц-другой увидал, что мобилизации хлещут по делу железными кнутами. Хоть оно там и три четверти баб на заводе, а для войны баба только помеха, но эту четверть, самую-то нужную,— вот ее, гляди, живо в отделку отделали. Степан Железный Кулак в первые же дни ушел. Из конторы — человек десять, и бухгалтера Митрь Иваныча тоже взяли — оказался каким-то чином военным.

— Ой, Яшка, гляди, как бы тебя еще не взяли,— пожалел однажды Мирон Евстигнеич Яшку.

— И возьмут, Мирон Евстигнеич, я уже приготовился. Хоть и один я был у мамаши, а ежели так дело дальше, возьмут.

— А не хочется идти?

— Кому хочется, Мирон Евстигнеич? Глядите, сколько народу пошло, а кто без слез?

Поглаживает бороду Мирон Евстигнеич, хмурый, да напористый, сказал сурово:

— Ох, не зря ли войну затеяли?

— Пожалуй, что зря, Мирон Евстигнеич. Жили тихо, мирно.

Мирон Евстигнеич косо посмотрел на Яшку, проворчал:

— Вот нас с тобой не спросили, начинать или нет...

К зиме уже дело объяснилось: все на заводе затрещало и закланялось. Главное, товар остановился. Какая уж там Персия, ежели до нашего Кавказа стало труднее трудного добраться?

С двенадцати горнов перешли на четыре, а к лету другого года еще два горна потушили и бросили. Этим летом и Яшку Сычева взяли на войну. Прощаясь с ним на стеклянной террасе, где в это утро пили чай, расцеловался Мирон Евстигнеич, прослезился даже.

— За сына родного мне был ты. Смотри, вертайся скорее. Я знаю, ты к кажней бочке гвоздь, везде притулишься. Ну, только наше дело не бросай. Ты здесь мастак.

— Вернусь, Мирон Евстигнеич. Как не вернуться?

И пошел к заводу. Поглядел ему след Мирон Евстигнеич — у Яшки новые сапоги поблескивают. Идет паренек и не гиется.

— Вот бы мне сына такого!

Что же, новый народ — приучай да посматривай. До всего свой глаз нужен. Сколько раз было: потушат горн не вовремя, вся посуда и погибла. Какие теперь обжигалы? По прежним временам гнать бы их в шею, а теперь молчи, терпи и делай, что выйдет.

Одно только и было утешение Мирону Евстигнеичу: на товарец накинуть копейку, другую. Накинешь, оно и не так гребтится. Да еще, пожалуй: послушать за всенощной и обедней старинное крюковое пенье. Гости — реже стали. Жгельские купцы и фабриканты — те, что помоложе, под метлу захвачены войной. Двое Фоминых служат стрелочниками на железной дороге, кого-то улестили. Еремин у воинского начальника в писарях. Воинский сам ездит иногда в Жгель на ереминских тройках в гости. Не делом заняты люди. И Мирон Евстигнеич без причала, в томительном ожидании жил эти годы. А драки... Что же драки? Только ребята теперь и дерутся. Как вечер, слышь с поляны крик: «Давай, давай. Бей немца!» Задорный крик, да неуместно именитому миллионеру на ребят дерущихся глядеть. А взрослые — только старики остались да калеки...

Дела во всей Жгели каждый месяц — на убыль. Сколько труб уже стоят, точно мертвые пальцы показывают в небо — теперь уже ясное, незакопченное. И безлюдье наметилось. Уж не свистели тонко паровозики на жгельской дороге,— тоже ушли на войну и рельсы с собой захватили. И самая насыпь, где они ходили, стала зарастать бурьяном. Тогда уже настоящая тревога пришла и к Мирону Евстигнеичу.

— Что ж это будет? Когда кончится? — допрашивал он попа староверского.

А поп — весь лохматый, волосом по самые глаза зарос — бубнит:

— За грехи. Гляди, за грехи. Кому теперь хорошо?

И шепотом этак:

— Предают нас немцам. Царица-то... был я намедни в городе... Царица-то немка ведь.

А в марте — ровно гром:

— Царя-то сверзли.

Матрена Герасимовна прямо в постель слегла.

— Последние времена, ежели до царя добрались.

Мирон Евстигнеич ходил хмурый.

— Что-нибудь не так, мать. Ежели сами господа-дворяне да князья помогали свергать, значит, дело с царем совсем было швах. Что-нибудь не так.

И вся весна, все лето прошли в томленьях, в неизвестности. Откуда-то пришел приказ: устроить на заводе комитет. За дело взялся было конторщик Похлебкин, забегал, засуетился, но доложили Мирон Евстигнеичу. Мирон Евстигнеич позвал Похлебкина, расспросил, как и в чем, и, узнав, что комитет нужен для помощи в управлении фабрикой и для защиты интересов рабочих, сказал Похлебкину раздельно и просто:

— Я тебе такой комитет дам, до новых веников не забудешь!

И комитет завял. Возмущаясь, Мирон Евстигнеич недели две потом рассказывал знакомым фабрикантам, бухгалтерам:

— А, каков прохвост. Управлять заводом. Моим-то заводом. Да что я, или не хозяин в своем деле?

Служащие угодливо подхихикивали, осмеивали Похлебкина.

— Чего вы его не прогоните?

— По отцу только и держу. А ежели бы не отец, я бы ему...

Но к концу лета с фронта поперли в Жгель солдаты. Крикливые, резкие, требовательные, с пьяными страшными глазами. Приходили в контору развязные, требовали, чтобы их приняли на старые места. Им говорил бухгалтер:

— Местов нет.

Они шумели, грозили. И раз, когда на шум вышел сам Мирон Евстигнеич, низенький солдатишка, бывший точильщик, закричал:

— Сплотаторы! Мы вам теперь покажем. Сами от жиру беситесь, а нам местов нет? Вот мы поглядим.

От злости у Мирон Евстигнеича запрыгала борода. Он рявкнул.

— Вон, вон отсюда. Гоните их в три шеи!

Тут зашумели, загалдели все — и даже смирные, просившие покорно «работки». И так в первый раз от века веков стояли они — Мирон Евстигнеич и его бывшие рабочие, стояли лицом к лицу, злые и упрямые. А конторщики и сам

бухгалтер Матвеич — правая рука Каркунова — заметались по конторе и вышли во двор, будто бы позвать рабочих, а больше так, «от греха». Мирон Евстигнеич яростно плюнул и первый вышел из конторы, и все видели: он качался, спускаясь с крыльца.

Он заскакал, заметался, созвал заводчиков, и в его белом доме в этот вечер было сборище и речи.

— Али не мы создавали наши заводы? Али мы теперь не хозяева? С ножом к нашему горлу? Не-ет.

Но чувствовал он: его слушают напуганные люди.

— Не дай бог, что делается на железной дороге,— сказал Фомин,— меня чуть было не убили. Ты, говорят, фабрикант, а сам в стрелочники? Беда!

— Претерпеть надо,— посоветовал толстый Еремин,— помолчать, пережить.

— Ага, терпеть? Это при своем-то добре терпеть? — закричал Каркунов.— Так-так. Нет, вижу, с вами каши не сваришь. В случае, ежели что, закрою завод, и никаких. Издыхайте, собаки. Я... им... пок-кажу!..

Но дни, недели несли новое в Жгель. Больше народа с фронта, больше криков, требований; Мирон Евстигнеич съездил в город, пробыл с неделю, а вернулся мрачнее мрачного и уже не ходил в контору. Все распоряжения — через Матвеича. Будто хотел спрятаться в белом доме от жизни непонятной и непокойной.

А осенью поздней, этак уже заморозки ударили и снег падал, из уездного города, из Караванска, приехал отряд целый — на тройках, с винтовками — и прямо к Мирон Евстигнеичу.

— На тебя наложена контрибуция. Подавай полмиллиона.

— А-а-а...

Мирон Евстигнеича сразу схватила трясь. Не денег было жалко. Что там деньги? А вот это бессилие страшнее страшного. По прежним временам крикнул бы:

— А ну, Степка, Микишка, поправьте-ка этим колпаки-то!

И все бы сразу стало ясно.

А теперь: ходят в шапках по всем комнатам, курят, цыркают сквозь зубы на пол, ворошат в комодах, в шкафах. Даже в погреб лазали.

— Тут, гражданин, тысяч на триста, не больше. А ты должен уплатить полмиллиона.

Это начальник-то их — этакий молодой, а лицо зеленое, не иначе из арестантов.

— А где я вам возьму? Мои деньги в банке. Идите да получайте.

— В банке мы без тебя получим. А вот ты здесь еще уплати.

Око за око, зуб за зуб, и этот, испитой-то, и говорит:

— Что же, поедешь с нами в город, там в тюрьме посидишь.

И в самом деле, после обыска вывели перед светом Мирон Евстигнеича из белого дома, посадили в сани, и:

— Прощай, Жгель!

VII

Этак года через полтора, перед весной, когда в Жгели не только волки, а и люди воем выли от голода, пришел в Жгель старичишка в рваном полушубке, в подшитых валенках, шапчонка рысья, облезлая, с ушами. На седой, всклокоченной бороде у старичишки сосульки замерзли.

И прямо старичишка к каркуновскому белому дому. У дома над белым крыльцом озябший красный флаг висит уныло, и сосновые ветви прибиты к резным столбикам; по дорожке прямо в снегу натыканы молодые сосенки. Но видать по молодому нападавшему снегу: давно в доме не было никого. И правда, поднялся старик на крыльцо, а на парадной двери большущий замок висит вроде жука черного. Старик неторопливо обошел дом, заглядывая в окна. От кухни навстречу ему выбежала черная собачонка, залаяла. В окне кухни мелькнуло молодое лицо, и только к двери старик — из двери навстречу вышел, ковыляя на костыле, малый в солдатской шинели. Присмотрелся старик — у малого нет левой ноги.

— Тебе кого, дед?

— Да что в доме-то, не живут теперь?

— Не живут. Теперь здесь клуб.

— Кроме тебя, значит, никого?

— Никого. А что? Ты ищешь, что ли, кого?

Старик не ответил. Опустил голову, подумал:

«Та-ак. Значит, никого?»

И повернулся, пошел прочь, вниз, к фабрике, занесенной по окна снегом, молчаливой. Фабричные трубы мертво торчали в небо, и на них прилип снег. Сугробы снега лежали у запертых дверей. Маленькая тропка вилась между корпуса-

ми. Старик, поскрипывая валенками, пошел по тропке. На крыльце конторы сидел кто-то закутанный в овчинный нагольный тулуп. Старик подошел к крыльцу, к тулупу. Из тулупа высунулось лицо. Старик присмотрелся и спросил:

— Это ты, Степан?

Тулуп торопливо дернулся, и рукава задвигались быстро, отвернули воротник. Степаново лицо — все такое же рябое, нисколько не постаревшее — глянуло на старика. Вдруг Степан торопливо поднялся.

— Ми... Мирон Евстигнеич!

И оба — старик и Степан — минуту растерянно смотрели одни на другого.

— Узнал? Вот и хорошо,— проговорил старик.— В караульщиках служишь? Ну, а мои-то где же? Где Матрена Герасимовна?

И от волнения лицо у старика помертвело, стало желтое, вот упади он сейчас мертвым, ни одна бы черта не изменилась.

— Где Матрена Герасимовна?

Степан смущенно ответил:

— Умерли. Восемь месяцев, как умерли.

Старик опустил голову, смотрел на свои подшитые валенки, похожие на слоновые ноги.

— Завод отобрали. Их выселили. Имущество взяли. Как же? Бедствовали они, беда как. У отца Павла и померли.

Старик стоял внизу, у первой ступени крыльца, молчал, смотрел на свои валенки. А Степан, с крыльца, сверху, говорил:

— На заводе новые хозяева. Комитет. Как же. Николай Похлебкин за главного.

Степан замолчал. Старик все стоял, опустив голову. Потом точно проснулся.

— Так у отца Павла?

Он глянул на Степана. Лицо у него было теперь новое, горячее какое-то, а скулы краснели — и это было страшно: красное лицо в седой бороде. Он повернулся и, ссутулясь, пошел прочь, и лез прямо через сугробы, когда вот тропка рядом.

А к вечеру по всей Жгели молнией пронеслась весть:

— Мирон Евстигнеич приехал.

И никто не хотел верить Степану, что Мирон Евстигнеич пришел, а не приехал, пришел вот так, пешком, в подшитых валенках. Вечером к дому отца Павла сходились люди, заглядывали в темные окна, чего-то ждали. Бабы стояли

кучками, говорили вполголоса. Сумерки были синие, и по бирюзовому небу плыла, как золотой тонкий кораблик, молодая луна. Луна плыла низко и, казалось, задевала за мертвые мрачные трубы, за длинные крыши, занесенные снегом. И черные люди на белом снегу казались маленькими, покинутыми.

— Може, теперь опять завод пустит.

— Где же пустит, ежели теперь он не хозяин?

— Слышь, и ничего-то нет у него. Валенки-то подшиты загубу. Где это видано, чтобы Мирон Евстигнеич в таких валенках ходил?

— Ну, раз приехал, что-нибудь да будет. Это неспроста.

И Жгель — вся — напряженно ждала, что будет теперь. И за каждым его шагом следила.

— Мирон Евстигнеич панифидку по своей старухе отслужил.

— И-и, постарел. Прямо, можно сказать, хизнул. Борода, бывало, расчесана волосок к волоску, как воротник бобровый, а ныне вроде свалялась.

— Мирон Евстигнеич ходил в контору, а Похлебкин ему сказал: «Если ты, гражданин Каркунов, еще раз придешь, я тебя арестую».

— Мирон Евстигнеич у Панкратьева в гостях был, говорил, что теперь только об душе думает, а не об заводе.

— Мирон Евстигнеич...

И опять тревога капля за каплей в душу каждую:

— Как же теперь? Кто же дело пустит? Говорили эти: «Возьмем, пустим». И не пустили. И этот старый-то демон — «об душе думаю». А нам как же — помирать?

Поселился Мирон Евстигнеич у отца Павла. Ходил с ним в церковь. Или на базар. Или по лесным дорогам ходил один — идет иной раз, старый и мрачный, как изгнанная и неприкаянная совесть.

А Жгель... В Жгели тишь, как на кладбище. Ни одна труба не дымит. Ни один горн не горит. Кому нужна посуда, ежели есть-то у многих нечего?

Пожалуй, только Похлебкин и храбрился:

— Вот войну с буржуями кончим, тогда и за фабрики примемся.

И Мирон Евстигнеичу про это говорили угодливые люди:

— Собираются пустить.

Мирон Евстигнеич на это мрачно:

— Гляди, пустят. Где же? Не пустят никогда. Чтоб рабо-

тать, иадо любить дело. Бывало, ставишь амбар новый аль стену какую,— сердцем вот как болишь, будто о дите родиом. А здесь — кому это иадобно об деле сердцем болеть? Дело-то не в войне буржуйской. А между прочим, поглядим.

И словно шипенье чье — вопросы:

— Когда же в обрат-то пойдет? Когда к вам-то дело вернется?

— А вы подите у Похлебкина узиайте.

И пальцем к конторе. А голоса угодливо, раболепно:

— Что нам Похлебкин? Пустое помело. Два года только обещают. А иам-то надо жрать аль нет?

— А вы бы в клуб сходили. Хе-хе. Там бы музыку послушали.

— Музыка. Вот у нас где музыка.

И ладонью себя по животу. И Мирон Евстигнеич, шаркая подшитыми, разбитыми валенками, пойдет прочь. Борода седая задвигается от улыбки от радостной. У баб и мужиков лица покривеют от злобы.

— Тоже ндол хороший. И говорить не хочет.

— Идол не ндол, а все же бывало-то, как суббота, так нди и получай. А теперь...

Говорят шелестящими, злыми голосами: вспоминают, как бывало-то... на полтину-то... можно было купнть целые полпуда ржаиой муки.

— Полпуда! А теперь за полпуда целый месяц служи и то не получншь.

Мирои Евстигиеич ходил по Жгелн — высокий, со всклокоченной бородой, в черном длинном потертом кафтане староверском, иизко надвниув картуз на лоб. А глаза — точно угли, раздуваемые ветром.

Порой возле него останавливались бабы, мужики,— теперь уже независимые,— слушали. А Мирои Евстигнеич только скажет:

— Разве я бы допустил, чтобы мои рабочие так бедствовали?

И пойдет — чериый, высокий, как столб, только седая борода болтается на ветру.

Зима иадвинулась страшиее страшиого. Запели вьюги, занесли Жгель по самые крыши, закрыли все дыры-прорехи, все стало белым, мягким,— только мертво торчали мертвые трубы. А дым, копоть бывалые где? Только из труб избяных тощенькие дымочки ленивые.

Мирои Евстигиеич все ходил и ходил мрачный между корпусами. Подходил к белому дому своему старому. Облетели

сосеики, сник и разорвался флаг иад парадиым крыльцом, так и висит разорваиный в леиты. Кто-то высадил все стекла иа террасе. В этом году клуб ие открывался, даже хромой иивалид исчез куда-то. В коиторе заводской три человека — в шубах, валеиках и шапках — сидели часа два в день перед толстыми кингами, говорили между собой лениво. А за корпусами — из штабелей — жегляне безоглядио тащнли доски, дрова, торф. Забирались через разбитые окиа и в самые корпуса — тащили гайки, ремии.

Вечерами, в определеиный час, в тулупе иагольиом выходил Степаи иа тропку и медлеино брел вокруг корпусов. По иочам иикто ие ходил воровать, потому что жегляне боялись Степаиовых крепких кулаков. Воровали только днем, открыто. А дием Степаи спал.

Как-то февральской очеиь луииой иочью Степаи услыхал: за лесом звоиит колокольчик. Степаи остановился, сдвинул с уха шапку, чтобы ие мешала слушать. Колокольчик ближе, ближе, и из леса выехала по дороге чериая лошадь с чериым возом. Лошадь подъехала к заводскому крыльцу. Степаи строго спросил:

— Кто едет?

С облучка слез ямщнк, весь заиндевевший, сказал:

— Сторож, что ли, ты? Начальиика вам привез иового. Приинмай.

И, обериувшись к саиям, сказал:

— Ну, Яков Микифорыч, вылезай.

В возу зашевелилось, и кто-то, закутаииый в тулуп, вылез, отвериул ворот, сказал:

— Э-э, все мертво. Что ж свету-то иигде иет?

Степаи хмуро:

— У иас, поди, два года света иет.

Человек, закутаииый в тулуп, стуча тяжелыми сапогами, подиялся иа крыльцо. Скрипнул дверью, отворяя.

— Что, заперто здесь?

— Не заперто. Заходи. Да оно все одио, что здесь, что там — одииакова сласть — волков морозить. Не топят у иас.

И, поиизив голос, Степан сказал:

— Поди-ка, попляши в сапогах-то.

И засмеялся. Ямщик сказал, тоже смеясь:

— Он и дорогой-то ежился. Все спрашивал, скоро ли доедем?

— А чей такой?

— А пес его... Меня по наряду из Сииюшкииа взял.

Ваш чей-то. Сычевым прозывают, Яков Микифорыч.

Степан встрепенулся.

— Яков Сычев?!

И побежал в дверь.

Через полчаса — на кухне в белом доме топилась плита, а возле нее сидел Яков Сычев и, положив ноги на дверку духовки, грелся, расспрашивал.

Степан неуклюже говорил:

— Умерли. Ушли. Убежали. Только губахтер здесь. И Мирон Евстигнеич.

И подивился Степан: приехал ночью, в мерзлых сапогах, чудной такой, а говорит: «Поставлю завод».

Зашумела, загудела Жгель, когда утром прошла весть из избы в избу:

— Рабочих собирают на завод.

Приходили к конторе толпами. Правда, на дверях записка: «С первого числа будет производиться запись».

А глянешь в окна — там и бухгалтер Матвеич на месте, и два конторщика, и сам Яков Сычев, тот прежний Яшка. Только не такой верткий, и собачьи морщины по сторонам рта, и стрижен по-солдатски.

— Ай да Яков, в тузы полез!

— Это и раньше было видать,— до хороших делов дотяпается.

Стояли долго, переглядывались удивленно. Хотели зайти в контору спросить, правда ли пойдет завод, но, помня строгие каркуновские времена, стеснялись, посылали один другого. Но Сычев сам вышел. С крыльца заговорил:

— Поставим. Поведем. Спасем...

И после, когда расходились, видели: к конторе шел и сам Каркунов.

Что было в конторе — бухгалтер и конторщики рассказали своим женам, а жены соседкам, и вся Жгель узнала:

— Пришел — и прямо к Сычеву. «Здравствуй, Яков!» — «Здравствуйте, Мирон Евстигнеич. Очень рад, что вы пришли. Хотел к вам пойти. Спецы на заводе нам нужны. Не поможете ли нам в деле?» — «Это как же надо понимать?» — «Завод в ход пускаем. Помогайте. Теперь все заводы в Республике решено пустить». Аж сел Мирон Евстигнеич. «Это я, говорит, хозяин истинный, да пошел помогать вам? Никогда». А Яков ему: «Не хотите помогать,— скатертью дорога».

К весне запыхтело в машинном отделении, и раз утром, без четверти семь, как бывало, затрубил над Жгелью знакомый басовитый гудок. Лентой — не очень плотной, не как

бывало, пошел народ к заводу. Дня через два, вечером, над крышами здания загорелся и зашумел белый ровный огненный столб. Два с половиной года таких столбов Жгель не видала...

А через месяц, в воскресенье, в ограде староверской церкви хоронили Мирон Евстигнеича. Небольшая толпа собралась у могилы.

Отец Павел и начетчики пели уныло. Старики в черных кафтанах поставили гроб на веревки и стали спускать в могилу. Толпа усиленно закрестилась.

— Готово?

— Готово. Стоит. Вынай веревки.

Слышно было, как зашуршали веревки о гроб.

— Вечная память. Вечная память.

Отец Павел нагнулся, поднял горсть свежевырытой земли и бросил в могилу. Еще нагнулся и опять бросил. И еще. Тогда вся толпа, толкаясь, заспешила, бросая землю горстями в могилу.

Потом заработали лопаты, и комья стали падать на гроб, гулко стукая.

— А-а, человек-то какой был...

— Ждал, ждал, что вернут,— не дождался. Как пустили завод, так сразу и сломился.

— Заговариваться стал. Ходит один и вот говорит, вот говорит, будто спорит с кем.

— Не по нутру было.

— Знамо, не по нутру. Ты гляди, какой властный был, а тут, гляди, в ничтожность какую произошел. Кому не доведись.

— И поминок-то не будет, говорят.

— Какие поминки?

— Жил, жил и умер...

— И-хи-хи, жисть наша...

— Гляди, молодые-то никто не пришел. Старые только...

— Куды молодым? Все вон в мяч побежали играть. А которые на огороды.

— И никому невдомек, что хозяин помер. Вот народ пошел!

1925

Михаил Шолохов

БАХЧЕВНИК

I

Отец пришел от станичного атамана веселый, чем-то обрадованный. Смех застрял у него под густыми бровями, губы морщились от сдерживаемой улыбки; таким, как нынче, давно не видал Митька отца. С тех пор как пришел он с фронта, постоянно был суров, нахмурен, щедро отсыпал четырнадцатилетнему Митьке затрещины и долго задумчиво турсучил свою рыжую бороду. А нынче, как солнышко сквозь тучи глянуло, даже Митьку, подвернувшегося под руку, сунул с крыльца шутливо и засмеялся:

— Ну, ты, висляй!.. Беги на огород, кличь матерю обедать.

За обедом сидели всей семьей: отец под образами, мать прижалась на краешке лавки, к печке поближе, а Митька рядом с Федором — старшим братом. Под конец, когда отхлебали реденькие постные щи, отец бороду разложил на две щетинистые половины и снова улыбнулся, морща синеватые губы:

— Должон семью с радостью поздравить: нынче меня назначили комендантом при военно-полевом суде у нас в станице...— Помолчал и добавил: — В германскую войну лычки тоже недаром заслуживал, офицерство и мои храбрые отличия не забыты по начальству.

И, багровея, густо наливаясь кровью, сверкнул на Федора глазами:

— Ты что же, сволочь, голову опустил? Не рад отцовской радости? А? Ты у меня, Федька, гляди!.. Думаешь, я не вижу, как ты нюхаешься с мужиками? Через тебя, подлеца, мне атаман в глаза стряпет. «Вы, говорит, Анисим Петрович, действительно блюдете казачью честь, а Федор, сынок ваш, с большевиками якшается, двадцать годов парню, жалко, может пострадать...» Говори, сукин сын: ходишь к мужикам?

— Хожу.

Дрогнуло у Митьки сердце, думал, ударит отец Федора, но тот только перегнулся через стол, кулаки сжимая, рявкнул:

— А знаешь ты, красноармейская утроба, что завтра мы твоих друзей арестуем? Знаешь ты, что портного Егорку и кузнеца Громова завтра же расстреляют?

И опять услыхал Митька от побледневшего брата твердое:

— Нет, не знаю, но теперь буду знать.

Не успела мать загородить собою Федора, не успел Митька вскрикнуть, как отец, размахнувшись, кинул тяжелую медную кружку. Обломанная ручка острым краем воткнулась Федору повыше глаза. Тоненькой цевкой далеко брызнула кровь. Молча Федор закрыл рукой кровью залитый глаз. Мать, стоная, обняла его голову, а отец с грохотом опрокинул скамью и вышел из хаты, хлопнув дверью.

До вечера суетилась мать. Из сундука достала связку сушеной рыбы, насыпала в сумку сухарей, потом присела у окна, латая Федорово белье. Проходя мимо, видел Митька, как мать, голову уткнувши в ворох белья, сидит неподвижно, лишь плечи у нее под рваной ситцевой кофтенкой судорожно сходятся и расходятся.

Затемно пришел из станичного правления отец и, не ужиная, не раздеваясь, лег на кровать. Федор, стараясь не скрипеть половицами, на цыпочках прошел в кладовую, достал седло, уздечку и вышел на двор.

— Митя, поди сюда!

Митька загонял телят, хворостину бросил, подошел к брату. Смутно догадывался он, что Федор хочет уехать за Дон к большевикам, туда, откуда каждую зорю плывет и волнами плещется над станицей глухой орудийный гул. Спросил Федор, отводя глаза в сторону:

— Ты не знаешь, Митяй, конюшня заперта?

— Запертая... А на что тебе?

— Надо, значит.— Помолчал Федор, посвистал сквозь зубы и неожиданно зашептал: — Ключи от конюшни у отца под подушкой... в головах... выкрадь их... я хочу ехать...

— Куда?

— В Красную гвардию служить... Мал ты еще, после поймешь, на чьей стороне правда живет... Ну так вот, еду я воевать за землю, за бедный народ и за то, чтоб все равные были, чтоб не было ни богатых, ни бедных, а все равные.

Выпустил Федор из рук Митькину голову, спросил строго:

— Возьмешь ключи?

Ответил Митька не колеблясь:

— Возьму,— повернулся к Федору спиной и, не оглядываясь, пошел в хату.

В горнице полутемно, тягучее жужжание засыпающих на потолке мух. У дверей скинул Митька башмачишки, приподымая за ручку (чтобы не скрипнула), отворил дверь и мягко зашлепал босыми ногами к кровати.

Головой к окну навзничь лежит отец одна рука в кармане, другая свесилась с кровати, ноготь, большой, обкуренный, в половицу упирается. Затаив дыхание, подошел Митька к кровати, остановился, прислушиваясь к булькающему храпу отца. Тишина, густая и недвижная... У отца на рыжей бороде хлебные крошки и яичная скорлупа, из раззявленного рта стервятно разит спиртом, а где-то на донышке горла хрипит и рвется наружу застрявший кашель.

Протянул Митька руку к подушке, а у самого сердце, не останавливаясь: тук-тук-тук-тук...

И кровь, приливая к голове, звенит в ушах колючим трезвоном. Сначала один палец просунул под засаленную подушку, потом другой. Нащупал скользкий ремешок и холодную связку ключей, потянул к себе потихоньку, а отец вдруг черк рукой Митьку за шиворот.

— Ты зачем крадешься, стервец? Я тебе чупрыну в два счета оболтаю!

— Батя! Родненький! Я за ключами от конюшни... Будить не хотел...

Скосил отец на Митьку припухшие, желтизною налитые глаза.

— А зачем понадобились ключи?

— Кони что-то нудятся...

— Так и говори...— Отец кинул на пол связку ключей и, обернувшись к стене лицом, вздохнул и минуту спустя захрапел снова.

Митька — опрометью из хаты на двор, к Федору, прижавшемуся под иавесом сарая. Сунул ему в руки ключи, спросил:

— А какого коня возьмешь?

— Жеребчика.

Вздохнул Митька, следом за Федором шагая, сказал вполголоса:

— Федя, а ить меня батька-то запорет?..

Промолчал Федор, молча вывел из конюшни жеребчика, оседлал, долго ловил ногою непослушное стремя и, уже выезжая из ворот, прошептал, свесившись с седла:

— Терпи, Митяй! Горе мыкать не век будем, а отцу, Ани-

симу Петровичу, перекажи моим словом: коли троиет он тебя или мамашу хоть пальцем,— лютую расправу на него наведу...

И выехал из ворот, торопя жеребчика в дальнюю путину, а Митька за плетнем присел на корточки, хотел поглядеть было вслед Федору, но глаза застлала соленая пелена и удушье перехватило горло.

II

Отец захлебывается в горнице клокочущим храпом. Встал Митька раньше раннего, обротал Гнедого, к Дону поехал напоить и искупать коня-работягу. Под копытами Гнедого шуршит, осыпаясь, присохший мел, съехал под яр к воде, разнуздал коня, сбросил одежду, ежась от мглистой утренней сырости, и услышал, как над водой где-то далеко-далеко растаял охнувший гул и, перекатываясь, пополз по Дону. С головой окунаясь в воду, пронизанную колючим утренним холодком, улыбнулся Митька, подумал: «Теперь Федор, поди, у большевиков уже... В Красногвардии службу ломает...»

Перекинулись мысли на дом, на отца, и разом, как искра по ветру, потухла радость. Ехал обратно домой сгорбившись, померкли Митькины глаза.

Уже подъезжая к дому, подумал: «Задать бы стрекача туда... к большевикам... правда у них живет, говорил Федор... С ним бы увязаться. А отец мне нынче сдерет шкуру... юшку красную пустит из носу...»

У крыльца снял с коня узду и медленно вошел в хату. Отец из горницы сипло:

— По какой причине жеребчика не водил купать?

Глянул Митька мельком на мать, пристывшую возле печки, почувствовал, как кровь торопливо уходит к сердцу.

— Жеребчика нету в конюшке!..

— Где же он?

— Не знаю.

— А Федор где?

— Не видал.

В горницу, обуваясь, шаркает сапогами отец. Через кухню прошел в кладовую, сверкая припухшими от сна глазами.

— Где седло?..— загремел из сенцев.

Стал Митька поближе к матери и, как бывало давно, в детстве, уцепился за материну руку. Вошел отец в кухню, в руках комкает кожаный ремень.

— Ты кому ключи отдал?

Мать собой заслонила Митьку.

— Не тронь его, Анисим Петрович. Ради Христа, не бей!.. Аль не жалко сына?

— Пусти, чертова сволочь!.. Тебе говорю аль нет?..— Оттолкнул мать в сторону, Митьку повалил на пол, бил ногами деловито, долго, жестоко, до тех пор, пока перестали из Митькиного горла рваться глухие, стонущие крики.

III

Все слышнее и слышнее становился орудийный гул. По утрам, когда прогоняли табун на попас, долго сидел Митька под старым ветряком на прогоне. От ветра на крыше ветряка повизгивала и скрежетала жесть, крылья скрипели тягуче и нудно, и, покрывая все робкие звуки, где-то за бугром басовито ухало: бу-у-ух!..

Рокочущий густыми переливами гул долго таял за станицей в ярах, задернутых предрассветной голубизной. Через станицу утрами тянулись к Дону обозы со снарядами, патронами, колючей проволокой. Обратно везли израненных, завшивевших казаков, сваливали их на площади, возле станичного правления. Любопытные куры заботливо загребали папиросные окурки, закровяненные бинты, вату с комками запекшейся крови и внимательно прислушивались к стонам, плачу, хриплым матюканьям раненых.

Митька старался не попадаться отцу на глаза.

Позавтракавши, уходил с удочками к Дону, сидя на берегу, смотрел, как по мосту двигалась конница, громыхали тачанки, гребла морозную пыль пехота. Возвращался домой в сумерках. Вечером в станицу пригнали толпу пленных красногвардейцев. Шли они тесно, скучившись, босые, в изорванных шинелишках. Казачки выбегали на улицу, плевали в серые, запыленные лица, похабно ругались под грохочущий хохот казаков и конвойных. Шел Митька следом, глотал едкую пыль, взлохмаченную ногами пленных; сердце, тоскою зажатое в кулак, трепыхалось неровными бросками... Глядел в каждые глаза, обведенные иссиня-черными кругами, переводил взгляд с одного безусого лица на другое и ждал, что вот-вот в одном из этих серошинельных узнает брата Федора.

На площади, около общественного сарая, где раньше ссыпался станичный хлеб, пленных остановили. Увидал

Митька, как на крыльцо правлеиия вышел отец, левой рукою теребя темляк на шашке, гаркнул:

— Шапки долой!..

Медленно-медленно сняли красногвардейцы шапки, стали, свесив лохматые головы, изредка перешептывались. Опять знакомый грозный голос:

— В ряды стройся!.. Да живо, красная сволочь!

Шуршат, переступая, босые ноги. Серая шеренга измученных лиц до крыльца правления протянулась.

— По порядку рассчитайсь!..

Осипшие голоса. Заученный поворот голов. А у Митьки в горле судороги, жалость к этим как будто чужим людям, жалость до жгучей боли, до тошного удушья, и в первый раз за всю жизнь ненависть едкая к отцу, к его самодовольной улыбке, к рыжей щетинистой бороде.

— В сарай — шагом — арш!..

Пошли по одному в раззявлениое черное хайло дверей. Последнего, низкорослого, шатающегося, ударил Митькин отец ножнами шашки по голове, обвязанной кровавой тряпкой; пробежал тот, спотыкаясь и раскачиваясь, шагов пять и тяжело упал вниз лицом на жесткую, утоптанную иогами землю. На площади хохот, гул голосов, глаза, сузившиеся от смеха, бабьи рты, захлебнувшиеся слюнявым смешком, а Митька вскрикнул надорванно и глухо, лицо закрыл похолодевшими ладонями и, натыкаясь иа людей, побежал по улице.

IV

Мать возится у печки, кончает стряпаться. Подошел Митька боком, сказал, глядя в сторону:

— Маманька... испеки пышек... я бы отнес энтим, какие в сарае сидят... пленным.

У матери на глазах мокрая пленка.

— Отнеси, сынок, может — и наш Федя страдает где... И у пленных матери есть, тоже, иебось, ночами подушки не высыхают.

— А как батя узнает?

— Не приведи бог! Ты, Митенька, вечером отнеси. Какие казаки стерегут, отдай им и скажи, чтоб передали...

Солнце, как нарочно, замедляет шаг и ползет над станицей, равнодушное к Митькиному нетерпению и невозмутимое. Насилу дождался, пока спустится темнота, прошел на площадь, ящерицей скользнул между проволочной огорожей

и к дверям, а сам рукой придерживает за пазухой узелок с харчами.

— Кто идет? Стой! Стрелять буду!..

— Это я... харчи пленным приноc.

— Кто такой? Проваливай, пока приклада не попробовал! Черт тебя носит по ночам! Дня тебе мало харч носить?

— Погоди, Прохорыч, никак, это комендантов парнишка?

— Ты Анисима Петровича сынок?

— Да...

— Тебя кто же с харчами прислал? Отец?

— Не-е-ет... Я сам.

К Митьке подошли двое казаков. Старший, бородатый, ухватил Митьку за ухо.

— Тебя кто, пащенок, научил харчи пленным таскать? Ты того не могешь понять, что они нам есть самые вредные враги? А ежели я про эти дела батяньке твоему доложу? Он как за это тебя примолвит?

— Брось, Прохорыч! Жалко тебе чужого хлеба? В два горла жрать все равно не будешь, возьми харчишки, передадим!

— А ежели Анисим Петрович про то узнает? Тебе рассусоливать хорошо, ты один, а у меня семейство. За подобные дела на фронт пошлют, да к тому же и розог всыплют...

— Да ну тебя к черту, расплакался!.. Эй, парнишонок, ты куда же удираешь? Тащи свои харчи, передам, что ли.

Передал Митька молодому в руки узелок; нагнувшись, шепнул тот ему:

— По средам и пятницам я дежурю... Приноси.

Каждую среду и пятницу вечерами приходил Митька на площадь: стараясь не зацепиться за колючую проволоку, лез через огорожу, передавал часовому узелок и возвращался домой, пригибаясь у плетней и оглядываясь.

V

Каждый день, как только над станицей золотисто-рябым пологом растопыривалась ночь, из сарая выводили кучки пленных красногвардейцев и под конвоем гнали в степь — к ярам, закутаным белесым туманом. До станицы ветром доносило отзвук трескучего залпа и реденькие винтовочные выстрелы. Когда пленных уводили больше двадцати человек, следом, поскрипывая колесами, шуршала пулеметная тачанка. Номера дремали на широких козлах, кучер блестел цигаркой и лениво шевелил вожжами, лошади переступали

неохотно и разнобойсто, а оголенный пулемет, без чехла, тускло блестел дырявой пастью, словно зевал спросонок. Спустя полчаса где-то в ярах пулемет сухо и отрывисто татакал, кучер полосовал кнутом взмыленных, храпящих лошадей, номера тряслись, подпрыгивая на козлах, и тройка лихо останавливалась возле комендантской, глазевшей на сонную улицу тремя освещенными окнами.

В среду вечером отец сказал Митьке:

— Ты все лодырничаешь? Веди-ка нынче в ночное Гнедого, да смотри — в хлеба не пущай! Только потрави у меня чей-нибудь хлеб, я тебе всыплю чертей!..

Обротал Митька Гнедого, матери успел шепнуть:

— Отнеси, маменька, харчи сама... Отдашь часовому.

Уехал вместе со станичными ребятами на отвод, за атаманскую землю. Вернулся на другой день, утром до восхода солнца. Отворил калитку, скинул с Гнедого уздечку, хлопнул его по пузу, припухшему от зеленки, и пошел в хату. В кухню вошел — на полу и на стенах кровь. Угол печки в чем-то кровянисто-белом. Из горницы клокочущий хрип, мычанье... Переступил Митька порог, а на полу мать лежит, вся кровью подплыла, лицо багрово-пухлое, волосы на глаза свисают кровянистыми сосульками. Увидела Митьку, замычала, задергалась, а сама слова не скажет. Мечется в распухшем рту посинелый язык, глаза смеются дико и бессмысленно, из перекошенного рта розоватые пузырчатые слюни...

— Ми... ми... тя... тя... тя... тя...

И смех глухой, стонущий...

Упал на колени Митька, руки материны целовал, глаза, залитые черной кровью. Обнял голову, а на пальцах кровь и комочки белые слизистые... На полу около валяется отцовский наган, рукоятка в крови...

Не помнит, как выбежал. Упал возле плетня, а соседка из своего двора кричит:

— Ой, убегай, сердешный, куда глазыньки твои глядят! Узнал отец, что мать носила пленным харч, убил ее до смерти и на тебя грозился!

VI

Месяц прошел с тех пор, как нанялся Митька в бахчевники. Жил в шалаше на макушке горы. Видно оттуда молочно-белую ленту Дона, станицу, пристывшую под горою, и кладбище с бурыми пятнышками могил. Когда нанимался, шумели казаки:

— Это Анисимов сын! Не надо нам таких-то! У него брат

в Красногвардии и мать, сука, пленных кормила. На осину его, а не в бахчевники!

— Он, господа старики, платы не просит. Говорит, за Христа ради буду стеречь бахчи. Будет ваша милость — дадите кусок хлеба, а нет — и так издохнет...

— Не дадим, нехай издыхает!..

Но атамана все же послушались. Наняли. Да и как же не нанять обществу мирского батрака: никакой платы не просит и будет стеречь станичные бахчи круглое лето за Христа ради. Прямая выгода...

Поспевали, пухли под солнцем желтые дыни и пятнистые полосатые арбузы. Понуро ходил Митька по бахчам, пугал грачей криком и звонкоголосой трещоткой. По утрам вылезал из шалаша, ложился около стенки на перепревший бурьян, вслушивался, как за Доном бухали орудия, и долго затуманившимися глазами глядел в ту сторону.

На гору мимо бахчей, мимо обрывистых меловых яров гадючьим хвостом извивается кочковатый летник. По нему сено возят летом станичные казаки, по нему гоняют к ярам расстреливать пленных красногвардейцев. Ночами часто просыпается Митька от хриплых криков и выстрелов внизу, за левадами, за густою стеною верб, после выстрелов воют собаки, и по летнику громыхают шаги, иногда стрекочет тачанка, тлеют огоньки папирос, говор сдержанный доносится. Как-то ходил Митька туда, где путаным узлом вяжутся извилистые яры, видал под откосом засохшую кровь, а внизу, на каменистом днище, где вода размыла неглубокую могилу, чья-то босая нога торчала; подошва сухая, сморщенная, и ветер степной, шарящий по ярам, вонь трупную ворошит. С тех пор не ходил...

В этот день из станицы по летнику шли толпою раньше обыкновенного: по бокам — казаки из конвойной команды, в середине они — красногвардейцы в шинелях, накинутых внапашку. Солнце окуналось в сверкающую белизну Дона медлительно, словно хотело поглядеть на то, что не делалось при дневном свете. В левадах на верхушки верб черной тучей спускались грачи. Тишина паутиной расплелась над бахчами. Из шалаша провожал Митька глазами до поворота тех, что шли по летнику, и внезапно услышал крик, выстрелы, еще и еще...

Выскочил Митька из шалаша на пригорок, увидел: по летнику к ярам бегут красногвардейцы, а казаки, припав на колено, суетливо стреляют, двое, махая шашками, бегут следом.

Выстрелы звоном будоражат застывшую тишину.

Тук-так, так-так... Та-та-тах!

Вот один споткнулся, упал на руки, вскочил, опять бежит... Казак ближе, ближе...

Вот, вот... Полукружьем блеснула шашка, упала на голову... рубит лежачего...

У Митьки в глазах темнеет и зноем наливается рот.

VII

В полночь к шалашу подскакали трое конных.

— Эй, бахчевник! Выдь на минутку!

Вышел Митька.

— Ты не видал вечером, куда побегли трое в солдатских шинелях?

— Не видал.

— Смотри не бреши. Строго ответишь за это!

— Не видал... не знаю...

— Ну, делать тут нечего. Надо по ярам до Филипповского леса ехать. Лес оцепим, там их, гадов, и сцапаем...

— Трогай, Богачев...

До белой зари не спал Митька. На востоке погромыхивал гром, небо густо залохматело свинцовыми тучами, молния слепила глаза. Находил дождь.

Перед рассветом услыхал Митька возле шалаша шорох и стон.

Прислушивался, стараясь не ворохнуться. Ужас параличом сковал тело. Снова шорох и протяжный стон.

— Кто тут?

— Человек добрый, выйди, ради бога!..

Вышел Митька, нетвердо ступая дрожащими ногами, и у задней стены шалаша увидел запрокинувшегося навзничь человека.

— Кто такое?

— Не выдай, не дай пропасть... Я вчера из-под расстрела убег... казаки ищут... у меня нога... прострелена...

Хочет Митька слово сказать, а горло душит судорога, опустился на колени, подполз на четвереньках и ноги в солдатских обмотках обнял.

— Федя... Братунюшка! Родненький...

Нарубил и перетаскал в шалаш ворох засохших подсолнечных будыльев, уложил Федора в углу, навалил бурьяну и подсолнухов, а сам пошел по бахчам.

До полуночи гонял с зеленых курчавых полос настырных

грачей, самого тянуло пойти к шалашу, смотреть в родные братнины глаза, слушать еще и еще рассказ о пережитых страданиях и радостях. Твердо было решено между ними: как только смеркнется — завязать Федору покрепче раненую ногу и знакомыми стежками лесными кружно пройти до Дона, переплыть на ту сторону, к тем, у кого правда живет, кто бьется с казаками за землю и бедный народ. С утра до полудня по летнику скакали из станицы казаки, раза два заворачивали к Митьке напиться воды в шалаше. Уже перед вечером увидал Митька, как с песчаного кургана, блестевшего белой лысиной, съехали человек восемь конных и шагом пустили под гору усталых, спотыкающихся лошадей. Сел Митька возле шалаша, провожал глазами сутулые фигуры верховых, не поворачивая головы, сказал Федору вполголоса:

— Лежи, не ворочайся, Федя! Один конный бегит по бахчам к шалашу.

Из-под вороха бурьяна глухо загудел голос Федора:

— А остальные ждут его или поскакали в станицу?

— Энти тронули рысью, скрываются под горою!.. Ну, лежи.

Привстав на стременах, покачивается казак, плетью помахивает, лошадь от пота мокрая.

Шепнул Митька, бледнея:

— Федя... отец скачет!..

Рыжая отцовская борода потом взмокла, обгоревшее на солнце лицо — иссиня-багрово. Осадил лошадь у самого шалаша, слез, к Митьке подошел вплотную.

— Говори: где Федор?

Вонзил в побелевшее Митькино лицо кровью налитые глаза. От синего казачьего мундира потом воняет и нафталином.

— Был он у тебя ночью?

— Нет.

— А это что за кровь возле шалаша?

Нагнулся отец к земле, пунцовая шея вывалилась из-под воротника жирными складками.

— А ну, веди в шалаш!

Вошли — отец впереди, почерневший Митька сзади.

— Смотри, змееныш... Ежели укрываешь ты Федьку, то и его и тебя на распыл пущу!..

— Нету... не знаю...

— Это что у тебя за бурьян в углу?

— Сплю на нем.

— Посмотрим.— Шагнул отец в угол, присел на корточки, медленно расковырял чахлый шуршащий бурьянок и подсолнечные будылья.

Митька сзади. Перед глазами синий обтянутый на спине мундир колыхается плавными кругами.

Через минуту изо рта отца хриплое:

— Ага-а-а-а... Это что?

Босая Федорова нога торчит промеж коричневых стеблей. Отец правой рукой лапает на боку кобуру нагана. Качаясь, прыгнул Митька, цепко ухватил стоящий у стенки топор, ухнул от внезапно нахлынувшего тошного удушья и, с силой взмахнув топором, ударил отца в затылок...

* * *

Прикрыли похолодевшее тело бурьяном и ушли. Ярами, буреломом, густым терновником шли, ползли, продирались. Верстах в восьми от станицы, там, где Дон, круто заворачивая, упирается в седую гору, спустились к воде. Плыли на косу; быстро снесло нахолодавшей за ночь водой. Федор, стоная, цеплялся за Митькино плечо.

Доплыли. Долго лежали на влажном зернистом песке.

— Ну, пора, Федя! Эта половина, должно быть, неширокая.

Спустились к воде. Дон снова облизывает лица и шеи, отдохнувшие руки уверенней кромсают воду.

Под ногами земля. Застывшая в темноте гущина леса. Торопливо зашагали...

Светало. Где-то совсем близко ахнуло орудие. На востоке чахло румяную каемку протянул рассвет.

1926

Всеволод Иванов

КОГДА Я БЫЛ ФАКИРОМ

От доктора Воскресенского я ушел душевно усталым. Было такое чувство, словно я поседел в одно утро. Я думал, если доктор выдаст мне рецепт, то я, продав единственные свои брюки, смогу купить в аптеке кокаин. А продавать на пищу брюки и сидеть сытому без брюк — глупо.

Хозяйка моей комнаты, близорукая и с каким-то слезящимся носом, низко склонившись, читала по складам на столе афишу:

ПЕРВЫЙ РАЗ В ЗДЕШНЕМ ГОРОДЕ
ГАЛЛО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
Выступает всемирно известный факир и дервиш!
БЕН-АЛИ-БЕЙ!

— Вы где ж обучались этому? — спросила она, кривя затейливо слезящийся нос.

— В Индии,— ответил я мрачно.

Да и что я мог бы ей иное ответить? Не рассказывать же ей, как за свою складную кровать вместо трех рублей я согласился взять у старьевщика две шпаги с маркою «Гамбург». Шпаги были совершенно похожи одна на другую. Только, если всмотреться, одна из них была цельная, а другая складная с тремя кнопками в рукоятке. Кнопки были белые, слоновой кости, что ли, и это меня более всего раздражало. Если надавить одну кнопку, треть лезвия уходила. Надавить другую — исчезала следующая треть. И, наконец, вся троица скрывалась в рукоятке.

— Вы ж этим какие деньги будете зарабатывать! — сказал мне ласково старьевщик.

Я убого скучал по ласке и по надежде. И поэтому я больше для себя ответил:

— Но ведь одной шпаги мало?

И тогда старьевщик прибавил мне растрепанную книжку,

изданную, как помню сейчас, Холмушиным в Москве: «Руководство по черной и белой магии с присовокуплением карточных фокусов».

— Тут и найдете теперь вашу подробную жизнь, молодой человек.

И почти угадал ведь старик. Действительно произошла отсюда часть моей жизни.

Квартирная хозяйка моя страдала животом, и ночью по всей квартире горела только пятилинейная керосиновая лампочка в уборной. В моей комнатушке, конечно, ни лампочки, ни керосину нет. Тщетно в ту ночь хозяйка стучалась в уборную. Постоянно слышала она оттуда суровый голос: «Извините, но у меня, кажется, дизентерия». Это я изучал черную магию.

Утром я пошел в Народный дом, где труппа актеров из пяти человек ставила «Красный фонарь», «Евгения Онегина» и «Горе от ума». Когда я сказал Пудожгорскому (это был режиссер), что могу глотать шпаги, он косо улыбнулся.

— Шпаги, что шпаги? Когда это всем известно, что немецкая работа. Вот если бы вы могли гипнотизировать массы. Вынуть, скажем, глаз из орбиты и вновь его вставить на прежнее место. Вот это, понимаю, сбор... будет!

— До глаз я еще не дошел,— ответил я мужественно,— но я могу безболезненно прокалывать руки, грудь, щеки стальными дамскими от шляп шпильками, подвешивать на них гирьки до трех фунтов.

— Чего ж вы не говорили раньше?

— У меня шпилек нет.

— Достанем. У наших актрис. Как же вы,— спросил он не без уважения,— до шпилек дошли, а до глаз не можете? — Он вздохнул.— Впрочем, на все наука и время.

И вот почему хозяйка читает громадную афишу. По этой афише мне, старому и хитрому индусу, вменяется в обязанность: «глотать горящую паклю, шпаги, прыгать в ножи и прокалывать безболезненно свое тело дамскими шпильками, подвешивая на оные гирьки до трех фунтов весом». Должно было еще в афише значиться, что я беру раскаленное железо голыми руками, но такого опыта я не мог проделать. Подвела «Черная магия» Холмушина. Там говорилось, что нужно натереть руку яичным желтком, смазать клеем и посыпать «одной частью крупно истолченного порошка осолодки». Я так и сделал в точности. Затем накалил легонько самоварные щипцы и приложил к ладони. В комнате запахло горящим мясом, и хозяйка прибежала на мой вопль. Я мочил

руку в простокваше. Хозяйка, поджав тощими руками живот, соболезнующе смотрела на меня и на испорченную простоквашу. Мне тоже было жаль простоквашу. Я был голоден и думал с презрением, что только наружные и внезапные мои страдания заставили хозяйку пожертвовать мне простоквашу.

Один раз в три дня меня кормили обедом в монастыре, что стоял над зеленым Тоболом. Были в монастыре зеленые колокола и откормленные сизые голуби, на которых облизывались кошки и я. Между прочим, все, что я видел тогда, мне хотелось съесть или выменять на съедобное. Монах, наливавший мне в деревянную чашку постных щей, спросил:

— Занозил, что ли? — и добавил с любовью: — Не из плотников?

— Итальянская гангрена,— ответил я с пересохшим горлом.

Монах умилился глазами. От жалости и от удивления дал мне лишний ломоть хлеба.

— В Италии-то,— сказал он с презрением и любопытством,— совсем, говорят, нету деревянных домов?

— Окончательно,— подтвердил я,— камень и вулканическая лава.

— Выходит,— спросил он с легким страхом,— там и плотников нету?

— Тебя как зовут-то? — спросил я.

— Евсей в пострижении буду.

— Плотник, что ли?

Монах обрадовался, положил мне еще ломоть. Подобрал полы подрясника с замасленной скамьи.

— Как же, как же... пермской я, пермской. У нас там все святители кельи рубили! Христос ведь тоже плотником был.

Евсей низко наклонился ко мне, сунул еще ломоть и тихонько спросил:

— Ты вот книги, поди, читаешь: потому — очки. А не прописано там где-нибудь, действовал Христос фуганком или топором все чесал?

Я промолчал, а после обеда Евсей отозвал меня в сторону, к монастырским воротам, где выли слепцы и ерзались жирные голуби.

«Поди, парень,— подумал я,— ты и в бога не веруешь?»

Я был сыт, весел, тайное звание факира выпрямляло мою жизнь, я часто думал об Индии, сочиняя вступительную лекцию к моим опытам. Все же мне не хотелось обижать

хлебосольного Евсея, видимо ушедшего в монастырь только потому, что и Христос был плотником.

— Ты в театре был когда-нибудь, отец? Ну, на представлении?

— Не доводилось.

— Я тебе билет дам, Евсей!

— А ты что там робить-то будешь?

— Огонь глотать и тело колоть без боли...

Евсей отшатнулся. Серенький истрепаиный подрясиик сразу стал светлее его конопатого лица. И бороденка так резко выделялась, будто выстругали ее. Руки были у иего легкие, но все-таки он не мог их поднять, чтобы перекреститься.

— Сатана-а,— прошептал он,— ты чего смущаешь меня, сатаиа неверующий! — Затем он выпрямился, кинул вперед руки и глухо проговорил: — Я не зрю, зачем я тебе иадобен, а я тебя обличу. Иль ты меня бога лишить хочешь? Бога я тебе не отдам. Ты хитришь, сатана!

Он вытянул легкую свою руку, я вложил туда коитрамарку и ушел.

Едва появились иа дощатых заборах широкие мои афиши, как в иомерах, где стоял Пудожгорский, обнаружились какие-то ветхие старушки, желавшие меня видеть — мага, чародея и отгадывателя. Пришел чиновник из уездного казначейства, просчитавшийся иа пятьсот рублей и желавший узнать, вернут ли их. Пудожгорский взял с него рубль и сказал, что ответ будет завтра письменный. Являлись барышии за приворотным зельем. Любопытствующий купец, желавший знать: какова иа вкус в Индии водка и почем бутылка, и успеет ли он ее выписать к своим именинам. Сердце мое билось так же быстро, как моя слава. И, как сердце, бились в кассе билеты.

Мальчишки, ловившие иа железные обручи, обтяиутые сеткой, раков из Тобола, думали ли оии, что угрюмый человек, сидевший на яру над иими и тупо перелистывавший «Магию», есть тот знаменитый факир, чья молниеносная слава всколыхиула тихий городок?

Нас теперь трудно удивить. Как правило, мы перестали быть наивными, в последний раз я видел удивление на на улице — это когда стали продавать свободно чериый хлеб и еще, позже, когда из Бухары привезли в Москву слона. Но и то удивлеиие было такого сорта: «Что, мол, слоны? Через год у нас сотня слонов от иего расплодится. Только удивительио то, к чему бы иам слоны?»

Тогда были другие времена. Времеиа хуже, ио смешиее.

Я теперь горд и высокомерен и тоже научился не удивляться. Мне даже не умилительно вспомнить, как я мазал коричневым гримом лицо, навязал на голову зеленую повязку, пахнувшую клопами, ноги мои прикрывались кумачовыми штанами, вправленными в кавказские сапоги. Пудожгорский, заикаясь и подмигивая глазом, похожим на букву «з», хвастался сбором. Рядом с гримом на опрятной тарелке, вычищенные мелом, отвратительно блестели громадные шпильки. Тут же украшенные петлями из выцветших лент с остатками запаха гелиотропа лежали гирьки «от одного до трех фунтов». Были тут и немецкие шпаги, и факел, и бензин, и ножи в обруче, через который я должен прыгать.

На сцене оркестр вольно-пожарного общества пил водку, закусывая печеными яйцами, и пальцами пробовал: настроены ли инструменты. Инструменты были духовые, и мне казалось, что музыканты вместе со мной понимают, что ничего из нашего представления не выйдет. Завтра на меня весь город будет показывать пальцами, мальчишки хриплыми осенними голосами будут орать: «Факир-р, стерва-а!..» Мальчишкам забавно, что к обтрепанным штанишкам вязнут осенние листья, а мне эта осенняя слякотная лирика давно надоела, я хочу хорошего жирного супа с клецками, папирос «двадцать штук семь копеек» и грубую книгу, которая бы над многим смеялась.

Флейтист, достаточно пьяный и мудрый, вошел ко мне и, взяв тяжелый звонок, ударил три раза. Он выматерил Пудожгорского, пытавшегося еще продать лишний десяток билетов.

Занавес, изгрызенный мышами и продырявленный пальцами драматических любителей, наблюдавших за сборами и за знакомыми барышнями, занавес, дергаясь со всей нервностью любителя, поднялся. Пудожгорский — во фраке и с бумажным цветком, половина которого отпала, чему публика беззлобно ухмылялась, с любопытством наблюдая, как во все время чтения Пудожгорский топчет этот цветок, причем выяснилось, что вместо лаковых ботинок на Пудожгорском новые резиновые галоши. Я не помню, что читал Пудожгорский, что пели после него и как жарко и душно было в зале. Я не трусил. Я помню отчетливо, что у меня было страстное желание не запнуться о кулису. Почему я боялся запнуться — не знаю. Может быть, грохот переставляемых декораций остался еще в моих ушах.

— Вы готовы?

По случаю парадного такого выступления Пудожгорский

даже билетерам говорил «вы». И при этом еще картавил.

Я отложил шпагу с ненавнстнымн тремя киопочками из слоновой кости, вспомиил, что кровать моя скрипела со свнстом, иапомииавшнм сверчка, и ответил:

— Сверчок.

Пудожгорский подумал, что так и нужно, крепко пожал мою руку и подтвердил с убеждеиием:

— Действительно, сверчок.

Вступительная речь моя (я помию ее от слова до слова) иачниалась так:

— Милостивые государыни и милостивые государи! Прежде чем начать свои опыты, я должеи вам сказать, откуда н когда появнлись на земле факиры. В далекие, далекие времена жнл на земле воинственный народ — иидийцы. У них был обычай: прежде чем прннимать молодого человека в войско, его подвергали различиым пыткам и истязаниям. Например, иадевали на голову мешок с живыми муравьями и с пеннем девушек обводили вокруг селения...

Дальше я говорил, что в моих опытах иет иикакой магии или тайн и что тут дело только в личиом гипнотизме, в силе воли, перешедшей к иам от индусов.

— Музыка, ма-аэш!..— ненстово картавя, закричал Пудожгорский.

Я показал по рядам зрителей шпагу без белых кнопок, вернулся к своему столу, стал обтирать руки полотеицем и затем прикрыл им шпагу. Затем взял ту, что с кнопками, и, конечно, без труда удержал во рту рукоятку с лезвиями, аккуратно ушедшими виутрь рукоятки. Затем киопки давил наоборот, и лезвия выходили обратно. Прыгал еще в деревяиное колесо, уставленное с боков ножами, лезвиями от меня, так что если бы я задел нож, он, слабо укреплеииый, просто бы выпал прочь из колеса. Но прыгать — это не сложно, нужно только упорство и чтобы тело твое привыкло из секунды в секунду повторять одно и то же двнжеиие. Позже я прыгал в это колесо так же беззаботно, как надевал очки. Огоиь глотать... и хотя сейчас трудно достать кинжку по магии и Госиздат не заиимается таким доходным делом, но мие рассказывать о магни не хочется.

Я устал, и пот выступил у меня на шее. Я боялся больше всего пота. Мускулы тогда скользят под пальцами, сам себя чувствуешь рыбой. Я выпрямился и начал счнтать, сколько иарода сидит в первом ряду. Насчитал восемнадцать. Сколько мужчии и женщин? Попробовал их оженнть, развеселился, и пот схлыиул.

До этого случая я на сцене был однажды. В Павлодаре был цирк, и я вышел бороться любителем. Меня борец положил в пять секунд, шлепнул по заду и сказал: «Туда же лезешь, сопля. На ногах научись стоять прежде».

Нет у меня и сейчас любви к сцене. Пьяные музыканты ревели «На сопках Маньчжурии», я наполнен был ненавистью и отвращением к этим гремящим трубам. Зал вонял вареным мясом и невыполненными людскими желаниями. Гремели громадные каблуки о деревянные полы, н мне, должно быть, казалось, что эту первую иголку, которую я должен воткнуть себе в грудь, втыкают эти гремящие каблуки.

Я не помню, думал ли я так,— едва ли. Помню ясно: тонкая слюноточивая боль ударила мне в веки, головка булавки запрыгала у меня в руках, я дрогнул было, но, взглянув на эти восемнадцать морд первого ряда, тупо, сладострастно, с верой в мою волю глядящих на меня,— я еще глубже воткнул в тело булавку. «Только бы не проткнуть артерии,— непрестанно повторял я,— только бы не проткнуть артерии...» Вот розовый язычок стали вылез из моего мяса, через мою кожу, и, лениво-розовато блестя, пополз дальше.

Кусок груди величиною со спичечную коробку был проткнут насквозь.

Я даже почувствовал какую-то гордость н взял быстро другую булавку. Щеки мои горели, и рот пересох, но мне нужно было спешить. Пудожгорский глядел на меня из-за кулис с недоумением, и я понял, что забыл улыбнуться. Я стыдливо улыбнулся. Ряды захлопали, и я на мгновение подумал, что моей улыбке... Нет, это уже третья булавка была в моей груди, и я брал фунтовую гирю, чтобы подвесить на булавку. И тогда-то седая вековечная боль ударила мне в затылок и расплавилась по спинному мозгу. Мне показалось, что грудь моя сорвана, и кровь хлынула. Я совсем не чувствовал тяжести гирьки, казалось, что громадный гвоздь идет в ребра. Я понимал, что вспотею от боли. А нельзя, может быть заражение крови. Я начал считать людей в первом ряду. Я не мог их увидеть, и тут, схватив тарелку, я быстро стиснул зубы и забыл про улыбку — неизменную цирковую улыбку, о которой тупоголовые идиоты так сожалеют, не понимая, что улыбка это — торжество над собой и единственная награда своему телу, ибо, когда улыбаешься,— действительно бывает теплей.

Так вот, оскорбляя самого себя, я без улыбки, с наглым

упрямством и гордостью начал втыкать в тело булавки и навешивать на них гирьки.

Ряды кричали:

— Довольно, довольно-о!..

Какая-то белокурая чиновница упала в обморок, и никто не хотел ее выносить.

Тогда я выпрямился. Улыбнулся, насколько позволяли проткнутые щеки, и пошел вниз по ступенькам в зал.

Я прошел пять рядов и в шестом, направо, увидал рубленую бородку Евсея. Бороденка была вся потная. Глаза с распухшими веками отвернулись от меня. Он взмахнул руками.

В реве ладоней я не услыхал, что крикнул он мне. Мне было тошно, и я почувствовал, что весь рот наполнен кровью.

Я почему-то снял сначала самые легкие гирьки и вытащил булавки, которыми были проткнуты мускулы рук. Ушел в уборную и торопливо плюнул в полотенце. Нет, почудилось, крови во рту не было.

— Болит? — спросил Пудожгорский, пересчитывавший кассу.

— Не очень.

— Привычка. У меня тоже... Ишь негодяи, трехрублевку фальшивую подсунули. Мне жена говорила, рожать тоже страшно больно.

Он посмотрел поверх моей головы.

Позже, когда Пудожгорский отсчитал мне за выступление, в уборную пришел доктор Воскресенский: у него было всезнающее лысое лицо, он был членом общества любителей мироведения и очень интересовался Сатурном.

— Ну, конечно, вы извините меня,— сказал он,— я же думал — вы наркоман, и отказался дать вам рецепт на кокаин. Смотрю на ваше страдающее лицо и ругаю сам себя: кокаин умиротворяет боль, а вы работаете без кокаина.

— Никакой боли у меня не было,— сказал я, выпивая третий стакан воды,— вам везде кажется боль. А дело в самогипнозе. Кокаин же мне нужен был для дезинфекции стали. Впрочем, я его достал и без вас...

— В нашем городе все можно достать,— ответил доктор с уверенностью.— Я вам про историю с Сатурном не рассказывал?.. Как мы без трубы...

— Мне некогда,— сказал я, натирая незаметно под шалью грудь йодом,— но все-таки расскажите.

Всезнающий доктор сел рядом и полтора часа рассказы-

вал мне о Сатурне. Пудожгорский написал афишу о следующем представлении: «Масса новых номеров всемирно известного факира и дервиша...» Мне нужно было попросить у доктора рецепт на кокаин, но я ненавидел его всезнающую физиономию, его гуттаперчевый воротничок и длинный ноготь на мизинце; я знал, что ничего не скажу ему, и опять стальные иголки, не обезвреженные кокаином, вопьются в мое тело...

И я мечтал вместе с ним, что хорошо бы побывать в Пулковской обсерватории...

Наконец доктор Вознесенский убедился, насколько он умнее меня. Ему скучно стало разговаривать со мной.

Деревянные перила крыльца, мохнатые и пахнущие сыростью, последний раз затряслись от удара ладоней самоуверенного доктора. Пахнущий вином и ветром лист прилип к моему виску.

А я знал, что у ворот меня поджидает Евсей. Под тусклым фонарем я мог рассмотреть обрызганные грязью полы его подрясника. Он успел уже переодеться — должно быть, в монашеском одеянии ему было веселее.

— Я тебя понимаю,— схватив меня горячей рукой, выговорил Евсей.— Я тебя насквозь, как топор, понимаю. Я тебе раны-то смазать, может, деревянного масла принесу. Ты, брат... кабы ты в бога верил, ты бы апостолом, по крайней мере, был. Я тебе в глаза смотрел,— не сатанинские у тебя глаза... Смотрю — и думаю: тошная наша жизнь, пыльная. И скучно мне стало, парень... Раны твои смазать целительного масла принесу...

Масло я его не взял, а довелось Евсею оставить в моих руках свою душу. Был он сначала плотником по постройке нашего компанейского балагана на Славгородской ярмарке, а на Кулунду он поехал клоуном, в долине Рок-Сая был джигитом и сватом, и веселую историю его женитьбы, случившуюся на Семиреченском тракте, я расскажу позже.

1925

Александр Фадеев

РОЖДЕНИЕ АМГУНЬСКОГО ПОЛКА

Памяти Игоря Сибирцева

1

Настоящее название полка было 22-й Амгуньский стрелковый, а его рядовые бойцы во всех официальных приказах именовались народоармейцами[1]. Но человек, около года не вылезавший из сопок, вскормивший иесчетное количество вшей, исходивший все таежные тропы от зейских истоков до устья Амура, привык к безвластью и безнаказанности и боялся порядка и дисциплины. В новых наименованиях и, главное, в цифрах ему чудилось кощунственное посягательство иа его свободу. И бойцы 22-го Амгуньского полка продолжали называть себя партизанами, а полк свой по имени старого командира — просто Семенчуковским отрядом.

Это была упорная и жестокая борьба между старым назваиием и новым. За старое боролся весь полк во главе с командиром Семенчуком, за новое — комиссар полка Челноков.

Силы противостояли неравные. Не только потому, что Челноков был одинок, но и потому, что это происходило в местности, где так короток день, а ночь длинна, где густ и мрачен лес, где воздух сыр и ядовит от болотных испарениий, где зверь в лесах силен и непуглив, и человек — как зверь.

Семенчуковский отряд оказался сильнее Амгуньского полка. Это произошло после разгрома под Кедровой речкой, хмарным и слизким утром, иа левом фланге красного фронта.

Сгрудившись у гнилого, поросшего мхом и плесенью охотничьего зимовья, Семенчуковский отряд митинговал.

— Куда нас завели? — кричал, взгромоздившись на пень, лохматый детина.

Весь — костлявая злость, от головы до пят обвешанный

---

[1] На Дальнем Востоке наша армия называлась в 1920 году не Красной, а Народно-революцнонной. *(Прим. А. Фадеева.)*

грязными шматками полгода не сменявшейся одежды, он походил на загнанного таежного волка.

— Нас завели на верную гибель... Нас продали... Владивосток занят, Спасск-Приморск занят, Хабаровск занят, не сегодня-завтра займут Иман,— куда мы пойдем? Мы — партизаны, амурцы. Мы мерзли в сопках за наши хлеба и семьи. Пора уж и домой! Довольно покормили вшей, пойдем за Амур! Там тоже Советская власть — мы ее поставили. Пущай приморцы сами свои края защищают... Пущай Челноков сам повоюет... с рыбой со своей, с тухлой...

И из человеческого месива, где озлобленные лица, обдрипанные шинели, штыки, патронташи, подсумки и мокрые ветви загаженного людьми ельника сливались в одно оскаленное щетинистое лицо, неслось:

— За Амур! За Амур!

— Довольно!

— Ну, как вы попадете за Амур? — стараясь быть спокойным, говорил Челноков.— Через фронт нам не пройти — раз. Через Хорские болота и подавно не пройти. Остается Уссури. Как вы через нее переправитесь? Пароходов ведь нет...

— Вре-ешь! — кричали из толпы.— Обманываешь... Есть пароходы... А грузы на чем эвакуируют? Сволочь!

— Этот пароход вас не возьмет...

— Мы сами его возьмем...

— Он всегда и так перегружен...

— Разгру-узим... Вот невидаль, подумаешь!

— Так ведь не в этом суть,— не сдавался Челноков.— Ведь мы оголяем фронт. Из-за нашего ухода вся область пропадает...

— А что мы — сторожа? — надсаживался лохматый детина.— Чего вы приморцев не держали? Небось в тылу сидят, одеты и обуты... Одних штабов, как собак, расплодилось...

— Верно, Кирюха... В тылу... галифе шириной в Амур распустили.

Масса не слушалась комиссара. Вчера, ругаясь с ним из-за продуктов, она еще чувствовала в нем силу и нехотя подчинялась ей. Это не было, как в прежние дни, сознательное уважение к старшему товарищу, а просто последние остатки робости перед начальством. Они проявлялись тем сильней, чем независимей, храбрей и строже держался начальник. Но сегодня это уже не помогало. Сегодня масса не боялась и ненавидела комиссара. Он являлся един-

ствеииым препятствием иа ее пути. Вопрос ясеи. К чему этот разговор?

— Дово-ольно! — кричала толпа.

— Долой комиссара! Отзвоиил свое. Даешь в отставку!

На заросшей завалинке зимовья сидел Семеичук и ждал. В волиующейся толпе страино было видеть его притаившуюся, безучастиую фигуру. И иесколько раз, ловя иа себе его хитрый, выжидающий взгляд, Челиоков думал, что это единствеииый человек, который мог бы еще удержать полк. Но Семеичук молчал. Ои сам был амурец, ему надоело воевать, а симпатии толпы так изменчивы, что ие стоит рисковать своим авторитетом за чужое дело.

— За Амур! — рвался через тайгу в золотистые амурские пади стихийный тысячеголосый рев.

— Слушай, Семеичук,— сказал Челиоков, наклоиясь к комаидиру,— если оии уйдут — ты будешь отвечать.

Семеичук иасмешливо улыбиулся:

— При чем тут я? Мое дело малеиькое.

— Врешь! — ие выдержал Челноков.— Ты продаешь весь фроит за свой комаидирский зиачок...

— Что-о?!

Семеичук вскочил, как ужалеииый. В его иапряжеииой позе скользиуло что-то кошачье. Даже желтая шерсть его тигровой тужурки, казалось, вздыбилась, как живая.

— Товарищи!.. Вы слышали, что сказал комиссар? Вы слышали, что ои сказал? — Голос Семеичука дрожал от делаииого гиева.— Мы, что целый год страдали в сопках, падали под пулями, топли в болотах, кормили мошкару, мы, оказывается, предатели революции! А оии, что пришли иа готовенькое, иадели фреичи и сели иа иаши шеи, оии — спасители... Убирайся вои! — рявкнул ои злобно.

Его толстая шея вздулась багровыми жилами, и широкое скуластое лицо иалилось кровью.

Челноков схватился за револьвер и шагнул к командиру.

— Если ты думаешь иа этом сыграть...— сказал он со зловещей сдержаииостью, но грозиый рев заставил его повериуться к массе. Отовсюду, где только виднелись люди, смотрела иа комиссара стальиая щетиика иеумолимых ружейных дул.

— Уйди-и!

Челиоков принял руку с кобуры и иесколько мгновеиий изучал толпу. Из-за каждого дула впивались в него горящие угрозой и иеиавистью глаза.

Челиоков опустил голову и медлеино сошел с завалинки.

— Красные! — крикнул Семенчук.— Я всегда был с вами, а вы со мной... Слушай мою команду! Построиться!

Винтовки опустились одна за другой. В толпе зашныряли ротные командиры.

— Первая рота, собира-айсь!

— Вторая рота!

Резкие выкрики команд казались неуместными под мохнатыми елями в распущенной массе голодных людей и тотчас же глохли где-то в заржавленном мхе карчей. Роты строились наспех, как-нибудь, и уползали в чащу по грязной дороге. Оседланная лошадь комиссара неистово ржала и металась на привязи. Под сотнями ног трещал низкорослый ельник.

— Винтовки хоть бы на плечо взяли...— неуверенно предложил кто-то.

— Во-от еще, на плечо! — гудели недовольные голоса.— Мы и на ремне донесем. Старый режим што ли?

— Покомандовали ужо над нами, будя!

Оставшийся у зимовья комиссар слышал в удаляющихся голосах нотки радостного возбуждения и наивной, почти детской уверенности в окончании всех бед и страданий на этом свете.

Его лошадь запуталась в поводу и, вспенив губы, жалобно фыркала.

— Тише ты-ы! — сердито закричал Челноков.

Он несколько раз ударил ее хлыстом по крутому заду и выругался самыми скверными словами, какие только знал. Неизбежный вопрос — что делать?— сверлил уставшую голову. Он сел на завалинку и стал размышлять. Это было не очень приятное и не легкое занятие. Комиссар не спал уже около двух суток! В висках стучало. Он сжимал голову большими шершавыми ладонями, и его сухие и ломкие, как старая оленья шерсть, волосы топорщились на голове. Фуражка защитного цвета лежала у ног, и в ней хозяйничали рыжие болотные муравьи. Шум шагов и людские голоса давно уже замолкли вдали. Только в ольховнике у ключа робко посвистывали мелкоглазые рябчики. На левом фланге красного фронта комиссар Амгуньского полка был совершенно одинок.

Он медленно расстегнул кобуру и вытащил наган. Долго с интересом наблюдал, как ленточкой отливает смазанная вороненая сталь, и так же серьезно и вдумчиво взвел холодный курок. Однако он не выстрелил сразу, а решил еще подождать и подумать. Он привык отрезать

только один раз, но зато после семикратной примерки.

И действительно, мысли его приняли другой оборот.

— Так нельзя,— сказал он, строго глядя на лошадь. Слова эти относились, однако, не к ней, а к самому комиссару.— Так нельзя,— снова повторил он вслух.— Тебя все равно расстреляют, но предупредить о случившемся ты обязан.

Придерживая курок нагана большим пальцем, Челноков опустил его на место и спрятал револьвер в кобуру. В его движениях не чувствовалось волнения или страха. Он поднял с земли фуражку и стал чистить ее мокрой еловой веткой. Ему не хотелось, чтобы даже в его одежде был намек на панику. Правда, он не сумел удержать полк, хотя и должен был сделать это. Но это еще не означает, что все остальное может идти спустя рукава.

Челноков отвязал лошадь и, вскочив в седло, выехал на дорогу. Лошадь рвалась в ту сторону, куда ушел полк, а он заставлял ее идти в другую. Несколько секунд они вертелись на одном месте, пока ей не стало ясно, что обстоятельства переменились...

Тогда она повиновалась человеку и, закусив удила, понеслась к штабу фронта, на станцию Бейцухе.

2

В очередной оперативной сводке иманская «Рабоче-крестьянская газета» писала:

«2 мая наши части, под давлением превосходных сил противника, оставив разъезд Кедровая речка, отошли на линию ст. Бейцухе. Дальнейшее продвижение противника приостановлено».

Прочитав сводку, командующий северным фронтом невольно улыбнулся. Это была горькая, спрятанная в усы улыбка. Он лучше всяких газет знал, что поражение под Кедровой речкой являлось на самом деле разгромом красного фронта. «Превосходные силы противника» заключались в одном батальоне, разогнавшем десятитысячную армию. «Движение противника» отнюдь не было приостановлено, но он сам не пошел дальше, боясь распылить немногочисленные силы по мелким станциям и разъездам.

Перед мысленным взором командующего все время лежал громадный кусок Амурской долины, по которому уверенно перестраивались цепочки, квадратики, линии маленьких косоглазых людей, внушавших ужас защитникам кедровореченских позиций. И потом... эта неудержимая звериная

паника, с оставлением орудий, винтовок и амуннцнн, с беспощадными драками между своими из-за каждого паровоза, вагона или двуколки, с бессмысленными, полными днкого страха, потными, измученными, уже нечеловеческими лицами. А когда штабной вагон попал наконец на станцию Бейцухе, он увидел на платформе сухого, сморщенного, с мочальной бородкой старнка, грозившего скрюченным пальцем н кричавшего с пеной у рта:

— Дезертнры... Мы дали вам одежду, мы дали вам хлеб, а вы нас японцу продаете? Будьте вы прокляты!.. Вы и ваши дети!

Теперь — не только в Приморье, ио н за Амуром, и в Прибайкалье, и за Байкалом — Кедровая речка стала нарицательным именем, символом паннческого бегства, трусости и позора.

Командующий фроитом посмотрел на карту. В этом злополучном краю даже воеиные карты былн составлены неверно. Справа от веткн тянулись непролазные Хорскне болота. Верховья рекн Хор и ее прнтоков были помечены пунктиром. Там не ступала еще человеческая нога. Плохонькне позиции перед Бейцухе занимал недавно сформированный коммунистический отряд. Половина его бойцов была набрана из ставших иенужными, за развалом частей и учреждений, военных и гражданскнх комиссаров. Все они прнвыкли командовать, не любили подчиняться и искали путей, как бы попасть в Советскую Россию.

На левом фланге на нескольких пунктах значнлся по штабной карте 22-й Амгуньскнй полк. Связь с ним была еще плохо налажена. Полк считался ненадежным. Во всяком случае, это был едннственный неразвалившийся полк, в порядке отступивший из-под Кедровой речки.

Командующнй снова взял газету, но чтение ие шло иа ум. Он выглянул в окно. Везде было так пустынно, так неприглядно, что не верилось, будто иа этой заброшенной станцни находнтся главный мозг фронта. Да был лн у такого фронта хоть какой-ннбудь мозг?

Из станционного здания подпрыгивающей походкой шел к вагону комиссар Соболь. Он был очень маленького роста и, шагая через прогнившне дыры платформы, в своем черном обмундировании напоминал беззаботного вишневого жучка. Но командующему он казался скорее неутомимым муравьем, несущим на себе непосильную ношу.

— Хорошие вести,— сказал комнссар, заходя в вагон.— Из Владивостока пришел тайгою на Иман матросский от-

ряд, вот телеграммы...— Он бросил на стол пачку розовых бумажек.— На Имане восстановлен порядок, ловят дезертиров. Ревштаб извещает, что кое-какие полки удастся привести в боевой вид... Ей-богу, мы сможем выправиться на этом деле!..

— Боюсь, что нам уже ничто не поможет,— сказал командующий, прочитав последнюю телеграмму и передавая ее комиссару.— Вы читали это?

Телеграмма извещала, что пароход, эвакуировавший военные и железнодорожные грузы по реке Уссури за Амур, вышел в третий рейс. Телеграфный язык не знал правил правописания — ни больших, ни малых букв, ни запятых, ни кавычек. Подпись: «комендант пролетарий селезнев» — нужно было читать: «Комендант парохода «Пролетарий» Селезнев».

— Что ж, молодчага! — воскликнул комиссар.— Этого парня я знаю только по телеграммам, но он чертовски исполнительный человек. Можно было бы жить, если б все были такие.

Командующий смотрел на комиссара и, как всегда, удивлялся, откуда набирается бодрости эта маленькая, невзрачная фигурка. Сам он давно работал механически. Он был совсем одинокий человек, и с развалом фронта ему некуда было идти. Бывший офицер старой, царской армии, он провоевал большую часть своей жизни, из которой почти три года пришлись на борьбу за Советскую Россию. Теперь она маячила перед ним как последнее и единственное убежище.

— Дело не в исполнительном человеке,— сказал он сухо,— дело в эвакуации. Когда этот пароход пошел в первый рейс, я сразу понял, что дело пахнет ликвидацией. Ревштаб вывозит все, что можно. Приморье спело свою песенку. Нам тоже пора кончать. Я так думаю.

— Ну и плохо, что вы так думаете! — вспылил комиссар. Ему надоели вечные толки о ликвидации, за которыми шел неизбежный разговор о Советской России.— Наша беда и заключается в том, что так думают почти все, начиная от командующего и кончая дезертиром. Но ведь нам, черт возьми, предписано держаться, а не ликвидироваться!.. Вы думаете, мне не хочется в Советскую Россию? Вы думаете, я не устал от всей этой чертовщины? — Лицо комиссара невольно сморщилось в жалкой гримасе.— Но вы помните, я говорил, что нам надо идти против течения? Какой я, к черту, комиссар фронта? Я вам говорил, что я просто токарь военного порта. Но раз я поставлен комиссаром, я должен им быть: не спать

ночей, стрелять дезертиров, ругаться с полками, реквизировать хлеб, бороться до тех пор, пока меня самого не сволокут в придорожную канаву... Я начинаю и кончаю свой день с этой мыслью. Я подвинчиваю себя каждый день невидимыми гайками до последней степени, до отказа... Я все время иду против течения и тащу за собой всех, кого только можно тащить при помощи слова или нагана... Черт возьми!.. Я буду идти и тащить, покуда хватит моих сил. Я уж вам не раз говорил об этом.

Командующему хотелось сказать: «Я тоже старый солдат и исполняю свой долг», но эта фраза показалась ему слишком напыщенной при Соболе.

— Я привык к организованным войсковым единицам,— сказал он извиняющимся тоном.

Соболь ничего не ответил.

Неловкую тишину одиноко прорезал отдаленный гудок паровоза. Оба ощутили легкое, едва заметное дрожание штабного вагона. Судя по гудку, паровоз шел с тыла.

— Это наш броневик,— сказал командующий.

— Наконец-то!

Соболь швырнул телеграмму и, жуя на ходу вытащенный из кармана хлеб, вышел на линию.

Из темного подвала сопок, раскидывая по откосам клочья тяжелого дыма, несся к штабу новенький бронепоезд.

Из бронированного паровоза, смеясь, выглядывал седенький машинист. Соболь заметил у его пояса пару английских гранат.

Поезд остановился за станцией, у стрелки. Из вагонов одна за другой выскакивали серые фигуры. Впереди шел начальник штаба фронта и его помощник. За ним виднелись еще знакомые и незнакомые лица.

— Черт возьми!.. Шептало! — воскликнул комиссар, узнав среди штабных начальника бронепоезда.

Черные, закоптелые лица обступили комиссара со всех сторон. Они радостно трясли ему руки и что-то кричали наперерыв. Двое из вновь прибывших, в одинаковых чистеньких френчах и кожаных галифе, остановились поодаль и улыбались.

— Не все сразу,— с нарочитой строгостью сказал комиссар.— Сначала о деле. Идите все на свои места, потом поболтаем. Шептало и вы,— он посмотрел на отдельно стоящую пару,— пойдемте со мной.

— Рассказывай,— обратился он к Шептало, когда они зашли в купе.— А ты все такой же,— перебил он себя,

невольно переходя с офицнального тона на дружеский.— Ну, ну, рассказывай...

Шептало сообщнл, с каким трудом удалось ему сформировать бронепоезд. Он постоянно сбивался с тона н, брызгая слюной, возбужденно передавал не относящиеся к делу подробности.

— Понимаешь, все уже было сделано! — кричал он на весь вагон.— Уж и орудия поставили, а ни один машинист не соглашается... Кстати, насчет орудий: эта трусливая никольская артиллерия никак не хотела отдавать. Рабочие из мастерских даже депутацию к ним посылали. «Мы, говорят, маялись, делали, а вы удрали с фронта, да еще орудий не даете». Ни черта не помогает... Тогда уж н я разъярился. «Не дадите, говорю, начну саднть по лагерям нз пулеметов...» Все-таки отдали...

Он весело засмеялся, и, глядя на боевые искорки в его зеленовато-серых глазах, так же весело завторил ему Соболь. Двое в кожаных брюках скептически переглянулись.

— Так вот, машиниста,— продолжал Шептало.— Я уж, брат, все службы — тяги, пути, движения и еще, черт его знает, какие службы облазнл. Никто!.. Наконец, этот старичок. «Мне, говорит, все равно умирать...» И поехал. Ей-богу...

Соболь смотрел на исхудавшее белобрысое лицо начальника бронепоезда и думал, что из этого парня будет толк. «Ничего, что немного звонит. Зато делает дело...»

— Ребята у тебя надежные? — спросил он вслух.

— Ребята — что надо! — восторженно воскликнул Шептало.— Большинство со Свинягинской лесопилки. Есть трое батраков из Зеньковки. Тут, брат, комедия... Один из них рассказывал, что после Кедровой речки он дезертировал домой. Так, понимаешь ли, собственная баба в избу не пустила. «Иди ты, говорит, ко псу, сметанник». Ей-богу, так н сказала: «Идн ты ко псу». Сам рассказывал. «Стало, говорит, мне соромно, я н вернулся...»

— А вы как к нему попали? — обратился Соболь к парням в кожаных брюках.

— Они не ко мне,— сказал Шептало. Его потрескавшиеся губы скрнвились в насмешливую улыбку.— Это так... случайные...

— У нас разрешенне в Советскую Россию,— сказал один из них. Это был молодой белокурый парень с тонкими и правильными чертами лица.

— Так,— сказал комиссар.— Ну, мы еще поговорим. Шептало, можешь идти.

Он долго и пристально разглядывал оставшихся в купе. Его маленькие черные усики странно топорщились. Все трое молчали.

Соболь хорошо знал обоих по совместной работе во Владивостоке. Белокурый был матросом из музыкантской команды Сибирского флотского экипажа. Его товарищ, горячий, неутомимый латыш, слесарил во временных мастерских. В те времена это были на редкость хорошие ребята.

— Как же вас выпустили из Владивостока? — спросил комиссар пытливо.

Белокурый звучно рассмеялся:

— Там сейчас такая неразбериха, что кого хочешь выпустят. Везде хозяйничают японцы. Наши прячутся по слободкам. Старик Крайзельман совсем потерял голову. Когда мы ему подсунули бумажку, он сразу подписал. Я еще сказал Артуру, что, подсунь ему его собственный смертный приговор, он бы также подписал. Факт!

При его словах латыш нервно дернулся на койке.

— Разве у нас вожди?! — резко закричал он.— У нас сапожники! Все потерьяли голову, мечутся, как угорелеватые. Мы думали, шьто хоть на фронте порьядок, а тут у вас тоже... Скорей бы уйти к черту из этого краю...

Он выразительно махнул рукой, и вся его мускулистая, чуть сгорбленная фигура, казалось, говорила о том, что он не желает больше об этом разговаривать.

— Так,— снова сказал комиссар.— И что же вы думаете делать в Советской России?

Его голос чуть заметно дрожал.

— Я проберусь в Латвию,— буркнул латыш.

— А я пойду по культурно-просветительной части. До японского выступления я уж ударял по этому делу. Хоть я и матрос, но ты знаешь, что из меня плохой вояка. А каковы твои планы на будущее?

— Я думаю всю свою дальнейшую жизнь посвятить военному делу,— насмешливо процедил Соболь.— Ну, покажите, какую вам дали бумагу...

— Ерунда, обыкновенный мандат.— Белокурый полез в бумажник.— А ты зря идешь по военной,— сказал он с сожалением.— Приморье погибло уж для Советской России, а в центре нужны люди для мирного строительства. Вот она...

Соболь взял протянутую бумажку и сунул, не читая, в карман.

— Теперь послушайте меня,— сказал он, неожиданно

меняя тон.— Вы обманным путем ушли из Владивостока, забыв свой долг и бросив массы в самую тяжелую минуту. Я отдал бы вас под суд, ежели бы они у нас не развалились. Я застрелил бы вас сам, ежели бы у нас хватало толковых людей. Я жалею, что не могу сделать ни того, ни другого. Но я предлагаю...

— Это плохие шутки, Соболь,— недоуменно перебил латыш.

— Молчать!..— не выдержал комиссар. Он выхватил наган, и голос его звякнул, как лопнувший станционный колокол.— Сидеть смирно и слушать! Я предлагаю вам вот что: или вы пойдете в коммунистический отряд, дав мне слово, что не убежите, или я вас посажу под арест и не буду кормить до тех пор, пока вы не дадите мне этого слова и не пойдете в отряд.

— Соболь, что с тобой? Ты с ума спятил? — удивленно забормотал матрос.

— Одна минута на размышление,— сказал комиссар, выкладывая часы.

— Не пойму...— В глазах белокурого померк мягкий и теплый свет, и вся его фигура выразила удивление, беспомощность и вместе с тем сознание своей правоты.

— Я буду жалеться в областком! — вскипел латыш.— Это свинство!

— Когда будешь в Советской России, можешь пожаловаться в ЦК — там разберемся.

— Л...ладно,— сказал матрос после непродолжительного раздумья.— Мы можем, конечно, пойти в коммунистический отряд. Но с твоей стороны это превышение власти. Ты определенно закомиссарился, ты за это ответишь. Я тебе говорю...

— Двадцать секунд осталось,— холодно обрезал комиссар.

— Да я же сказал, что мы пойдем!

— Товарищ Сикорский! — крикнул Соболь, открывая дверь.— Выдайте этим двум удостоверения в комотряд... рядовыми бойцами,— добавил он после некоторой паузы.

— Эх, Соболь, Соболь...— с грустью протянул белокурый.

— Канцелярия направо,— сухо сказал комиссар.— Я вас не задерживаю.

— Гас-тро-леры,— промычал он с непередаваемым презрением, когда оба спутника возмущенно выскочили

из купе. Ему казалось всего обиднее то, что один был слесарем временных мастерских, а другой — матросом революционного экипажа.

3

Соболь беседовал у бронепоезда с народоармейцами, когда всадник на взмыленной густогривой лошади выскочил из кустов и, быстро осмотревшись по сторонам, поскакал к штабному вагону.

«Это еще что за личность?» — подумал Соболь. Но когда всадник соскочил с седла, он сразу узнал в нем Челнокова. До этого ему не приходилось видеть его на лошади.

Приезд Челнокова был слишком необычен. Соболь оборвал свою речь на полуслове и не пошел, а побежал к штабу. Комиссар Амгуньского полка угрюмо поджидал его, прислонившись к вагону. Видно было, что он страшно устал. Его лошадь тоже понурила голову и застыла.

Соболь с силой сжал протянутую ему руку и несколько секунд не мог выговорить ни слова.

— Ну?! — прохрипел он наконец.

— Амгуньский полк ушел с позиции,— тихо проговорил Челноков.

— Тсс!..— прошипел Соболь, до боли стиснув зубы.— Никому ни единого слова об этом. Здесь воздух полон паники. Идем в вагон.

Но когда они вошли в купе, комиссар фронта не мог больше сдерживаться. Он яростно вцепился в грязный челноковский френч и, дрожа от переполнявших его существо бешеных противоречивых чувств, закричал тонким, надорванным фальцетом:

— Как же ты допустил?.. Надо было держать з-зу-бами!.. Да что же у вас там... Челноков?!

— Я сделал все, что мог,— угрюмо пробормотал тот.— Но я не сумел убедить...

— Убедить?! — яростно повторил Соболь.— Комиссар! Надо было не только убеждать, надо было стрелять!

— Дело так сложилось, что я не мог даже вытащить револьвера... Они направили на меня винтовки...

— Какое мне до этого дело?.. Ты должен был удержать, понимаешь? До-олжен... Меня не интересует, убили бы тебя или нет!..

Соболь выпустил френч и возбужденно забегал по купе.

Его маленькая растрепанная фигурка, мечущаяся в тесной и пыльной кабинке, как-то не вязалась с рослой, окаменевшей на месте фигурой Челнокова.

— Ты знаешь, что нужно сделать с тобой? — спросил вдруг Соболь, круто остановившись перед полковым комиссаром.

— Знаю,— сказал Челноков.

Соболь опустился на койку и сидел молча несколько минут. Слышно было, как в канцелярии кто-то неумело стукал на машинке.

В этой тишине слова комиссара прозвучали совсем поиному.

— Федор,— тихо позвал он Челнокова,— ты не забыл, как мы пять лет работали у соседних станков?

Челноков вздрогнул, и странный мягкий звук сорвался с его уст. Соболь нервно хрустнул пальцами и так же тихо продолжал:

— И ты... не сумел удержать полк?

Комиссар северного фронта не смотрел на своего подчиненного, но в его словах слышался такой же тихий, как его голос, укор.

— Я не сделаю тебе ничего,— продолжал Соболь,— потому что у нас мало таких людей, как ты, а мы милуем койкого и похуже. Но мы должны исправить положение. Ты понимаешь, Челноков?

Комиссар Амгуньского полка медленно поднял голову. Его смущенный взгляд встретился с серьезным и решительным взглядом Соболя, и в обоих мелькнуло нечто большее, чем просто взаимное понимание. Это была дружеская симпатия, может быть, даже нежность. Но она показалась только на одно мгновение.

— Пойдем к командующему,— сказал Соболь.

Им требовался быстрый и правильный рецепт. Но что мог дать человек в старом полковничьем мундире, привыкший к организованным войсковым единицам? Он уныло посмотрел на обоих сквозь потные очки в черной, почти траурной оправе и не сказал ни слова.

— Если бы у меня было тогда с пяток надежных ребят, я бы удержал весь полк,— пояснил Челноков.— Но теперь его не возьмешь и с пятью десятками. Он выйдет к реке и укрепится. Семенчук — старая лисица!

Он вопросительно взглянул на командующего, но тот по-прежнему молчал. Когда-то точная и исполнительная машина теперь отказывалась работать. Соболь схватил те-

леграфный бланк и, вырвав из рук командующего карандаш, стал быстро писать, нагнувшись над столом.

— Подпишите! — сказал он, подсовывая исписанный бланк.— Челноков, я сообщаю о происшедшем в ревштаб и прошу прислать один из матросских батальонов в твое распоряжение. Ты сейчас же сядешь на дрезину и поедешь на Вяземскую. Там встретишь эшелон и вместе с отрядом пройдешь трактом к Аргунской. Я думаю, к завтрашнему вечеру ты уже будешь там. Семенчуку больше некуда деться. Я даю тебе все права и полномочия, какие только потребуются.

— А если он успеет погрузиться на пароход?

Соболь схватил другой бланк.

«Станица Орехово. Коменданту «Пролетарий» Селезневу. Никаких частей без моего ведома не грузить.

Военком фронта С О Б О Л Ь».

— Орехово выше Аргунской,— пояснил он,— там тоже есть телеграф. Селезнев зайдет в Орехово за динамитом. Ну... иди, брат... ждать некогда...

Они вместе вышли на линию. На привязи у вагона все в том же положении стояла лошадь Челнокова. Из ее грустных полуоткрытых глаз сочились мутные слезы усталости и голода. Челноков ласково потрепал ее по шее.

— Ты позаботься о моей лошадке,— сказал он Соболю.— А потом...— он на мгновение замялся и странно дрогнувшим голосом докончил: — Может, у тебя найдется кусок хлеба... для меня?

Только теперь Соболь заметил, что Челноков бледен, как песок. Кожа стянулась на его лице, резко обозначив скулы и челюсти. Под глазами выступили расплывчатые синие круги, и веки чуть заметно дрожали.

Соболь убежал в вагон и через минуту вернулся с ковригой гречишного хлеба и с большим куском нутряного сала.

— Есть сумка, куда положить? Нет? Ну, возьми мою!

Он снова сбегал в вагон и принес походную сумку японского образца.

— Носи за мое здоровье! — сказал он шутливо.

4

Пароход «Пролетарий» имел свою историю. Когда иманский ревштаб пришел к необходимости эвакуировать за Амур, все, что поддается эвакуации, он столкнулся с рядом непредвиденных затруднений.

Прежде всего требовалось судно, на котором можно было провозить эвакуированные грузы. Нужен был твердый и исполнительный человек, способный взять на себя такое опасное и ответственное дело. И, наконец, необходим был новый путь для эвакуации, так как Уссури впадала в Амур возле Хабаровска, а в последнем сидели японцы.

В течение нескольких дней штабная канцелярия занималась отыскиванием нового пути. Были извлечены из старых переселенческих архивов изъеденные мышами, пожелтевшие от времени географические карты, из которых ни одна не походила на другую, хотя все изображали одну и ту же местность.

Комендантская команда ловила на побережье загорелых рыбаков и хитрых, предприимчивых скупщиков меха, могущих дать хоть какие-нибудь сведения по указанному вопросу.

И путь был наконец найден.

Это была Центральная протока, вытекавшая из Амура в пятидесяти верстах выше Хабаровска и впадавшая в Уссури верст на сорок выше того же города. Пароход должен был спускаться по Уссури до устья протоки и, свернув в нее, идти против течения до тех пор, пока не попадет в Амур. Таким образом, Хабаровск оставался в стороне. По свидетельству рыбаков, то была глубокая протока, хотя по ней не плавало еще ни одно паровое судно.

С пароходом дела обстояли хуже. В Иманском затоне находилась старая баржа в сто тонн водоизмещения и маленький поломанный пароходик, насчитывавший пятьдесят восемь лет производственного стажа. Когда-то он назывался «Казаком уссурийским», а баржа — «Казачкой», но после Февральской революции его переименовали в «Гражданина», а баржу — в «Гражданку». При Колчаке на нем вылавливали в тростниковых зарослях Сунгача беглых большевиков и красногвардейцев. Пароход был заново перекрашен и перекрещен в «Хорунжего Былкова», а баржа — в «Свободную Россию». По мнению знающих людей, он теперь ни к чему не годился. Но председатель ревштаба осмотрел его самолично и нашел, что «можно починить». Нужен был только человек, способный взяться за это дело.

Стали искать человека. Он должен был, во-первых, хоть немного понимать в пароходном деле, во-вторых, отличаться поистине дьявольской настойчивостью, и, в-третьих, его глаза не смели косить в сторону Советской России. Иначе он мог исчезнуть в первом же рейсе, как только попадет за Амур.

Надо сознаться, таких людей на Уссурийской ветке было

очень мало. И все-таки его нашли. Он командовал комендантской ротой города Имана и, по имевшимся сведениям, плавал раньше на торговых и военных судах.

Председатель ревштаба занимался у себя в кабинете, когда дверь отворилась без доклада и в комнату вошел плотный чернявый человек среднего роста, в короткой гимнастерке полузащитного цвета и простых кожаных брюках, заправленных в грубые сапоги.

— Что вам угодно? — спросил председатель сухо.

В эти дни у него бывало излишне много посетителей, и вошедшего он видел в первый раз.

— Я Никита Селезнев,— просто сказал вошедший.— Меня вызвали по делу эвакуации.

— Садитесь,— сказал председатель, указывая на стул.— Это очень серьезное и ответственное дело. Мы предлагаем вам отремонтировать пароход в две недели. Ни в коем случае не позже — в порядке боевого приказа.

Излагая Селезневу, в чем состояла задача, он пристально изучал его внимательное, спокойное лицо и плотную, резко очерченную фигуру. У Селезнева были сильные челюсти, прямой и крепкий нос, темные, почти черные волосы на голове и такие же, подстриженные по-английски усы. Одна из его бровей поднялась чуть выше другой, и из-под обеих смотрели острые, проницательные глаза цвета полированной яшмы. На вид ему можно было дать около двадцати семи лет.

— Нам требуется строгая точность и исполнительность в этом деле,— говорил председатель.— Вы сами знаете, что теперь творится. Можно сказать заранее, что вас толпой будут осаждать дезертиры с просьбой перевезти за Амур. Они будут угрожать вам оружием и, очень возможно, отправят вас на тот свет. Но мы все ходим под этой угрозой... Что вы предполагаете сделать на первый случай?

Селезнев несколько секунд молча теребил фуражку и, внезапно надев ее на голову быстрым, решительным движением, сказал:

— Ежели готов мандат, я приду к тебе через неделю и скажу, что я уже сделал.

Он сказал председателю «ты», как говорил всем людям, с которыми встречался хотя бы и в первый раз. В его тоне чувствовалась врожденная незлобивая грубоватость.

— Мандат сейчас заготовят,— сказал председатель. И, тоже переходя на «ты», спросил: — Ты коммунист?

— Да.

— Можно надеяться, что ты сам не сбежишь за Амур?

Он ожидал, что Селезнев обидится на этот вопрос и скажет какую-нибудь резкость. Но Селезнев просто ответил:

— Можно.

Вопрос был исчерпан. Через полчаса Селезнев ушел из штаба с длинной инструкцией, ни один пункт которой не понадобился из-за ее нежизненности, и с таким же мандатом. Последний тоже не нашел себе применения, так как оборудование парохода нужно было проводить отнюдь не мандатом, а либо уменьем убеждать, либо силой кулака и нагана.

Прежде всего Селезнев взял себе помощника — взводного командира Назарова, из комендантской роты.

Это был необычайно рослый волосатый человек, угрюмый и несуразный, как выкорчеванный пень. Когда-то он работал на Сучанских угольных копях и вынес с той поры редкие качества: никуда не смотреть, все видеть и в течение нескольких дней не произносить ни слова. Несмотря на это, а может быть, благодаря этому, он имел верный глаз на людей и умел их отыскивать.

— Вот что, Назарыч,— сказал Селезнев,— ты достань мне одного писучего, другого хозяйственного человека! А потом натаскай ребятишек для пароходной комендантской команды! Работнем — куда ни шло...

Сам он пошел в типографию «Рабоче-крестьянской газеты», и на следующий день были расклеены по городу приказ и воззвание: «Всем, служившим когда-либо на пароходе «Хорунжий Былков» и барже «Свободная Россия», явиться к коменданту указанного парохода т. Селезневу, в контору на берегу, 22 апреля, к 8 часам утра».

Первым явился на зов маленький кривоногий старичок во главе небольшой кучки веселых загорелых парней в засаленных блузах и широких брезентовых штанах навыпуск. Он оказался судовым машинистом, а сопровождавшие его ребята — матросами с парохода.

Они произвели на Селезнева самое хорошее впечатление. У старичка были длинные, опущенные книзу хохлацкие усы и густые седоватые брови. Он, видимо, любил поговорить и после каждой фразы как-то особенно щурился. Морщины на его маленьком шершавом лице, черные от въевшейся копоти и машинного масла, делались при этом еще чернее и глубже.

— Ты видел сво... пароход-от, голова? — говорил он с добрым затаенным смехом в глазах.— Дрянь посудинка-то, ну? Ничево-о, голова! Нала-адим. Там в машине малость частей не хватает, дак в депе можно раздобыть — пойдет...

— Как же тебя записать? — спросил Селезнев.— Машинистом?

— Люди механиком звали, а хошь — пиши машинистом... Нам все едино... Мы народ не гордый...

Он засмеялся мягким, беззвучным смехом, похожим на шорох дыма в пароходной трубе.

— Механиком и запишем,— серьезно сказал Селезнев.— А матросы тут все?

— Пятерых нет,— сказал «механик»,— удрали.

— Босотва! — презрительно добавил нескладный чубатый парнишка.— Трусят...

— Перело-овим! — уверенно загудели остальные.

Селезнев отвел ребятам место в конторе и выписал им паек.

Работа пошла веселее.

В тот же день пришел капитан парохода — костлявый мужчина лет сорока, одетый, несмотря на стоявшую теплынь, в теплую казачью шинель и такую же папаху. Он относился к своей судьбе со странным безразличием, и Селезнев долго не мог отгадать, каково его действительно настроение. Они вместе прошли на пароход, где уже возились маленький механик и раздобытые им неизвестно откуда слесаря и плотники. Увидев, что работа кипит, капитан несколько оживился.

— Пятьдесят восемь лет посудине! — сказал он с неожиданными ласковыми нотками в голосе.— Отец мой сорок лет на ней плавал. На Ханку и к Николаевску ходил. Тогда тут еще маленький поселочек был, а теперь — город...

Последнее слово капитан произнес с легким оттенком неодобрения и даже досады.

— Тебя как звать? — спросил Селезнев.

— Усов, Никита Егорыч.

— Тезка, значит? Ладно. Ты вот, Никита Егорыч, назначаю тебя старшим по ремонту. Понял? Все, что требуется, докладывай мне. Срок — неделя.

— Недели мало,— сказал капитан, снова переходя на безразличный тон.

— Неделя! — решительно отрезал Селезнев.

Капитан помялся, потеребил выцветшие казачьи усы и, как-то сбоку глядя на Селезнева, сказал тем же безразличным тоном:

— Попробуем. Я хочу вам сказать, что я, конечно, не интересуюсь политикой. Но японцы тоже не по мне. Я не стану тормозить дело.

— Еще бы ты стал тормозить! — с обычной грубоватой

и вместе с тем незлобивой насмешкой воскликнул Селезнев.

Но он понял капитана очень хорошо. Старый речной судак действительно боялся политики и предпочел бы сидеть дома. Но раз его сволокли с нагретого места, он решил работать не за страх, а за совесть, как работал на «Хорунжем Былкове», когда тот вылавливал большевиков.

На другой день Назаров привел «хозяйственного человека».

Более странного и подозрительного типа Селезнев не видел никогда в жизни.

Его лицо, волосы, шея, кисти рук с неимоверно длинными пальцами были ярко-рыжего, огненного цвета.

Веснушчатый нос чуть вздернулся кверху и совсем не вязался с горестной и немного ядовитой складкой тонких обветренных губ. При всем том «хозяйственный человек» имел очень жуликоватый вид, усиливавшийся потрепанным клетчатым пиджаком с воротником, загнутым кверху, указывавшим на знакомство с последней модой амурских «налетчиков».

Неприятно поразили Селезнева уставившиеся в него немигающие белужьи глаза с длинными, почти белыми ресницами.

Фамилия «хозяйственного человека» оказалась Кныш.

Он должен был добыть весь необходимый материал по оборудованию парохода и заготовить продовольственные запасы для матросов и комендантской команды.

Однако он не выразил никакого испуга или протеста, узнав про трудности своей будущей работы.

Селезнев не решился сразу ввести его в курс и велел ему прийти на следующее утро.

— Назарыч! — недоуменно воскликнул он, когда Кныш вышел из конторы.— Ты промахнулся на этот раз, старый братишка. Ну, скажи мне: ну, что это за фигура?

Назаров вытащил из кармана голубенький кисет и, распустив завязку, достал из него кусок газетной бумаги и щепотку крупного коренчатого табаку. Свернув папиросу, он протянул кисет Селезневу и, по обыкновению, не глядя ни на кисет, ни на Селезнева, сказал спокойным и ровным тоном:

— Это жулик. За ним придется присмотреть. Только для вас...— тут Назаров сделал маленькую паузу и тем же спокойным тоном докончил: — Это самый годящий человек.

Чувствуя, однако, что для Селезнева его слов недостаточно, он продолжал:

— Нас он не надует — факт. А других — сколько угодно. Он тебе самую последнюю гайку, хоть из-под земли, а доставит моментом. В живом виде.

Селезнев решил не спорить, а посмотреть. Но он не оставил Кныша без контроля и, дав ему на другой день задачу добыть в Иманском депо необходимые для машины части, написал бумажку от себя, в которой точно указал, какие именно части были нужны.

— Сходи в ревштаб, пущай председатель наложит резолюцию — «выдать».

Кныш оказался талантливее, чем предполагалось. В первый раз он действительно сходил в ревштаб и получил требуемую резолюцию. Однако он сразу увидел, что это очень длинная, волокитная история, а главное — никому не нужная. Развалившиеся части и учреждения не обращали никакого внимания ни на бумагу, ни на резолюцию ревштаба, а всюду приходилось действовать самому. Тогда он засел за работу и в пять минут разучил подпись председателя как нельзя лучше. На всех следующих бумажках, выдаваемых Селезневым, он накладывал резолюцию собственноручно и, раздобыв требуемую вещь всякими правдами и неправдами, возвращал бумажку с надписью «исполнено».

Если ему не удавалось перехитрить тех, от кого зависела выдача необходимого продукта или материала, он старался его украсть. У него было неисчислимое количество «друзей», способных за незначительное вознаграждение выкрасть с неба апрельскую луну.

Неизвестно, какое количество различных ценностей Кныш употребил в свою пользу, но к указанному Селезневым сроку он не только достал все, что требовалось для парохода, но и нагрузил его более чем достаточным количеством муки, сала, печеного хлеба, солонины, гнилой копченой рыбы и даже липового меда.

Приведенный Назаровым «писучий человек» оказался вихрастым синеглазым мальчуганом лет пятнадцати, служивший до этого поваренком в одном из полков. Он совсем недавно бежал из родительского дома и жаждал более авантюристических похождений.

— Переезжай ко мне со всем имуществом,— сказал ему Селезнев.— Будем друзьями.

Имущество синеглазого парнишки выразилось в маленьком вещевом мешке, в котором, кроме смены белья, хранилось «Руководство для кораблеводителей», издания 1848

года, сломанный детский компас и старый заржавленный пугач без единого патрона.

Как бы то ни было, но работа в затоне закипела с лихорадочной быстротой. И каждый новый человек, каждый фунт краденого сала, каждая маленькая ржавая гайка, попадая на пароход, чувствовали на себе острый, распорядительный глаз Селезнева и его твердую, в железных мозолях, руку.

Через девять дней после начала работы Селезнев явился к председателю ревштаба и доложил ему, что «все готово». Пароход и баржа были заново отремонтированы, покрашены и в четвертый раз в своей жизни переименованы. Теперь пароход назывался «Пролетарий», а баржа — «Крестьянка».

К этому времени сформировалась комендантская команда. Это была разноликая, разношерстная «братва». Тут были рослые крепкоскулые пастухи с заимок Конрада и Янковского — задумчивые ребята в широкополых соломенных шляпах, с неизменными трубками в зубах. Были замасленные и обветренные машинисты уссурийских паровозов, с черными, глубоко запавшими глазами, похожими на дыры, прожженные углем. Были тут и разбитные парни с консервной фабрики, с острыми, ядовитыми язычками и жесткими ладонями, порезанными кислой жестью.

Они безропотно грузили все, что им прикажут, и в жгучий полдень и в слизкие, дождливые ночи, задыхаясь под тяжестью массивных станков и несчетного количества орудийных снарядов. Они несли бессменную вахту у пулеметов, с минуты на минуту ожидая выхода японских канонерок, чтобы перерезать им путь, и дрались смертным боем с бесчисленными толпами дезертиров, грозивших либо овладеть пароходом, либо «разнести в дресву паршивую посудину». Днем обстреливали их китайские посты, как только пароход приближался к китайскому берегу, а ночью леденил холодный туман, и сумрачный стлался вдоль границы Китай, суливший нежданные хунхузские налеты.

За Амуром у каждого оказались друзья, предлагавшие не ехать назад, в «чертово пекло», обещая «устроить» на более спокойные места без всякого риска. Но, справив дела, они неизменно возвращались обратно, шли, стиснув зубы, надвинув шапки на брови, снова вверх и вверх против течения — для новых вахт и драк, за новым драгоценным грузом.

И не знавший правил правописания, бесстрастный телеграф слал по линии одну за другой деловые телеграммы со странной, непонятной подписью: «комендант пролетарий селезнев».

5

Этот день был несчастлив с самого начала.

Около трех часов ночи пароход «Пролетарий» сел на мель верстах в двенадцати выше станицы Орехово. Чувствовалась несомненная халатность, так как речной фарватер был изучен до тонкостей в прошлые рейсы.

Кривоногий машинист свел Селезнева в трюм и, приподняв половицу, показал ему, чем угрожает подобный опыт в следующий раз.

— Глянь, голова,— сказал он, добродушно щурясь в темноте,— днище-то на ладан дышит, насквозь проржавело. Еще разок сядем и — каюк.

По счастью, мель оказалась неширокой, и баржа, шедшая с пароходом «под ручку», остановилась на глубине. Вся пароходная команда, за исключением капитана и машиниста, перебралась на баржу. Нагруженная до отказа, подталкиваемая течением, она сволокла пароходик собственной тяжестью.

Селезнев вызвал капитана в каюту и, глядя в упор в его водянистые глаза, сурово сказал:

— Мы больше никогда не сядем на мель. Понял?

Разумеется, капитан был очень понятливым человеком. Но все-таки вместо четырех часов ночи они пришли в Орехово к девяти часам утра.

Измученный бессоньем, Селезнев едва стоял рядом с Усовым на капитанском мостике. Боясь уснуть, он заставлял себя изучать то неясные очертания далеких сопок, то прибрежные зеленеющие холмы, то притулившиеся к ним разбросанные избы станицы. Они все тонули в молодых вербовых зарослях. Весенний клейкий лист играл на солнце, как олово. Из кустов возле телеграфа вился кверху белесоватый, смешанный с паром дымок. Казалось, что вместе с ним тянется оттуда жирный запах сомовьей ухи. В ту весну по Уссури то и дело сплывали книзу безвестные трупы, и от них сомы жирели, как никогда.

Наконец пароход причалил, и Селезнев пошел на телеграф. За ним на почтительном расстоянии шагал «писучий человек» с тощей порыжевшей папкой под мышкой. Кстати сказать, в ней не имелось ни одной бумажки, и вряд ли она вообще была для чего-нибудь нужна. «Писучий человек» переоделся в ватные шаровары и просторную солдатскую гимнастерку. Ему пришлось подвернуть рукава, а похожая на блин фуражка покоилась не столько на его голове, сколько

на ушах. Тем не менее он чувствовал всю важность и ответственность своего положения.

В конторе Селезневу передали телеграмму Соболя. Она удивила его и заставила насторожиться.

— Чудасия,— сказал он «писучему человеку»,— кажись, мы ничего не делаем без приказу. Что-нибудь тут неспроста.

Около кустов, из которых тянулся заманчивый кухонный дымок, их остановил полный человек в коричневом пиджаке и жесткой соломенной шляпе.

— Товарищ Селезнев, здравствуйте!— сказал он с виноватой, несколько заискивающей улыбкой.

Селезнев узнал председателя партийного района, в котором он состоял во Владивостоке.

— Здорово. Ты как сюда попал?

— Да вот... попал...— неопределенно пробормотал тот.

— Что делаешь?

— Да ничего. Так вот — туда, сюда. Неразбериха.

— Будет врать-то,— раздался из кустов хриплый насмешливый голос.— Скажи: младший гарнизонный повар. Потому, мол, ни к чему другому способностей не оказал.

Селезнев посмотрел на руки председателя района и заметил, что его пальцы порезаны и желты от картофеля.

— Что ж, и это дело,— сказал он, зевая.

Председатель покраснел и спрятал руки в карман.

— Товарищ Селезнев,— начал он, нервно мигая глазами,— не перевезете ли вы меня... за Амур?

— Разрешение есть?

— Разрешения нет, но... что ж я тут... верчусь — так, зря?

«А ведь казался хорошим партийцем...» — в недоумении подумал Селезнев.

— Без разрешения не перевезу,— сказал он сухо.

— Товарищ Селезнев...— В дрожащем голосе председателя послышались умоляющие нотки.— Я вас прошу... в память нашей совместной работы... Я... измучился, я не могу больше работать здесь.

— Слушай, брось ныть,— устало перебил Селезнев.— Я не возьму без приказу. Прощай.

Он круто повернулся и пошел к пароходу. «Писучий человек» с любопытством наблюдал за обоими.

— Не берет,— сказал председатель со смущенной улыбкой.

Губы «писучего человека» задрожали мелкой смешливой дрожью, но он удержался от смеха. Кинув на председателя

истинно комиссарский взгляд, он небрежно произнес:

— Подайте заявление и анкету в двух экземплярах. А впрочем, я вам не советую ехать. На нашем пароходе оч-чень опасно.

Комендантская команда грузила динамит. Из продолговатых ящиков тянулся легкий дурманящий запах, от которого кружилась голова. Несмотря на усталость, Селезнев присоединился к работе. Глядя на него, примкнули и матросы, хотя погрузка не входила в их обязанности.

Потом, лежа в каюте, Селезнев думал о странной телеграмме с фронта, и, даже когда совсем засыпал, ему казалось, что неугомонная пароходная машина выстукивает те же слова: «никаких... частей... не грузите...»

6

Он проснулся оттого, что кто-то настойчиво тормошил его за плечо.

— Товарищ комендант! Товарищ комендант!

Он вскочил на ноги и протер глаза.

Перед ним стоял «писучий человек» с беспокойным, несколько растерянным выражением лица.

— В Аргунской стоит какая-то часть...

Селезнев надел фуражку и стремительно побежал наверх.

Извиваясь меж холмов, стлалась вниз сверкающей лентой река. Впереди, на голом безлесном мыске, лепилась маленькая станичка, необычно кишевшая народом. Вся комендантская команда высыпала на палубу. Многие, чтоб лучше видеть, забрались на снарядные ящики, не уместившиеся в баржевом трюме и аккуратно уложенные наверху.

Селезнев посмотрел в бинокль и без труда различил на людях вооружение и походную амуницию. Он сразу почувствовал какую-то связь между ней и полученной им вчера телеграммой.

— Товарищ Усов,— сказал он, быстро оборачиваясь к капитану,— на этот раз мы не зайдем в Аргунскую.

— Нельзя не зайти: дрова на исходе.

Селезнев послал Назарова проверить. Дров действительно оказалось мало. Он знал, что на всем остальном пути их негде будет достать, а следовательно, вопрос решался сам собою.

— Команда... в ружье! — крикнул он жестким, отвердевшим голосом.— Пулеметчики, на места! Живо!

Не глядя на побледневшее лицо капитана, он перешел на баржу и, отозвав Назарова в сторону, велел занять ему место у сходен.

— Как сходни перебросим, ухо держи востро. Никого не пущай. Полезут силом — стреляй.

— Кныш, иди-ка сюда,— позвал он «хозяйственного человека».— Сегодня тебе будет большая работа. Ты, говорят, мастер заговаривать зубы. Как только причалим, слезай на берег и начинай тереться промеж братвы. Разговор заводи посурьезней: что-де, мол, пароходишко-то чуть жив, того и гляди, на дно пойдет, в протоке, мол, обстреливают каждый раз из орудий, прошлый раз, мол, сорок человек из строя выбыло... Да что тебя учить — сам грамотный! Одним словом, прикинься хорошим дружком, а сам пугай.

Кныш тотчас же выразил свое согласие, как соглашался и раньше на все, что ему предлагали.

— Только смотри,— предупредил Селезнев,— если какая дурь взбредет в голову...

Тут он выразительно хлопнул по карману с револьвером, и его лицо приняло черствое, почти жестокое выражение.

— Не взбре-дет,— засмеялся Кныш,— дело знакомое.

Пароход подходил все ближе и ближе, но на берегу не чувствовалось никакого волнения. Теперь простым глазом можно было различить в толпе не только оружие, но даже выражение лиц. Они смотрели с любопытством и ожиданием, но без всякой враждебности.

Пароход медленно повернулся против течения почти у самого берега.

— Отдай якорь! — хриплым, не своим голосом скомандовал Усов.

— Здорово, ребя-аты! С приездом! — кричали на берегу.

Селезнев снял фуражку, помахал ею в виде приветствия. Выражение его лица было приветливо и беззаботно.

Покачиваясь на собственных волнах, пароход подошел к пристаньке. Тотчас же двое ребят соскочили на берег и закрепили концы. Чьи-то сильные загорелые руки перебросили сходни, и по ним врезалась в толпу частая матросская цепь. Двое с винтовками впереди расчищали дорогу к дровяным штабелям, а за ними несколько смущенно и неуверенно тянулись остальные. Впрочем, никто не оказал им никакого сопротивления.

Стоявший наготове Кныш незаметно юркнул в толпу.

— Что за часть? — спросил Селезнев, спускаясь на берег.

— Мы семенчуковцы...— раздалось несколько голосов.

— Слыхал, слыхал... Молодцы,— похвалил Селезнев,— боевых сразу видно...

Широкоплечий скуластый мужчина в тигровой тужурке выдвинулся из толпы и подошел к нему.

— Я командир отряда,— сказал он, протягивая руку.

— А я комендант парохода,— отрекомендовался Селезнев.

«Ну и ряжка»,— беспокойно подумал он, изучая наклонившееся к нему лицо.

— Мне тебя и надобно,— продолжал Семенчук,— насчет нашей погрузки.

— Идем на пароход.

Когда они проходили мимо окаменевшего у сходен Назарова, Селезнев пропустил Семенчука вперед и, незаметно тронув взводного за рукав, шепнул:

— Пошли одного парня к моей каюте. Пущай станет у дверей и ждет, пока позову.

Он с удовлетворением отметил, что погрузка дров идет полным ходом, и, подхватив Семенчука под руку, вместе с ним спустился в каюту. «Главный выигрыш — время»,— думал он, шагая по шатким ступенькам.

На берегу мирно дымились бивачные костры. Кныш быстро втерся в одну из компаний, отыскивая земляков.

— Так, так,— говорил он, хитро прищуривая глаза.— Амурцы, значит? Стало быть, землячки́?.. Так, так... Каких уездов?

Оказалось, что тут имеются люди со всех концов Амурской области. Кныш знал ее вдоль и поперек и, таким образом, с первых же слов обнаружил себя вполне своим человеком.

— И давно вас сюда передвинули?

— Сами пришли. Нешто кто передвинет? Ка-ак же!.. Держи карман шире... Тута все продано до последнего человека... Ежели командующий золотопогонник, какая тут война?..

— Это верно,— согласился Кныш.— Нашего брата везде надуют... Это уж как было, так и останется. Землю пашем мы, а хлеб кушает дядя... Куда же вы теперь?

— Домой.

— Та-ак...

Кныш подбросил в огонь несколько щепок и с видом человека, который говорит истинную правду, но в общем не заинтересован в том, как ее примут, спокойно произнес:

— Только домой вам не попасть, вот.

— Чего так?

— А за Амуром, братишка, такой порядок: приезжает человек — к нему сейчас же начальство: «Ваш пропуск?» Пропуска нет — чик... и готово... в Могилевскую губернию. Это, брат, там моментом.

— Расска-азывай! — недоверчиво протянул кто-то.— Нас целый отряд, а не то што какой один...

— Что ж, что отряд?.. Вот прошлым рельсом тоже перевезли один батальон. Нам, натурально, все едино, а у его приказу не было. Так за Амуром сейчас же орудия, пулеметы... Наставили: чик-чик-чик...— Кныш выразительно повращал белками и, безнадежно сплюнув в сторону, добавил:— Подчистую.

Его слова действовали самым убийственным образом, но он и привык работать наверняка. Умение провоцировать входило составной частью в его многообразную профессию. Он обходил кучку за кучкой, то выпрашивал табачку, то отыскивал двоюродного брата и всюду рассказывал о том, как «прошлым рельсом» они отбивались от японцев в протоке ручными гранатами, или о том, что стоять в Аргунской тоже далеко не безопасно.

— Вот дня четыре тому назад... японская канонерка версты на три досюда не дошла. А мы от их всякий раз бегаем: служба такая...

В каюте Селезнев потребовал от Семенчука приказ о погрузке.

— Видишь, какое дело,— ответил Семенчук,— отправили нас срочно и писаного приказа не дали. Командующий на словах передал: «Идите, говорит, там погрузят».

Он хитро мигал глазами и крякал после каждого слова.

— Как же мне быть? — нерешительно мямлил Селезнев.— Ну, ты сам командир,— понимаешь, в чем тут загвоздка?.. Ну, как бы ты сам поступил?

— Да ясное дело, как! — воскликнул Семенчук.— Оммапывать я, чай, не стану. Тут дело верное.

— Давай лучше вызовем к прямому проводу штаб,— предложил Селезнев.

— Телеграф не работает, я уже пробовал,— соврал Семенчук.— Да ты что, не веришь, что ли?

Теперь Селезнев не сомневался, о ком говорила полученная им телеграмма. Ждать дальше не имело никакого смысла. Как бы в раздумье, он прошелся по каюте и, поравнявшись с дверью, выхватил из кармана браунинг.

— Не шематись! — крикнул тугим и звонким, как натянутый трос, голосом.— Руки на стол! Ну-у! Поговорим понастоящему.

— Ты что? — прохрипел Семенчук, бледнея.— Ты что!.. Ах ты, с...

— Цыть! — оборвал Селезнев с мрачной угрозой.— Только пикни! Дыр наделаю — не сосчитаешь! Эй, кто там? Сюда иди!

Стоявший у дверей народоармеец ворвался в каюту.

— Обезоружить!

В несколько секунд Семенчук лишился всех знаков своего командирского звания.

— Вот теперь погрузился и сиди,— мрачно пошутил Селезнев.— Все равно, где расстреляют: здесь или за Амуром.

Он вышел из каюты и запер Семенчука на ключ.

— Иди на берег,— сказал народоармейцу,— и позови Кныша. Скажи, мол, комендант и Семенчук зовут узнать насчет продуктов. Да пошли ко мне Назарова!

Он еще не знал точно, что ему делать в дальнейшем, но первая позиция была занята почти без боя.

— Назарыч! — сказал он, когда взводный спустился вниз.— Всю команду незаметно разложи по борту. Усову скажи, пущай приготовится. Как кончит грузить дрова, скажешь мне, а кого другого пошли отдать концы. Если спросят на берегу, зачем отвязывает, пущай скажет, что грузить, мол, вас будем у второго причала, выше...

«Может, выйдет, а может, и нет»,— подумал он, провожая взводного глазами. Во всяком случае, ему самому не следовало вылезать наверх без Семенчука.

Минут через пятнадцать пришел Кныш.

— Ну, как там? Что говорят?

— Да что, товарищ комендант, народ серый...— Кныш презрительно почесал за ухом.— Я им наговорил страстей — до будущего года хватит. Придет, говорят, Семенчук, будем митинговать. Только злы они — это верно.

— Ладно. Больше на берег не ходи. Ступай.

Когда Селезневу сообщили, что погрузка окончена, он не пришел еще к ясному решению. Туго перетянув пояс и надвинув фуражку на лоб, взбежал на палубу и, пригибаясь к доскам, почти ползком перебрался на баржу. Нудно скрипела ржавая цепь, и где-то внутри медленно стучала машина, подталкивая судно навстречу якорю.

Весь Семенчуковский отряд сгрудился у второго причала

Бесформенная, обезглавленная масса зловеще чернела на светло-зеленом фоне берега, но Селезнев чувствовал всем своим нутром, что она сплошь состоит из усталых, растерянных и обманутых людей.

Лежа между снарядными ящиками, он слышал, как пароходные лопасти со звоном раскалывали воду, и думал, как поступить. Он мог бы просто миновать второй причал, дав судну полный ход. Но тогда люди на берегу почуют измену и откроют стрельбу. Он не имел права идти на такой риск, чувствуя под ногами семьдесят пудов динамита. Одной пули в трюм было бы достаточно, чтобы от гнилой посудины не осталось и следа. Значит...

Лицо Селезнева стало коричневым и жестким, как ржавое железо. Он медленно повернул голову и тихим, оледеневшим голосом бросил припавшим к борту людям слова, простые и безжалостные, как камни:

— Взвод, слушай... мою команду... Пулеметчики, приготовься... По Се-мен-чу-ковскому... отря-аду... постоянный прицел... Взво-оод!

С берега доносился разноголосый человеческий гомон, и густо и ровно стучала машина, как настороженное сердце зверя.

— Пли!

В первое мгновенье никто на берегу не понял, что это смерть. Но залп следовал за залпом. Тогда, бросая винтовки, скатки, патронташи, сумки — все, что мешало бежать,— сгибаясь к земле, люди ринулись прочь от берега. Они падали в траву безжизненными кулями мяса, не издав предсмертного стона, а раненые впивались в землю костенеющими от страха пальцами.

— Вверх стрелять! — кричал Селезнев.— Довольно по людям! Усов, давай полный!

Пароходик рванулся книзу и, кутаясь клубами дыма, разбрасывая в стороны белые пласты кипучей холодной пены, помчался прочь от Аргунской.

7

Челноков прибыл на станцию Вяземскую поздней ночью. Матросский батальон ждал его на перроне в полном боевом снаряжении. Батальоном командовал рослый сивоусый матрос с миноносца «Гроза». От него Челноков узнал историю похода матросских батальонов из Владивостока на Иман.

Когда японцы врасплох напали на владивостокский

гарнизон, доблестные моряки под перекрестным пулеметным огнем высадились с миноносцев на берег и, преодолев восемь рядов проволочных заграждений, вырвались в тайгу. Окольными тропами, продираясь сквозь валежник и чащу, они в двенадцать суток сделали около пятисот километров и утром вошли в город Иман, усталые и загоревшие, с песней:

По морям, морям, морям,
Нынче — здесь, а завтра — там...

На рассвете батальон под командованием Челнокова выступил в направлении станицы Аргунской. Две ночи батальон провел в тайге. На третьи сутки высланная Челноковым разведка сообщила, что Аргунская близко и что Амгуньский полк еще находится в станице.

— Что-то, товарищ комиссар, неладно у них,— сказал разведчик, отирая рукавом пот и улыбаясь.— Баба в крайней избе говорит, будто приходил пароход и командира увез у них... Большая, говорит, стрельба была, есть убитые и раненые...

— А часовые у них расставлены? — удивленно приподняв брови, спросил Челноков.

— С этого краю часовых нет...

Оставив батальон в лесу, Челноков с двумя разведчиками взобрался на сопку. Станица Аргунская лежала внизу в вербовых зарослях. Далеко видна была извивающаяся лента реки, отливавшая серебром и весенней синью.

Посреди станицы, у церкви, виднелась большая толпа вооруженных людей. Семенчуковский отряд митинговал.

Люди, лиц которых нельзя было разобрать, сменяя один другого, взбегали на паперть, игрушечно размахивали руками. Иногда до Челнокова докатывался гул голосов.

Коренастый человек, сильно прихрамывая, взошел по ступенькам. По его фигуре и хромоте Челноков узнал в нем командира первой роты Буланова, бывшего пастуха. Буланов постоял на паперти, потом поднял руку, и тотчас же лес рук вырос над толпой. До Челнокова чуть долетел голос команды. Толпа закипела и распалась — Семенчуковский отряд начал строиться.

— Ну, вот что, ребята,— дрогнувшим голосом сказал Челноков,— бегите к командиру, скажите, чтобы строил батальон в колонны и шел к церкви, а я сейчас к своим пойду...

И, к величайшему удивлению разведчиков, он побежал с сопки в станицу.

Пробежав переулком, у выхода на площадь Челноков замедлил шаг и спокойно, твердой походкой направился к шеренге.

В тот момент, когда он вышел на площадь, шеренга рассчитывалась надвое:

— Первый... Второй... Первый... Второй...

Но в этот же момент вся шеренга увидела Челнокова,— счет перепутался, шеренга дрогнула и замерла.

Командир первой роты Буланов удивленно обернулся и застыл.

Челноков медленно подошел к нему.

— Товарищ комиссар! — неожиданно взвизгнул Буланов.— Мы...

Вдруг рябое лицо его исказилось, он схватился руками за голову и заплакал.

Челноков некоторое время сурово смотрел на него. Было так тихо, что слышна стала возня голубей на колокольне.

— Товарищи! — обернувшись к шеренге, спокойно сказал Челноков.— На ком остановился счет? Продолжайте...

Несколько секунд еще стояла тишина, потом кто-то сказал почти шепотом:

— Первый...

— Второй...— хрипло отозвался сосед.

— Первый...— смущенно откликнулся третий.

— Второй...— уже более уверенно подхватил четвертый.

— Первый... Второй... Первый... Второй...

По главной улице, вздымая клубы пыли, мерно шагал матросский батальон на соединение с Амгуньским полком.

1923—1934 гг.

Федор Гладков

ЗЕЛЕНЯ

1

...Днем копали окопы за станицей, в поле, а ночью собрались все на площади, около ревкома. Солдаты пришли со своими винтовками и сумками и держали себя строго и деловито-важно. Так они, вероятно, держали себя и на войне и эту привычку принесли домой. Парням выдали винтовки в ревкоме, и они долго не знали, что с ними делать: гремели затворами, вскидывали на плечи и целились в небо.

И не думалось, что там, за станицей, за далекими курганами и вербовыми балками, не торными дорогами, а зелеными овсами и озимями саранчой ползут сюда белые толпы — офицеры, господа и казаки. Было все просто и обычно: тополи на бульваре чистят свои листья, как птицы, в раскрытом окне ревкома горит лампа, хрустально звенят колеса запоздавшей телеги, покрикивает паровоз на вокзале...

Все эти люди с винтовками — свои ребята. Всех их Титка знал с самого детства. Днем, когда они рыли окопы в поле, в зеленях, они делали это так же истово и заботливо, как и обычную работу по хозяйству, и говорили не о белых, не о борьбе, а о своем о маленьком, о простом и понятном — о земле, о хозяйстве, о своих недостатках. Вот и теперь они собрались здесь, будто на артельный деревенский труд.

Огненная полоса из раскрытого окна падала прямо на тополь в палисаднике. С одной стороны он горел, а с другой был черный. Через дорогу перекидывалась ветвистая тень и пропадала во тьме площади. На лилово-пепельной дороге стоял пулемет. На корточках, опираясь на ружья, сбились в кучу солдаты и говорили, как надо делать «чертову поливку».

В комнате горела висячая лампа с белым абажуром, похожим на макитру. Сосал, как всегда, мокрый окурыш брат Никифор Гмыря, предревкома, натужливо кашлял

и разговаривал с солдатами, которые стояли перед ним.

Солдат Шептухов, бывалый веселый парень, подмигивал в сторону Гмыри и смеялся.

— Как по чертежу разъясняет... Башка. Любому охвицеру даст сорок очков вперед. Знай наших!

Около крыльца Титка наткнулся на человека с винтовкой. Стоял он как-то скрючившись, словно мучился в лихорадке. Это был учитель Алексей Иваныч, у которого еще недавно учился Титка.

— Вы зачем сюда пришли, Алексей Иваныч? Да еще больной: идите домой! Вам здесь нечего делать.

Учитель строго спросил его:

— А кто тебе, мальчишке, позволил взять винтовку? Тебе надо в коники играть, а не с беляками драться. И я не болен. Я задумался — даю себе отчет в прожитой жизни.

Титка взволновался: как же это можно, чтобы Алексей Иваныч пошел в окопы? Он — учитель и человек уже пожилой: у него уже седеют волосы, и всем известно, что у него чахотка.

— Я пойду к брату, Алексей Иваныч, и скажу ему, чтобы он вас домой отправил и винтовку отобрал.

Учитель вспылил и стал как будто выше ростом:

— Ты не посмеешь это сделать, Тит. Белогвардейцы мне такие же враги, как и тебе, как всем этим людям. Я вас всех учил мужеству и не жалеть жизни за правду. Как же я смогу отойти в сторону? Ты подумай! Наоборот, я должен идти впереди всех.

О чем думать? Ведь все так ясно и просто: все — вместе, все — свои, и так спокойно и хорошо на душе.

— Алексей Иваныч, тогда я с вами пойду... в одном отделении.

— Ну, что же... пошагаем... Все равно ведь домой тебя не прогонишь. Теперь и ребятишки — бойцы революции.

С вокзала, от броневика, приехали двое верховых, матрос и мальчик с ружьем за плечами. Матрос пристально оглядел всех, вытянулся, отдал честь и засмеялся.

— Ну, вояки-забияки! братишки! готовь оружие! Беляки очень интересуются, как вы их встретите — с трезвонами, с поклонами или пугаными воронами?

Кто-то сердито крикнул:

— Боевыми патронами... а тебя на акацию за твою провокацию!

Матрос засмеялся и даже икнул от удовольствия.

— Вот молодчаги, братишки! Под стать нашей моряцкой удали...

И он скрылся в дверях ревкома.

Титка подошел к лошадям. Взмахивали мордами кони, раздували ноздри и храпели. Кожа у них лосинилась и переливалась перламутром. Он гладил их и похлопывал по спине, между ногами, по крупам, наслаждаясь упругой теплотой мускулов. Вспомнил о своем рабочем пузатом гнедке. Хрумкает он сейчас месиво под навесом.

Мальчишка озорно хлестнул его нагайкой и, как взрослый, строго прикрикнул на Титку:

— Не тревожь лошадей, лопоухий! Отойди в сторону! Как ты винтовку держишь, дуболом?

— А ты что за блошка? Скачет блошка по дорожке, споткнулась через крошки — бряк!

— А ты — мозгляк! Ты — мазун, а я в революции — уже год. Из дому бежал, школу бросил... У меня отца расстреляли в Харькове... железнодорожника. И я сказал себе: буду их колошматить, как крыс... до конца! И вот этой винтовкой сам застрелил двух белых офицеров. И буду бить... бить их!.. до последнего!

«Какой злой!» — подумал Титка и доверчиво улыбнулся парнишке.

— Неужто тебе не страшно... ежели — в упор?

Мальчик посмотрел на него сбоку, по-птичьи:

— Что значит — страшно? Страшно, когда ты — один, безоружный, а на тебя лезет орава чертей. Но я и тогда плевал бы им в морды... потому что я ненавистью сильный... и у меня — революционная идея.

2

Выступили взводами один за другим. Шептухов командовал отделением, где были Титка и учитель. Они были вместе, плечом к плечу. И Титке казалось, что они идут не в бой, а в поле, на ночевую. Солдаты тихо переговаривались и вспоминали германский фронт.

Нигде по станице не было огней, как это было обычно в весенние ночи, и всюду во тьме жутко таилась густая тишина. Еще недавно около ветряков ежевечерне пели девчата, и тогда казалось, что звезды слушали их и смеялись.

Теперь здесь по дороге солдаты отбивали шаг и сдержанно перекидывались словами:

— Вот окаянные куркули! Как вымерли... Поди, оттачивают кинжалы...

— То-то и оно: оттачивают и офицерью подначивают. А генеральство чешет — не успевает салом пятки намазывать.

— А ты думал как? С народом никакая сила не справится. Генералы да эксплуататоры были — и нет их. А народ живет и множится. Он — как земная растения: сколь ни топчи, ни ломай ее — она растет еще гуще. Народ — сила вечная, неистребимая. И чего только они, эти беляки, лютуют? Ведь черти не нашего бога! Все равно им — конец... никакие антанты не помогут!

Шли по улице и зорко глядели по сторонам: хаты во дворе, в садах и акациях, дышали, как притаившиеся звери. Каждый ожидал, что в этой непроглядной тьме вдруг вспыхнет выстрел и пуля пронижет одного или нескольких человек.

Шептухов, пробегая перед взводом, бормотал шуточки, ободряя бойцов:

— Ну, други, подтяните подпруги! Крепче винтовки, ребята! Придем в окопы — не будьте остолопы: будьте зорки в своей норке. Ползет саранча — истребляй саранчу огнем и свинцом, чтобы саранча дала стрекача... Не впервой и врага отражать и в атаки ходить. Хоть и мы умели драпу задавать, да в нашем деле сейчас мы можем стоять только до последнего патрона, до последней гранаты. Стоять будем до смерти, как черти, а драться за жизнь, за свободу, за Ленина! Не забывай: бей без промашки — в сердце, в лоб, чтобы мордой в гроб.

Но никто не смеялся от его шуток.

Учитель шел спокойно, хотя и задумчиво сутулился.

— Ты не боишься, Тит?

— Нет. А чего бояться-то, Алексей Иваныч? Нас, гляди, как много... Своя братва. За свое, за нашу власть и драться охота.

— Да, ты хорошо сказал: за свое и драться охота. Лучше смерть, чем жить в рабстве и потерять свое.

— А зачем умирать, Алексей Иваныч? Давайте об этом не думать.

«Зачем пошел? — с изумлением думал Титка.— Мутит его... Не выдержит...»

Учитель взял под руку Титку и заговорил в раздумье:

— Мне сорок лет, Тит, и в вашей станице я работал со дня твоего рождения, брата твоего, Никифора, я знал еще

юнцом. Вы были бесправны и, как иногородние, могли жить только по найму. Батраки не имели ни голоса, ни опоры, ни защиты. А чем я отличался от вас? Ничем. Я тоже был батрак — интеллигентный батрак, и мое положение было вдвойне мучительно: душу мою насиловали, жизнь распинали. Но я учил вас с детских лет любить и стоять за правду, воспитывал вас как борцов за свободу, за великое будущее. И мне радостно, что я вот иду вместе с тобой, моим учеником, со всеми вами как простой солдат на бой с черными силами за власть трудового народа. Я неотделим от вас, потому что я — сам сын народа. И мне было горько, что ты, мой ученик, отнесся ко мне в эти роковые минуты, как к постороннему,— хотел прогнать меня домой.

Титка смутился и почувствовал себя виноватым перед ним. Он любил Алексея Ивановича, и ему просто хотелось вывести его из-под пуль. Ведь он и ружья не может держать по-настоящему...

— Я, Алексей Иваныч, всегда считал вас своим. И ваших наставлений не забывал. С кем же вам идти-то, как не с народом? Я это для того, чтобы охранить вас.

— Отделить от борьбы? — строго оборвал его учитель.— Неверно думаешь, Тит. Надо каждого, кто живет народной правдой,— каждого звать к борьбе... потому что это последний и решительный бой. Но... я понимаю тебя, Тит. Спасибо за доброе чувство, за любовь. А драться будем вместе — бок о бок, плечом к плечу. Это замечательно: учитель и ученик — в одной линии фронта, на линии огня.

Пока дошли до ветряка на конце станицы, встретили два разъезда. Около ветряка остановились и послали разведчиков до следующего поста для связи.

Совсем незаметно подошла к Титке молоденькая девушка. Это была Дуня, его ровесница. Вместе они учились, вместе и кончили школу. Он был уже рослый парень, хотя ему пошел только что шестнадцатый год, а она казалась еще подростком. Может быть, это оттого, что она была худенькая и слабенькая девчонка: после школы она нанялась батрачкой к богатому куркулю, и ее заездили тяжелой работой.

Она тихо засмеялась и схватила его за руку:

— Это — я, Дуня. Я искала тебя. Хоть не вижу, а узнала...

— Ты зачем тут? Кто тебе позволил? Ты знаешь, чем это пахнет?

— Ну, вот тебе! Я же сестрой иду! Вот и перевязки. Видишь?

Она подняла узелок к его лицу и опять засмеялась.

— Я же — сестра. Нас еще пять девчат. Вот видишь, в школе учились вместе, а теперь вместе на позиции идем. Как хорошо!

Она заметила учителя и радостно рванулась к нему:

— Здравствуйте, Алексей Иваныч! Вот и я — с вами.

— А-а, Дуня,— растроганно отозвался он.— Как славно, что опять мы вместе. Не забыла еще меня?

— Я вас, Алексей Иваныч, всегда в сердце ношу. Тяжело бывает — горько, обидно... А вздумаешь о вас — и на душе легко станет. Вы вот нынче под пулями будете: и убитые будут и раненые. Я не о вас говорю — нет... Ну, а я перевязывать буду... С вами я и останусь!

И вплоть до окопов они шли вместе, и будто не в бой шли, а на ночевую в поле.

3

В окопе пахло весенней прелой землей и медовым соком молодого овса. Тянуло хмельным запахом сурепки, и близко и далеко, до самых звезд, ручейками пели сверчки. А из тьмы, из-за курганов невидимо и неудержимо катится сюда дикая орда, с ружьями, пулеметами и пушками. И не торными дорогами движется она, а полями и балками. Казаки и офицеры! Откуда и куда выйдут они к ним, чтобы напасть на них с яростью волков?

По фронту, по обе стороны Титки, люди лежали тихо, и было похоже, что они спали. Только когда кашляли и переговаривались между собою, Титка чувствовал, что они так же, как и он, зорко смотрят во мрак.

Проходил мимо несколько раз Шептухов и шутил, как всегда:

— Ты, Тит? Лежишь, чубук? Рот — вперед, глаза — на лоб!

Так же, как и дорогой, неслышно подошла Дуня и села на краю окопа.

— Уж скоро рассвет, надо быть, Титок. Побыть с тобой хочу. Мне — что? Я — какая есть, такая и буду... а ты — вместе со смертью...

— Пуля-то ведь не разбирает: она одна и для меня и для тебя.

— Вот тебе славно! Ты — с ружьем, ты — в бою. А я буду ползать да раны зализывать. Какая есть, такая и буду.

Титка посмотрел на нее и усмехнулся.

«Не понимает... глупенькая...»

— Ты, Титок, за свободу воюешь, за трудящихся... за нашу Советскую власть. А я что? что я могу? Ты говоришь — одна пуля... Ежели смерть моя нужна, и — не дыхну. Да и не будет этого — трусиха я: буду ползать да раны перевязывать.

И в ее тихом голосе, во всей ее худенькой фигурке Титка почувствовал такую готовность пожертвовать собой, что ему стало жалко ее до слез. Он понял, что она пришла к нему затем, чтобы отдать ему все, что он хочет от нее. И такой родной и близкой ощутил он ее, что невольно обнял ее и прижал к себе.

— Убьют тебя, Дуня... Сгинешь ты... Иди домой!

А она взяла его голову, прислонила к своей тощенькой груди и, как маленького, уговаривала:

— Ты, Титок, не бойся. Не страшно... А ежели страшно, покличь...

Он вылез из окопа и лег около нее. А она ласкала его и шептала:

— Ты не бойся... Какая есть, такая и буду. Я вся тут у тебя, Титок...

Он пробыл с ней до того момента, когда по всей линии волной пробежала тревога и где-то недалеко раздалась команда Шептухова:

— Приготовьсь, ребята! Сами не стреляй! Слушай мою команду!

Дуня ушла так же неслышно, как и пришла, но Титка еще продолжал переживать восторг, удивление и радость.

На востоке, за двумя курганами, по небу зеркалилась половодьем река. Позади, на вокзале, робко горели несколько огоньков, таких же маленьких, как звезды. Чуть слышно, перебивая и перегоняя друг друга, спросонья хрипели петухи по станице. Эти дураки ничего не хотели знать и напролом, глупо и упрямо исполняли свои куриные обязанности.

4

Впереди, за курганом, загрохотал гром, и воздух упруго задрожал от гула. Что-то затрещало ближе, и Титка услышал, как над ним и около него запели комарики. Учитель стоял неподвижно и прижимался к ложу винтовки. Шептухов подал команду, и по всей линии началась трескотня. Щелкали затворы, точно ссыпали в кучу железо. Раздавалась команда Шептухова, и — опять трескотня и звон комариков сверху и по сторонам.

Где-то позади Титки, в стороне, потрясающе разорвался снаряд, и горячий воздух пронизывающе толкнул его в затылок. Кто-то недалеко застонал и глухо завыл, как придавленный возом. Промелькнула ползком фигурка Дуни и исчезла. С другой стороны кто-то крикнул спокойно и деловито:

— Готово! Сестрица, ползи сюда,— у меня — готово.

После полудня Титка увидел в мареве солнечного горизонта, на горбылях курганов, бегущие одинокие серые комки, похожие на испуганных овец. Понял, что это они — «кадеты». Из передовых окопов побежали товарищи, останавливались и стреляли. Два человека упали в зеленый овес и больше не вставали. Сорвавшимся голосом командовал Шептухов, но из окопов начали выскакивать по одному и по два солдата и перебегать назад.

Учитель по-прежнему стоял неподвижно и безостановочно палил по курганам.

Титка стоял около него и старательно целился в отдельных человечков на кургане. А когда человечек кубарем падал на землю, он радостно вскрикивал:

— Ага!..

И смеялся от радости.

Через него перемахнул солдат без шапки и больно ударил его сапогом по голове. Он очухался и почувствовал около себя пустоту: в окопах никого уже не было, только, скорчившись, лежал мертвый солдат поперек канавы.

По всей глади зеленого поля перебегали люди, низко наклоняясь над землей. У Титки замерло сердце и похолодело в животе от страха. Он выпрыгнул из окопа и, низко наклонившись, побежал за другими. Как во сне, он увидел бородатого человека, который старался приподняться на руки и, с вытаращенными глазами, хрипел:

— Товарищ... милый! Не дай на муку... не кидай, браток!

Титка отбежал несколько шагов. Неудержимо хотелось стрелять, целиться и стрелять... бить — и бить подряд. Нельзя отступать! Где же Шептухов? Почему нет брата Никифора?

— Да что же это такое? — закричал он.— Да как же это так? Не выдержали, черти, побежали!..

По всему полю перебегали товарищи. Они падали, стреляли, опять перебегали и опять стреляли. Пули визжали, как ветер, и шлепались впереди него и взрывали землю и зеленую озимь. Он тоже бежал, прижимаясь к земле,

подчиняясь общему движению, ложился на озимь и тоже стрелял. Но не видел уже ни дула винтовки, ни фигурок впереди: он плакал, захлебываясь слезами,— плакал навзрыд, как плакал в детстве. Он упал на незнакомого солдата и стал окапываться. Солдат свирепо бормотал и толкал его прикладом в бок. Титка не чувствовал боли и ощущал удары тупо и далеко — и сейчас же забывал их.

Он положил винтовку на бугор земли и замер. Неподалеку от себя, на одной линии с окопами он вдруг увидел Дуню. Она лежала на боку, подвернув под себя руки и спрятав в них подбородок. Юбчонка задралась выше колен, и худенькие ноги белели, прижавшись одна к другой.

Он вылез из ямки и пополз к Дуне, не спуская с нее глаз. Солдат рявкнул и схватил его за ногу.

— Лежи!

А он, карабкаясь вперед, не замечал, как чья-то рука изо всей силы тащила его назад,— карабкался, оставаясь на месте и не спуская глаз с Дуни. Голова ее вдруг вздрогнула, и Титка увидел, как брызгами разлетелась она в разные стороны. Кровавые капли ударили прямо в лицо.

Опомнился он опять в ямке, и солдат яростно шептал:

— Путаетесь только тут, иродовы души! Наплодили вас, сморкачей, на нашу шею!..

Все поле до самого горизонта взрывалось вихрями земли и травы и взлетало к небу громадными черными снопами. Уже не было воздуха: был только один визгливый и хрипящий гул.

Титка стрелял, как во сне, забывал вставлять обоймы и щелкал пустым замком. Потом доставал патроны из ленты, пихал в затвор и опять стрелял.

Когда снова увидел Дуню с кровавым пучком вместо головы, сразу пришел в себя и, задыхаясь, закашлял от рыданий. Потом сразу успокоился и стал целиться вдаль, высовывая голову из ямки.

5

Бежал он вдоль железнодорожной насыпи. Здесь было безопасно: пули звенели пчелками над головою и изредка чакали о рельсы. В стороне шел Шептухов — неторопливо, широкими шагами. Он скалил зубы и что-то кричал Титке. Титка радостно бросился к нему, но Шептухов вдруг зашатался, как пьяный, взвыл и грохнулся вниз брюхом.

Крепко запомнил Титка, как высоко поднимались его лопатки и выпирали из-под гимнастерки.

Титка налетел на кучу навоза, уже промытого дождями, запутался в нем и с размаху кувыркнулся в канаву.

По всему простору комкастых полей трещоткой разливчато скрежетали пулеметы, а винтовки били беспорядочно — то отрывисто одинокими выстрелами, то дробными залпами.

Ярко врезалось в память Титки голубое небо, простое и родное, и два облачка подряд, одно — большое, другое — маленькое, и солнечный воздух, и запах весенней солоделой земли и гниющей травы.

Станица была недалеко, но не видна за насыпью, и только четко, растопыркой, вырезались на небе из-за насыпи два крыла ветряка. Сейчас же около станицы, под насыпью, была большая дыра. Из нее шла в поле черная дорога с застывшими комками грязи по бокам. Вдали, где насыпь врезалась в бурый подъем и переходила в степь, среди оторванных от станицы станционных казарм дымился броневик. К нему бежали толпы людей и барахтались около грузных вагонов, зашитых в железные листы.

На крутую насыпь взбирался учитель с винтовкой под мышкой. Поднимался он спокойно, не оглядываясь. Раза два он поскользнулся, но упорно карабкался наверх. Небоязливо, во весь рост перешел через рельсы, и Титка увидел конец дула и дымок от выстрелов.

На улице не было ни души. Направо, за станицей, черным табуном быстро ползла колыхающаяся лента конницы. Чем ближе подвигалась она, тем становилась длиннее и тоньше, охватывая станицу черным муравьиным полукругом.

Среди мертвой пустоты улицы Титка впервые почувствовал страх. Спотыкаясь, едва добежал до очерета хаты. В глубине двора испуганно перекликались голоса женщин и детей, ревел грудной ребенок.

Калитка была заперта. Титка прыгнул на забор и оседлал его, но сразу же отпрянул назад. С дрючком в руках бежал к нему волосатый казак и хрипло рычал матерщину.

Титка спрыгнул на улицу, и в то же мгновение дрючок ударился о верхний край забора и пролетел над его головой. Он опять побежал, держась близко к огороже, не пытаясь забегать во дворы. Был он один, окруженный врагами. Они еще не пришли, но были уже всюду.

Стрельба шла по окраинам. Изредка стреляли где-то на улице — может быть, из засады.

Впереди, из переулка выбежал хромой, лысый человек

с ребенком на руках. Вслед за ним на лошади выскочил черкес в огромной лохматой папахе, с белой повязкой наискось. Он настиг лысого человека и со всего размаху ударил его по голове. Ребенок полетел на землю. Человек пробежал два-три шага, грузно осел вниз и свернулся калачиком. Черкес все еще держал на отлете запачканную кровью шашку, вертел измученную, бесившуюся лошадь на одном месте, зорко смотрел во все стороны, как ястреб, и искал чего-то в пустой жуткой улице.

Титка прижался в уголке палисадника маленькой хатки. Он присел на корточки, прилепившись лицом к частоколу, и не спускал глаз с верхового.

Лошадь юлой завертелась на месте, поднялась на дыбы и сделала большой прыжок в сторону, где лежал Титка. Оскалив зубы, черкес рванул поводьями, остановился и опять хищно и пьяно осмотрелся вокруг, потом повернул лошадь, ударил ее шашкой по боку, и она галопом скрылась в переулке. Близкий к обмороку, Титка выполз из засады и, скрючившись, опять побежал вдоль улицы, прилипая к забору. Из-за угла переулка он посмотрел в ту сторону, куда скрылся черкес. Вдали тусклым пламенем горела пыль, и в ее облаках бешено носились поперек улицы, навстречу друг другу, еще человек пять конников в таких же самых шапках и с шашками на отлете.

Далеко, в конце улицы, черкесы охотились за людьми. Ослепительно вспыхивали шашки на солнце.

На выгоне начался пожар. Горело в трех местах в одном квартале. Долетел одинокий исступленный женский визг, повторился раза два и замолк. В той же стороне раздалось несколько одиночных выстрелов, и опять все смолкло, и в станице стало так же неподвижно и мертво, как ночью. Выли и истерически тявкали собаки. Звенела дробно перестрелка.

Титка повернул в переулок, перебежал улицу и прыгнул в пустой двор, заросший мелкими акациями. Как слепой, он споткнулся о свинью, и она пронзительно завизжала. Он не заметил, как залез в закуту, и не почувствовал вонючей грязи, в которую он погрузился и плечом и коленями.

6

Первое время ему казалось, что он в безопасности. В закуте было темно, и звуки долетали сюда отрывисто и глухо. Раскатисто ахали одиночные выстрелы, и во весь опор далеко топотали лошади.

Рубашка и штаны пропитались вонючей жидкостью, и было очень неудобно лежать. Сапоги его высовывались наружу, и когда он заметил это, ему стало опять страшно. Он хотел скорчиться в комочек, чтобы втянуть ногу в норку, но клетка была маленькая, и весь он поместиться в закуте не мог.

Недалеко скрипнула дверь. Титка посмотрел в щелку между досками и увидел, что из хаты вышел молодой казак и, держа в обеих руках винтовку, тихонько стал подкрадываться к закуте.

Это был Ехим — тот самый Ехим, с которым они сидели в школе на одной парте, а потом дружили и гуляли с девчатами. Со страхом и надеждой Титка вылез из закуты и вскочил на ноги.

— Брат!.. Ехим!

Казак опешил, потом оскалил зубы и вскинул винтовку к плечу.

— Стой! Держись, бисова душа!..

Титка со всех ног бросился в пустырь, весь забитый прошлогодним бурьяном, лопухами и мелкими кустами акаций. Он слышал позади себя бегущие шаги и щелканье затвора винтовки. Его толкнул выстрел, и шею полоснул ожог. Он наскочил на низкий плетень, одним прыжком перемахнул на другую сторону и побежал по картофельному огороду, увязая в рыхлой земле и путаясь в ботве. И опять очутился на улице. На другой стороне был пустырь, загороженный полуразвалившимся пряслом, а дальше — куча хат над прудом, забитым зеленым камышом, и белые хаты на той стороне, на взгорке.

Он оглянулся назад и увидел, что Ехим с винтовкой наперевес летит к нему с таким же лицом, какое было у казака с дрючком. Титка остановился.

С визгом и оскаленными зубами Ехим размахнулся прикладом. Тит посторонился и сбоку со всего размаху ударил его по рукам. Винтовка упала на землю и, дребезжа, отпрыгнула в сторону. Ехимка обхватил его шею и вцепился зубами в грудь. Титка ударил его коленкой промеж ног, и Ехим закорчился, застонал и отпрянул от него с ужасом и болью в глазах.

Из-за угла нестройно и торопливо вышел отряд с белыми повязками на шапках. Неслась пыль вместе с ними и окутывала всех, как дым. Лица были черные. Мелькали только белки да скалились зубы, и от этого все казались свирепыми.

Ехим радостно завыл и схватил Титку за грудь.

— Ото ж вин... Тытко! Хотив вбыты мене... Ото ж, ваш-бродь! Бачьте, одняв... винтовку в мене... Большевык, бачьте!

— А ты — кто такой?

— Казак, ваш-бродь... Ехим Топчий...

— А этот?

— Городовик, ваш-бродь... з окопов тикав. Сховавсь у нашом закути... Почав бигты... а я его пиймав...

Ехимка бубнил, едва переводя дух, и лицо его уродовалось радостью и торжеством:

— Ото ж я его, ваш-бродь!

Титку втолкнули в толпу и погнали вдоль улицы. Раза три во время пути его толкали прикладом и орали:

— Ну, тёпай, пока живой! Вояка тоже... молокосос!

Улицы были по-прежнему пусты. Пальба уже прекратилась, и впереди по одному и по два спокойным шагом проезжали верховые. По дороге попадались трупы. Это были свои, станичные, городовики. Они, должно быть, бежали по дороге и были убиты во время стрельбы.

7

На площади пленникам приказали сесть на комкастую землю, у ограды церкви, и разуться. Казаки, солдаты и верховые прибывали группами изо всех улиц. Покорно, дрожащими руками все сняли обувку. Подошел волосатый черкес и стал откидывать ее в сторону, в кучу. Потом приказали скинуть штаны, куртки и пиджаки. И это они сделали так же обреченно и покорно, с тем же неугасимым ужасом в глазах. Тот же черкес собрал все это в охапку и отнес в ту же кучу, где лежала обувка.

Титка стоял неподвижно и смотрел на детей, играющих на школьном дворе. Он не разувался и не раздевался, как другие,— не то не слышал приказа, не то не захотел. Подошел черкес и толкнул его прикладом:

— Испальнай прыказ! Снимай сапог, тарабар-шаровар!

Титка отвернулся и засунул руки в карманы. Черкес рассвирепел и ударил его прикладом в спину. Титка закрутился на месте, но не упал.

— Санымай, балшавык-собака!

Титка прищурился от ненависти и злобно крикнул:

— Не сниму! Снимай, когда дрягаться не буду...

Черкес стал серым, оскалил зубы и опять замахнулся на него прикладом, но, встретив взгляд Титки, остановился.

Должно быть, его поразил и обезоружил взгляд молоденького парня. Он пошел прочь, бормоча что-то посвоему

Пришла партия офицеров с новыми пленниками. Опять все были свои — городовики. Среди них Титка увидел мальчика, того, что встретил у ревкома, и старуху Передериху — ту самую, которая недавно ударила палкой по голове генерала, захваченного в соседней станице, и плюнула ему в лицо. Она стыдливо улыбалась, бродила среди толпы и бормотала одно и то же:

— Та люды добри! Чого ж вони визьмут з мене? Бо я ж — стара та слипа... стара та слипа... Та у меня ж оба-два сына на войни вбыты... сгыбли же на герьманьской. А я — стара та слипа... Чого з мене?

И никак не могла успокоиться. А на нее никто не обращал внимания.

На дворе школы играли двое мальчиков. Один — лет шести, с длинными белокурыми кудрями, в черном костюмчике, а другой — серенький, грязненький, должно быть, сынишка сторожа. Бросали мячик в стенку здания и ловили его.

А Передерниха все бродила между пленниками, сидящими в нижнем белье, и бормотала надрывно одно и то же:

— Та скажить мени, люды добри! Бо я стара та слипа...

Раздалась где-то в стороне команда, ей ближе откликнулась другая. Офицеры и казаки, отдыхавшие под тенью тополей, вскочили, быстро построились в две шеренги и, держа у ног винтовки, повернули головы в улицу. К бульвару подъезжал седой генерал, в белой черкеске, на белой лошади.

— Смиррна!

Генерал подъехал к строю и что-то невнятно и небрежно пробормотал.

— Здра-жла-ваш-при-ство!

Генерал проехал вдоль строя, и Титка услышал, как он строго и холодно сказал:

— Спасибо, ребята, за прекрасную работу!

— Рад-страт-ваш-при-ство!

Генерал подозвал офицера и что-то сказал ему. Офицер суетливо бросился к огороже бульвара и крикнул:

— Эй, вы, азиаты! Волоки сюда их! Живо!

Черкесы вскинули винтовки на плечи и взмахнули руками.

— Арря!

Пленники побрели вместе с конвойнымн к генералу.

При входе на бульвар генерал взмахнул нагайкой и остановил их. Он въехал в самую середину толпы. Пленников расставили полукругом. Откуда-то внезапно подошли станичники и стали таким же полукругом за конвоем.

— Почему захвачен мальчишка? А ну, чертенок, кто ты такой?

— Свой... немазаный-сухой...

— Как?

— Так... попал дурак впросак... Не все дураки — есть и умные.

— Что-о? Ах ты, поросенок!

В толпе блеснули улыбки.

— Откуда мальчишка?

— Захвачен за станицей с оружием в руках.

— Почему с оружием? Откуда у тебя оружие?

Мальчик прямо смотрел на генерала, оглядывался на товарищей и улыбался. Он увндел Тнтку, обрадовался и кнвнул головой: «Ни черта, мол,— не бойся!»

— Откуда у тебя оружие? Вместе с большевиками был? Что делал за станицей?

— Сорок стрелял.

— Как это — сорок?

— А так... сорок-белобок. С кадет сбивал эполет...

Мальчик продолжал смотреть на генерала дерзко и озорно.

— Поручик! — генерал взмахнул нагайкой.

— Слушаюсь!

Поручик взял мальчика н потянул его из толпы. Мальчик озлнлся, вырвал рукав из рук офицера. Заложнв руки в карман, он посмотрел на него звериными глазами. На бледном лице дрожали насупленные бровн.

— Ну, иди, иди!

— Не трожь! Не цапать!

— Ах ты, урод этакий! Кубышка!

— А ты не цапай! Мерзавцы! Мало я вас перестрелял..

Офицер с изумлением взглянул на мальчика.

— Ах ты, комарья пипка!

И с усмешкой взял его за ухо. Мальчнк яростно ударил его по руке.

— Не смей трогать, белый барбос!

Офицер нахмурился и покраснел. И непонятно было, не то он был оскорблен, не то смутнлся. Он отвернулся,

молча и хмуро подвел мальчика к старухе и поставил около черкеса с винтовкой.

Титка слышал, как кто-то взял его за рукав и, царапая иогтями по руке, потащил иа бульвар. Около него шло огромное существо, тяжелое, как глыба, и смердило потом, перегорелым спиртом и горклой махоркой. Ему стало иепереносно лихо.

— Брысь, чувал! Сам пойду...

Казак засопел и захлебнулся слюною.

— Убью, сукин сын!

Широкими шагами Титка зашагал вперед, не оглядываясь. Было похоже, что ои качается в огромной качели и видит, как колыхаются и плавают тополи и облака. Далеко, ие то на той стороне, за рекой, не то в глубине его души, большая толпа пела необъятную песню, и песня эта звучала как призрачио-далекие колокола.

Мальчик хватал его за руку и дрожащим голосом кричал, задыхаясь от ненависти:

— Я им не позволю цапать! Я не какая-иибудь слюиявка... Я ихиего брата много перестрелял. Стрелять — стреляй, а цапать — не цапай! Тебя как зовут? Меня — Борис. Мы будем вместе с тобой... Когда нас будут стрелять, мы будем рядом. Хорошо?

— Я хочу пить...— сказал Титка и все прислушивался к песеииому прибою волн.

8

Геиерал уехал, и толпу плеиииков повели вслед за иим по улице, к реке.

Подошли четверо казаков с нагайками, молодые, веселые ребята. Они скалили зубы, как озорники, и ломались около Передериихи. Один из них взял ее под руку и, изображая из себя кавалера, потащил к скамье под тополем. Остальные трое шли за ними и иадрывались от хохота. Передерниха бормотала, как полоумная.

— Та я ж — слипа та глуха... хлопчата! Хиба ж я — дивка? Вы ж таки гарны та веселы... веселы та гарны...

Казаки корчились от хохота.

Передерниху посадили иа скамью. И тот казак, который вел ее, гаркнул хрипло и остервенело:

— Ложись!

Передерниха опять плаксиво забормотала. Казак жвыкнул нагайкой. Передерниха заплакала и онемела. Казак

толкиул ее. Она упала иа скамью и осталась иеподвижиой. Двое других задрали ей иа спииу юбку, и Титка увидел дряблые иоги с перевязочками под колеиками и сухие старческие бедра.

— Катай ее, старую стерву!

Одии казак сел иа ее черные босые иоги, а другой опирался руками иа голову. Третий с искажеииым лицом зашлепал иагайкой по сухому телу. Скоро оиа замолчала. А казак все еще хлестал ее и при каждом ударе хрипел:

— Х-хек! х-хек!

Тот, который сидел иа иогах, слез со скамьи и махнул рукою:

— Стой, хлопцы!

Казаки стали завертывать цигарки. Одии вытащил из кармаиа веревку, стал иа скамью и иачал торопливо и ловко укреплять ее иа суку тополя.

— А иу, хлопцы! Треба по писаиию...

Казак задрал старухе юбку вплоть до живота, сделал ее мешком, спрятал в ней руки Передериихи и подол завязал узлом. Двое подияли ее, и первый накииул на голову веревку.

— Есть качеля!

И пошли прочь.

Борис кричал им вслед и ядовито смеялся:

— Дураки-сороки! Куркули! Вздернули бабку. Тряпичники! барахольники!

Казаки оглянулись и заматерщиииичали. Один из иих погрозил нагайкой:

— Ото ж тоби забьют пробку в глотку.

— Сороки-белобоки! Бабьи палачи!

Со стороиы реки загрохали выстрелы. Два черкеса, которые охраияли Титку и Бориса, подтолкнули их прикладами и погнали к церковиой ограде. Мальчик шел сурово, как взрослый, только ежился, словио ему было холодио. Он часто сплевывал слюиу.

— Оии думают, я боюсь... Много я вас перестрелял, мерзавцев... Плевать на вас хочу! Не бойся, Тит! Давай руку!

Титка слышал, как сквозь сои, голос мальчика и не поимал, что ои говорит. Ои одно чувствовал, что не идет, а плывет, качается по волиам. Чудилось, что он качается иа небесной качели и вместе с ним плавает и несется весь мир.

Их поставили около ограды. Черкесы стали в нескольких

шагах от них, и оба разом наперебой скомандовали:

— Легай! Арря!

Титка смутно слышал это и не понял, а мальчик забился около него, как связанный, и закричал в исступлении:

— Не лягу! Вот! Мы — оба! Вот!..

Черкесы вскинули винтовки, и крик мальчика унесли с собою два оглушительных взрыва.

1922
Москва

Артем Веселый

ОТВАГИ ЗАРЕВО

Председатель хуторского ревкома Егор Ковалев, склонив большую с тугим завитком на маковке голову, вырвал из ученической тетради бледный, разграфленный синими жилками листок и медленно, с тяжелым нажимом, нацарапал: «Приказываю срочно доставить неизвестную графиню из дома казака Болонина». Он пристукнул к бумаге закопченную над свечкой печать хуторского старосты, нарочно стертую так, что на ней ничего невозможно было разобрать, и подал предписание своему помощнику Артюшке Соколову:

— Живо.

Артюшка убежал и скоро вернулся с добычей. В оттопыренной руке, чтобы всем видно было, он держал наган и, строго хмурясь, кричал набившимся в коридор мужикам:

— Дай дорогу... Графиню словил.

Маленькая сухонькая старушонка была подведена к председательскому столу. Точеное, без морщин лицо ее было спокойно, тонкие бескровные губы сжаты, из-под криво надетого кружевного чепца выбивались седые волосы, и в желтых, точно восковых, руках она цепко держала, прижимая к груди, старомодный плюшевый ридикюль.

Ковалев некоторое время молча разглядывал ее, потом спросил:

— Как будет ваше, гражданка, имя, фамилье?

Арестованная промолчала, глядя через голову председателя на стену, по которой были развешаны жирно намалеванные плакаты: «Распутин в аду», «Водка — злейший враг человечества» и воззвание «К трудящимся народам всего мира».

Егор Ковалев был малограмотен. Грамотных он не любил, и в каждом из них подозревал предателя. Правда, в затруднительных случаях Егор советовался со старым ху-

торским писарем Исайкой, но ни разу еще не доверил Исайке написать и двух слов. Выждав, он повторил свой вопрос.

Старуха опять промолчала.

Хуторяне засмеялись.

— Что же, ты и говорить с нами не хочешь? — сердясь, спросил председатель.— Али мы дешевле тебя?

— Вам незачем знать мое имя. Что вам от меня нужно?.. Денег?.. Вот все, что я имею.— Она выхватила из ридикюля пачку перевязанных ленточкой кредиток и швырнула на стол, потом из маленького портмоне вытряхнула на стол несколько золотых монет.

В помещение, поснимав шапки, налезли хуторяне. Не дыша, они слушали допрос и, вытягивая шеи, приподнимаясь на носки, старались получше разглядеть графиню.

Егор Ковалев два раза пересчитал деньги и придвинул пузырек с чернилами. В комнате была такая тишина, что скрип пера был слышен в углах.

«Лист допроса. 7 апреля 1918 года арестована по законному распоряжению ревкома неизвестной фамилии графиня в доме нашего хуторского казака. Отобрано керенками 32 тыщи, николаевскими 800 р., золотом 6 пятирублевок, 2 десятирублевки и серебряный пятачок с дырой».

Председатель снова спросил:

— Откуда вы, позвольте узнать, приехали к нам и зачем?

— Мало? — еле слышно прошептала старуха.— Мало? Ну, вот, вот,— распахнув накидку, она отстегнула брошку и бросила ее на стол; ее обручальное кольцо покатилось мужикам под ноги.

В допросный лист было дописано: «и кольцо литого золота, брошка с зеленым камешком».

Тогда вопросы принялись задавать несколько человек и со всех сторон.

Старуху прорвало, ее серые глаза сверкнули решимостью.

— Да,— задыхаясь и пытаясь хладнокровничать, заговорила она,— я графиня!.. Муж мой служит в Санкт-Петербурге в святейшем синоде, два мои сына, дай бог им счастья,— она перекрестилась,— сражаются против вас, грабителей и насильников...

Кругом молчали, вытаращив глаза и разиня рты, а она, уже не в силах остановиться, продолжала:

— В Ставропольской губернии у меня было имение и земля, имение мужики разграбили и сожгли, а землю запахали... Я остановилась в вашем хуторе отдохнуть от всех пережитых ужасов и переждать, пока кончится революция.

— Не дождешься! — закричал Егор Ковалев.— Не кончится революция!..

— Кого же вы будете грабить, когда разорите всех нас?.. Да вы, батенька мой, броситесь друг другу глотку грызть, и вашей звериной кровью захлебнется несчастная Россия.

Общее движение, загалдели, заурчали:

— Эка, сорока-белобока...

— Башка!

— У ней, поди-ка, царь с ума не идет...

Старуха выкрикивала:

— Черна ваша совесть, черна... Бога забыли... Муки ада приуготованы вам на том свете.

— А-а, не терпишь! — вскочил, скаля зубы, Егор.— Вы нам сулите там, а мы вам тут, на земле, ад устроили... Товарищи,— обвел он всех угрюмыми глазами,— я так думаю, должны мы эту седую контрреволюцию засудить в могилу.

Голоса загудели сочувственно, кто-то крепко, по-солдатски выругался.

Арестованная была отжата в угол и поставлена лицом к собранию.

После немногословной речи председатель поставил вопрос на голосование. В ревкоме было много народу, и все до одного подняли негнущиеся, сведенные тяжелой работой руки.

Председатель поставил на допросном листе жирный крест и сказал:

— Выводи.

Весть о приговоре быстро облетела хутор.

Приговоренную на место казни сопровождала большая толпа. Мужики шагали широко и с занятым видом. Боясь опоздать, бежали бабы и унимали плачущих детей, затыкая их орущие рты жеваным хлебом или грудями: выкатившиеся из ситцевых кофт груди молодушек были белы и туги, как вилки капусты. Вприпрыжку скакали ребятишки, и впереди всех шли два мужика с лопатами на плечах.

Притихнув и не толкаясь, прошли через узенькую кладбищенскую калитку, потом старуха была отведена в дальний угол, где хоронились нищие и бездомники.

Яму копали споро, на перемену. Взлетали высветленные лопаты, к ногам людей с глухим стуком падали комья рассыпчатой земли.

— Завязать ей глаза,— приказал Егор Ковалев.

Толпа, ахнув, отступила.

Помощник председателя, Артюшка, вынув грязный носовой платок, вытряс из него махорочные крошки и подошел к старухе.

— Не смей! — твердо сказала она, и сконфуженный Артюшка, покраснев, отступил.

Добровольные конвоиры от нетерпенья щелкали затворами новеньких, еще не испробованных в деле берданок. Приговоренная стояла, прижимая к груди ридикюль и глядя прямо перед собой.

— Чего не видали, разойдись! — строго крикнул Егор, и толпа, присмирев и зашептавшись, отхлынула еще дальше, образовав полукруг.

— Заложи патроны, приготовься.

Щелкнув затворами, парни отступили шагов на десять и, вскинув ружья, стали целиться.

— Пли.

Залп...

С берез с шумом взлетели и закаркали вороны. Эхо выстрелов, перекатываясь, умерло где-то далеко в Кавказских горах.

Толпа качнулась вперед, завизжала чья-то девочка.

Старуха стояла, схватившись рукой за грудь и выронив ридикюль.

Егор, заматерившись, подбежал к ней вплотную, и, пока толстыми трясущимися пальцами расстегивал кобуру, у нее изо рта, как из рукава, хлынула ярчайшая кровь.

Упала вперед, ему под ноги, точно мужество ее было сломлено и она упала в поклоне.

Егор всадил в ее седую голову все пули из своего нагана и, вытерев рукавом бороду, сказал:

— Храбрая, стерва.

Артюшка поднял затоптанный в грязь ридикюль и, выворотив его наизнанку, нашел в одном из кармашков орех-тройчатку — старики хранят такие орехи, чтоб деньги водились,— и выцветшую, пожелтевшую фотографию, на которой были изображены два офицера.

Орех Артюшка разгрыз и съел, а карточку подал Егору. Тот повертел ее в руках и сунул в карман.

В хутор возвращались, возбужденно переговариваясь. Впереди всех на одной ноге скакал рыжий вихрастый мальчишка: он вертел над головой прутом, на который была надета маленькая шелковая туфля.

В Егоре Ковалеве в крепкий узел были завязаны все качества стойкого рядового бойца. Познанья его были не широки, но что знал, знал крепко. Далеко в будущее он не тянулся заглядывать, но зато ближайшие задачи понимал хорошо и решал их с одного почерка. Несмотря на малограмотность, революцией он был вынесен на пост отдельского (уездного) военного комиссара и, будучи неутомимым в работе, оправдывал свое назначение.

Трясясь в легковом разбитом автомобилишке, он беспрерывно разъезжал по округу. В станицах и селах сам проводил мобилизации; то уговорами, то пулеметами усмирял восстания, проверял личный состав Советов и ревкомов; жаловал правых и карал виноватых; у богатых и зажиточных из глотки и с кровью вырывал хлеб, без которого в голодных судорогах корчился город. Гарнизон никогда не оставался без приварка, проходящие партизанские части снабжались боеприпасами; далеко гремело имя Ковалева; одни кляли его, другие хвалили, и все боялись его строгости и требовательности.

В одну из своих поездок, имея на борту автомобиля неразлучного друга Артюшку Соколова и шофера-немца Георга, Ковалев из-за поломки какой-то части вынужден был остановиться в Марьяновском хуторе.

— Белых нет? — выпрыгнув из машины, спросил он выбежавшего встречать их председателя местного Совета Семена Ежова.

— Будьте спокойны, у нас тихо,— ответил тот и пригласил гостей чай пить.

Председатель Ежов не столько был хитер, сколько труслив: предугадывая гибель власти, он ждал случая, чтобы выслужиться перед кадетами, тем самым надеясь получить прощение за свое председательствование. Проводив гостей в горницу, он мигнул сыну, вышел с ним во двор и приказал во весь дух мчаться в соседний, занятый белой разведкой, хутор.

На сковородке сычела поданная хозяйкой яичница с салом, кипящий самовар пускал пар под самый потолок. Ковалев с Артюшкой протряслись в дороге и были рады радушию хозяина. Георг возился у машины под окнами.

Скоро шофер, вытирая руки о паклю, вышел в горницу и доложил, что машина заправлена.

— Садитесь, товарищ,— пригласил хозяин,— закусите, чайку выпейте и поедете; куда вам торопиться, до ночи далеко...

Георг подсел к столу, подцепил на вилку поджаренный лоскуток желтка, да так и застыл с разинутым ртом: перед окном мелькнул погон, папаха — и через мгновение в дом забежал, держа перед собой револьвер офицер и за ним ввалились казаки.

— Руки вверх!

Ковалев и его спутники и мигнуть не успели, как были разоружены, обысканы и прижаты в угол.

Красивый, как с картинки, офицер стоял посреди горницы и слушал доклад председателя Ежова.

— Комиссар и жулик... Самый он, ваше благородие, собака... Нам всем житья не давал.

Дом уже окружила гудящая толпа, слышались выкрики и ругань.

Хозяин, успевший уже надеть добытый у соседа старый жандармский картуз, доложил:

— Вас, ваше благородие, требует народ.

Засунув руки в карманы к револьверам, офицер вышел на крыльцо и крикнул:

— Чего хотите?

— Дай их нам, ваше благородие! — за всех ответил, выступая вперед, седобородый старик.— Дай нам, мы рассудим их своим судом.

Он вернулся в дом и приказал вывести Артюшку и Георга на улицу. С высокого крыльца они были столкнуты, как в омут, в толпу, и ревущая толпа поглотила их.

Комиссара офицер решил судить сам.

Звеня шпорами и бренча шашками, вышли в дымящийся вечерней прохладой сад, где уже на застланном чистой скатертью столе были расставлены закуски.

Два казака с шашками наголо стояли по бокам Егора...

— Дядя, что бы ты со мной сделал, если бы я попал в твои лапы? — не сводя глаз с пленника, спросил офицер и потянулся.

— Я тебе, племянничек, вырыл бы яму втрое глубже этой,— ответил Егор и, вздохнув полной грудью, в последний раз оглядел сад.

— Молодец! — весело крикнул офицер, вскочив и хватаясь за эфес шашки.— Выдать ему стакан спирту...

Ординарец из фляжки налил полный стакан и подал Егору, тот хватил обжигающую влагу залпом и поблагодарил.

Начался допрос: комиссар держался мужественно.

Казаки свалили Егора, спустили с него штаны, заворотили на голову холщовую рубашку и принялись сечь в две плети, в концы которых была вплетена медная проволока.

Офицер рылся в объемистом комиссарском портфеле. Быстро просматривал и бросал ординарцу старые приказы, арматурные списки, доклады, мандаты,— вдруг из пачки истертых бумажек выпала фотографическая карточка... Офицер схватил ее и остолбенел: на карточке был изображен он сам с младшим братом. На обороте еле можно было разобрать вытершуюся надпись: «Дорогой мамусе от Пети и Тимы».

Егор после казни старухи хотел переслать карточку в ЧеКа, но потом как-то забыл об этом, и она провалялась в его бумагах четыре месяца.

Ошеломленный офицер забыл о допросе и обо всем на свете... Как могла семейная карточка попасть в чужие руки? Хотя из дому он давно не получал писем, но был уверен, что отец и мать живут безвыездно в Петербурге.

— Перестаньте, вы его насмерть запорете! — остановил он взопревших казаков и, наклонившись к распростертому и уже переставшему стонать комиссару, принялся трясти его за плечо:— Послушай, откуда у тебя эта карточка?

Егор не поднял головы, его бока тяжело ходили.

— Скажи, приятель, как, как она к тебе попала? — холодея, крикнул офицер ему в самое ухо и почувствовал, как у него начинает дергаться щека.

Комиссар поднял залитое кровью и замазанное землей лицо. Он увидел в руках офицера карточку и сказал:

— Подумай.

— Скажи... Я отпущу тебя на свободу, награжу деньгами.

Егор стонал и не отзывался.

— Говори, сволочь, или я вытяну из тебя жилы... Где, где ты добыл эту карточку?

— Подумай,— опять глухо выговорил Егор.

— Плетей!

По широкой раствороженной спине и заду опять зашлепали, разбрызгивая кровь, плети. Шкура свисала клочьями.

— Стоп! — приказал офицер.— Он так сдохнет, а я должен узнать от него правду во что бы то ни стало... Мы заночуем тут, а утром возобновим допрос.

Егор был взвален на шинель и отнесен в арестантскую.

Ночью член хуторского Совета солдат Дударев топором

зарубил караульного казака и на горбу утащил Егора за хутор в болото. Там они, перебираясь с кочки на кочку и питаясь ягодами, прожили неделю, пока Егор оправился. Потом решили пробираться потихоньку в город. Шли ночами, минуя дороги и обходя хутора.

...Егор немало потратил усилий, пока ему удалось поймать председателя Марьяновского Совета Ежова, который и был привезен в город.

В солнечный воскресный день Егор Ковалев вывел за город с музыкой и песнями весь гарнизон, выстроил его и начал говорить речь, во время которой он несколько раз распоясывался, вздергивая рубаху и показывая солдатам свою почерневшую, как чугун, спину. Оборвав речь, так как не в силах был терпеть, он подбежал к ползающему на коленях Ежову, и его драгунская шашка заблистала: он оттяпал изменнику сперва руки, потом ноги, потом голову.

Мариэтта Шагинян

АГИТВАГОН

I

— Он появился у нас... постойте-ка, дайте припомнить. Я пошел на репетицию при зеленых третьего июня прошлого года. Концерт мы ставили пятого июня при налете казаков, а повторили его десятого — уже при красных. Так вот прибавьте еще две недели... Совершенно правильно, день в день. Он и появился у нас двадцать второго июня в десять часов утра, можете быть уверены в этом, как в собственном дне рождения.

Рассказчик сделал перерыв, чтоб налить себе в кружку, где на донышке осел выжатый ломтик лимона; откусив изрядную порцию ситного, усеянного, как мухами, жирным черным изюмом, он не спеша глотнул горячего чая и снова утвердил кружку на ритмически подрагивающем откидном столике.

Время было летнее, окна открыты справа и слева. В коридоре юго-восточные люди дымили густым сухумским табаком. Ветер, гулявший между окнами, заносил с собой запах нагретой степи и сладкого клевера.

Поезд летел на юг.

— Граждане, что же дальше?

Рассказчика, худого мужчину в пиджаке из альпага, потного от жары и чая, обсели слушатели. Все глядели ему в рот, одни из любопытства, другие с бессознательным аппетитом соглядатаев,— уж очень поджарый мужчина вкусно ел и пил. Ни одной крошки не уронит, все соберет с пиджака, встряхнет на ладони, посмотрит, да и отправит себе в рот. А неровные места ситного, обкусанного зубами, выровняет тотчас же острым перочинным ножом, отрезанный ломтик направляя все в ту же аккуратную глотку, как топливо в печку. И добро бы ел сыр-пармезан или чарджуйскую дыню,— а и всего-то ситный не первой свежести Слюнки закипали во рту у соседей. Впрочем, он не только

вкусно ел, он и говорил очень вкусно. В его лице, изрезанном бесчисленными морщинами, было что-то, напоминавшее хорошую топографическую карту, складывавшуюся квадратиками. Глаза, как озера, поросли полуседым кустарником бровей. Подглазные пятна вклинивались глубоко в худые щеки. Подбородок хранил следы бесчисленных бритвенных порезов. Верхняя губа то и дело приподымалась, как у кролика над зеленями. И место усов на ней, будто от выкорчеванных корней деревьев на лужайке, отмечалось только глубокими точками впадин и бугорков.

Внимательному человеку стало бы ясно, что перед ним опытный притворщик по профессии. Стрелки, избороздившие кожу, точно показывали привычное направление его улыбок, гримас и мимики. Складное лицо превратилось бы в маску, если б не грустные и прямые глаза, всякий раз встречавшиеся с вашими непринужденно и внимательно. Эти глаза говорили о высокой интеллигентности незнакомца. Было ясно, что он понял, взвесил и разместил каждого своего слушателя в строгом иерархическом порядке, вывел среднюю равнодействующую и весь применился к ней, ассимилировавшись со средою ровно настолько, чтобы не быть ни на йоту ни выше, ни ниже ее. Эта внутренняя «аккомодация» стала бы заметна, повторяю, только очень внимательному наблюдателю, но его сейчас не было. Единственный тонкий пассажир, горбун-коммунист, с лицом насмешливым и значительным, был сейчас невозмутимо равнодушен и спокоен. Убаюканный поездом, он просто-напросто спал, обращая столько же внимания на все происходящее, сколько на мух, ползавших у него по лицу. Остальные — поддевки и русские рубашки, красноармеец, две женщины в шляпах да коридорные брюнеты коммерческого вида, как я уже сказала, с восхищеньем глядели говорившему в рот и чувствовали себя с ним в одной тарелке.

— Некуда спешить,— наставительно заметил рассказчик нетерпеливому слушателю,— рассказ, как монпансьешку, только дурак грызет, а умный на языке держит да исподволь посасывает. Вот, значит, он и появился у нас ровно двадцать второго июня в десять часов утра.

— Гражданин, да разъясните, кто появился-то,— не терпелось соседу, вихрастому юноше из железнодорожных служащих.

— А вам бы, молодой человек, самую чуточку обождать, тогда бы и вопрос свой не задавали неправильно. Не «кто», а «что»... Ибо я рассказываю о необыкновенном вагоне.

Но прежде разрешите вам сказать, что перед вами знаменитый артист труппы Раздувай-Печурина, двадцать восемь лет кряду не покидавший сцены. Собственно, я даже тенор. Я пел Фауста. Но по мере надобности пришлось и актерствовать и режиссерствовать, а последние пять лет, благодаря оживлению политики, заниматься куплетами. Бывало, спою куплет на каждый образ правления, он и ходит по городу. А в междуцарствие у нас особая песня пелась, «Васькой» звали. Домовая охрана при охотничьих ружьях, уголовная тюрьма вся поразбежалась, а у нас зала приказчицкого собрания полным-полна, и публика с меня требует «Ваську». Ну, выйдешь, споешь им:

Васька Тертый говорит:
Что такое колорит?
Это, брат, такое дело:
Слева красно, справа бело.
У Деникина черно,
А у Махно — зелено.
Отвечает Васька Тертый:
Очевидный мелешь вздор ты.
Колорит, брат,— в спирта литре
Слить все краски на палитре...

Рассказчик спел это приятным тенорком и продолжал дальше, покосившись на спавшего горбуна.

— Так вот, двадцать второго июня по новому стилю, после переворота, ранним утром бегут ко мне мальчишки с нашего двора и кричат во весь голос: «Дяденька, дяденька, за вами солдаты пришли». Вышел, в чем был,— на пороге два красноармейца с винтовками: «Так и так, товарищ, нам нужны сознательные силы для борьбы с деревенской темнотой. Устраиваем летучий митинг в образцовом вагоне и, как мы наслышаны, что вы очень хорошо куплеты говорите, то за вами из исполкома присылают, и хоть без бумажки, а явка обязательна».

Я взял фуражку и пошел. Исполком помещался у нас в бывшей городской управе, на площади, прямо против городского сада. И что же я вижу? Стоит перед самым крыльцом огромнейший, длинный вагон на колесах, запряженный четверкой лошадей. Вагон покрашен в красную краску, совсем как в прежнее время странствующие театры ездили. По обе стороны окошечки с занавесками, а между окошечками выведены желтой краской эмблемы республики, агитационные надписи и лозунги. И все это сделано не как-нибудь, а чисто, нарядно, с хитростью. Куда ни посмо-

три, отовсюду действует. Особенно сзади был хороший рисунок — звал рабочий, поднимая тяжелый молот над старым миром, к будущему, сиявшему над ним пламенной пятиконечной звездой; и так он заразительно звал, что смотреть нельзя было без подъема. Вокруг вагона столпилось множество мальчишек; кто ни проходил по площади, остановится и смотрит.

Поднимаюсь по лестнице в исполком. Навстречу молодой человек в гимнастерке и с револьвером у пояса, красивенький, как ангелы художника Перуджино. Назвался секретарем.

— Вы,— говорит,— гражданин такой-то, куплетист нашего города?

— Именно,— отвечаю.

— Так вот, не возьмете ли вы на себя задачу выступать на наших летучих митингах с импровизированными куплетами? Тему мы вам заблаговременно укажем, условия назначьте сами. Вагон направляется по всем окрестным деревням и в первую очередь в казачью станицу Молчановку.

Я подумал минуты две и согласился. Хотел было уж и домой повернуть, но секретарь останавливает:

— Нет, товарищ, не успеете. Если кого предупредить надо из домашних, пошлите записку. А только в десять часов соберутся сюда все участники митинга, и мы должны выехать.

— Чаю,— говорю,— не пил.

— В дороге напоим...

— Почему же,— говорю,— в такой ударной поспешности?

Он мне рассказывает, что у них все уже давно было устроено и разработано, а только ночью заболела их концертная певица, и было решено заменить ее кем-нибудь из городских. А уж тут им про меня столько наговорили, что загорелось им непременно везти с собой куплетиста, да и только. Этаким образом мне осталось лишь закупить поблизости четвертку табаку и усесться в ожидании на площадку вагона.

Проходит с полчаса, и наконец собираются мои попутчики. Я наблюдаю со стороны и вижу, что они сами-то не знают друг друга. Одни — шапочно, а иные — совсем никак. Первым подходит высокий такой, ростом с добрую подворотню, весь в парусине, штаны широкие, пояс ремешком, лицо не наше,— оказался грузином. Этот и еще другой,

худенький, в синей рубашке, были партийные ораторы с мандатами от парткома. Поздоровались они молча и — в вагон. Как я потом узнал, синенький был из очень важных, прикомандированный к нам с войском, а грузин — местный работник, до переворота в тюрьме сидел. За ними машинистка, девочка молоденькая и хорошенькая; пятеро человек музыкантов и секретарь исполкома с лицом Перуджинова ангела. На переднюю площадку взгромоздился казак с винтовкой, взял в обе руки вожжи, цокнул на лошадей, и мы поехали. Покуда ехали, весь город, кто ни попадался, смотрел на нас, выпуча глаза.

II

В вагоне же было на первый взгляд, как в читальном зале. Чистенько, пол крашеный, будто на квартире, стены в портретах, картах и плакатах. А посередине, на столе, множество брошюрок и книжек, одно и то же названье по двадцати-тридцати экземпляров; тут же в ящиках листовки и газеты.

Едем мы, подзакусили, курим. Занавесочки на окнах колыхаются, как паруса. Выехали из города, пахнула нам в окна степь. Летом в наших кубанских степях хорошо, как в американской прерии: трава по пояс, кругом глаз не охватит простору, дорогу меж волнами ковыля не разглядишь, ни людей, ни животных, дергается иной раз в траве перепел, да свистит иволга, и таким манером не верста и не две, десятки верст. Станицы затеряны, до хуторов не докричишься. А встретится хуторянин в широкой шляпе-осетинке из белого войлока — издалека ни дать ни взять сомбреро. Компания моя в фургоне, видно, давненько за городом не была. Худенький в синей рубашке посмотрел в окошко, скинул пенсне на шнурочке, оглянулся на нас, и лицо у него сразу другое стало; барышня-машинистка до того развеселилась, что непременно пожелала за фургоном босиком бежать, а грузин, как уселся, ворот расстегнул, ноги на другую скамейку перед собой положил и давай тянуть грузинские песни, одна другой заунывней. Музыканты ему на духовых инструментах подыгрывали.

Разговор у нас как-то вначале не клеился. Только мы с секретарем условились насчет темы для куплетов, и я тут же набросал несколько стишков, прочел ему и получил одобренье... А жара все распаривает, земля сладким соком исходит, дышать тяжело от благовония. Скинули тужурки,

сапоги... Лица начали загорать ярко-розовой краской. Барышня обожгла себе спину и руки до локтя так, что они пузырями покрылись. Свернули мы с верстовой дороги на проселочную, сделали привал и к вечеру должны были подъехать к станице Молчановке. Только к самому закату, когда вся степь клубилась в огне и рыжие пятна плыли перед глазами у того, кто глядел на небо, вдруг вдалеке послышалась частая трескотня. Сыпалась она, как горох через сито, без умолку. Кони наши остановились, казак слез с козел и подошел к нашему окошку, откуда выглядывал худенький в синей рубашке.

— Пожалуй, лучше нам будет поворачивать.

— А что такое? Выстрелы из Молчановки?

— Да, больше неоткуда. Я эти места наскрозь знаю. Тут не приведи бог застрять, окружат со всех сторон, как в мышеловке. Может, белые отбили Молчановку.

— Как это может быть, если мы утром ничего не слышали? Местность была очищена до самой Тихорецкой.

— Всяко случается, о чем вперед не услышишь,— философски заметил казак и взял пристяжную под уздцы, чтоб повернуть вагон обратно.

Нам стало как-то досадно. Что за дурацкое положение: едем честь честью в агитвагоне, разубраны, как на свадьбу, а тут здравствуйте: поворачивай оглобли перед самой целью. Не сговариваясь, переглянулись мы, и у каждого одна и та же мысль в глазах.

— Эй, послушайте,— крикнул грузин казаку в окно,— не лучше ли будет нам здесь устроиться на ночь, а наутро можно разведку сделать. Может быть, белые к утру очистят Молчановку, вот тогда мы и въедем.

Казак в сомнении покачал головой. Он был из надежных красноармейцев, родом неподалеку, из маленькой станицы. Не так давно бился с родным отцом, зарубившим младшего сына-большевика. Родичи его воевали под Врангелем. Он знал, что нарваться на белых в этих холмистых степях, где каждый клочок земли еще ослежен проходившими войсками, где в оврагах не подобраны раненые, в кустах засели партизаны и бандиты,— дело возможное и далеко не пустяковое. Он ковырнул кнутовищем землю и нехотя ответил:

— Тут за Молчановкой наши в прошедший год, уходя, хутора поразоряли. Лютей здешних хуторян вы не найдете по всей Кубани. Чуть что — они наших в полоску исполосуют. Бабы на Молчановке, говорят, красноармейцев в ба-

нях душили: казаков-то ведь на Молчановке, кроме стариков и ребят, не осталось никого. Врангель всех угнал с собой.

— Видите, товарищ,— пробасил грузин,— никого, кроме баб, не осталось, а вы Молчановки боитесь. Баб мы с вами так распропагандируем, что они и мужей обратно не примут. Распрягайте лошадей, обождем до утра, тут кстати же и хворост есть для огня.

Действительно, мы стояли возле крутого глинистого овражка, голого с нашей стороны и поросшего с противоположной сухим кустарником... Выстрелы смолкли. Оставаться на ночь в благословенной степи, развести костер, дышать запахом мяты, молочая и тмина было куда приятней, чем возвращаться. Барышня-машинистка спрыгнула наземь и легонько ударила казака в спину:

— Бросьте вы ваши страхи! Ишь какой зловещий! Посмотрите вокруг, тут курица не испугается.

Казак все так же нехотя и, видимо, неодобрительно распряг лошадей, опутал им ноги и пустил на лужайку. Потом он сходил за версту на родничок, собрал хворосту, и мы, развеселившись, как дети, принялись зажигать костер, из предосторожности на самом дне овражка. Вагон пламенел в последних лучах заката, надписи и плакаты выделялись, как огненные. Должно быть, его видно было издали. Это опять не понравилось нашему красноармейцу. Он снял с козел рваную рогожу и накинул ее на самый яркий угол вагона.

Около костра мы, можно сказать, в первый раз нащупали друг друга и перезнакомились между собой. Очень много значит в таких случаях уютность человеческая, уменье наладить, вовремя подать, вовремя сказать. Обычно это дело женское, но наша единственная дама оказалась из тех, что, кроме своей службы, ничего не умеют. Она бегала, приставала с вопросами, веночки нам на голову плела и умножала беспорядок. За хозяйство же взялись грузин и один из пятерых музыкантов, кларнетист, удивительный человек. Как сейчас его вижу: лицо у него было круглое, губы враскидку, бровей ни следа, глаза смотрели из двух щелок весело-превесело, и все у него под руками размещалось на свое место. Он нам и кашу сварил, и кофеек приготовил, и все это с прибауточками, со стишками. Грузин был тоже мастер на всякое дело, только он не умел шутить и лицом отпугивал — очень суровое, рябое лицо, нос кривой — кем-то переломлен был и сросся, руки жилистые, огромные, корявые. Маленький товарищ в синем первое время никак не

проявлялся. Он только недавно приехал к нам из Москвы и юг знал, как он выражался, «больше теоретически». Улыбка выходила у него робкая, слабая, н весь ои казался щуплым и слабоватым. Никто не знал средн нас ни силы, ни значительности этого тощего человека; узнать прншлось попозже. А покудова он молчал, на шуткн улыбался, ел рассеянно и понемножку, объяснив, что после двухлетней голодовки от пищи поотвык и есть в полную меру остерегается. Если б ие почтительность, с какой обращался к нему херувимчик-секретарь, мы бы вовсе забыли этого щуплого человека, а вместе с ним и всякую политнку. Остальные четыре музыкаита бесхитростно, как говорится, поддерживали «аисамбль».

Так вот, сидим мы у костра, спать не тянет, нникому иеохота со свежего воздуха в фургон лезть. Выстрелы утнхли, казак тоже поуспокоился, достал кисет, свернул себе кручоику и подсел к огоньку.

— Скажите, товарнщ, на какую аудиторию вы рассчитываете в Молчаиовке? — спросил грузин у худенького человечка.— Имейте в виду, что казакн народ ехидный, они меиее всего побеждаются красноречием. Они привыкли к иему со дня рожденья, у них даже между собою в разговоре патетнческий тон, разные там аллегории, метафоры, гиперболы в обиходе у последнего безграмотиого, а грамотей до такой степени витиеват, что я, призиаться, сам нх ие всегда поимал.

— Что правда, то правда,— вмешался казак,— они разговаривать умеют. Казачья речь гуще поповской. Вы нх разговорами ие прошибете.

— В агитации иа словах никогда ничего и не строится,— ответил худеиький человек,— надо зацепить и увлечь, а это всякий раз достигается иовыми средствами. Вразумлять людей — дело затяжиое, долгое; тут же надобно заставить их захотеть быть с вами, сразу, без раздумья, и если это удалось, иачало положеио.

— Как под музыку впрнсядку пуститься,— вставил кларнетист,— слова тут самое последиее дело.

— Вы так понимаете агитацию, будто это магиетнзм или истерика,— продолжал грузин,— если на этом стоять, так самые лучшие агитаторши — иаемные бабы-плакальщнцы или эпилептики.

— А что вы думаете? — серьезно заметил худеиький, обведя нас взглядом,— эпилептики агитируют с потрясающей силой. Я такого действия, такого возбуждения, такого скоп-

ления нигде не наблюдал, как вокруг упавшего эпилептика. Будем говорить начистоту, без книжного шаблона. Учить может знающий, а возбуждать — чувствующий. Высший тип агитатора — лицо страдательное. Ваш пример с эпилептиком великолепен. Тут ничего не осталось преднамеренного, человек весь ушел в напряжение, и окружающие этому поддаются, заражаются.

— Я, как агитатор, всегда пытаюсь действовать на интеллект,— возразил грузин,— и считаю странным, товарищ, что именно от вас слышу такие немарксистские речи. Я никогда не забываю основной цели: разогнать туман в головах, убедить логикой или очевидностью. Конечно, с мужиком я балагурю, зубоскалю, к нему совсем иной подход, нежели к рабочему, но цель одна: убедить, привести к умственному суждению и сознательному выбору.

— Все это так, но это не агитация. Нельзя путать разных задач. Мы с вами получили задание агитаторское, а не пропагандистское. Для пропаганды к вашим услугам время, грамота, интеллект, даже дискуссия. Для агитации ничего этого нет и не требуется. Вы промелькнули, как метеор, и зажгли. У вас нет времени на разбор, на ответ, на логику. Вы поставлены в положение электрического провода, и вам необходимо найти отрицательное электричество, чтоб образовать положительное и зажечь. В этом вся штука. Мы, товарищ, наделали много ошибок, путая обе задачи. Мы шли с пропагандой туда, где нужна была агитация, и, наоборот, насаждали хроническую агитацию там, где уже надобилась пропаганда. Нельзя, товарищ, на митинге ставить проблему, а в книге или в фельетоне преподносить голый лозунг.

Говоря так, худенький весь оживился, черты лица у него стали сильней и выразительней, голос окреп. Мы все подумали, что он должен быть превосходным оратором. Но грузин никак не хотел угомониться и, поспорив еще с полчаса, ушел спать. На меня меж тем речь худенького агитатора произвела большое впечатленье. Как куплетист, я часто сталкивался с толпой, и задачей моей было возбудить ее. Я отлично понимал все, что он сказал о положительном и отрицательном электричестве. Материалом для агитации, магнитным полем всегда в таких случаях становишься ты сам и твоя нервная система, и чем это полнее, безостаточней, тем лучше удается увлечь толпу. Я даже не раз думал, что мы все — мелкие агитаторы сцены, паяцы, клоуны, комики, трагики,— мы все сплошь постоянные жертвы в прямом значении слова;

наше дело — жертвоприношение, мы каждый вечер идем на закланне. Вся нервная сила уходит на это, а для жизни мы обезличиваемся, стираемся, обмякаем, тускнеем, ходим с ослабшими мускулами.

С такими мыслями, разбередившими мне мое прошлое, скоро пошел и я спать. Мы устроили барышню за перегородкой, а сами улеглись на лавках, не раздеваясь. В окна глядели большие острые звезды, такие острые, что впрямь казалось, будто они прокалывают усиками занавеску. Из долины несло ночной сыростью, кони наши, выйдя из зарослей, шевелились возле вагона, вскидывая завязанными ногами и дергая головой, отчего по земле прыгали огромнейшие тени. Возница и не думал спать. Закутавшись в бурку и взяв ружье, он ходил взад и вперед вдоль овражка, время от времени скручивая папироску.

Я долго ворочался, потом свежий воздух свалил меня, и я заснул.

III

Как вдруг, среди самого крепкого сна, чувствую,— бьет меня кто-то кулаком по уху, раз, два, три, четыре... Вскочил я, как безумный,— оказывается, бьет в ухо треск перестрелки. Да какой еще! Не поймешь откудова, с какой стороны. Вокруг меня бегали, проснувшись, музыканты, не решаясь выскочить из вагона, выглянуть из окошка.

Я, однако же, отдернул занавеску. Мне представилось ужасное зрелище. Возле самой стены, вздыбившись от выстрела, стояла наша лошадь. Она казалась в этой позе огромной. За ее спиной отстреливался казак, ухватившись за ее гриву. Внизу валялась другая лошадь, должно быть убитая. А вокруг, справа, слева, со дна овражка, лезли на нас страшные существа, косматые, как черти, в смутном предутреннем свете казавшиеся призраками. Они орали неистово. Они стреляли без умолку. Их еще сдерживали меткие выстрелы нашего возницы, прятавшегося за раненую лошадь. Но вот пуля попала ей в брюхо. Тяжко захрапев, она содрогнулась, выпрямилась, как человек, и обеими передними ногами подмяла под себя казака, рухнув с ним вместе наземь. Я слышал, как у казака хрустнули кости. Потом в стенку вагона застучали, как град, пули, и прежде чем я опомнился, чья-то рука за шиворот оттащила меня от окна.

— На пол! — крикнул мне хриплый голос грузина.— Товарищ, у кого есть оружие — к дверям.

Оружне — револьвер — оказалось только у него одного. Он выхватнл его нз-за пояса н бросился к дверям.

Музыканты сбнлнсь на полу в обезумевшую кучку. Кто-то залез под скамейку. Барышня-машнннстка в одной рубашке стояла у стены, белая, как полотно, зажав уши руками. Она ие крнчала, только беспрерывно шептала что-то. Почтн бессознательно водя глазамн по комнате, я встретнлся с еще одной парой глаз, спокойиых до жуткостн. Это был худенькнй человек в синем. Он сндел в углу вагона, где лежалн его портфель н подушка, н занимался необычайным делом: он натягнвал сапогн. Каждая мелочь врезалась мне с этой минуты в память. Я увидел, что иоскн у иего были розовые в полоску; что вокруг пальцев н на пятке онн потемнели от пота н облегалн ногу плотнее, чем иа щнколотке. Заметнв, что я смотрю на него, ои сказал совершеиио просто:

— Казак был прав, а мы безрассудны. На нас иаехал разъезд белых. Постарайтесь спастись, еслн уцелеете в первую мннуту. Скажнте, что вы, музыканты н барышня, былн насильно мобнлнзованы для участня в мнтннге.

В эту мннуту грузнн, отстрелнвавшийся в дверях, упал. За миой протяжио охнул кларнетнст. Барышня закричала отчаянно, истернчески, какнм-то чужим голосом:

— Спаснте! Спаснте! Не трогайте!

В дверях раздался залп, мы услышалн крнкн:

— Сдавайся!

Однн нз музыкантов был ранен. Мы крикнули в ответ:

— Сдаемся! Средн иас женщнна.

— Комнссара! — продолжали реветь сиаружи.— Выходи пооднночке, руки вверх, комиссара вперед!

Тогда худенькнй человек взял в одну руку портфель, в другую фуражку, пошел, как нн в чем не бывало, к двери, и я услышал отчетливый голос, упругнй, как мячик, ясиый, пронзнтельио-спокойный:

— Я — комнссар.

Много довелось мне чнтать всяких романов. Я нспортил себе глаза над описанием разных героическнх подвнгов. И скажу вам, что в ту мннуту, как прн свете молнии, увндел, иасколько лгут кннги. Ннчего не доводнлось мне чнтать подобного тому, что я увндел. Вы поннмаете, в голосе, в позе, в лнце худенького человека была, как бы это сказать, экзальтацня совершающегося, прн полной наружной трезвости. Впечатленне было настолько снльно, что покрыло нас, отодвннуло иас от самнх себя, мы на иесколько мгиовений

позабыли о всякой опасности. Нет, мало того, скажу больше, мы все, по крайней мере я, ощутили вдруг, на это самое мгновение, чувство полнейшей безопасности. Вот что я называю теперь героизмом, и это нельзя понять, не переживя...

На секунду воцарилась тишина. Худенький человек стоял. Солнце начинало заниматься и лизнуло крышу нашего вагона, бросив розовый отсвет на лицо человека с портфелем. Вдруг, сразу, как со дна пропасти, завизжало, заорало, захрипело десятками нутряных голосов:

— Сука!

— Жид!

— На кол его! Ребята, бей в морду!

— К стенке! На кол!

В ту же секунду мохнатая лава людей серым комком облепила нашего комиссара, сорвала его с порога и увлекла вниз. Я слышал команду:

— Назад! Не добивать прежде времени! Допросить и на кол!

Потом те же мохнатые люди (они казались нам такими, потому что носили высокие мохнатые шапки,— это был один из именных полков деникинской армии), так вот, эти мохначи ринулись на нас, связали и выволокли поодиночке на воздух. Я не мог в ту минуту простить грузину, что он позабыл о девушке и не застрелил ее заблаговременно. Несчастная так и осталась в рубашке. Ее оголили и, схватив поперек тела, потащили в кусты.

Нас стали допрашивать. Тут вылез вперед кларнетист и, как он неподражаемо умел, развел им целое слезное море; по его словам, нас мобилизовали под угрозой смерти, держали под прицелом. На вопросы о положении в городе врал без зазрения совести: будто бы там чуть ли не бунт, белых ждали как избавителей; словом, не прошло и десяти минут, как офицер угостил его папиросой. Каюсь, в эту минуту он был мне противен, между тем он спас нам жизнь. Кто-нибудь из нас должен был проделать всю эту дипломатию; есть люди, которые добровольно берут на себя худшие роли,— все им обязаны, а вместо благодарности чувствуют брезгливость.

Одним словом, нас арестовали, но не тронули. Пока допрашивали, солдаты выволокли из вагона тело нашего херувимчика-секретаря: он был раньше всех, еще во сне, убит пулею.

Потом началось допрашивание комиссара. Впрочем, нельзя было назвать издевательство допрашиванием. С лица

его лилась кровь. Верхние зубы во рту были выбиты. Отвечая, он плевал кровью. На вопросы офицера он отвечал ясно, коротко, почти весело. Близорукие глаза (пенсне было сорвано и разбито) смотрели необычным взором, усиливая то впечатление экзальтации, о котором я говорил. Видно было, что по близорукости он не различает ни лиц, ни направления чужих взглядов и смотрит прямо перед собой на какую-то умственную, одному ему видимую, точку.

— Пытать,— кричали солдаты,— чего с ним канителиться!

Худенький человек выпрямился, поднял руки, как оратор, и воскликнул звенящим голосом:

— Товарищи, близок час, когда вы поймете, что вы делаете! Разве не ради вас, жен и детей ваших борется Красная Армия? Подумайте, за кого вы стоите? Подумайте, где обещанная вам земля?

— Молчать, собака! — крикнул офицер.— Сажайте его на кол!

Знаете вы, что такое кол? Это деревянный обрубок, самый настоящий. Вот такую дубинку вгоняют человеку в задний проход. Я видел, как его посадили на кол, вогнав с силой так, что хрястнули раздираемые внутренности. И человек корчился, пригвожденный, а с востока взошло большое, белое, горячее солнце, зачирикали птицы, заиялась вся степь и ослепительно засиял наверху наш агитвагон всеми своими лозунгами и плакатами. Он стоял к нам как раз той стороной, где веселый рабочий размахивал огненным молотком, зовя к сияющей пятиконечной звезде.

Корчившийся на колу увидел эту звезду, он протянул руки к вагону. И... содрогаюсь до сих пор, как вспомню. Вдруг сильным, нечеловеческим голосом, будто не рвало ему внутренности, стал говорить. Это была его агитационная речь. Он успел сказать:

— Да здравствует рабоче-крестьянская республика! Вы все поймете, вы будете с нами. В вагоне приготовлена для вас ли-те-ра-тура. Берите себе вагон!

Слово «вагон» резнуло, как нож, так напряженно вышло оно из горла. Действие было нечеловеческое, потрясающее. Солдаты буквально оцепенели, многие попятились от него. Офицер с проклятием выстрелил в лицо тому, кто агитировал с кола. Он был вне себя, когда заорал, чтоб жгли вагон.

Тут-то я и увидел самое необычайное во всей моей жизни. Да, милые вы мои, солдаты ринулись к вагону, набились в него и — пусть я провалюсь, если вру,— делая вид, что раз-

рушают вагон, совали себе, кто во что успел, нашу литературу. Один за голенища, другой за пазуху, третий в рукав, под шапку. Я видел в окошко их лихорадочные движения — это казалось полусознательным, сомнамбулическим. Должен сказать вам, что и я сохранил на память, подобрав тихонько, обгорелую щепку от нашего вагона и сохраню ее до самой своей смерти.

Шесть месяцев после этого весь юг был окончательно очищен от белых. Я встретился случайно с одним из тогдашних наших мохначей,— он был уже красноармейцем.

— Почитай, целиком перешли мы в Красную,— сказал он мне между прочим.— С того дня и задумались.

Вот что я считаю образцовой агитацией. Живите тысячу лет и еще тысячу, а большего не придумаете. Сильнее, чем жертва, на земле нет ничего.

Кажись, станция. Пойду возьму свежего кипяточку.

Рассказчик встал, взял большой медный чайник и двинулся к выходу. Спящий в углу пассажир-коммунист внезапно открыл глаза, вскочил и, взяв фуражку, вышел за ним. На лесенке он слегка ударил его по плечу. Рассказчик живо обернулся и, казалось, ничуть не удивился.

— Вот что, товарищ,— сказал пассажир,— рассказ хорош, хотя и есть некоторая скрытая тенденция... Вы меня понимаете, насчет жертвы. Только одно плохо: постепенно сбились с тона. Вели вначале соответственно аудитории, а потом вдруг перешли на высокий стиль и засерьезничали, словно для более тонкого слушателя рассказываете. Эта неровность — единственный недостаток.

– Разве вы не догадались, что это — для вас? — усмехнувшись, ответил рассказчик.— Я заметил, что вы не спите. И тенденция, может быть, вам не повредит.

И прежде чем тот успел опомниться, он взмахнул чайником и исчез в толпе.

1923

Исаак Бабель

СОЛЬ

«Дорогой товарищ редактор. Хочу описать вам за несознательность женщин, которые нам вредные. Надеюсь на вас, что вы, объезжая гражданские фронты, которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию Фастов, находящуюся за тридевять земель, в некотором государстве, на неведомом пространстве, я там, конешно, был, самогон-пиво пил, усы обмочил, в рот не заскочило. Про эту вышеизложенную станцию есть много кой-чего писать, но, как говорится в нашем простом быту,— господнего дерьма не перетаскать. Поэтому опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели.

Была тихая, славная ночка семь ден тому назад, когда наш заслуженный поезд Конармии остановился там, груженный бойцами. Все мы горели способствовать общему делу и имели направление на Бердичев. Но только замечаем, что поезд наш никак не отваливает, Гаврилка наш не крутит, в чем тут остановка? И действительно, остановка для общего дела вышла громадная по случаю того, что мешочники, эти злые враги, среди которых находилась также несметная сила женского полу, нахальным образом поступали с железнодорожной властью. Безбоязненно ухватились они за поручни, эти злые враги, на рысях пробегали по железным крышам, коловоротили, мутили, и в каждых руках фигурировала небезызвестная соль, доходя до пяти пудов в мешке. Но недолго длилось торжество капитала мешочников. Инициатива бойцов, повылазивших из вагона, дала поруганной власти железнодорожников вздохнуть грудью. Один только женский пол со своими торбами остался в окрестностях. Имея сожаление, бойцы которых женщин посадили по теплушкам, а которых не посадили. Так же и в нашем вагоне второго взвода оказались налицо две девицы, а пробивши первый звонок, подходит к нам представительная женщина с дитем, говоря:

— Пустите меня, любезные казачки, всю войну я страдаю по вокзалам с грудным дитем на руках и теперь хочу иметь свидание с мужем, но по причине железной дороги ехать никак невозможно, неужели я у вас, казачки, не заслужила?

— Между прочим, женщина,— говорю я ей,— какое будет согласие у взвода, такая получится ваша судьба.— И, обратившись к взводу, я им доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на место назначения и дите действительно при ней находится и какое будет ваше согласие — пускать ее или нет?

— Пускай ее,— кричат ребята,— опосле нас она и мужа не захочет...

— Нет,— говорю я ребятам довольно вежливо,— кланяюсь вам, взвод, но только удивляет меня слышать от вас такую жеребятину. Вспомните, взвод, вашу жизнь и как вы сами были детьми при ваших матерях, и получается вроде того, что не годится так говорить...

И казаки, проговоривши между собой, какой он, стало быть, Балмашев, убедительный, начали пускать женщину в вагон, и она с благодарностью лезет. И каждый, раскипятившись моей правдой, подсаживает ее, говоря наперебой:

— Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дите, как водится с матерями, никто вас в кутке не тронет, и приедете вы, нетронутая, к вашему мужу, как это вам желательно, и надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старое старится, а молодняка, видать, мало. Горя мы видели, женщина, и на действительной и на сверхсрочной, голодом нас давнуло, холодом обожгло. А вы сидите здесь, женщина, без сомнения...

И, пробивши третий звонок, поезд двинулся. И славная ночка раскинулась шатром. И в том шатре были звезды-каганцы. И бойцы вспоминали кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду. И думка пролетела, как птица. А колеса тарахтят, тарахтят...

По прошествии времени, когда ночь сменилась со своего поста и красные барабанщики заиграли зорю на своих красных барабанах, тогда подступили ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего.

— Балмашев,— говорят мне казаки,— отчего ты ужасно скучный и сидишь без сна?

— Низко кланяюсь вам, бойцы, и прошу маленького прощения, но только дозвольте мне переговорить с этой гражданкой пару слов...

И, задрожав всем корпусом, я поднимаюсь со своей лежанки, от которой сон бежал, как волк от своры злодейских псов, и подхожу до нее, и беру у нее с рук дите, и рву с него пеленки, и вижу по-за пеленками добрый пудовик соли.

— Вот антиресное дите, товарищи, которое титек не просит, на подол не мочится и людей со сна не беспокоит...

— Простите, любезные казачки,— встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно,— не я обманула, лихо мое обмануло...

— Балмашев простит твоему лиху,— отвечаю я женщине,— Балмашеву оно немного стоит, Балмашев за что купил, за то и продает. Но оборотись к казакам, женщина, которые тебя возвысили как трудящуюся мать в республике. Оборотись на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие этой ночью. Оборотись на жен наших на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей, и те, то же самое одинокие, по злой неволе насильничают проходящих в их жизни девушек... А тебя не трогали, хотя тебя, неподобную, только и трогать. Оборотись на Расею, задавленную болью...

А она мне:

— Я соли своей решилась, я правды не боюсь. Вы за Расею не думаете, вы жидов спасаете...

— За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. А вы, гнусная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем тот белый генерал, который с вострой шашкой грозится нам на своем тысячном коне... Его видать, того генерала, со всех дорог, и трудящийся имеет свою думку-мечту его порезать, а вас, несчетная гражданка, с вашими антиресными детками, которые хлеба не просят и до ветра не бегают,— вас не видать, как блоху, и вы точите, точите, точите...

И я действительно признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос, но она, как очень грубая, посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой. И, увидев эту невредимую женщину, и несказанную Расею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездют на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и себе кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали:

— Ударь ее из винта.

И, сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики.

И мы, бойцы второго взвода, клянемся перед вами, дорогой товарищ редактор, и перед вами, дорогие товарищи из редакции, беспощадно поступать со всеми изменниками, которые тащат нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстрелить в Расею трупами и мертвой травой.

За всех бойцов второго взвода — Никита Балмашев, солдат революции».

1923

Алексей Толстой

БЫВАЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

По темной степи тянуло дымком. Кашевар сгреб кучкой золу — под ней тлели угольки сухого навоза. Тишина была такая, что слышно за версту, как потыркивает сверчок; а еще далее, в лощинке, в стороне, где недавно догорела вечерняя заря,— хрипел дергач. Летел бы, дура, к Дону, в плавни,— здесь много не наковыряешь носом. В степи земля теплая, сухая, было бы что подложить под голову,— и так лежат мужики у костра, а кто — под телегой с поднятыми к звездам оглоблями. Звезды просторно раскинулись над степью. Один человек сидит, другие слушают.

— Да, товарищ, пришлось...

— Хлебнул?

— А что же ты думаешь,— конечно, хлебнул горя...

— Расскажи по порядку, дяденька.

— А по порядку рассказать — будет так: в каком это году, забыл я,— в шестнадцатом... Ну, ладно... Вошли мы, русские войска, в Париж. А были мы, солдаты, взятые для этой экспедиции, как на подбор: рослые, молодые, ужасно все бойкие. Идем по Парижу, колонна за колонной, сорок тысяч человек — это ты шутишь! И поем во всю глотку. По дороге на кораблях спелись: с жизнью прощаться ведь неохота на чужой стороне... Да и бабы на тротуарах — видимо-невидимо — глядят на нас... Хороши... Ах, чистые, хорошие дамочки у них...

— Ну?

— Это кто там сказал «ну», под телегой?

— Будет вам,— слушайте, ребята.

— Да. Идем мы через город Париж и поем песни. Запеваем по очереди, поротно,— в каждой роте запевала и подголосок, мы подхватываем — стекла звенят... Начальство нарочно подбирало голосистых в эту экспедицию, чтобы удивить иностранцев: какой у нас народ веселый, вся армия

сытая, мордастая, в бой — так в бой, ей хоть бы что: с песней грудью за отечество. Так и в газетах французы писали: «Русский, мол, солдат умирает с песней на устах...»

— Как это?.. (Опять из-под телеги.) Вот ведь ребята, а?..

Рассказчик покосился под телегу, но разобрать ничего было нельзя — так темно. Месяц еще не всходил над степью.

— Как же им нас не хвалить: нас пригнали помирать за их отечество... Ну, конечно, языка они нашего не понимали, русского,— от этого много зависело... Когда проходили под Триумфальной аркой, дамочки стали бросать в нас цветы — розы. Мы, будто эти розы нам обыкновенное дело, груди выпячиваем, будто такие уродились орлы, да и грянули свою, солдатскую: «Дрррришем дегтем, дрррришем дегтем, табаком...» Так что же вы думаете: у дамочек на глазах — слезы, и руки к нам протягивают... А наши господа офицеры только косоротятся, но ничего не поделаешь: парад...

— Здорово это вы — про табак... Показали...

— Мы бы не то еще показали, не прогони нас прямо на фронт в тот же день... У них народ малорослый. Умом одним берут, образованием. А культура у них высока.

— Высока?

— Немцы еще умственней, а англичане всех покрывают... Я этого не люблю, когда под телегой смеются на то, что я говорю. Недолго и за виски оттуда вытащить. Я этого не люблю, когда над культурой смеются. Вы что же думаете — у нас степь велика, так нас нипочем и не возьмешь? Нет, мы пробовали шапками закидывать. Не те времена. Кинули нас на фронт, через две недели — бой. Офицеры — в новых лаковых сапогах, начисто выбриты, чистые, и нам — по чарке коньяку и папирос. В зубы, конечно, никто не бьет, но командиры говорят серьезно: «Ребята, не посрамим русского оружия, отступать невозможно, потому что, между прочим, на задних позициях — французы с пулеметами...»

— Это французы, свои же, по своим?

— А ты как думал?.. Нас для случки, что ли, туда привезли?.. Ну, хорошо. Мы в то время о культуре еще ничего не знали. Приказ: наступление. Значит — музыканты вперед, и мы — урррра, и вся недолга, грудью в штыки... А нас — и бомбометами, и огнеметами, и пулеметами, и газом, и вонью, и с аэропланов сверху, и с танков в лоб... А сзади — французы: вали! вали! Вот тебе русский человек и попал в Европу... Вам хорошо в степи портками трясти, а вас туда бы...

Апропо́,— как французы говорят,— апропо́ искрошили всю нашу дивизию. Нам, конечно, обидно это, врага мы все-таки выбили. Заияли позицию. А на другой день — приказ: отступить. Был это не бой, а демонстрация.

— Это что ж такое?

— Ну, вроде репетиция.

— А это что?

— С вами, ребята, образованному человеку говорить нельзя. Ну, вроде напоказ.

— Ага!

— Нам, конечно, растолковали, будто немцы испугались и теперь войне конец. Кто умиее, этому не поверил. Скрошить дивизию мы бы и дома могли. А вот начальство большие награды получило за этот бой.

— Поддержали славу оружия.

— Вот то-то что... Нас отвели в тыл. Действительио, и вино, и говядина, и табаку — вдоволь. Но в России замиика с деньгами или неудача на фронте — союзники начинают воротить морду,— иас опять кидают на позиции, и мы грудью идем на немцев. Нет, ребята, не страшно умирать, а страшио умирать зря. Иной мужик и в городе уездном сроду не был, а ему приказ — умирать за морем: там ему отрывают руки и ноги и прожигают газом, и французская дамочка кладет ему на могилу цветок. Солдатики плакали втихомолку — вот до чего обидно. Но мы оттого безропотные, что у нас культуры нет, у нас одни песни. И многие в ту пору стали дружить с сенегальцами, с черными людьми, обучали их по-русски, те иас по-африкаиски. Вместе горевали. Звали их к нам в степи.

— Это как так — черные? — спросили из-под телеги.

— А как деготь,— и здоровые мужики. И среди них есть очеиь дельные мужики. Мы расспрашивали: то же самое, что у нас: кукурузу сеют, просо, свиней у них много. А вот птицы у них не те.

— Не те?

— У нас, скажем, эта мелочь — воробьи, скворцы, вороны. А у них — пеликаи-птица с носищем в полтора аршина.

Хоть и темно было, но рассказчик почувствовал, как один из слушателей усмехнулся, другой покачал головой. Он помолчал небольшое время, разрывая в золе уголек,— раскурил трубку.

— Да. Помню — сижу в бараке. Два земляка — Иваи Рындин, монтер, шофер, электрик, словом — на все руки, да Алексей Костолобов пишут письмо на родину. А у меня

живот болел. На воле — дождь, ветер,— скука. Вдруг входит прапорщик, весь мокрый, в грязи:

«Здорово, товарищи солдаты! Я, мол, прямо из Парижа, привез вам радостную весть: поздравляю с великой бескровной революцией...» И пошел и пошел чесать... Мы только переглядываемся. А Иван Рындин смекнул. Выступает и говорит без обиняков: «Этого мы давно ждем, отпустите нас теперь скорее на родину, потому что там без нас землю поделят». Прапорщик как вспыхнет: «Ах, сукины вы дети, говорю это вам в последний раз... Нет, ваш священный долг теперь сражаться до последней капли крови за свободу». Хлопнул дверью и ушел. Дивизию нашу сейчас же перекинули в глубокий тыл и там давай обрабатывать на митингах, чтобы мы домой не просились, а просились в бой. А мы разве им можем возразить без культуры? У нас даже винтовки отобрали. Значит, опять умирать.

— А я бы убег,— сказали под телегой.

— Дура. Географии не знаешь. И что я вам скажу: эти господа в шляпах, которые к нам приезжали руками махать на митингах, хуже нам были военного начальства. Ей-богу. Несут чепуху, махнет тебе рукой на виноградники: «Вы,— говорит,— не забывайте, что эта почва родила Дантона и Камилла Демулена...» А нам все равно, кого она породила, мы правду хотим знать — кто русской землей распоряжается? Кто теперь хозяин? Почему нас во Франции гноят? Зачем вы нас обманываете, раз мы некультурные?

«Так мы зубами и лязгали до самых большевиков. А в ноябре, здоро́во живешь, загнали нас за проволоку. Поставили пулеметы. Голодный паек. И эти дамочки: мимо нас идет — погрозит кулачишком. Мы, конечно, бунт. Нас из пулеметов, из броневиков. Зачинщиков расстреляли по ихнему обычаю — у столбов. Вот тебе и русские орлы!»

С земли поднялась рослая фигура с бородой от самых ушей, заслонила звезды. Поддернув портки, сказала:

— Я, ребята, сам за французов кровь проливал.

— Где это тебя угораздило?

— А на Мазурских озерах. Наших там тысяч сто побили.

Мужики помолчали. Дергач перелетел поближе и тыркал, казалось, где-то за телегой. Над краем степи в одном месте как будто просветлело,— это должна была скоро показаться луна.

— Сидели мы без малого год за проволокой на положении пленных,— опять заговорил рассказчик.— А у французов большая нехватка в рабочих руках. И мы замечаем — эти

дамочки грозить бросили, ходят мимо нашего лагеря, присматриваются. Конечно, ребята наши крепкие, широкоплечие, работать здоровые... Что же без дела-то им сидеть? Только п...т за проволокой от дурной пищи.

— Это обыкновенное дело... (Из-под телеги.)

— Помолчи.

— Ну, вот, эти дамочки — по-нашему, женщины деревенские, вдовы — и начали наших брать на поруки. Сначала выбирали молодцеватых, в ихнем вкусе.

— Чтобы породу не портить.

— Совершенно верно. Носы наши очень им не нравились. Иной мужик — кровь с молоком, а нос — леший его знает что, а не нос: у иного — дуля, у иного пипкой, одни ноздри. Мы смекнули, стали в носах разбираться. Одному оттягивали,— ничего не вышло. Уставится дамочка на такой нос и не доверяет. Мы солдата проваживаем, хлопочем: гляди, мол, какой мужчина — сутки может косой махать, веселый и жрать, мол, не очень здоров, а если ты насчет чего другого сомневаешься — первый на деревне жеребец. И хочется ей, и — нос вот дался. Потом, конечно, и со всякой всячинкой стали брать. Так многие ребята вышли из батраков в хозяева, женились на вдовах, хорошо стали крестьянствовать. А дамочки эти забыли, как и порожняком-то ходят: не поспевают рожать. Французы много дивились.

— А ты как же пристроился?

— Попал я к ведьме. Мужественная женщина лет сорока; хозяина на войне убили. Одним салатом, проклятая, норовила кормить. Орет весь день, как погонщик. За день наломаешься, а вечером она напьется красного вина и в ботинках лезет к тебе в кровать. Плюнул, вернулся в лагерь, и по причине примерного поведения отпустили меня на поденную работу, где я захочу. Надумали поехать в Марсель. Там встретился я с Алексеем Костолобовым и с Иваном Рындиным; он тоже от бабы ушел: попрекала его русским происхождением. Стали мы грузить пароходы. Заработали в скором времени на этой погрузке четыре тысячи двести франков, но опять-таки через свою некультурность: спины здоровы. Иван Рындин и говорит: «Не век нам, ребята, ящики таскать, давайте подыщем работу почище». Гимнастерки мы побросали, справили чистую одежу, рубашки с галстуками, шляпы. На это хлопнули без малого тысячу. Но на улице нас уже не толкают, придешь в кафе — «Гарсон, вян-блан!» Подбегает половой: «Кескевуле?» Значит — чего желаете? И та-

щит белого вина. И мы стараемся между собой говорить по-французски, не иначе.

Под телегой фыркнули. Затем кто-то в темноте, видимо, щелкнул того по затылку. Рассказчик продолжал:

— Доехали мы по железной дороге до Тулузы. Пересели на узкоколейку, вылезли на одной станции и пошли пешком в уездный город, в глушь. Идем по шоссе в холодке, под деревьями. Кругом — поля, виноградники. Земля — как сад разделана. На хуторки заглядишься. Живут тихо, сытно, и народ в этих местах живет старый. Молодых совсем мало.

— Перебиты?

— Которые перебиты, а которые в города уходят. Деревенская работа им теперь не нравится: тяжела. Каждому хочется поскорее схватить, веселее пожить. Война, как ложкой, весь народ перемешала. Мы так и думали, что Рындин привел нас в эти места на сельскую работу: на нас все поглядывали из-за палисадников старики и старушки; особенно на Алексея Костолобова: длинный мужик, здоровенный. Но — нет. Сели отдохнуть у канавы, Рындин и говорит: «Про эти места мне давно рассказывали. Здесь такая скука — люди на ходу засыпают. Конечно, в Париже, например, нам без культурного образования пробиться трудно, там нас всякий зашибет. Но здесь легко можем сойти за столичных авантюристов».

— А это что же такое?

— Авантюрист, по-нашему, мастер на все руки; другие работают, он пенки снимает[1].

— Есть такие.

— За границей, между прочим, они большие отламывают дела. На культуре все основано. Ты там, под телегой, знаешь, что такое акция?

— Чего это? (Сквозь смех.) А ну тебя...

— Акция — это, брат ты мой, такая бумага: купил ее — тебе за это платят, продал — опять деньги платят. Ты год будешь спину ломать — авантюрист в минуту больше заработает. Он мигнул кому-то: покупаю, мол, акцию... А у самого, заметь, в кармане — битая вошь. Все дело, кому мигнуть... И ему несут деньги...

После этих слов опять началось качанье головами.

---

[1] Рассказчик употребляет слово «авантюрист» не совсем в обычном смысле, очевидно избегая слова «спекулянт», как слишком узкого понятия. *(Прим. авт.)*

Рассказчик, очень довольный, похрипывал трубочкой.

— Так-то сидим на канаве и ахаем, а Рындин рассказывает. Обдумали наше предприятие со всех сторон. Под вечер пришли в город. Красивый город: речка, сады, каменные дома, в каждом на дворе — голубятня. На улицах — чисто. Тишина и скука. И мы этой скуке рады. Зашли в гостиницу, заказали ужин: пареного кролика со сметаной, лягушек...

— Тьфу! Будет тебе нести...

— А ты ел лягушек? Ну, и молчи. У вас в болотах полно этой дичи, орет, а вам жрать нечего, а это самая первая еда. Эх, некультурность! Ну, хорошо. Трактирщик подает нам ужин, вино, ликер, шоколад, и сам удивляется, как мы сытно едим, и спрашивает: откуда, зачем? Мы говорим: приехали обсмотреться, может, понравится,— дело заварим. И сразу пошел по городу слух: приехали-де из Марселя иностранные авантюристы. Особенно Костолобов удивил горожан: ростом в дверь, глаза маленькие, ручищи, как лопаты, ходит — спотыкается,— ему стыдно, что на него смотрят. Утром проснулись — опять горячий завтрак: охолощенный петух и улитки с чесноком. И пошли мы будто бы прогуляться по городу. На нас — глядят изо всех окошек. Хорошо. До обеда обошли кругом города три раза. И у самой реки, неподалеку от базарной площади, Рындин указал на один амбар — каменный, старинный, крепкой стройки: «Здесь,— говорит,— наше счастье». Амбар этот мы арендовали на год за самые пустые деньги. Нам сейчас же в городе — кредит: видят, что приехали солидные авантюристы. Взяли мы в кредит елового леса, досок, кумачу, картону разного, красок, электрических принадлежностей. Городок оживился, торговля пошла. Мы, не теряя времени, начали ремонт: починили на амбаре крышу, подправили штукатурку, снаружи, изнутри стены выкрасили. Понаделали скамеек, обили кумачом, и около входа Алексей Костолобов — он кузнецом был до войны — намалевал по штукатурке что ни на есть пестрее, страшнее, разных кавказцев в папахах, большевиков с красными бородами, с ножами, башкир косоглазых... И пушки тут стреляли, и на конях дрались, и хаты горели... «Эти картины,— Рындин говорит,— главный наш козырь». И верно — ленивы французы, а из соседней деревни приходили смотреть, весь день у амбара — толпа. «А что,— спрашивают,— тут у вас будет?» Рындин им: «Милостивые государыни и милостивые государи, подождите, скоро увидите, а между тем благодарим за ваше почтенное внимание».

Когда работа стала подходить к концу, он взял две тысячи — выдал нам расписку — и уехал в Париж. Оттуда прислал телеграмму: «Удача, все достал, пишите вывеску». Мы тем временем мусор вывезли, около амбара подмели, посыпали песочком и занялись писать вывеску. Через неделю Рындин вернулся с двумя ящиками. «Ну, ребята, завтра открываемся». И ночью мы повесили вывеску. Наутро весь город ахнул. «Новость! Первый раз в городе. Кинематограф из Парижа. Веселое и полезное развлечение для лиц обоего пола. Для начала будет показано: 1) Кошмарная драма из жизни парижских бандитов. 2) Уморительные приключения одного доктора. 3) В перерыве выступит русский великан Алексей Костолобов с ломанием об голову досок и других предметов.

«Для этого номера Рындин привез вязаные штаны, фуфайку и трубу. К семи часам у нас все было готово — аппарат поставили, ленты проверили, Алексея одели в красную вязанку, научили скрипеть зубами, когда дойдет дело ломать доски. Рындин сел в кассу, я стал внутри — проверять билеты, сажать на места, выкликать картины, Костолобов заревел в трубу — за речкой слышно. Смотрим: потянулись французы».

«Триста франков собрали в первый вечер, дали три сеанса, и четвертый бы дали, но Костолобов отказался ломать доски — голову намял. Французам очень понравился наш театр: действительно, до этого времени к ним ни один кинематограф не заезжал,— глушь. Рисковать боялись. А у нас дело пошло хорошо. Рындин привез вторую серию, и к нам с хуторов стали приходить. Особенно дивились на Костолобова. «Это,— говорят,— монстра о ля-ля». Действительно, здоровый мужик: берет он доску в полтора дюйма и хрясть ее об голову! Дамочки вскакивают и его щупают...»

«Ну, хорошо. Деньги у нас не переводятся. В гостинице почет. Гуляешь по городу — не поспеваешь кланяться. И стали мы жиреть, стали скучать. На разное баловство потянуло. И пьем мы один бенедиктин. А тут зима пришла, дожди, сумерки. Костолобов как напьется, так — плакать: «Не видать,— говорит,— мне сроду тихого Дону, лучше бы я жил в степях бобылем каким-нибудь безлошадным, чем перед французами выламываться, это неприлично». Так и сидим долгий вечер три мужика в гостинице, пьем бенедиктин, говорим по-французски, а ветер за окошком надрывается, ветер зовет в степи».

— По кизячку заскучали?

— По гнезду.

— А у нас тут были дела, покуда вы прохлаждались с тиятром. Не то, что сейчас,— одни верхоконные носились по степи. Пушечки постреливали...

— Как столб телеграфный, так, смотри, и человек висит.

— Повторяю,— продолжал рассказчик,— будь мы культурные, мы бы денежки прикопили и — в Париж, например, акциями бы занялись, стали бы ходить с дамочками по роскошным ресторанам. Словом, развлекались. А у нас только и разговоров, что про деревню: как там да что, да живы ли... Может, и России-то уж больше нет.

— Гы! (Под телегой.)

— А что ты думаешь... Рындин привозил из Парижа газеты, там прямо писали: «Россия пропала, одни кресты, и народ весь разбрелся — кто куда». В зимние вечера много выпили ликеру под эту тоску. Поговорить не с кем, ни поругаться, ни пошуметь... Вот приезжает как-то на масленой Рындин из Парижа. Сеанс отслужили. Электричество погасили. И Рындин повел нас за амбар на берег. «Ну, ребята,— говорит,— хотите ехать на родину?» — «Как? Что?» — «Генерал Деникин вызывает добровольцев, дают экипировку, проездные и подъемные».— «Против кого же воевать?» — спрашиваем. «Против большевиков, потому что они у крестьян, у казаков землю отняли и хлеб отнимают, и эти большевики — на германской службе, распродают Россию, хотят ее передать германцам. Говорил мне это верный человек в комитете. А вот и газеты,— и показывает нам газеты,—в них то же сказано».

«Недолго мы с Костолобовым думали: «Едем. И ты с нами?» — «Нет,— он говорит,— я вас потом догоню, надо дело ликвидировать». И мы, два дурака, не поняли, что он нас обманывает. Жадность его заела — с нами барышами жалко делиться, и он нас спроваживает. У него уж был нанят на место Костолобова француз, фокусник-шпагоглотатель, человек-змея — бродяга, за пять франков в вечер. А мы — «едем и едем». Так что же вы думаете? Французы узнали, что мы с Костолобовым уезжаем воевать, пришли с нами прощаться. Явился в гостиницу городской голова, подпоясанный, как при исполнении обязанностей, трехцветным шарфом, и с ним депутация. Вызвали нас. Голова подает нам бумагу с печатями и говорит: «В этой бумаге официально город благодарит вас за насаждение культурного раз-

влечения в виде кинематографа. Мы сами,— говорит,— до этого не додумались, потому что у нас от войны головы скружились, и мы скучали, а вы развлекали нас, соединив приятное с полезным». Я в ответ: «Мерси, домой приедем, оттуда вам напишем». Костолобов говорить, конечно, не мастер — только плакал. Ну, выпили с депутацией...»

— И что же — попали на фронт?

— Через месяц высадились в Новороссийске. Подплывали к родной земле — что было... Так бы эту винтовку и кинул в море. Нас ехало добровольцев человек двести, и мы сговорились: покуда не пообсмотримся — зря не стрелять.

— Ведь по своим же.

— Конечно. Мы это понимали, не дураки. Высадились. Смотр. Командующий, как полагается, говорит: «Здорово, орлы, постоим грудью за единую, неделимую».— «Эге,— думаем,— про этих орлов мы уже семь лет слышим». И мы начинаем замечать, что нет, не туда попали: опять генералы, опять господа, и мы будто бы ни при чем, опять мы — серая скотина. А господ видимо-невидимо, больше, чем мужиков,— плюнуть негде. Так. Вот попали мы с Костолобовым в наряд за дровами, с нами еще человек двадцать,— в гору поднялись, в лес, офицерика прикололи, царствие ему небесное, и перебегли к зеленым. А оттуда пообсмотрелись — и по деревням...

— Тут вас в Красную Армию и закрючили.

— Само собой.

— И под Варшаву.

— А что ж такое... Теперь-то мы уж знали, за что воевать. Я так скажу — мы горя хлебнули, но видели много полезного. Ни в каком случае нам нельзя без культуры — пропадем... Я почему не люблю, когда под телегой смеются? Ты смейся над смешным, вихрястый, а тебе рассказывают про обиды над человеческим достоинством... Тут над собой надо задуматься...

Над степью взошла луна, посеребрила траву. Неподалеку отсвечивали металлом пласты пашни. Забелела дорога, и на ней, бросая длинную тень, показался верховой. Он ехал шагом, без седла, вез мешок с хлебами. Тем, кто лежал на земле, он казался великаном, за спиной его поднимался желтоватый лунный шар. Чей-то голос сказал негромко:

— Ну, и чертушка.

Другой:

— Он не то что доску об голову — ось переломит.

Рассказчик позвал подъехавшего верхового:

— Алеша, она где у тебя? В телеге, что ли, в сумке?

— Кто? — спросил верховой густым голосом.— Тпру! Кто?

— Фотография. Мы с ним снялись на крыльце, тут — разные животные, и мы сидим с книжками. Послали во Францию городскому голове.

1927

Александр Серафимович

ДВА БРАТА

Ну и жарит! Судорожно, знойно трепещет все: и иссохшее, бледно-недосягаемое небо, и дальние увалы бесконечно разлегшейся, тоже иссохшей степи, и забытое белое облако над краем, и соломенные хаты,— тронь спичкой, сразу все огненно забушует. Кони исступленно отбиваются от мух и слепней, не трогая наваленного сена.

Вчера в леваде за хатами с врангелевского аэроплана разорвалась бомба. Разнесло двух лошадей, санитарную повозку, переранило красноармейцев, мирно сидевших поодаль за котелком. Сестру убило.

Я лежу на спине под изуродованной, израненной вербой — кора сорвана — и гляжу сквозь переломанные обвислые ветви в побелевшее от зноя небо. Наша артиллерия ухает за хутором, сотрясая землю, отдаваясь в груди и голове. А вражья — глухо, как далекий гром, оттуда, где застряло за краем белое облако,— снаряды рвутся версты за три от нас над громадно разлегшейся балкой. Там залегли наши цепи.

Мне ребята сказали:

— Ничего, лежи. Он бонбу бросит, улетит, тут самое мы и лезем в холодок, куды кидал; думает, побоимся, и не трогает, другого ищет.

Ротное прикрытие рассыпалось по хутору. За вербами речонка — одна тина, а в ней свиньи подрагивают ушами от мух. Жителей не видать.

Идут двое красноармейцев, молодые. Сожженные дочерна щеки втянуло. Один — высокий, черный, с длинным лицом, а другой — русый. Не видят меня. Прошли, хрустя опавшим, заскорузлым от жары листом, сели на корточки, стали крутить.

— Ты, товарищ... одно слово, ссёть мене тоска — хочь в лепешку разбейся.

Другой молчал, все так же на корточках. Провел язы-

ком, склеил, сломал собачью ножку, насыпал махорки, прикурили друг у друга.

— Нечево кричать, коли еще не бьют.

— Да как же!.. Вот ведь... кабы так, а то ведь женился. Кабы как-нибудь, а то вот она где,— русый стукнул себя в грудь, будто пробить хотел.— А? Товарищ!..

— Как было-то?

И высокий, равнодушно затянувшись, сжег собачью ножку почти до перелома.

— Ды как!

Тот, что пониже, докурил, выдул на листья изо рта остаток цигарки, сел, придвинул колени и обнял их.

— Как! Кабы что, а то ведь...— И вдруг запрокинул голову, закричал:

— Гля!.. гля!.. Должно, наши...

Высокий тоже запрокинул голову. Стали глядеть в изнеможенное, пожухлое от зноя небо. Черно распластавшись высоко под маленьким забытым облачком, плыл аэроплан. Да вдруг грохнуло, дрогнула утроба земли; около аэроплана родился белый, медленно тающий клубочек.

Красноармеец вскочил на колени с все так же задранной головой.

— Врангель!.. А-а, сволочь!!

А земля продолжала содрогаться, и белые клубочки рождались все ближе и ближе к черно плывущему коршуну. В стороне загрохотала непохоже на орудийный удар сброшенная бомба. Да, видно, невтерпеж стало, коршун нырнул в облачко. Зенитные смолкли.

Красноармеец опять охватил колени, и непроходящей тоской зазвучал его голос, как будто не летал вражий аэроплан, как будто кругом мирно дрожал зной, а вдали сухо погромыхивал летний гром.

— Кабы так... А то ведь не то, что побаловался да бросил. Женился... Ну, одно слово, по чести. Что ж, и тут бабы... которая и ластится, а я без внимания — только ее одну, так бы и полетел. А тут — на, письмо — гуляет с австрияком, военнопленный у нас.

— Брехня!

Красноармеец вскочил на колени:

— Отец пишет, кабы кто! Он ее кохает, как свою дочь. Стало быть, от рук отбилась, ежели написал, а то все таился — он у меня справедливый.

Замолчали. Я смотрел на ротного; он опустил голову и мял сухие листья. И заговорил:

— Чудак! У тебя, что ли, одного? Да у меня вовсе жена сбежала... С бывшим офицером...

Красноармеец обрадованно закричал:

— Нну-у!.. И у тебя?!

Тот спокойно стал рассказывать о своей семье: как встретился с девушкой, полюбили друг друга, зажили счастливо, а потом... с бывшим офицером... Конечно, горько... А потом приходит, прости, говорит, сама не знаю, как вышло... одного тебя люблю...

— Во-во! — радостно говорил красноармеец.— Ну, а ты чего же?

— Да что, говорю: «Ежели любишь, давай жить». Теперь — ни сучка ни задоринки.

— Во, во, во...— заторопился красноармеец,— вот и я так: ворочусь, ежели бросит его, спокается, скажу: «Ну, ладно, чего уж вспоминать...»

Они долго сидели и тихо говорили.

А ведь у него никакой семьи нет и не было, у ротного-то,— один как перст. Я его отлично знаю по Москве.

...Далекая неприятельская батарея все ухала. Двое поднялись и ушли. Я тоже пошел.

Бежит знакомый красноармеец. Еще издали машет рукой:

— Скорее садитесь на лошадь да уезжайте! Казаки наступают в обхват...

Мимо шла рота. Шагал ротный. Да разве это тот, что полчаса назад сидел с красноармейцем в леваде? Нет, это — не он. Он, и не он. На лице легли железные складки. И я видел, и я знал, что если бы давешний красноармеец — вот он идет во втором взводе,— что, если б этот красноармеец хоть малейше погнулся в дисциплине, он, ни секунды не промедлив, уложил бы его из маузера. Он видел и знал только одно — там, далеко подымающихся на изволок казаков.

Вечером в тылу, где стоял штаб, подвозили раненых (казаков отбили), раненых и убитых. Раненых перевязывали в поповском доме. Убитые лежали в поповском саду на пожелтевшей траве, в ожидании, пока сколотят гробы.

Я пришел в сад. У рая лежали ротный с красноармейцем.

Перед глазами, не потухая, стоит левада и они сидят на корточках, курят собачьи ножки.

А теперь лежат с спокойствием смерти на молодых лицах, лежат два брата.

1928

Александр Неверов

ДАЛЕКИЙ ПУТЬ

1

Просо росло маленькими кучками. Корявые кустики с длинными сухими перьями торчали растопыренными ножницами. Поврежденные зноем и ветрами, лежали набоку, выкинув обнаженные корешки. Изуродованные, все еще хотели жить, беспомощно ползли по черной просохшей земле. Когда прошли поздние июньские дожди, обмывшие пыльные перья, отдохнули, косо потянулись вверх, но не было силы выпрямиться. Жалко растопырились, выбросили тощие легковесные кисточки, умерли, сожженные зноем.

Тщедушные низкорослые овсы, как вылезли в раннюю весну мелкими иглами, так и остановились. Побелели, измочалились, превратились в сухое, колючее сено. Лишь немногие выронили соломку, выбросили сережки, но зерно не успело налить, сережки остались пустыми.

Редкой порослью торчала пшеница с голыми бесперыми бустылами. Пересохшие безусые колоски сжимали крошечные, рано пожелтевшие зерна с впалыми пожелтевшими боками.

Курчавились кривые перепутанные горохи с тонкими приплюснутыми стручками. Одиноко горели темно-малиновые лепестки позднего цветения под бледно-розовыми зонтиками. Слабо развертывались белыми кувшинчиками с загнутыми назад лепестками, медленно покрывались едкой проржавленной пылью.

Только рано по утрам весело голубели бесхлебные поля высокими курнями колокольчиков с распускающимися головками да крепко держалось неприхотливое кукушкино молоко. В предсмертной тоске крепко обнимала повилика засохшие стебли цветов, умирала вместе с ними.

Веселым семейством зеленел дикий укроп в белых круглых шапках, надетых поутру. В полдень шапки сбивало ветром, веселое белоголовое семейство гибло.

Дули горячие полуденные ветры, крутились косматые вихри. Дыбились, носились по полям, как дикие разнузданные кони с распушенными хвостами, жадно вылизывали пыль. Задыхались овцы, падали ягнята. Стада по целому дню стояли в пересохших озерах, медленно вылезали на лысые протоптанные бугры.

2

Первой из коров обессилела Емельянова Буренка с грязными пропыленными ноздрями. Уложили ее на дроги, везли до села, связанную веревками, с широко раскинутыми ногами. Не ревела она, не билась. Лежала покорная, отвернув назад маленькую голову. Только в мутных глазах застыла тоска предсмертная. Дома над ней плакала Анна с тремя ребятишками, скорбно крякал дед Василий, постукивая палочкой по мертвым бокам. Сам Емельян молча оттачивал нож. Когда выпростали красное костлявое тело, чтобы вывезти на гумно собакам, неожиданно сказал старику:

— Тятя, режь ей брюхо!

Дед Василий понял. Засучил рукава у посконной рубахи, залез в распоротое брюхо по самые плечи. Вытянул тонкие пустые кишки, оторвал гусак, вырезал почки. Бережно сложил все это на разостланную соломку. Емельян разрубил Буренкину тушу пополам, потом еще пополам, посовал в кадушку. Жене в избу бросил теплый попачканный кровью гусак.

— Свари!

Шкуру Буренкину повесили под сараем, кровь вылизала собака. Когда расселись за столом вокруг глиняного блюда с Буренкиным гусаком, тихо было, спокойно. Никто не поморщился, не сказал, что Буренку зарезали мертвую. Ели без хлеба. Ребятишки поглядывали на отца, сурово ломающего брови в непривычной тишине. Дед Василий неожиданно поперхнулся, выронил ложку из рук. Маленький хрящик от Буренкина гусака застрял у него в горле. Старик вылез из-за стола, не кончив ужина. Ноги налились подкашивающей слабостью, сердце затокало. Хотел выйти на двор, не дошел до порога, зажал рот ладонями. Точно балуя, начал трясти головой над черепком.

Емельян сердито крикнул:

— Уйди!

И тоже вылез из-за стола, не кончив ужина. Анна тихонько плевала под лавку. Ночью говорила маленькому в люльке:

— Умирай теперь, Петенька, Буренушки нет, и молочка нет. Чем буду кормить?

Емельян не мог заснуть. Подолгу сидел на постели, падая головой на колени, крепко закрывал глаза и все-таки видел медленно надвигающийся голод. Шел он не спеша, вытянув длинные руки. Все меньше и меньше становился круг, все ближе и ближе подходило надвигающееся горе. Сидел Емельян в этом кругу и не знал, что делать, куда бежать, перед кем становиться на колени.

3

Утром дед Василий пошел на поля. Шел без шапки, в длинной посконной рубахе, глухо постукивал палочкой в твердые комья земли. Зияли глубокие трещины на дороге, уныло посвистывали суслики. Сухим дождем сыпалась под ногами зеленая большеголовая саранча с круглыми невидящими глазами. Старик сворачивал в сторону, растирал в кулаке колоски пшеницы, нащупывая зернышко, подолгу стоял над овсами, тревожно покачивая головой.

— Смерть.

4

Через неделю ему сшили холщовый мешок с двумя лямками на оба плеча. Емельян, не глядя в лицо отцу, тихо сказал:

— Иди, тятя, собирай.

Дед Василий выстругал подожок от собак, приделал маленькое копьецо на один конец, начал разучать: «Не имамы иные помощи». Голос дрожал, глаза заволакивались от слез. Когда не было Емельяна с женой, сидел на печи около трубы, унывно, по-нищенски пел:

— Не имамы иные помощи.

В своем селе не подавали, отправился в Смольное. Утро было тихое, теплое. Высоко над головой стояли сгрудившиеся тучки, не разогнанные ветром, попахивало ранней утренней прохладой. Выйдя на бугорок за селом, снял поношенную шапку, радостно взглянул на облака — не будет ли дождичка. Робким, неуверенным голосом запел среди полевой тишины:

— Не имамы иные помощи.

Пел и плакал.

Выглянуло солнце, тучки растопились. Начал дед тяжело

глотать дорожную пыль, гонимую ветром навстречу. До Смольного не дошел. Сел посреди дороги, испуганно перекрестился. Положил шапку под голову, расстелил дорожный мешок. Прыгнула длинноногая кобылка на лицо, свистнул суслик под самым ухом, горько запахло полынью. Приподнял голову, тихо сказал:

— Смерть, видно, настигла — не уйду.

Сорвал кустик пыльного подорожника, пожевал, выплюнул. Уже не сказал, только подумал:

«Как корова, траву хочу есть».

5

В полдень приехал Емельян на телеге. Лежал дед, как и Буренка, раскинув ноги на лубках, с тихой обреченной покорностью. Лошадь часто останавливалась, вешала голову. Не было надежды, что довезет до дому. Шел Емельян вдоль оглобли, старался не думать, закрывал глаза и все-таки видел длинные костлявые руки, готовые задушить.

Дома лежали ребятишки с распухшими ногами, плакали, а мать от жалости плакала над ними в маленькой избенке с нетопленной печью.

Деда положили в сенях, покрыли шубой. Слабо взглянул на Емельяна. Увидел сурово переломленные брови, торопливо зашептал:

— Ты не сердись, сынок, я скоро умру.

6

В августе выехали Лугины два брата. Зарезали двух коров, сделали повозки, крытые коровьими кожами, рогами наперед, посовали ребятишек, тряпье, чугунки. Ночью теплыми дымящимися лугами под музыку двух погремушек поползли в далекий хлебный край.

Емельян составил план. Старик и двое ребятишек должны умереть. Третьего можно бросить в приют. Сделать тележку, покрыть ее Буренкиной кожей и самому с женой бежать скорее от костлявых протянутых рук. Долго придумывал план, по-хозяйски, всякий раз выходило:

— Иначе нельзя.

Дрожала в душе запрятанная боль, стучало в висках короткими тупыми ударами. Емельян стискивал зубы. Ожидая смерти троих людей, глядел на них злыми, тоскующими глазами.

Дед не умирал.

Из сеней его перетаскивали на двор, со двора — на печь, опять в сени. Тревожили с места на место, как старое подгнившее бревно, а он только охал, сжимался в комок. Емельян брал его за опухшие ноги, чувствуя мертвый неприятный холодок, радовался конченному горю. Старик раскрывал отяжелевшие веки, с трудом говорил черными обметанными губами:

— Жи-во-ой!

Петька в люльке лежал мертвецом, вытащенным из могилы. Голод провалил ему глаза, высушил кожу на щеках, обнажил мелкие ягнячьи ребра. Осталась одна голова иа тонкой вихляющейся шее да тонкие веретена рук и ног. Он уже не плакал, только хрипел, вздрагивал, слабо щерил большой голодный рот. Мишка с Сережкой лежали иа полу около кровати, вялые, с отекшими животами. Анна кормила травой их, месила глиняные лепешки, разбавленные отрубями. Иногда доставала мослов, сушила, толкла на муку.

Емельян готовил повозку. Подвел иовые оси, вставил лубки, верх покрыл Буренкиной кожей. Получился маленький домик без окон. Оставалось поскорее уехать, чтобы не застала зима.

По вечерам на двор приходил Павел Митрохин. Садился на оглоблю, сидел как на похоронах, без улыбки на лице.

— Куда хочешь ехать?

— Куда-нибудь.

Подолгу молчали.

— Где хорошо?

— Можа, в Сибирь доберусь.

— Не доедешь. Давай воровать.

Емельян мотал головой.

— Как я буду воровать? Меня по глазам узнают.

— Ну давай умирать.

Опять подолгу молчали.

7

Умер дед в пятницу вечером. В субботу стащили на кладбище. Даже домовины не сделали. Яму вырыли глубокую, просторную — троим можно улечься. Емельян так и рассчитал: скоро должны умереть еще двое. С кладбища шел облегченный.

— Слава богу!

Когда воротился домой, Анна повела под сарай, показала

на околевающую лошадь. Лежала она на левом боку, вытянула шею, слабо дрыгала ногами. Ясно и осмысленно взглянула на хозяина. Присел Емельян на корточки, взял лошадь за голову обеими руками, неожиданно заплакал.

— Что же ты делаешь со мной?

8

Вечером варили лошадиное мясо. Сидел Емельян на кровати с красными непонимающими глазами, стискивал зубы.

— Куда бежать?

Пришел старик Елизаров с глиняной чашкой, встал на колени.

— Дай мосол! Сдыхаю.

Посадили за стол. Судорожно расплескивал ложкой, плакал, жаловался, по-собачьи облизывал блюдо высунутым языком. Потом полез на печку.

— Дед, куда ты?

— Я здесь. Лягу я здесь.

Емельян схватил его за руку.

— Черт!

Глаза у старика стали зеленые, рот чуть-чуть приоткрылся, обнажая широкие крупные зубы.

— Я здесь. Я у тебя полежу.

— С ума ты сошел?

— Да, да. Я здесь. Не кормят меня.

9

Ночью на двор пришел Павел Митрохин. Долго стоял у окна, заглядывая в избу. Отходил, снова возвращался, потрагивая дверь у сеней.

— Эх, Емельян, Емельян! Украсть хочу.

В сенях было темно. Тонко скрипели половицы под ногами. Отовсюду хватали протянутые руки, караулили чьи-то глаза. Ноги путались в невидимых веревках. Загремело опрокинутое ведро в углу. Анна испуганно зашептала:

— Воры!

Емельян выбежал с топором.

— Кто тут?

Тихо было в сенях. В раскрытую дверь смотрел низко спустившийся месяц. Посреди двора стояла приготовленная повозка, обшитая Буренкиной кожей. В лунном свете торчали маленькие рожки, сзади висел необрезанный хвост.

Анна из сеней кричала:

— Иди, иди! Украли.

Ни о чем не думал Емельян. Встал около повозки с топором в руке, и казалось ему: летит он, подхваченный вихрем, полон злобы, тоски и отчаянья. Не знает, куда летит. Только темные круги стоят перед глазами да безжалостно бьет по вискам кто-то.

10

Утром жаловался Павлу:

— Обокрали меня. Последний кусок.

Говорил Павел мрачно:

— Я бы убил такого человека.

— Где его найдешь?

— Ну да — не найдешь.

Долго молчали.

— Как будем жить, Павел?

— Хочу мальчишку отвести в город.

— Зачем?

— Брошу. Там кормят.

— Возьмут?

— А мне куда?

Блеснула надежда — маленькая искра. Замаячила, поманила.

Дома сказал Емельян:

— Анна, в городе ребятишек кормят. Отведу которого-нибудь.

— А если не примут?

— Ну, как же теперь? Лошадиного мяса не хватит.

Анна заплакала.

— Которого ты хочешь?

— Мишку отведу. С Сережкой не дойдешь. Петька, можа, сам умрет. Вернусь из города, буду тележку делать на двух колесах.

Мишка под тяжелым взглядом Емельяна задрожал холодной, мелкой дрожью:

— Тятенька, миленький, не бери меня в город.

— Чем же я буду кормить тебя?

— Я не буду есть. Ничего не буду.

Емельян начал уговаривать.

— Маленький ты, Мишка, не понимаешь. Разве я нарочно делаю так? Дурачок! Кормить-то нечем мне вас. Корову съели, лошадь съедим — куда пойдем? А в городе страшного

нет. Живой ты будешь там. Соскучишься, приедем к тебе. В городе бояться нечего.

Сидел Емельян на полу с добрыми печальными глазами, рядом лежали ребята. Рассказывал им о голодной смерти, шагающей по деревням, о большом городе с большими домами — в сердце подымалась радость. Петька здесь умрет. Мишка устроится там. Они с Анной положат Сережку в маленькую тележку на двух колесах, все трое пойдут отыскивать хлебное место. Не выдержит Сережка — пусть и он умрет: легче будет в маленькой тележке.

11

Мишку обули в дедовы лапти, на голову надели дедову шапку. Стоял он посреди избы маленький, равнодушный, с толстыми обернутыми ногами, безучастно смотрел на отца.

Анна заплакала.

— Мишенька, родимый ты мой.

Емельян сказал ей сердечно:

— Будет, Анна, мне и без этого тошно.

Когда стали прощаться, Мишка неожиданно сел на полу.

— Тятенька, миленький, не бери меня в город!

Вошел Павел с дубинкой в руке.

— Пошли!

Павлова жена с темными, провалившимися глазами глядела у ворот на обессиленного Володьку. Покачивался он, облизывая языком сухие, бескровные губы, кашлял, как старик.

С запада наливалась огромная туча. С севера двигалась другая. Только между ними оставалась светлая полукруглая арка с опрокинутыми верхушками облаков. Висел еще зеленый занавес, но туча на западе становилась тяжелее, неподвижнее. Подул ветерок, туча захватила весь горизонт. Редким горохом посыпались редкие капли, заиграл степной привольный ветер. Емельян с Павлом шли да шли под огромной тучей в раскрытую темноту, тащили ребятишек за собой. Мишка отставал, тихонько плакал. Не было ни деревень, ни сел вокруг. Только поле голое да туча черная. Володька схватился за грудь.

— Тятя, постой!

— Чего еще?

— Не дойду я.

Долго Павел смотрел на темные обметанные губы с тонким покойницким носом, понес Володьку на себе за спиной.

— Держись крепче!

Емельян уговаривал Мишку дойти.

— Не торопись, мы потихоньку. На станции будем закусывать. Придет чугунка, на нее сядем. Только не бойся. Ноги-то устали?

— Устали.

— Ну ничего, Миша, ничего. Терпи, сынок.

Показалась водокачка на маленькой станции, проплыл дымок уходящего поезда. Мишка горько заплакал.

— Ноги нейдут!

— Ну, давай отдохнем. Подожди, Павел!

Митрохин мрачно откликнулся:

— Поезд, опоздаем.

— Вставай, Миша, вставай. Мы потихоньку пойдем!

Мишка уныло твердил:

— Ноги нейдут.

Емельян озлобленно закричал:

— Черт! Брошу вот здесь.

Так же, как и Павел, посадил Мишку на спину, наклонил отупевшую голову. Точно конь под тяжелым ярмом, с трудом зашагал по осклизлой осенней дороге.

12

На станции по вагонам бродят ребятишки брошенными беспризорными щенками. Валяются обессиленные бабы, из-под дерюжек выглядывают умирающие. Слезы, стоны, холодный ветер. Точно дьявол справляет невиданную вечеринку. Молитвы и проклятья, любовь и ненависть, надежда и отчаянье — все перепуталось. Почерневший мужик утомленно рассказывает:

— Бегу, а смерть за мной. Кошка черная была — и ее съели.

— Съели?

— Ничего не осталось, на разрыв пошло. Выйдешь на улицу, а деревня воет. С ума многие сошли. Умерла девчонка у нашего соседа — он ее в погреб и давай топором рубить на куски.

— Рубить?

— Как мясо.

Баба тоскует напевом:

— Была я и в городе, была я и в городе. И нет, и нет, и нет, и нет.

— Не кормят?

— И нет, и нет, и нет, и нет. Положила я своего младенчика и ушла. Положила и ушла. Встала за угол и стою. Стою и стою. Вернулась, а он из пеленочки смотрит. Взяла на руки — мертвый.

13

Емельян обессилел. Посадил Мишку на станции в уголок, сунул кусочек лошадиного мяса. Не ел Мишка. Полизал языком, обнюхал, свернулся комочком. Рядом свернулся Володька.

— Мишка, дыши на меня!

— Озяб?

— Есть хочу.

— Откуси немножко, на.

— Я все съем.

— Не надо все, тятя ругаться будет.

Долго стоял Емельян у окна телеграфной. Лезла длинная белая лента, в голове навертывалась такая же лента без конца. Подошел Павел.

— Скоро поезд придет.

— Не посадят нас.

— А мы спрашиваться будем?

— Плохо в городе.

— Дураки говорят. Не станут брать — бросим. На глазах тяжелее.

Жалко Мишку. Гвоздем торчит в сердце, без боли не выдернешь. А выдергивать надо. Лег Емельян, подремал. Слабость охватила все тело, голова закружилась. Устал. Обнял Мишку одной рукой, прикрыл подолом.

— Спишь, Миша?

— Тошнит меня.

— Уснем давай, скоро чугунка придет.

14

Поздно пришла чугунка. Павел начал расталкивать Емельяна, чтобы бежать на поезд. Посмотрел Емельян на него слабыми, потухающими глазами, задумчиво сказал:

— Умираю, брат,— не могу.

— Доедешь.

— Не доеду. Мишку возьми.

— Куда я возьму его?

— Бросишь там в приют.

— Это дело не пойдет. Свой ножом торчит.

Трое суток лежал Емельян на маленькой станции. Мишка ходил по вагонам. Не было слез, не было и голосу. С трудом протягивал руку, щерил страшный оскаленный рот.

— Дя-инька!

Дул ветер, сыпал мелкий дождь. Емельян лежал с черным опухшим лицом. В тихом облегчающем бреду ласково уговаривал Анну:

— Не плачь ты, я не умру. Зачем надо плакать?

Долго ждал Мишку. Шарил руками около себя, на минуточку открывал глаза. Мишка не шел. Рано утром пополз из станции. Кто-то крикнул:

— Мужик, куда пошел?

Не слышал Емельян. Выполз на платформу, посидел, лег вниз лицом. Громко свистел паровоз. Подошла Анна, трое ребятишек подошли: Мишка, Сережка, Петька. Прижал их Емельян слабыми неповинующимися руками к теплому токающему сердцу, ласково подумал:

«Ну, вот и пришли».

1921

Лидия Сейфуллина

ИНСТРУКТОР «КРАСНОГО МОЛОДЕЖА»

Старуха определила:

— С большой гумагой человек: топырится.

Костлявая желтоглазая Марья, соседка, повела тонкими губами. Осадила:

— Михайлы Ершова из Романовки сын. Ванька, середний. Старшой-то у их тоже Красна гвардия. Ну, да вам все одно. Как под сборню дом-то отобрали, примай! Большо ли, мало ли начальство, а ему дадено. Скликай сход.

— То и есть! Дадено, бабонька! Я хоть неграмотна, а это смекаю: дадено! Ишь коршуном кружится по избе. А голос-то хлебный: через народ из горницы и сюда слыхать.

И в самое ухо соседка свистящим шепотом:

— Парней, девок пошто-то кликал и всю нашу благородию.

— А ну-ка, подайся туды, в дверь-то. Чо разъяснят? И то все собрались: учительши, и Сергеевна, и учитель.

Старуха пожалела:

— В кучечку сбились, сердешны. На самом на переду. Ай на ученых какую разверстку положили?..

Только хотела еще наблюденьями поделиться, а от стола:

— Прошу соблюдать тишину!

Совсем смолк заглушенный гул разговоров. Одиноко резвый выкрик запоздавшей Марфутки-говорухи прорвался:

— Песни играть, что ли, девок кликали?

— Ш-ш... Ты там... Слышьте. Ш-ш.

Это учитель старается. Всегда всякое начальство первый привечает. Ишь у стола кособочится!

Низкорослый крепыш за столом сдвинул повыше черную кожаную фуражку со звездой, насупил белесые брови, потушил начальственным холодком синий озорной огонек в глазах и зашагал мерно за столом вправо-влево, вправо-влево

Он явно кому-то подражал чеканным отрывом каждого слова и строгим взглядом на толпу через плечо.

— Товарищи и граждане! Я собрал вас на собрание, чтобы политическую вашу безграмотность ликвидировать. А кто я есть? На то есть у меня в разъяснение мандат полномочный в том, что есть я — Иван Ершов, инструктор красного молодежа. И в Москве, и в Петрограде, и во всей Европе организуем мы теперь союз красного молодежа. Ориентация моя не будет вполне убедительной, если я хотя бы не главнейшим образом, а частично не разъясню рабоче-крестьянской массе, в чем тут вся, попросту сказать, загогулина. Всяким золотопогонникам моя речь будет не по нутру. Это мне в достоверности известно, но я этого не боюсь! Эти самые буржуазные интеллигенты нам строят саботаж! Прямо вам скажу и обстоятельно, да, саботаж! Вот я их вам сейчас по пальцам укажу, что у вас их есть пять человек. Все интеллигенция. Вы, товарищ Зиночка, не в счет, как есть вы коммунистка! А вот эти пятеро, которых я вам сейчас дочиста разъясню. Начнем с того: какое есть изванье вашего села? Прозванье его Пролетарское, а ехал я сюда — на десять верст в окружности никто не знает Пролетарского, а все Воздвиженское по старому наречию. Что значит Воздвиженское? Каждому православному известно — религиозный дурман! Религия — опиум народа, и вот поэтому четырнадцатого сентября какой праздник! В просторечье — воздвиженье! И вы, одураченная темная масса рабочих и крестьян, по празднику село свое обозвали и за него держитесь, за воздвиженье! А почему вот вся эта буржуазная интеллигенция не разъяснила: нет теперь Воздвиженского, а есть теперь Пролетарское? И так они всегда палки в колеса пролетарната! Палки!

Оборвался ломкой юной нотой громкий голос. Забыл подражание. По-своему замахал суматошно руками, сбил слова в быстрый летящий мелкий горох. Распалился:

— Нет, уж если вы хотите сродниться с нашей шатией, дак чего держитесь за весь корпорац своего ума? Высокого человек ума. А потому, что пришла Октябрьская революция! И вот вас рассеяла направо, нас рассеяла налево. И не хотите вы своего ума оккупировать! Ага, не хотите? Ну да, не хотите! Почему вот вы, гражданка библиотекарша, к печке вприжимку? Значит, вы обуяны другим дурманом! С ребятишками книжками давеча вы занимались. Это быть должно! Заместо как у благородных были бонны, то есть вы теперь бонна рабоче-крестьянская! Это я постановляю. Слышите,

товарнщн, вот гражданка есть теперь бонна ваших детей и учнть их обязана! Я за этнм нсполненнем послежу. Но почему оиа их в союз красного молодежа не запнсала? Па-ачему? Учитель гражданнн, банкн там, чертежн, географня всякая... Это все у вас вндал. Это следовает! Я подтверждаю, следовает! Что для иаучиого просвещенья — это я подтверждаю! Но почему школьнннкн в союз красного молодежа не записаны? А потому — саботаж буржуазной ннтеллигеиции! А я вам сейчас разъясняю сам, что значнт союз красного молодежа.

Товарнщи парнн! Товарнщн девушкн! А это значнт — долой капиталистнческий гнет роднтелей! Онн в старом поиятье, от ума своего отжилн. Парни н девушкн! Прямо по декрету я вам объявляю и иасчет граждаиского браку: свобода всякого влюбленья н всякая кадрель. Цалуйтесь, мнлуйтесь! Как раньше было гоиенье иасчет гражданского браку, насnльно женилн, насnльно замуж выдавалн! И от этого всякне публнчные дома. А теперь этого ие будет. Никакого этого за плату. Торговля женщннамн запрещена! Даром — свободное влюбленье.

Старуха в дверях охнула. В другую половнну нзбы кинулась. Наседкой напуганной к печке.

— Чо башку свеснл? Ну, чего?

— Да я, мама, оздоровел! Там которых по шестнадцатому, тоже клнкалн. Я слезу. Здесь ннчего не слыхать.

— Я те слезу! Тебе надо слыхать? Я те послухаю! Трн дня дохнул, а тут оздоровел? Шкуру спущу, колн эдако слухать будешь. Ложнсь! Укройся! С головой укройся, паршнвец! Да глядн, ие оздоравлнвай. Добром говорю: не оздоравлнвай! Запншут тебя, дак все равно шкуру спущу, а баловать не дозволю.

— А там разве куда записывают?

— Заткнн глотку. Я те запншусь. Господн батюшка! Царнца небесная! И чего еще он расходуется? Ну-к, еще послухаю. А ты лежн, пащенок, не двигайся!

— ...Рука об руку парнн н девушки за пролетарскую революцию! И всяким, которые палки в колеса, мы сумеем нх место показать! К стенке нх! К стенке! Учнтель глазамн на вас, а дума его где? В ячейке небось не состонт? Ага! А вон энта седая учнтельннца! Пятнадцать лет, говорнт, в этом селе все учнт. И семью тут наплодила! А про союз красного молодежа ие старается! Офицеровых детей учнла, а крестьяиских ие хочет! Не хочет! На внселку такую! На виселку! На все телеграфные столбы развесим!

Седая учительница у окна трясущимися руками протирала очки. Маялась.

«Как бы сказать?.. Как бы сказать?.. Здесь офицерских детей не было! Господи, помоги! Господи! Что это он про виселицу!»

И вдруг тоненько, жалобно заплакала. Покосился на нее Иван Ершов. Еще яростней выкрикнул:

— Мы, молодые, встанем, как один! Подходи записываться! Подходи все зараз! Записывайтесь!

Толпа колыхнулась. Но к столу подошел только четырнадцатилетний глуповатый подпасок Кешка. Он ни слова не понял из речи Ершова, хоть и не сводил с него круглых темных глаз. Был он грамотный и за неграмотных часто на сходе подписывался. Оттого привычно и к столу подошел. Бережно взял ручку, неторопливо в чернила обмакнул и коряво, но старательно вывел: Ннакентий Пытяев. От напряжения рот у него раскрылся, из носу выглянула прозрачная капля. Подписав, он покорно глянул на Ершова. Того точно ветром взметнуло. Схватил лист, подпись прочитал. Волчком к Кешке повернулся.

— Привет тебе, товарищ Пытяев, от красного молодежа Москвы и Петрограда! Привет тебе, поклон то есть, от красного молодежа всей Европы!

И стремительно отвесил Кешке поясной поклон. В толпе Марфутка захохотала. Кешка застыдился, отер рукавом пот на лбу и под носом, глянул еще раз на инструктора, вспыхнул ярким румянцем, оробел и юркнул в толпу.

— Записывайтесь! Записывайтесь, парни и девушки!

Подошли еще три бойких подростка. Иван Ершов вдруг сгас, устало повернулся к печке и громко сказал:

— Вот что... Вы, образованные, напишите мне для принятия резолюцию. Чтоб через трупы!.. Я сам устал. В третьем селе сегодня разъясняю!

Учитель быстро к столу ближе подался.

— Как вы сказали, товарищ?

— Резолюцию, чтоб через трупы...

— Как?

— Ну, что «как, как»? Помочь пролетариату не желаете?

Снова рассвирепел и руками замахал. Худенькая подвижная библиотекарша с быстрым взглядом лукавых серых глаз первая сообразила:

— ...Через трупы врагов пролетариат идет к торжеству социализма или как? Справедливости?

— Ну, вот, вот! На наши деньги обучены, так смекайте сами. Образованные!

Сгрудились у стола «образованные». Писали резолюцию. Потом поднимали руки за нее. Уехал Иван Ершов. Старуха библиотекаршу в сборне задержала:

— Сергеевна, мово-то господь уберег: хворь свалила! Позаочке не пропишут ведь?

Побледневшая, нахмуренная библиотекарша отмахнулась:

— Отвяжись, Петровна! Не до тебя!

— И то, лапонька, и то! Тебя-то он как изругал? Како слово-то приклеил?

Бабы в избах плакали.

— Позаписывал, гляди, всех ребят? В волость заезжал!

Три волости объехал с разъяснением Иван Ершов.

В четвертой сход малолюдный собрался. Председатель волисполкома с ласковым, но часто вкось отходящим от собеседника взглядом, плотный, приятного вида мужик, счел служебным своим долгом пояснить:

— Болезнь на себе... Не то трясучка, не то в животе резь. Не в силах на сход прийти. Уж вы без сумленья, хоть малолюдно, разъясните, что вам по гумаге полагается... а мы тогда от себя изъясним.

Ершов распалился. Супя белесые брови, старался молодежи свою горячность в жилы влить. От старанья еще бестолковей речь. Но настойчиво на «свободное влюбленье», на гнет родительский напирал.

— Совершенно для революционного время не допустимая власть родительская. Выбирай себе Груняшу там али Машу, твое дело!..

И на учителя яростно ногами топал.

— По закону революционного время с эдакими нечего долго канителиться... Я вам сейчас разъясню...

Но речь прервал кузнец Михайла. Втянув лохматую голову в широкие плечи, неспешно со скамьи поднялся. К столу подошел.

— Подайте-ка бумажку, товарищ.

Ершов от неожиданности словом поперхнулся.

— Ка... какую бумажку?

— А мандат. Как полагается, мандат желаю поглядеть.

Подчиняясь спокойной властности Михайлова голоса, Ершов быстро в портфеле мандат отыскал, подал, а потом уж рассердился:

— А вы какое должностное право имеете мою речь пре-

рывать? Кто такой, что за гражданин? Сейчас прикажу разузнать...

Михайла так же спокойно разгладил мандат жесткой рукой, глянул прямо в глаза Ершову и сказал:

— Айда в ячейку. Там все разберем. Расходись по домам, граждане. После все дело сообща вам разъясним. Айда, парень, в ячейку.

Проходя мимо учителя, его за рукав потянул:

— Пожалуйте-ка, Василий Матвеевич, с нами для почтенья.

Ершов срывающимся от волненья и нежданной обиды голосом закричал было:

— Я коммунистической партии...

Михайла прервал:

— Я тоже коммунистическа партия. Вот и айда без разговору. Ну-у?

Взревел уже грозно. Ершов замахал руками, затряс головой. Но пошел, рывком схватил со стола плотно набитый портфель. Через час ехали уже в город. Михайла на своей лошади вез. Сидя рядом с Ершовым, покачивал головой:

— Ну и дурала! И откуда взялся? Бумажку тоже выдали. Ах, пустобрех, пустобрех! Ведь ты три волости взбаламутил! Заворотили тебе там, в городу, мозги-то, а того не разглядели, что горяч да дурашлив. Сколь лет-то тебе?

— Товарищи, вы не понимаете и можете даже по программе нашей партии пострадать. Вы ничего не поняли.

— Ладно, пойму еще. А на декреты-то ты чего клепал? Не совестно про публичные-то дома? А?

Иван Ершов повернулся к Михайле, глянул прямо в глаза ясным взглядом и правой рукой себя по боку шлепнул:

— Да я ж для разъясненья! А мне разве надо? Меня невеста ждет, я на грех не согласен!

— А вешать да расстреливать твое дело? Зачем грозил?

— Да я ж для острастки! Э-эх, какой народ неуверчивый!

В селе Пролетарском, проездом, учителя на улице встретили. Михайла лошадь придержал, его к себе поманил. Строго сдвинув брови, попенял:

— Что же это вы, ученые... У вас у первых этот канитель развел. Чего не придержали? На насмешку, что ль, дальше пустили? Сколь сел объездил, насмутьянил! Чего не разъяснили толком?

Учитель смешался. Вздохнул и редким у него искренним голосом сказал:

— Храбрость-то нз нас повыжнла деревня! Давно в ней выматываемся. Еще урядннки всю повыколотнлн.

Мнхайла тряхнул бородой и тронул лошадь. Ершов прнтих. Молчал. Не то испугался, не то устал. Но от Мнхайлы сердито отвернулся, когда тот разговор начал.

— Ладно, не твое дело. Темный ты, товарнщ человек.

Мнхайла усмехнулся в бороду н смолк. Ершов горестно вздохнул. Подумал:

«Прошнбн вот эдакого. Ннкак нового порядку не поннмает».

Сам не понял, за что его в городе в лагерь прннудительных работ сдалн. Сняя яснымн глазамн, всем об его вине спрашнвающнм отвечал:

— За что? А вот не поннмают персонального взанмоотношения декретнрованной работы!

1923

Константин Федин

КОНЕЦ МИРА

1

— Ах, ну не все ли равно, какой это биоскоп! Да и, право, не в биоскопе дело,— воскликнул Порфирий Максимыч.

Воскликнул и, для самого себя неожиданно, подхватил Милочку под руку, прижал ее совсем, совсем близко к груди, так, что больно стало от пуговиц, да вот в таком порыве, почти в исступлении, не слыша под собой ступенек, ринулся в слепящую пропасть.

И что в этой пропасти произошло с ним, не сказал бы Порфирий Максимыч ни за какие деньги. Помнил только, что кружилась у него голова от резеды и оттого, что невидимым тяжким пламенем падало на лицо его Милочкино дыхание и что купил он большую плитку Гала-Петер и всю ее от волненья съел, а потом смеялся над собой вместе с Милочкой.

А выходя из кинематографа, ощутил волну душной ночи и прошептал совсем разморенно:

— Господи, господи, что же это, а?

И как лукаво глянула на него Милочка и спросила:

— А ну-ка, расскажите, какие вы картины видели?

А он смеялся и выдумывал и болтал чепуху, будто никогда не был надворным советником, будто только что кончил гимназию. И всего единственный раз, хохоча и прижимаясь к Милочке, обернулся, точно невзначай, и успел прочитать огненно-радостную надпись:

— Record.

У ворот, где жила Милочка, завершился трепетный вечер этот жутко и сладостно: прикоснулся Порфирий Максимыч к теплой пухлой ручке своей суженой, а она бросила ему в лицо кустик резеды пахучей и нырнула в калитку, как вспугнутый звереныш. А калитка взвизгнула болтом и грохнула по воротам на всю улицу.

Так везло в эту ночь Порфирию Максимычу, что, отойдя всего два-три квартала от Милочкиного жилья, на углу, под самым фонарем ресторанным, увидел он совсем новый гривенник и сунул его в карман. Сам же не шел, и не бежал, и даже не мчался, прямо-таки летел, как пилот, и без всякого чувства страха или опасности. Потому что какая же может быть опасность для человека, у которого нет сомнений.

И хотя никогда не бывало, чтобы пожалел Порфирий Максимыч милостыню нищему, но в этот раз даже не задумался, когда налетел на попрошайку, а буквально пришел в умиленне от доброты своего сердца и подал попрошайке гривенник. Хорошо, вовремя вспомнил, что гривенник тот — счастливый гривенник, что нашел его под ресторанным фонарем и отдать его — отринуть счастье. Быстрей пилота полетел назад, догнал нищего, выменял у него свое счастье на пятиалтынный и не переводя духу — к себе домой на пятый этаж, в комнату. Оттуда только крикнул квартирной хозяюшке:

— Конечно, женюсь! — кинулся в кресло, прижал к губам Милочкину резеду, да и просидел не шевелясь добрых полчаса.

Придя же в себя, походил из угла в угол, вставил резеду в пивную кружку, сел за стол и начал вспоминать. Вспомнил и, приведя мысли в порядок, вынул из стола записную книжечку — голубенькую, величиной в пол-ладони, с тисненым словечком на обложке: Notes, открыл на чистой страничке, подумал еще, потом записал мелкой бисерной прописью:

«Record» с Милочкой . .	80 коп.
Гала-Петер	60 коп.
Резеда	55 коп.

Свежо все это было, а что с утра случилось — облеклось в какую-то туманность и уплыло куда-то, так что опять надо было думать, пока вспомнил:

Мыло и зубочистки . . .	75 коп.
Забытый долг (Писаренко)	40 коп.
Прачке	78 коп.

Нарушалась вся стройность, потому что прачке за белье заплатил Порфирий Максимыч с самого утра, и взялся было Порфирий Максимыч за резинку, чтобы переписать расходы в надлежащей последовательности, да всплыл перед ним лу-

кавый взор Милочки, и засмеялся он, махнул рукой и вслух сказал:

— Все равно. Сегодня все равно... Милая!

И опять взял карандашик и написал просто:

. . . . 15 коп.,

поставив перед цифрой многоточие, потому что никогда не был Порфирий Максимыч тщеславным и даже от записной книжечки скрывал свою благотворительность. Зато на чистой странице, там, где записывались поступления и доходы, вывел Порфирий Максимыч четкой кириллицей, что такого-то числа, в такой-то час и там-то нашел он десять копеек. Монету же десятикопеечную, чтобы ненароком, как давеча, не спустить куда, завернул в бумажку и спрятал в кошелек в особое отделение.

На том встал из-за стола и пошел спать, поставив пивную кружку с резедой в изголовье.

2

Вот так иной раз скачешь на лошади: и страшно и хочется осадить коня, остановить вихревой бег, да только привстаешь в седле, да только гикаешь и несешься, несешься сломя голову.

Порфирий Максимыч Пирожков несся сломя голову.

Назавтра после сладостного беспамятства в «Рекорде» усердно бегал Порфирий Максимович по городу и немало повидал за этот день таких богатств, на которые до того и смотреть не решался. В сумерки забежал домой переодеться, а вечером отправился на извозчике к Милочке.

И так все он тонко проделал, что у Милочки все остались им необычайно довольны, особенно когда принесли из цветочного магазина букет и Порфирий Максимыч расплатился с посыльным в передней.

И хотя ничего еще не было сказано и было все очень чинно, но так вышло, что перед расставаньем остался Пирожков с глазу на глаз с Милочкой и так же, как у ворот — нет, гораздо горячей,— поцеловал ее пухлую ручку.

Нельзя было понять, нельзя припомнить, куда могли деться семьдесят четыре копейки, которых недосчитался Порфирий Максимыч, сидя у себя за столом перед заложенной карандашиком книжечкой. Бился, бился, так и не вспомнил, так и записал:

Неизвестно куда . . . . 74 коп.

Улыбнулся сам себе добро и снисходительно:

— Совсем влюблен!

Безудержно скакал страшный конь, и никогда голубая книжечка преподавателя гимназии Пирожкова не знала за своим хозяином такой расточительности, никогда не предполагала в нем такого легкомыслия, какое обнаружилось в изумительные, поистине изумительные дни эти. Галопировал Порфирий Максимыч Пирожков безоглядно, и все чаще появлялись в его книжечке непростительные для человека нормального записи:

Не знаю куда . . . . 1 р. 02 коп.
Кажется, потерял на телеграфе . . . 20 коп.

Когда же разразилась свадебная горячка — а разразилась она скоро, потому что надо было обвенчаться до успенского поста,— ассигновал Порфирий Максимыч громаднейший куш на венчальные расходы и порешил твердо в подробности не входить, а ясно и коротко обозначить в книжечке валовую сумму свадебных издержек. Но сумма эта иссякла раньше положенного срока, и опять пришлось Порфирию Максимычу взяться за книжечку, и никак не мог он понять, почему же теперь, после свадьбы, пестрели ровные строчки все теми же непростительными формулами:

По-видимому, потерял . . . . . . 50 коп.

Так что на третий счастливейший день брачной жизни не утерпел Порфирий Максимыч и спросил у жены:

— Милочка, я что-то недосчитываюсь нынче, ты у меня не брала?

Милочка назвала его бухгалтером, а он и шутливо и наставительно возразил:

— Всякая жизнь должна строиться на реальных возможностях. Без расчета не может быть счастья.

И всего на одно мгновенье задумалась Милочка, потому что тотчас почувствовала к Порфирию Максимычу смертельный прилив нежности.

Стоит ли говорить о том, что привел бы Порфирий Максимыч все свои мысли в полную гармонию, изжил бы всякую неясность в записях и сделал бы это в скором времени, когда бы не произошло с ним совершенно непредвиденного. Собственно, и случилось-то это не с ним, а как-то над ним, помимо него, обрушившись откуда-то с другого конца света.

Словом, спустя неделю после свадьбы ворвался Порфирий

Максимыч к себе в комнату, бледный и измятый весь, точно переехала через него карета. Ворвался так и, совсем задыхаясь, выпалил:

— Милочка! Ведь я — прапорщик запаса!

Милочка ровно ничего не поняла, но перепугалась страшно и все только гладила рукой по бритой щеке Порфирия Максимыча.

А он вдруг догадался, что прапорщик запаса — не те слова, какие нужно было сказать, и что в другом слове больше страха и больше еще чего-то, и в отчаянье выжал из себя это слово.

Тогда Милочка неслышно заплакала.

3

Было все внове.

Без оружия, помятые, нечесаные, испитые, слонялись из барака в барак, таращили глаза, пожимали плечами, перекорялись. Не понять было, как попали сюда со штабами, генералами, всем христолюбивым воинством.

Шипели, фыркали, утопали в спорах, искали виновника. Так долгие дни. Потом привыкли, стали играть в шашки, чаевничать и воровать друг у друга табак.

В рождественский сочельник убежал из лагеря тонконогий поджарый поручик. Через два дня его привели назад. Вертелись воронками игляные снежинки, лезли в щели бараков, узкие тропы зализывали гладко. На холоду, перед обитой клеенкой дверью, ждал пойманный комендаита лагеря. Где-то потерял поручик фуражку, ветер потешался над его вихрами, к скулам его черной коркой примерзла кровь, катились по ней ясные слезинки. И точно большой кто-то встряхивал поручика за плечи, и тогда он тихо улыбался и тер рукавом обледеневший от слез отворот шинели. В комендатуру ввели его под руки. И когда он скрылся, в сизых квадратных оконцах бараков все еще неподвижные стояли лица и пристально смотрели одинаковые глаза на обитую клеенкой дверь.

У поручика за подкладкой шинели оказалось зашитым письмо. Было оно пространное, обстоятельное и кончалось подписью: твой страдающий, нежный Порфирий. К письму была приложена расписка:

«Обязуюсь по прибытии в Россию уплатить в русской валюте одолженные мне прапорщиком Пирожковым 15 марок жене его Людмиле Пирожковой».

И подпись поручика, которого поймали.

Вечером Порфирия Максимыча увезли в солдатский лагерь.

Далеко от жилых мест лежал этот лагерь. Не было числа длинным баракам, вытянулись они, как гробы в покойницкой, и желтели на снегу штабеля свежего смолянистого тесу.

— Господи, дай сил претерпеть до конца,— сказал Порфирий Максимыч и вошел за проволоку.

Зловонно было в бараке, висел над головами дымный полог, застилал и жалил глаза, и тяжело шевелились в чаду тихие люди.

Много согнали сюда людей, сутулых и тонких, согревали они длинную сырую хоромину вонючими телами своими, ютились по двое на нарах, в тряпье, опорках, липкой грязи. Надрывались и корчились люди в отвратительном кашле, не утихая ни днем, ни ночью, точно строено было зданье это для немолчной бесовской музыки.

И когда темнота накрывала шапкой своею тихий лагерь, забирался Порфирий Максимыч под шинель на узкую нару, под бок к соседу своему нечаянному. Лежал сосед сначала недвижно, дышал горячо и ровно. Зачинал потом креститься мелкими, частыми крестиками, как баба, бормоча шепотом молитву богородице. А дошептав до конца, начинал опять сначала и все крестился, задевая рукою Порфирия Максимыча, крестился и бормотал богородицу. И так долго.

Засыпал потом тяжело, когда в бесовскую музыку кашля вплетался грузный прибой храпа, и, страшным сном мучимый, метался и скрежетал зубами всю ночь. Всю ночь и каждую ночь не мог уснуть Порфирий Максимыч: мешал нечаянный сосед. По утрам же не договориться было с неспокойным, молчал он, сидя на наре, молчал за чисткой бураков, молчал за стройкой новых гробов-бараков. Обретал непонятные слова только ночью в тяжелом сне.

— Дай сил претерпеть до конца,— молился Порфирий Максимыч, будил от страха своего соседа и уговаривал его посторониться, дать покой.

— Посторонюсь,— сказал одной ночью сосед, слез на пол, прикрылся шинелью, забормотал богородицу, громыхая деревянными башмаками, ушел.

А наутро нашли нечаянного соседа Порфирия Максимыча в отхожем месте: удавился он на ременном пояске и оставил записку, но прочесть ее никто не мог — спутаны были слова, непонятны и разорваны знаки.

Стало Порфирию Максимычу просторно, отоспался он за все тяжелые ночи, но не прошло и недели, как дали ему нового соседа.

Был этот юрок и весел и к каждому слову прибавлял почтительное «с». Сошелся с ним Порфирий Максимыч, повел дружбу. И так приятно было ему слышать настоящую человеческую речь:

— Это надо понимать-с: вы человек другой линии-с, ваша линия, Порфирь Максимыч, не та-с, ваше место не тут-с.

Но не взять было в толк, о какой линии вел речь почтительный юркий человечек, потому что не договаривал он своей мысли до конца и начинал всегда беседу по-новому, так что не скучно было Порфирию Максимычу. Всего один раз подошел человечек вплотную к самому важному, и показалось Порфирию Максимычу, что послало ему почтительного друга само провидение, чтобы уразумел он некоторую тайну. Вот что сказал ему друг:

— Очень я часто думал о человеке, о судьбе и о вас, Порфирий Максимыч. Этакую жизнь, как ваша, надо сохранить. В этом есть смысл. И имею я в соображенье, что нужна ваша жизнь для потомства, в лице семьи-с. Понимаю я, что вы редко любить изволите семью-с...

Случился такой разговор в весенний день, когда отогрелась земля, а с нею — люди, и было кругом солнечно. Пришло в этот день Порфирию Максимычу письмо с родины, писала мужу Милочка, что стал он отцом. Бурно было, металось и стенало сердце в радости, подобно ветру апрельскому. Щедро вылил Порфирий Максимыч радость ту почтительному человечку, а тот призрел его теплым словом и даже поплакал вместе с ним и покаялся, что не судьба ему — человечку — испытать счастье отцовское. Тронули Порфирия Максимыча покаянные слезы товарища, не осталось в нем ничего, кроме веры в преданность и дружбу, и западали в голову сердобольные словечки: «Сохранить себя для семьи, Порфирий Максимыч, не чересчур трудно-с. Сухой прутик ломается, сырой — гнется. Надо, Порфирий Максимыч, не расходиться с начальством. У начальства судьба человеков».

В весенний день засыпал Порфирий Максимыч с письмом на груди и апрельской радостью в сердце. В голове же его незаметно передвигались, как шашки, сердобольные словечки: «Претерпеть до конца... Сохранить себя для семьи... Сырой прутик гнется...»

Поджидала рожь жатву. Доброй звериной спиной изгибались, лоснились нивы. Хорошо в такую пору хорониться в полях. Чуть не каждый рассвет открывал в лагере побеги. Уходили люди на волю, уходили домой.

В бараке окна и двери настежь, гуляет по длинной хоромине сухой ветер, прячутся в прохладный полумрак умученные зноем живые человечьи костяки. Порфирий Максимыч лежит на наре, подпер руками голову, щурится на солнечную нитку, продетую в стене сквозь щель сучка. Сквозят, плывут за стеною тихие тени в одежде, как земля, и с лицами, руками, как земля. Отделилась одна, качнулась к бараку, перервала светлую нитку, щекотавшую глаза Порфирия Максимыча, сползла по тесовой стене наземь. Слышит Порфирий Максимыч, как глухо по-кротиному скребет рука землю, слышит, как хрустит что-то за стеною, точно в полной походной сумке. Насторожился, припал к щели глазом, увидел: сидит солдат спиной к стене, облокотился одной рукой на коленку, другой — чуть приметно копается в земле под самой стеною. Лицо бородатое спокойно, будто клонит солдата в дремоту. И, правда, словно преоборол дремоту, встал, потоптался на месте — умял рыхлую землю,— не спеша поплыл от барака.

Бросило Порфирия Максимыча в холод, страшно стало, что близко от него, рядом с ним готовилось что-то тайное.

А ночь принесла с собой страх новый, неодолимый. Уснул барак, и слабо мутнели у дверей молочные огни ламп. Не смыкал глаз Порфирий Максимыч и слышал, как сполз с постели паренек-ефрейтор, распластался на земляном полу, долго, неотступно рыл податливую размягченную землю. Прогромыхал потом чем-то глухо, как в походной сумке, закопал нору, вполз к себе под шинель, и до рассвета заглушенно хрустели на зубах его крепкие сухари.

Неодолимо страшно было это, и нельзя было не сделать чего-то как можно скорее, сейчас же, не теряя минуты. И поутру нашел Порфирий Максимыч бородатого, сказал ему:

— Ты вот, родной, уйти собираешься, сухарики копишь, так я тебя просить буду...

Схватил бородатый Порфирия Максимыча за грудь, впился в него глазами, кровью налитыми.

— Значит, это ты, паскуда?

Забожился Порфирий Максимыч, зачурался.

— Кто? — хрипел бородач.— Кто?

И выдал Порфирий Максимыч, что сосед его, паренек-ефрейтор, крадет по ночам сухари, что закапывает в землю бородатый.

Тогда солдат успокоился.

А вечером советовал почтительный друг Порфирию Максимычу вкрадчиво:

— Доложите-с. И поймите меня, Порфирий Максимыч, правильно: ваша линия не тут-с. Вам место с офицерством, а не в среде таких чинов. Разве возможно здесь? Доложите-с...

Ночью думал Порфирий Максимыч о сыне и Милочке, и перед ним стоял бородач, и в голове его передвигались словечки: «Сохранить себя для семьи... Претерпеть до конца... Дай сил, дай сил...»

И когда вдруг сбоку хряснуло что-то липко и рванулась в сторону черная фигура, больно и не по-человечески взвизгнул Порфирий Максимыч.

Повскакали, задвигались кругом, принесли огонь. Окровенилась подушка и постель паренька-ефрейтора, и лежал он, как во сне, подложив ладонь под щеку, согнув колени.

Выходя с арестованными из барака, прислушивался Порфирий Максимыч к почтительному голоску шагавшего рядом друга, и будто не наяву, а во сне передвигались у него в голове тихие слова, как шашки на доске: «Доложите-с. Ваша линия не тут-с. Сохранить себя для семьи — вот в чем дело».

И после восхода, когда кончили допрос, пришли в барак конвоиры и увели с собой бородача, а Порфирий Максимыч стал собирать свои пожитки...

С этого дня все пошло по-иному. Не мог только добиться Порфирий Максимыч, куда пропал юркий человечек — почтительный его друг, но скоро забыл и о нем.

Поселившись опять в офицерском лагере, начал вести свои записи в голубой книжечке, сохраненной любовно, и делал это с прежней аккуратностью:

> От Датского Красного Креста поступило 2 фунта галетов, $^1/_8$ ф. чаю, 1 ф. песку, 1 пачка бумаги с конвертами.

Зачередовались дни успокоенные, примиренные. Жил Порфирий Максимыч ровно, расчетливо, точно восстал ото сна преподаватель гимназии надворный советник Пирожков.

Вместе с покоем вернулись к нему лучшие чувства, и запестрели в голубой книжечке бисерные строки:

Одолжил штабс-капитану Носкову — $^1/_2$ фунта табаку.
Подпоручику Шмиту — 4 марки на неделю.

И от добрых чувств ссужал Порфирий Максимыч товарищей, затевавших побеги, деньгами и галетами. Но неудачны были побеги в лагере, возвращали беглецов, легко и просто рушили их планы. И тогда Порфирий Максимыч на особой страничке записывал ему одному понятное, неразборчиво.

Милочке же писал со слезами:

«Возложенный на меня судьбою тяжкий крест донесу до конца. Сохранить жизнь свою для семьи — святой долг. Верю, что настанет сладостный час свиданья».

Подымалось над лагерем и уходило солнце. Ступали по земле зимы и весны. И настал час свиданья.

5

Нужно было вылить из груди своей чашу бесплодных мук и мозг освободить от страшной клади времени. Нужно было выпрямиться под грузом пережитого, потому что устал Порфирий Максимыч, потому что долог был его путь.

И вот одной ночью, после беспамятства первых дней свиданья, рассказал Порфирий Максимыч, как оторвала его жизнь от счастья, которое он начал строить с Милочкой, и что сделал он, чтобы связать новым узлом разорванную нитку, сохранить свое счастье наперекор жизни, творившей над ним нещадную расправу.

Боязливо светила окрест себя керосиновая лампочка, разглядывала желтым глазком углы комнаты. Сидел Порфирий Максимыч на диване, обняв Милочку, глядя в глаза ее, словно подмененные разлукой, говорил шепотом, боясь спугнуть покой своего сына, своей семьи. Не ради ли нее претерпел Порфирий Максимыч?

Так легко, так складно текла из уст его гладкая речь, так ровно рассказывала голубая книжечка с надписью: «Notes». Потому что вспоминал Порфирий Максимыч свою жизнь по неразлучной спутнице-книжечке, и было ему, как будто смотрел он живые картины.

В эту ночь увидела Милочка, как, подобно пилоту, несся Порфирий Максимыч после первого поцелуя, как подал он милостыню и догонял нищего, чтобы вернуть себе

счастливую монетку, как сидел потом вечером за столом и выводил в книжечке расходы на цветы и угощенье любимой Милочке.

И еще показалось ей, что видит она, как уводят из лагеря куда-то в темень бородатого солдата и как свернулся на постели, словно во сне, паренек-ефрейтор.

Когда же вполз в высокие окна рассвет и выцвел боязливый глазок керосиновой лампочки, увидела Милочка все и не заметила, как освобожденно, легко заснул рядом с нею Порфирий Максимыч.

В час пробужденья его стальное нависло над окнами небо, холодно, пасмурно было в комнате.

Милочка стояла в изголовье чужая, новая. За ее руку цеплялся ребенок, косил на отца недоверчивым, строгим взглядом.

— Мы уходим,— проговорила Милочка.

И когда понял ее Порфирий Максимыч и бессмысленный ужас вспыхнул во взоре его, еще тише упало последнее слово:

— Прощай.

Чуть слышными шагами ушла Милочка, чуть слышно закрылась за ней дверь. Только звонко спросил о чем-то детский голос: но уже там, за дверью.

Порфирий Максимыч плакал.

Голубой заплаткой бледнела на полу книжечка с надписью: «Notes», висла по углам комнаты холодная хмурь, шевелились за окнами серые брови неба.

— Конечно,— произнес Порфирий Максимыч. Прислушался, как растаял звук его голоса, повторил громче: — Конец.

Потом встал, подошел к столу, коротким движеньем вырвал из тетрадки лист бумаги, написал крупно:

«В смерти моей никого не винить. Разрушена семья, разрушена жизнь, разрушен весь мир. Конец. Порфирий Пирожков».

Поднялся, зашагал. Потом вдруг вспомнил, что нет никого, кто бы понял его страшную, нелепую судьбу, нет никого, кто бы подумал о его смерти. И последнее слово, написанное кровью сердца, последнее слово — кто прочтет его? Разве старая, выжившая из ума квартирная хозяйка, похожая на запятую, ненужная, жалкая старуха.

И когда представил ее себе, вспомнил понятное и простое. Открыл дверь, крикнул в сумерки коридора:

— Я вам вчера пятьсот рублей иа продукты давал, что же вы мне сдачу не принесли?

На раздавшуюся в ответ хрипоту побормотал, что-то соображая, и опять спросил:

— Какими деньгами?

Потом вздохнул, поднял с полу голубую книжечку, сел за стол и начертал бисером:

Милочка унесла с собой 125 рублей.

Подумал, приписал в скобочках:

...(керенками)

и отделил жириой чертой прежиие записи.

1921

Николай Никандров

ДИКТАТОР ПЕТР

I

— Опять проворонили! — кричал он на семью, созвав всех специально для этого в столовую. — Опять недоглядели! Почему дали заплесневеть этому кусочку хлеба! Почему своевременно не положили его в духовку, чтобы засушить на сухари! Может, в трудную минуту он кому-нибудь из нас жизнь бы спас! Зачем же тогда печку топить, дрова переводить, если у вас пустая духовка стоит! И почему я всегда найду, что в духовку поставить, чтобы жар даром не пропадал, а вы никогда даже не подумаете об этом! О чем вы думаете? В-вороны!!!

Мать Петра, старушка Марфа Игнатьевна, его сестра, вдова, Ольга и ее дети, Вася, десяти лет, и Нюня, восьми, думая, что выговор уже кончен, косились потупленными глазами в сторону двери.

— Стойте, стойте, не расходитесь! — останавливал их Петр, подняв руку, как оратор на митинге. — Забудьте на минуту про все ваши дела и выслушайте внимательно, что я сейчас вам скажу, а то потом, боюсь, забуду! Да слушайте хорошенько, потому что это очень важно вам знать! Когда покупаете что-нибудь на базаре, не зевайте по сторонам, а смотрите на гири, которые торговцы кладут вам на весы, чтобы вместо трех фунтов не положили два, вместо двух один! Поняли? Таких, как вы, там обвешивают! Таких, как вы, там ждут! Таким там рады! Р-разини!!!

Все члены семьи поднимали на Петра измученные, просящие пощады лица.

— Да! — всплескивал он руками и загораживал им дорогу. — Еще! Кстати! Вспомнил! Сегодня я купил на обед фунт хорошего мяса, и чтобы оно не пропало даром, я должен вас научить, что и как из него делать! Знайте же раз навсегда, если вам перепадает когда фунт мяса, то вы должны растянуть его по крайней мере на два дня! Один день есть

только бульон с чем-нибудь дешевым, например, с перловой крупой, а на другой день подавать самое мясо, тоже с чем-нибудь таким, что окажется в доме, например, с картофелем! Поняли?

— Поняли, поняли,— усталыми голосами отвечали домашние и, качаясь, как от угара, поспешно уходили из столовой.

А он кричал им вслед, уже с открытой злобой, точно сожалея, что так скоро их отпустил:

— И спички, спички, спички, смотрите, не жгите зря! Спички дорожают! Спичек, говорят, скоро и совсем не будет! Спички надо беречь! За каждой спичкой с этого дня обращайтесь только ко мне! Поняли?

— Петя,— тотчас же возвращалась в столовую сестра.— Петя,— говорила она умоляющим голосом, и ее желтое опухшее лицо принимало мученическое выражение: — Там в кастрюле осталось от обеда немного овощного соуса. Можно его для мамы на вечер спрятать? А то мама за обедом опять ничего не могла есть, ее опять мутило от такой пищи...

— Конечно, конечно, можно,— собирал Петр лицо в гримасу беспредельного сострадания к матери и глубокого стыда за себя.— И я не понимаю, Оля, зачем ты меня об этом еще спрашиваешь! Кажется, знаешь, что для мамы-то мы ничего не жалеем!

— Как зачем? А если ты потом поднимешь крик на весь дом: «Куда девался соус, который оставался от обеда!»

— Я кричу, когда остатки выбрасывают в помойку, а не когда их съедают.

— Мы, кажется, ничего никогда не выбрасываем.

— Как же. Рассказывай.

— И вообще, Петя, я давно собиралась тебе сказать, что мы должны обратить самое серьезное внимание на питание матери. Я никогда не прощу себе, что мы допустили голодную смерть нашего отца. Это наша вина, это наш грех! И теперь наш долг спасти хотя мать.

— К чему ты все это говоришь мне, Оля?— нетерпеливо спрашивал Петр.— Разве я что-нибудь возражаю против этого?

— Петя,— умоляюще произносила сестра,— будем ежедневно покупать для мамы по стакану молока!

— Но только для нее одной!— резко предупреждал брат, нахмурясь: — Слышишь? Только для нее! Если увижу, что она раздает молоко, хотя по капельке, детям или гостям,

подниму страшный скандал и покупку молока отменю! Поняла?

— Мама,— радостно объявляла в тот же день дочь матери.— Петя велел, начиная с завтрашнего дня, покупать для тебя по стакану молока, для твоей поправки. Но только для тебя одной! Смотри, никому не давай, ни детям, ни гостям, а то Петя узнает, и произойдет скандал!

— Почему же это мне одной? — спрашивала старушка, и ее маленькое старушечье лицо с крючковатым, загнутым вперед подбородком принимало оборонительное выражение.— Одна я ни за что не буду пить молоко! Надо или всем давать, или никому!

— Мама, ты же знаешь, что для всех у нас денег не хватит!

— Тогда с какой стати именно мне? Пусть лучше детям: они растут!

— Дети могут есть какую попало пищу, а тебя от плохой пищи мутит!

Дочь убеждала. Мать не уступала.

В спор ввязывался Петр.

— Мама!— кричал он и, как всегда, криком и возмущенными жестами маскировал свою безграничную любовь к матери: — Мама! Ты все еще продолжаешь мыслить по-старому: все для других да для других! Надо же тебе когда-нибудь и о себе позаботиться! Пойми же, наконец, что это старый режим!

— Ничего,— упрямо твердила старушка.— Пусть буду старорежимная. Лишь бы не подлая.

На другой день покупали для старушки стакан молока.

— Этот стакан молока для мамы!— грозным тоном домашнего диктатора предупреждал всех Петр, в особенности Васю и Нюню, заметив, какими волчьими глазами они смотрели на молоко.— Пусть мама из упрямства даже не пьет его, пусть оно стоит день, два, пусть прокисиет, но вы-то все-таки не прикасайтесь к нему! Поняли?

Все слушались Петра, не трогали молока, но и старушка тоже не пила его, убегая от него, расстроенная и испуганная, как от отравы. И молоко, простояв два дня, прокисало.

— Мама!— кричал тогда Петр, почти плача от отчаянья.— Ты же умрешь!

— Вот и хорошо, что умру,— хваталась за эту мысль старушка.— Я уже старая, теряю память, вот вчера в духовке вашу кашу сожгла, забыв про нее. Для меня для самой лучше умереть, чем видеть такую жизнь. А вам без меня

все-таки будет легче: и хлеба и сахара вам будет больше оставаться...

— Мама!— восклицала жалобно Ольга,— что ты говоришь! Мама!— начинала она плакать.— Тогда пусть лучше я умру...— всхлипывала она в платок.— Все равно я постоянно болею и на меня много всего выходит... Вон доктор прописал мне мышьяк и железо...

Ее плач расстраивал остальных, и на глазах у всех показывались слезы. Петр, чтобы замаскировать собственные слезы, поднимал на домашних крик, обличал их в слезливости, слабости, женскости. И в охватившей всех тоске, точно в предчувствии близкой смерти, семья собиралась в тесную группу, все жались друг к другу, дрожали, как в лихорадке, не могли ничего говорить, плакали...

— Но вы-то, вы-то по крайней мере признаете, что хотя я и поступаю иногда с вами грубо, резко, жестоко, как диктатор, но что я это делаю исключительно ради вашего же спасения?— обыкновенно каялся перед своими в такие минуты Петр.

— Конечно, конечно,— отвечала семья.

И в доме на некоторое время водворялось глубокое и грустное спокойствие.

— Опять подали голодающим!— однако вскоре проносился по дому возмущенный вопль Петра, когда, украдкой от него, кому-нибудь из домашних удавалось подать корочку хлеба какой-нибудь несчастной изможденной женщине, еле передвигающей ноги от слабости, с таким же, как и она, высохшим, черным, точно обугленным, ребенком на груди.— Мы сами голодающие!— вопил тогда Петр, размахивая руками.— Нам самим должны подавать! Разве они поймут, разве они поверят, что вы отрываете от себя, что вы отдаете последнее? Да никогда! Эти люди рассуждают иначе! Раз дают, значит, лишнее есть, а раз есть лишнее, значит, надо завтра еще прийти и других подослать, может, даже войти с ними в известную предпринимательскую компанию! И нам теперь от них отбою не будет! Вот что вы наделали! Поняли? В последний и уже окончательный раз предупреждаю: если еще раз увижу, что вы подаете голодающим, то в тот же день брошу к черту ваш дом, пропадайте без меня голодом, а работать зря, работать неизвестно для кого, работать на ветер я больше не желаю!

— Мама,— обращаясь к матери, говорила потом совершенно подавленная Ольга.— Правда, что Петя хочет бросить наш дом? Что же мы без него будем делать? Без него мы

погибнем! Мама, знай: если он бросит нас или, не дай бог, заразится сыпняком и умрет, я тогда лучше сразу отравлю своих детей и сама отравлюсь. А бороться каждый день, каждый час, бороться так, как борется за наш дом Петр, я, заранее объявляю, ни за что не смогу.

— Тогда мы с тобой вместе отравимся,— решительно заявляла старушка.— Детей куда-нибудь отдадим, а сами отравимся.

— Чтобы я кому-нибудь доверила своих детей?— приходила в ужас Ольга.— Да ни за что на свете! Я даже не хочу, чтобы они видели такую жизнь! Что из них может выйти при такой жизни? Воры? Грабители? Нет, пусть лучше их вовсе не будет на свете!

И Ольга всегда держала при себе приготовленный яд.

Иногда Марфа Игнатьевна, пойманная сыном в самый момент оказания помощи голодающим, вступала с ним в спор.

— Петя, ведь жаль смотреть на них!— говорила она.— Я прожила на свете шестьдесят пять лет и никогда не подозревала, что у голодающих такой вид: соединение в одном лице жизни и смерти.

— Жаль?! — гремел Петр со страшным выражением лица.— А вы думаете, мне их не жаль? Вид?! А вы думаете, я мало видел, какой у них вид? Но у меня-то мужской ум, и я прекрасно понимаю, что помочь им мы не в состоянии, потому, что мы сами, вот уже два года, как висим на волоске! Где уж тут другим помогать, лишь бы самим-то спастись! А у тебя, мама, как и у Оли, женский ум, и вы не можете понять, что всех голодающих мы все равно не накормим, а себя между тем подорвем и, может, свалим, но спрашивается: зачем? во имя чего? Чтобы ценой собственной жизни спасти жизнь одному неизвестному прохожему? Но неизвестному и в хорошее время не следует помогать: почем я знаю, кто он, а может, он выродок, чудовище, душитель свободы, кретин? Кажется, уже имеем на этот счет хороший урок! В особенности не надо помогать детям, потому что еще неизвестно, что из них получится! Но что долго распространяться об этом, когда тут все ясно, как день! Тут, мама, одно из двух: или нам умирать, тогда помогайте оставаться в живых неизвестным, быть может, кретинам; или нам жить, тогда не замечайте других, умирающих от голода! Третьего выхода у нас нет! Поняла?

— Понять-то я поняла,— упорно защищалась старушка с глазами, красными от волнения.— Но и ты, Петя, тоже

пойми меня, что я свою порцию хлеба отдала, свою, свою, не вашу! И что я буду сегодня весь день без хлеба сидеть, я, я, а не вы! Вы же от этого ничем не пострадаете, ничем!

— О!— восклицал Петр с досадой, что его опять и опять не понимают.— Как это мы ничем не пострадаем? А лечить тебя, когда ты свалишься от истощения, разве это нам не страдание?

— А вы не лечите.

— А видеть, как ты, наша мать, таешь на наших глазах, разве это нам, детям твоим, не страдание? Ведь мы семья, и когда ты подаешь свою порцию хлеба, ты подрываешь устойчивость всей нашей семьи! Поняла?

— У, какой ты, Петя, стал скупой!— простодушно вставляла свое слово Ольга.— Из-за кусочка хлеба, поданного женщине, умирающей от голода, ты поднимаешь целую бурю! И что это с тобой сделалось? Раньше ты не был таким скупым!

— Скупой?!— приходил в окончательное исступление Петр, начинал метаться по комнате, и лицо его искажалось при этом так, что на него неприятно было смотреть.— Это я-то скупой, я!— возглашал он с трагическим смехом безумца: — Ха-ха-ха! Я! Я, который когда-то, по молодости и глупости, ради счастья других, неизвестных, кретинов, пожертвовал собственным счастьем, сидел в тюрьмах, таскался по ссылкам, заграницам! И теперь, в зрелые годы, бросил свое призвание, свою карьеру, свою личную жизнь, и все только для того, чтобы выручать вас, потому что, к моему великому изумлению, чувство кровного родства ко всем вам и любовь к матери в конечном счете оказались во мне сильнее всех других чувств! Вернее, никаких других чувств, кроме этих, родственных, во мне, как и во всех людях нашего времени, совершенно не оказалось! Я «скупой», а вы «щедрые»: вы тайно от меня подкармливаете собак и кошек со всего двора, а как день-два приходится чай без сахару пить, так опускаете носы и начинаете скулить: как зиму будем жить, если власть не переменится? Как будущий год будем жить? Как через сто лет будем жить? Для вас же хлопочу! Из-за вас же убиваюсь! Об вас забочусь, как бы подольше вам продержаться! А вы: «скупой», «скупой»...

Петр вскрикивал, хватался за сердце, падал в постель, принимал валерьяновые капли, клал на сердце холодный компресс, просил закрыть в комнате ставни, лежал, стонал... И домашние мучались не меньше, чем он, они каялись, что довели его до сердечного припадка, давали себе слово

впредь этого не повторять, говорили шепотом, ходили на цыпочках, гостей еще от калитки отправляли обратно, ничего не могли делать, с раскрытыми от страха ртами то и дело заглядывали в дверную щелочку, не умирает ли по их вине Петр.

II

— Мама!— раздался однажды по-детски умиленный крик Ольги из первой комнаты, в то время, когда ее дети и мать сидели в столовой за ужином, а Петр, больной сыпным тифом, лежал там же в постели.— Мама! К нам тетя Надя из Москвы приехала!

И Ольга, обезумевшая от радости и неожиданности, с высоко поднятыми бровями, с откачнувшейся назад, как от ветра, высокой прической, пронеслась мимо всех через столовую в садик, чтобы отпереть приезжей калитку.

— Подошла к самому окну, не узнала меня и спрашивает: «Петриченковы здесь живут?» — провизжала она на бегу восхищенно.

В столовой поднялась суета.

— Дети!— захлопотала Марфа Игнатьевна.— Вытирайте скорее глаза, щеки, а то тетя Надя увидит, какие вы плаксы!

— Бабуля, а Васька слюнями моет лицо!— пожаловалась щекастая, остриженная под мужичка Нюня.— Надо водой, под умывальником, как я!

— Лишь бы было чисто,— огрызнулся длинноногий остроголовый Вася, старательно вытирая рукавом блузы щеку.— И это не твое дело, ябеда! Ты лучше за собой смотри!

— Тихо!— присев от злости, зашипела на них мать, неизвестно зачем вдруг ворвавшаяся в столовую и тотчас же выбежавшая оттуда.— И это вы при гостях! При гостях! И еще при каких гостях!

Было слышно, как надрывался на улице Пупс, очевидно принимая важную гостью за обыкновенную голодающую.

— От нее прятать со стола ничего не нужно? — суровым голосом спросил у бабушки Вася и такими глазами посмотрел на хлебницу, на сахарницу, словно тоже, как Пупс, готовился их защищать до последней капли крови.

— О! — воскликнула бабушка с упоением.— Она сама

нам даст, а не то что у нас возьмет! Она-то не нуждается, она-то нет, она богатая!

Лай Пупса между тем приближался. Вот он с улицы перебросился в садик.

— Жан, сюда, сюда! Вноси чемоданы сюда!— послышался затем в стеклянной галерее новый приятный женский голос.

Давно не слыхала семья Петриченковых такого голоса, такого выговора! Не здешний, не южный, не крымский, а северный, великорусский, чисто московский был характер речи у тетки. И другим миром сразу повеяло от него, другой жизнью. Пожить бы вот той жизнью! Повеяло шумом, столицей, культурой, хорошим обществом, достатком, воспитанностью, изяществом...

И бабушку охватила дрожь.

— Вася!— зашептала она, побледнев и прислушиваясь к шагам приезжей.— Вася! Поправь сейчас пояс, у тебя пояс криво! А эта дырка откуда? Опять на штанах дырка! У меня уже не хватает ниток ежедневно чинить твои штаны!

— Бабушка, это ничего,— мягко проговорил Вася, поглядывая на двери.— Я этим боком не буду поворачиваться к ней, и она ничего не заметит.

— Бабуля!— в то же время кротко молила Нюня.— А у меня голова не кудлатая?

И она доверчиво подставляла под взгляд бабушки, как подставляют под водопроводный кран, свою бесхитростную квадратную голову.

Но было уже поздно. Бабушка на мгновение совершенно исчезла из ее глаз, словно растаяла в воздухе, как дым, а в следующий момент уже стояла в противоположном конце комнаты, в объятиях приезжей.

— Над-дя!..— сквозь душившие ее слезы повторяла она.— Над-дя!.. Сколько лет!.. Сколько лет не видались!..

— Мар-фа!..— отвечала ей теми же изнемогающими причитаниями гостья.— Мар-финь-ка!.. Двадцать лет!.. Двадцать лет не видались!..

Потом приезжая так же горячо здоровалась с остальными.

Целовалась она по-московски, трикратно, два раза крест-накрест, третий раз прямо. И во время ее поцелуев каждый из семьи Петриченковых почему-то всем своим существом чувствовал, что их страданиям пришел конец,

что теперь-то они спасены и что тетку послал к ним сам бог. Как, однако, вовремя она приехала!

— А это... неужели это ваш Петр?— остановилась гостья перед постелью больного.— Что с ним? Он болен?

— Да,— мучительно произнесла Ольга, с состраданием вглядываясь в исхудавшее, темное, обросшее лицо брата.— У него сыпной тиф.

— У дяди Пети сыпняк!— звонкими голосами прокричали дети, сперва мальчик, потом девочка.

— Как же это он так заразился?— задала москвичка тот, не имеющий смысла вопрос, который обязательно задают люди, когда внезапно узнают о тяжкой болезни или смерти близко известного им человека.

— Очень просто,— вздохнула Ольга.

— Вошь укусила!— бодро объяснили дети, опять один за другим.— Вошь укусила, вот и готово!

И хозяева и гостья, сделав скорбные лица, встали стеной перед постелью больного. Петр смотрел на них с полным равнодушием, как будто не произошло ничего особенного.

— Он тебя не узнает, Надя,— тихонько сказала бабушка гостье.— Знаешь, он у нас целую неделю без памяти был, даже своих не узнавал!— похвасталась она.

— Да, да, «не узнает»,— вдруг грубо передразнил мать Петр, разобравший ее слова не столько по звуку голоса, сколько по движению губ.

И он насмешливо фыркнул носом в подушку.

— О! Узнает!— искренно обрадовалась приезжая и ниже наклонилась к больному: — Здравствуй, Петя!

— Здравствуй,— безразлично ответил Петр тетке и отвел от нее глаза.

— Видишь,— старалась доказать свое бабушка.— Я говорила, не узнает!

Но больной снова, и на этот раз дольше, остановил взгляд на приезжей.

— Что?— воспользовалась случаем москвичка,— что смотришь? Узнаешь? Если узнаешь, тогда скажи, кто я?— спросила она у него тем тоном, каким спрашивают у гадалки.

Петр некоторое время молчал, ничем не изменяя своего апатичного выражения.

— Королева английская,— последовал затем его спокойный ответ.

Дети шумно обрадовались словам дяди Пети, рассмеялись

и с жадностью стали ожидать от него еще чего-нибудь в этом же роде.

— Видишь,— сказала бабушка гостье почти с удовольствием,— принимает тебя за королеву английскую.

— Да он нарочно!— разочаровала всех Ольга.— Он просто злится! Он злится, что его принимают чуть не за сумасшедшего и задают ему подобные вопросы! Разве вы не знаете нашего Петю? Сейчас он дурачит нас, городит вздор, а если мы будем продолжать надоедать ему, он станет отвечать дерзостями! Ну, чего мы обступили его?

— Да, да,— заволновалась москвичка.— На самом деле. Ему нужен покой, уйдем разговаривать в другую комнату.

— Нет!..— повелительно и страдальчески проскрипел голос больного с постели.— В другую комнату вы не пойдете!.. Вы будете разговаривать здесь!.. Мне тоже интересно послушать, что тетя Надя будет рассказывать про Москву!.. По-ня-ли?

— Вот вам и «не узнает»!— заторжествовала Ольга и иронически сделала всем как бы приглашающий жест.

— Поняли?— раздраженно пропищал с постели Петр, не получив в тот раз ответа.

— Поняли, поняли,— замахали на него руками и мать и сестра.— Все поняли, только не кричи.

— Тетей Надей меня назвал!— удовлетворенно просияла москвичка и уже более весело и безбоязненно рассматривала больного.— Петя! Ведь я знала тебя еще гимназистом! А сейчас? Ты восходящая звезда, светило, молодая русская литературная знаменитость, известный писатель, автор замечательных рассказов!

— Тет-тя Надя!— заныл Петр и наморщился, как от боли.— Тет-тя Надя! Ты опоздала!.. Я уже не писатель!.. Теперешней России писатели не нужны!.. Тет-тя Надя!..

— Надя!— поспешно зашептала москвичке на ухо мать больного.— Ради создателя, не поднимай ты этого вопроса перед ним, пока он болен! Это самый страшный вопрос для него, и ты видишь, как он заметался в постели!

Петр ворочался с боку на бок, охал, вздыхал, не находил себе места... Вот он лег на живот, сполз на край кровати, свесил голову вниз, тяжелыми глазами впился в пол...

— Что это?!— вдруг вскричал он с негодованием и еще пристальнее вперил взгляд в пол.— Кто это рассыпал по полу и не подобрал хороший горох?! Уже разбрасываем по полу хороший горох?! Уже разбогатели?!

И он заплакал:

— Ааа...

— Это из-за трех-то горошинок?— пренебрежительно спросила мать, поглядев туда, куда указывал Петр.

— Да, из-за трех!— плакался Петр капризно.— Сегодня три да завтра три, а вы знаете, почем теперь на базаре горох?..

— Что сделали из человека четыре года!— кивнула на брата Ольга приезжей.— Он у нас и когда здоров, весь в этой ерунде!

— Мама,— появился в дверях столовой сын москвички, мужчина лет тридцати двух, держа перед собой загрязненные руки, только что потрудившиеся над укладкой на галерее багажа.— Мама, ты не знаешь, где бы тут у них умыться с дороги.

— Ах!— вспомнила москвичка.— Мне ведь тоже надо умыться. Пройдем в кухню. Полотенце взял? Мыло взял? Зубной порошок взял?

III

В столовой остались одни свои.

— Оля,— распорядилась бабушка.— Поди в садик и разогрей там самовар. Да поскорее!

— Стой!..— резко закричал Ольге Петр.— Погоди!..

И он от слабости закрыл глаза.

— Один говорит «скорее», другой «погоди», и не знаешь, кого слушать!— остановилась, как бы на распутье, Ольга.

Петр продолжал, раскрыв помутнелые глаза и тыча в Ольгу этими глазами.

— Когда вытрясешь на дворе самовар, то сейчас же собери старые угольки!.. А то потом их растопчут ногами!.. И кипяченую воду, если осталась в самоваре, не выплескивай на землю, а слей в кастрюлю: пригодится!.. Поняла?

— Ну, поняла,— нетерпеливо дернулась сестра и вышла.— Совсем сделался ненормальный,— сказала она уже за дверью.

— Все им надо указывать, все им надо разжевывать и в рот класть,— ворчал в то же время Петр, один, с закрытыми глазами.— Сами ничего не могут, ничего!.. Какие-то деревянные!.. Нет, нет, женщина не человек!.. Женщине еще далеко до полного, до готового человека, очень далеко!..

— Мама, а мама,— когда мать вернулась из садика,

заговорил Вася, беспокойно вертясь возле матери и мешая ей работать.— А она нам кем приходится? Теткой? Как же мы с Нюнькой должны ее называть? Тетей Надей?

— Нет, нет,— отвечала рассеянно мать, не глядя на детей и до боли в мозгу сосредоточенно думая о своем: с чего бы еще смахнуть пыль.— Какая там тетя. Она мне тетя. А вам бабушка. Бабушка Надя. А ну-ка, дети, давайте повернем шкап этим боком к гостям, этот бок как будто виднее.

— Ух, ты!— удивился Вася.— Такая молодая, и бабушка!

— А кр-ра-си-вая! — сочно протянула Нюня и по-женски заблистала напряженными глазами.— А н-на-рядная! Мамочка, а мы ее тоже должны слушаться?

— Ну, конечно, должны.

— Дура,— пояснил Вася сестре.— Ведь она нам родная и старшая.

— Мамочка, а того, другого, высокого, страхолюдного, как мы должны называть, который с ней приехал и с линейки на галерею вещи таскал?

— То ее сын и ваш дядя. Дядя Жан. И он вовсе не страхолюдный. Откуда вы слов таких понабрались!

— Значит, и его тоже надо слушаться,— утвердительно, для памяти, произнесла вслух Нюня задумчиво, с рассудительными ужимками...

— Нюнь, а Нюнь,— таинственно нагорбясь и вытаращив глаза, обратился Вася к сестре, как только она упомянула о вещах, которые дядя Жан перетаскивал с линейки на галерею.— Пока они умываются, пойдем-ка на галерею ихние вещи смотреть!

— Идем!— весело подхватила Нюня, и глаза ее залучились.

— Только руками ничего не трогать!— предупредила их мать.

— Нет!— бросили дети.

Согнувшись в поясе, с расставленными для равновесия руками, на цыпочках, дети осторожно ступали по галерее, точно боялись провалиться. Они озирались при этом, прислушивались, вздрагивали, строили гримасы.

— А бо-га-тые!— проговорил Вася, остановившись среди гор чемоданов, корзин, коробок и кое-каких вынутых и неспрятанных вещей.

— А бо-га-тые!— другим голосом повторяла за ним Нюня и испуганно улыбалась.

— Вдруг поймают! Подумают, что хотели украсть.

— Чертяки,— сказал Вася любя, оглядывая скользящим взором богатства приезжих.

— Чертяки,— повторила, как эхо, Нюня с тем же чувством.

И с вытянутыми лицами грабителей, забравшихся в чужую квартиру, бедно одетые, босые, нечесаные, с голодным сверканием детских глазенок, они принялись за более подробное ознакомление с вещами гостей.

— Макинтош резиновый,— отмечал, словно кому-то докладывал, Вася и, повертев в руках вещь, клал ее на прежнее место.

— Плед клетчатый,— в свою очередь докладывала Нюня, с благоговейным чувством прикасаясь пальчиками к каждой вещи.

— Чемодан из чистой кожи,— оповещал Вася.

— Дорожное зеркальце с ручкой,— диктовала Нюня...

— Нюнька!— счастливо заулыбался на вещи Вася.— А сколько все это может стоить, а?

— Понятно,— сказала Нюня, и ее щеки загорелись.— Если бы нам половину всего этого, и то бы!

— А все деньги, наверное, вон в том узеньком красненьком чемоданчике сложены,— догадался Вася.

— Понятно,— опять проговорила Нюня, и ей отчего-то, быть может от такого количества денег, вдруг сделалось страшно.— Вась,— сказала она дрожа: — Довольно.

— Чего довольно?— рассердился Вася.— Почему довольно? Только еще начали.

И, в поисках съедобного, он жадно внюхивался в углы дорожных корзин, задирая вверх край крышки и в образовавшуюся щель запуская свой острый нос. Нюня, склонив в раздумье голову набок, стройненько стояла перед ним, выпятив вперед круглый животик.

— Тут что-то съедобное, должно быть какие-нибудь миндальные сухарики,— раззадоривал всячески брат сестру, сидя с расставленными ногами на полу и натаскивая на свой нос угол корзины.— Вот хорошо пахнет! А-а...— тянул он из корзины носом, как спринцовкой.

— А ну и я!— заблистала расширенными глазами Нюня и, упав на колени, стала жадно тыкать носом в щель корзины.— Все наврал. Никаких пряников миндальных нет. Пахнет чистым бельем.

— Нюнька,— вламывался уже в другую корзину Вася.— Нюхни-ка вот в эту дырку! Скажешь, не шоколадом пахнет?

— А ты крепче держи крышку, не защеми мне нос, а то я закричу

— Я тебе закричу. Я тебе так закричу, что ты живая отсюда не уйдешь,— вдруг захотелось брату помучить сестру при виде ее беззащитности.

— Так и есть: шоколадом!— вскричала шепотом Нюня.— И еще каким!

— Это она нам его на подарки из Москвы привезла,— сказал Вася, стоя на коленях перед корзиной.

— Да, как раз, «на подарки»,— не поверила Нюня.

— Почему «как раз»? Подарки нам должны быть! Она же знала, куда ехала! Она знала, что в доме есть дети! Бежим, идут!!!

Одним прыжком выбрались они из галереи в столовую, сели на стулья и придали себе невинный вид.

— Вовсе никого нет,— после долгого ожидания проговорила Нюня.

— Значит, так что-нибудь стукнуло,— произнес Вася.

Они сидели и скучающе следили за лихорадочной работой старших, бабушки и матери.

Обе женщины усердно терли мокрыми тряпками клеенку на обеденном столе.

— Мама,— спросил Вася,— а они нам заплатят за это?

— За что?— усталым вздохом отозвалась мать, работая.

— А за то, что остановились у нас. За квартиру, за самовар...

— Не говори глупостей!

— Ну, а если они сами предложат тебе на расходы?

— Да не предложат они ничего! Какое вам может быть до всего этого дело!

— Ну, а если они все-таки спросят тебя, сколько тебе дать, ты тогда, смотри, не стесняйся, больше проси. Им ничего не стоит дать, а нам пригодится, мы сможем улучшить себе питание.

— Понятно,— поддержала брата Нюня.— Сто миллионов в сутки проси.

— Ты бы только посмотрела, какие у них чемоданы!— сказал матери Вася.

Мать рассмеялась:

— Ага, значит, вы уже успели все рассмотреть!

Она не кончила фразы, как в столовую вошли приезжие, умытые, посвежевшие, довольные, с полотенцами в руках.

IV

Несколько мгновений они стояли рядом, неторопливо вытирая полотенцами руки и как бы новыми глазами осматриваясь вокруг.

Она была так моложава, а он, напротив, так старообразен, что никто не сказал бы, что это мать и сын.

Петр бросил меткое слово, когда, полчаса тому назад, в шутку назвал свою тетку королевой английской. С правильными, чересчур крупными чертами лица, с ярким румянцем на щеках, она на самом деле носила на себе какую-то печать знатной породистости. В то же время Жан, в противоположность матери, представлял собой типичнейшего плебея: долговязого, сутулого, с длинными руками и удручающе-громадными ступнями. На нем, точно на военном, все было защитно-зеленого цвета: и френч, и галифе, и длинные чулки, и фуражка.

— Ну-с,— сказала Ольга,— усаживайтесь к столу, сейчас будем чай пить.

— Бабушка Надя, садитесь!— наперебой кричали дети, нервно размахивая руками, очевидно все еще находясь под впечатлением чемоданов.— Бабушка Надя, вот здесь садитесь! Бабушка Надя, вот для вас хорошее местечко, вот, вот! Бабушка Надя, в кресло, в кресло, в мягкое кресло! В кресле вам будет покойнее!

А у самих от голодного нетерпения сводило под столом ноги, а в душе закипал бунт. Когда же, наконец, достанут что-нибудь съестное из той дорожной корзины!

— Ого, какие у вас внимательные дети!— поразилась москвичка, важно опускаясь в мягкое кресло, как английская королева.

— Все дело в воспитании,— сказала Ольга и вспыхнула от материнской гордости.— Кто как воспитывает.

— Спасибо вам, детки, спасибо, что порадовали,— ласково благодарила москвичка детей и растроганными глазами смотрела на них, на одного, на другого.— Какие же вы, однако, хорошие, какие вы заботливые! Значит, в провинции еще сохранилась нравственность, несмотря на революцию. И вы всегда такие?— спросила она у детей.

— Всегда! — выстрелили дети дуплетом.

— Ну, хорошо,— сказала москвичка.— Потом я вам дам, там у меня есть в вещах, по плитке шоколада.

— Спасибо, бабушка Надя!— звонко, как соловей, неестественно высоким голосом запел Вася, так что в горле

у него потом запершило, а из глаз покатились слезы.— За шоколад спасибо!

— Спасибо, бабушка Надя!— едва поспевала за ним Нюня, еще более возбужденная, чем он, с пунцовыми щеками.— За шоколад спасибо!

— Ну, когда получите, тогда и поблагодарите,— благодушно засмеялась в кресле москвичка.— А то они уже и благодарят. Да,— вздохнула она и покачала головой,— воспитание великое дело! С него и надо было начать, а не с революции! Вот мой Жан тоже, когда был маленький... Жан!— закричала она сыну рассерженно по-французски: — Не нюхай руки! Это же дурно!

А Жан, едва усевшись на стул, некрасиво нагорбился, провалил грудь, выпятил живот, вытянул далеко вперед свои длинные, тягостно огромные ноги и принялся старательно приглаживать обеими руками пробор на голове, потом с таким же усердием стал нюхать ладони, сложив их лодочкой и прижав к носу.

— Жан!— прикрикнула на него мать во второй раз.— Перестань наконец нюхать! Все обращают внимание!

Жан опять, как школьник, быстро отдернул от носа руки, однако через минуту снова принялся за прежнее, и было это у него вроде болезни.

Не посидев вместе со всеми и пяти минут, все время проявлявший странное беспокойство, точно его где-то ожидали или он кого-то ожидал, он вдруг встал, взял с подоконника фуражку с каким-то нелепым техническим значком и направился к выходу.

— Тебе, конечно, уже не сидится?— спросила мать.

— Я сейчас,— отвечал сын, кособоко остановившись среди комнаты и подергивая кожею щек, то одной, то другой.

— Куда же ты идешь?

— Так. Бриться.

— Да у тебя и брить-то нечего. Вчера брился. Он каждый день бреется!

— Ничего. И куплю папирос. Тетя Марфа, какие папиросы считаются в вашем городе самыми лучшими, самыми дорогими?

При словах «самыми дорогими» Вася и Нюня враз повернулись друг к другу лицами и обменялись многозначительными взглядами.

— Нюнька, понимай! — говорил взгляд Васи.

— Васька, понимай! — говорил взгляд Нюни.

— Жаи,— вполголоса заговорила между тем москвичка с сыном по-французски.— Вот тебе деиьги, и купи чего-нибудь к ужину, получше да побольше, чтобы и самим можно было хорошо поесть и хозяев угостить. Я только сейчас заметила, какие они все голодные. И виниа хорошего возьми, надо их отогреть.

И она подала сыну пачку денег.

При виде денег дети опять, как механические куклы под нажатием кнопки, вздрогнули и впились друг в друга глазами.

— Видала?

— Видал?

Как это всегда бывает в подобных случаях, и гости и хозяева были так взбудоражены неожиданной встречей, что долго ие могли ввести разговор в плавную колею.

— Ну, как вы там в Москве?— несколько раз спрашивала бабушка у москвички, нервно дрожа.

— Да мы там иичего,— несколько раз отвечала москвичка и в свою очередь несколько раз спрашивала: — Ну, а вы как тут, в Крыму?

И тоже нервно покачивала головой, точно заранее поддакивала.

— Прямо из Москвы?— многократно спрашивала Ольга.

— Прямо из Москвы,— многократно отвечала тетка.

— Это хорошо, что наконец-то вы решили пожить у нас в Крыму,—сказала бабушка.— Покупаетесь в море, поедите фруктов...

— О!— воскликнула гостья.— Какой там пожить!

И она рассказала, что пять дней тому назад ею была получена в Москве телеграмма из одного крымского городка, соседнего с этим. В телеграмме сообщалось, что в том городке умирает от сыпного тифа ее дочь Катя, два года тому иазад переехавшая туда с мужем и детьми иа постоянное жительство.

— Катя!— вскричала Ольга.— Катя два года живет в Крыму, а мы-то ничего не зиаем об этом!

— Вот какая теперь жизнь,— пожаловалась бабушка низким ворчливым голосом.— Живем два года рядом, почти что в одном городе, и даже не подозреваем об этом.— Устроили!

— Получив такую телеграмму,— продолжала гостья,— мы с Жаном моментально отправились в путь. А так бы я век не собралась в ваши края. Скажите, могу я тут достать лошадей, чтобы сегодня же ехать дальше?

— Ну, иет,— сказала Ольга и посмотрела иа окиа.— Уже темнеет, а у иас иа шоссейиых дорогах и днем грабежи. Не забывай, что тут горы, ущелья, обрывы, море...

— У иас переиочуете, а раииим утром поедете дальше,— сказала бабушка.

— Но ведь тут недалеко, всего несколько часов езды, и мы торопимся, чтобы застать Катю в жнвых.

— Все равио,— решительио заявила Ольга.— Как вы там ии торопитесь, ии одии нзвозчик ночью вас ие повезет.

— Оии иочуют у иас,— тоном окончательного решения сказала бабушка и сделала соответствующнй жест рукой.

— У иас, у иас!— радостно заулыбалась Ольга.

— У иас, у иас!— закричали и запрыгали иа стульях дети, сверкая острыми глазеиками.

Тетя Надя еще немиого подумала и махиула рукой.

— Ну, хорошо...— произиесла она растрогаино.— Уговорили... Ну, спасибо вам... Всем спасибо... Да-а... Вот этого в Москве уже нет, такого гостеприимства... Там это уже вывелось... А жаль...

— Только не в комиатах!..— иеожндаино нспортил красивую картииу радушиого гостепрннмства Петр своим злым, раздражительиым стоиом.— Пусть ночуют в кухне!.. Только ие иа кроватях!.. Пусть спят иа полу!.. Вы думаете, мало на иих после дороги сыпиотифозных вшей!.. У иас денег нет лечиться!.. Пои-яли?

Тетка перекоифузилась, покрасиела, виимательио посмотрела иа свою грудь, бока, руки...

— На иас-то иасекомых нет,— произиесла оиа трудио, пробуя улыбиуться.

— Зиаем мы!..— отозвался Петр злобио.— На мие тоже ие было, а вот лежу!..

— Что ж,— сказала тетка растеряино н с попыткой все обратить в шутку.— Мы можем н в кухне, и иа полу. Мы люди дорожиые.

— Чтобы я, да положила тетю Надю в кухие и иа полу!— разъяреиио вступнлась за тетку Ольга.— Да нн за что! Да инкогда! Тетя Надя такая хорошая, мы тетю Надю так любнм, мы тете Наде так рады, мы тетю Надю иасилу дождалнсь, н вдруг положить ее в кухне, иа полу! Нн за что! У тетн Нади иичего ие может быть, я тетю Надю не боюсь, я тетю Надю положу иа свою постель, и если я заражусь, то это будет мое дело!..

— Го-го-го!..— бессильно закрутил головой Петр на подушке и истерически провизжал через силу: — Опять!.. Опять понесла!.. Опять женский, слишком женский ум!.. Пойми же, наконец, что тут не ты одна!.. Тут семья!.. По-ня-ла?

— Поняли, поняли, все поняли,— отвечала за Ольгу мать Петра, стараясь как-нибудь замять некрасивую историю.— И ты, пожалуйста, не кричи: здесь глухих нет!— прибавила она строго, на правах матери.

— Я не то что кричать!..— пискливо угрожал Петр, как сильно пьяный, быстро ослабевая.— Я уже сам не знаю, что скоро буду делать с вами, раз сами вы ничего не понимаете!.. Как маленькие, как маленькие!..

Бабушка, наблюдая за больным, сделала всем знак молчать и сама замолчала.

И через минуту уже послышалось сонное сипение больного.

В конце концов потихоньку от Петра порешили, что тетя Надя ляжет в первой комнате, на кровати Ольги, а Жан устроится на галерее, на сдвинутых вместе сундуках.

— Тетя Надя хорошая, у тети Нади ничего не может быть,— еще много раз повторяла вполголоса Ольга, сильно взволнованная...

V

Сидя в кресле и беседуя с Марфой Игнатьевной об общих московских друзьях и знакомых, тетя Надя вдруг испуганно содрогнулась.

— Я замечаю,— заговорила она с чувством глубокой обиды,— я уже давно замечаю, что ты, Марфинька, совсем не слушаешь меня, а вместо этого как-то странно приглядываешься ко мне, к моей шее, вот к этому месту, пониже уха. Скажи, разве там что-нибудь ползет?

И она повернулась тем местом шеи к своей собеседнице.

— Нет, нет... Так... Ничего особенного там нет...— смутилась бабушка, а сама опять уставилась в подозрительное пятнышко.— Ты не должна на нас обижаться, Наденька, но мы тут в Крыму так напуганы сыпным тифом, что мне всякий раз, как я взгляну на тебя, кажется, что по твоей шее пониже уха ползет крупная вошь, а на самом деле там у тебя такая родинка.

Дети обрадовались, засмеялись, вскочили и бросились смотреть на родинку.

— Родинка, как вошь,— с удовольствием отмечали они.

Москвичка тоже облегченно засмеялась и сделала попытку продолжать прерванную беседу. Но разговор уже не ладился, так как с этой минуты все занялись исключительно тем, что начали более откровенно приглядываться к телу и платью друг друга.

— Стойте — стойте, сидите так, не шевелитесь!.. Ан нет, ошибся, ничего нет, значит, это мне показалось, думал: она!

— А ну-ка, станьте к свету, что это у вас там черненькое такое?

— Черненькое не страшно, желтенькое страшно.

Вася был уверен, что он раньше Нюни что-нибудь на ком-нибудь поймает; Нюня была убеждена в обратном, то есть что она раньше. А дело от этого только выигрывало: оба они старались друг перед другом изо всех сил, присматривались к пятнышкам на теле, у себя и у других, прощупывали оборки и швы платьев, своих и чужих, и весело покрикивали при этом:

— Ну, эй, вы, кто там есть, выходите!

— Дети!..— с перекосившим его лицо ужасом возгласил вдруг Петр, приподнявшись на локте с постели: — Дети!.. Объявляю!.. Кто поймает на московских гостях вошь, тот получит пол-ложки сахару к чаю!.. По-ня-ли?

— Дядя Петя, за каждую по пол-ложки?

— За каждую!..

— За живую?

— За живую!..

— Кто будет платить?

— Я!..

— А когда?

— Когда поймаете!..

Петр задыхался от волнения и дальше не мог говорить, а через минуту впал в обморочное состояние.

Обещание премии удесятерило старание детей. Однако зрение их скоро притупилось и стало галлюцинировать.

— Есть!— радостно и испуганно вскричала Нюня, замерев на месте, за спиной москвички.— Есть! Нашла! Вижу! Живая! Самая сыпнячая! Ишь, проклятая, сидит, глядит! Взять? Снять? Дать? Или сами возьмете?

Все вскочили с мест и осторожно подошли к креслу приезжей. А приезжая сидела в том же положении, в каком ее застало оповещение Нюни: окаменевшая, с остановив-

шимися глазами, скованная по рукам и ногам чувством ужаса.

— Возьмите!— деревянным голосом произнесла гостья, боясь шевельнуться.— Снимите!

— Где? Где?— щурили глаза и бабушка, и Ольга, и Вася, на всякий случай держась поодаль и вытягивая вперед одни головы.

— Вон она, вон!— указывала Нюня счастливым лицом.— Ползет!!!— вдруг вскричала она диким голосом и затопала ногами на месте, как бы бессильная остановить уползающее насекомое.

Все шарахнулись в стороны и тотчас же снова стали приближаться к креслу с дорогой гостьей.

— Да ты сними ее,— мужественным голосом посоветовал Вася сестренке и побледнел от страха.

— Да!— окрысилась Нюня злобно.— Как же! Сними-ка сам!

— И сниму!— сказал Вася и почувствовал, как у него задрожали коленки и как все перед ним заволоклось туманом.— Мне это ничего не стоит.

И одним махом, как проглатывают касторку, он двумя пальцами захватил с заледеневшего плеча москвички микроскопически малый предмет

— Руками! Он руками!— понеслись со всех сторон крики, как на пожаре, когда какой-нибудь смельчак бросается в самый огонь спасать ребенка.— Он с ума сошел! Она ведь заразная! Он хотя бы бумажкой!

— Ниточка,— с улыбкой доктора, не боящегося смерти, произнес Вася, разглядывая на своей ладони, как на оперативном столике, страшную находку.— Такая ниточка, как вошь.

И он с каждой минутой принимал все более неустрашимый вид. Плечи его и голова так и ломились назад от сознания собственной великой силы. А голос приобрел какой-то сладкий покровительственный тон.

Старшие, разобрав, в чем дело, облегченно вздохнули, расправили спины, заняли свои места.

— Тетя Надя хорошая, у тети Нади ничего не может быть,— опять затвердила Ольга.

— Как вы меня напугали!..— замогильным голосом заговорила тетя Надя, все еще не двигая ни одним членом, как загипсованная.— Как вы меня напугали!.. Кажется, никогда в жизни я так ни от чего не пугалась, как сейчас!.. Как это вредно может отразиться на моем сердце!.. И сама

я никогда не придала бы этому такого большого значения, если бы даже и нашла на себе насекомое, а это вы навели на меня такой страх, вы, вы!.. И чего я так испугалась?.. Уфф...

— Это все противная Нюнька,— сказала Ольга и поискала глазами девочку.— Глупая ты!.. Зачем ты сочинила, что она ползет? Разве ниточка, ворсинка от материи, может ползти?

— Я не сочинила,— протянула плаксиво в нос Нюня и опустила лицо, как наказанная.— Мне так показалось.

— Это ей со страху,— снисходительно улыбнулся в ее сторону одним уголком рта Вася.

— А Вася-то ваш какой молодец! — вспоминала москвичка.— Вася-то!

Вася герой! Пусть теперь московская богачка попробует оставить его без подарка! Тогда она увидит, что он ей сделает!

— Я ничего не боюсь,— возбужденно, как в чаду, не отдавая себе отчета в том, что говорит, рекомендовался Вася москвичке.— Я все могу! Я и тарантулов в руки беру и гадюк! Ночью один пойду на кладбище, опущусь в любой склеп и просплю до утра на гробу со свежим покойником!

— Довольно хвастать! — прикрикнула на него мать и отстранила его рукой, как вещь, на задний план.— Расхвастался!

— Я правду говорю! — оправдывался мальчик с горящими ушами.— Я могу это доказать!

— Поймали? — очнувшись, застонал из своего угла расслабленным голосом Петр.— Убили?.. А руки потом хорошо вымыли?.. С мылом?.. А потом посмотрели, нет ли там еще?.. Может, там, у тетки на плече, их целое гнездо!.. Поняли?

Английское королевское лицо тетки густо вспыхнуло.

— Что он говорит!— не сразу нашлась она, что отвечать, и едва не заплакала.— Что он говорит, этот невозможный человек!— поднимала она и поднимала голос и сосредоточенно слушала себя.— У меня на плече целое гнездо насекомых! Вот что значит больной человек, вот что значит не сознает, что говорит! Да-а, теперь-то я вижу, как вам с ним должно быть тяжело, да-а...

— Поймали, поймали, успокойся, не кричи,— говорили Петру мать и сестра.— Но только то была не вошь, а ниточка, Нюнька ошиблась.

— Такая ниточка, как вошь,— прибавила Нюня, смакуя слово вошь.

— Дети!..— в первый раз строго обратилась к детям москвичка.— Не повторяйте вы так часто это слово: вошь. Это нехорошее слово, некрасивое, неприличное, грязное! Когда мы росли, у нас в доме никогда не произносилось это слово. А у вас только и слышишь: вошь да вошь.

— Как же ее тогда называть?— спросил Вася.— Ведь называть ее как-нибудь надо, раз она водится!

— Называйте: насекомое.

— Насекомая вошь,— тихонько заучивала Нюня, с прежним приятным чувством напирая на слово вошь.

— Тет-тя Над-дя!..— беспокойно заметался в постели Петр, точно ему вдруг сделалось нехорошо.— Тет-тя Над-дя!..

— Что тебе? Что, голубчик?— со всей любовью устремила к нему участливый взор москвичка.— Что, милый?

— Не сиди в мягком кресле,— заныл Петр,— а то ты нам напустишь туда вшей!.. Пересядь сейчас на простой стул, пока я не забыл!.. Поняла?

— Насекомых вшей,— поправила его Нюня, упиваясь непонятной сладостью грязного слова.

Тетка так и запрокинула за спинку кресла голову, чтобы не задохнуться от обиды. Глаза ее, обращенные в потолок, вопили от незаслуженного оскорбления!

— Поняла?..— истерически переспросил Петр.

Ольга подошла к тетке, поцеловала ее в лоб и со слезами мольбы на глазах прошептала ей что-то на ухо.

— Хорошо, хорошо, Петя,— превозмогая себя, сказала громко тетка, поднимаясь, как парализованная.— Вот, видишь, я пересаживаюсь на стул.

— Вас-ся!— нараспев выдыхал из себя слова Петр.— Вынеси это кресло в садик!.. Пусть оно там после тетки проветривается!.. Понял?

Вася вскочил, сделал ногами сложное антраша, дал щелчок Нюньке, запел, бесконечно довольный, что ему нашлось дело, и поволок кресло в сад. Он разговаривал с креслом клоунским языком и зачем-то, должно быть для прибавления себе работы, переворачивал его ножками, то вверх, то вниз, словно катая по полу шар.

— Тет-тя Над-дя!..— уже не оставлял в покое москвичку Петр.— Смотри, не вешай своих платьев на наши вешалки!.. Тет-тя Над-дя!.. Не клади своих шляп рядом с нашими

шляпами!.. Тет-тя Над-дя!.. Ты особенно много не ходи по квартире, а старайся придерживаться какого-нибудь одного места, чтобы нам потом после тебя легче было протирать керосином!.. Тет-тя Над-дя!!!

VI

Возвратился Жан, выбритый, припудренный, с напомаженным, лоснящимся боковым пробором на голове. Он весь нагружен был кульками с закусками, сладостями, вином...

— Пьем в честь неожиданной встречи и радостного свидания родственников!— через минуту прокричал он первый тост.

— Ну, дай бог, дай бог,— среди звона посуды раздались негромкие расчувствованные голоса женщин.

Все, не исключая и детей, выпили первую рюмку залпом. Потом с особенным аппетитом, как некую редкую драгоценность, слили в рот еще одну темно-красную капельку, набежавшую со стенок рюмки на дно.

. Уже первая рюмка вина произвела на всех самое оживляющее действие. Она сразу смыла с души какую-то застарелую копоть. И всем стало ясно, что вино-то и было им нужнее всего. Нечаянно сделали важное открытие, что при такой жизни, чтобы не погибнуть, надо побольше пить вина.

— Ради одного этого вина стоит переехать в Крым на постоянное жительство,— сказал Жан, по-мудрецки покачивая головой, когда, после выпитой рюмки портвейна, все стали высказываться по поводу замечательных качеств бывшего удельного вина.

Потом пили одни старшие.

— За скорейшее выздоровление дорогих сыпнотифозных больных: Петра и Кати!..

— За здоровье дорогих хозяев дома!..

— За благополучное окончание путешествия дорогих московских гостей!..

— За то, чтобы жизнь в России наконец наладилась, все равно как; чтобы гражданская распря чем-нибудь закончилась, все равно чем; чтобы снова можно было почувствовать себя хотя немножечко человеком!..

И после каждого нового выпитого стакана казалось, что эта возможность хорошей мирной жизни становится все ближе. И чтобы это приближение шло еще быстрее, старались пить как можно больше и тем как бы пробивать себе путь к желанному царству прекрасного.

— Жан,— сказала Марфа Игнатьевна, захмелевшая после двух рюмок портвейна, сладкого, как варенье, и прилипающего к пальцам, как смола.— Жан, ты вот живешь в Москве, везде там бываешь и, наверное, занимаешься политикой в этих дурацких, как их там, профсоюзах или собесах, что ли. Скажи, неужели мы так и не дождемся никакой перемены?

— Тетенька Марфинька, сестричка Оленька!— не слушая их, так же горячо обращался к ним Жан, пьяненько навалясь грудью на стол и щуря глаза.— Вы вот тут долго живете и всех знаете, познакомьте меня со здешними барышнями!

— Ха-ха-ха!— раскатилась смехом москвичка с блистающими от выпитого вина глазами, болтавшая в это время о каких-то пустяках с детьми.— Ха-ха-ха! Ему завтра утром ехать, а он знакомиться с барышнями вздумал! Что же ты успеешь?

— Все успею,— пролепетал Жан, непослушными глазами ища возле себя мать.— И что из того, что мне завтра утром ехать? Я могу и остаться, если понравится какая!

— Ты-то можешь!— опять расхохоталась мать.

— Разве Жан еще не женат?— строго спросила бабушка.

— Какой там не женат!— махнула рукой москвичка и, отхлебнув из стакана вина, весело продолжала: — Не послушался меня, женился, и вышло, как я предсказывала: два раза был женат, и оба раза жены уходили от него!

И она с любовью и гордостью матери посмотрела внимательным взглядом на всю его громадную, нескладную фигуру, скрюченно навалившуюся на стол.

— Жан, сиди прямо.

Жан выпрямился.

— Жан убери руки со стола.

Жан опустил под стол руки.

— Жан, не нюхай.

Жан оторвал от носа ладони.

— Отчего же все-таки они ушли от него?— допытывалась бабушка, разглядывая Жана злыми глазами, как закоренелого преступника.

— Оттого что глупые,—ухмыльнулся Жан в стол.— Но ничего. Вернутся.

— Обе?— сострила мать и посмотрела, смеются ли.

— А дети-то у него были?— сурово продолжала бабушка.

— Были. По ребенку от каждой.

И три женщины заговорили о несчастной судьбе детей разведенных супругов.

Жан, как всегда, не мог усидеть на месте, вздрагивал, озирался, менял на стуле позы, поправлял на голове пробор, нюхал руки, потом порывисто встал, взял фуражку и, сильно опьяневший, раскорячась, как на качающемся корабле, поплыл к выходу.

— Так поздно?— спросила мать.— А розы зачем?— вскричала она, заметив, как он украдкой достал из-под своей фуражки букет великолепных свежих роз и захватил их с собой.

— Так,— намекающе подмигнул он одним глазом сразу всей столовой и вышел.

— О-о!— хвастливо запела мать.— Уже-е! Уже познакомился! Уже купил розы! Уже назначил свидание! Не успели приехать! Каков? И он у меня везде так! И он у меня всегда такой! Ему и жениться не надо! Я ему и говорю: «Жан, зачем тебе жениться?» Я ему и говорю...

Она внезапно запнулась, смолкла, взгрустнула, как это часто бывает с людьми сильно опьяневшими, и медленно, в глубоком раздумье, потянула из стакана.

— Разболталась я...— с укором себе, низким-низким контральто произнесла она.— И слишком много хохочу я сегодня... И говорю глупости... Как-то там Катя сейчас?.. Жива ли...

Наступила пауза. Было слышно, как дышал в углу комнаты спящий Петр.

— Оля,— распорядилась бабушка.— Принеси сюда большую лампу, а то что мы сидим при коптилке? Сегодня праздник: тетя Надя приехала.

Зажгли большую лампу, которую не зажигали больше года. Закрыли ставни. И сделалось еще уютнее, еще милее.

— Я согласна сегодня всю ночь не спать,— сказала Ольга,— лишь бы с тетей Надей разговаривать!

Тетя Надя молча потянулась к ней, и обе женщины крепко обнялись и поцеловались. Когда они разнялись, на глазах у них блестели слезы.

— Молока в чай гостям не наливать!..— проснулся и издали уставился пылающими глазами на тетку Петр.— Молоко берется только для больных!.. Так что стесняться тут нечего!.. Если вам стыдно об этом им сказать, то вот я им это говорю, мне не стыдно!.. Поняли?

— Понять-то мы, Петя, поняли,— отвечала бабушка, перемигиваясь с москвичкой.— Только у нас тут нет никаких

гостей, а все свои: наша семья да тетя Надя с Жаном из Москвы.

— А Раиса Ильинишна?..— пропыхтел больной трудно.

— Тут никакой Раисы Ильинишны нет,— продолжала перемигиваться с приезжей бабушка.— Разве ты не видишь? Это не Раиса Ильинишна, это наша тетя Надя, московская.

— Ага...— протянул Петр, успокаиваясь, и, с видом хорошо выполненного дела, повернулся на другой бок.— А то я вижу, как будто Раиса Ильинишна... И молошник наш возле нее стоит...

— Вот видишь,— тихонько обратилась к тетке Ольга.— Он проспал несколько минут и уже забыл, что ты у нас, принял тебя за чужую.

— А кто такая Раиса Ильинишна?— поинтересовалась москвичка.

— А это тут есть одна убогая женщина, старушка-горбунья,— рассказала Ольга.— Ей восемьдесят лет, а она все еще продолжает давать уроки музыки, конечно, за гроши и, конечно, голодает отчаянно. Петя не любит ее за неискренность, за то, что она всегда приходит к нам с предлогами. Говорила бы прямо, что пришла выпить чаю. А она, еще не переступив порога дома, еще в дверях, еще в шляпке и даже ни с кем не поздоровавшись, уже кричит предлог, с которым пришла. То выдумает, что ей надо навести у нас какую-нибудь справку, как будто у нас справочная контора. То якобы сообщить, что где сегодня дешево продается из продовольствия. То еще что-нибудь.

— А мне таких людей жаль,— сказала бабушка.— У нас хотя кипятку каждый день вволю, а у них и угля на самовар нет!

— Мама, мне тоже жаль!— вскричала Ольга с сочувствием.— Но зачем она врет!

— Молошник...— пробормотал уже во сне Петр твердо.— Наш молошник...

VII

Когда гору закусок, принесенных Жаном, общими силами переносили с подоконника на стол и перекладывали из бумажек на тарелки, у Петриченковых, взрослых и детей, ныли все внутренности от желания есть!

И уже тогда в их мозгу беспокойно копошилась одна большая, важная, практическая мысль. Как поступят

московские гости с остатками закусок, если за сегодняшний вечер не удастся съесть всего: возьмут ли остатки с собой или оставят им? Вопрос имел громадное значение! Если москвичи мечтают забрать остатки продуктов с собой, тогда необходимо напрячь все силы, чтобы в этот же вечер покончить со всем, что есть на столе. Если же гости окажутся порядочными людьми и не погонятся, как нищие, за остатками, тогда сегодня надо стараться истреблять провизии как можно меньше, чтобы потом самим, без гостей, все это съесть спокойно, со вкусом, без той чисто желудочной гонки, которая без сомнения сейчас между ними начнется. В тех же хозяйственных целях было бы полезно незаметно отсунуть что-нибудь из закусок в сторону и припрятать...

Детей, кроме того, не переставал мучить страх перед возможностью вмешательства в этот семейный пир Петра. Что стоит этому человеку взять и скомандовать с постели: «Эй вы, женские умы! Вам говорю! Вас учу! Сейчас же все продукты, купленные Жаном, в том числе и пирожные, убрать со стола и спрятать на запас в кладовую! А на сегодняшний вечер выдам всем, и москвичам, строго порционно: по восьмой фунта хлеба, по пол-ложки сахару и по одной, с мизинец величиной, копченой рыбке — барабульке!..»

— Помните!..— словно даже во сне учуяв детские мысли, детские страхи, вдруг страшно заволновался в бреду Петр.— Всегда помните!.. Каждую минуту помните!.. Теперь так трудно все достается!.. Теперь так случайно все достается, и деньги и продукты!.. Так что на каждую получку денег и на каждое попавшее в дом продовольствие надо смотреть как уже на последнее!.. Слышите: на пос-лед-нее!.. Поэтому, боже вас сохрани, съесть когда-нибудь что-нибудь беспорционно или сверхпорционно: этим вы укоротите жизнь всей нашей семье!.. Поняли?

Дети переглянулись.

— Это он во сне,— успокоительно произнес Вася, видя испуганное лицо сестры.

Еще более равнодушно прослушали это бредовое предупреждение Петра Ольга и Марфа Игнатьевна. Теперь-то это к ним не относится. Теперь-то они не погибнут, не вымрут. Теперь-то они спасены. Доказательства этому вот, налицо: тетка, стол; стол, тетка...

От вина, от стола, от москвички хозяева так обалдели, что не знали, на что больше смотреть, на добрую ли тетку, на ореховую ли халву...

Даже бабушка, Марфа Игнатьевна, самая терпеливая

в доме и не жадная, и та на этот раз изменила себе. Точно для совершения убийства, крепко захватив нож в одну руку, вилку в другую, только для себя, не заботясь сверх обыкновения о других, она некрасиво вылезла локтями на стол и, придвигая к себе овальное блюдо со свежим сочащимся окороком, весело и бойко, как когда была молодая, тараторила:

— Люблю ветчину. Жаль только, нет горчицы. Но и без горчицы будет хорошо.

— Пей, Марфинька, пей, чего же ты так мало пьешь,— наливала ей рюмку за рюмкой добрая гостья.— Бог знает, когда мы с тобой еще встретимся. Да и встретимся ли когда?

Дети вели себя за столом идеально. И вместо былой разделявшей их вражды, теперь между ними был крепкий союз. «Вась, если мне будет чего-нибудь не достать рукой, тогда ты мне подашь. А если что-нибудь из вкусных вещей будет стоять далеко от тебя, тогда я к тебе пододвину».— «Ладно. Только ты, Нюнь, смотри, про ту банку с вареньем молчок. И завтра молчок, всегда молчок, всю жизнь молчок! Иначе ни тебе не жить, ни мне!» — «Хорошо. Если правильно поделишь. Но в той банке не варенье, а вовсе компот».— «Черт с ним, пусть будет компот».

Дети первыми примостились к столу так прочно, словно готовились тут зимовать!

Дети выбрали себе самые выгодные, самые выигрышные места, откуда и обозревать стол было лучше и достать рукой легче!

Дети присосались к столу пустыми животами, как порожними насосами, и только ожидали разрешения, когда можно начать качать!

— Смотрите мне, не срамите меня, первыми есть не начинайте, ждите, пока бабушка Надя что-нибудь в рот возьмет!— звучал в их ушах закон, предупреждение матери.

И они ждали, терпели, молчали, несмотря на то, что это стоило им и сил и здоровья. Но зато что с ними было потом, когда бабушка Надя наконец взяла в выхоленную руку первый кусок и не торопясь положила его в деликатный рот!

— Нюнь,— тихонько шипел под стол Вася.— Не зевай. Ты еще этого не пробовала.

— Как?— удивилась Нюня.— Разве я этого не пробовала?

— Конечно, не пробовала. Я все вижу, что ты ешь.

— Вась! А отчего ты это кушанье пропустил?

— А разве я его пропустил?

— Конечно, пропустил. Я все вижу, что ты ешь.

И дети, и взрослые ели нездорово, тревожно, спеша, часто даже не ощущая вкуса того, что ели, лишь бы съесть, словно дело происходило в станционном буфете после второго звонка и в ожидании третьего, когда и бежать в вагон к вещам было надо и денег, заплаченных в буфете, было жаль.

— Не в то горло попало,— вдруг во всеуслышанье доложила Нюня, с грохотом попятилась от стола вместе со стулом далеко назад и, согнувшись над полом под прямым углом, побежала с переполненным ртом в кухню, к помойной лоханке.

— В другой раз не будешь так торопиться,— бросил ей вслед Вася, довольно улыбаясь и поспешно жуя.

— Ты больше меня съел!— каким-то чудом пробормотала Нюня с набитым ртом, полуобернув назад озлобленное лицо и не разгибая спины.

Взрослые не отставали от детей. И насколько толсто намазывала себе хлеб сливочным маслом Марфа Игнатьевна, вообще любительница этого продукта, настолько же, никак не тоньше, тотчас же старалась намазать себе и Ольга, у которой желудок вовсе не переваривал жиров.

— Масло хорошее Жану попалось,— проговорила она при этом для вида, чтобы подумали, что она не ест, а только пробует, как специалистка-хозяйка.

— Да,— промычала ей бабушка, жуя.— Масло действительно...

— Масло хорошо есть с редиской!— услыхав про масло, жадно кинулась к масленице и Нюня, чтобы те всего не съели.

— Редиска?— передернулся, как ужаленный, Вася.— Нюнь, подтолкни-ка ко мне миску с редиской. А то другие уже ели, а я даже не пробовал.

— Но у тебя во рту уже пирожное!

— Какая разница? Давай редиску!

И, что было удивительнее всего, гостья тоже ела хорошо, не хуже хозяев!

— Не замечаете ли вы,— как бы в объяснение этого обстоятельства, говорила она, ловко сдирая вилкой шкурочку с маринованной скумбрии.— Не замечаете ли вы, что сейчас, по случаю голода, в России едят так много, как никогда?

Каждый рассуждает, вероятно, так: «Бог его знает, что будет дальше, надо на всякий случай съесть, хотя и не хочется». И едят, что попало, где попало, когда попало. По крайней мере у нас так. А у вас как?

— У нас?— переспросила Ольга и дала пройти по пищеводу недожеванному куску.— У нас, конечно, кто может, тот тоже ест теперь больше, чем всегда. Но мы едим не больше, а много меньше, чем ели прежде. А думаем-то об еде, конечно, больше, чем думали прежде. Прежде ели и почти не замечали этого; так сказать, делали это между прочим. А теперь, вот уже скоро два года, мы ни о чем другом не думаем, кроме как об еде. За два года ни одной минуты, свободной от этой мысли! За два года ни одной другой мысли!

— Да...— помотала головой бабушка над тарелкой и вздохнула: — Наделали!

Ели и тоном далеких поэтических припоминаний говорили, что почем стоило раньше и что почем стоит теперь.

— Раньше возьмешь на рынок рубль и принесешь домой полную корзину.

И следовало соблазнительное перечисление всего, что было за рубль в корзине.

— Раньше оставишь в ресторане два рубля, а чего только не паешь. и не напьешь там за эти два рубля!

И следовало аппетитное описание всего, что елось и пилось в ресторане.

— Раньше...

— Раньше...

VIII

— Спокойной ночи, тетя Надя!— подошел и поцеловался с москвичкой Вася, плохо видя от желания спать.

— Спокойной ночи, тетя Надя!— встала и проделала то же самое Нюня, сонливо пошатываясь.

— Да не тетя Надя, а бабушка Надя!— уже в который раз поправила детей Ольга.— Бабушка Надя!

— Да...— едва дети ушли, меланхолично вздохнула москвичка и подперла руками красивую голову, склоненную над столом перед стаканом белого вина.— Вот уже и в бабушки попала!.. Боже мой, боже мой, как летит время!.. Неужели я такая старая?.. Даже страшно... А ведь я все еще чего-то жду... Оленька, Марфинька, дорогие мои, давайте выпьемте, чтобы нам не было так страшно...

Она расчувствованно чокнулась с хозяйками, выпила, нахмурилась, трагически застонала, как будто приготавливаясь к трудной интимной исповеди, и, тоном глубокого удивления перед собственной жизнью, начала вспоминать вслух, давно ли было в ее жизни то, давно ли было это...

Вино, ночь и воспоминания прошлого настраивали всех на чуточку грустный, задушевно-искренний тон. То и дело раздавались вздохи сочувствия к людям, о которых вспоминали...

И сыпались, сыпались вопросы хозяев; и давались, давались ответы гостей... И так волнующе-хорошо было в моменты общего молчания вдруг, неизвестно почему, всем своим существом почувствовать глухую-глухую провинцию, глубокую-глубокую ночь...

— Ну, а вообще-то как идет жизнь в Москве, хорошо или плохо? — после одной из таких пронизывающих пауз задала вопрос Ольга.— Может быть, от тебя, тетя Надя, мы услышим наконец об этом правду. А то один говорит, что в Москве замечательно хорошо, а другой, что очень плохо. И не поймешь, кто прав.

— Правы и те и другие,— сказала тетя Надя.— Потому что сейчас такой век, когда каждый судит о Москве по себе: если ему удалось в Москве устроиться материально хорошо, значит, и Москва хороша; а если ему в Москве не повезло, значит, Москва никуда не годится.

— Тет-тя Над-дя!— завозился и заохал в постели Петр, как бы спросонья: — Громче про Москву!.. Громче!.. Поняла?

Ольга подмигнула москвичке, чтобы та не особенно обращала внимание на слова Петра.

— Он все равно через минуту снова уснет,— шепнула она.

— Ну, а тебе-то, Надя, как в Москве? Хорошо?— продолжала спрашивать бабушка пытливо.

— Оч-чень!— воскликнула москвичка с придыханием и, заулыбавшись, на несколько мгновений зажмурила глаза.— Очень хорошо!— сладко содрогнулась она с закрытыми глазами.

У хозяек, было видно, даже хмель прошел от такого ответа гостьи. Обе они пристально и изучающе уставились на нее. Тетка хвалит теперешнюю Москву! Что это? Не коммунистка ли она? И не наболтали ли они при ней чего-нибудь лишнего?

— В Москве жизнь нисколько не похожа на вашу

жизнь,— продолжала москвичка, раскрыв глаза.— Там отлично! Москва сыта, обута, одета. Москва работает, служит, спекулирует, учится! Москва приспособилась! Москва живет вовсю!

Дверь в столовую распахнулась, и на пороге комнаты появилась сильно согнутая наперед фигура Жана, с налитыми от натуги глазами и с большим простым мешком на спине, набитым какими-то твердыми, угловатыми, тяжелыми вещами.

— Вот он, представитель Москвы!— торжественно указала на сына захмелевшей рукой гостья и рассмеялась.

Жан с грохотом свалил мешок в углу и вытирал со лба пот.

— А ну-ка, покажи, что ты там такое принес?— спросила у него мать.— Хотя нет, не надо, это еще успеется, это скучная проза,— лениво потянулась она.— Ты лучше сперва нам расскажи, куда ты ходил с розами?

— Так. Там. К одной,— пренебрежительно бросал короткие слова Жан с улыбкой мужчины, якобы старающегося скрыть от других, какой он сейчас имел великолепный успех в одном амурном дельце.

— Кто же она такая?— впилась в него оживившимися глазами мать.— Интересная?

— О-о!

— Ну и что же?

— Ну, и пристала: «люблю» и «люблю». Насилу отвязался.

— Это от голода,— сказала Ольга, несколько испортив впечатление.

— Нет!— почти яростно вступилась мать за сына, и в глазах ее мелькнул злой огонек.— Нет! В него все влюбляются, каждая, всегда! Жан!— обратилась она к сыну так же разгоряченно по-французски.— Только не нюхай пальцы! Пальцы сейчас убери от носа! Это так портит тебя, так портит!

Жан спрятал руки под стол.

— А может быть, она какая-нибудь такая?— спросила бабушка брезгливо и сплюнула в сторону.

— Нет,— спокойно сказал Жан, навалившись грудью на стол и жмурясь, как кот.— Она очень порядочная. С золотым медальоном на шее.

— Но ты наш адрес все-таки таким не давай,— предупредила бабушка.— Ну их совсем. С медальонами их.

И, обратясь к матери Жана, она спросила недовольно:

— Жан где-нибудь служит?

— Да,— засмеялась мать и с удовольствием поглядела на сына.— Служит.

— Где?

— Где-то там, я даже не знаю где. Знаю только, что он там у них каким-то главным. Все остальные его подчиненные. Но он больше всего мне помогает, в моей работе.

— А-а-а,— приятно поразилась Ольга и новыми глазами посмотрела на Жана.— Вот это хорошо! На сцене тебе помогает? В музыке? Он играет? Поет?

— Да,— засмеялся Жан, уставив на Ольгу широко раскрытый рот и расправляя двумя ладонями пробор на голове.— В музыке помогаю,— прибавил он, встал, пошел в угол и приволок оттуда тяжелый мешок.

— А ну-ка, посмотрим, что ты принес,— с интересом смотрела на мешок москвичка.

С довольным лицом рыболова, вытряхивающего из невода одну рыбину крупнее другой, Жан извлекал из мешка и раскладывал по подоконникам, по стульям, по краям стола, по полу желтые медные примусы и серые оцинкованные машинки для котлет. Половина мешка было того, половина другого.

— Вот какой музыкой мы занимаемся!— сказал Жан и, подбоченясь, с удовлетворенным видом стоял среди разложенных товаров, как царь среди своего царства.

— А хорошие?— новым, деловым голосом спросила москвичка, окидывая вещи цепким взглядом.

— Хорошие, старорежимные,— сказал сын, не отрывая лица от товара.

— Сколько штук примусов?— встала и пошла переходить от вещи к вещи москвичка с наклоненным лицом.— Сколько штук мясорубок? Сколько исправных?— вертела она каждый винтик.— Сколько требующих небольшого ремонта?.. В одном месте выгодно одно купить, в другом другое,— говорила она между делом, ревностно пробуя каждую машинку и откладывая испробованные в сторону.— Подъезжая к вашему Крыму, мы из разговоров с пассажирами узнали, что у вас эти вещицы по три миллиона штука, а у нас по двадцать. Вот мы и решили захватить их для обратного пути, сколько наберем. Некоторые пассажиры еще в вагоне дали нам адрес одной лавчонки, куда они сегодня же явились с этими вещицами, и Жан купил их у них.

— Ловко!— искренно вырвалось у Ольги.— Вот это работа!

— Но мы, конечно, не только эту дребедень покупаем,— сказала тетка.— Это так, между делом. Только чтобы оправдать дорогу к Кате. Жаль, мы сюда приехали с пустыми руками: а у вас тут хорошо пошли бы фитили для ламп и охотничьи собаки.

— Тетя, значит, вы по семнадцать миллионов на каждой машинке заработаете?

— Пусть на разные накладные расходы ляжет по два миллиона на штуку,— высчитал Жан,— и тогда нам очистится пятнадцать миллионов от каждой. Сто штук свезем, полтора миллиарда заработаем.

— Миллиарда!!!— схватились обе хозяйки за головы.

— Значит... вы... вы... миллиардеры?— испуганно запинаясь, произнесла Ольга.

— Раз полтора миллиарда, значит, миллиардеры,— безнадежно покачала ей головой Марфа Игнатьевна.

— Тетя Надя,— просто, как ребенок, спросила Ольга.— Куда же вы столько денег деваете? Неужели все тратите?

— Часть трачу, проживаю,— вольготно отвечала богачка.— Часть вкладываю в дело. Часть, в золотых монетах, прячу для будущего.

— А Жан?— перевела Ольга наивно-удивленные глаза на Жана, который в это время сидел, без конца ел, без конца пил, молчал, беспокойно менял на столе позы...

— Жан тоже часть своих барышей транжирит, часть дает на дело. Но больше, конечно, транжирит.

«Лучше бы нам половину давал!» — явственно, как в книге, зажглись слова в пришибленных глазах обеих хозяек; зажглись и погасли.

Примусы были подержанные, в копоти, и у тети Нади на носу появилось черное пятно сажи. Обе хозяйки это видели, но им было стыдно сказать гостье об этом. И что бы потом ни делала тетя Надя, что бы она ни говорила, обе хозяйки смотрели только на черное пятно на ее носу и думали только о нем. Вот тетя Надя уже размазала это пятно, сделала его больше и, наверно, еще размажет... И хозяйкам сделалось обидно за тетю Надю, за то, что у нее, такой элегантной, красивой, умной, талантливой, нос был испачкан сажей, и глубоко противной показалась им жизнь, средства для которой приходилось добывать такими способами.

— Оля, что ты так смотришь на меня?— вздрогнула тетя Надя, почувствовав на своем профиле вдумчивый взгляд племянницы.

— Так,— ответила племянница, глядя на пятно сажи на носу тетки.— Думаю.

— И, конечно, обо мне? Правда?

— Откровенно говоря, да.

— Это интересно. Что же ты обо мне думаешь?

— И думаю я вот что: как это могло случиться и как это понять, что наша тетя Надя, такая замечательная и такая известная оперная артистка, о которой когда-то даже было в газетах, вдруг теперь скупает у нас в провинции подержанные, испачканные говяжьей кровью мясорубки и старые, запаянные, в копоти, примусы.

Москвичка рассмеялась, отвертывая передними зубами какой-то винтик на машинке.

— А ваш Петя что делает?— спросила она и опять сунула в рот винтик.

— Петя?— повела бровями Ольга.— Петя другое дело.

— Нет, ты отвечай на мой вопрос: что делает ваш Петя, тоже талант и не такой, как я, а настоящий, большой, признанный!

— Ну, он, конечно, торгует, на толчке старьем.

— Он «конечно»? Ну, и я «конечно»! — победно рассмеялась москвичка.

— Теперь трудное время,— примирительно вступила в разговор Марфа Игнатьевна, чтобы не дать разгореться спору.— Теперь не приходится много философствовать. Теперь лишь бы чем-нибудь заработать. А так-то оно конечно. Что там говорить.

— Вот это верно!— воскликнула гостья бодро.— А вы тут сидите в Крыму и спите! Вот, чем философствовать, как говорит Марфинька, и спать, вступайте-ка лучше в нашу компанию по скупке у жителей Крыма мясорубок и примусов! Вы будете скупать на местах, а мы будем сбывать в Москве! Хотите?

— Отчего же,— нерешительно, с ноющей болью в груди, улыбнулась неожиданному предложению Ольга.— Можно. Если сумеем.

— А чего тут уметь? Жан, слышишь, какое предложение я делаю ним?

— Слышу, слышу,— отвечал над тарелкой Жан.— Конечно, пусть соглашаются. У них тут в Крыму работать можно. У крымских жителей еще вещички есть.

— Значит, согласны?— перестала работать москвичка и села прямо напротив обеих хозяек, глядя на них в упор, как дух-искуситель.

— А что ж,— принужденно улыбнулась Ольга.— Согласны.

И вдруг она почувствовала такую щемящую тоску на сердце, точно прощалась с чем-то дорогим навсегда!

— Я думаю,— вводя их в курс дела, между прочим сказала москвичка,— я думаю, что тут вам удастся много закупить этих машинок.

— Тут-то много,— ответила вяло Ольга, как в тяжелом дурмане, и вздохнула.— Тут каждый свою продаст. Тут такой голод.

— Вот и хорошо,— сказала тетя Надя.— И вы заработаете, и мы заработаем. Мы вам оборотные средства оставим.

— Только с этим надо спешить, пока у крымских жителей дела не поправились,— не поворачивая к ним головы, произнес Жан, наливая в стакан портвейн.— А то тогда они вам ничего не продадут. Вон уже ходят слухи, будто американцы в Крым кукурузу везут...

IX

И потом, в другой комнате, лежа в постелях, раздетые, под одеялами, при потушенной лампе, долго еще продолжали три женщины переговариваться между собой из трех разных углов. Их самих не было видно, и узнавали они друг друга только по голосам.

— Ай-яй-яй!— вдруг спохватилась в постели москвичка.— Я сегодня проговорила весь вечер, а вы только молчали и слушали! Я заболталась, а вы никто не остановили меня, и вышло, что я только о себе да о себе! Даже неловко! Извольте теперь вы рассказывать, как вы тут живете, а я буду слушать!

— Мы-то расскажем,— протянула со вздохом в полной тьме из своего угла Ольга.— Только жизнь наша неинтересная. Я даже не знаю, о чем, собственно, тебе рассказывать.

— Обо всем,— зазвучал в темноте в другом углу голос приезжей.— Я не понимаю, например, вот чего: если ты, Оля, служишь машинисткой в коммунхозе, где жалованья не платят, а Петя берет на комиссию для продажи на толчке чужие вещи и тоже почти ничего не зарабатывает, то чем же вы живете?

— Случаем,— отвечал голос Ольги.— Мы живем, тетя Надя, только случаем. Нас всегда случай спасал. Сколько раз, бывало, казалось, что ниточка, на которой мы висим,

вот-вот оборвется и мы полетим в пропасть, погибнем. А потом смотришь, какой-нибудь непредвиденный случай вывезет нас, и мы опять держимся до следующего кризиса. И твой приезд, тетя Надя, для нас такой же непредвиденный случай и, вероятно, самый счастливый из всех, благодаря тому делу с примусами и мясорубками, которое ты устроила для нас.

— Дело с примусами и мясорубками — верное дело,— прозвучал убежденный голос москвички.

— Мы, Наденька, не живем,— вставила свое замечание Марфа Игнатьевна.— Мы вымираем. На почве плохого питания мы все чем-нибудь неизлечимо больны. У Васи размягчение позвоночника, у Нюни какая-то атрофия в желудке, у Оли белокровие и все зубы вынимаются, а обо мне и говорить нечего: когда хожу, держусь за мебель, а из дома не выхожу, чтобы не умереть на улице. Доктор говорит, у нас у всех такое ничтожное содержание гемоглобина какого-то, или кровяных шариков, что ли, при котором прежде падали и умирали. Тот же доктор прописывает нам мышьяк и железо, но сам же говорит, что это ничего не поможет...

— Какие ужасы распространяет ваш доктор!— задрожала москвичка.— Доктор не прав, и вы скоро поправитесь! Если на примусы и мясорубки цены московские и ваши скоро сравняются, тогда вы будете поставлять нам другие товары. Сейчас, например, нам есть расчет еще брать у вас: пилы, чернильные карандаши, горький перец...

— Вот из-за такой жизни нам, Наденька, и важно толком от тебя узнать, можно ли в ближайшее время надеяться на какую-нибудь перемену?— неизменно сворачивала бабушка разговор в сторону политики.— Что у вас в Москве говорят об этом?

— Я уже вам сказала,— отвечала москвичка,— что в Москве о политике не говорят. Москва живет деловой жизнью.

— Очень жаль,— сказала бабушка.— А у нас, на юге, наоборот, политика стоит на первом плане. Ночью лежишь, не спишь, слышишь: булькает в животе, и думаешь, что это где-то вдали начинается канонада: французы и англичане к нам пробиваются. А потом видишь, что это в животе, и так сделается обидно, что все нас бросили!

Москвичка рассмеялась.

— У нас в Москве от этого излечились давно и уже никого не ждут,— сказала она.

— Неужели не ждут? — упавшим голосом спросила бабушка.— Это будет ужасно, если никто не придет.

— А кто же может прийти?

— Все равно кто. Лишь бы пришли. И мы тут не теряем надежду, что вот-вот кто-нибудь придет.

— Напрасно,— опять засмеялась москвичка.— В Москве когда-то тоже верили в это «вот-вот», назначали сроки, ждали, томились, мучались. А с тех пор, как окончательно уверились, что никто не придет, и зажили обыкновенной жизнью, всем сразу стало хорошо. Конечно, так будет и у вас. Бросьте эти ожидания, займитесь делом, и вы увидите, как вам будет хорошо.

Обе хозяйки, было слышно, что-то промычали в темноте ей в ответ...

Детям тоже долго не спалось.

— Я-то твой шоколад не украду,— говорила в темноте со своей постели Нюня.— Лишь бы ты мой не украл!

— Я тоже твой не украду,— обещал Вася.

Минуты две длилась пауза.

— Вася, ты спишь?

И, не получив ответа, Нюня, босая, осторожно крадется в темноте к своему шоколаду и перепрятывает его на другое место.

— Нюня, ты спишь? Отчего же ты вдруг перестала дышать? Ой, притворяешься...

И Вася ощупью отправляется в такую же экскурсию. Вася хитрее Нюни, и, переложив свой шоколад на новое место, он долго еще путает следы, нарочно возясь и шурша в потемках в разных местах комнаты.

Петр бредил:

— Слышу, по запаху слышу, у вас в кухне опять молоко убежало!.. Самые сливки ушли!..

X

Расставание с теткой было такое же трогательное, как и встреча. Уехала она ранним утром, в волнении едва выпив на скорую руку один стакан чаю.

Жан, бегая за лошадьми, принес в распоряжение семьи еще целый каравай белого хлеба и еще фунт сливочного масла, хотя от вчерашнего дня оставалось и то и другое.

Жан положил прекрасное начало дня, он как бы задал этому дню с утра правильный тон, и весь этот день обещал быть для семьи Петриченковых столь же хорошим, как и

вчерашний. А завтрашний день, без сомнения, будет для них еще более лучшим, чем сегодняшний. Они будут удаляться и удаляться от прежних трудных дней...

И, может быть, первый раз в жизни таким близким, родным и, главное, таким значительным показалось им утреннее чириканье слетевшихся в садик воробьев. Так, так, чирикайте, чирикайте! Хвалите, хвалите жизнь! Приветствуйте, приветствуйте первые лучи восходящего солнца. И нежное благоухание роз и холодноватый запах росы, неразрывно смешанный с травянистым запахом молодой зелени, все принималось сердцем глубоко и по-новому. И все представлялось новым, весь мир, вся жизнь на земле, как бы впервые начинающаяся этим прекрасным июньским бледно-розовым утром.

Хозяева, всей семьей, только что проводили за калитку московских гостей и теперь возвращались обратно в дом. Они проходили садиком, под сплошным шатром темно-зеленых листьев винограда, трепещущие верхушки которого уже были охвачены сверкающим золотом солнца.

Бабушка остановилась среди садика и, настороженно подняв указательный палец, прислушивалась.

— Что-то больно рано летает сегодня аэроплан,— сказала она.— Еще никогда так рано не летали. Должно быть, кого-нибудь высматривают, боятся. Может быть, французы и англичане где-нибудь показались. Вот побегут!

— Это, мама, не аэроплан,— заметила Ольга, тоже проходившая садиком.— Это автомобиль на нашей улице стоит и гудит.

— А я думала, аэроплан. Жаль.

И бабушка с видом неудачи тряхнула головой.

Тут же вертелись, попадая всем под ноги, дети, они были вялые, заспанные, неумытые, казалось туго соображающие с утра.

— Мама,— спросил Вася, протирая кулаками глаза и с интересом раздавливая на земле большим пальцем босой ноги какую-то цветную букашку.— Мама, а сколько они нам денег оставили на примусы и мясорубки?

— О! — неприятно удивилась мать.— А вы уже пронюхали! Это не ваше дело! Да и вы все равно не знаете цену деньгам!

— Ну, а все-таки? Порядочно оставили? Приблизительно сколько?

— Я же говорю, Вася, что это не твое дело!

— Уу! Значит, нельзя спросить?!

— Нельзя!

— Ага! — хвалилась Нюия, поддразнивая брата.— А я видела, сколько оии оставили бабушке денег!

— Сколько? — спросил Вася.— Много?

И он пристал уже к ней, шагая туда же, куда и оиа.

— Вот такую пачку,— показала руками Нюия.— Там их иеделю считать иадо.

— Ого! Порядочно. А как же ты увидала?

— Слышу, то громко говорят, а то вдруг тихоиько заговорили: «А дети спят? а дети ие увидят?» Ну, думаю, значит, что-то интересное будет. Вскочила, подкралась к дверям, не дышу, смотрю — и вижу: тетя Надя раскрыла тот узенький красный чемоданчик и давай отсчитывать бабушке деньги и давай отсчитывать!

— Говоришь, большую пачку оставила она бабушке?— заулыбался Вася.

— Здоровую! — ударила ладоиь о ладонь Нюия.— Малеиькую бы так ие прятали!

— А прятали?

— Ого! Еще как! Бабушка носилась-носилась с деиьгами по квартире, пока иаконец куда-то не засунула их.

— Долго, говоришь, носилась? — заспаиио засмеялся Вася.— А где спрятала, значит, неизвестно? Ну все равио потом узнаем.

Тотчас же после отъезда богатой тетки, войдя из садика в дом, все медлеиио пошли по квартире, из комиаты в комнату, с такими лицами, как будто не были здесь долгие годы. Останавливались среди комнат, стояли, смотрели вокруг, испытывали странное тонкое волнеиие и находили во всем какую-то глубокую перемену. Или чего-то недоставало, или что-то появилось лишнее... И все казалось малеиьким, провинциальным, патриархальным, давно отжившим свой век. Мебель — жалкая, потолки низкие... Точно это был уже не тот реальный дом, в котором оии жили сейчас, а лишь одно воспоминание о доме, в котором они когда-то родились и провели далекое-далекое детство. И жизнь с тех пор ушла вперед, а домик в три окоица на улицу остался прежним.

За одии сутки семья Петричеккових почувствовала себя как бы выросшей из этого игрушечного домика!

— Ну-с,— сказала бабушка, обращаясь к домашиим таким тоном, как будто праздники прошли и начались будни.— Теперь глядите в оба! Теперь не зевайте! Теперь ие ленитесь! Теперь давайте все будем искать, не оставили ли оии иам после себя вшей! Люди с дороги!

— А потом закусим,— солидным голосом прибавил Вася, глядя на неубранный после вчерашнего пиршества стол.

И вся семья с мокрыми, накеросиненными тряпками в руках дружно взялась за работу. Распоряжалась бабушка, она двигалась впереди отряда; остальные за ней, как санитары за доктором.

Вскоре в доме поплыл и через раскрытые окна выплывал на улицу едкий запах керосина.

Люди, проходившие мимо, потягивали носами, морщились и потом у себя дома в качестве городской новости говорили:

— У Петриченковых сегодня керосином клопов вымаривают.

— Они на этом стуле сидели? — спрашивала бабушка, останавливаясь с отрядом перед стулом, как перед прокаженным.

— Сидели! — старательно выкрикивали Вася и Нюня.

— Вытирайте,— кивала бабушка головой на стул и уступала отряду дорогу.

Шесть рук схватывали стул, шесть рук впивались в него со всех сторон, точно он мог уйти; держали его на весу, терли тряпками, переворачивали в воздухе.

— Готово! Теперь, если какая и была, то ее уже нет!

— А у этого подоконника они стояли?

— Стояли! И у того стояли!

— Давайте.

И санитарный отряд зверски набрасывался на подоконники, точно брал их штурмом.

— Этим коридором они, конечно, проходили?

— Проходили! И туда проходили и обратно проходили! Сто раз проходили! Д-давай!

За работой дети шутили, старшие весело разговаривали.

— Про деньги, смотрите, ни слова никому!..— грубо заворчал на своем ложе Петр, наблюдая за работой.— Поняли?.. Никаким Рансам Ильиничнам!.. Поняли?

— Да, поняли, поняли, Петя,— раздражалась мать.— Сказал раз, и довольно. А то как пойдет сто раз повторять!

— Вам надо сто миллионов раз повторять! И все-таки вы проболтаетесь, кому-нибудь похвалитесь, что у нас два миллиарда, и нас обворуют, если не убьют!..

— Авось не убьют,— сказала Ольга.

— А ты больше болтай при детях,— сказала бабушка сыну.

— Мы никому не скажем,— пообещал Вася и, наклонясь, прошептал Нюне:— Слыхала: два миллиарда!!!

Петр напомнил о деньгах, данных теткой на дело, и мать заговорила с дочерью о деле.

— Если взялись скупать мясорубки и примусы,— сказала она,— то надо делать это скорее, пока другие не додумались и не перехватили. Ведь теперь знаете как: чем сегодня придумал заниматься один, тем завтра занимаются все. Я начну мороженым заниматься, и все начнут вертеть мороженое. Я выйду на улицу с горячим кофеем, и все выйдут с горячим кофеем. Как обезьяны!

— Вот я и говорю,— заметила Ольга.— Что было бы хорошо уже на обратном пути в Москву сдать тете Наде сотню машинок. И сотни две миллиончиков, по условию, положить себе в карман! — прибавила она бодро.

— Только без меня ничего не начинать! — оживился в постели Петр.— А то вас легко надуть!.. И если нам повезет, то из первой же сотни барыша я выдам всем, и детям, миллиона по три карманных денег!.. Это за все наши прошлые страдания!.. Тогда покупай себе кто что хочет!.. Кто что хочет — хе-хе!.. Поняли?

И старшие и дети, убавив темп работы, стали гадать и высказывать, кто что себе купит на те три миллиона...

— Я себе рогалик сдобный к чаю куплю,— сказала после всех бабушка с отмякшим и улыбающимся лицом.

— Это ты только так говоришь, мама,— не поверила ей Ольга.— А сама все на детей истратишь.

— Нет, нет, теперь-то я куплю себе сдобный рогалик. Я об нем два года думаю.

— Васька, Нюнька! — закричала на детей мать.— Не сметь от бабушки ничего принимать, когда мы получим по три миллиона! Слышите?

Потом, еще не разбогатев, а только поверив, что разбогатеют, обе хозяйки стали мечтать вслух, кому и чем они помогут. Тому купят мешок картофеля, тому подводу дров, тому ботинки, Раисе Ильинишне фунт чаю и пять фунтов сахару... То-то люди будут рады!

И Ольге уже хотелось поскорее окончить работу и побежать по квартирам наиболее несчастных и по секрету объявить им, чтобы они не падали духом, крепились, так как совсем на днях им предвидится облегчение, такие-то и такие-то продовольственные подарки.

— Вот!..— плачуще застонал Петр, пристав на постели на локоть и устремив мученические глаза на стол.— Вот!..

Как ели вчера, так и оставили всю еду на столе!.. А вдруг — гости!..

— С утра гости? — удивилась Ольга.

— Да!.. Могут прийти и с утра!.. А ваша Раиса Ильинишна может явиться и ночью!..

— Петя, погоди,— остановила его сестра.— Не раздражайся только. Выслушай сперва. Мы с мамой решили, по случаю генеральной уборки, сделать сегодня ранний обед, не настоящий обед, не кривись и не махай руками, а вроде обеда, словом, вместо обеда мы будем сегодня доедать вчерашние остатки. И чтобы на какие-нибудь два часа не убирать со стола, мы лучше вынесем весь стол, как он есть, со всей едой, в первую комнату. Там после окончания уборки мы и пообедаем. Туда-то гости никак не попадут, и угощать никого не придется, все достанется нам.

— И когда унесем стол, нам удобнее будет тут керосином полы протереть,— прибавила бабушка.

Петр махнул им рукой, чтобы делали, как говорили.

— Нет, почему я должен обо всем думать!.. Почему непременно я должен был вам об этом сказать! В последний и уже окончательный раз говорю: если еще раз застану что-нибудь из съестного на столе на виду, то, ни слова не говоря, вместе со скатертью сдерну все на пол!.. Или возьму у печки полено и пущу отсюда поленом по всему, что будет на столе, и по посуде!.. Нет больше сил напоминать!..

— Только попробуй поленом! — пригрозила сыну старушка.— Я тогда в ту же минуту из дома уйду!

— Мама,— заплакала Ольга.— Петя уж угрожает нам поленом... Наш Петя, кажется, уже сходит с ума...

Петр сразу сбавил тон:

— А зачем же вы меня так раздражаете... Я больной человек, и вы не должны меня так раздражать...

И, лежа с закрытыми глазами, он протяжно заныл, точно заплакал.

XI

Обеда в этот день не готовили, ничего из провизии не покупали, и получалась большая экономия. Это всех радовало, и об этом в доме много говорили.

— Дела наши поправляются,— несколько раз слышали в течение дня бодрые слова из уст то одного, то другого.

Покупали только молоко для больного Петра.

— Стойте, стойте, остановитесь!..— когда выносили деньги молочнице за молоко, истерически закричал Петр, так что все домашние испугались и задрожали.— Дайте, я сперва сосчитаю, сколько вы ей даете!.. А то вы не умеете считать и можете передать лишнее!..

— Оо-хх!..— страдальчески закатила глаза Ольга, поворачиваясь обратно.— З-замучил!..

И она подала ему деньги.

После трудной работы приведения всего дома в порядок было чрезвычайно приятно вымыть с мылом руки и наконец усесться за утренний чай.

Все сидели в первой комнате. На столе шумел самовар. В доме пахло, как всегда после генеральной уборки, идеальной чистотой.

— Сегодня у нас и утренний чай и обед совпали вместе, и получается большая экономия,— сказала Нюня, вкусно отхватывая острыми зубками край ломтя белого хлеба, намазанного сливочным маслом.

— Довольно про экономию! — закричала на девочку мать и отхлебнула из чашечки чай.— Уже надоело! Целое утро только и слышишь, как все говорят про экономию! Как попугаи: «экономия» да «экономия»! А какая тут экономия, когда мы сейчас закусок на гораздо большую сумму съедим, чем если бы сварили обыкновенный обед! Вот если бы эти закуски спрятать да потом получать их порционно, как предлагал дядя Петя!

— Нет, нет, не надо порционно! — запротестовал Вася и заторопился поскорее накладывать себе на тарелку.— Это давайте есть беспорционно, потому что оно нам даром досталось!

— Хотя разочек в жизни поедим как следует!..— горячо поддержала брата Нюня, с ужасом глядя, сколько он себе накладывает.

— А ветчина осталась? — рыскала бабушка по тарелкам и замасленным бумажкам.— Ни кусочка, ни кусочка!

Сидели, ели и хвалили хороший характер тетки.

— Другая бы с собой взяла, а она нам оставила,— говорила Ольга, выбирая на столе глазами.— И вот теперь, благодаря ей, мы сидим и едим. А наш сумасшедший Петька чуть на улицу ее не выгнал: туда не сядь, там не стой, здесь не ходи... Стал прямо ненормальный!

— И другая бы обиделась, а она нет,— сказала бабушка, ковыряя вилкой в жестянке из-под консервов.

— А когда они будут ехать обратно,— рассуждал Вася,— тогда опять всего накупят и нам опять на другой день много всего останется.

— А когда бабушка Надя будет обратно? — спросила Нюня.

— Хоть бы скорей! — сказал Вася.

— Если ее дочь Катя жива и поправляется, тогда не скоро: погостит там у нее,— объяснила Ольга.— А если Катя, не дай бог, умерла, тогда-то скоро: дня через четыре будет обратно.

— Наверное, уже умерла,— уверенно заметил Вася.

— Тогда, значит, на той неделе надо тетю Надю ожидать здесь,— высчитала Нюня.

— Вася,— сказала бабушка со стороны.— Ты жуй хорошенько, иначе не пойдет в пользу: как зайдет, так и выйдет цельным куском.

— Он спешит,— проговорила Нюня, все время отставая от брата.

— Ты сама спешишь! — огрызнулся Вася и весело прибавил: — Вот если бы дядя Петя увидел сейчас, как мы тут отхватываем!

— Ты потише,— испуганно предупредила его Нюня.

Она покосилась на дверь в столовую и окаменела, с длинной рыбиной, захваченной за середину ртом, точно кошка с хорошей добычей.

— О-ди-ча-лые!!! — проскрипел в этот момент в дверях желчный стонущий вопль. — Жж-ре-те???

Толкая впереди себя стул и навалясь обеими руками на его спинку, к ним в комнату неравномерными скачками паралитика въезжал Петр, худой, черный, в одном белье, босой, с безумно вытаращенными глазами. Подъехав к свободному месту у стола, он сперва нацелился, потом с грохотом повалился на стул и костлявой рукой загреб к себе прибор, тем самым как бы присоединяясь к общей семейной трапезе. Затем, прежде чем окружающие успели прийти в себя, он так же сгреб к себе большой кусок свежего хлеба, вывалял его в сливочном масле и с хищным выражением лица стал есть. Очевидно тотчас же почувствовав утомление, он положил голову одной щекой на стол, как на подушку, и продолжал жевать, издавая горлом однотонный певучий звук.

За столом в это время стоял переполох. На него, со страшной быстротой поедающего хлеб с маслом, все кричали и махали руками, как кричат и машут на коршуна, поднимающего

со двора на воздух хорошего цыпленка: люди кричат, а коршун с цыпленком все выше...

— Как он сумел встать! Как он дошел сюда! Вот сумасшедший! Конечно, он сумасшедший! Смотрите, смотрите на него! Он берет второй кусок хлеба, свежего хлеба! Доктор сказал, что хлеб для него, в особенности свежий, первая отрава!

— Он все масло взял! — кричал Вася, когда Петр сгреб к себе всю тарелку с маслом и огородил ее, как забором, рукой.— Все масло! Ему же вредно!

— Мама! — прорезал воздух истерический вопль Ольги.— Мама! Он губит себя! Он умрет! Наш Петя умрет! Она схватилась руками за лицо и заплакала.

— Петя, Петичка,— встала и подошла к больному мать, ласково трогая его рукой за плечо: — Что ты делаешь! Опомнись! Ты же больной!

— Больной?..— захрипел Петр, лежа одной щекой на столе и тяжело дыша.— А вы и рады, что я больной!.. Вы так вот уже сколько моих порций съели, пока я больной!.. Вы и это все хотели без меня съесть!.. И если бы вы хотя доедали остатки, а то вы, я слышу, уже и новые коробки консервов взламываете!.. Вы роскошествуете, а мне, думаете, приятно второй месяц голодному лежать!.. Довольно голодать!.. Все равно я уже почти что здоровый, кризис прошел...

— Что ты, что ты, Петя, где ты там здоровый, тебе наедаться хлебом никак нельзя! — уговаривала его мать, подсев к нему.— Лучше мы твою порцию отложим, а ты съешь, когда выздоровеешь.

— Да!.. «Отложим», «отложим»!.. Когда больше половины уже съели!..

— Бабушка, он разобьет тарелку с маслом, он больной человек, возьмите у него масло, оно для него первый яд!

— Оля,— обратилась к дочери бабушка, изнеможенная, еле стоящая на ногах.— Отложи сейчас Пете половину всего, что есть на столе. Ну, а ты, Петя, сейчас пойдешь с нами обратно в постель.

— Клади больше!..— оскалился на сестру Петр, потом обессиленно закрыл глаза.

— И так много кладу,— говорила Ольга, кладя.— Не будь таким жадным, Петя. И, пожалуйста, не думай, что мы в общем больше тебя едим. Наоборот. Ты, как больной, получаешь такие вещи, каких мы даже и в глаза не видим.

— Ты по кварте молока каждый день получаешь,—

ввязался в разговор Вася.— А мы даже и по капле его не имеем.

— Свинья ты, свинья!..— плюнул в него Петр.— Погоди, вот хватит тебя сыпняк, тогда и ты будешь получать молоко...

— Петя, не говори так! Петя! — строго прикрикнула на него мать.

— Хочешь, свинья,— продолжал Петр, обращаясь к Васе,— хочешь, свинья, будем меняться: ты мне отдашь свое здоровье, а я тебе отдам мое молоко, но с сыпняком!..

— Хочу! Давай! Давай сейчас!

— Дурак ты, дурак... И больше ничего...

— Оля,— говорила бабушка.— Поддерживай Петю с той стороны.

Больного подняли со стула, повели в столовую, уложили в постель...

В комнаты давно скребся из садика Пупс, должно быть учуявший, что сегодня в доме едят беспорционно. И теперь, когда суета улеглась, его впустили.

Он вошел в комнату и от благодарности и застенчивости сейчас же стал извиваться всем своим небольшим лисьим телом и помахивать во все стороны хвостом и крутить головой.

— На, Пупсик, ешь,— бросила ему бабушка под стол кусок.— Ты тоже, бедняга, голодаешь, еще больше, чем мы. У нас хотя каждый день чай бывает.

И она бросила ему еще.

— Много ему не давайте! — закричал Вася, жуя.— Околеет!

— Ррр...— зарычал на него из-под стола Пупс, чтобы он замолчал.— Ррр...

XII

— Компресс!..— усталым вздохом произнес Петр, лежа на спине и неподвижными глазами глядя в одну точку.— Компресс... холодный... на голову...

— Ооо!..— вытянулись лица у матери больного и у сестры.

Все понимали, что это значит, если Петр просит на голову холодный компресс, и в доме сразу стало напряженно и тревожно, как в первые дни его болезни.

— Что,— как ребенку, говорила больному мать, прижимая к его лбу смоченное водой, сложенное вчетверо полотен-

це.— Что, наелся тогда хлеба с маслом, не послушался! Говорили, не надо! Нет, как же: «мужской ум»! Не мог еще несколько дней подождать!

Больной жалобно и покорно простонал в ответ, полусомкнув веки.

— Вот! — с отчаяньем негромко проговорила Ольга, с жалостью глядя на брата.— Дождались! Не могли досмотреть! Только что начал поправляться!

— А разве за ним усмотришь? — сказала бабушка.— Разве он нас послушается? Как мы можем справиться с ним, когда он сделался таким раздражительным, грубым, злым! С ним и со здоровым в последнее время было трудно!

— Мама, а вдруг это у него какое-нибудь серьезное осложнение? Хорошо бы, на всякий случай, за доктором послать.

— А где взять денег на доктора?

— А из тех.

— Опять из тех? И на молоко из тех, и на доктора из тех. Это, Оля, нехорошо. Те деньги не наши, чужие. Еще дело с примусами и мясорубками не начали, а деньги оттуда уже тратим.

— Ничего, мама, ничего. Там много. Вернем. Отработаем. Два-три примуса пропустим через свои руки, вот доктор и оплачен. И потом, мама, человеческая жизнь дороже всяких денег. Тетя Надя нас за них не убьет, она поймет, она хорошая.

— Ну, что ж. Пошли Васю.

Пока Вася, напевая, присвистывая и отплясывая, бегал за доктором, с большими предосторожностями доставали из каких-то недр дома и опять запрятывали туда же деньги, отсчитав от них нужную на доктора сумму. Долго спорили, кто будет давать доктору деньги: мать или дочь.

— Как-то стыдно совать ему в руку, как нищему,— говорила Ольга.

— А ты думаешь, мне не стыдно? Мне тоже стыдно.

Часа через три пришел доктор, седенький старичок, с круглой бородой, в синих очках, делающих его похожим на слепца.

— А дети где-нибудь учатся? — спросил доктор, взглянув синими очками на стоявших у косяков двери, наподобие стражи, Васю и Нюню.

Дети расхохотались над его очками и над его старостью и убежали.

— Поставьте ему клизму,— сказал доктор, выслушав Петра.

— Доктор,— мертвенным голосом с мертвенным лицом спросила шепотом Ольга.— Значит, ничего опасиого нет?

— Как знать,— беря с подоконника шляпу, отвечал доктор.— К больным сыпным тифом часто опасность приходит тогда, когда они меньше всего ее ожидают. Поэтому необходимо соблюдать во всем строжайшую осторожность. У него неважное сердце, а где тонко, там и рвется. Что он, болел ревматизмом, что ли?

— Нет, доктор, он никогда не болел ревматизмом.

— А дети где-нибудь учатся?

И дети снова прыснули и снова разбежались.

— Петриченкову Петру опять хуже,— говорили на улице люди.— К нему сегодия доктор приезжал. И где они иа докторов деньги берут?

— Опять клизма?! — плаксиво ныл Петр, с гримасой отвращения глядя, как вся семья возилась возле него иад приготовлением клизмы.

— А кто виноват? — нравоучительно говорила мать.— Кто виноват? Сам виноват! Надо было беречься. Оля, закрой там внизу краник, я иаливаю.

— Странно, что наш Петя никак не научился сам себе ставить клизму,— говорила Ольга, попадая наконечииком.— Вечно у него половина воды вытечет мимо.

— Потому что при прежней власти я прожил почти что сорок лет и даже не знал, что такое клизма,— слабым, как бы волочащимся по земле голосом жаловался Петр, лежа в постели, как пловец на воде, спиной вверх, с задраиной головой.— А теперь то тому клизма, то другому клизма... Неужели эта власть никогда не перемеиится, так и останется?..

— Ага! — злорадно подхватила сестра.— То-то! Уже и ты не веришь в близкую перемеиу! А нас с мамой всегда успокаиваешь: «Потерпите еще немного, вот-вот что-нибудь будет!» Вот тебе «вот-вот»! Мама, теперь поимаешь, это он нас всегда обманывал, говорил для успокоеиия только! Мама, подними выше кружку, а то вода совсем слабо идет. Выше, выше, еще! Нюия, ие зевай по стороиам, хорошенько придерживай трубку, смотри, как оиа у тебя отвисает дугой! Вася, ты тоже не стой даром, встань на стул, помогай бабушке за водой в кружке смотреть, ие леиись!

— Ол-ля!..— трудно позвал больиой.

— Что, Петя? — наклонилась к нему сестра.— Разве очень горячая вода?

— Не-ет... Не это... Помнишь, те лишние деньги, которые тогда по ошибке передал тебе в пекарне турок, когда сдачу давал?.. Так ты их ему не возвращай!.. Тут ничего нечестного нет!.. Поняла?

— Когда вспомнил! И держит же он в голове разную ерунду!

— Я спрашиваю: поняла???

— Поняла, поняла, только не кричи, помолчи.

— Ну, то-то!.. Смотрите же, не возвращайте ему денег, не раздражайте, не бесите меня!.. Для турка те деньги ничто, а для нас они очень много: дня на три оттяжка голодной смерти!.. Поняла?

— Да, да, да! Поняла! Уфф...

— А то вы как пойдете своим женским умом разбираться в этом, так, пожалуй, еще решите, что надо ему возвратить!.. Я ведь вас знаю. хорошо знаю!.. Вы такие щ-щедрые, вы такие б-богатые...

Ночью Петру сделалось хуже. Он не спал, метался в жару, говорил бессвязности. И возле него дежурила до утра то мать, то сестра, то обе вместе, когда одной было страшно

— Мама!..— среди ночи позвал больной.

— Тут не мама,— подчеркнуто-внятно сказала Ольга.— Тут я, твоя сестра, Оля.

— Ну, все равно: Оля, мама... Я вот что: смотрите, не потеряйте то письмо!.. Потому что прежде чем писать им ответ, я должен хорошенько понять, что они мне предлагают.. Нет ли тут какой-нибудь удочки...

— Петя,— испуганно, точно ей было нечем дышать, спросила сестра.— Какое письмо?

— Что-о?.. Вы уже забыли, какое письмо?.. Значит, вы не рады, что моим страданиям, может, скоро будет конец?.. Конечно, конечно, вам все равно!..

— Петя, ты не волнуйся, не кричи, ты раньше объясни: какое письмо?

— Какой ужас, какой ужас!.. Забыть про такое письмо!.. Да вы же сами вчера читали мне его вслух!.. Еще там извещали меня, что времена изменились к лучшему и что я могу ехать в Москву и снова заниматься литературой. Я говорил, что придет время, когда вспомнят!.. Я говорил, что сами позовут, что самим надоест из года в год одним животом жить!.. Я говорил!.. И — вот!.. А ну-ка прочти его еще раз.

11 Заказ 91

Сестра сидела в кресле и с беспомощным видом пожимала плечами.

— Петя, это тебе просто приснилось. Никакого письма ниоткуда тебе не было.

— Значит, потеряли??? Потеряли такое письмо!!! Ну, хорошо... Тогда вот что: я сейчас сам встану и перерою весь дом!.. И я его найду, я его найду!..

Сестра, бледная, шатающаяся, встала с кресла.

— Петя, теперь и я вспомнила, где оно,— сказала она, приостановившись среди столовой и больно прикусив зубами указательный палец.— Если только это — то самое письмо.

— То самое, то самое,— оживился Петр,— другого не было.

— Я сейчас принесу,— пошла сестра в комнату матери.— Мама,— заговорила она там, измученная бессонной ночью.— Петя собирается встать и перерыть весь дом. Он ищет какое-то несуществующее письмо. Дай мне конверт, я сделаю подобие того письма, и он, может быть, успокоится.

— Вот видишь!..— обрадовался Петр, принимая от сестры письмо.— А ты говорила, что нет письма!.. Не сумасшедший же я и, кажется, еще сознаю, что говорю!..

И, укараулив момент, когда сестра не смотрела на него, он мгновенно сунул письмо к себе под подушку, лег на нее и закрыл глаза, с блаженной улыбкой на всем лице.

Сестра тоже несколько успокоилась и задремала вскоре. Она даже не слыхала, как, встав со своей постели, держась за мебель от слабости, к ним в комнату нагорбленно входила мать и долго смотрела на Петра: как бы не прозевала чего Ольга!

— А где он?..— с удивлением всматривался в пустое пространство Петр.— Уже ушел?.. Он не сказал, когда зайдет завтра, в котором часу?..

— Петя, кто — он?

— Да этот, как его, представитель, представитель...

— Какой еще представитель! Опять выдумываешь...

— Да этот, пожилой, в рыжих вихрах и золотых очках, с блестящими глазами, который только что на этом стуле сидел и два часа со мной беседовал, даже у меня голова разболелась...

— Опять!..— вырвалось отчаянье из груди сестры.— Петя, ты болен, это тебе все кажется, и ты, конечно, рассердишься, если я тебе скажу, что на самом деле здесь никого, кроме меня и мамы, не было...

— Помнишь?..— радостно подмигнул глазами больной.—

Помнишь, какой мы тут с ним разговорец вели?.. Два часа спорил!.. Он свое, а я свое... В конце он спрашивает: «Что же вы в таком случае имеете в виду делать, когда выздоровеете?» Я отвечаю: «В ассенизаторский обоз поступить, на ассенизаторской бочке ездить». Он растерялся, не знал, как это понять, и посмотрел на тебя. А ты сказала: «Брат это может сделать, у него это не пустые слова, как бывает у других, он упрямый!» Тут я опять ввернул свое слово: «Моя мечта, говорю, умереть на той бочке!» Он улыбнулся прежней смущенной улыбкой и сказал, блестя нестерпимо на меня глазами: «Но вы же писатель, талантливый писатель...» — «Был писателем»,— поправил я его. «Был писателем».— «Ну, да»,— сказал он, вот я и приехал сделать вам некоторые предложения, правда, в известных пределах и с известными, так сказать»... Я тогда повторил: «Моя мечта, говорю, умереть на той бочке, но могу, говорю, и писателем, если будет очень нужно!» Он засмеялся. А ты сказала: «Вы не смейтесь, брат у меня такой». Ловко поговорили! В котором часу он обещал еще прийти? А?

— Петя,— задрожала, как в лихорадке, сестра, и голос у нее тоже задрожал.— Петя, ты не сердись на меня, но ей-богу же, верь мне, что к тебе никто не приходил!

— Оля!..— застонал больной и сделал тщетную попытку приподняться.— Оля!.. Это же наконец глупо: все от меня скрывать!.. Я знаю, вы слушаете доктора и оберегаете мой покой, но так вы еще больше раздражаете меня, когда начинаете скрывать от меня самое главное!.. Человек вот на этом стуле почти что два часа сидел, обо всем со мной говорил, сперва как с больным, а потом видит, что я совсем здоровый, как со здоровым... «Вы, говорит, думаете, мы сами не сознаем? Мы, говорит, сами все сознаем». Так в котором часу он обещал еще прийти?.. Я спрашиваю тебя: в котором часу?.. Ты слышишь?.. Ол-ля!..

Ольга набрала полную грудь воздуху, высоко подняла плечи, отвернула в сторону от брата лицо и, дрожа от готовых прорваться рыданий, с трудом процедила, по одному слову, стуча зубами:

— Сказал... что после обеда зайдет... часа в четыре.

XIII

Только что отпили утренний чай.

Бабушка стряпала обед, и было слышно, как гремела она в кухне посудой, как плескала выливаемой прямо во двор

грязной водой... Ольга убирала комнаты, искала, нет ли в постелях насекомых, поглядывала за больным... Петр мучился, спал и не спал, и из его угла время от времени неслись громкие вздохи, стоны, жалобы... Вася и Нюня, по обыкновению, по каким-то своим делам, вихрем проносились по дому, по садику, по улице, и их звонкие голоса, похожие на скользящий в небе свист стрижей, то и дело пронизывали неподвижный утренний воздух...

— Бабуля,— вдруг прибежала с улицы Нюня, запыхавшаяся, с раскрасневшимися щеками.— Там какая-то барышня дядю Жана спрашивает.

— Дядю Жана? — нахмурилась бабушка и пошла из кухни через садик к калитке.— Чего же ты не сказала ей, что его у нас нет?

— Я сказала! — бойко щебетала Нюня.— А она говорит: «Врешь, паршивка!» И хотела ворваться во двор. Хорошо, что я успела захлопнуть калитку. А намазанная! А кривляка!

— А одета она как? Ничего?

— Одета-то ничего. С золотым медальоном на голой груди.

— С золотым медальоном? — вспомнила бабушка.— Вам чего? — громко спросила она на улицу, стоя у запертой калитки.

— Откройте-ка,— послышался оттуда женский голос.

— А вам зачем? Вам сказали, что того мужчины у нас уже нет, он уехал.

— Тогда пустите посмотреть. Может, он прячется.

— Мы никого не прячем, и я не могу вам открыть.

— А-а! — бешено заколотилась в калитку женщина руками, ногами, задом.— Значит, вы его прячете! Скрываете! Ну, хорошо! Прячьте, прячьте, только от меня он нигде не спрячется! Скажите ему, что я его везде найду! Я не девочка, которой можно наобещать, а потом убежать!

Пупс с отчаянным лаем бросался на калитку: разбежится и бросится, разбежится и бросится...

Бабушка с удрученным лицом, возвратившись из садика в дом, прошла прежде всего в столовую, постояла там, внимательно посмотрела на больного Петра, потом направилась в другую комнату, чтобы под свежим впечатлением сейчас же рассказать дочери о возмутительной проделке Жана. Но не успела она переступить порога той комнаты, как оттуда навстречу ей раздался страшный, пронзивший всю квартиру панический визг, словно человек, запустив

руку к себе в карман за носовым платком, неожиданно нащупал там живую змею.

— Мама,— жалобно говорила Ольга, входя в столовую и неся в обеих руках, как несут ордена за гробом покойника, громадную белую подушку.— Я тоже заболею сыпным тифом, я сейчас на своей подушке, на которой тогда спала тетя Надя, большую вошь нашла. На середине подушки, на самой середине! Вот,— указывала она на подушку подбородком.— Я смотрю, а она сидит!

— Ты смотришь, а она сидит? — задыхающимся голосом растерянно переспросила мать, и кожа на ее лице задергалась.

— Я говорил!..— обличительно и с отчаяньем застонал Петр.— Я говорил!..

— Как же ты ее нашла? — задала Ольге бабушка обязательный в таких случаях бессмысленный вопрос.

— Я смотрю, а она сидит,— бессмысленно, как глупенькая, повторяла Ольга, сев на стул и осторожно положив себе на колени громадную подушку с маленьким насекомым.— И если бы хотя ползла, а то сидит! — произнесла она с тоской.— Это тоже первое доказательство, что она зараженная! Значит, я уже умру...

И она заплакала.

— Вошь, вошь, вошь не упустите!!! — странно заметался в постели Петр.— Слушайте!..— из последних сил произнес он, корчась и как бы выдыхая из себя каждое слово.— Мама, Оля!.. Это еще ничего, что вошь!.. А может, она здоровая!.. Сейчас же запишите, какое сегодня число, и будем ждать двухнедельного срока!.. Если через две недели Оля не заболеет, значит, эта вошь здоровая!.. Поняли?

Потом стали решать, как поступить со страшной находкой, делали разные предложения...

— Сжечь! Сжечь на огне! — Раздались в конце совещания твердые голоса.— Где спички? Давайте спички!

— Я ее сама, я сама! — вырывала у матери спички Ольга, со мстительно-искаженным лицом, и перестала плакать.

Она чиркнула по коробке спичкой, поднесла спичку к подушке и стала припекать огнем спинку насекомого. Под огнем послышался тоненький треск, и возле запахло паленым. Насекомое, точно пузырек с жидкостью, сперва закипело внутри, высоко поднявшись на ножках и побелев, потом лопнуло, повернулось набок и обратилось в пепел. А Ольга жгла и жгла над ним спички.

— Довольно,— сказала мать тоном окончания операции.— А то ты наволоку сожжешь. У нас и так наволок хороших почти не осталось.

— Что мне теперь наволока? — ответила с тоской Ольга, бросая на пол последнюю спичку.— Мне теперь ничего не жаль!

Прах сожженного насекомого стряхнули с подушки на пол и с брезгливо-напряженными лицами яростно топтали его ногами то мать, то дочь, то обе вместе.

— Хорошенько ее!..— поощрял их с постели Петр с мучительно-блестящими глазами.— Хорошенько!..

— Теперь больше не будешь губить людей! — злобно улыбаясь и дико глядя на пол, говорила Ольга.— Теперь больше никого не заразишь!

И в течение этого дня бесконечное число раз вспоминали про найденное насекомое. Даже ухудшение в болезни Петра как-то само собой отодвинулось на второй план. Все в доме было полно страхом за Ольгу.

— Вась-кааа!..— кричала на всю улицу и сигнализировала рукой вдаль Нюня.— Бе-жи ско-рей до-моой!.. Маму вошь у-ку-си-лаа!..

XIV

— Ждать две недели до заболевания,— дежуря в кресле возле Петра, потерянно причитала Ольга.— Потом две-три недели болеть до кризиса, потом месяц после кризиса, разве я это вынесу?.. Нет, я знаю, я чувствую, что я уже умру... Деточки вы мои дорогие!..— вспомнив о детях, заплакала она.— И останетесь вы без меня, без матери, маленькими сиротками!.. И будете вы стучаться в чужие двери, в чужие окна и просить: «Мама дай! Папа дай!..» И будут люди выпускать на вас Пупсов, чтобы вы не мешали им чай пить...

Петр приподнял с подушки лицо, прислушался к ее голосу, искоса уставился на ее вздрагивающую в кресле голову, потом отвернулся к стене и, подавляя в себе слезы, уткнулся в подушку лицом. Руки его конвульсивно прижимались к груди, ноги переплетались одна за другую, и из-под них с грохотом выскользнула на пол бутылка с горячей водой.

Нервы у всех в доме были напряжены до крайности, и на грохот упавшей бутылки к Петру мгновенно прибежали с двух сторон и мать и сестра. И у обоих на бледных вытянутых лицах была ясно написана одна и та же, полная ужаса, мысль: не грохнулся ли это на пол замертво Петя, их Петя,

единственное и последнее, чем они еще живут и ради чего еще живут. Ведь несчастия падают на их головы одно за другим и, вероятно, будут продолжать падать без конца. Они обреченные!

— Что такое!.. Что с вами!..— раздражительным окриком-стоном встретил Петр их беззаветно-преданные лица.— Что за паника такая!.. Какого черта!.. Упала на пол из-под одеяла бутылка, а у вас от страха глаза вылезли на лоб!.. Что за истерика такая женская!.. Сколько раз вас просил не волновать меня зря!.. За что вы мучите меня!.. За что вы убиваете меня!..— ругательски кричал он на мать и сестру, на своих кровных, единственных, которыми он жил и ради которых так мученически жил, а сам в то же время незаметно вытирал рукой то с одной своей щеки, то с другой слезы.— Слезы твои, Оля, женские, зачем?.. Вой твой женский, зачем?.. Причитания женские, зачем?.. Ты уже хоронишь себя!.. А может, та вошь была не сыпнотифозная!.. И вот я должен объяснить вам про вшей... объяснить, объявить...— спутался он, выбившись из сил и то закрывая, то открывая глаза.— Дом в опасности!.. Война семьи со смертью продолжается!.. И каждый из нас должен знать в этой войне свое место!.. И всех, всех зовите сюда, всю нашу семью!..

Блуждающими глазами он обвел мать, сестру, искал детей.

— Надо позвать Васю и Нюню,— сказала бабушка,— а то будет кричать, почему не позвали, и докричится до сердечного припадка.

— Петичка, и детей тоже? — в смертельной тоске, не своим голосом,— вкрадчиво спросила сестра, сжимая рукой горло, чтобы не разрыдаться.— Мама, мамочка! — холодея от ужаса, вскричала она.— Смотри: с ним что-то делается!

— Иди за детьми! — твердо сказала ей мать, стояла, как вкопанная, и по-иному, чем всегда, смотрела на Петра.

Казалось, в мире не существовало той силы, которая могла бы сейчас оторвать ее от него!

Через минуту в столовую вбежали Вася и Нюня. Они стояли рядом, как школьники, вызванные учителем, и так энергично дышали после уличной беготни, что плечи их все время то поднимались, то опускались.

— Ну, Петя, мы все собрались,— осторожно проговорила бабушка, видя нетерпеливые движения Петра.— И дети тоже.

— А-аа...— пробормотал он, как немой, и шумно и глубо-

ко вздохнул, широко раскрыв рот и призакрыв глаза.

И наступила пауза.

— Петя,— дрожащим вздохом позвала его мать, точно прислушиваясь к собственному голосу, в котором уже не хватало какой-то струны.

Петр молчал.

— Петя, мы ждем,— сказала, вернее, не сказала, а только подумала сказать мать, не дыша.

Петр не отзывался, неподвижно лежал на боку, как был, с закоченело-раскрытым ртом.

— Спит? — не веря своему вопросу, произнесла мать и перевела расширенные глаза на дочь.

И в глазах дочери она прочла разрастающийся ужас!

Одним прыжком, звериным прыжком матери, спасающей своих детенышей, старушка очутилась у изголовья Петра и судорожно-цепко держала оба его плеча в своих руках.

— Петя! — напрасно будила она его, напрасно тормошила за оба плеча и заглядывала в полураскрытые, уже безучастные ко всем и всему глаза.— Наш Петичка! — вдруг взвился и сорвался на полуслове ее горестный вопль.

Она упала своим лицом на леденеющее лицо сына, точно он и она были одно; точно если он уходил без нее, то не весь уходил; и если она оставалась жить без него, то не вся оставалась...

Ольга, не сделав ни одного движения, не издав ни одного звука, мягко грохнулась на то самое место, где стояла. Так рушится карточный домик-башня, если из самого ее фундамента вынуть одну карту.

Дети, худые, смуглые, на тоненьких ножках, точно на обглоданных косточках, в слишком коротеньких платьицах, с маленькими голодными искорками на месте глаз, как-то небывало легко и невесомо, точно отбившиеся от стаи две пугливые рыбки, оба разом метнулись вперед и, сомкнувшись головами, наклонились к самому лицу дяди Пети, чтобы узнать, в чем дело...

За окном ярко сияло солнце; в садике неистово заливался Пупс; и из-за калитки чужой голос громко спрашивал:

— Примусы и машинки для котлет здесь берут?

1923

Николай Тихонов

БИРЮЗОВЫЙ ПОЛКОВНИК

Длинный пес по привычке рванулся к хозяину, не дочесав бока. Цепь, укрепленная на проволоке, перелетавшей через весь двор до самой калитки, ответила визгом и скрежетом на его прыжок.

Бывший полковник Ведерников шел через двор умываться. Полотенце с вышитыми петухами обвивало его шею. Шагал он по-военному, как на смотру,— черные туфли шлепали в такт, руки равномерно взлетали, ровный огонек дисциплины мигал в глазах.

— Здорово, Кубилай! — приветствовал он пса, опуская руку на его курчавую спину. Кубилай, как всегда, задохнувшись от рабского восторга, закрыл глаза и, сгибаясь, ловил языком рукав полковничьей рубахи. Но водопровод тоже имел право на внимание.

Полковник всегда умывался с удовольствием. Он старательно смывал ночное расслабляющее тепло, он смывал свою заметную старость. Холод горной воды давно был союзником его шафранного, высохшего тела. Он вздрагивал, как от укола, когда представлял себя лежащим в соломенном кресле ненужной, тощей грудой костей, ломаемых всеми болезнями. Голый до пояса, стоял Ведерников, слегка раскачиваясь, обтираясь мокрым полотенцем.

У террасы ждала его коза, тыча в разрезы досок белую морду,— она зашевелила ушами, когда полковник взял ее за подбородок и сказал: «Смирно!»

Федосья Родионовна, полковничья экономка, кухарка и работница, принесла эмалированную кастрюльку. Полковник сел на корточки, подоил козу и отпустил ее. Самовар шумел на столе, полковник начал бриться. Выбрив одну щеку, он сделал перерыв и посмотрел, нет ли порезов, прыщиков или маленьких красных пятнышек — он боялся пендинской язвы, обычной болезни Туркмении; он всю жизнь провел

в этих горах и пустынях и всю жизнь боялся пендинки. Щеки, как всегда, желтели ровно; может быть, морщин за ночь прибавилось, но кто может учесть их незаметный рост и затейливость их мелких изгибов!

После чая полковник подмел двор и сад, медленно и задумчиво. Он не вел дневника, но за утренней уборкой вошло у него в привычку думать о мелких работах дня, о старых знакомых и даже о бессмертии души. Он остановился у калитки огорода, поставил метлу в угол, вернулся и вошел в дом.

На террасе возник вынесенный с неестественной предосторожностью почти квадратный ящик, зашитый в холст. Полковник оглядел ящик со всех сторон, проверил, плотно ли он обшит, покачал его — не трясется ли содержимое, принес веревок и начал перехватывать ящик крепкой веревочной сетью. Уже и веревки были исчерпаны и на смену им явился молоток,— тонкие серые гвозди легко вонзились в мягкое дерево, и молоток отчетливо отстучал свои удары,— но полковник все не мог отвести глаз от ящика, он ощупывал его со всех сторон. Он, отходя и приближаясь, смотрел на него так, точно в ящике сидел фокусник, который должен был разорвать холст, освободиться от веревок, вырвать гвозди и выйти наружу. Долго полковник созерцал ящик необычайно нежными взорами. Ничего не случилось, из ящика никто не появился.

Ведерников еще раз оглядел ящик и закричал нестрого:

— Товарищ Гурий, а ну-ка, товарищ Гурий!

Из кухни выбежал босой туркменчонок в синей рубахе и широких штанах.

— Амалякми!— закричал он.— Я тут, Денис Васильевич!

— Поищи-ка Махмуда, да поживей, товарищ Гурий, одна нога здесь, другая там.

Махмуда не надо было искать. Махмуд ждал со своей арбой на улице. Он никогда не опаздывал, это не его привычка. Он охотник,— охота любит правильный глаз и проворные движения, он крестьянин и балагур,— поле обожает порядок, а в рассказах даже демоны подчиняются чувству меры. Махмуд уважительно поклонился полковнику, как человек другого племени, и неуклюже подал руку. Полковник ввел его в комнату, они, не торопясь, выпили по две чашки чая, потом оба осмотрели ящик еще раз.

— Пиши адрес там, кому надо,— сказал Махмуд.

— Адрес здесь,— указал полковник на край холста.— Ты вези осмотрительно, не тряси, ради бога, не тряси. Брод

обойди лучше по ручью, там дальше ехать, зато ничего не попортишь, а в городе ты уж знаешь, куда его направить.

— Мы все знаем,— сказал, самодовольно топорща усы, Махмуд.

Они перенесли ящик на арбу с деловитостью санитаров, ступая не в ногу, обложили его соломой, будто он был из сплошного стекла, посмотрели, хорошо ли он лежит, и только тогда Махмуд щелкнул языком и взял в руки кнут. Полковник перекрестил ящик, и арба двинулась. Облака пыли сразу же взметнулись за ней. Казалось, Махмуд возносится на небо вместе с невероятным грузом.

Полковник смотрел вслед, все морщины на его лице помягчели, рот ребячески полуоткрылся, седые подстриженные усы сочувственно блестели. Потом он захлопнул калитку, и ящик уехал из его жизни навсегда.

Морковь, лук, красный перец и баклажаны жили и размножались вполне достойно и благополучно. Ведерников нагнулся над грядой толстых томатов, встал на колени и нахмурился. Он сорвал томат и разглядывал его глазами знатока. Верх томата был захвачен темной, жесткой, ржавой полосой.

— Бактериоз,— сказал полковник, обращаясь к яблоне.— Видела ты, томаты-то заболели,— бактериоз.

Он стал осматривать плоды один за другим. Его сердце успокоилось. Темной опухолью страдали только несколько штук. Он отобрал их, сложил в сторону, нарвал веток и развел костер. Зараженные томаты сгорали, шипя на свое несчастье, красная сердцевина их бунтовала в огне. Кубилай щелкал зубами мух и лаял на костер.

Тогда пришел Ревко, похожий на гнома с немецкой кружки,— лукавый Ревко с кривыми ногами. Ревко — большевик, мудрец и садовод; он смотрел, как полковник поливает огород и сад.

— Я не зря пришел,— сказал он, ударяя себя по колену.— Опять провели душу на муке. Ну что ты скажешь? Где отруби из просяной, джугарной и где пшеничной — не отличаю.

— Я тебя научу, Макарыч.— Полковник поставил лейку на скамью и сам сел.— Возьми в рот горсть, попробуй языком. Будет колоть десны — значит, джугара есть, не будет колоть — вроде манной каши,— пшеничная. Просяная же мука пахнет пшенной кашей.

— Я тут живу, знаешь сам, без году неделя, непонятностей много. Ну, а у тебя что?

— Томаты заболели, вот пожег,— отвечал полковник.

Они сидели на скамье и курили; торопиться было некуда, в мирном порядке между деревьев за чужими заборами свисали черепичные и железные крыши домиков. Поселок Бирюзовый переживал величественный ленивый послеобеденный час. Назывался он Бирюзовым за отчетливое голубое небо, стоявшее над ущельем. Голубые горы шли в разные стороны от него, и только рыжая мгла дальнего хребта указывала на страну другого цвета. Там лежала Персия. Голубые бычки ползали по скатам гор, голубая пыль вдалеке окутывала овечьи спины, голубые голуби сидели под крышами или бегали по дворам, уступая дорогу петуху. Голубыми прозрачными шарфами хвастались девушки-колонистки. Голубые глаза северян, пришедших сюда и поселившихся в ущелье, переходили по наследству с немного скучной аккуратностью. День проходил, незатейливый и голубой, огород, сад и двор — на такие части распадался голубой день,— и, как их ни тасуй, они не становились разноцветнее.

Когда же вечер зажигал желтизной лампы столовую, Гурий — малый, воспитанник Ведерникова,— приносил с собой кожаную тетрадку, и полковник учил его, как люди складывают цифры, умножают цифры, делят и вычитают цифры и что из этого получается. Он объяснял Гурию, как движется луна, подобная старому дивизионному генералу, ушедшему в отставку, как рассыпным строем падают звезды, как формируются полки облаков, и Гурий любил чуждую неожиданность ведерниковских образов, потому что тогда самые обыкновенные предметы теряли свою устойчивую внешность и делались страшными. Гурий от этих уроков впадал в восторженный страх и начинал писать справа налево по-туркменски и мазал и чертил в тетрадке, пока полковник не отсылал его спать.

Потом полковник, как всегда, стелил постель, снимал гимнастерку и вынимал из стола тяжелый альбом, исписанный наполовину. Со стен нагло улыбались полуголые красавицы, приложения вымерших журналов, рядом с ними пестрели виды живописных мест. Полковник брал перо, обтирал его суконкой и приготовлялся работать. Но иногда его ночное творчество прерывалось в самом начале. Дверь скрипела, и высокая Федосья Родионовна, качая желтой распущенной косицей, говорила резким раздельным шепотом:

— Если идете ко мне, так идите сейчас, я вас ждать ие буду. В какую раиь встаешь-то ведь, с петухами.

— Слушаю. Иду,— покорио отвечал он.

Лишеииое всякого своеобразия шоссе имело прямое иазиачеиие: приводить из города в поселок Бирюзовый, закииутый иа самый глухой коиец Советского Союза. Ущелье, по которому ведет шоссе, еще ие исчерпало свою природиую иеиависть к порядку. Каждую весиу оио объявляло иовую войиу — скалы падали виезапно, как взорваииые бастиоиы, и заваливали дорогу холмами мусора: ручей, раздув свои голубые мускулы, ломал шоссе, и сотии тоии утрамбоваииого, примериого, казеииого песку возвращались к беспорядку своих собратий. Джуигли сопровождали шоссе до самого поселка; оии иабегали зелеными ямами, холмами, выступами, оии заметали все следы, готовы были иа самое дерзкое, рвали колючками одежду, поражали глаз ослепительиой путаиицей ветвей, царапали руки. Неожидаииая страстиость этой зелеиой державы ошеломляла. Огромиые пчелы, присев иа берегах едииствеииого ручья, как пилигримы, пили воду. Их брюха раздувались, оии ие могли лежать от тяжести. Тысячи жуков бегали между иими, сражались, хороиили друг друга и пировали иад трупами. Племеиа птиц шумели, каждое по-своему, кабаиы ломились, ие спрашивая дорог, козы по-цирковому прыгали с утеса.

Что касается растеиий, то золотой сияющий зверобой, рабочие ветви арчи, веселый страиствующий актер — звездиый фиолетовый касатик; красиый тюльпаи, добряк, страдающий ожиреиием сердца; белые султаиы ковыли, марширующие вразброд; розовый, как щеки иа севере, чертополох; угрюмец астрагал, одетый в хаки — чиновиик джуиглей; белый и желтый шиповиик; тополь и клеи, аяксы ущелья; крушииа, розовый горошек, дикий виоград, желтые шарики лука и все бесчислеииые безымеииые кусты и травы — были свидетелями великой жизии ущелья.

Среди иих вставали скалы, редуты, гостииицы, базары из камией. Оии входили в чащу, братаясь с ией. Мягкие очертаиия их были исполиеиы предательства.

Их крайиий выступ низок и доступеи любому любопытиому. Если человек вступал в джуигли, глушь садилась рядом с иим у костра иочью, оиа ие будила его утром первым криком птицы, оиа врывалась в его уши дием во время иетороплавого праздиоваиия ежедиевиого трущобиого действа.

Джунгли ненавидели шоссе. Джунгли считали его палачом зеленой свободы.

— За тем ли вы пришли сюда, полковник, чтобы отвести душу или просто рассеяться?

Он шел не один. С ним рядом шагал бывший ротмистр Бакланов. Хлопая себя веткой можжевельника по сапогу, он просил у полковника полтинник на выпивку.

— Все пьешь, брат? — укоризненно говорил полковник.— Куда в тебя льется?

— Сам не знаю. Как в Панамский канал. Не могу не пить. Ну, дай полтинник.

— Что же ты пьешь? — допытывался полковник.

— Что придется. Керосин не пью, до ханши доходил. Русскую горькую больше употребляю. У тебя дома, наверное, есть?

— Из лекарственных соображений пью рюмку перед обедом. Запасов не держу. А тебе пить нужно перестать. У тебя вид, посмотри, что у летучей мыши.

Ротмистр недоверчиво наклонился над ручьем. В полосатом стекле возникло лицо нового Нарцисса из бывших пограничников. Но струйки воды мутили очертания, и выражение лица менялось, переходя из синевато-серого в черный и наоборот.

— Я в папашу,— сказал ротмистр, отворачиваясь от ручья,— старины держусь. А ты что — не пьешь, не ешь, на воздухе гимнастику ломаешь? Сто лет жить хочешь? Зачем? Философский вопрос: зачем? В партию запишись.

— Был,— сказал с достоинством полковник.— Выключили.

— Знаю. Еще попробуй раз. Ну, дай полтинник. Томаты продашь,— получишь барыши. Ты ведь купец, а я безработный.

— Будет,— отвечал полковник,— посидим лучше.

— А сколько дашь, чтобы посидеть?

— Двугривенный дам.

Они сели у ручья. Ротмистр, помахивая веткой, продолжал:

— Нет, ты все-таки скажи: зачем стараешься? Мы здесь одни. С каждым днем ты ближе к смерти. Детей у тебя нет. Туркменчонка завел, бачей, что ли. Так нет, у тебя Федосья Родионовна есть. Пороков ты не имеешь.

— Я имею задачу жизни,— сказал значительно полковник.

— И я имею,— сломав ветку, молодцевато ответил рот-

мистр,— я мечтаю десятого барса убить. Девять штучек — вот таких желто-серых с пятнышками, боже мой, жизни мною лишены. Девять шкур дома валяются, то есть простите, ваше благородие, больше их, конечно, нет, ушли-с, со временем, а сколько я из-за них крови попортил, тропок, берлог, ям излазил,— будь им пусто,— а десятого все-таки кокнуть хочется. Башибузук — зверь, царственный призрак власти этот зверь носит в себе вместо царя, которого нет.

— Постой,— сказал полковник,— это не то. Я хочу, понимаешь, это все вот,— он обвел ущелье рукой, как пророк иудеев страну обетованную,— это все...

— Не понимаю,— зевнув, сказал ротмистр.

— Это все,— продолжал полковник,— иначе говоря, леса, ручей, горы, дичь, глушь, барсов твоих и прочее — истребить, уничтожить, а здесь взамен того развить промышленно-культурный угол.

— Как угол? — сказал обиженно ротмистр.— Ты не серди меня.

— Кустарничество природы заменить электричеством.

— Лавочку открыть здесь? — ответил ротмистр.— Не позволю.

— Тебя не спросят,— громко и строго ответил полковник.— Я разработал уже проект.

— Ну это, знаешь, мошенничество. Не ты это ущелье делал,— обидчиво сказал ротмистр.— Еще посмотрим.

Полковник, не отвечая, поднялся с камня.

Ревко пил с блюдечка, стараясь не попадать пальцами в чай. Бакланов сидел против него, качаясь на стуле, размахивая красными руками, а Федосья Родионовна, усмехаясь ротмистру, отодвигала от него пустую рюмку. Пустота рюмки уязвляла его, и он начинал снова поход на Ведерникова.

— Ну, расскажи, расскажи, как это тебя выставили из партии. У тебя это в красках выходит. Реформатор! Природу уничтожить хочет. Подождешь! Ну, расскажи.

— О чем говорить? — вступился Ревко.— Партия знает людей. По нашим дебрям, тут полковник старой службы — это прямо сама контра.

— Ну, вот сказал,— захохотал ротмистр.— А его проект знаешь? Америка? А все-таки его выставили.

— Бакланов, ты не шуми.

Полковник отставил стакан, желтые щеки его сузились.

Он подвинулся так, точно хотел взлететь, увял и быстро заговорил:

— Восстановим истину. Когда меня позвали на суд Пилата, то спрашивали: «Чем занимаетесь?» Тебя бы так спросили, а? Побоялись бы. Да. Так я читаю политграмоту красноармейцам. Не поверили, но это был факт доскональный Я политграмоту в ту пору знал наизусть. Например, каково было поведенье буржуазии?

— Положение ее было подлое,— сказал ротмистр.

— Я говорю — поведение.

— Ваше благородие, еще рюмочку соблаговолите,— просил ротмистр, и стул под ним скрипел так, точно присоединялся к просьбе.

— Дать, что ли? — подмигивая, сказала Федосья Родионовна.— Уж напоследок.

Полковник махнул рукой, поймал комара и швырнул его в лампу.

— Чудак же ты, Бакланов, как я посмотрю,— сказал Ревко,— служил хорошо в погранохране, а и тебя выставили За что, спрашивается? За пьянство, за несоблюдение сознательного образа. Служака ты ситцевый, когда пьешь.

— Поведение буржуазии было подлое,— проговорил ротмистр, опрокидывая рюмку в рот,— а я — последний буржуазный огрызок.

— Иди к черту! — спокойно сказал Ревко.

— Слушай, Бакланов, спрашивали меня происхождение, потом чин,— полковник. А до революции? — Полковник А до войны? — Полковник. Да вы что, говорят, товарищ, родились, что ли, полковником? Нет, говорю, друзья-товарищи, но прошу принять во внимание: я старик, и мне шестьдесят четыре года. Профессия? — Управлял областью, помощник самого Фазанчаева. Культурнейший был человек, деспотического слегка нрава.

— Они, поди, посмеялись?

— Бакланов, осади! — сказал Ревко.

— Они удивились очень, что я такой чин имею и остался недорезанным. Говорят: «Четыре сбоку, ваших нет, а вы политграмоту преподаете. Где же смысл современной жизни? Это вы показываете вид, глаза отводите, и мы поверить вам не можем. Дайте что-нибудь от чистого сердца». Тогда я встал и говорю: прошу занести эти слова в протокол и проверить меня предметно Три часа проверяли, единственная неосведомленность была в политической газетной жизни, но московских газет здесь не найдешь вовремя. В остальном

коллективный дух мой восторжествовал, поправ прошлое Они смутились и исключили меня только за происхождение, но без ссоры, очень извиниялись: не можем не исключить, потому что здесь кругом пустыни, людей нет стойких, а вы слишком большой обломок — это я-то — большой обломок старого строя, я.— Он подавился чаем.

— Не волнуйся, Ведерииков,— вмешался Ревко, перевернув чашку и кладя на иее кусок сахару.— Ты пиши себе про то, что знаешь, проект будущего. Действуй на мирном фронте, обиды тут нет, а здесь в самом деле пустыня. Я сам потерпел иа службе однажды за дело. Нужно было сотворить окоп кольцом. Стали мы рыть. Мать честная! Кости пошли, камень дикий, глядим — гробница обнаружена в кургане. Позвали из резерва сейчас людей, целый день возились, подрыли, чтоб целиком, значит, гроб поднять, а в самую тонкую минуту все плиты возьми да и рухни. Покойиик костями как брызнет в стороны, едва их пособирали. Хорошо. Отрядили отряд и в штаб дорогого покойиичка, в дивизию послали. Ходим и думаем, как благодарность будем делить. И приходит иа третий день из штаба дивизии приказ, и в том приказе дорогим товарищам и Ревку в том числе выговор за отклонение от служебных обязанностей без особой цели, и при том приказе дорогой покойничек уже в виде безобразной груды костей для возвращения в первобытное состояние. Вот какова история.

— Я всеми силами прошу меня использовать,— возгласил Ведерников,— я удивительно умею людей в руках держать. Я хивинского хана в руках держал, даже закричал раз иа него. Бухарский эмир умывальник мне подарил, что из Парижа привезли ему. Я знаю эту пустыню, как никто.

— Я, отец, лучше знаю,— сказал ротмистр, делая ужасное лицо,— я все тропы здесь ногами обтоптал. Девять барсов все-таки уконопатил. Сейчас бы свеженького под пулю, спустил бы его в городе, дали бы монету, неделю гуляй — не хочу. На финь-шампань перейти можно.

— Так-то вы свою жизнь и прогуляли,— заметила Федосья Родионовна, убирая чашки в буфет.

— Вы не можете понимать меня, Федосья Родионовна Вы женщина, философический вопрос для женщины лежит не в этом.

— Посмотрю я на вас,— сказал, вставая, Ревко,— два ребенка, блохи вас кусают. Но одиого я за ученость старости могу уважить, а ты — мужик золотые руки, а рот дерьмо Ну что с тобой делать в свежем обществе?

— Поставить к стенке,— заревел ротмистр, ударив кулаком по столу.— Пусть я за барса для тебя пойду, я его, а ты меня, идет!

— Дойдешь до ручки — поставим,— тихо сказал Ревко.

— Дикость во мне бродит — не приведи бог,— успокоившись, говорил Бакланов,— а мало я пользы принес? Контрабанду ловил караванами целыми, что, скажешь, нет? — Ловил. Гнезда их открывал? — Открывал. Ходил на них, на крохолей или фазанов? — Ходил. Кто же это делал? Ты, что ли?

— Да что я,— отвечал Ревко,— я здесь новый человек. А что ты — алкоголик,— видно с трех шагов.

— Ты — городской человек, храбрость у тебя не настоящая. Погубите вы божий дар — пустыню. Вон он первый,— кивнул он на полковника,— а мне пустыню жалко. Что она вам сделала?

— Не задирай меня,— сказал Ревко, не задевай мою фамилию, а насчет храбрости, может, мы одну соску сосали.

— Идем,— закричал ротмистр,— вдвоем на десятого барса, а? Даешь десятого барса? Другом будешь на всю жизнь.

— Горячий ты пес, Бакланов,— сказал Ревко.— А почему мне на барса не идти? Кошка как кошка, только громкая.

Ночь. Окурки лежат уже рядом с переполненной пепельницей. Большой альбом полковника раскрыт. Записки требуют исправления — примечаний. Тени великих художников стоят за спиной Ведерникова.

Один только первый лист свободен от сплошного текста. Он несет на себе тяжесть эпиграфа: самое дорогое существо в мире — рабочий-коммунист, самое дорогое вещество здесь — вода; посмотрим, что могут сотворить эти две силы за сравнительно короткий срок. Над эпиграфом название: Схема в виде рассказа, или Будущее Бирюзовского поселка через двадцать пять лет.

Полковник откидывается в кресло. Творчество не пускает его ко сну. Барышня с олеографии соблазняет его розовой грудью, но барышня сегодня не имеет успеха. Ведерников трепещет. Он перечитывает тексты, еще далеко до конца. Как трудно быть пророком в своем ущелье! Здесь живут всего двести человек, гремят джунгли, ущелье на сорок верст грозит обвалами и наводнениями, кабаны точат де-

ревья, волки нападают на пастухов, нижние выступы скал доступны любому любопытному. По этим выступам он уже провел трамвай, он уже выселил всех рабочих на вершины гор, он уже уничтожил зеленую империю джунглей, но является вопрос — откуда достать людей? Людей? Он ощущает в себе ярость Саваофа.

«Население поселка,— пишет он,— путем поднятия средств рождаемости достигнет десяти тысяч человек. Будут пущены в ход все научные способы. Значит, с этим покончено...»

Он закончил неделю назад водопроводы, огромные дома-общежития; электрификация близится к концу,— можно идти дальше; важно предусмотреть мелочи. Рабочие одеты в одинаковые шелковые блузы, постройка блуз и штанов производится механическими портными в коммунистических швальнях. Ни одного бранного слова, всюду чистота, электрические веера-опахала, устроенные под потолком, плавно качаются.

«...А водички-то и нет».

Откуда взялось это в тексте? Освежить главу. Ах, это вспомнился Бакланов. «Это надо пресечь в корне. Чего ты, брат ротмистр, захотел?» Полковник макает перо в самую гущу чернил и пишет начисто.

«В 1932 году был последний случай неорганизованного пьянства. Один зав праздновал годовщину службы, засиделся, ведь это редкость. Ну, с радости и напился... Вино и спирт можно достать только в главной коммунистической аптеке...»

— Отомстил,— говорит полковник. Он отсидел ногу, вытащил ее из-под стола и начал растирать. По ноге ходили мурашки, нога была старая, сухая, слабевшая с годами. «Это надо принять во внимание».

«В будущем люди будут ходить без ног. Пневматические колеса, привязанные к ступне, обладают скоростью 25 верст в час. Пока достаточно. Кроме того, омолаживание доступно любому из товарищей, независимо от пола и возраста. А как они будут умирать — это можно переработать в примечаниях,— думает полковник,— смерть не такой важный вопрос, если люди живут нормально до ста лет...»

Теперь само ущелье. Озеро. Да, конечно, необходимо широкое озеро,— озера вообще нет в ущелье, воды вообще в ущелье маловато, кроме ручейка, ничего нет. Потому-то озеро и должно быть. Хорошая свежая лужа, ее нужно населить.

Он пишет иа полях для памяти:

«Рыба в озере: лопато-зуб,
сазан,
караси (пожирнее),
форель.

Желательио моторные лодки. На выступе иад озером научное кино, по коммунистическим праздникам коикурс ораторов».

Лунная тишииа лежит в доме. Какая-то мошка бродит по голове полковника и смущенно звенит. Ои тщетио ловит ее.

«Ущелье сейчас — очаг малярии. Болезни — они очень живучи. Необходимо оговорить: малярия как болезнь редко, но еще бывает, так как причиной тому служит слишком долгое пребывание товарищей коммунистов в садах вне рабочего времени».

Следующий параграф — шелководство. Блузы и штаны строятся из шелковых материалов. Здание уже готово у него, но упущена техника. Он пншет: бараки для выкармливания родовитых червей снабдить лифтамн, чтобы доставка в третий этаж коконов происходила незамедлительно.

О, тяжелая и сладкая ночь организатора! «Если еще эта девица будет дразниться на картинке, я пущу в нее чериильницей»,— думает полковник, поднимая глаза от страниц будущего.

Малейшее упущеиие потом скажется как бедствие. Должен человек есть рационально или нет? Должен. А почему об этом нет нигде указаний, как будут люди есть через двадцать пять лет? Здесь не Европа, он прожил здесь шестьдесят лет с лншним, и местные жители все шестьдесят лет ели руками и руками едят сейчас.

«Оставить этот вопрос открытым»,— пишет он.

Распределение меню — дело легкое. Рабочие-коммунисты получают от шести до восьми чай, кофе, молоко, яблочный сндр, разные холодные закуски. От двенадцати до двух обед нз двух блюд и фрукты. От шестн до восьми то же, что и утром. Прохладительные иапитки отпускаются во всякое время с шести утра до девяти вечера как в столовых, так и на квартирах.

Но ведь они избалуются, они захотят спать до десяти часов. Шалишь! Он думает миiнуту и записывает: все кровати снабдить пружинами, в пять часов утра свертывающимися автоматически, несмотря на положение спящего.

— Это резои,— говорит он, закуривая. Он медленно перечитывает страницы. Ущелье за стенами его дома дрожит

от ярости. Ничего, оно будет посрамлено. Тут глаза полковника встречают вызывающую красоту олеографической девушки снова. Он пускает три кольца дыма: все люди, нельзя их лишать прелести существования. Закон размножения требует тоже уважения. В какой параграф это можно вставить? Ах, вот! Есть! Общественный сад — что загс. Загс — это акт регистрации, уважаемые люди, сейчас,— он сам читал в газетах,— и те требуют приятной обрядности и уютной красоты. Полковник вооружается снова пером.

«...В общественном саду сделать три аллеи: аллею встреч из кипарисов, аллею вздохов из самшитов и аллею свиданий из мимоз».

Вопрос урегулирован.

Ведерников становится строгим и неподкупным. Как трудно одному, какой штат сотрудников имел старый бог, когда он сооружал вселенную. Как раз кстати: вопросы управления, на этом можно закончить ночь. Уже рассветает. Кубилай на дворе звенит цепью.

«...Высший совет работает шесть часов в день. Секретов ни от кого нет. В главной конторе имеется жалобная книга, где все могут писать что угодно. Жалобы решаются большинством голосов. Несправедливости места нет. Случайные злоупотребления (тут приложить список: кражи, убийства из ревности, неприличная брань и прочее) незначительны. Ими ведает верховный суд Республики». Точка.

Лихорадка творчества кончилась. Ущелье уничтожается все больше с каждой ночью. Но разве эта глушь поймет полковника? Ветки стучат в окна, точно говорят: погоди, погоди... Он бережно закрывает альбом и гасит лампу.

Откуда началось невероятное увлечение полковника Ведерникова? Почему понадобилось ему изменить лицо земли до неузнаваемости, истребить покой пустыни и гор, с которыми он прожил всю жизнь, проводить ночи в легкомысленном растрачивании собственных фантазий, похлопывая по плечу неподвижность, окружающую его? Переворот в душе полковника совершится не в октябре, но много позже. Была сделана внезапная ревизия души. Оказалось, что до революции пустыни были пустынями, тишина — тишиной и ничего не предвиделось, не от чего было даже вести счет времени. К политграмоте он плыл через океан скучной обыденности, и вдруг все ветхие законы мира оказались сдвинутыми в этой бумажной Америке, что появилась в его столе. Он нашел мост, на котором устроил встречу сначала с солдатами, им он говорил всю жизнь: поправь фуражку, подбери

живот, вычисти сапоги, говорил не грубо, но строго и больше ничего. И это кончилось. Теперь он раскрывал красноармейцам книгу, которая перетряхнула его самого. Политграмота вернула ему покой и равновесие. Два года тому назад пустыню осматривал товарищ из центра. Было у него простое, круглое лицо и большие глаза. Он осматривал все спокойно, не нуждаясь в почете, но полковник видел, как все тянулись к нему, и он отвечал на все сейчас же и очень уверенно.

Товарищ из центра спросил человека в кавалерийских штанах, следовавшего за ним, почему он не взял в штаб такого спеца, как Ведерников.

Бригадный ответил почтительно, что полковник стар, по слухам, имеет геморрой и одышку, и служба была бы для него обременительной.

— Как вы смотрите на это, товарищ Ведерников? — спросил его большой большевик.

— Товарищ командир,— отвечал полковник,— это верно, одышка у меня есть, слух о геморрое пока не соответствует действительности, но ездить верхом мне трудно. Разрешите мне сделать доклад о будущем этих мест в категорической форме...

Тут товарищ из центра пошел с ним рядом, и за ними шла толпа любопытных и сопровождающих лиц. Они проходили как раз мимо исполинского плаката, семь стволов коего уходили в зеленую тайну листвы, и если поднять глаза к его вершине, то листва целым зеленым взрывом летела в небо Там, где разветвлялся ствол, на высоте человеческого роста темнела природная беседка. Ведерников указал на нее

— Покойный губернатор Фазанчаев садился здесь лет двадцать назад с дамочками пить чай наедине, и дерево было закрыто парусиной с шумящим кумачевым верхом Там стояли стулья и был даже устлан пол.

— Любопытно,— сказал товарищ из центра, задерживаясь у дерева.

— Теперь дерево вернулось к естественной жизни. По старости лет оно нуждается в музейном охранении. Надо следить, чтобы вырубались ветви, снималась гнилая кора...

— И что же? — спросил товарищ из центра.

— Кто освободил дерево от дамочек и излишеств губернатора? Освободила пролетарская революция, многоуважаемый товарищ командир.

Большой большевик поднял брови.

— Разрешите, чтобы не занимать вашего времени, пред-

ставить вам доклад о будущем этого места в письменной форме.

— Хорошо,— сказал товарищ из центра, прощаясь с ним, и, увлекаемый служебной толпой в другую сторону, отошел от платана.

Через два дня, когда товарищ из центра уже занес ногу в автомобиль, полковник, раздвинув ряды служебных и любопытных людей, подошел к автомобилю.

— Я прочел ваш доклад,— сказал ему товарищ из центра.— Доклад любопытный. Может, что и сделаем. Спасибо.

— Служу Республике,— ответил Ведерников, прикладывая руку к фуражке.

Приезжий товарищ не был брехуном. В поселке спустя немного времени появились два инженера. Они ежедневно совещались с полковником и лазили по горам, добросовестно показывая пограничникам мандаты совершенного образца.

Каждый параграф полковничьего сочинения они снабжали комментариями, состоящими большей частью из ругательств, сооруженных на ходу при помощи терминов технического словаря и слов народной мудрости. Перед отъездом Федосья Родионовна наварила им галушек.

— Что же,— сказал полковник,— что вы скажете мне на прощанье?

— Я скажу вам на прощанье,— начал один из них, помоложе,— все, что вы написали, сделать можно, но какими средствами? Форда из Америки выписать, что ли? Вы говорите — трамвай, а тут жителей сто человек.

— Двести,— поправил полковник.

— Разве что в смысле учета будущего природного инвентаря...

— Конус ему в гиперболоид! — мрачно сказал второй.— Нас вчера чуть кабан не зарубил. Ничего не поделаешь, товарищ. Птичка треплется на ветке, такова природа.

Они уехали, выпив два самовара и съев все галушки. Кубилай охрип от лая и устал гоняться за ними.

— Это первые ласточки,— сказал полковник,— кабана испугались. Городские люди. Я буду писать подробнейше. Я сделаю все сам.

С тех пор редкая ночь не была творческой для Ведерникова. Даже Федосья Родионовна стала обижаться, что он пренебрегает ею ради чернильницы, и зло подсмеивалась за обедом и ужином над его бумажной любовью.

Он заключил договор с Ревко, открыл ему тайну своего

альбома, и единственная машинистка Совета перепечатывала сокращенный труд полковника, не задумываясь над непонятными словами, и писала вместо: «паллиатив» — «локомотив» и вместо «баллон» — «бульон»... Потом рукопись отправилась в Москву к тому товарищу из центра, что осматривал пустыню со всех точек зрения, и там она исчезла безответно.

Двухлетний юбилей со дня отправки ее полковник праздновал, беседуя с Ревко. Ревко убеждал его, чтобы он не волновался, что рукописи в Москву шлют со всей России, и там установлена очередь на чтение.

— И я так думаю,— говорил полковник,— каждому охота свой медвежий угол поскорее привести к красоте ближайшего будущего.

Бакланов и приезжий метеоролог Сарычев сидели в ущелье у ручья. Ручей равнодушно гнал свою полосу. Сарычев мешал палкой в котелке, поставленном на два плоских камня. В котелке варилась черепаха. Вода кипела ключом.

— Ничего не выйдет,— сказал, плюнув, Бакланов.— Попробуйте-ка вылить.

Сарычев слил воду и положил черепаху на песок. Она высунула голову, огляделась и поползла в ручей. Ротмистр перевернул ее палкой на спину.

— Видали? Так третий раз.

— Отказываюсь понимать,— пробормотал Сарычев, вытянув нижнюю губу.— Что это за механика?

— А вот и механика,—ответил ротмистр.— Не варится — да и все, такая порода. Бросайте ее! Тут еще и не то бывает.

Сарычев поднял черепаху двумя пальцами. Она спрятала голову, отверстие закупорилось почти герметически. Он раскачал ее и зашвырнул в кусты. Ротмистр взял котелок. Они пошли, рассекая безжалостно джунгли.

— Товарищ Сарычев, я раз забрался в Персию, черт ее знает как: охотился ночью, незаметно границу перешел, все по щелям, с туркменом одним,— молод еще был,— за козами гонялся. Ну, заночевали в такой, значит, чертовой дыре. Утром просыпаюсь, смотрю: чернющий кабан стоит в кустах и глядит на меня. Я винтовку, бац,— промазал. Стоит он как невредимый. Я другой раз — бац! — хоть ты што. Промах, а он не шевелится. Неужели, думаю, с первой пули хватил, и только сомневаюсь. Подхожу осторожно, что б вы думали: камень. Умереть сейчас, из черного камня кабан, здоровенный...

— Я где-то про это читал,— говорит метеоролог, прыгая через камни.

— Да не могли вы читать, что вы мне рассказываете?

Ротмистр обиделся. Они молча пришли в поселок. Тихий плеск летней жизни имел свою звуковую таблицу. На вершине ее помещались редкие удары топора, неотчетливые голоса хозяек, кричащие петухи и ослиный рев, потом шли шаги, скрипение деревьев, разнообразная музыка дворов, и уже где-то совсем внизу таблицы пели комары и отряхивались листья. Над палисадниками свисали ветви ореха, клена, лоха. Кубилай подкатился к ногам гостей, над его пыльной шкурой играли мухи.

Полковник пил молоко с черным хлебом.

— Тебе пакет с почты,— сказал Бакланов.

Пакет был из города, куда Махмуд отвозил в свое время полковничий ящик.

У Ведерникова, отвыкшего от писем, выработалась привычка придавать каждому пакету особый сверхобычный смысл. Поэтому он не сразу читал письмо, а относил его себе в спальню и читал под вечер, когда все утихнет и он подготовится долгим дневным раздумьем к восприятию известия.

— Товарищ Ведерников,— сказал метеоролог,— вы человек культурный, о вас хорошая слава идет, современные запросы жизни вы верно ощущаете. Не хотите ли согласиться на одно предложение?

— Слушаю, с удовольствием слушаю,— протянул полковник.

— Он у нас вроде профессора,— сказал Бакланов.

— Слыхали вы, конечно, об облачности, о ветрах, об осадках. Мы вам поставим здесь дождемер, если вы согласитесь вести наблюдения. Ну, жалованье, конечно, ну, скажем, восемь, десять рублей. Так как?

— Всей душой, всей душой,— заволновался полковник.— Гурий, попроси Федосью Родионовну самовар поставить. Единственное наше удовольствие и развлечение — самовар. Поговорить ли, посидеть ли — самовар... Это скучно, но что же поделаешь? Если бы здесь жили писатели из самых пишущих — и они бы только писали про самовар. Какой это быт... Вот, скажем, лет через двадцать пять...

Позже, когда стемнело и Гурий разложил свои тетрадки, полковник велел ему убрать их.

— У нас сегодня урока не будет, повтори старое.

Гурий, обрадовавшись, убежал на двор играть с Кубилаем. Полковник принес свой заветный альбом, но, прежде чем раскрыть его, заговорил о поселке:

— Живут люди, конечно, везде, но у нас скудность воображения особенная: молоко, коровы, хлеба немного, дыни прут, дети бегают. А рядом ущелье видали? Богатейшая вещь! Воды нет — врете, друзья мои, а ручей, весной — такая силища, не знаешь, куда спасаться. Летом пересыхает, сделайте, чтобы не пересыхал; людей нет, постарайтесь — народятся. Так, в общем, я позволил себе в подмогу центральным органам собрать все свои знания и, простите за неточное слово, свою фантазию в общих чертах. Разрешите, я оглашу...

Тут полковник откашлялся и начал читать высоким голосом свою схему в виде рассказа. Он читал ее как декрет, впадая в пафос, указывая глазами на особый смысл того или иного параграфа.

Сарычев слушал внимательно, удивляясь убежденности фанатика, жившего в этом старом и сухом человеке.

Ротмистр вмешался, воспользовавшись паузой.

— Что ты все понаписал: завод, производство, а где же охота? Я без охоты сдохну. К чему мне твой яблочный сидр, от него только в животе булькает. Это ты про пьянство меня поддел, что ли, что водку стали в аптеках продавать? Я знаю. Ты, пока не поздно, об охоте что-нибудь сочини.

— Сочинил,— сказал полковник,— вот фазанов будет в парке видимо-невидимо. Их бить запрещается круглый год. Они почти ручные, подходят и берут у желающих пищу из рук. Общая охота на них производится раз в год, в праздник годовщины Октября. И есть еще специально для тебя... Вот: благодаря запретительному закону вокруг северных прудов образуется густая специальная чаща, куда будут приходить барсы и даже тигры парами из Персии. Окружное общество охотников устраивает облавы во всесоюзном масштабе, на кои имеет пригласить всех лучших охотников Республики.

— То-то же,— заметил ротмистр.— А все-таки, знаешь, скука будет желтая. Ну, я всех барсов перебью, а потом и сам застрелюсь от нечего делать.

Сарычев сказал:

— Знаете, у вас гладкий слог, очень свободный. Вы, верно, много читаете.

— Да,— отвечал Ведерников,— только писатели общегражданские меня не привлекают. Я читал политграмоту, но это слог сухой и научный. Мне писать им трудно. Я же искал мужественного и простого слова почти военного порядка.

Тут он встал и вышел.

Возвратясь, он положил на стол книгу в черном переплете.

«Неужели Библия?» — подумал Сарычев, ища крест на крышке, но креста не было.

— Я вам прочту отсюда несколько примеров образного слога. Первый пример: «Я заметил несколько лошадей, жалующихся на ноги. Приписываю это отчасти безобразному полу...» Как сказано, ни с чем не спутаешь! — Полковник вдохновился.— Или дальше: «При езде по улицам,— читал он,— казаки бьют жителей нагайками, сбивают с голов продавцов корзины с лепешками и фруктами, пьянствуют, приводят женщин и после зари производят в помещениях своих бессмысленный шум». Какая проза! Так только Гоголь писал. Вы посмотрите, как это внушительно и легко. А вот дальше: «Лошади должны быть наскаканы, а так называемую джигитовку, то есть чрезмерное нагибание тела, подымание с земли руками разных предметов и всякое бесцельное кувыркание как вредное акробатство воспретить!!»

— Да что вы читаете? — спросил Сарычев, но полковник гремел дальше:

— «Когда раздастся священный бой к атаке, в эту великую святую минуту артиллерия должна забыть себя. Артиллерия должна беззаветно лечь вся, точно так же, как беззаветно ляжет вся пехота, атакуя противника». Какая стихия! Это Шекспир, как я еще с детства помню, так писал.

— Да что же вы это читаете, черт возьми?! — воскликнул Сарычев.

— Приказы Скобелева,— ответил полковник.— Возвышенный организаторский был ум, слог его приказов послужил предметом моего подражания и ставится у военных за образец.

— Что же сделали вы с вашей рукописью?

Полковник рассказал ее историю. Ответа из Москвы не было. Ведерников поник. Буря, сотрясавшая его воображение, погасла. Самовар уже похолодел, нужно было ложиться спать. Ротмистр лег на террасе. Гостю полковник постелил в комнате, рядом со спальней. Сарычев долго не мог забыть декламирующего полковника, ротмистра, перевертывающего черепаху, потом все стало смешиваться, дерзкая нагота девушки, висевшей в комнате полковника, смешалась с удивительной сказкой о будущем поселка, написанной языком приказов. Его ухо зацепил странный лязг и визг на дворе. Ставни единственного окна были закрыты со двора, ничего нельзя было рассмотреть.

«Неужели полковник пилит дрова ночью с ротмистром? Вот уж парочка!» — подумал он. Заснуть было трудно. Наконец он все-таки ушел в сон, вдоволь наерзавшись в постели, но и сквозь сон он до утра слышал скрип пилы, то удалявшийся, то приближавшийся.— Что за чушь,— говорил он сам себе, просыпаясь на секунду,— с ума они сошли, ночью пилят дрова!

Утром, идя умываться, он снова поймал этот звук охрипшей пилы. Он недоуменно выглянул из-за угла. Кубилай бегал на цепочке, цепочка была прикреплена к толстой проволоке, и, когда собака натягивала ее, проволока ныла, как пила.

Сарычев выругался с досады и подставил голову под струю воды.

Бирюзовое небо над поселком не омрачалось ни единой тучей. Высоко над грядами томатов, моркови, лука, над широкими листами табака стоял на серых ногах серый цилиндр. Это и был дождемер. Внутри его изогнулась перегородка, защищавшая воду от испарения. Он одиноко торчал, обреченный на полное бездействие, ибо дождей не было и не предполагалось в ближайшие месяцы.

Засуха давно уже выпила последнюю мутную воду из тощих канав; ручей в ущелье местами превратился в нитку; в фруктовом саду листва стояла слегка металлическая. Всюду носилась пыль. Ведерников заботился о дождемере, как о ребенке. Ежедневно утром в семь часов он шел к нему с табуретом, осторожно снимал цилиндр, ставил на его место запасное ведро и уносил дождемер в комнату. Дождемер был сух, как полено, состарившееся на теплой кухне.

Ведерников опрокидывал его над стеклянной коробкой, стены которой были изборождены делениями, выражающими высоту водяного слоя. Но так как никакого водяного слоя не было, то опрокидывать дождемер вообще не стоило. Тогда, качая укоризненно головой, Ведерников заносил в ведомость особые печальные знаки, удостоверяющие отсутствие дождя. Он обтирал дождемер и снова относил его на старое место. Он не виноват, что дождей нет, не мог же он лить туда воду сам. Жалованье 8 рублей 10 копеек он получал аккуратно. По истечении недели он собирал бюллетени, говорившие в один голос о безводии, и, сведя их в один трагический список, отсылал его в город. Он за-

ставил Гурия и Федосью Родионовну проникнуться уважением к науке, но они снова потеряли его.

— Вот уж эта наука,— ворчала экономка,— ни за что деньги получать? Если так везде, то видать, куда народные денежки уходят. Пустое ведро под солнце ставить, это я и сама сумею.

— У тебя, Федосья Родионовна, не голова, а кастрюля,— отвечал раздраженно полковник и шел в сад собирать упавшие яблоки. Сад, покрытый пестрой сеткой теней, походил на зеленую беседку. Слегка похрустывая коленями, наклонялся Ведерников за ярко-румяными плодами, подымая их, нюхал тонкий аромат, шедший от свежей кожуры, сдувал с них пыль и землю и складывал в корзину. Приподнявшись еще раз, он взглянул вверх и вздрогнул. Перед ним стоял подошедший с беззвучностью призрака Ревко. Полковник знал хорошо все изменения лица этого большевика и садовода и сейчас удивился чужому и злому его выражению. Ревко сказал очень холодным голосом:

— Товарищ Ведерников, положь-ка яблоки, я до тебя имею дело. Нужда поговорить особым образом.

С этими словами он подошел к нему вплотную, положил руку ему на плечо и сказал, пристально глядя в глаза полковника:

— Эх, ты, а мы-то тебе верили!

Полковник выпрямился. Он почти надменно смерил Ревко. В правой руке он сжимал яблоко, левую он положил в карман старого серого френча и спросил:

— Что я сделал?

— Да вот, говорят,— холодным шепотом начал Ревко,— говорят, что у тебя богатство большое скрыто где-то...

— У меня богатство? — полковник пожал плечами.

— Драгоценная ваза, прямо сказать, ей цены нет, а ты ее утаил от всех про запас. Это дело, а?

— Ваза,— полковник выговорил это слово легко, оно было воздушное, немного теплое, продолговатое, как яблоко из его сада.— У меня нет вазы. У меня была, а теперь нет.

— Где ж она? — спросил Ревко, темный от волнения.— Ты знаешь, так не шутят. Мать честная, это народное достояние, а здесь, хотя и глушь, мы обманывать себя не дадим.

— Пойдем,— решительно сказал полковник, бросая яблоко в корзину и забывая ее в саду. Он, взволнованный, провел Ревко в свою спальню.

— Садись! — предложил он почти дружески.— Вот тебе ваза.

Полковник распахнул шкаф, раздвинул книги и вынул огромную фотографию. Ревко увидел бронзовую вазу китайской работы, блистающего дракона, охватившего ее, лодки с четырехугольными парусами, китайцев, фигурные ворота, изогнутых животных, цветы, похожие на животных.

— Про это идет речь? — спросил полковник, садясь напротив Ревко.

— Дым-то не без огня,— пробормотал тот, удивляясь немного спокойствию полковника.— А где же она? — Он обвел комнату, думая увидеть вазу тут же, где-нибудь на столике.

— Эту вазу,— медленно и страшно волнуясь говорил полковник,— мой сослуживец старой армии полковник Николай Романов, более известный под названием Николая Второго, получил лично в числе других подарков из рук японского императора как извинение за то, что один японец случайно ударил Николая Второго при его неправильном поведении в одной кумирне по голове тупым тесаком. Николай Второй, не имея природного дара ценить хорошие вещи, подарил эту вазу свитскому генералу Кособрюхову. Генерал Кособрюхов, умирая, завещал ее своему сыну Григорию, прозванному «Горчицей» за грубость и злость своего языка. Горчица проиграл ее мне в карты в тысяча девятьсот четвертом году при отправлении в Маньчжурию, где японский снаряд разорвал его на три части.

Ревко слушал, поворачивая фотографию во все стороны. Лицо его выражало недоверие. Узкие глаза его сверкали, он стал походить на лису.

— Означенная ваза стояла в моем кабинете тринадцать лет, и я изучил ее, как самого себя. Это была очень прекрасная и вдумчивая вещь. Человек, который ее сделал, много думал над собой и над жизнью. У него, несомненно, было здоровое сердце, а мозг работал, как у начальника генерального штаба. Французский археолог Кане давал мне за нее пятнадцать тысяч франков в тысяча девятьсот восьмом году и соблазнял меня всей роскошью Парижа, но я не отдал ее. В тысяча девятьсот семнадцатом году мой дом в городе подвергся исторически справедливому нападению вооруженного народа. Дом разнесли по кирпичу в порыве энтузиазма. Я лежал больным здесь, в поселке, и не знал, какая участь постигла вазу. Встав с кровати, я очень жалел, что такая редкость разрушена и исчезла, вместо того чтобы учить искусству новое, молодое пролетарское поколение. Я поехал в город и нашел мою вазу в мусоре

с отбитыми частями. У двух китайцев упали головы, и дракон потерял лапу. Я вазу увез сюда.

— Так,— сказал Ревко.— Налицо, милый человек, полное признание и полное сокрытие ценности. Вот она где — контра.

— Я не скрыл ничего, отвезя вазу сюда, я починил ее, я еще несколько лет наблюдал ее и все-таки вернул трудовому народу. Я стар, и мне некому оставлять ее.

— Знаем мы этот трудовой народ,— пробормотал Ревко.— Так где же ваза?

Полковник порылся в ящике и достал прямоугольный твердый конверт, тот самый, что привез ему Бакланов из города.

— Вот она,— сказал он.

Ревко развернул бумагу, и лицо его стало постепенно светлеть.

«Областной музей посылает благодарственный лист товарищу Ведерникову, Денису Васильевичу, за пожертвованную им древнюю китайскую вазу династии...»

Дальше читать Ревко не стал — не стоило. Послужной список китайской вазы окончился.

— Убери! — сказал Ревко мрачно.— Живи на здоровье! А ведь он сволочь.

— Кто он? — спросил полковник. У него похолодело чуть сердце, он даже оперся руками на стол и глядел согнувшись. Ревко положил фотографию на окно.

— Сам догадаешься,— сказал он, вставая.— Мне надо идти предупредить. Хорошо, что так вышло, а то ты попыхтел бы. На этот счет у нас строго. Свой глаз — алмаз, хотя и не всегда.

— Так это он? — проговорил полковник, задумчиво оседая в кресло.— Так это он донес?

Небо оставалось не запятнанным никаким подозрением. Поселок оправдывал свое название. Дождемер стоял в низменной компании овощей и заборов и академически скучал. Федосья Родионовна презирала его. Гурий подолгу смотрел на него, ожидая чуда. Чуда не было. В тишине огорода скрипели и хорохорились жуки. Серый, как дождемер, Ведерников, подметая двор, думал: «Ведь пойдет когда-нибудь дождь. Пойдет дождь, прибавится хлопот, попрошу прибавки. Скоро можно будет продавать яблоки. Почему из Москвы нет ответа?»

Многие мысли рождались у него, когда он медленно подметал свои владения. Кубилай ходил под проволокой хватая метлу с остервенением неизжитой молодости.

Недавний разговор с Ревко мучил полковника до сих пор. Это было самое мучительное, что вошло в жизнь на старости лет. Если бы портрет полковника напечатали в журнале где-нибудь, всякий бы сказал, что это изображен путешественник по далеким странам,— такое было у него желтое и сухое лицо, объеденное годами, жарой, пустыней, теперь же он за эти несколько дней похудел и пожелтел еще больше.

Подымаясь вечером на террасу, он услышал, как хлопнула дверь в кухне, где жила Федосья Родионовна. Он хотел пройти в свою комнату, но за дверью в кухне заговорил вдруг Бакланов.

— Федосья Родионовна, выходите за меня, я не молод, вы тоже. Да разве я молод? Что вы говорите? Ну так выходите на время. Я не смеюсь, да вовсе же не смеюсь. Эх, ты сердитая?

Полковник кашлянул. Федосья Родионовна сейчас же закричала громче обыкновенного своего крика:

— Уйдите, ради бога, я вас скалкой вот! Козел какой! Времени не нашел, на ночь глядя. Вас там зовут. Ну-тка отсюда!

Ротмистр появился на пороге. Полковник, не подав ему руки, прошел в спальню. Бакланов шел за ним, как механический истукан, заражая воздух пьяным дыханием Потом он вынул платок и долго сморкался, перебирая ногами. Полковник сидел лицом к окну и молчал. Ротмистр сел, встал, походил по комнате, потрогал олеографии с девушками, усмехнулся, расстегнул ворот рубашки и засмеялся. Ведерников молчал, лицо его укрылось в темноту.

— Денис,— закричал ротмистр,— Денис, на коленях прошу — уничтожить свою схему, дай я ее сожгу, проклятую Сниться она мне стала по ночам. Не порти природы, Денис!

Полковник не отвечал.

— Ты гордый! — снова закричал Бакланов.— Ты с большевиками дружишь, ты через свою голову заручку имеешь, а я нет, не терплю их вовсе. И водка у них плохая Денис, я у тебя в долгу, прошу прощения в таком случае

Он взял папиросу со стола Ведерникова и сжег три спички, пока раскурил ее. Полковник молчал слишком тягостно. Ротмистр протянул руку, чтобы взять его за плечо откачнулся и почти весело и молодо сказал

— Я не про Федосью Родионовну думаю. Больно она нужна мне. Я баб найду. Я про вазу, про вазу, Денис.

Ведерников содрогнулся, он сделал непонятное движение.

— Денис,— продолжал ротмистр,— я про вазу только и говорю. Хотел обратно в погранохрану, гонят меня, а, гонят. Ротмистра Бакланова гонят из этого пустынного учреждения. Ну, что ты скажешь? Я хотел их подкупить, ах, ты, десятый барс,— сорвалось!

Он неожиданно зачихал и полез за платком.

Ведерников встал и торжественно поднял руку.

— С кем я говорю? Это не слова бывшего офицера. Это пьяница, потерявший все святое.

— Верно! — восторженно загрохотал ротмистр.— В самый центр, Денис. Тряхнем стариной. Сейчас это что? Бродяга пришел в приличный дом и напакостил. Друг, тряхнем стариной! Соорудим кукушку. Кукушечку. Я как-никак ветеран этого края. Тебе тридцать очков вперед даю за старость.

Ведерников отступал от него в глубь комнаты, но ротмистр уже ловил его за рукав, за плечо, за грудь, умоляя и заискивая каждым движением.

— Старичок мой, губернатор, ваше превосходительство, кукушечку позвольте. За оскорбленье кровью отвечать, а? Как последний офицер российской его величества пограничной стражи требую удовлетворения,— сказал он мрачно, почти наваливаясь на полковника.

— Таких нет,— сказал Ведерников, оттолкнув ротмистра и выходя на середину комнаты.

— Не признаешь,— забормотал ротмистр,— по схемочке соображаешь? Сорок очков вперед, господин полковник, товарищ Денис.

— Говорю, как с чужим, слышите, сударь,— твердо выговаривая слова, пронзительно произносил Ведерников.— Секундантов нет,— обойдем правила. Я принимаю вызов.

Ротмистр, шатаясь, расшаркался.

— Федосья Родионовна через полчаса подает самовар. Гурия нет дома. Мы идем сейчас в сарай, а где оружие, а чем драться?

Ротмистр оглядывался, держась за спинку стула. Полковник поймал его взгляд и топнул ногой.

— Сударь, можете не искать. Второй донос не спасет вас и не устроит. Оружия огнестрельного я не прячу. Впрочем, у меня есть кинжалы, остаток коллекции.

Он, волнуясь, бросил на стол два туркменских клинка. Они были тупые и декоративные, как будто только что выпали из оперетки. Ротмистр захохотал, разрывая левой рукой ворот рубашки окончательно.

— На таких кинжалах можно скакать в Персию к шаху и к шахской матери,— сказал он, запуская руку в карман. На его ладони закачался истрепанный ветхий браунинг.— Хорошо, Денис,— сказал он, качиув головой на браунинг.— Здесь две пули,— добавил он немиого разочароваиио.

— Мы стреляем по очереди,— провозгласил полковник и, круто повернувшись, пошел на террасу.

У входа в сарай моталось на веревке белье. Они прошли между прохладных, ободряющих штанов и рубашек и остановились.

— Первый — ты,— сказал ротмистр, отдавая браунинг.— Ты оскорблен до глубины, а я, может, самой черной смерти ищу. Идем. Сто очков вперед.

Они вошли в сарай. Полковник зажег спичку и вытянул руку. В сарае лежало сено, грабли, лопаты, старые седла, дрова, железная кровать и много мелкой рухляди.

Ротмистр пошел сразу в самый конец сарая. Темнота взяла его за плечи. Спичка догорела.

«Сколько шагов здесь,— думал он, производя шум, подобный неумелому джаз-банду, задевая каждый шаг за какой-нибудь по-своему звучащий предмет.— Засыплюсь так, нужно присесть, выждать».

Сарай казался пустым и мирным. Даже мыши перестали возиться. Ротмистру даже показалось, что он в сарае один. И тогда, ужасно втянув голову в плечи, согнувшись и держась левой рукой за обломок какой-то бочки, он крикнул дважды: «Ку-ку», «ку-ку»,— и упал, ударившись головой о стену.

Выстрела не было. Он, не меняя позы, вытяиул руку, нащупал пустое место впереди, снова закричал пронзительно: «Ку-ку»,— и лег на живот. В ушах колыхалась самая жирная, черная тишина. Выстрела не последовало.

«Ждет,— подумал он со злостью, трезвея,— ждет, сагана!»

Тут он встал, и кастрюля с полки упала ему на плечо. Он крикнул от боли и присел, потом прополз вбок, вскочил и, прижав руку ко рту, сквозь пальцы прохрипел: «Ку-ку». Только эхо отозвалось слабым шумом. Тогда он стал кружиться, опрокидывая все на дороге, разметывая руками и ногами вещи, взрывая сено, крича «ку-ку» в самой смер-

тельной темноте все чаще и громче. «Ку-ку» летело, ударяясь, как он, об стены, о вещи.

— Бей, бей! — кричал он, стоя с поднятыми вверх руками. Пояс его лопнул, и брюки были готовы покинуть его.— Я тут,— кричал он в исступлении,— бей прямо! Пли!

Он стал искать полковника. Ведерников распахнул дверь и вышел на двор. Ротмистр, весь в синяках, оставил сарай, придерживая пояс, потный и расслабленный.

— А,— говорил он, прислонясь к сараю,— чего ты, а?

Полковник обернулся к нему, бросил браунинг на землю и положил руки ему на плечи.

— Ты дикий дурак, а я — я тоже старый дурак,— сказал он, чуть не плача.— Подумай, мы-то ведь одни здесь из прежних зажились, двое, как пни. Что же, друг друга жечь будем, а? Есть будем, да?

Ротмистр поднял браунинг и сказал просто:

— Прости, старик, я — сволочь. Давай поцелуемся! Тоже кукушку выдумал.

Его шатало пьяное раскаяние. Они крепко обнялись, Федосья Родионовна закричала в темноту с террасы:

— Да где же это вы запропастились?! Самовар давно ушел, полуночники.

— Мы здесь,— закричал ротмистр,— я не буду пить чай. Я тебе за это,— он сказал в самое ухо Ведерникова,— я тебе за это барса принесу.

Трясти каждое утро пустой дождемер становилось позорным. Еженедельные бюллетени уходили, украшенные маленькими, чуть заметными знаками. Во время войны о таком положении писали глухими словами: «На фронте без перемен». Полковник готов был отдать четверть месячного жалованья за несколько минут самого жидкого, самого легкого дождя. Дождемер требовал, чтобы его опрокидывали ровно в семь часов утра, и не позже. Традиции Ведерникова тоже требовали этого. Жизнь становилась затруднительна и скучна.

Поселок Бирюзовый не замечал полковника вообще, имея быт нетребовательный и неподвижный. Коровы ходили по улицам утром и вечером; тихо разговаривали хозяйки; изредка проходили, выплевывая дынные семечки, пограничники. В чайной сидели аборигены из тех, кому некуда спешить и нечего делать. Проезжал туркмен на высокой холеной лошади; шли похожие на украинцев крестьяне

с мотыгами на плечах, в диковинных шароварах с красными кантами, в пыльных высоких сапогах.

Ревко ворвался, еще издали размахивая газетой. Он вбежал, спотыкаясь, на террасу, крича Федосье Родионовне: «Где товарищ Ведерников?» Полковник за домом выколачивал матрац.

— Клопы появились, что ты скажешь? От сухого климата очень яростны. А что в газете? Эй, Ревко, да ты не болен?

Ревко протянул ему газету, грустно гримасничая. Ведерников сразу нашел то место, где разместились особо черные, необыкновенные буквы. Газета сообщала о смерти товарища из центра, приезжавшего в свое время в Бирюзовский поселок.

— Умер,— сказал, теряясь, Ведерников,— не может быть! Умер?! Так вот почему от него ответа не было. Видно, долго болел.

— Мощный герой был,— ответил, кривясь, Ревко.— Сколько фронтов окрылял — и на тебе! Тяжкий урон, ничего не попишешь.

— А как он здесь ходил?! — сказал Ведерников.— Сразу видно — отец командир. Я в свою жизнь нигде не воевал, хотя я живу долго, но с детства военному режиму подвластен. Я сразу вижу человека. Ревко, друг, какая же судьба мою рукопись постигнет? Изорвут ее.

— Такие бумаги не рвут,— сказал твердо Ревко,— она пойдет по линии. Как линия пойдет до Бирюзового поселка,— так и ответ, извольте видеть. А теперь там, конечно, в Москве, не до того. Мы что? Мы глушь, азиатское столпотворение.

— Дай-ка газету,— сказал Ревко. Он пошел на террасу, говоря на ходу:— Сяду в тени, почитаю еще, что-то ноги не носят.

Полковник шел за ним, оставив матрац.

— Не дождусь я, должно быть,— говорил полковник, обозревая с места голую цепь гор, опускавшихся в зеленые волны джунглей,— не дождусь, что здесь моя схема преобразование сделает. Жить мне не сто лет.

— Меланхолия,— сказал Ревко, но в эту минуту резкий свист, шлепанье ног, шум, лай Кубилая взбили тишину, как подушку. Полковник сбежал с террасы, впереди него мчалась в сад Федосья Родионовна, Ревко остался сидеть с газетой. Пять мальчишек, загорелых, тощих, черных, в разноцветных рубашках, завладели садом неожиданным штурмом. Двое вцепились в Гурия, который катался с ними

по земле, испуская всевозможные вопли. Трое, издали подбадривая сражавшихся товарищей, вовсю набивали карманы яблоками.

Федосья Родионовна схватила метлу и начала выметать грабителей. Мальчишки кинулись врассыпную и, как обезьяны, взлетели на глиняный дувал. Двое из них не избежали хорошего знакомства с метлой. Их разъяренные лица задержались дольше других на выступе дувала, с которого они кричали: «Подожди, ну, подожди»,— и ругались по-туркменски.

Гурий, охваченный пылом схватки, кидал им вслед камни.

— Откуда это? — спросил полковник.— Что за напасть? — Его мысли были так увлечены другим, что происшествие не взволновало его.

Гурий ответил сейчас же:

— Это школа из города переехала. Ну, они и пришли познакомиться.

Федосья Родионовна, ворча, собирала разбросанные яблоки. Полковник вернулся на террасу.

— Так как же, видно, ответа-то не будет?

— Будет,— сказал уверенно Ревко,— лет через десять...

На другой день, когда полковник и Ревко обсуждали газетные новости, в калитку вошел растрепанный и давно пропавший Махмуд, крича во все горло:

— Иолдаш Ревко, иолдаш Ревко, иди сюда!

— Да,— сказал Ревко, вставая,— чего галдишь? Чего воздух трясешь?

— Меня Бакланов слал, говорил — пускай идет скоро, скоро. Барса есть, барса пришел. Желтый пшик... Большой пшик. Вчера пришел. Очень замечательный барса.

Черный наплыв стволов, листьев ветвей дожидался луны, чтобы превратиться в светло-зеленый. Весь мир казался загроможденным. Тропинки умерли, лужайки исчезли. Где-то внизу булькала струя ручья. Темнота моталась на каждом уступе, летучие мыши, чуть посвистывая крыльями, предупреждали о неизбежности луны. Кусты растопырили свои ветви, будто проверяли наизусть количество их. Тогда в дебрях этой тяжелой темноты проскользнуло быстро серое пятно, потом оно казалось дальше, потом оно начало спускаться с горы.

Это шел барс. Вздрагивая от избытка нервности, не-

прерывно морща нос и шевеля круглые ноздри, он то ложился на живот, то выпрямлялся, как громадная резиновая кошка, высовывая сухой шершавый язык. В одном месте он остановился и нюхал воздух, переполненный множеством запахов. Но над всеми господствовал запах дождя.

Барс начал волноваться. Он не любил дождя, он съежился, будто крупные полосы воды уже хлестали его по спине. Он стоял, скребя лапой, и чувствовал, как холодный мелкий песок скользит по подушкам лап и забирается под когти.

Потом он пошел, раскачиваясь, бесшумно расталкивая кусты. Он был одним из немногих повелителей этой зеленой империи, слишком обширной для него. Он мог охотиться, меняя громадные свои угодья на еще большие. На одной прогалине он присел, у него зачесалась спина. Выгнув голову, он водил зубами по коже, потом повалился на бок, вытянул ноги, стал кататься, как комнатный зверь, выпуская и вбирая когти.

Играя, он сбил лапой ветку, обгрыз ее, тонкий запах свежего дерева прошел в его мозг. Он взглянул на передние лапы и не узнал их. Они посветлели, они вышли из темноты. Он понюхал их, лапы были знакомые, его собственные, но посветлело все вокруг. Черная ветка, изорванная барсом, превратилась в коричневую, потом в почти белую. Он огляделся широкими изумленными глазами. Мир изменился торжественно и быстро. Выступили кусты, деревья, голубые обвалы гор готовы были двинуться в полночный путь великанскими шагами одногорбых.

Барс огляделся, вытянулся и пополз. Он дополз до края прогалины и взглянул вниз. В ушах его, как в морских раковинах, прошел далекий шум. Это кричали шакалы в пещерах внизу. Потом он услыхал пыхтение кабана, спотыкавшегося на крутом подъеме, потом он неожиданно поднял голову и увидел луну.

Она была похожа на круглый глаз чужого барса. Черный зрачок недвижно уставился в одно место. Барс присел на задние ноги и зарычал. Он не мог долго смотреть вверх: высота была ему непонятна. Он еще не отошел от легкого испуга, когда начал спускаться; он не смотрел больше, он нюхал следы, распластывался, ворча, по земле. Ему захотелось пить, но воздух, ветви, земля — все говорило, что скоро будет дождь. Он заворчал сильнее; его тело подскакивало, как на пружинах, ощущая собственную силу и тяжесть, двигалось толчками; во рту лежал шершавый, тяжелый язык; черные пятна на шкуре, морща, собирались в стран-

ные созвездия,— вдруг он увидел впереди сквозь кусты узкую, кипящую, серебряную нитку. Ручей блистал, дразня и раздражая.

Барс тихо вышел и огляделся исподлобья. Никого не было. Вода сверкала у его ног; он подошел, вытянул шею, боясь замочиться, присел и опустил шершавый язык в воду. Ухо его неожиданно передало шорох справа и впереди. Он отскочил от воды, и тут ветерок бросил на него страшный запах, враждебный, возвещающий о смертельной опасности. Он отскочил, круто присел, и соседняя гора в эту минуту обвалилась, потом обвалилась вторая гора напротив, и луну он увидел, как глаз другого барса в воде ручья, куда легла его морда. Косая боль прошла сквозь него, заставив скорчиться, каждая нога вздрагивала отдельно, уже не подчиняясь ему, горлом шла кровь и пена, он не мог закрыть глаз, они превращались в стеклянные. Он хотел пошевелить хвостом — хвост не двигался. Тогда он положил голову набок, рванулся, сдирая песок и кусты, и замер.

Ротмистр стоял с ошалелыми глазами в трех шагах и держал большой нож. Нож был не нужен. Ревко подошел и толкнул зверя в бок прикладом: «Экая контра, не приведи бог!»

Вдруг ротмистр вскрикнул, встал на колени около барса и обнял его за голову. Мертвые глаза заблестели при луне.

— Десятый,— закричал ротмистр,— радость ты моя, десятый! Удостоился.— Он гладил и целовал, захлебываясь, его залитую кровью тяжелую морду и лапы с янтарными когтями. Махмуд привел своего ишака. Ишак дрожал всем телом и не хотел идти. Махмуд вынул спички и наклонился к зверю.

— Не смей палить усов,— закричал, багровея, ротмистр.

Они подняли барса и положили на ишака.

— Пошли? — сказал Ревко.— А я и не стрелял. Испугался. Провалиться на этом месте — испугался. У нас таких нет.

Чаща потемнела снова. Ротмистр вытянул руку ладонью вверх. На ладонь упала тяжелая капля, за ней — другая.

— Дождь! — воскликнул он.— Держись теперь!

Только они вступили в главное ущелье, ударил дождь.

Полковник писал на маленьком листке бумаги о чем-то необычайно трудно. Он поминутно перечеркивал написанное, прихлебывал холодный чай и хмурился. Он хотел обязательно вместить все на этом узеньком клочке. Глубокая

ночь наклонялась над его столом. На дворе неожиданно закачались деревья, точно их окликнули, и прохлада побежала через полуоткрытое окно в комнату.

Затем раздался треск разрываемого шелка, еще и еще. Полковник встал. Он отказывался верить, он подошел к окну, распахнул его, и брызги, сорвавшиеся со ставень, упали ему на лоб. Дождь, самый настоящий, крупный дождь, дымясь, рушился на землю. Полковник с удовольствием слушал воду, прыгающую на крышу, зарывающуюся в листву, скачущую по двору. Кубилай метался на цепи. Его лай становился все короче и страшней, точно он околевал от бессильной злобы, смутно сопровождаемый визгом проволоки. Шум бродил в саду и в огороде. Полковник высунулся из окна и прислушался. Кубилай затих. Ведерников вернулся к столу с мокрой головой и снова выводил строки, которые через минуту зачеркивал. Так он сидел всю ночь.

А на рассвете пришли охотники. Они криком и стуком могли перебудить кладбище.

Впереди шел Ревко с закинутой за спину винтовкой. Дождь недавно перестал, луны уже не было, и серая муть плавала в лужах. За Ревко выступал ишак, вертя ушами. На нем лежал, свисая до земли, барс. На его голове блестели дождевые капли. Они скатывались с его скользких усов, похожих на полковничьи. Оскаленная пасть в кирпичных пятнах крови стукалась о ноги ишака.

Махмуд шел рядом, придерживая тело зверя. За ними выступал ротмистр, но в правой руке он нес такой странный предмет, что полковник замер. Кровь его метнулась, как в дни молодости. Он поскользнулся и всхлипнул. Ротмистр нес его дождемер, его серый пустой дождемер, постыдно качавшийся из стороны в сторону.

— Ждал, ждал дождика, а как дождь пошел, так и швыряться ведрами начал? — сказал весело ротмистр.— Что ж, я подобрал. Вещь под помойное ведро пригодится.

— Как это? Почему? Где ты взял его? — прошептал полковник.

— Да около забора и валялся.

— Это они! — закричал полковник. Его невыразимое отчаяние прорвалось воплем ругательств.— Это грабеж, это голый грабеж! — кричал он.— Товарищ Ревко, Махмуд, обратите внимание! Мою службу погубить хотят. Висельники, кантонисты проклятые, саранча, сквозь строй гнать мало! Как же это так? Как же это так? Что же я делать буду?!

Кубилай прыгал вокруг барса, рыча и страшась оскаленной пасти.

— Не убивайся, Денис! — закричал ротмистр.— Ты посмотри лучше, какого зверя ухлопал! Взгляни-ка.

— Хулиганье из школы хотело украсть дождемер. Озорство! Примем во внимание,— сказал Ревко.— Ничего, мы протокол напишем, не страдай, товарищ Ведерников. Тут твоей вины нет.

— Зачем мне усы палить не дал? — говорил сердито Махмуд.— Без усов зверь душу терял, а так мучиться будет Что скажешь?

— Уходи, уходи! — шипел на него ротмистр.— Красота! — кривлялся он, обходя вокруг барса.— Десятый мой, а как писаный. Красота, нечеловеческая красота! Сюда бы художника, увековечить.

Полковник, держа дождемер, вздыхал, как человек, потерявший сына. Барс развалился на террасе, как у себя в логовище. Пришел Гурий, завернувшись в одеяло. Разбуженная содомом Федосья Родионовна ворчала на кухне. Гурий побежал ставить самовар. Махмуд увел ишака под навес к сараю.

Полковник увидал на своем плече руку и поднял голову.

— Денис, дорогой,— умоляюще шептал ротмистр,— уступи мне барса. Ну, уступи мне барса.

— Ты же обещал мне его,— сказал полковник, собирая остатки мужества.— Как же так: ни дождемера, ни барса?

— Ну, обещал спьяна. Ну, Денис, уступи. Я знаю, ты уступишь, у тебя сердце хорошее. Следующего обязательно тебе. А этого я в город стащу,— сколько монет дадут, неделю пьян буду. Ну, уступи. Уступаешь?

Полковник махнул рукой, и тут Ревко, сосредоточенный, растрепанный и мокрый, сунул ему бумагу.

— Товарищ Ведерников, я написал тебе удостоверение, слушай, так ли?

В областное метеорологическое бюро

По случаю временной кражи дождемера неизвестными лицами, которые выясняются, составлен сей протокол в том, что дождь, неожиданно выпавший в ночь на первое сентября, зарегистрирован не был по вышеуказанной причине, без вины наблюдателя, что подписью и удостоверяется.

— Ну, а как же твое рабкорство,— неожиданно сказал он.— Написал заметку?

— Всю ночь сидел,— отвечал тихо полковник.

— Пока самовара нет, покажи-ка. Да откуда ты сведения достал?

— Гурий принес. Он целый день в школе толокся. Да я постарался покороче, чтобы и поярче вместе с тем.

Полковник достал из кармана тот кусочек бумаги, над которым он страдал долгую ночь. Его гнев упал, он успокоился и тихо прочел написанное.

В газету «Солнце Востока»

На днях к нам в Бирюзовый поселок переведен интернат, преобразуемый в сельскохозяйственную трудовую школу. В эту школу принимаются дети всех национальностей. Пока занятий нет, и некоторые из детей разных национальностей делают набеги на фруктовые сады. Но это с поднятием благоустройства прекратится.

Проектируется на главном участке, размером в две с половиной десятины, засаженном чахлым карагачем и арчой, вырастить образцовый фруктовый сад. Через пять-шесть лет сад будет приносить не менее пяти тысяч рублей ежегодного дохода. Кроме того, учащиеся будут иметь на завтрак и на обед прекрасные фрукты собственного производства. Также будет организовано разведение шелковичных червей и форелей в предполагаемом пруду и постройка научного кино.

Рабкор Ведерников.

— Ничего? — спросил он.

— Ничего,— ответил, гладя затылок, Ревко.— Только ты сад с доходом и фрукты на завтрак, рыбу с червями, да и кино вычеркни, пожалуй. Утопия, брат, это. Не поверят.

— Эх, Ревко, не любишь ты красивой жизни! — сказал полковник.

1927

Сергей Сергеев-Ценский

СЛИВЫ, ВИШНИ, ЧЕРЕШНИ

Июньское причерноморское солнце, полуденное, самое безжалостное, не давало трем плотникам,— Максиму, Луке и Алексею,— дышать свободно даже и в балагане около постройки, где они делали просветы и теперь обедали, утопив ноги в кудрявых стружках.

Кроме того, мешали осы: нервные, неутомимые, наглые, они вились неотбойно кругом, облепляли ломтики розового сала, жадно пили молоко из кружек, и сладострастно дрожали, насыщаясь, их золотые с черныо, ловко скованные узкие тельца.

Но то оттуда, то отсюда подкрадывалось к ним синее лезвие складного ножа и очень метко перерезало их пополам как раз в тонкой талии, и вот вместо прекрасно устроенной взволнованной хищницы валяются и вертятся на верстаке два недоуменных желтых комочка, и так, пока обедали, Максим перерезал их не меньше двадцати штук, приговаривая однообразно:

— Еще одна! — и бородатое, светлоглазое, полосатое от загорелых морщин лицо Максима выражало сытое удовольствие.

Лука, у которого вместо правой ноги торчала деревяшка,— человек сухоскулый и моложавый, несмотря на седину в усах,— сказал как будто даже конфузливо:

— Однако ты к ним без милосердия!

— Гм... Они же, черти, вредные без конца, без краю,— объяснил Максим.

— Это я без тебя знаю, что вредные: виноград, груши спелые выпивают... А то вот татарки сушку на крыши кладут сушить,— бывает, они шкурки оставят: все как есть высосут...

— Знаешь, да видать не особо! — зло поглядел на Луку Максим.— А вот я их узнал как нельзя лучше... Я от них две недели в больнице лежал, понял?

— От ос?

— А то от кого же?.. Конечно, я тогда мальчишка был... Эх, и до чего же подлые,— это надо видеть!.. И как сообща действуют, не хуже пчел... Прямо, войско... Мальчишек нас тогда человека четыре собралось, и куда же мы вздумали? — Сливы воровать... Как раз возле церкви старой, в ограде, слива стояла,— поспевать стала,— мы туда, значит... Церква старая, служения там не производилось — на это другая церква в селе была... А при этой пономарь только жил, и тот так что глухой и со слепинкой; годов ему семьдесят, и пил шибко... Ну, конечно, мы издалька поглядели,— пономаря того нет в помине, куда-сь мотанул,— мы работать!.. Я помоложе других был, поглупее, вот мне и говорят: — Максимка, лезь на дерево, тряси вниз, а сам не жри,— опосля разделим...— Чего не так? Я, конечно, живым манером, и так что норовил куда повыше залезть... Во-от рву, вот градом их вниз, сливы эти, сып-лю... А сливы уж синие попадались, ну были и с красниной... Ничего, сойдет... Говорится: в русском желудке и долото сгниет... Какие с красниной, они, конечно, твердые,— ни шу́-та-а!.. Знай, рву!.. Когда тут, откуда-то возьмись,— оса!.. Другая!.. Третья!.. Я рукой отмахнулся, сам опять же рву, свое дело сполняю... Вроде бы приказ мной такой получен: мальчишки, они ведь чудные... Гляжу, однако, а внизу прыгают... Ноги, конечно, у всех босые, штаны — не хуже, как теперь трусики,— куцые... Смотрю,— прыгают, смотрю,— айкают,— смотрю,— скачут округ и все руками махают. Да кэ-эк ударятся в бежки,— куда и сливы, мой труд, из картузов посыпались!.. Я это думаю:— Пономарь!.. Давай и себе вниз, а они — вот они: туча! И гудят, все равно — рой хороший!.. И что же ты будешь делать,— штаниной я зацепился, когда слезал, а штаны новые были,— казинет серый,— крепкие, черти, как все равно опоек!.. Я и повис головой книзу... А рубашка закатилась, они, значит,— на голое тело... Пронзительно тогда очень я заорал, не хуже, как поросенок... А ребята мои все повтикали, а меня бросили... Стало быть, я один тем тварям достался, на штане висю, качаюсь, а они меня шпарят, а они ж меня уродуют-калечат!.. Как-то сорвался все-таки, упал наземь, и куда же я упал? На самое на гнездо на ихнее!.. Они мне как в глаза повпивались, сразу мне весь свет позамстило,— ничего не вижу, и куда мне бечь — не понимаю, и одно, знай, только катаюсь по тому гнезду — вою... Спасибо, пономарь тот старичок на меня набрел... Вою бы мово не услышал, и глаза у него туманные, а так просто мимо проходил,— наткнулся на такое дело: осы мальчишку едят...

Я уж даже понятия не имею, кто это, а он меня,— клюка у него была такая с крючком,— он крючком этим меня захватил да поволок по земле: от гнезда бы ихнего подальше отволочь... Говорят, и его тогда шибко покусали... Все может быть,— они ведь остервенеют, какие дела разделать могут!.. А тут же, разумеется, родимое у них гнездо: вроде, они в полном праве... Ну, матери моей те мальчишки, мои товарищи, дали знать,— прибежала, меня в охапку,— домой... А я видеть ничего не вижу, только чуть ухами слухаю: пономарь будто матери моей говорит: «От сливы — дерева этого мы уж два года как отступились через то, как осы им овладали!.. Никаких силов-возможностей сладить с ними —нет!.. Кипяток для них кипятили, и только зазря один человек на себя тот кипяток вылил да бежать... Ну, разумеется, весь обварился,— кожа пузырями пошла... А мальчишку свово, говорит, не иначе, как вези ты в больницу: на нем теперь здорового зерна нет: голова, и та как пенек распухла...» Ну, мать меня повезла... и что ты думаешь? Две недели со днем в больнице я тогда вылежал!.. Вот тебе и осы... Теперь та-ак: чуть я ее где увижу,— что бы я ни делал,— работу всяку брошу, а уж ее, подлую, зничтожу!.. Понял теперь? — спросил он пытливо Луку на деревяшке.

— Тогда дело ясное,— сказал Лука.— Раз они считали, что ихнее,— должны они воевать за это... все одно, как германцы... Ты же в ихнюю державу залез и большую шкоду им делаешь: все у них дотла обрываешь,— денной грабеж,— как же им не загрызть тебя до смерти?.. Чисто германцы!.. За границей, бра-ат, там свое соблюдают!.. Я когда еще это узнал? Я это об загранице еще до войны, в плену еще не бывши, одним словом, как на действительной служил... Я тогда за кучера у командира батальона состоял, а где это дело было, то уж дай бог память... Как если забыл, то ничего мудреного нет за столько годов... Однако помню: граница как раз австрийская там проходила,— считалось местечко — Жванец. По эту сторону — Хотин-город, по эту — Каменец-город, а насупроти — Черновицы,— и уж Австрия... А тогда не как сейчас,— время была мирная,— командир батальонный возьмет да мене говорит: «Запрягай, Лука, до австрияков в гости поедем!» Запрягаю,— мне что? — и едут...

— Не должно быть,— сказал Максим строго.— Это же вражеская страна!

— Вот теперь я тоже думаю: как же так могло? Или тогда времена мирные были, или как? А может, я что позабывал... Ну, одним словом, я сам возил... Или это до панка

какого на нашей стороне? Попьют-погуляют,— до зари домой... Чтоб ночевать, никогда не оставались... Хотя бы сказать — до панка,— как же тогда австрияк в шляпе соломенной? Австрияка ж того, старика, я крепче отца родного помню... Так дело было: везу я их, офицеров своих — их четверо сидело,— батальонный да еще трое,— будто по улице австрийской, а уличка узенька, и сверх над ней вишня поспелая... А ягода крупная, не как наша,— ну, одним словом, шпанская... Офицеры, конечно, выпивши,— кричат мне:— Стой!..— Стал я,— приказанне сполняю... Коней остановил, а они, молодые трое, ну те вишни обрывать стали!.. И выходит тут со двора австрияк в шляпе соломенной, старик, покачал так головой:— И сразу, говорит, видать, что вы — русские!.. Сколько те вишни на улицу ни висели, австрийцы наши ни одной ягодки не обрывали, а вы как у себя дома, так и здесь! — и говорит по-нашему очень чисто, все можно понять до слова... Оглянулся я на свово батальонного, а он скраснелся весь и мне кивает... Я по коням вожжами,— пошел!.. А потом, отъехали,— слышу, укоряет он их: «Слыхали, что австрияк говорил? Спасибо, Лука догадался коней пустить, а то застрелить его через вас, господа офицеры, должен был я, австрияка, то есть, того, старика, как собаку бешеную... Всю нашу Россию этот в шляпе старик оскорбил! А вы же считаете себя образованный класс! А перед вишней спелой устоять вы не могли все одно как свиньи!» И так что после того случаю долго мы в те места не ездили. А когда война началась, я уж не в те места из запасу попал, я на германский фронт, в Пруссию... Ну, сначала мы шли, известно, беспрепятственно, и большой город мы ихний Лык взяли... Одним словом, названье только ему — город Лык, а лычка там не увидишь... Что дома, что магазины, что протувары на улицах,— эх, чистота!.. А это еще в начале войны дело было,— народ так еще не особачился, как после,— гляжу я,— в один магазин мы зашли с товарищем,— а там все как есть побуравлено, поковеркано, только коробки пустые валяются, а обужу готовую всю казаки допрежь нас растаскали, и люстра висит разбитая, а ветер сквозной свободно везде ходит, и стекляшки на ней, какие половиночки остались, так тебе звенят жалко, аж тоска слушать!.. «Пойдем, говорю, Фадеев, отсюда: прямо здесь как могила!» Идем это мы по улице, а нам навстречу девочка беленькая,— так годков ей не больше семь... И откуда такая? Книжечки у ней в руке,— смотрит на нас с Фадеевым смело-храбро и нам по-

своему, по-немецкому... Ну, мы тогда что могли понять? Я даже Фадееву свому: «Что это она? От нас не бежит, а вроде просит у нас чего, что ли?» А она опять нам смело-храбро и пальцем мне на живот показывает... Я головой ей покачал: не понимаю, мол... И Фадеев тоже... Стоим, башками мотаем... И та девчонка беленькая, что же она сделала? Подходит ко мне храбро-смело и пояс мой в шлевку вложила, потом поклонилась бы вроде и пошла по протувару, каблучками стукает... Я говорю Фадееву: «Смеется она с нас?» А Фадеев мне: «Это ж немецкая девчонка... А они, немцы, так с малых лет приучаются, чтоб у них аккуратно все было...» — «Стало быть, говорю, девчонка эта с нас смеется, что у меня пояс болтался?» — «Поэтому выходит так...» — А ведь мы же ихний город заняли, мы хоть неаккуратные, и пояса у нас болтаются, а мы же их сильнее?.. Как же она, девчонка малая такая, с нас смеется? И взошла мне эта девчонка в мысль!.. А не больше прошло, должно, как две недели, немцы нас по грязи по болотной пленных гнали,— ну не меньше, как тысяч шестьдесят: всю армию!.. А наш начальник дивизии, какой нам речь говорил: «Братцы! Не больше пройдет месяцу, как мы в Берлине будем!» — генерал этот, немец,— вот, фамилию забыл,— он это на наших глазах к немцам в автомобиль сел, сигару ихнюю закурил и дыр-дыр-дыр с ними по-немецки!.. Ей-богу! Все видели!.. А нас по грязи гонят-гонят, как стадо... А кто отстанет, пулю в него пустят, да дальше... Вот как мы,— не хуже как вы за сливами, а немцы за нас взялись, вроде осы!.. Уж когда девчонка ихняя солдата русского учит, как ему пояс носить, чтобы зря не болтался, а в шлевку лез,— куда же нам было с таким устройством? Я в плену четыре года прожил, много горя не видел, а как сюда возворотился — вот без ноги хожу... С ногой это у меня прямо одна чушь вышла... Ну, по-первых, всем известно, как с окопа в лазарет попадали?.. Выставит из окопа руку правую,— сразу не одну, так две пули поймал... Назывались эти: «пальчики»... А потом строгость на это пошла... Я-то думал тоже так — руку выставлю,— нет, брат: военный суд!.. Я тогда ногу под колесо сунул: мол, ногу отдавит, а сам я весь — живой, в лазарет, и домой отправят... Куда ж тебе, крепкая нога оказалась!.. Под три повозки ставил,— проедет колесо по ноге, и даже боли нет. Или это сапог такой был каляный, все одно лубок? Должно, сапог: он намокнет — засохнет, намокнет — засохнет... Железо!.. Это я ночью, как походом шли, а на другой день что же? На другой день это самое

и вышло: нас всех в плен забрали!.. Иду я, думаю: вот кабы ногу-то я себе отдавил,— это, стало быть, мне чистая смерть!.. Отстал бы я, а немец в меня пулю...

— Все ж таки не уберег ты ее, ногу!

— Ногу-то!.. Так это уж свои... Не досадно бы немцы, а то свои!.. Это ж когда я в Красной Армии был, под Мелитополем, мы полустанок один заняли, ночью я в садок залез за вишеньем... А он так на отшибе садок, а часовому и покажись: белая разведка в кустах... Он винтовку на изготовку и даже минуты не думал,— может, это свой... Бац, дурья голова, в кусты спросонья, а у меня кость пополам... Даже лечить не стали,— отрезали...

Тут Лука вдруг ойкнул и замотал ожесточенно рукой: его ужалила в палец уж не оса, а только обломок осы, половинка ее, брюшко, к которому бездумно прикоснулся он, рассказывая о своем. Он сокращался, этот беспомощный на вид комочек, и чуть заметно то выдвигал, то втягивал жало и вонзил его в плотную плотницкую руку, так что Лука привскочил, стал дуть на руку, прикладывать к ней мокрую тряпку и ругаться.

— Вот как она тебя, а? — ликовал Максим.— Ты об одной ноге, а она и вовсе без ног осталась,— ноги ее в другую сторону пошли, так она ж тебя и безногая нашла!

— Ну, не стерва! — удивлялся Лука.— Жгет прямо как все одно уголь! — и даже уважение было в его голосе и в глазах, когда он смотрел на этот снова и снова воинственно сучивший жало безголовый и безногий комочек: он даже раздавить его не решался.

Таких комочков золотистых валялось на верстаке много, но ловко отсеченные передние половины ос бродили всюду и шевелили крылышками, а, натыкаясь на лужицы и капли молока, по-прежнему, как будто ничего не случилось с ними, начинали жадно сосать и обхватывали лапками крошки, усердно щекотали их хоботками.

Алексей, который был потяжелее и Луки и Максима, бритый, краснолицый, с белыми ресницами и очень подвижными рыжими бровями, с никуда не спешащим вздернутым и так застывшим постановом прямых плеч, с жирной грудью, видной в прорезь расстегнутой рубахи, с закатанными рукавами, обнажившими толстые у локтей золотоволосые руки, до того старательно жевавший остатками пятидесятилетних зубов хлеб и сало, что даже и не вступал в разговор Луки с Максимом, теперь как раз кончил жевать и вытер фартуком рот.

Он тоже нагнулся над верстаком посмотреть, что могут делать осы, когда они разрезаны пополам в талии и каждая половинка начинает жить особо, и, приглядываясь, заговорил изумленно:

— Ну, не жадные черти, а? Смотри!.. Вель это ж им смерть, а они об том не соображают, а готовы и посля своей смерти все жрать!

— То черт с ними, что жрут, а вот же руку печет, как огнем! — испуганно удивлялся Лука, держа в молоке палец.

— Ну, так ей же злость свою сорвать надо, а ты что думаешь?

— После смерти своей?

— Хотя бы ж... А то как?.. Раз злости своей не сорвешь, это ж тяжелей ничего на свете нет!..

И три человека, которым в общей сложности было больше чем полтораста лет, смотрели то на копошащиеся кусочки на верстаке, то друг на друга, и у морщинистого бородатого Максима был вид несколько снисходительный к двум другим: он знал, что такое осы (узнал в детстве), и теперь задал эту свою задачу Луке и Алексею,— решайте,— и в мозгу Луки засело без устали жалящее воздух безногое брюшко, а в мозгу Алексея — жадно сосущая молоко и сало осиная голова, как будто может она обойтись без брюшка одними ножками и нелетучими крыльями.

Наконец, точно сразу придя к одной совершенно бесспорной мысли, начали все трое давить эти остатки ос — один сосредоточенно, другой испуганно, третий брезгливо, и когда покончено было с ними, усевшись на досках, где и раньше сидел, только плотнее и покойнее, заговорил Алексей:

— Вот через такую жадность и я черешню свою спилил... через людскую жадность спилил,— я об людях говорю, которые не хуже тех ос: от них уж и так голова одна осталась, и глазки имеют маленькие, а жадные без числа, и все готовы зубами схрустать, а ты ж оглянись-погляди, куда ж оно может дальше пойтить!.. Ей же итить дальше некуда, как ты уж пополам порубан и раскидан куда зря!.. Э-эх, люди!.. Спилил к чертям, как я через эту черешню со всем округ себя соседством поссорился...

— Ка-ак спилил? — жалостно удивился Максим.

— Что-о?.. Скажешь, спилить не имел права?.. Она, брат, зле мово дома стояла, сам я ее сажал, сам поливал, а не то что мне ее власть дала!.. Вчерашний день, с работы

прндя, и спилнл ее к черту!.. Почему такое?.. Соблаз,— вот почему!.. А ты что думаешь?.. Стонт дерево-красота у всех на внду н каждый глаз к себе маннт: почему это у Алексея черешня есть, а у меня нету?.. Должна у каждого черешня быть, а не чтобы мое-твое... По-нашему, по-русскому, так выходнт, а в плену я не был, за другне царства я молчок... Э-эх, замечать я стал округ себя, до чего же лютой народ пошел — образовался!.. Сущнй зверь! Об мальчншках-девчонках не говоря, а об том народе я, какой в годах н какой в внду... Это ж кто того-другого на мушку не посаднл, да мне таких людей почнтай н вндать не прнходнлось... Звездарев-штукатур весной тут работал, комнаты белнл, а потом смылся,— это ж убнйца: двух человек знчтожнл,— людн с его деревнн говорнлн... Про двух люди знают, про этнх говорят, а про какнх не знают, про этнх молчок... Кондуктор был старорежнмный, между Харьковом — Кневом на товарном езднл... Он, Звездарев, к нему и подсыпался в те года... не то в двадцатом, не то в двадцать первом... Да, кажнсь, в двадцать первом... «Вот, говорнт, в економнн одной,— теперь она совхоз,— двадцать мешков сахару-рафннаду спрятано, человек однн продает крадучн,— купнть еслн,— это ж товар, лучше не надо! Берн деньгн, айда прямо ко мне в деревню!..» А тот бра-авый нз себя мужчина,— нзвестно, кондуктор старый, это ж не то, что теперь пошлн — один рахнт с золотухой, а то н вовсе баба какая... Это ж красавец был, внд нмел, прн часах серебряных,— прнз выбнл, когда еще на службе военной... Ну вот, что скажешь? Взял да повернул черту! Явнлся с женой, двоечкой, прямо к Звездареву в хату... А Звездарев тоже с женой вдвох работал... «Нехай, говорнт, баба твоя посиднт пока, как она уставшн с дорогн, а мы с тобой дойдем — сговорнмся, потому до завтрего ждать, кабы кто другой тот сахар не захватнл»... Вот ведет он его, ведет,— а дело к ночн,— ну, знма,— месяц светнт, от снегу, конечно, тропку вндать... Завел беднягу за гумна да как чнкнет нз револьвера в голову, сзадн идя... Тот упал, а ще жнвой... Он его еще раз!.. Опять жнвой... Еще!.. Нет, бормочет... А тут патронов больше нема... Он ему веревку за ногу прнвязал (рук даже боялся н трогать, потому кондуктор этот снлу нмел большую), поволок в речку, в пролубь!.. Тут в пролубь ему голову всунул,— давай карманы обыскнвать... А у него денег-то самая малость... Как это так? Не нначе, у жены деньгн!.. Ну, он его под лед пустнл,— скорей в хату... Жене своей говорит: «Душн ее!..».Ну, та, конечно, женщн-

на,— мнется,— робость у ией... Ои ее пихиул да сам к той: схватил за косу да за горло... Женщиие много не надо... Деиьги, какие были, обобрал, а ее опять куда же? Ее в соломы омет: закидал, и все... Ну, зимой оиа зиаку ие подавала, а к весие дело, как уж лед троиулся,— ои ее из соломы вытащил, веревку с кирпичом ей примотал да с берега бултых, иочью тоже... Думал, коиечно, что ее поиесло: полая вода быстроту имеет, аи оиа и шагов сто ие проплыла: кирпич в кореиьях запутался, вроде как иа якорь оиа стала, а упала вода,— люди смотрят,— вот оиа вся: жеищииа иеизвестиая, волосья размотаиы, а сама страшиая... Долго искать не стали,— чья такая... Раз баба чужая,— зиачит, дело ие наше... И Звездарев кричит: «Закопать ее к чертям, падаль эту!» Так иа бережку, далеко не иося, закопали... А потом, уж год прошел, родиые ее кинулись свою бабу искать: куда девалась? Говорят им:— Уехала с мужем, и оба счезли.— Как это счезли?..— Одиим словом, там париишка был у иих шустрый, красиоармеец бывший... Приехал в ту деревню:— Где у вас тут женщииу закопали? Раскапывай сейчас,— у ией примета есть!..— А примета, говорят, какая? — Двух пальцев иа левой руке не хватает...— Ну, зиачит, уж раиьше того была резаиая... Раскопали кости,— так и есть: двух пальцев иема! Ну, жеиа Звездарева от страху того призиалась, его и забрали. И что же ему дали за это? Три года он просидел,— выпустили... А люди его здесь на работу берут и зиать даже того ие знают,— кого же это они берут?.. Вот так-то и насчет других тоже: иа кого ии глянь,— почему же это он иа тебя зверем таким смотрит? Ага! То-то и есть... На его мушке, может, десять человек сидело... Эх, дай водицы ледяиой выпить,— душа горит!

Максим подсуиул к иему жестяиой чайиик, сказавши:

— У иас уж самая ледяиая: тот же кипяток!

Алексей пил сиачала из иоска, потом открыл крышку, подул и стал пить через край, пил долго, а отставши, иаконец,— сморщил иос и губы, вздохиул и заговорил:

— Нет к рабочему человеку виимания... Нет и иет... Ему что иадо?.. Зимою — чтобы чай был горячий, летом — чтоб вода ледяная... Вот когда ои может ожить... А черешню свою это я через одиого мальчишку спилил... Через Петьку Рыбасова... Не зиали Рыбасова? Или вы здесь иедавиие, правда, поэтому вполие можете не зиать. Рыбасов сам, это был Федор, свиииной с руидучка торговал, а когда свиииьы ие было,— мясом, а когда рыбой тоже... Мы тут только говорится зле моря живем, а рыбу только весной видаем, и та

какая рыба? Камса! Что привезут к нам теперешиее время судаков во льду,— то и иаше... А ои, судак этот, какой?. Мие же это хо-ро-шо известио, двадцать разов видал!.. Поступает оиа, матушка рыбка эта, иа зады, где ямы выгребные, и там, конечно, водопровод есть... Вот под краиом жабры ей холодиой водой вымоют, крови бычачьей из мясиой возьмут, туда, в жабры покапают, и пошло: «Эх, рыбка первый сорт, первый сорт,— прямо из моря!.. Наземь упадет, бегать зачиет... Вот рыбка, вот рыбка!..» Подходит хозяйка какая, поиюхает:— А чтой-то, будто запах есть? — Что вы, гражданочка, запах обыкиовеииый рыбный: у мяса свой, у барашки свой, а рыба опять же свой запах имеет... Сколько отвесить? Али поштучио желаете? Можно поштучно...— Так и рассует ее Федор... И что же ты думаешь? На что голодиый год был,— и то не помер... Он себе два камушка гладких иашел на пляже, друг к дружке их приладил, а к камушкам палочку, а к палочке веревочку,— образовалась у иего мельница!.. И так что не только кукурузу, пшеиицу молол, ей-богу!.. Приианесет к иему татарин какой пшеиицы пуд, ои туды-суды,— за палочку, за веревочку, и камни вертятся, и мука бегит... С пуда четыре фунта ему оставалось, ои и сыт... А мальчоика этот, Петька,— тогда пупырь еще был,— стоит за воротами и всех встречает, что с мешком идет: «Вам куда? На мельиицу?.. Это вот сюда, в калитку, направо!» Так что все с этого мальчишки удивлялись... Ну, сколько ему тогда? Ну, пять годов было: пузырь!.. «Вам, дядя, иа мельиицу?» А там и мельница-то два камушка да палочка... Концы коицов — утопнул он... ие мальчишка, а сам Рыбасов Федор... Связался со Степкой-матросом. И нашел же с кем связываться! Тот же своей жизии иикогда не жалел... Что ии воиючее ему давай,— слопает, ему иичего... Мешки ли иа пристаии таскать, другие в поту все, как лошади, а он — скрозь сухой... «И даже, говорил, ие зиаю, что это за пот такой!.. Пятьдесят пять лет прожил, потиики на себе ии одиой ие видал!» Камеиь иа соше били,— он в артели с другими — вдвойне против всех выгоиял... А каким же маиером?.. Ночью все спять уставши, а он встанет часа в два, мешок иа плечи да иа сошу... Пока другие просиутся, ои из кучек,— какие подальше только,— из ближиих, из тех ие брал, а какие подальше: хитро-о поступал! — поиатаскает камию битого мешков тридцать, усядется, колотит свое... Встают другие,— гора у него камню набита. «Степка, черт, да ты когда же это?» — А вы бы, черти, дрыхли больше!..— Одии

жил и все в земь ховал. Деньги откуда получит,— и те в земь зароет... А курица гребет лапами,— глядишь, выроет. Мальчишки подберут,— легкого табаку себе на его деньги понакупают... А как в сады на работу, на уборку фрукты пойдет, он, бывало, пудами груши в землю закапывал... Наворует, а куда же их? Не иначе, в земь!.. Там же, поблизу где, под деревом... А свиньи ходят, разроют весь его клад,— сожрут на здоровье... Ну, так чтобы он не украл,— этого он не мог. Винограду притащит мешок: «На, Алексей,— только бутылку вина становь!» А в мешке пуда четыре... Это ж четыре ведра надавить можно, а он за бутылку отдает!.. «Как же это ты умеешь, Степка?» — «Вона, скажет, умеешь! Дивное дело!.. Я когда на службе был, у свово командира часы золотые спер... Пошел их закладывать, а мне так: «Как ваша фамилия?» — Вам, говорю, часы принесены, а не моя вам фамилия!..— «А ну, тогда вот к этому окошечку подойдите,— тут нам виднее часы ваши поглядеть, какой у них ход анкерный...» — «Только, говорит, подхожу я, а из окошечка щелк, и ничего больше... Часы взяты, квитанция дадена, а за деньгами завтра в десять утра, а то кассира сейчас нет,— он так поздно не займается... На корабль на свой прихожу, а там уж все до точки известно, и портрет мой туда представлен... Конечно, на фуражках у матросов пишется, какой корабль... Меня к командиру. Тот, ни слова не говоря, хлоп мне в ухо! Я — брык на пол и лежу. Потом думаю: «Должно, встать надо». Только подымаюсь:— Виноват, ваше высоко... А он мне опять цоп по скуле! Я — брык, и вроде даже без чувств. Мне этот бой его, конечно, сущий ноль, а ему (это все ведь знать надо!) — ему-то лестно, что кулаком матроса с ног сбивает!.. Вот сила у него какая,— несмотря что седой!.. Так тем и кончилось — боем этим... и даже под суд не отдал, и так что даже и под арестом я не боле недели сидел...» Как начнет рассказывать, где он плавал да чего с ним было,— скажешь ему:— Степка, черт, а ты же не врешь? — А он: «Разве же так складно соврать можно?» А здо-ро-вый, несмотря что рост имел небольшой... Купаться разденется,— ну, прямо сиськи у него на руках!.. Так что раз мы купались так-то, а Мирон-кровельщик мне: «Замечаешь, сиськи какие у него оповсюду торчат? Это ж и называется си-ила!» Он, как у нас тут красный фронт открылся с татарами,— подался в Севастополь: «Принимай меня, товарищ, у орудия стоять буду!» Там ему: «Стариков нам не требуется,— молодых хватает!» А я, говорит, как осерчал: — Давай, говорю, молодых твоих

дюжину, в минуту половина за бортом будет!..— Ну, конечно, ему поворот... Он сумочку на плечи, опять сюда пришел. «А только, говорит, дачу брошенную где-то нашел, ночевал в ней, а утром проснулся, поглядел,— округ его мебели всякой полно, а такого, стоющего не-ма-а!.. Искал-искал, шарил-шарил,— уж до него обобрали... Гардеробы пустые да книги разные толстые... Книг до ужасти много было... Как схватил я, говорит, палку, да как начал направо-налево крестить да все рвать да ногами топтать!.. Ну, стоит статуйка какая небольшая,— девка голая,— это ж разве мыслимо?.. А чего стоющего не-ма-а!.. Таких там черепков наворочал,— гору!.. Кабы спички были, или хоть зажигалка оказалась, я бы, говорит, подпалил все к черту,— ну, не было!» Эх, а терпенье ж у человека было какое!.. Сроду другого такого не видал... Мы раз с ним мост поправляли... Вот через речку мост какой стоит,— это ж наша с ним работа... Он, конечно, за рабочего — балки подымать... И случись,— одна балка дубовая ему на пальцы закатись... Два пальца отдавило... Не то чтоб их прочь долой, а уж кости живой не осталось... Балка ж дубовая, толстая,— для моста, известно, сосна не идет... А рука неважная, левая... Обмотал он ее тряпкой,— ни черта, опять ворочает... И так что два дня он виду не подавал, а на третий малого скрутило... И чем же его доконало? Под мышкой начало пухнуть... Я его в больницу турю, а он мне: «Сроду в больнице не был, а то из-за такой пойду ерунды!..» Так и не пошел. Полушубком укрылся, лег... День лежит, два лежит... Ты ж, говорю, пропадешь без больницы! — Нехай, говорит, пропаду! — Ну, лежи, когда ты такой огнеупорный...— Дня через три опять к нему захожу, а он что же делает?.. Зеркальце,— так, шибочка маленькая, у него на подоконнике стоит, а он с лампочки горелку отвертел да карасином себе под мышками и мажет... карасином!.. «Ты ж, говорю, черт, что же это делаешь?» — «Огурцов, говорит, мне сóлоных поди расстарайся да вина покрепче, а то я четверо сутков совсем не жрал!» — «А опух же твой как?» — «Выдавил, говорит, к чертям... И черви, какие там завелись,— белые, в палец,— и червей тех долой!» Вон он какой был, Степка этот матрос!.. Дай-ка, Максим, еще водички выпить, душу промочить!..

— Ты же об черешне своей хотел...— заметил было Лука на деревяшке, но Алексей, напившись, уставился на него красными глазами в рамке белых ресниц весьма удивленно.

— Так, а я об чем же?.. Об черешне ж тебе и говорю...

С Рыбасовым Федором будто за султанкой поехал он, а ялик, конечно, спер... А разве хороший ялик спереть можно,— ты подумай!.. Это уж ялик был такой, на произвол брошенный... В нем, конечно, течь,— руку закладывай, а как следует заделать,— гудрона даже и того не было... Где его по тем временам найти, гудрона? Шуточное дело,— гудрон!.. Тряпками кое-как забили,— по-да-лись! А Рыбасов этот, он такой, что его редко кто и Федором называл, и фамилию его забыли, а назывался он Бас. Из себя сухощавый и росту был, ну, не выше меня, а как крикнет вечером,— лампа тухнет... Вот скажи, отчего это, а? Пятнадцать человек нас было,— ей-богу, я сам считал,— изо всех сил мы по команде кричали, аж посинели от крику, а сами на лампу смотрим: хоть бы тебе шевельнулась! А он как запоет божественное (он кроме божественного не признавал),— глядим,— лампа наша миг-миг — и потухла!.. Прямо, два бы дня даром работал, а деньги бы ему отдал: пой! Вот до чего иравилось мне того Баса слушать! Он раз в столовую на базаре зашел, а денег на обед нема, а хозяин-болгарин ему: «Спой, говорит, Бас, обед поставлю».— Я, говорит, кроме божественного, не могу, а теперь народ религии не приверженный,— ну, как смеяться будет? — Тут ему все уверяют:— Пой, ничего!..— Он и пошел обедню жарить... Прямо,— гром с неба, и весь базар сбежался!.. Конечно, милиция запретила. Прежде бы ему с таким голосом, когда по церквам хоры,— э-эх!.. Он и, видать, в хоре хорошем пел, все службы знал, и так, что даже попа нашего раз пощунял на пасху:— Что же, говорит, ты величанье пасхи пропустил? Мы же зачем здесь в церкви собрались? Мы чтоб ее, матушку-пасху, провеличать, а ты это самое главное и пропускаешь! — Так что поп наш тык-мык, и, что отвечать ему, сам не знает... «Извиняюсь, говорит, величание, действительно, я пропустил... В другой раз этого уж не будет!» — «А в другой раз меня в вашей церкви не будет, когда такое дело!» Вон он, Бас этот, как тонко все знал!.. Да он на службе церковной самого бы архирея сбил!.. Он ведь тоже не хуже Луки — вот в плену у немцев находился, по шахтам там работал, уголь копал, и так мне потом рассказывал: «Составили, говорит, мы там на шахтах хор, да такой вышел хор знаменитый, что ихнее начальство немецкое на ревизию приезжало, как нас послушало, как мы поем, аж заплакало да говорит: «Выдать им, сукиным детям, по бутылке рому на брата!» И выдали!.. Пятнадцать человек их в хоре было, пятнадцать бутылок с немца заробили... А так мужик он был

тихий, этот Бас,— не знаю, ни в чем не замечен,— а мы ведь рядом жили... Ну, семья, конечно, одолевала: жена больная да ребят трое... Он и на то и на се кидался... Печи класть кафельные мог, а печи кафельные класть это не всякий печник согласится,— с ним надо уметь, с кафелем, как его поставить, чтоб он обратно не шлепнул,— ну, да в то время какой такой кафель? Его и сейчас-то нигде нет... Иконостасы мог он золотить тоже... И-ко-но-ста-сы!.. Кому теперь нужно? Об их и думать забыли... Свининой торговал,— опять толку нет... да и свиней тогда,— у кого они были, сам тот и резал... Нужда!.. Вот он Степке-матросу и попался... Тот дела свои по ночам завсегда один делал, а спал если дома,— он же рядом со мной тоже жил,— никакой кровати-маравати не знал,— прямо на полу, и нож с ним рядышком... Проснулся, первое дело он так руками цапает: нож в руку взять!.. Нож схватил, тогда только глаза открывает и сразу на ноги — хлоп: готов!.. Может куда угодно итить... Умываться,— это он никогда не занимался... «Я, говорит, человек чистый, чистей воды...» И всегда один... А тут, с Басом, он уж иначе: в море, видишь, одному нельзя,— море компанию любит... Ну, он, Степка, другого никого не искал, только Баса,— знает, что мужик тихий... «Поедем, Бас, султанки привезем!» А у того ж семейство, он об нем болеет... Хорошо даже не расспросил... «Ну, что ж, поедем»... Чем свет и пошли... А султанку, ее где ловят? Ее зле берега: это рыбка недальняя... А между прочим человек один их заметил двух: «Сели, говорит, двое в ялик,— один повыше, другой пониже, и поплыли себе в море... думаю так,— рыбацкие крючья щупать, какие на камбалу поставлены... Потому для султанки сеть такую надо иметь, вроде ятеря... Сеть эта ялику на нос кладется, и издаля она очень заметная,— между прочим, я не заметил»... Одним словом, с сетью ехать за султанкой надо, а сеть, конечно, спереть, а он, Степка, только ялик этот калекий пригнал... «Купил, говорит, и буду теперь рыбальством заниматься, как я есть моряк природный»... Ну, уж как поехали тогда, так больше ни Степки, ни Баса мы уж не видали... Не иначе, на худой посуде залились... Ну, Степан хоть отчаянный, а Басу — нужда подошла... Жена больная лежала, детишки... Я их потом хлебом кормил... Или так где, бывало, свинятники борова купят, режут-смалят. Я туда Петьку посылаю: беги потроха проси, как твой отец-покойник тоже по свиной части занимался!.. Глядишь, ему печенку-легкое дадут... А мальчишка шу-устрый был!.. Ну

что ж, на такого он доктора наткнулся, на неука... Как Степка-матрос докторов не терпел, так и я, признаться, пользы от них не вижу... Крепко много они на тот свет людей загоняют... Ну и я ж зато одного доктора на тот свет загнал,— во-от загнал!.. Лет семнадцать, а может, все двадцать назад дело было. Доктор тут жил один приезжий,— я ему дачу строил, а пришло время ему бассейн бетонный делать для воды, он опять же ко мне:— Так и так, Алексей, сделай! — Я же, говорю, есть плотник! — Это я, говорит, хорошо сознаю, только я к тебе потому, что за честного человека тебя признал,— на мошенника очень боюсь нарваться!..— Это-то, говорю, хоть так... Мошенники теперь кругом. Ну что ж, тогда возьмусь, говорю.— Нашел из рабочих, какие на толчке стоят, знающие бетон мешать,— взялси!.. А, конечно, выставки становить — обшивать, упоры давать, это все равно моя же работа: без плотника не обходятся... Я это форму сбил,— ребята, трое, бетон мешают... «Сыпь!» Валят-трамбуют, знай, валят-трамбуют... Смотрю,— что за страсти? Как в прорву!.. Влез я в яму,— как тут и была! Вся наша форма разъехалась!.. Стоп,— бетон назад выгребай!.. А жарко, лето, не хуже вот этого,— юнь,— боюсь, бетон погибнет!.. Я сейчас одного малого вниз на базар: «Бери еще двоих-троих, сколько на толчке окажется!» Другого на лесной склад: «Тащи вóлоком доску вершковую!..» Третьего за водкой: «Неси две бутылки!..» Сам тут около в сад за виноградом сходил... (Значит, это уж в августе дело,— виноград тогда был!) Поел фунта три, лег, от мух закрылся. Только это сон меня взял, а он тут и есть, доктор этот... В яму посмотрел, заметил, да ко мне!.. То-се, подобное... «Ах, ты, говорю, черт старый!.. Ты что мне каркаешь в уши? Не видишь,— у меня тоска, и рабочих куды зря погнал?..» Да как следует его, как следует!.. Схватился он за живот: «Ох! Ох!.. Сердце зашлось!.. Я — человек дюже крепко ученый, а ты меня так не по печатну!» С тем и лег,— ей-богу!.. Лежал с неделю, а потом жена-старуха в Москву его потащила, лечиться... Нет, брат, не вылечился! Больше уж не приехал, помер там... Вот как я его: словом одним убил!.. Что значит народ-то ученый!.. Нашего брата обухом колоти, мы все живы, а они от одного слова дух спускают!.. А еще хотели спроти нас войну весть!.. То-то мы от них клочья оставили... Не хуже, как я взялся трубы в одном доме чистить... Это в двадцать втором годе,— тогда люди за все брались, лишь бы подковок не отодрали... Может, лет пять, а то все десять не чищено,— понимаешь?

И дымоход от печки до чего по-уродски сложен: косяком там идет вдоль стены, камнями заложен, и пошел косяком до потолка,— как его чистить? Стенку, что ли, ломать?.. Взял я соли котелок, карасину туда, в соль, налил, в печку поставил и сижу около: что будет?.. Как начала моя соль рвать, как начала там стрелять!.. Сижу, не жукну... Кэ-эк загудело!.. Думаю даже, может, это прибой такой сильный?.. Ан это моя соль так работает!.. И до чего ж я тогда спугался! Что вспомнил? — Трубу, вспомнил, я не открыл!.. Выбежал на двор посмотреть, а моя сажа прямо клочьями из трубы чешет!.. Значит, это я другую трубу не открыл, а эту открыл,— а то бы пожар явный... Ну, тут уж и безо всякого пожара такое пошло,— весь дом сбегся!.. Огромадные клочья из трубы кверху, и горят!.. Я опять к своей печке,— прижук... Думаю: сейчас команда пожарная прискочит, и мне труба!.. Бунит, понимаешь, как все одно море... Ну, слава богу, пожарные другим делом заняты были: два года своей жизни справляли... а то бы за такое дело... Так всю сажу ее и вынесло к чертям!.. Соль!.. А бертолетой, я слыхал, на Кавказе, когда деревья большие корчуют, вон какие махины рвут!.. Так и летят с земли, как галки! И никакого тебе пороху не надо: наука!.. Лектричество, ты думаешь, шутка мудрая? Ан я до нее сам достиг... Как что где по складам найду — прочту насчет этого, какой порошок надо взять или что,— сейчас в аптеку: «Давайте мне этого вот!» — Да это, говорят, тебе ни к чему, да дорогое: два рубли стоит...— «Что за дорогое, говорю, два рубли, когда я в день пять обгоняю? Сыпь, тебе говорят!» Таким манером я сколько там денег на это извел, а все ж таки я добился... Хлористый цинк главную роль играет...

— Ка-кой цинк ты назвал?

— Хлористый... Тридцать пять граммов,— понимаешь? Одного тридцать пять, другого, третьего,— уж забыл чего,— и ведь как действует!.. Хлористый цинк этот, его года на два хватает... А тут есть у нас Коротков Евсей, тоже плотник, теперь уж он дюже старый,— тоже вот, как с вами, вместе работали... Идем с работы,— а он же старый,— ворчит мне в ухо: «Ты, грит, лектрическим светом занимаешься, а над просветами должей меня провозился!..» А он — подслепый: раз сумеркалось,— шабаш,— вроде куриная слепота у него... А зле дома его — яма: для столба телефонного выкопана или так зачем... Вот я иду с ним да на яму эту потравляю... А он, знай, свое: «Ты же, говорит, и когда пьешь, примерно, так ты же пей с толком... Я, говорит, и сам всю жизнь пью,

а только я пьяный никогда ще не валялся!» И только это выговорил,— в яму!.. А тут жена его зле дому. «Бери, говорю, мужа свово, должно, крепко-дюже пьяный!» Ух, он же тогда и расшибся!.. Пришлось нам его с бабой на себе тащить... ден пять пролежал,— с места не вставал...

— А ты же хотел насчет черешни своей,— грустно напомнил ему Лука, все еще дуя на свой палец, укушенный полуосою.

— Ну, а я ж тебе о чем же? — удивился Алексей.— И я же тебе об Петьке Рыбасове... Он, Петька, мальчишка уважительный очень был... Куда его послать, что принесть, это он сбегает, слова не говоря... И собой ничего был... Так ему уж годов двенадцать, должно, сполнилось... Корпус справный, и с лица тоже... Или уж я привык к нему? Да нет, безобразным никто не звал... Только шишка с орех,— вроде как кила́,— желвак такой на шее... С орех волоцкий. Ну желвак и желвак,— пусть... Что ему, замуж выходить? А мать же его, мальчишки этого, в больницу служить поступила, а как белый халат надела,— отступись, не подходи! «Ти-ти-ти, ти-ти-ти,— так и поет щеглом.— Операцию, операцию!..» А у ней же еще двое ребят,— ну, те девчонки... А я ей даже говорю: «Кабы прежнее время, я бы его к себе по плотницкому делу взял...» Ну, конечно, теперь уж не возьму,— теперь учеников брать не полагается, а откуда мастера новые возьмутся, как мы, старики, подохнем, этого нам не говорят... Опе-ра-ци-ю!.. Дюже крепко умна стала! «Ти-ти-ти, ти-ти-ти...» А черешню, ее у нас скворцы одолевают... Чуть они поспевать,— тут и скворцы поспели... Чем свет прилетят стаей,— в пять минут всю дерево оболванят,— только прысканы... Тут уж не зевай,— чем свет выходи, смотри... А у меня ж сорт был крупный, красивый, называемое «бычье сердце»... Стемна-красная... Вот я четвертого дня чем свет встал, смотрю, а на черешне вместо скворцов Петька Рыбасов сидит. Тут в картуз рвет-поспешает, тут трудится!.. Я ему: «Ты же, стервец этакий!.. А ну-ка слазь!.. А ну-ка я тебя ремнем!..» Слез он, сам мне картуз протягивает: «Дяденька Алексей! Дяденька Алексей!..» Одним словом, отмолился... А я ему: «Ты бы, говорю, у меня попросил лучше:— Дяденька Алексей! Дай черешни!..— Я бы тебе, слова не говоря, дал... А теперь, раз ты такой воришка оказался, то и картуз ты не получишь!» Ну, он пошел, и так что день целый мне на глаза не попадался. На другой день является: «Картуз дай!» — На тебе картуз! — Отдаю, ни слова не говоря... А он шишку свою рукой трогает: «Меня,

говорит, нонче резать в больнице будут...» — Ну что же, говорю, пущай, ежель мать твоя стала такая крепко умная...— «А ты же мне, говорит, обещал черешни дать, ежель я попрошу... Я, говорит, рвал, действительно, а съесть я ни одной не поспел».— А я ему на это, конечно:— А ремня не хочешь? Ишь ты, черешней ему! А за вухн к матери отведу,— не хочешь?.. Ты же мне, лазявши, две ветки обломал, дерево попортил!..— Ну, он пошел, а сам невеселый... А у нас тут старых докторов-то их не осталось,— все пошла молодежь, нéуки... Эх, доктор был раньше Молчанов,— вот кого одобряли! Бывалыча, куда бы ни позвали, хоть к бедному, хоть к богатому,— без сороковки из дому не выходил... Войдет в дом,— он сначала сороковку нз кармана на стол... Нальет, выпьет, аж потом только глазами лупает: «Где больной? Давайте его сюда!..» Вот раз так-то его позвалн,— пришел, выпил сороковку... «Давайте больного!» Говорят:— К больному подойтить надо... Он тоже вот так-то, как вы,— пил-пил, да теперь трое суток сидит не разгибается... Только молоком его поим...— Подходит доктор Молчанов: «Что-о, брат! Залил в печенку?.. Теперь же у тебя кишка, как бумага папиросная... Нн боже мой, тебе такого кусочка хлебца нельзя!.. На-ка, вот пилюльку одну проглотн: сам такие от пьянства принимаю...» Проглотил малый,— и что же ты скажешь? На наших глазах разгнбаться стал!.. Эх, до чего же был доктор знаменитый!.. А эти теперь что?.. Мальчишка пошел вроде бы пустяк сделать, а его там зарезали: жилу какую-то сонную перерезали,— кровь и пошла винтом!.. Туды-сюды, метались, как кошки, а мальчишка кровью истек!.. Как я про это услышал вчера, пришел,— у меня на глазах аж слезы... Что же это вышло,— до чего же я-то зверь стал, что раз мальчишка у меня перед смертью черешни попросил, а я ему взял да не дал!.. Сущий я после этого азият стал! Перед смертью мальчишка, а я ему чепухн пожалел! Вот посмотрел я на ту черешню тогда да говорю жинке своей: «Когда такое дело,— вынеси мне пилу двухручную, я ее сейчас долой!.. Полное право имею, раз она в моем дворе, а чтобы мне через нее зверем быть, да чтобы воров через нее делать,— не надо... Другой бы и не хотел, да у него нет возможности, понимаешь? Терпенья к ягоде нет!.. Давай, жинка, ее лучше от греха спилнм!..» Ну, баба моя было на дыбошки. А я ей кричу: «Хочешь живая остаться, бери за тот край, пили!.. Пили, а то изорудую!» Ну, она после этого пилу бросила да бежать!.. Я уж тогда этой плотницкой своей спилил ее, ягоды обобрал, топором ее порубал,

в кучу склал,— нехай сохнет,— осенью спалим... Жинка ругается, а я ей одно свое: «Когда раз народ такой округ нас живет, что без того он не может, чтоб на черешню не залезть!.. Глазки у него маленькие, а он весь свет норовит обворовать-ограбить!.. Зле такого народу живешь, напоказ ничем как есть не выставляйся, а подальше ховай!..» И когда ж у нас те воры переведутся?.. Будет у нас когда такое время?..

Алексей приподнял кепку и почесал лоб, потом поднялся и сам.

Кончился обеденный отдых,— нужно было снова начинать выстругивать филенки для дверей.

Максим, наскоро разрезав пополам еще двух ос, сложил свой ножичек, вздохнул и сказал задумчиво:

— Али пойтить опростаться?

И когда он вышел из двери балагана, а за ним заковылял Лука на деревяшке, Алексей внимательно поглядел на ящик новых трехдюймовых гвоздей, стоящий под верстаком, потом еще внимательнее на сквозящие стены балагана, кашлянул и, решительно запустив правую руку в ящик, набрал гвоздей сколько могла держать рука и, отвернув фартук справа, проворно высыпал их в карман широких штанов... Потом он зевнул, еще раз оглядел обшивку балагана и, не желая терять ни секунды, запустил в ящик левую руку, отвернул левую полу фартука и уверенно высыпал гвозди в левый карман.

1928

Андрей Платонов

РОДИНА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Шло жаркое, сухое лето 1921 года, проходила моя юность. В зимнее время я учился в политехникуме на электротехническом отделенин, летом же работал на практике, в машинном зале городской электрической станции. От работы я сильно уставал, потому что никакого силового резерва на станцни не было, а единственный турбогенератор шел без остановки уже второй год — день и ночь, и поэтому за машиной приходнлось ухажнвать столь точно, нежно и внимательно, что на это тратилась вся энергия моей жизни. Вечером, минуя гуляющую по летним улицам молодежь, я возвращался домой уже дремлющим человеком. Мать мне давала вареную картошку, я ужинал и одновременно снимал с себя рабочий пиджак и лапти, чтобы после ужина мне оставалось мало одежды и сразу можно было бы лечь спать.

Среди лета, в июле месяце, когда я так же, как обычно, вернувшись вечером с работы, уснул глубоко н темно, точно во мне навсегда потух весь внутренний свет, меня разбуднла мать.

Председатель губисполкома Иван Мнроновнч Чуняев прнслал ко мне со сторожем записку, в которой просил, чтобы я нынче же явился к нему на квартиру. Чуняев был раньше кочегаром на паровозе, он работал вместе с моим отцом и по отцу знал меня.

В полночь я сидел у Чуняева. Его мучила задача борьбы с разрухой, и он, боясь за весь народ, тяжело переживал мутную жару того сухого лета, когда с неба не упало ни одной капли жнвой влаги, но зато во всей природе пахло тленом н прахом, будто уже была отверзта голодная могнла для народа. Даже цветы в тот год пахлн не более чем металлические стружки, и глубокие трещины образовались в полях, в теле земли, похожие на провалы меж ребрами худого скелета.

— Ты скажи мие, ты не знаешь — что такое электрнчество? — спроснл меня Чуияев.— Радуга, что лн?

— Молння,— сказал я.

— Ах, молния! — пронзиес Чуияев.— Вон что! Гроза в лнвень... Ну пускай! А ведь н верио, что нам молння нужна, это правнльно... Мы уж, братец ты мой, до такой разрухи дошлн, что нам действительно нужна только одна молния, чтоб — враз и жарко! На вот, прочти, что людн мне пншут.

Чуняев подал мне со стола отиошення на бланке сельсовета. Из сельсовета деревни Верчовкн сообщали:

«Председателю Губисполкома т. Чуняеву н всему президиуму.— Товарищи н граждане, не тратьте ваши звуки — средн такой всемнрной бедной скуки. Стонт как башня наша власть наукн, а прочнй вавнлон нз ящериц, засухн разрушен будет умною рукой. Не мы создалн божнй мир несчастный, но мы его устроим до конца. И будет жнзнь могучей н прекрасной и хватнт всем куриного яйца! Не дремлет разум коммуниста, н рук ему ннкто ие отведет. Напротнв — он всю землю чнсто в научное давленне возьмет... Громадно наше сердце боевое, не плачьте вы, в желудках беднякн, мннует это нечто гробовое, мы будем есть пнржного кускн. У нас машнна уже гремнт — свет электричества от ней горнт, но надо нам помочь, чтоб еще лучше было у нас в деревне на Верчовке, а то машнна ведь была у белых раньше, она чужою интервенткой роднлась, ей пснх мешает пользу нам давать. Но не горюет сердце роковое, моя слеза горнт в мозгу н думает про дело мировое.

За председателя Совета (он выбыл в краткнй срок на контратаку протнв всех бандитов-паразнтов н ранее победы не вернется ко двору) — делопроизводнтель Степан Жаренов».

Делопроизводнтель Жаренов был, очевндно, поэт, а Чуняев н я былн практнками, рабочимн людьмн. И мы сквозь поэзню, сквозь энтузиазм делопронзводнтеля увнделн правду и действительность далекой, неизвестной нам деревнн Верчовкн. Мы увндели свет в унылой тьме нищего, бесплодного пространства,— свет человека на задохнувшейся умершей земле, мы увнделн провода, повешенные на старые плетни, и наша надежда на будущнй мнр коммунизма, надежда, необходнмая нам для ежедневного трудного существования, надежда, еднственно делающая нас людьмн, эта наша иадежда превратнлась в электрнческую снлу, пусть пока что лишь зажегшую свет в дальннх соломенных избушках.

— Ступай туда,— сказал мне Чуняев,— и помоги им, ты долго ел наш хлеб, когда учился. С городской электрической станцией мы сговоримся, тебя оттуда отпустят...

На другой день я с утра отправился в деревню Верчовку; мать сварила мне картошек, положила в сумку соли и немного хлеба, и я пошел на юг по проселкам и шел три дня, потому что карты у меня не было, а Верчовок оказалось три — Верхняя, Старая и Малобедная Верчовка. Но делопроизводитель Жаренов думал, конечно, что их знаменитая Верчовка только одна на свете и она известна всему миру, как Москва, поэтому Жаренов и не прибавлял к своей деревне добавочного названия, а жареновская Верчовка оказалась именно Малобедной, чтоб можно было отличить ее от прочих Верчовок.

Обойдя обе Верчовки, где не было электрических станций, к Малобедной Верчовке я подошел за полдень третьего дня пути... На виду деревни я остановился, потому что заметил большую пыль в стороне от дороги и рассмотрел там толпу народа, шествующую по сухой лысой земле. Я подождал, пока народ выйдет ближе ко мне, и тогда увидел попа с помощниками, трех женщин с иконами и человек двадцать богомольцев. Здешняя местность имела покатость в древнюю высохшую балку, куда ветер и весенние воды отложили тонкий прах, собранный с обширных нагорных полей.

Шествие спустилось с верхних земель и теперь шло по праху в долине, направляясь к дороге.

Впереди шел обросший седою шерстью, измученный и почерневший поп; он пел что-то в жаркой тишине природы и махал кадилом на дикие, молчаливые растения, встречающиеся на пути. Иногда он останавливался и поднимал голову к небу в своем обращении в глухое сияние солнца, и тогда было видно озлобление и отчаяние на его лице, по которому текли капли слез или пота. Сопровождавший его народ крестился в пространство, становился на колени в пыльный прах и кланялся в бедную землю, напуганный бесконечностью мира и слабостью ручных иконных богов, которых несли старые, заплаканные женщины. Двое детей — мальчик и девочка,— в одних рубашках и босые, шли позади церковной толпы и с интересом изучения глядели на взрослых; дети не плакали и не крестились, они боялись и молчали.

Около дороги находилась большая яма, откуда когда-то добывалась глина. Шествие народа остановилось около той ямы, иконы были поставлены ликами святых к солнцу,

а люди спустились в яму и прилегли на отдых в тень под глинистый обрыв. Поп снял ризу и оказался в штанах, отчего двое детей сейчас же засмеялись.

Большая икона, подпертая сзади комом глины, изображала деву Марию, одинокую молодую женщину, без бога на руках. Я всмотрелся в эту картину и задумался над нею, а богомольные женщины расселись в тени и занялись там своим делом.

Бледное, слабое небо окружало голову Марии на иконе; одна видимая рука ее была жилиста и громадна и не отвечала смуглой красоте ее лица, тонкому носу и большим нерабочим глазам — потому что такие глаза слишком быстро устают. Выражение этих глаз заинтересовало меня — они смотрели без смысла, без веры, сила скорби была налита в них так густо, что весь взор потемнел до непроницаемости, до омертвения и беспощадностей; никакой нежности, глубокой надежды или чувства утраты нельзя было разглядеть в глазах нарисованной богоматери, хотя обычный ее сын не сидел сейчас у нее на руках; рот ее имел складки и морщины, что указывало на знакомство Марии со страстями, заботой и злостью обыкновенной жизни,— это была неверующая рабочая женщина, которая жила за свой счет, а не милостью бога. И народ, глядя на эту картину, может быть, также понимал втайне верность своего практического предчувствия о глупости мира и необходимости своего действия.

Около иконы сидела усохшая старушка, ростом с ребенка, и невнимательно смотрела на меня темными глазами; лицо и руки ее были покрыты морщинами, точно застывшими судорогами страдания, во взгляде был зоркий ум, прошедший такие испытания жизни, что старушка, наверно, знала про себя не меньше целой экономической науки и могла бы быть почетным академиком.

Я спросил у нее:

— Бабушка, зачем вы ходите молитесь? Бога же нет совсем, и дождя не будет.

Старушка согласилась:

— Да и наверное, что нету,— правда твоя!

— А на что вы тогда креститесь? — спросил я ее далее.

— Да и крестимся зря! Я уж обо всем молилась — о муже, о детях, и никого не осталось — все померли. Я и живу-то, милый, по привычке, разве по воле, что ли! Сердце-то ведь само дышит, меня не спрашивает, и рука сама крестится:

бог — беда наша... Ишь убытки какие — и пахали, и сеяли, а рожон один вырос...

Я помолчал в огорчении.

— Не молитесь, бабушка, лучше никому. Природа не слышит ни слов, ни молитвы, она боится только разума и работы.

— Разума! — произнесла старуха с ясным сознанием.— Да я столько годов прожила, что у меня разум да кости — только всего и есть! А плоть давно вся в работу да в заботу спущена — во мне и умереть-то мало чему осталось, все уж померло помаленьку. Ты погляди на меня, какая я есть!

Старуха покорно сняла платок с головы, и я увидел ее облысевший череп, растрескавшийся на составные части костей, готовые провалиться и предать безвозвратному праху земле скупо скроенный терпеливый ум, познавший мир в труде и бедствиях.

— Придет зима, я и соседу пойду поклонюсь,— сказала старуха,— и у богача в сенцах поплачу: все, может, пшена подживусь до лета, а летом уж погибелью своей буду отплачивать — за мешок полтора мешка, да отработки четыре дня, да почету ему на пять мешков... Разве мы богу одному только кланяемся — мы и ветра боимся, и гололедицы, и ливня, и суши, и соседа, и прохожего человека,— и на всех крестимся! Разве мы молимся оттого, что любим! Нам и любить-то нечем уже!

Я отошел прочь от старухи, наполненный скорбью и размышлением. Толпа народа начала собираться с отдыха, и весь крестный ход, молившийся о дожде, направился назад в деревню. Осталась лишь одна старуха, говорившая со мною.

Старуха желала еще немного передохнуть, и все равно бы она теперь не поспела идти за людьми на своих детских маленьких ногах, когда народ пошел спешно, по-деловому и сам поп уже шагал в штанах.

Увидев ее состояние, я поднял старуху к себе на руки и понес ее к деревне, как восьмилетнюю девочку, сознавая всю вечную ценность этой ветхой труженицы.

В деревне у одной попутной избушки старушка сошла с моих рук. Я попрощался с нею, поцеловал ее в лицо и решил посвятить ей свою жизнь, потому что в молодости всегда кажется, что жизни очень много и ее хватит на всех старух.

Верчовка оказалась небольшой деревней,— дворов не более тридцати, но исправных изб в ней было мало; жилища

обветшали и уже загнивали нижними венцами срубов в земле. Военный империализм, прошедший по всему миру, сделал все видимое, все добытое, устроенное и сбереженное поколениями тружеников похожим на погост.

Мальчик, чей-нибудь внук или племянник, а может быть, сирота, с охотой провел меня на электрическую станцию, работавшую в полверсте от деревни — около общественного водопоя на проезжем тракте.

Английский двухцилиндровый мотоцикл фирмы «Индиан» был врыт в землю на полколеса и с ревущей силой вращал ремнем небольшую динамо-машину, которая стояла на двух коротких бревнах и сотрясалась от поспешности работы. В прицепной коляске сидел пожилой человек и курил цигарку; тут же находился высокий столб, и на нем горела электрическая лампа, освещая день, а кругом стояли подводы с распряженными лошадьми, евшими корм, и на телегах сидели крестьяне, с удовольствием наблюдавшие за действием быстроходной машины; некоторые из них, худые по виду, выражали открытую радость; они подходили к механизму и гладили его, как милое существо, улыбаясь при том с такой гордостью, точно они принимали участие в этом предприятии, хотя сами были нездешние.

Механик электростанции, сидевший в мотоциклетной коляске, не обращал внимания на окружавшую его действительность: он вдумчиво и проникновенно воображал стихию огня, бушующую в цилиндрах машины, и слушал со страстным взором, как музыкант, мелодию газового вихря, вырывающегося в атмосферу.

Я громко спросил у механика, зачем он работает сейчас впустую, ради одной лампочки на столбе, и зря тратит топливо и машину.

— Не зря,— равнодушно сказал механик; он вышел из прицепа и попробовал ладонью подшипник у динамо-машины — около большого самодельного деревянного шкива, которым она вращалась.— Не зря,— сообщил механик.— Мы работаем вечером, а сейчас мы только пытаем машину и крутим ее впрок, чтобы все части у нее пригартовались и привыкли друг к другу. И перед проезжим народом нам надо похвастаться — это, стало быть, будет агитация. Пусть люди любуются!

В словах механика об опытной работе установки было дельное соображение, потому что мотоциклетный мотор был старой машиной, пережившей дороги войны, и некоторые заводские части, наверно, в нем заменили дета-

лями, сделанными в местной кузнице от руки, и нужно было эти части испытать и дать им приработаться.

Я молча изучил устройство электростанции, не обращаясь более к задумчивому механику. Под сиденьем мотоцикла я прочел номер машины: Е-0-401, а под тем номером имелась еще мелкая английская надпись, означавшая в переводе воинскую часть «77 британский королевский колониальный дивизион».

Провода от электростанции на деревню шли под землей в глухом кабеле, и вечером, должно быть, торжественно сияли окна деревенских избушек, охраняя от тьмы революцию.

Механик подошел ко мне и протянул кисет с табаком.

— Покури, лучше будет,— сказал он мне.— Что смотришь? Наверно, на молотилке работал, и думаешь, что в моторах понимаешь?

— На молотилке мне работать не приходилось,— ответил я и сам спросил деревенского машиниста: — Чем топите машину?

— Хлебным спиртом, чем же,— вздохнув, сказал механик.— Гоним самогон особой крепости, тем и светим.

— А смазка? — интересовался я далее.

— Чем придется,— ответил человек.— Что сыщешь, профильтруешь через тряпку, тем и смазываешь.

— Хлеб-то жалко ведь жечь в машине,— сказал я,— не стоило бы!

— Хлеба жалко,— согласился механик.— А что сделаешь: другого газу нету.

— А чей хлеб это вы на газ переводите?

— Народа, чей же, общества,— пояснил машинист.— Собрали фонд по самообложению, а теперь берем из фонда и еще кой-откуда...

Я удивился, что крестьяне столь охотно стравляют хлеб прошлогоднего урожая в машину, когда в нынешнее лето хлеб от засухи совсем не уродится.

— Это ты наро́да нашего не знаешь,— медленно говорил механик, все время вслушиваясь в работу машины, от которой мы стояли теперь в удалении, у коновязи.— Раз есть нечего, то и читать, что ль, народу не надо!.. У нас в Верчовке богатая библиотека от помещика осталась, крестьяне теперь читают книги по вечерам,— кто вслух, кто про себя, кто чтению учится... А мы им свет даем в избы, вот у нас и получается свет и чтение. Пока другой радости у народа нету, пусть будет у него свет и чтение.

— Если б машину топить не хлебом, то было бы еще

лучше,— советовал я.— Тогда у вас получились бы хлеб, свет и чтение.

Механик поглядел на меня и скрыто, но вежливо улыбнулся.

— Ты не жалей этого хлеба: он все равно мертвый, не едоцкий... Тут кулак у нас жил, Чуев Ванька,— он с белыми всем семейством ушел, а хлеб зарыл в дальнем поле. Так мы его хлеб с товарищем Жареновым целый год искали, а когда нашли, так зерно уже задохнулось и умерло: на еду оно тухлое, на семена вовсе не гоже, а на спирт, на вредную химию эту, оно пойдет. А ведь там сколько ж было, да пудов без малого четыреста! А фонд по самообложению и взаимопомощи мы еще и не трогали: как был, так есть — двадцать пудов. Наш председатель оттуда крошки тебе не подарит, пока и вправду с голода не опухнешь. Да ведь иначе и нельзя, а то...

И здесь механик прервал свою речь и бросился к электрической станции, потому что ремень соскочил со шкива динамо-машины.

Я же направился к деревне Верчовке. На околице деревни сильно и безостановочно дымила печная труба, и я пошел в ту избу, которая столь жарко топилась в летний день. Изба, судя по двору и воротам, была выморочная или бесхозная. Ворота заросли, на дворе поселился жесткий зачумленный бурьян, терпящий одинаково и жару, и ветры, и ливневые потоки, и выживающий всегда.

Внутри избы я увидел печь, и в нее был вделан самогонный аппарат. Печь топилась корневищами, а у исходной трубки аппарата сидел на табуретке веселый, блаженный старик, освещенный пламенем, с кружкой в правой руке и с куском посоленной картошки в левой: старик, должно быть, ожидал очередного выхода безумной жидкости, чтобы попробовать ее — годится ли она для горения в машине или слаба еще. Собственный желудок и кишки старика-дегустатора были прибором для испытания горючего.

Я вышел во двор избы, чтобы увидеть электрическую линию, потому что на улице ее не было. Линия шла через дворы; крюки изоляторов были укреплены в стенах надворных построек, в редких ветлах или просто были завинчены в большие, наращенные один на другой колья плетней, и оттуда уже шли местные ответвления проводов в жилые горницы и дворовые службы. В этой местности, лишенной леса, нельзя было найти столбов для устройства обычной

уличной сети. И с хозяйственной, а также с технической точки зрения подобное решение вопроса электропередачи было единственно возможное и правильное.

Однако, опасаясь пожара от неправильной проводки воздушной линии, я пошел по дворам, перелезая через плетни и слеги, огораживающие соседские владения, и всюду осмотрел снаружи подвеску и крепление магистральных проводов. Натяжка линии была хорошая, и провода нигде не проходили близко от соломы или прочих ветхих и горючих веществ, способных затлеть от нагревания их токонесущей медью.

Успокоившись насчет пожара, я нашел прохладное укромное местечко в тени одного овина и уснул там для отдыха.

Но, еще не отдохнув как следует, я вынужден был проснуться, потому что меня кто-то толкал ногою и будил.

— Не время сна, не время спать, пора весь мир уж постигать и мертвых с гроба поднимать! — произнес неизвестный человек надо мною.

Я в ужасе опомнился; поздняя жара солнца, как бред, стояла в природе. Ко мне наклонился человек с добрым лицом,— морщинистым от воодушевленного оживления, и приветствовал меня рифмованным слогом, как брата в светлой жизни. По этому признаку я догадался, что предо мною был делопроизводитель местного сельсовета, писавший отношение в губисполком.

— Вставай, бушуй среди стихии, уж разверзается она, большевики кричат лихие и сокрушают ад до дна.

Но у меня тогда была в уме не поэзия, а рачительность. Поднявшись, я сказал делопроизводителю про мотоциклетную электростанцию и про то, что необходимо достать где-либо насос.

— Мне ветер мысли все разнес,— ответил делопроизводитель,— и думать здесь я не могу про... А дальше как? — спросил он вдруг у меня.

— Про твой насос! — добавил я ему на помощь.

— Про твой насос!.. Пойдем ко мне в мою усадьбу,— продолжал делопроизводитель во вдохновении сердца,— ты мне расскажешь не спеша: могилы ждешь ты или свадьбы, и чем болит твоя душа...

В сельсовете я с точностью изложил делопроизводителю деревни свой план, который касался орошения сухой земли водою, чтобы прекратить крестные походы населения за дождем.

— Провижу я чело твое младое! — воскликнул делопроизводитель.— В ответ гремит тебе отсюда,— он показал на грудь,— сердце боевое!

Я спросил его:

— У вас есть общественная огородная земля, чтоб там не было многих хозяев?

Делопроизводитель без размышления сразу дал справку:

— Земля такая есть. Она была коровья. Теперь же стала вдовья и отведена семействам — как их такое?..— сбился вдруг он.— Семействам бельраненых красноармейцев! — сказал добавочно делопроизводитель.— В ней сорок десятин. Там пашет, жнет и сеет орган власти — сельсовет! Там было раньше староселье, теперь же пустошь, зато осталось удобренье и злак растет, как дым зимой из труб. Ну, а теперь, конечно, все засохло — нам без воды и солнце ни к чему!

Я сообразил, что, может быть, мотоциклетной силы не хватит для поливания водою сорока десятин, но все же решил полить хоть часть этой наиболее беднядкой земли — вдовьей и красноармейской.

Делопроизводитель, услышав такое мое предложение, не мог больше выразиться и тут же заплакал.

— Это я от стечения обстоятельств,— сказал он немного погодя.

В течение двух последующих дней делопроизводитель, механик мотоциклетной электростанции и я трудились над установкой мотоцикла на новом месте — на берегу маловодной речки Язвенной, которая слабо текла куда-то в обмороке жары. Здесь, начинаясь с берега, была вдовья и красноармейская земля, обрабатываемая сельсоветом на общественных лошадях. Несмотря на плодородие низинных угодий, сейчас там росли только редкие посадки картофеля, а за ними — мелкие просяные колосья; но все растения были в изнеможении, они покрылись смертельной пылью знойных вихрей и клонились вниз, чтобы вернуться обратно в темноту праха и сжаться в свое первоначальное семя, уже мертвое теперь.

В этих же посевах с терпеньем росли купыри, репей, бледные цветы «златоуста», похожие на лицо человека с выражением сумасшествия, и прочие плевелы, которыми всегда зарастает земля во время действия сухих стихий.

Я пробовал почву; она была как зола, сгоревшая на солнце, и первый же ураган способен был поднять всю пыль

плодородия и развеять ее бесследно в пространстве.

После установки мотоцикла мы с делопроизводителем задумались о насосе. Мы поискали его по сараям зажиточных мужиков, грабивших помещиков с наибольшим хладнокровием и жадностью, и нашли там много добра, даже картины Пикассо и женские мраморные биде, а никакого насоса не было.

Подумав, я снял толстую железную бляху с мотоцикла, обозначавшую английскую интервенционную воинскую часть, и вырезал из нее в кузнице две лопасти. Затем по приказу делопроизводителя была раскрыта железная крыша с дома сельсовета, и то железо пошло на изделие остальных пяти лопастей, а также кожуха для насоса, трубы для всасывания и лотков для подачи воды на поле.

Еще трое суток мы с механиком электростанции поработали у мотоцикла, пока не посадили семь лопастей на спицы заднего колеса машины и не обрядили то колесо в кожух. Таким образом мы соорудили центробежный насос из колеса мотоцикла, мы организовали водокачку вместо электрической станции; однако насос ничему не помешал: когда вода не потребуется земле, можно опять вертеть динамо и давать свет в избушки.

Через пять дней мучительного труда без нужных инструментов и материалов, среди полевого неустройства, я и механик пустили мотор мотоцикла, и вода пошла на землю вдов и красноармейцев; но поток ее был слишком слаб — ведер сто в час, и необходимо было еще развезти воду по всем посевам, что требовало усердия населения. Кроме того, некоторое количество воды терялось из неплотных соединений наших самодельных лотков, что дополнительно нас огорчало. Однако делопроизводитель не огорчился на это и сказал:

— Пускай наука только каплю даст, мы выжмем море туловищем масс!

На другой день делопроизводитель и двадцать женщин с четырьмя пожилыми мужчинами-бедняками повели воду под лопату в глубь полей, но ручей воды иссох уже невдалеке от водокачки. Из расщелин земли, пугаясь влаги, полезли ящерицы, пауки, сухие членистые черви неизвестной породы и твердые мелкие насекомые, точно сделанные из меди,— они, следовательно, и должны наследовать землю, если тучи не соберутся в атмосфере, а люди вымрут.

Вдовы и замужние беднячки окружили нас и начали ругать за недостаток воды и за бедную силу машины. Мы

выслушали их со стыдом, но без боязни, а делопроизводитель произнес им в утешение заключительное слово. Он глядел в туманное, томительное небо одичалого лета и говорил с просветленным лицом среди тишины ослепительной страшной природы:

— Все сохнет, лопается прочь,— и почва, и трава!..
А жить охота во всю мочь, поскольку есть у человека голова...

Делопроизводитель Степан Жаренов устал от жары и страдания; но лицо его стало теперь иным,— ясным и задумчивым, хотя и не потеряло доброты своих складок. И он сказал прозой бабам-вдовам, смотревшим на него с удивлением и улыбкой сочувствия:

— Ступайте, женщины, копать канаву дальше. Машина эта — интервентка, она была за белых, теперь ей неохота лить воду в пролетарский огород...

Механик, размышляя, наблюдал напряженную работу мотора; машина шла на сбавленных оборотах и тяжко пыхтела от перегрузки. Я ощупал все тело машины — оно сильно грелось и мучилось, крепкий самогон взрывался в цилиндрах с жесткой яростью, но плохое смазочное масло не держалось в трущихся частях и не обволакивало их облегчающей нежной пленкой. Мотор трепетал в раме, и неясный тонкий голос изнутри его механизма звучал как предупреждение о смертельной опасности.

Я понял машину и прекратил ее злобный сухой ход. Затем мы сняли кожух с колеса, служившего центробежным насосом, убавили число лопастей на колесе с семи до четырех и опять надели кожух. Я хотел разгрузить мотор, чтобы он дал лучшую скорость, и тогда четыре лопасти будут работать сильнее семи.

В это время настал вечер; все ушли на отдых, только товарищ Жаренов и я остались сидеть на берегу высыхающей реки. Я не спешил снова запускать мотор, я хотел догадаться еще о чем-нибудь для более свободного движения машины.

Солнце зашло в раскаленном свирепом пространстве, а внизу на земле осталась тьма и озабоченные люди с трудным чувством в сердце, поникшие в своих избах без всякой защиты от беды и смерти. Вскоре к делопроизводителю пришли его дети — мальчик и девочка,— те самые, которых я видел в крестном ходе. Они потемнели от голода и бесприютности и бросились к отцу, радуясь, что нашли его и будут ночевать вместе с ним в страшной душной темноте; хлеба они уже не просили, радуясь тому, что хоть есть у них отец, который их любит и сам ничего не ест. Отец прижал

к себе слабые тела своих детей и стал искать в карманах чего-нибудь, чтобы покормить их, но находил лишь мусор и отношения волисполкома. Тогда делопроизводитель решил успокоить детей своей теплотой; он обнял их громадными руками, приблизил к своему теплому животу, и все трое заснули на ночной земле. Наверно, у этих детей мать была умершая, и они жили сиротами около своего отца.

Я догадался, что мне надо сделать: нужно свернуть из пакли фитиль, опустить его одним концом в бачок с водой и обмотать фитилем цилиндры мотора,— тогда вода будет сочиться по фитилю, а машина почувствует прохладу и даст лишнюю мощность. Я нашел паклю в прицепной коляске — в ящике механика, и к полночи совершил работу до конца. Затем я подошел к спящему семейству Степана Жаренова и не знал, что делать — качать ли воду, чтобы обеспечить хотя бы на осень пищу этим детям, или подождать, потому что дети проснутся от шума мотора и немедленно начнут мучиться без еды.

Я сел в раздумье около реки, тихо влекущейся вдаль, и поглядел в звездное скопление на небе, на это будущее поприще деятельности человечества — в бессмертную сосущую пустоту, наполненную тонким тревожным веществом, бьющимся в ритме своей неизвестной судьбы,— и стал думать об электричестве, что всегда доставляло мне удовольствие.

Вскоре мне пришлось обернуться к деревне — там раздался взрыв какой-то бочки, а потом шипение пара, и опять стало тихо. Делопроизводитель проснулся, поднял голову — и снова уснул.

Учитывая крепкий сон семейства, проспавшего взрыв бочки, я пустил мотор. В черные угодья пошел толстый поток воды из устья нагнетательной трубы; мотор теперь вращался на хороших оборотах, грелся мало и не пел мучительным голосом утомления из глубины своего жесткого существа. Я тихо ходил вокруг бьющейся в напряжении машины и с удовольствием наблюдал спокойное течение ночи в мире; пусть время теперь идет, оно проходит не напрасно: машина надежно качает воду в сухие поля бедняков.

Я смерил ведром подачу воды в минуту времени — оказалось, что насос теперь дает около двухсот ведер в час, в два раза больше прежнего. Я наклонился к детям — они смутно и неравномерно дышали в своем скучном сне, смирившем в них страдание голода. Только отец лежал со

счастливым, обычно приветливым лицом: он господствовал над своим телом и надо всеми мучающими силами природы; магическое напряжение гения беспрерывно радовало его сердце, верующее в могучую долю пролетарского, бедного человека.

Из темноты речной долины вышли к машине два человека — выспавшийся механик и незнакомая старушка большого роста.

— Идите вот теперь,— сказала старушка,— идите мужика моего подымайте: мужчина весь обмер, свалился, и сердце в нем не стучит... Все для вас, чертей, кофей этот варил...

Я равнодушно обратился к механику мотоцикла, учась быть хладнокровным среди событий. Механик представил старушку как жену старичка, который варит круглые сутки самогон специальной крепости для снабжения мотора. Ввиду отсутствия прибора, измеряющего градусы крепости, старичок обычно брал в одну руку кружку, в другую кусок посоленной закуски, что-нибудь вроде картошки, и ожидал со своей посудой у отводящей трубки котла, пока оттуда закапает. Но нынче старичок не сразу раскушал качество топлива; он завернул краи на трубке, подложил дров в огонь и заснул с опорожненной кружкой и картошкой в руках, котел накопил давление, взорвался, и мощный газ выбросил старичка из самогонной избушки вместе с дверью и двумя оконными рамами. Сейчас старик лежит и постепенно опомнится, а завтра начнется ремонт взорвавшейся установки.

— Чего же вы хотите? — спросил я у старушки.— Это авария, а мы здесь ни при чем.

— Льготы какой-нибудь,— ответила бранившаяся старушка.

Я вынул записную книжку и написал там: «Пришли из города старушке пшена».

Старуха, только увидя, что я что-то записываю, сразу поверила мне и утешилась.

Я сказал механику устную инструкцию об уходе за мотором и насосом, постоял немного возле спящего на земле делопроизводителя Жаренова и его детей, а затем пошел пешком по теплой ночи к себе домой, к своей матери. Я шел один в темном поле, молодой, бедный и спокойный. Одна моя жизненная задача была выполнена.

1926

Леонид Леонов

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОПЫЛЕВА

Д. Н. Кардовскому

В сумерки Мишка снова вышел на опушку и, забравшись на дерево, озирал родимые места. Веяло осенью с заката, острые туманцы покачивались в низинках. Мишку знобило; был он бос, а одет в лохмотья, которыми надеялся вымолить пощаду у мужиков. Деревня казалась неживой, но блеял за стогами заблудший баран, и повизгивали в дальней тишине качели, а Мишке слышался вдобавок и веселый девичий смех. Даже изнеможенного бездомными ночами, одолевали его любовные соблазны. Все мнилось ему, будто на весенней луговине сходятся и расходятся девичьи кадрили, а посреди красуется он сам, первый кавалер в округе. Сидя на дереве с поджатыми ногами, Мишка густо покраснел от стыда за хламной свой вид, в котором судьбы и зима пригоняли его на родину. Шла ночь, из лесу наползали тоска и страхи. Мир предавался дремоте, великодушно предоставляя и Мишке на ночлег его осклизлый сук.

Здесь вырос Мишка, отсюда вскинуло его великим ветром на житейские вершины, и когда забунтовали здешние мужики, сюда послан был Мишка на их усмирение как мужик по рожденью и знаток окрестных мест. Румяный и статный, облеченный властью эпохи, подступил Мишка с войском к родной деревне. Мужики нагромоздили бороны на взъездах зубьями вверх, но Мишка подпалил деревню и, взяв на приступ, усмирил ее своим мужицким способом. Согнав на сход покоренное племя, сподручный Мишкина завоеванья разъяснял мужикам суть наступающей нови, а Мишка, в розовой рубахе и увешанный оружием, важно сидел тут же, в кресле, реквизированном у попа. Еще тлели головешки вчерашнего пожарища, и мужики покорно преклоняли головы перед идеей, которую приносил им Мишка Копылев.

Неделю прогостил Мишка в родной деревне, куря сытные папиросы и страдая прыщом; войско следовало примеру

военачальника. Иногда Мишка выходил гулять и шел вниз, к пруду, таща за собой на веревочке пулемет: чутьем угадывал Мишка затаенную немирность мужиков. «К водопою собачку повел...» — украдкой шутили мужики, но ни одна живая собака не смела облаять железную собаку Мишки Копылева. Порой нападала на Мишку тревога под великим безмолвием округи, и тогда, застигнув земляка на дороге, мытарил его тягучими разговорами. Так попался ему раз бондарь Ермил Полушкин, мужик татарской видимости и сокрытного ума; как ни старался бондарь, не отвертелся от беседы с могучим завоевателем.

— Должон ты понимать, гражданин, кто я есть. Я нонче в зенитах, все могу. Могу заветную рощу сжечь, могу коней пострелять... все в моей власти, Полушкин. Я вас бью блага ради мужиковского, потому — сам я мужик. Человека не бить, так он забыть может, что он человек. Понимаешь, отчего я говорю тебе все это?

— Убедительно вынуждают понимать,— тряхнул плечами Полушкин.

— Что же ты понимаешь, ответь мне своими словами! — важно приказал Мишка, удерживая собеседника за плечо.

— Боязно, Миша. Слово не стрела, а хуже стрелы,— вилял Ермил, косясь на бряцающую оружием грудь Копылева.— Кричишь, пытаешь, Миша, а на себя кричишь... и получается в тебе оттого сосание сердца. И невдоумок мне: начальник ты, все можешь, а боишься, боишься меня, Миша!

— Уйди, отчадие ада! — гневно затопал Копылев, всклубляя сапогами пыль дороги.

Не из дурачества лютовал в те сроки Мишка, а от ленивой прямолинейности ума и еще по крохотной причинке, неведомой миру. Еще в прогеройскую пору, когда был только бабником и озорником, возникла в его могучем теле беспамятная любовь к Аринке Гусевой. Девочка возрастом, она приманила грубую его силу нежной грустью, которую таила в глазах. Студеные озерки, весенние чащи и прочие волнительные чудеса отыскал в них Мишка, но она отвергла его ухаживанья и посмеялась над угрозой. В поисках другого счастья покинул Мишка деревню, но удачи завлекли его в глубь жизни, откуда он вернулся уже опаленным пожарищами эпохи. Мечта об Аринке толкала его на бурные самодурства, за которые впоследствии и выгнали его отовсюду,— в мире не пригодилась глупая его сила...

Лишь теперь до него, посинелого от стужи, доползла

удушливая гарь давнишнего пожарища. Новые избы белели в сумраке, призывно светились окна, но мнилось ему все это ловушкой, где, прикинувшись Аринкой, караулит его мужиковская месть. Ища пути к бегству, он воровски оглянулся назад... Лес усмешливо молчал, замахивался руками, пугал, дразнил... Тогда, мыча и пыхтя от звериного одиночества, Мишка спустился с дерева; ноги его обожгла ледяная роса предзимья. Неохотно подняв с земли суму и палку, суковатую палку странника, он бесчувственной стопой шагнул вперед, на деревню.

Он шел быстро, просырелые лохмотья задымились паром; все еще стоял в неизвестности надоедный бараний плач. Перепрыгивая ледяные грязи и длинные световые лучи от окон, Мишка бежал вдоль главного порядка домов, когда женский голос из тьмы спросил его о пропащем баране. С бесовской уверткой Мишка вильнул за случившуюся тут часовню, но наткнулся на женщину и замер, вцепившись в ее рукав и сердцем учуяв в ней Аринку.

— Мишка? — тихо сказала она без испуга или удивления.— Ступай, ступай, откуда пришел. Тут из тебя жмурика сделают...

— Аринушка,— бесстыдно и с непонятной надеждой шепнул Мишка, переступая босыми ногами,— замужем ты аль еще в девках бегаешь? — Но она оттолкнула его и растаяла во тьме, такой плотной, что было бы ее хоть рубанком строгать.

Встреча внушила Мишке бодрость: Аринка помнила его, не прокляла, не ужаснулась, даже пожалела беспутную его долю. Забыв про опасность, в дом свой он ломился всем телом, просившим тепла и отдохновения. Сооруженье прадеда, дом был мрачен и просторен. Мишке отпер глухонемой его брат и сразу замычал, выражая бурное свое удовольствие.

— Ну-ну, развалишься от радости. Корми старшакато! — неестественно захохотал Мишка и вбежал в избу.

Нежилым запахом дерева и сухой малины встретил его дом отцов, но лежал на всем отпечаток как бы бабьей руки. Вымытый пол простелен был половиком, печь выбелена, горшки в солдатском порядке и опрятности стояли на полках, а на стене торчал в трех гвоздях осколок облезшего зеркала. «Сидит один, как редька, делать ему нечего, вот и старается»,— подумал Мишка про глухонемого, который суетился, готовя брату еду и сухую одежду, и даже в порыве усердия вытер место на лавке картузом. Нешумный и покорный своему

бесцветному жребию, он не обижался на молчание вернувшегося хозяина, который торопливо примерял на себя его простиранные рубахи. Мишка был крупнее телом, и рубахи глухонемого лопались на нем, как бумажные.

Сидя спиной к окну, Мишка жадно пожирал печеную картошку, и повеселевшее его сердце почти примирилось с предстоящею участью. Мирская кара нагрянет не прежде утра, а пока впереди ждали теплые нары и крепчайший сон. Раз попав в западню, Мишка вдосталь лакомился чудесною ее приманкою. Валенки согрели ноги, и кровь пламенно вливалась в опухшие щеки. Вытянув ноги, он домовитым оком озирал внутренность избы и не особенно огорчался ни разлохмаченной паклей в стенах, ни провисшим потолком. Окрепшее от еды и тепла тело уже теперь требовало труда, но он справился с собой и усидел на месте, поборов кстати и сладкую дремоту. Предчувствие сна было ему слаще самого сна.

Вместо того, подняв сумку с пола, он стал разбирать вещи — трофеи своих завоеваний: кусок сахару, пару ветхого белья, неизвестного происхождения царскую копейку и бритву, утонувшую в размякшей краюхе хлеба. Бритва была вполовину сточена, но острая и без недостатков; бритва была драгоценностью в деревне,— бритву Мишка вытер о штаны и положил на стол. Вдруг необоримое желание побриться возникло в нем. Натерев мылом щеки и пальцем разведя на них серую пену, Мишка приступил к делу перед зеркалом, снятым со стены. Глухонемой с восхищением дикаря наблюдал за братом и тянулся потрогать невиданную вещь.

— Это бритва, понимаешь?.. Во, были щеки в волосах, а теперь, эвось, ровно коленка у девки. Это еще что! Вот в городе у меня бритва была,— востра, конца даже и не видать... еще и в руки не брал, а уж порезался! — Он покосился на глухонемого, который восхищенно чмокал губами, уставясь в Мишкин рот.— Потерял я, брат, тую бритву... все потерял. Но ты не гляди, что я в нищем образе вернулся: это я нарочно пугало огородное ограбил! Смекай мою хитрость, дурачина, уважай за столичность, я все могу!

Однако, предупрежденный мычанием глухонемого, Мишка обернулся к окну и тотчас в испарине отпрянул в угол: в окне, деловитое и с приплюснутым носом, мерцало лицо Ермила Полушкина. Так прошла минута, потом глухонемой задернул занавеску и побежал посмотреть на крыльцо. Тревога была напрасна: деревенский мрак плотен, а сон

нерушим. Завернув бритву в тряпочку и положив под образа, Мишка привернул лампу и стал укладываться на ночь. Он долго лежал без сна, слушая вздохи глухонемого и пугаясь потрескиваний в подполье: больше всего он боялся, что его застанут во сне. Потом стало представляться: на обугленном пепелище сидит кошка и глядит в Мишку щурким глазом. Мишка перевернулся на живот и уснул сразу, как дитя...

На рассвете состоялся деревенский сход, и утром мужики пришли за Мишкой. Глухонемой топил печь, густой огонь лизал котелок в печи, когда вошли мужики. Они принесли с собой уличный холод и заследили вымытый пол, ночью выпал первый непрочный снежок. Мишка лежал на лавке, головой под образа, накрытый простынею и со сложенными на груди руками; в головах у него горела страстная свеча. Мужики переглянулись и подошли ближе. Двое, друзья, Анфим Фионин да Левак Петров, выдвинулись вперед из толпы.

— Никак, помер? — сказал Фионин.

— Дышит,— усмехнулся Левак.

— Ишь ты, яко бы мертв лежит! — продолжал Фионин.

— В покойника прячется,— презрительно откликнулся Левак. Тогда Полушкин раздвинул сборище, беря власть на себя.

— Погодите, граждане,— сказал он важно.— Мертвый не живой, мертвый простых слов не слышит... и наперво надо свечу задуть, еще пожара наделает! — Он значительно снял шапку.— Миша, успеешь помереть! Отмолви хоть словечко землякам, эку рань для тебя поднялись. Молчит... Слушай, злобы в нас нет, а порешил тебя мир убить за твои грехи. Помолись, дружок! — прокричал он в самое ухо Копылева, но тот не отзывался.— Дай сюда иголку,— сухо приказал он глухонемому и тут же, приподняв безжизненную Мишкину руку, медленно погрузил иглу в мякоть ладони.— Видали вы, граждане, чтоб из покойника кровь текла? — вопросил он, беря каплю на палец и показывая молчащему миру.

Мужики зашумели и заволновались: румянец явно выдавал страшное Мишкино притворство, но он был мертв и не откликался ни на боль, ни на бранное слово, а убивать мертвого ни у кого не подымалась рука. Мишку толкали, щекотали, прижигали огнем, и уже смрадная гарь распространялась от обожженного пальца,— Мишка лежал торжественно и недвижно, лишь беззащитностью своею

сопротивляясь темному гневу мстителей. В углу тихонько выл глухонемой, а из котелка выкипала еда.

— Чего ж парня портить зря! Рука ему нужна, рукой ему работать надо,— сказал тут Матвей Гусев, отец Аринки, отстраняя смущенного Полушкина.— Нам его убить запрету не положено.— Он был прав: никто в мире не ведал, что Мишка возвратится из дальних странствий на родину.— А мертвого убивать не след, мертвый — прощеный. Мертвому неколи в нашу игру играть! А зовите сюда, мужички, Зотей Васильича.

Мир зашумел опять, но уже развеселясь затеей Матвея Гусева. Кроме славы великого знахаря, слыл Зотей Васильевич замечательным рассказчиком в округе, и когда на сходах доходило слово до Зотея, хохотал до упаду мир. Седенькому и в оловянных очках смехотвору этому ведомо было высокое таинство смеха не хуже, чем заговорное его могущество. Распутицы на полмесяца останавливали мужиковское бытье, и оттого вдоволь было времени потешиться над отступником.

Зотей Васильевич вошел мелконьким шажком и, покрестившись на образа, сел у Мишкина изголовья. Наскоро ему объяснили надобность, и он лукаво улыбнулся на мертвенное Мишкино спокойствие.

— Зря тебе ноне, Мишка, псалтыря читать, а лучше послушай, Миша, сказочку... мрак свой могильный повесели! — ласково зачал Зотей, и хотя ничего покуда не было сказано смешного, разразились мужики хохотом на Зотеево вступленье.— Жил на скушном, несподрушном этом свете единый дурак и пошел со скуки к попу на исповедь. Поп и спрашивает: «Сладким не грешил ли?» — «На твоей,— отвечает,— батюшка, на пасеке!» — «Та-ак, а бабой,— дескать,— не сквернился ли?» — «На твоей,— отвечает,— батюшка, на матушке...»

Дальше ничего стало не разобрать. Кто где, а иные, просто присев на пол, предавались полномерному веселию. Лай, писк, треск и грохот наполнили избу: тяжко мужиковское веселие, как тяжек мужиковский труд. Даже сам Матвей Гусев, староверского корени старик, держался за живот, мелко взрыдывая от смешливого удушья, и другие и того хуже. Лишь один глухонемой пугливо взирал с полатей на пытку смехом, самую опасную для смешливого Мишки. Но тот лежал в прежнем гробовом уединении, молчанием посрамляя Зотеево мастерство.

Вдруг Зотей обиженно смолк, разом прекращая бешенство смеха, вселившееся в мужиков.

— Пощекотать бы его,— молвил он, озабоченно качая головой.

— Щекотали уж, дядя Зотей! — хором пожаловались мужики.— Хочь голову отверни, не прочкнется. На тебя всю надежду возлагаем.

— Дайте конский волосок тогда,— сумрачно повелел Зотей и, когда повеление его исполнили, засунул гибкий волос в Мишкин нос, деловито присматриваясь к лицу испытуемого.

Он вертел орудием своим всяко, волосок свирепо танцевал внутри; лицо Мишкино побагровело, и судорога воли сузила набухшие губы, но сам он не шевельнулся, отдаваясь полностью на горькую милость мира.

— Оборотень! — сознаваясь в своем бессилье, определил Зотей и поднялся уходить. Хватало ему дел и без Мишки: заговаривал Зотей порезы, заколы и запаленных лошадей.

Мужики ушли, потеряв на этот раз надежду пробудить Мишку от смерти ложной к смерти истинной. Но на другие сутки, в полдень, они пришли опять, хотя и в меньшем количестве, пришли негаданно. Мишка снова лежал под образами, и в головах у него зловеще пылала свеча. Кто-то заметил, что на мертвеце новая была рубаха, и это разъярило мужиков. Мишку за волосы потащили к колодцу и, бросив под колоду, поливали осеннею, с ледяным хрящиком водою. Ничем, однако, было не вызвать Мишку из могильного его оцепенения; плюнув на злодея, мстители разбрелись по домам. Под колодцем пролежал Мишка до сумерек, а в сумерки пропал, и когда зашел проведать мертвеца Ермил Полушкин со товарищи, нашел его уже сухого, на лавке, с тою же свечою в головах. Присев рядком, Полушкин долго и грустно выговаривал Мишке его нечестность в игре, но уже не посмел отнять у мертвеца обрядную его свечу.

— Не ждали мы от тебя подобного злодейства, Миша! Полдеревни по ветру пустил, старшине два пальца отрубил в допросе, а ныне дитем прикидываешься, бессовестный. Эка серость твоя, Миша!.. Утешь сердце, хошь побить себя дайся.

Так целую неделю, но все в меньшем числе, приходили мужики удостовериться в Мишкиной кончине, а тот все лежал, непетый, безладанный. Примечали мужики, что в промежутках между посещениями все новее выглядит внутренность избы, а однажды, придя невзначай, застали в избе плотницкий верстак и свежие стружки, но сам-то плотник лежал покойником. Мужики качали головой и уходили,

вконец обиженные Мишкиным небрежением к мирскому гневу. Глухонемой надрывно скулил в углу, плохо поддаваясь на расспросы: мертвого бить совестно, а дурака и грешно! Наконец, наскучив злодеевой судьбой, целую неделю никто не нарушал Мишкиных трудов по дому. Только ввалился как-то в одиночку пьяный Полушкин и в последний раз увещевал предлежащего однодеревенца.

— Неправильно играешь, плутуешь, Миша. Запил я изза тебя, во. Лежишь? Ну, лежи, злодей, до второго пришествия! — плакался бондарь, мелко постукивая кулаком по Мишкиной груди, как по кадке.

Мишку забывали, но еще не разрешали от греха; показаться на улицу значило пойти на безвременную гибель, да и дома приходилось быть настороже. Как бы то ни было, Мишка новил дом, перестелил пол и вообще существовал полным мужицким бытом; даже прошел слух, что он видается с Аринкой Гусевой в окончательное посмеяние мирского гнева. И правда: еще через неделю почуял себя Мишка вправе и в баню сходить. Баня стояла на задворках, густо заросшая вишенником.

Тонкий снежок припорошил в этот день округу, и пар в бане, стараниями глухонемого, вышел на славу. Уж полчаса хлестался Мишка веником и уже выпарился, как морковка, а все не мог отстать; слезала с него слоями многолетняя кожура. Как бы молодая березка распускалась над головой, а душистые ее корни сидели глубоко в легких, щекоча кровь и дыхание. Тут пожелал Мишка окатиться ледяной водой для здоровья, но вода нагрелась в ушате, да и не хватило бы ее на полное Мишкино удовольствие. Как был, голышом, Мишка выскочил с ведром на огород, к колодцу, но вдруг тишина кругом зашевелилась мужиками. Отовсюду протянулись к нему черные, корявые руки, и Мишка покорно откинул в сторону ведро. Десятки рук жадно держали его за локти, плечи и даже за голову. Тут же накинули на него тулуп и повели в избу к Фионину, где заранее собран был сход для решения его участи.

— Как же ты следов-то наших на снегу не приметил? Ишь утоптали,— воодушевленно шутил Полушкин, ведя добычу свою под руку.

— Да уж больно жар-то хорош. Эко прямо сад райский, а не баня! — отвечал Мишка, бесстрашно шагая к казни.

— Баня первый сорт,— охотно соглашались из толпы, следовавшей сзади.

...Невиданное оживление охватило деревню; бабы галдели

под окнами, малые ребята рвались вовнутрь. Злодея провели в избу и двери замкнули на засов. Воздух был спертый, а запах густой, чернохлебный. Впереди сели старики, но как-то вышло, что еще ближе оказались молодые. Мишку поместили у печки; он дрожал от холода и все натаскивал на распаренное плечо сползающий тулуп, на котором еще висел замерзший бабий плевок.

— Трясется Миша от предчувствия,— сказал, между прочим, один мужик, вертя цигарку и кивая на обреченного.

— Ежели кто когда вздрогнет невзначай, это значит — по могиле его прошли! — отозвались от двери.

Тут Мишка приподнялся, прикрывая конфузно срам от стариков.

— Убивайте, коли насолил... а то дайте хоть одеться, дьяволы: всяка жилочка во мне продрогла! — крикнул он, но Анфим Фионин да Левак Петров молчаливо усадили его на отведенное место, и тогда выдвинулся вперед Матвей Гусев, единодушно выбранный за почетность в обвинители.

— Не тормошись, а сиди, славь бога в дудочку! Дело к вечеру, а с утра иные дела ждут. Нонче и решим твою судьбу,— кинул ему Матвей и огляделся на мир, который с одобрением внимал ему.— Сам мужик, мужикорожденный, можно сказать, на мужика пошел: изменщика порешил тогда покончить мир. Нагрешил и сбежал, а земля-то и притянула злодея... крепчай магнита действует земля-то! А только и смертью, полагаю, неразумно злодея учить. Парень крепкий, устойчивый, наш... Что ж его губить за ребячий разум: муравей и тот своей кучи не рушит... А следует нам, мужички, поучить его телесно!

— Меня нельзя... я «Георгия» имею,— с дрожью в голосе возразил Мишка, но мужики только рассмеялись.

— Эк ты, человечинка с ветерком! Мы «Георгия»-то с тебя сымем, и станешь ты обнакнавенный мужик. Ну-ка, крестись да раскладывайся.

Полушкин сдернул на пол тулуп с Мишки и легонько толкнул на скамью, а бабы и ребята подавали в окна старую крапиву, седую от инея, мелколистую, самую злую. Ломалась промороженная трава, и тогда сбегал Полушкин за вожжами. Однако, прежде чем дать знак к началу порки, он суетливо потрепал рукой пышное Мишкино мясо, оставляя на нем ржавый след бондарской руки.

— Крой, Ванька, бога нет! — отрывно крикнул он потом,

отступая в сторону и хмуро стискивая зубы к предстоящей забаве.

Те же самые Анфим Фионин и Левак Петров, друзья, со рвением выполняли мирскую волю. Хитрый Фионин действовал всласть и на оттяжку, а простодушный Левак рубил своей вожжей, как дурак цепом. Без стона и брани, а вначале даже посмеиваясь, принимал Мишка присужденное наказание; потом он замолчал, лишь пристальнее упершись взглядом в одну точку. Только в одном месте, когда начинала синеть спина, стал он было покряхтывать, но закусил губу, и тотчас же черная обнаружилась на подбородке кровь: остатком сознания помнил он, что в толпе баб за окном могла находиться и Аринка. Веселые вначале восклицания мужиков теперь прекратились совсем, уступив место мерному визгу вожжей: молча, насупив лица и блестя зубами, следили мужики за происходящим действом.

— Эко молодецкое тело, что переживает! — похвалил наконец один и нагнулся посмотреть в упавшее Мишкино лицо.

Подернутые пленкой бесчувствия, медленно закрывались злодеевы глаза, точно клонило их в непробудный сон, но на раскусанных губах мертвенная лежала усмешка. Тогда Гусев остановил наказание, а палачи вытерли рукавами пот с лица. Разжав ножом оскаленные Мишкины зубы, Полушкин бережно вылил туда полчашки самогона. Затем Мишку осторожно переложили на тулуп, и четверо понесли его домой. Одновременно вызван был из своей закутки Зотей Васильевич лечить исполосованное тело Мишки Копылева.

Как неделю назад, но уже на животе и глухо вздрагивая от предсмертной икоты, Мишка лежал у себя на лавке, и чадная свеча над ним имела теперь свой истинный, ужасный смысл. На столе возле Мишки стояли травные Зотеевы снадобья и щедрые дары деревни: сметана в крынках, пироги с грибами, холст и темный самогон в бутыли. К ночи прибежала Аринка и, невзирая на присутствие знахаря, плакала и гладила Мишкины волосы, слипшиеся в смертном поту. Поверженный и усмиренный, он стал ей ближе теперь, чем в пору лютого своего владычества над округой: теперь она его любила и почти недевической лаской призывала из грозного его оцепенения. Потом она замолкла, незамужняя вдова Аринка, и так, дикая и растрепанная, сидела до самого прихода отца.

Гусев пришел с мужиками; они вошли тихо, шикая друг на друга и снимая шапки еще до порога. На широкоскулой

харе Полушкина отпечатлен был давешний испуг. Виновато топчась у порога, они спросили Зотея о Мишкином здоровье.

— Отлежится! — ответствовал знахарь, привыкший и не к такому.— Главное, жилы в целости...

Подойдя ближе, Гусев приподнял со спины Копылева мокрую простынь и тотчас же опустил, почти выронил ее на прежнее место.

— Обняла бы женишка-то своего,— смущенно сказал он дочери, косясь на Зотея, мешавшего в плошках цветные снадобья.

— Нешто не обнимала! — сурово сказала та, кладя руку на Мишку и как бы берясь защищать его теперь против всего мира.

Мужики поспешили уйти, струсив Аринкина взгляда.

Трудно борясь со смертью, две недели пролежал Копылев пластом, а по миновании срока встал и, на глазах у всей деревни, с вилами и топором полез на дом перекрывать крышу. Проходя мимо, мужики снимали шапки и торопились уйти. Остановиться перед Мишкиной избой посмел один только Ермил Полушкин.

— Как попрыгиваешь, дружок? — закричал он вверх, виновато усмехаясь.

— Да эвось... песьяк на глазу скочил! — отвечал Мишка, наколачивая топором новую тесину на конек и не прерывая работы.

— Песьяк-то хорошо навозцем смазать аль-бо на узелок!

— Пройдет и так,— отмахнулся Мишка, показывая, что после пережитого песьячный чирий ему только в удовольствие.

Все не уходил Полушкин, все мялся внизу да теребил рваную шапку в руках.

— Ожениться надумал, Миша? Дело правильное, мужицкое дело. Что ж, Гусев — род значительный. Да и девочка налимиста, статна тоись. Надо теперь хозяйством тебе обзаводиться... У нас пудов за десять неплохую телочку укупишь. Сиротой ты к нам вернулся, а вишь, как бы и усыновили злодея. Дороже сына ты нам теперь, пра...

— Ладно, заходи сутемень, угощу! — посмеялся Мишка, отмахиваясь от удовлетворенного бондаря.

Приклепав боковую тесину, Мишка уселся верхом на высокий конек кровли и озирал окрестные места. Денек выпал знойкий, пасмурный, редкие снежинки опять летели на зыбучую, распутную грязь, но Мишке сладостно было сидеть тут, на юру, возиться с непослушной духовитой соломой,

уставать, дышать, жить. Впереди ждала его свадьба, труды и простецкое мужицкое счастье. Все вглядывался он в дальнюю опушку, ища дозорной своей березы, но даже и дороги не различал затуманенный его взгляд; сумерки быстро струились из просыревших полей.

Внизу говорливой стайкой пробежали к качелям девки, и одна чаще остальных взглядывала на приправленную Мишкину кровлю, под которой предстояло ей жить.

— Эй, куклы! — заорал вдруг Мишка, наливаясь кровью, и сам вздрогнул от неожиданного своего крика; даже зачесались в спине незажившие царапины.— Погодите, я вас сам покачаю. Вон он я, Мишка Копылев... все могу! — И, не договорив до конца о своих возможностях, стал поспешно спускаться на землю, к глухонемому, который грустно и одиноко смотрел снизу на его непонятное веселье.

1927

Вячеслав Шишков

СВЕЖИЙ ВЕТЕР

Посвящается Николаю Максимовичу Кузьмину

I

Осень. Лист поблек, наполовину облетел, и заря за рекой цвела холодной бледно-зеленой сталью.

Сон еще далек, деревня вся в вечерних хлопотах: бабы доят коров — пахнет молоком, запоздалые девьи руки торопливо доканчивают нудную работу — мялка деревянно стучит вот у тех ворот, и травянистые стебли льна превращаются в пепельно-серые волокна. Воздух свеж, стеклянен, и стеклянна река, на студеном стеклянном небе вспыхнули бледные точки звезд, и мутно-белый туман зачинается у померкших берегов. Через туман, через стеклянную гладь остывших струй тоскливо маячит на том берегу огонек. Это в бывшем барском доме, в конторе управляющего совхозом, дали свет. Слышен призывный звон колокола: рабочий люд спешит на казенный ужин. В деревне неизвестно на кого, просто по привычке, лает собачонка. В избах зажигаются огни.

— Ванька, пей!.. Мишка, наливай.

Терентий пьет с двумя сыновьями самогон.

Время осеннее, хлеб есть, и червячище в брюхе сосет нутро. Мужичья душа о чем-то тоскует, и вот душе радость: пей.

— Ванька, наливай!.. Мишка, сыпь еще...

Терентий — нескладный, как медведь, нос у него большой, борода большая, рыжая с темным, и волосы на прямой пробор закрывают уши, он красен, крепок.

Жена Терентия, тетка Афросинья, хотя моложе его на пять лет, но в сравнении с ним старуха. Угловатая, сухая, сутулая, правый глаз в кровоподтеке заплыл, левый — с ненавистью и неизъяснимой скорбью смотрит на гуляк.

— Не можете, пьяницы, загородки теленчишку сделать. Он перемахнул да всю корову высосал. И жрать нечего будет,— брюзжит она на ходу.

— А-а,— подымается мужик.— Опять медведица из берлоги выползла?!

— Мамка! — кричит старший Михаил.— Уходи, мамка.

— Уйду, уйду,— сморкаясь и кривя рот, уходит Афросинья с пойлом.— Должно, скоро уж на погост потащите.

Терентий с силой бросает ей вслед подвернувшийся молоток. За дверью слышно, как она скатилась с лестницы и воет в голос.

Пьяный пятнадцатилетний Ванька гыгыкает идиотским смехом и тянет:

— Мии-мо вд-а-рил... Мамку надо дуть... Ругается...— Его шелковые светлые волосы взлохмачены, под большими белесыми глазами темные круги.— Тятя... Тятинька...— бормочет он.— Я тебя люблю.

— И я,— шершаво говорит отец. Он приподымает Ваньку за волосы и целует в губы.

— А меня не любишь, тять? — грузно наваливается на них восемнадцатилетний Мишка и обнимает их за шеи.— Не любишь?

— Люблю... А ну, робенки, запоем.

И вот нескладно, вразброд громыхает пьяная песня. Кот открыл глаза и поводит ушами.

А за окном голубовато-желтый лунный свет... И через озаренные луной поля и перелески в этот чуткий и звонкий предночной час слышен ритмический далекий грохот железа о железо — свисток паровоза, и грохот на минуту смолк.

— Миш! А ну, балалайку... Сыпь!

И стены трясутся от топота пьяных ног.

Афросинье страшно идти домой, замерзла, дрожит... Постояла в раздумье, погладила корову и поплелась к брату за три избы. Брат сурово сказал:

— А ты не задирай... Ишь ты...

И покосился на сестру.

— Не знай, у кого и защиты просить,— захлюпала Афросинья.— В исполком ходила — погнали вон. К батюшке ходила — отступился. Как, говорит, я его пойду, бусурмана, улещать, раз он безбожник стал. К кому идти?

И голова ее затряслась.

— Домой, вот к кому! — крикнул с полатей брат. Афросинья повалилась на колени.

— Братец, желанный, одна ты защита у меня... Дай подмогу... Детей, изверг, науськивает: «Бейте,— говорит,— ее, ведьму, я в ответе». Вот он какой. Ой, руки на себя на-

ложу. Нечистики меня смущают: как лягу спать, и почнет, и почнет... Ой ты, головушка моя...

— Не вой, Афросинья, ну тя к ляду...

И брат слез с полатей.

— Что они делают на самом-то деле? Опять били, что ли?

— Вчерась били. Как хлобыстнул мне в ухо сам-то, о сю пору звон идет... Просто не слышу ничего, оглохла. И головушка трясется, остановить не могу.

— Эки дьяволы,— пробасил брат и полез в жараток за горячим для трубки угольком.

Его жена месила квашню.

— Не ты первая, не ты последняя,— сказала она, обирая ножом с голой руки тесто.— А меня, думаешь, милует? Все они хороши... Слышь, Макар?! Черт... дьявол...

Голос ее звенел задирчиво, но Макар, повернувшись к ней спиной, чесал зад, рассматривая свою лохматую тень на стене, и спокойно попыхивал трубкой.

Афросинье от этих слов хозяйки сделалось легче: обида стала уходить, и звон в глухом ухе оборвался.

— Прощайте,— сказала она.— Поплетусь.

Придя домой, Афросинья осторожно отворила скрипучую дверь и на цыпочках прошмыгнула за занавеску к печке. Мишка и Терентий сидели за столом, обнявшись за шеи, и пьяными голосами орали друг на друга в рот:

Ты-ы васпо-о-ой, васпой, жи-аварооничи-ик,
Виесной си-идючи-и на-а прота-а-линки-и...

А Ванька валялся под столом и храпел.

Афросинья кое-как перекрестилась и устало легла на шубу к сундуку. Ужасно хотелось спать, и только закатила глаза: топоры, кровь, веревка, омут. Она творит молитву, крестится, но кулаки, бороды, оскаленные рты гогочут над ней, грозят, и плещет у берегов черная волна. «Эка жизнь тебе... Прыгай. Тут глыбко, глыбко...»

Чре-э-ез дрему-у-у-чий бо-о-ор-р...
Чре-э-ез дрему-у-у-чий бо-о-ор-р...

— Ангели, архангели,— шепчет в вязком, как глина, полусне Афросинья.— Не дайте нечистикам душенькой моей завладеть...

Но петля в овине перекинута, и какой-то незнакомый зубоскал сам сует в петлю свою голову, смеется... «Видишь, отмахивается руками, и в красных сапожках, в красной рубахе, с красной рожей гонится за ней — земля дрожит»,—

«пей... отрава... так и так не жить тебе, сирота»,— и сует ей в горло холодную, как змея, бутылку — «пей». Афросинья вскакивает и хватается за сердце.

«Пей!»

«Ага, не лю-юбишь?.. Гыгыгы... Тятя, наливай ему в рот...»

«Держи! Разжимай. Ширше!..»

И тяжкий темный сон продолжается.

«Гыгыгы...» — ухает нечисть.

И та же ночь. Месяц, лес. В лесу стол, на столе покойник. «Это мой Ванюшка»,— обомлела Афросинья.

«Гыгыгы...» — пугает нечисть.

А мохнатые пни замахали корнищами и с треском, вперевёрт, к покойнику:

«Держи... Ширше...»

«Гыгыгы...»

Покойник затряс головой, захлебнулся, открыл глаза. Открыла глаза и мать. Крикнула:

«Окаянные! Обопьется он. Отравите... Душегубы!..»

Пни взмахнули корнищами:

«А, медведица!..»

«Тять!.. Мочаль ее...»

И петля, и омут, и тот краснорожий в красных сапогах: «Бей!!»

Афросинья завизжала, грохнулась, отлетела в угол, поднялась на воздух, стукнулась головой о потолок, о дверь, дверь скрипнула:

— Это что?.. Отец! Брат!

Но она не слыхала.

Красноармеец сорвал с плеч торбу и шагнул к отцу.

— А-а, Петрунька...— попятился тот к стене.— Здрасте... В побывку? Даже неожиданно...

Красноармеец сжал кулаки, разжал, сел на лавку, обхватил руками голову, вздохнул всей грудью.

И Любовь Даниловна сладостно вздохнула там, за рекой, в совхозе.

Над совхозом, над полями и над всей землей проплывала голубая ночь, туман над рекой сгущался, сгущалась у закрайков вода — утром зазвенит ледок; травы, крыши, камни пушнели инеем, как белым мохом, собачонка давно смолкла, погасли огни, и вот Любовь Даниловна собрала колоду карт и завернула лампочку. Она ляжет спать при лунном свете — все голубеет в ее комнате — и долго будет мечтать о нем, далеком. А далекий близко, здесь.

II

Дул свежий ветер, обрывая и крутя пожелтевший лист.

Солнце указывало полдень, и молодая светловолосая конторщица поставила самовар на белую скатерть.

— Так неужели вы совсем?

— Совсем, — сказал Петр Терентьич.

— Очень хорошо... Ах, как это хорошо. Ну, давайте чай пить!.. Погодите, я вас сыром угощу, ведь у нас в совхозе сыр делают.

Петр Терентьич огляделся по сторонам: так чисто, уютно в этой маленькой комнате; в золоченых рамах старинный портрет генерала, картины, трюмо, на лежанке канделябры.

— Это все казенное, из барского дома, по описи,— как бы оправдываясь, сказала она.

— Я знаю... Я только...

И он нахмурил лоб. Ему вспомнилась своя родная изба, темная и мрачная, пропахшая столетней деревенской вонью, вспомнилась вчерашняя встреча с отцом.

— Пейте, пожалуйста... Отчего вы такой грустный? Отец? Слышала, слышала... Это безобразие, какое пьянство идет по деревне. Скандалы, ругань, жен бьют. Наш заведующий хотел даже арестовать вашего родителя... Ну, расскажите, как вы? Как там, в Питере?

— Да что ж, хорошо,— невесело ответил он.— А главное, меня берет забота о матери...

— Да, конечно,— думая о другом, проговорила она, глаза ее были устремлены куда-то вдаль.— А в театры часто ходили? Ах, расскажите, Петр Терентьич.

— Да, ходил и в театры. Редко только... Я думаю, много неприятностей мне предвидится в моей семье.

— А какие же вы пьесы видели? Расскажите, миленький... Я так... я так здесь...

— Разные пьесы. И кинематографы.— Он взглянул с упреком в ее загоревшиеся мечтой глаза.— Я больше митинги любил да лекции... У нас в казармах, другой раз... Да... Уж вы простите, Любовь Даниловна. Я вот все докучаю... про свои болячки семейные. Уж извините...

— Пожалуйста, что вы, ведь я же вам сочувствую и понимаю вас.

— Боюсь за себя,— вздохнул он.— Как бы промежду отцом и мной чего не вышло. Очень крупно говорили мы... А мать моя совсем больная, за эти два года состарилась, едва узнал ее. Оглохла... Ах, как худо, Любовь Даниловна

Они пробеседовали так очень долго. Она сказала ему, что теперь уж не до идей, она учительство бросила, чтоб не умереть с голоду: здесь все-таки паек и теплый угол.

— Может, и вы бы толкнулись к заведующему,— авось местишко найдется...

Петр Терентьич взял у нее тургеневские «Записки охотника» и направился в бывший барский дом.

Управляющий, чернобородый, в очках, человек, встретил его радушно, обещал небольшое местишко.

— А ты вот что, Петр,— сказал он.— Ты семью свою как не то урегулируй. А то я возьмусь.

Петр Терентьич пошел по знакомым крестьянам.

Его крестный, высокий, крепкий мужик лет пятидесяти, расцеловался с ним и повел показывать свое хозяйство: вот эта корова Красуля получила премию на местной выставке — десять пудов жмыху. А это новый жеребец, свой, доморощенный.

Крестный схватил поводья и побежал с жеребцом по улице. Ветер трепал его бороду, крутил хвост и гриву гнедого жеребца. Жеребец бил в воздух задом или всплывал на дыбы храпя.

— Тпрру!.. Видал, каков! На будущий год на выставку.

Хозяин весь сиял довольством. Лицо его было гордо и самоуверенно, голос громок, движения размашисты и быстры.

«Вот с таким Русь не пропадет»,— подумал Петр Терентьич.

— А это что, пятистенок-то рубишь, для себя?

— Сына женю,— сказал крестный.— Ему. На хутор выделю. Сам тоже на хутор лажу. Вольготней. Нас артель, мужиков пяток, молодец к молодцу, непьющие... Хозяйственники. От этой сволоты, от пьяниц, надо дальше, дело будет... Тпрру, леший ты!.. Ну, как там у вас в Питере? Мозгуют? Войны не предвидится? А объясни, друг, что это за червонец за такой? Бумажный? Ха! Да пойдем в избу... Пойдем, убоинкой свежей угощу, боровка заколол...

Крепкий дом его весь обсажен деревьями, кругом чисто, усыпано желтым песком. Рдела рябина. Петр Терентьич, подпрыгнув, отломил ветку и бросил целую горсть спелых ягод в рот.

Они подымались по лестнице, только что вымытой и покрытой домотканой дорожкой.

— Неужто все это будешь ломать, крестный? На хутор-то...

— Буду. Русь ломали, не боялись, раз добро предвидится. А изба — пара пустяков.

— Трудно.

— А руки-то на что! У меня два сына. Слушай-ка, крестничек... А что ты насчет каператива скажешь? Давай-ка хлопнем сообща!.. Ух, делов, делов теперя... Вот, бабы, крестничка привел... А ну-ка живой рукой на стол. Садись, гостенек дорогой... Теперича сказывай подробно, как и что...

III

Медведеобразный Терентий первые три дня по приезде сына впрягся в работу.

Он с утра уходил молотить с Мишкой и Ванькой, на ночь топил ригу. Обедали и ужинали все вместе. Афросинья лежала, ей подавали пищу на сундук. Отцу, видимо, было стыдно, не разговаривал с Петром, только вздыхал и оглаживал рыжую с темным бороду. Молчали и братья.

— Отец,— сказал Петр за ужином.— Вот ты теперь трезвый. Предупреждаю: мать не бей.

Афросинья, должно быть, услыхала, всхлипнула и заохала.

— А что будет? — насупился отец.

— Будет плохо.

Отец засверкал глазами, бросил ложку, гневно сказал:

— Ежели всяка тварь учить начнет, лучше на свете не жить.

Петр смолчал. Сыновья улыбнулись. Петр сказал:

— А на вас-то, молодчики, расправа найдется у меня скорая.

— А что сделаешь нам, Петька? — спросил Михаил вызывающе.

— Мы тя вздрючим... Только полезь!..— подхватил Ванька.

Петр опять смолчал. По лицу пробежала тень. Вилка тряслась в его руке и тыкала мимо картошки.

— Большевик, черт,— пробубнил отец.— Приехал на готовенькое-то, жрать. А туда же, грозит. Сволочь.

Чуть вздрагивая бровями, Петр сказал:

— С ваших хлебов я уйду. Не объем. А кто будет мать мою истязать, тому места за решеткой в городе много приготовлено...

Отец сипло задышал и треснул кулаком в столешницу, но, взглянув в лицо сына, сразу осел: лицо Петра было беше-

но холодное, и стальные глаза, в упор и не мигая глядевшие на Терентия, полыхали мстительной решимостью. Лоб и щеки отца покрылись потом. Братья разинули рты. Петр стал бледен, как мертвец. Зубы его скорготали. Он поднялся, накинул шинель и вышел.

Его била нервная дрожь. Он быстро шагал через огороды к лесу. Всходила луна, опять тявкала собачонка. Пахло самогоном и начавшей подгнивать мертвой листвой. В соседней риге светился огонь и слышался веселый смех детворы, собравшейся печь картошку. Но все это смутно проплывало в сознании Петра, он напряг всю волю к борьбе с охватившим его смятением. Чувство зверя, которое он ощутил в себе, мучило его. Он понял, что его отец враг ему, враг сильный, железный, но его надо сломить.

Петр повернул к реке.

За рекой, как и всегда по вечерам, горел в заветном окне огонь.

— Простите, Любовь Даниловна, я к вам. На минуточку.

Девушка обрадовалась и, отложив шитье, сказала:

— Ах, как это кстати. Мне ужасно что-то тоскливо сегодня. Давайте читать. Присаживайтесь.

— Лучше давайте говорить,— сказал Петр.— Мне тоже скучно.

Сидели и молча глядели друг на друга. В сущности, он пришел сказать ей, не согласится ли она быть его женой. Эта мысль пришла ему внезапно, в то время когда он пробирался сюда сквозь заглохший барский сад.

— Наступает осень,— сказала она задумчиво,— и в деревне так грустно, особенно зимой. Я ведь городская. Революция загнала меня в ваше болото. Впрочем, вы знаете.

— Мне управляющий предложил место кладовщика,— сказал он.— Думаю, что справлюсь. А я вот о чем...

И он замялся.

Она поглядела в его открытое, с небольшими усами, лицо, на крепкие жилистые кисти рук и, ничего не угадав, спросила:

— Ну, как у вас в семье?

Он безнадежно махнул рукой и уставился взглядом в темный угол.

— Я категорически заявил отцу. Не знаю, что выйдет,— сказал он, помолчав.— И понимаете ли, Любовь Даниловна, вот сидишь дома, и как-то все не то, словно среди врагов. Вот, думаешь, вскочат и убьют...

— Ну, с чего это? Что с вами? Вы расстроены?.. Погодите, я вам валерьянки дам.

— Не валерьянки мне надо. Не валерьянки!

— А что же? Вы нездоровы, у вас озноб.

— Да, озноб,— проговорил он, весь передернулся и засопел. Нужное слово не сходило с языка, а надо было сказать очень просто и ясно этой городской девушке. А вдруг откажет, топнет, выгонит...

«Какой красивый,— подумала она.— Неужели на деревенской девке женится?»

И сказала:

— Слушайте, Петр Терентьевич, а вам бы жениться надо.

— А кто за меня, за мужика, пойдет? — проговорил он насмешливо и раздраженно.

Она опустила глаза. Он видел, высокая грудь ее часто дышала под накинутой на плечи шалью.

— Любовь Даниловна...— начал он.

Но дверь отворилась, лохматая голова просунулась в щель:

— Товарищ Антонова, иди, мы собралися!

— Сейчас, сейчас.

Дверь захлопнулась.

— Пойдемте,— сказала Любовь Даниловна Петру,— я нашим комсомольцам историю читаю... Тут, в доме... Их человек двадцать. Наши рабочие. Есть и из крестьян трое. Пойдемте.

— Нет, я в другой раз. Я к домам... Прощайте, Любовь Даниловна. Многое хотелось вам сказать, да все как-то... Эх, черт его знает... Плохо на душе.

Он провожал ее. Луна взобралась высоко. Кусты еще зеленой акации окаймляли площадку перед домом. В середине площадки — куртина увядших цветов, колокол на высоком столбе и мраморная статуя, голубевшая под лунным светом.

На прощанье она умышленно крепко сжала его руку. Он сразу осмелел.

— Ах, хорошая!..— проговорил он тихо и страстно.— Ежели буду жениться, тебя не обойду, стукнусь. Прогонишь?

Она задорно засмеялась, и полные щеки ее вспыхнули.

— Вот как! Ты?.. Да разве можно говорить барышне «ты»?

— Можно, ей-богу можно!

— Товарищ Антонова! — с треском открылось окно.— Иди скорей!

Со скотного двора бежала через площадку босоногая девчонка с ведром.

— Погоди минуточку, Любовь Даниловна! — пропищала она.— Я только вот управляющему молоко снесу.

Петра опахнула тихая радость. Он, улыбаясь, шел сначала по темной, усаженной липами дороге, потом мостом, через реку. Ему хотелось смеяться и громко петь. Черт знает до чего просто. Ну, теперь-то он, конечно, будет говорить с ней напрямик. Улыбаясь и рассуждая сам с собою, он незаметно подошел к своей избе.

...Все-е люди-и-и живу-у-ут,
Ка-ак цветы-ы цветут...

— А, Петрунька!.. Енерал! Дерьмо коровье,— расправляя усы и бороду, пьяно закричал Терентий.— Садись, пей! Тепленькая... Не пьешь?.. Ха!.. Рыло не дозволяет?.. Благородство?! Коммунист, черт... Робенки, пой... Пес с ним. Енерал, кисла шерсть...

А-а моя-а-а глава-а-а
Вввя-а-нит, ка-ак тра-а-ва...

Братья подшибились ладонями и орали за отцом дико, крикливо.

Петр ровным шагом, по-военному, подошел к хмельному столу, взял чайник с самогонкой и выплеснул ее в лохань.

— Стой! Что делаешь?! — загремел отец.

— Спать,— сказал тихо, но хрипло Петр.— Пожалуйста, спать... Матерь больная...

— Самогон отдай! Он твой?! — И братья полезли с кулаками на Петра.— Мы те!..

Петр освирепел, развернулся, и Мишка, торчмя головой, вылетел в сенцы. За ним с воем и Ванька. Мать завизжала:

— Ой, Петеньку убивают!.. Ой...

— Ах, вот как ты, сынок?!

И отец с высоко поднятой скамьей кинулся на сына. В твердой руке Петра блеснул револьвер.

— Прочь! — надсадно, звонко крикнул Петр. Скамья грохнулась на пол, отец выбросил вперед огромные, как бревна, руки.

— Не дури, не дури...— перехваченной ужасом глоткой хрипел он.— Убивать собрался?

— Да, убивать.

14 Заказ 91

— Рука не дрогнет?

— Не дрогнет.

— Ловко... Хорош сынок... Ну, да и у меня гостинец есть...

Он схватил топор, потряс им и, взмахнув, с силой всадил в дрогнувшую стенку.

— Батька! Положь.

Отец рванул топор и загадочно сказал:

— Спи, сынок, да не крепко...

Он засопел, поругался в бороду и полез с топором на полати.

Вошли присмиревшие братья, пошептались у дверей, бросили на пол подстельник и легли. Петр устроился на лавке, загасил огонь и под подушку сунул револьвер.

IV

И потекли день за днем, ночь за ночью, серые, настороженные. Отец ложился спать в самом углу полатей, рядом с собой клал топор. Сын — с револьвером. И ночи они проводили бессонно. При нужде, среди густых потемок, отец осторожно слезал с полатей, в руках его был топор. Петр крякал и кашлял — «не сплю»,— и рука его тянулась под подушку. Отец тоже крякал и шел на улицу. Возвращаясь, высовывал в избу голову, долго озирался, щупая, как филин, тьму. Петр крякал — «не сплю»,— отец карабкался на полати.

Мать бессонно вздыхала, крестилась: «Спаси бог и помилуй Петеньку, кормильца, заступника».

Петр выходил тоже с револьвером, отец крякал — «не сплю»,— чиркал спичку и закуривал. Только братья, безмятежно похрапывая, спали.

Проплывали ночи, и за темными стенами зрело событие — сокрытое от человеческого взора. Но вот пробегавшая в голубой ночи собака вдруг остановилась, посмотрела на черные непонятные стены избы и завыла вещим воем.

Ночи проходили в луне и звездах. На подстывших болотах, меж кочками, холодными зеркалами голубел молодой ледок, но река все еще текла на свободе.

И среди ночи, среди морозной тишины, вдруг промчится с отчаянным криком растерзанная, чуть не в одной рубахе женщина. За ней с колом мужик. Нашумят и скроются...

Очередной деревенский сторож, какая-нибудь солдатка

Парасковья, побрякивая колотушкой в дырявую заслонку, все подмечает, что творится на деревне. И, наверное, завтра у колодца будет говорить:

— Изот опять Настюху хлестал. Вдоль улицы носились. И еще, девоньки, Митрий с Катериной цапались: он ее за косенки, а она его за бороду; он ее кулаком, она его ухватом. А тут свалил, да и зачал сапожищами топтать. Остановилась я, девоньки, постучала. Жаль... На сносях Катерина-то.

Шел день за днем. Вот полетели белые снежинки, гуще, гуще, и на четверть — ослепительный ковер. Все стало чистым, загадочно торжественным и грустным, как на покойнике свежий вечный саван. Не скоро теперь дождется белая земля угревных дней.

Афросинья кой-как бродила. Как нет Петра, отец ругает ее и бьет. Норовит под вздох и в спину, чтоб не было знаков на лице. Афросинья плачет тихомолком, терпит, Петру ни слова. Голова ее еще больше стала трястись, душа скорбит, Афросинья просит у бога смерти.

Петр Терентьевич служит в совхозе кладовщиком. Он завел большой порядок в складе, против закромов прибил таблички, у него на учете каждый фунт. Прессованное сено с лугов отправляется в город. Клевер, по норме, идет датскому скоту — в совхозе тридцать пять племенных коров. Он свой восьмичасовой рабочий день давно похерил, работает по десять — двенадцать часов. И, беседуя с управляющим, старается ему внушить, что восьмичасовой рабочий день для совхоза гибель.

— Надо идти нога в ногу с мужиком, с зари до зари копаться. Иначе хозяйство всегда будет на шее у государства сидеть.

Управляющий Петром Терентьевичем очень дорожил и сделал его заведующим складом. Петр подумал: «Ну, теперь можно»,— и пошел посоветоваться к крестному.

Его сыновья возили по первопутку на хутор сруб. Старик с крупной, краснощекой девицей, будущей снохой своей, пилили байдак.

— Бог помощь! — поздоровался Петр.

— Спасибо,— сказал крестный и улыбнулся.— Нечто возможно тебе бога поминать?.. Грех.

— С маленькой буквы — можно,— заулыбался и Петр.— А я к тебе, крестный, на пару слов.

Вошли в избу. Петр объяснил, в чем дело.

— Зря. Не советую,— сказал старик.— Руби дерево по

себе. Бери попроще. Вот какая у меня сношенька-то, бог с ней... Как груздок в бору.

— Да что ж, крестный, я уж откатнлся от крестьянства... Ведь я перед революцней два года на фабрике работал.

— Смотри,— сказал крестный.— У нее ведь, болтают, было днте.

— Дите? — У Петра дрогнул голос, от плеч по рукам пробежалн мурашки.— Чей же, от кого?

— А уж это ее спроси... Мой совет — плюнь.

Домой возвращался Петр раздавленный, желчный. Дома была одна мать.

— Вот, матушка,— начал он.— Присоветуй.

— А что же, сынок... Дело доброе... Берн, берн, Петенька. Правда, что было у нее днте, в голодный год с управляющнм сошлась,— ну, дак что такое? Жнзнь не спрашнвает. Когда цветку цвестн — цветет; когда ягодке зреть — зреет. Мало лн что бывает. А раз теперича ее сердце все к тебе прнклоняется — бери, благословясь.

Петр свободно передохнул, встал н обнял мать.

— Спаснбо, спаснбо,— растрогался он.— Вот ты какая. Даже удивнтельно.

Подбородок его дрогнул.

— А тебе, поди, тяжело, матушка?

— Нет, ннчего, сынок мнлый, ягодка моя, Петенька... Ннчего...

Она молча н стыдясь заплакала. Потом сказала:

— Вот уйдешь к жене жить, убьют меня.

— Пусть попробуют. Я с батькой перед уходом всерьез поговорю.

Это надвнгавшееся событие в жизнн Петра — женитьба — ничуть не изменило его отношенпй с отцом. Те же настороженные ночн, тот же топор н револьвер.

Петр прнносил паек — продукты, да н урожай был недурен, отец продолжал пнть, н работа не шла ему на ум.

Теперь он перенес свон гулянкн к вдовой солдатке Васнлнсе, толстобокой снльной бабнще. У нее было неплохое хозяйство, которым она управляла вместе с дочкой своей, семнадцатилетней Грунькой. А на Груньку, чернобровую в мать, песеннпцу н работягу, «пялил глаза» Мишка, Терентьев сын. Конечно, матерн это не с руки, нн Ваньку, нн Мншку близко к дому не подпускает баба, а чуть что — со щекн на щеку кормнт Груньку оплеухами,— сама желает гулять с Терентнем, сама метит ему в жены угоднть. И что та окаянная сила, Афроська, не сдыхает!

Все знали на деревне, где гуляет Терентий, знал и Петр, но тайных его дум и тайных мечтаний красиощекой Василисы никто не знал.

Терентий часто приходил домой под турахом, в кураже, и вот как-то, пьяный, взлаял на жену:

— Когда ты подохнешь-то? Когда ты мою головушку-то ослобонишь?

— А тебе, отец, зачем? — поднялся из-за книги Петр.

— Пошел к черту! — топнул Терентий.— Тьфу!.. Дорого не возьму и разговаривать-то с тобой, умником паршивым...

Он поискал топор и полез на полати спать.

Братья, как казалось Петру, остепенились, присмирели, но втайне они злились на мать и на любимчика матери — Петра. Однако Петр, когда не было отца, читал им по вечерам книги, беседовал с ними, иногда водил Ваньку на собрания комсомольцев, которых он обучал политграмоте. Братья хитрили, подчинялись Петру, надеясь в душе, что Петр идет в гору и что им в конце концов с коммунистом-братом будет неплохо.

Однажды Ванька сказал отцу:

— Я в комсомольцы запишусь. Петруха наш полуграмоте обучает там.

— Что?.. Против бога?! Полуграмоте?! — цыкнул на него отец.

— Ишь ты! — закричал и Ванька.— Тебе только самогон у вдовухи жрать... А я запишусь...

Отец схватил его за шиворот и бросил носом в угол.

— Ванька, беги! — закричала, заголосила мать.— Убьет...— И побежала на улицу.

— Дьявол!..— весь дрожа, ощетинился Ванька.— Знаю, пошто мамыньку-то хочешь извести: на Василиске жениться ладишь... А я запишусь!

Терентий схватил кнут. Ванька сигнул в сенцы с плачущим злобным криком:

— А я запишусь!..

Терентий успокоился, пошел к вдове. Был вечер. Подмораживало, и снег хрустел. Ванька разыскал Михаила и сговорился с ним бить отца.

— И Василису вздуем, леший те дери,— сказал широкоплечий Михаил.— Тогда Груняху я закоровожу обязательно.

— Грунька все об Петре об нашем... На посиделках только и слов, что о Петре.

Мишка запыхтел и сказал:

— Петруха управляющего милашку короводит... Слышь, Ванька, а не позвать ли на подсобу еще кого-нибудь?

— Сладим...

— Надо обождать... Пусть нарежется поздоровше...

Мать вернулась домой. А возле освещенного окна, заглядывая в окно, там, в совхозе, взад-вперед битый час ходила высокая девушка. Янтарные бусы желтели на ее синей душегрейке, красный шарф был повязан с фасоном, концы его лежали вдоль спины; и между ними грузно падала тугая темная коса.

И там — через занавеску и кусты герани — хмурый Петр. Любовь Даниловна ходит по комнате быстро, говорит. Вот она круто на ходу обернулась, сдвинула брови и развела руками, как актерка, а Петр встал из-за стола, простился и ушел.

— Петр Терентьевич! — грудным певучим голосом окликнула его девушка.— Можно мне рядком? А вы, поди, не можете меня признать. Я — Аграфена. Василисина дочка.

— Груня?.. Вот как выросла!.. Прямо невеста.— В его словах слышалось изумление и какая-то горечь.

— Что ж это вы, Петр Терентьич, к нам на девичьи игры-то не заглянете? Ай загордились шибко?

Груня шла, покачивая на ходу круглыми плечами, и ее коса ходила по спине, как маятник. Петр что-то промямлил, глядя в ноги.

Вызвездило. И дорога через реку была вся в звездах. На том берегу белела в вековой дреме церковь. Хвостатые дымки плыли к небу из почерневших изб.

— Нехорошо, Петр Терентьич, чужих любушек отбивать. Ай, нехорошо!

И она звонко рассмеялась.

— Каких любушек?

— Ха-ха!.. Будто не знаете. Притворщики такие. А откуда идете-то? А я белье носила управляющему...

— Что ж, подсматривала?

— Очень надо. Я бегу, а вы выходите.

— Ну да! Я к Любовь Даниловне по делу заходил.

— Вот она любушка-то управляющего и есть.

— Брось! — крикнул Петр.— Что тебе надо от меня?

— А нет ли книжечек почитать? Сказывают — есть.

— А ты грамотная?

— На вот те...— обиделась Груня.— Знамо, не такая

грамотная, как твоя, а книжки читать люблю. Дашь?

— Дам... Пойдем.

Они поднялись с реки на берег. В избе, при свете лампы, Петр во все глаза глядел в лицо красивой девушке, и его сердце неверно дрогнуло. Груня почувствовала это. Она опустилась рядом с ним на колени, заглянула в сундук с книгами и жарко дышала ему в щеку.

— Какую же тебе книжку? — взволнованно спросил он.

— Про любовь,— шепнула девушка.— Где целуются...

Она запрокинула голову и закрыла глаза, улыбчиво поблескивая белыми ровными зубами. Рука Петра самовольно потянулась и обняла девичью талию.

С грохотом, с ярой руганью вломился в избу Мишка. Все лицо его разбито в кровь.

— А-а, эвон как!.. В обнимку!! — изумленно попятился он и выбежал в сенцы, с треском захлопнув дверь.

— Петр Терентьич, проводи,— сказала Груня.— Боюсь я.

— Кого?

— Мишки,— сказала она тихо.— Нешто не знаешь, он ладит меня замуж взять.

— Парень ладный... Чего ж ты?

— Подь ты и с Мишкой-то! — она грустно улыбнулась, защурилась, закрыла лицо руками.— Э-эх!..— и затрясла головой, бусы звякнули.

— Вот книжка. Очень занятная,— сказал Петр.— Только без любви.

Она взяла книжку, вздохнула:

— Ну, прощай... Так не хочешь проводить? — и пошла к двери, коса ее опять закачалась, как маятник.

Петр послушно направился за ней. Навстречу попался Терентий. Он выписывал по дороге вавилоны, пел песню и кричал, грозя кому-то кулаком:

— А-а, отца бить? Родителя!.. Я тебе еще не так посчитаю зубы-то...

Петр и Груня свернули в переулок. Мишка с Ванькой замывали снегом разбитые носы и не смели идти в избу.

Петр сказал:

— Прощай, Груня. А то боюсь, как бы он матерь не тово... Отец-то.

Девушка быстро оглянулась — пусто, лишь она да звездный сумрак,— швырнула книжку в снег и неожиданно поцеловала Петра в губы.

— Оставь! К чему это?..— отшатнулся он.— Ведь ты знаешь, что я...

— Брось городскую! — обняла его за шею девушка.— Петя... Брось.

V

Был воскресный день. Солнце светило сквозь морозную пыль, отчего меж голубоватых теней и на ребристых увалах снег мутно алел.

Комсомольцы до обеда бегали на лыжах, катались с крутого берега на салазках и коньках, после же обеда они занялись учебой.

В окно обширной комнаты холодного барского дома глядели сумерки. Железная самодельная печь стояла враскорячку посреди комнаты и дымила. За широким крашеным столом сидело человек пятнадцать молодежи. Разговаривали, грызя семечки, курили, смеялись. Краснощекая скотница, дежурившая сегодня по наряду, убирала со стола остатки хлеба и недопитое молоко. Рядом — маленькая каморка. Там живет председатель коллектива, белокурый, болезненный на вид юноша Галкин, с умными серыми глазами. Он вчитывается в только что полученную бумагу из уездного отдела. На его жесткой — ящик и доски — кровати трое маленьких парнишек тренькают на балалайках.

— Петрунька,— говорит председатель.— Сбегай за Любовь Даниловной. Ждем.

Парнишка бросает балалайку. Но в дверь кричат:

— Товарищ Антонова пришла!

В зале дали свет, выплыли со стен плакаты: «Комсомольцы штурмуют небо», «Все под красное знамя союза», «Наука и религия несовместимы» — и председатель постучал по столу:

— Объявляю собрание открытым...

Шум смолк. И только в двух местах по-детски:

— Немножко внимания!

— Прекратите ваше дыхание!

Но вторичный стук по столу, и Любовь Даниловна, улыбнувшись, начала беседу.

— В прошлый раз я рассказала вам про нашествие татар, про татарское иго. Колькó! — обращается она к маленькому парнишке-пастуху.— Как ты думаешь, если б Русь не оказала сопротивления татарам, что бы они сделали с Западной Европой?

Парнишка кривобоко ежится, поблескивает из-под огромной тятькиной шапки черными глазенками, пищит:

— Звестно, побили бы... Где, к свиньям, Европе устоять.

Поднялись оживленные перекрестные разговоры, Любовь Даниловну забросали вопросами. Время быстро летело, ее час кончился, а Петра Терентьича все нет.

Петр Терентьич запоздал — он никогда не опаздывает,— что же с ним случилось? Петр Терентьич торопливо, чуть не рысью, приближался к дому, вот заскрипела дверь крыльца, четкие шаги, и он вошел.

— Урра!.. Петр Терентьич!.. Петр Терентьич!..— Все выскочили из-за стола и окружили его.

— Тсс... На места, ребятки, на места. Пожалуйста, тихо... Оваций я не люблю. К делу!

Он говорил глухо и подавленно, очень крепко сжал руку Любовь Даниловны: рука его горяча, глаза лихорадочны и возбуждены.

— Вы больны? — спросила она вполголоса.

— Да, в этом роде...

— Я пойду поставлю самовар.

И не успел самовар вскипеть, как под окном флигеля с шумом и резвым гвалтом пробежала молодежь, а в ее комнату вошел Петр Терентьич.

— Меня всего трясет,— сказал он и опустился на диван. Мужественное лицо его было бледно и подергивалось.— Опять дома неприятность у меня. Отец пытался мать бить... Я вступился. Отец выпивши... Эх ты, черт! И контузия эта сказывается... Изнервничался я. Чуть что, хочется плакать... Нет, так жить нельзя...

Он вынул платок и громко высморкался.

Любовь Даниловну тоже забила дрожь.

— Любаша... Уж ты прости... В таком вот... при таких вот нервах я уж тебя на «ты», по-мужичьи, попросту.

Придвигая ему стакан крепкого чая и кусок жирного пирога с морковью, Любовь Даниловна взволнованно сказала:

— Сам виноват, Петр.

— Сам? Ну да, конечно: чужую беду руками, как говорится, разведу. Эх, ничего не знаешь ты, Любовь Даниловна...

— А если знаю?

— Что ты знаешь?

— Про отца да Василису? Знаю. Про Груню? И про Груню знаю.

— Что? — он положил обе ладони концами пальцев на стол и откинулся на спинку дивана. Загадочно хитрая улыбка на лице девушки стала быстро таять, лицо вытянулось и окаменело.

— Знаю, что ты хочешь жениться на ней.

— Я? На ней? — он навалился грудью на край стола и опять откинулся.— Откуда вы взяли это?

— Слушок такой, разговоры...— мертвыми губами прошептала девушка.— А потом, помните, там, в проулочке?.. Помните, вечером? Еще Груня книжку-то вашу в снег бросила...

— Что? Что?

— А потом... вы целовались.

— Кто вам наврал?

Он поднялся.

— Мои глаза,— спокойно сказала девушка.

Петр стоял, словно исполосованный плетьми. Часы пробили восемь. Он отхлебнул чаю и зашагал взад-вперед по комнате. Волосы на его голове топорщились. Он засунул руки в рукава и вздрогнул. Потом остановился и в упор посмотрел ей в лицо. Ее глаза расширялись и суживались.

— Да,— сказал он хрипло.— Вот в чем дело, Любовь Даниловна... я...

— Глупо! — перебила она и отвернулась.— Глупо так решать судьбу. Ведь я знаю: вы хотите жениться на Груне и переехать к ней, чтоб разлучить отца с Василисой. Но разве это выход из положения?

Она вдруг поднялась, положила ему на плечи ладони, оттолкнула, приблизила к себе.

— Сядь, слушай. Помнишь, говорил: буду жену искать, тебя не обойду? А что вышло? Петр Терентьич? А? — волнуясь, говорила она укоризненно.

Наступило длительно-короткое молчание, он опустил голову и полузакрыл глаза.

— Да ведь я не смел... Ведь я же вижу разницу, так сказать...

— Что? Какую разницу? Слушай! — она облизнула пересохшие губы.— Мой план таков. Ты знаешь, что заведующий соседним совхозом проворовался и его накрыли? Ты знаешь, что в городе на его место выдвинута твоя кандидатура?

— Ну?! Ей-богу?! — вырвалось из нутра, и белая комната вдруг порозовела.

— Я только что получила из города письмо. Вот оно.

Итак, мы женимся с тобой, поедем туда, на новую службу. Я два лета слушала агрономические курсы. И думаю, что вдвоем мы справимся.

Стул под Петром закачался, самовар надул толстые медные щеки и весело запел. Петр схватил руки девушки и молча стал целовать их.

— А мать? Как же мать-то?

— Мать, ясное дело, возьмем с собой. Михаила женим на Груне. Я уже говорила с ней.

Петр дышал, как паровик, глаза его наполнялись радостью, но меж бровей, над переносицей, глубокая складка не распрямлялась.

— А вот...— начал он и поперхнулся.

— Что? Ну, ну!

— Дело в том... Ведь ты же... Вот наш управляющий, так сказать... Вдруг он не пожелает тебя отпустить. Очень извиняюсь, так сказать. Но я краем уха слышал, будто бы... ты... ты... будто бы вы с ним...

Все поплыло куда-то вкось, вправо, самовар присел и смолк.

— Вздор! Вздор! — губы девушки оскорбленно скривились.— Вздор! Знаю, про что...

Но этот истерический крик прозвучал в душе Петра, как песня соловья весной: душа вдруг стала свободной, радостной.

— Я знаю, кто пускает эти слухи. Сожительница управляющего. Она зверски ревнива. Она ходит за ним по пятам. И при таких условиях... как я могла?.. Нет, это... это... И как ты мог поверить?.. Ты?! — Она передохнула и схватилась за виски.— Эта мегера распустила слух и про ребенка... Будто бы я... Ах, мерзость какая!.. А сама живет с механиком мельницы... Вот и путает других. Я действительно ездила в город, лежала в больнице. У меня даже свидетельство есть. Операцию делали, аппендицит... Ты знаешь, что такое аппендицит?

Но Петр ничего не знал, ничего не слышал. Все колыхалось в нем и пело. Он опять шагал по комнате и бормотал сам с собой:

— Удивительно. Удивительно. Все ясно теперь, все хорошо. Вот и не верь после этого в судьбу... Любовь Даниловна! Голубка!.. Да ведь ты сокровище для меня...

Большой, широкоплечий, он повалился перед ней на колени, схватил ее белые руки и тряс их с каким-то ожесточением.

И вдруг там, за окном, в морозе:

— Петр!.. Петр!.. Петр!..— ближе, громче, надсадней.— Петр!

Он вскочил и в чем был выбежал на крики.

— Отец мамку ищет... Скорей!

И вот оба с братом Ванькой мчатся по реке домой.

— Батька пьяный... Мамынькин сундук изрубил,— еле переводя дух, хрипит на бегу Ванька.— А мамынька к дяде Макару убежала. Ой, убьет...

Перед глазами Петра черный огонь, и нет под ногами земли, обрубленный мраком полумесяц пляшет в небе, то взметаясь вверх, то падая до горизонта.

Страшный Терентий нашел жену на чердаке, у ее брата Макара, под вениками.

— А-а-а!..— заревел он зверем.

Пьяный Макар сгреб мужика за горло, но Терентий с силой отшвырнул его. Афросинья катом скатилась с лестницы и без памяти бросилась в избу,— за ней — прибежавшие Ванька и Петр.

Терентий, пошатываясь, показался в дверях и, ничего не видя, кроме мелькнувшей за перегородку Афросиньи, загромыхал мертвым шагом к ней.

— Батька!..

Терентий боднул страшной головой и, как зверь на рогатину, полез грудью на Петра. Ванька с криком вцепился в батькин шиворот:

— Вяжите его, вяжите!

Хозяйка Степанида сгребла ухват.

И все завертелось, загрохотало по избе. Терентий то падал, то вскакивал. Степанида била его по голове, по спине ухватом, дико визжа. Посыпались горшки, кувыркнулся самовар, изба тряслась. Терентий выхватил из-под лавки топор:

— Прочь!.. Башку снесу!.. Могила!..

И все волной метнулись от него.

— Брось топор!..— хлестко крикнул Петр, нырнул рукой в карман за револьвером — пусто — и сорвал со стены ружье.— Брось топор!

— Я те башку...

Раскатился выстрел. Изба подпрыгнула, упала, без чувств упал Петр, и со смертельным хрипом грохнулся Терентий.

Через мороз и лунный свет заполошно бежала, падая и вскакивая, Любовь Даниловна.

VI

Когда Терентия привезли в больницу, фельдшера не было — фельдшер где-то гулял на свадьбе. Терентий, не переставая, стонал, временами впадая в забытье. Заряд дроби скользнул по ребрам возле пазухи и вырвал мускул руки. Сиделка кое-как уняла кровь. К утру руку разнесло.

Афросинья всю ночь тряслась и плакала. У нее ночевала Любовь Даниловна. Они нашли под подушкой Петра револьвер и спрятали в сундук.

Ванька, в волнении, до вторых петухов ходил по избе, бледный, потрясенный. Перед утром ему страшно захотелось есть: вынул из печи еще теплый горшок каши и съел. Потом ушел в больницу. Михаил в эту ночь тоже гулял в соседнем селе. Вернулся пьяный, с разбитой мордой и поломанной гармошкой.

Узнав о несчастье, он удивленно произнес:

— Ну, неужто?!

Потом как-то беспредметно и вяло выругался в пустоту и лег спать.

Арестованный Петр провел за решеткой в клоповнике бессонную ночь. Ему казалось, что ум его мутится, все события спутались, перемешались. Только что прогрохотавший выстрел мерещился ему взрывом бомбы в тот роковой, на фронте, день. И лишь постепенно, в глухой ночи, все стало на свои места, голова дала отчет во всех делах, и душу его охватили непереносимые мучения.

Управляющий совхозом рано поутру выехал в город хлопотать о судьбе своего служащего, Петра Терентьича.

С утра дул ветер. С утра вся деревня только и говорила о случившемся. Сыновья подняли головы, отцы присмирели, и матери молчаливо радовались, почуяв новую нерушимую защиту.

Терентия никто из женщин не жалел:

— Так ему, разбойнику, и надо!

Старуха, бабка Анна, говорила, как пророчица:

— Суд божий... Суд праведный... Спаси Христос...

Пьяницы ругались:

— На отца руку мог поднять... Да в каторгу его, злодея... К стенке!

Но в душе чувствовали, что их кулакам пришел конец.

Ветер окреп, ветер взвихривал кучи седого снега. Небо было сердитое, вызывающее, и черные стены изб под взмахами вьюги — как в дыму. Бежавшая против ветра собачонка воротила морду в сторону, щурилась, у Терентьевой

избы она присела, тявкнула и побежала дальше. Ставни каталажки скрежетали противным скрипом. Петра пробирала дрожь, и, когда одноглазый сторож Кила затопил печь, железные решетки покрылись холодным потом. В каталажке было мрачно, одиноко, как в душе Петра.

Приходили мать, братья, приносили еду, табак; пришла Любовь Даниловна. Они остались вдвоем. За окном крутила вьюга, сквозь сумрак золотились в печке угли, дрова сгорели все дотла, и Петру показалось, что вот так же сразу вспыхнула и сгорела вся его жизнь.

Петр протянул руку Любови Даниловне и заплакал.

— Что за нервы у тебя, Петр. Ты же мужчина,— сказала она, стараясь придать бодрость своему лицу и голосу.

— Жив? — спросил Петр.

— Жив. Но руку придется отнять, пожалуй. Фельдшер уехал на станцию за доктором. Операция будет трудная, пожалуй, умрет.

— Хотелось бы попросить у него прощения,— глухо сказал он, глядя в землю.— Мне тяжело,— он закусил губы; она заметила, как подбородок его дрожит.

— Петя, успокойся,— сказала она,— тебя возьмут на поруки, управляющий в город уехал, он имеет там вес. А тебя оправдают, наверно. Наши комсомольцы за тебя горой... Шумят.

Прикушенные губы Петра вдруг вырвались и заскакали.

— Ну? Шумят? — переспросил он улыбаясь.

А молодежь действительно шумела. Председатель Галкин собрал весь коллектив на экстренное заседание. Лица были возбуждены. Молодежь взъерошилась и готова была идти добивать Терентия. Даже сгоряча решили послать депутацию в каталажку с выражением соболезнования Петру, но передумали.

У пастушонка лицо все в саже — по зимам он качает в кузнице мехи, глаза блестят. И сквозь галдеж прорывается его пискливый, как у цыпленка, голос:

— Разгромить каталажку! Разгромить каталажку!

— И то верно...

— Галкин! Становись на баллотировку... Айда освобождать Петра Терентьича.

Шум, ругань, крики. Галкин постучал по столу:

— Товарищи! Это непорядок. Кто сейчас обматерился?

— Васюков...

— Врешь! — запротестовал рябой, широкоскулый Васюков.

— Товарищ Васюков! — застучал Галкин, сердито боднув белокурой головой.— Стыдно!

— Я... только...

— Прошу не возражать... Товарищи! Я предлагаю по поводу случившегося несчастья устроить митинг с участием крестьян и всех вообще желающих.

— Правильно, Галкин! Митинг!

— Потому что это дело, товарищи, из рук вон выходящее, ударное, так сказать. Бытовое. Идем дальше. Наши отцы очень уж распоясались, бьют наших матерей. Такого позора не должно существовать. И если отцы не понимают, им укажут на это дети. Ведь дети, товарищи, всегда умнее бывают своих отцов, потому что культура идет вперед, как прогресс, что всеми доказано, иначе она шла бы назад. Этим я не хочу сказать, товарищи, что берите ружья и стреляйте своих отцов. Ни в коем случае. Мы должны действовать морально. Итак, я предлагаю митинг в будущее воскресенье, после обеда. Кто против? Принято единогласно.

Кто-то крикнул:

— Не пойдут мужики.

Молодежь обменялась мнениями. Да, действительно созвать будет трудно, крестьяне митингов не любят.

— Товарищи! А я знаю как,— высунулся вперед с широким веселым лицом курносый молодец и заулыбался.— Давайте, товарищи, удочку закинем и будем мужиков ловить, как щук. Например, допустим, так...

Он был в большущих валенках и в желтом овчинном полушубке. Он на каждой фразе взмахивал кулаком и приседал, голос его простуженный, сиплый и медлительный.

— Например, так. У нас в комитете есть табак для выдачи, махра. Так. Взять да пожертвовать полтора фунта махры. Черт с ней! Вот, мол, ребята, по окончании митинга будет лотерея, можете выиграть лучший табачец. Тогда придут. На дармовщинку польстятся.

— А бабам? — пропищал пастух.

— Бабам? — переспросил курносый парень и встряхнул кудрявой головой.— Для баб у нас, правда что, нет ни хрена... Бабы табак не пьют. Вот ежели молодые которые...— подмигнул он девушкам.

— Павел, без выражений, пожалуйста,— прервал его председатель.— Кончил?

— Хы! Не велишь говорить, так, знамо, кончил.

Девушки засмеялись, одна, с вишневыми глазами, шутливо ударила парня меж лопаток.

Заседание оборвалось само собой, потому что на мельнице испортился мотор и электричество погасло.

— Качать товарища Галкина! — Молодежь рада повозиться в темноте, председатель взлетел на воздух, а в углу — под плакатом «Комсомольцы штурмуют небо» — продребезжал чей-то писк и таящийся смешок: это, должно быть, кудряш неловко облапил девушку с вишневыми глазами.

Ветер стихал, в небе плыли остатки туч, мелькали звезды, и временами прорывался недолгий свет луны. Маленький пастушонок, аршин с шапкой, шагал враскорячку, дымил трубкой и говорил кудряшу:

— Мой батька тоже мамку полощет. Третьеводнись я ему затрещину в загривок дал. Он мамку бросил, да на меня, я убег, и мамка убегла. Ох, и зверь! Ему пропагандуй, не пропагандуй — хоть бы что.

В селе, куда они вошли, стояла тишина.

— А у попа огонь,— сказал пастушонок.

— Лампадка,— просипел кудряш.— Масло казеиное горит, чего ему.

— Давай пустим палкой.

VII

На третий день к обеду вернулся управляющий, и приехал доктор.

Петра освободили на поруки. Он зашел к матери, к Любови Даниловне, и втроем отправились за версту в больницу.

Туда же собирался и священник, приобщать умирающего Терентия.

В палате помещалось четверо: два старика, роженица с ребенком и Терентий. Пахло карболкой, стариками, плесенью и женским молоком.

Койка Терентия стояла возле окна, он лежал головой в угол, и лицо его было в тени; щеки, виски, глаза глубоко запали, большая, рыжая с темным, борода загнулась к плечу.

Все трое подошли к нему молча и молча остановились. Петр взглянул на огромную, как обгорелое бревно, голую, обезображенную руку отца, и в глазах его заметался ужас: Петр весь побледнел, качнулся, его подхватила Любовь Даниловна, он опустился на колени и через силу сказал дрожащим голосом:

— Отец... прости меня.

У Терентия забулькало в груди, воспаленные, измучен-

ные глаза его с ненавистью остановились на сыне, брови сдвинулись к переносице, и здоровая рука стала шарить возле бока, ища топор.

— Мне тяжко... Прости, отец.

Усы и брови Терентия зашевелились:

— Будь проклят... Не прощу.

Мать с воем повалилась на вытянутые ноги Терентия.

— Терентьюшка, батюшка... Кормилец... Прости ты его, прости...

— Проклинаю.

В палату вошли маленький, седой священник и тучный, краснолицый фельдшер, весь проспиртованный, в белом, залитом йодом или кровью балахоне.

— Ну, уходи, баба, уходи,— подхватил фельдшер Афросинью под пазухи.— Что ты вопишь, как на погосте! Сейчас господин доктор в палату идут. Посторонних прошу уйти. Ах, Любовь Даниловна! Представьте, не узнал. Хи-хи-хи! Богато жить... А-а, Петр Терентьич!.. Какими судьбами? Ах, на поруки. Вот как... Печальный случай, печальный случай. Гангренус, по-ученому. Да-да... Батюшка, сделайте милость, приступите к отправлению религиозного культа. Ну-с, пожалуйте, граждане, в приемную.

Пришел доктор. Спустя полчаса через приемную протащили в большой металлической лохани мертвую, чугунного цвета, руку со скрюченными пальцами. Афросинья вскрикнула и упала в обморок. Петр сидел спокойно, с замкнутой на ключ душой: какое-то равнодушное отношение ко всему отуманило уставший его мозг.

Вскоре появился доктор в золотых очках и с рыжей бородкой. Сиделка на ходу снимала с него операционный халат Любовь Даниловна обратилась к доктору с вопросом.

— Сказать трудно,— ответил он, пожимая плечами.— Кто же знает. Скверно, что во время ранения пациент был пьян. Ну и...— он оглянулся назад.— Конечно, на роковом исходе может отразиться и отсутствие фельдшера в нужный момент. Не знаю, не знаю... Может быть, и выживет... Но скорей всего — умрет.

VIII

Ванька с Михаилом мастерили сосновый гроб и переругивались: ни тому, ни другому не хотелось навестить умирающего отца, хотя бы для того, чтоб снять мерку.

— Я знаю,— сказал Михаил,— когда отец в шапке — в аккурат под матицу.

Ванька поставил иа пол доску и сказал:

— Окоротали... Не хватит вершков двух.

— Ни хреиа,— ответил Михаил,— в случае чего ноги можио покойиику малеиько расшарашить.

— А как же, Мишка, без руки-то отец в могилу ляжет? Говорят, руку-то его в печке сожгли,— спросил Ваиька, долбя долотом проушину.— Как же иа Страшиом суде без руки из гроба-то батька вылезет?

— А я почем зиаю,— окрысился Михаил.— Ты комсомолец. Ты должеи зиать. А иет, у попа спроси.

— Поп задаром ие скажет,— болтал языком Ваиька,— пожалуй, заставит сиег чистить у ворот. Ну, а как же Груияха-то твоя. Тю-тю! — И Ваиька подмигиул.

— Груияху теперича, бог даст, тятя умрет, я закоровожу. Петр наш ей отпор дал. Петра Любовь Даииловиа коровордит. Ежели в острог ие упекарчат его — жеиятся.

Цепкая мужиковая жизиь восемь дней боролась в Тереитии со смертью. И вот Терентий стал поправляться.

Из домашиих ежедневио иавещала его лишь одиа жеиа. Когда оиа появлялась в палате, ои сердито отворачивал лицо к стене и не говорил с иеи ии слова. Афросинья повздыхает, поклоиится в пояс и ии с чем уйдет.

Ни сыиовьями, ни хозяйством, видимо, Тереитий ие интересовался; было похоже иа то, что ои ие прочь и умереть.

Одиако недели через две он ожег хиыкавшую Афросииью взглядом и впервые сказал:

— Пусть придет Петька.

Афросииья сразу залилась радостиыми слезами и чуть ие рысью побежала домой, а оттуда в совхоз, где опять служил Петр.

— Сыиушка, иди, свет, скорей. Отец видеть пожелал. Господи, хоть бы проклятье-то ои снял с тебя...

Петр бросил все дела, накииул шииель и быстро зашагал в больиицу. Что говорить с отцом, как вести себя и что выйдет из этого свиданья, Петр ие зиал и не мог сосредоточить мысли иа иужиом, главном. В голове и врасплох застигиутом сердце — неразбериха, туман. В большом смущеиии он вошел в палату:

— Здравствуй, отец...

Терентий опять иасупил брови, опять зашарил возле бока, как бы ища топор, потом заскрипел зубами и, подияв руку, густо сказал:

— У меня осталась правая рука. И вот говорю тебе: и тебя убью, и матку твою убью... Убирайся к...

— Больше ничего?

— Уходи, сволочь!

Обратно Петр плелся нога за ногу, и дорога показалась ему в сто верст.

IX

Терентию нужно было лежать еще с месяц. Петр долго ломал голову, как быть. Видимо, урок прошел для отца даром, и разруха в семье не изжита.

Но вот помаленьку — одно к одному — все пришло в порядок.

Началось с того, что в сердце вдовухи Василисы, а затем и в ее дом вселился вдовый церковный сторож Захар Кузьмич. Он крепок на вид,— борода с проседью,— в свободное время лудит самовары, чинит сковороды, шьет сапоги, вообще прирабатывает. Он большой знаток Библии и Священного писания, очень благочестив и при всем том — пьяница, отчего правый глаз его полузакрыт, а нос сизый.

Груня, конечно, ругалась с матерью, мать кормила ее оплеухами и пинками, Захар Кузьмич — поучениями от писания. Груня плакала: и дома горе, и Петр Терентьич оттолкнул ее. Любовь Даниловна напрямки сказала, что у них с Петром решено вступить в гражданский брак, а ей, Груне, вся стать выйти замуж за Михаила — парень хоть куда, хозяйственный, красивый, крепкий.

Подумала Груня и сказала как-то Михаилу, махнув рукой:

— Ну, коли на то пошло — бери.

Ходили к Терентию благословляться.

— Что же ты, Мишка, отца подождать не мог? Али нынче не в почете калеки-то? — щуря большие глаза, сказал отец.

К тому времени Захар Кузьмич очень хорошо напрактиковался самогонку гнать — и Груняшина свадьба была в большом хмелю. Даже Терентию отнесли, но фельдшер конфисковал:

— Рецидиву хотите получить в болезни?! — глотая слюни, заорал он.

Груня стала хозяйкой в доме Терентия, Афросинья не нахвалится, и Михаил в шутку щиплет себя за нос:

— Сон ли, нет ли?.. Груняха, а?..

А за неделю до выхода Терентия из больницы Петр,

по хлопотам управляющего, получил новое назначение — заведовать совхозом «Смычка», за двенадцать верст от родного села. Конечно, перебрались туда все трое: он с матерью и Любовь Даниловна. Их отвез на паре сытых коней с бубенцами крестный Петра. Он тоже успел оженить своего сына и с весны перебирается на хутор.

Он сыт, румян, большеборöд. Потряхивая вожжами и почмокивая, он приглядывается к крестнику и говорит:

— А ты чего-то, Петрунька, скис и телом повытек? Это, парень, ни к чему. Ты про то не думай. Твой заряд на всю волость прогремел. Которые из мужиков попризадумались. И выходит, твой грех — как перед богом свечка. Во!

Терентий совершенно выздоровел. Он давно отвалился от сердца Афросиньи, как болячка; Афросинья больше не навещает его, и в лечебницу за отцом отправился Михаил. Когда он заткнул отцу пустой рукав за опояску и сказал: «Ну, тятя, пойдем домой...» — Терентий засопел, вздохнул, рот и все лицо его вдруг скривились, но тотчас же выпрямились и застыли вновь.

Дома ничто его не интересовало, он лег на сундук и молча пролежал три дня. На четвертый — пошел к Василисе. Захар Кузьмич хотел чествовать гостя самогонкой, но Терентий мрачно сказал:

— Нет... Будет... Попито.

— Что ж ты станешь делать, сердешный, об одной-то руке? — сочувственно покачав головой и почмокав, спросила его Василиса.

Терентий лениво поднял свой взгляд и заметил в красных глазах Василисы тоску и какие-то поблекшие огоньки счастливых прошлых дней.

— Не знаю... Не знаю...— растерянно сказал он и, скосив глаза на пустой рукав, вздохнул:— Урод кому нужен... А было времечко, целовали в темечко.

В его глухом унылом голосе звучало отчаяние. И весь вид крепкого мужика был уныл и скорбен.

У бабы защемило сердце, она отвернулась к стене и часто замигала. Захар Кузьмич, согнувшись возле печки, постукивал молотком по чайнику, и его бородатые щеки подергивались от торжествующей улыбки.

Василисе не о чем было говорить, Терентию же ни о чем говорить не хотелось. Сидели молча, только ревниво молоток стучал.

Гость шумно вздохнул, поднялся, сказал: «Прощайте»,—

и, медленно переступая — будто гири за собой вез,— пошел к двери. Но дверь, как крышка гроба: за дверью мрак, погост. В глазах Терентия зарябило, из пустого рукава вдруг высунулась рука с хмельным стакашком и исчезла. Он вздрогнул, обернулся, последний раз окинул избу долгим взглядом и трогательно, последний раз, проговорил:

— Ну, прощай, Василисушка. Прости, ради Христа.

— Проща-ай! — всхлипнула Василиса.

И дверь захлопнулась за ним, как гроб.

А Захар Кузьмич сердито бросил чайник и рванул из-за ушей очки.

Михайло с женой и Ванькой понимали, что у отца не ладно на душе. Были с ним обходительны, ласковы.

— Тятенька, ешь, чего ж ты... Груня, положи отцу еще.

Но Терентий отодвигал от себя миску и, уставившись в морозное окно, долго смотрел в немую даль.

По ночам он видел странные путаные сны, и чей-то голос звал его: «Пойдем». Проснется — тихо, лишь похрапывает молодежь, да вьюга чешет крышу.

Однажды пришла Афросинья. Терентий как в рот воды: молча лежал на сундуке или задумчиво, с опущенной головой, шагал от стены к стене.

— Ты не представляйся, Терентий!.. Глухой, что ли, ты... Али онемел,— приставала Афросинья.— Говорят, скоро судить вас будут с Петром. Неужели не простишь? Ты старик, а ему жить надо. Побойся бога-то.

Терентий вдруг осатанел. Он со всей силой задубасил кулаком в простенок между окнами, злобно рыча и ворочая глазами.

— Не прощу!.. Убивец! Анафема!.. Будь он проклят.

Приходил и комсомолец Галкин.

— Вот, дядя Терентий, вам повестка... Я в волости был. Через неделю будет суд. Мой совет — помириться с Петром Терентьичем. Ежели помиритесь, дело будет ликвидировано. Я говорил кое с кем.

— Иди, откуда пришел,— мотнул головой Терентий.— Всяк сопляк учить лезет. Тьфу!

Суд был в волости. Со всех деревень, побросав дела, спешил народ.

Приехавшие из города председатель и члены суда обратились к священнику:

— Батюшка, может быть, вы уступите церковь? Видите, сколько желающих послушать собралось. Разбор дела, надо ожидать, будет поучителен.

Седовласый поп снял очки, опять надел, растерянно улыбнулся и сказал:

— Приемлемо. Благодарствую за вежливость. Религии это не противоречит, ежели сидеть будете без шапок, чинно-благородно. И, разумеется, не курить... Уж очень буду настаивать на этом...

Из совхоза шумливой кучей пришли комсомольцы. Кудлатый парень нес плакат: «Долой пьянство и тиранов отцов». Приехали фельдшер, торговец из села Фомина, два мельника, заведующий совхозом, дьякон, доктор и начальник станции.

Баба Степанида, натягивая рыжий полушубок, кричала на Макара, своего хозяина:

— Иди, пьяница!.. Чего на полати-то забился... Иди послушай.

Комсомольцы дружно перетаскивали в церковь из школы скамьи, стулья, парты.

Был воскресный день, церковь небольшая, за обедней надышали «православные», да и печи натоплены жарко. Староста посоветовался с попом и полез зажигать паникадило. Стол для суда у северной стены, народ — у южной, к алтарю плечом. Однако старики шипели:

— Оно будто... и неудобственно... в храме-то...

Макар был выпивши. Он икал, припав виском к холодному камню арки.

— Суд идет!

И все встали.

Батюшка размотал с шеи гарусный шарф, оправил наперсный крест и, шаркая валенками, проследовал в алтарь за мягким креслом. Народ сидел тихо, по-хорошему. Председатель же комсомольцев Галкин тревожно ходил мимо казенки возле паперти, то щурил, то таращил умные серые глаза, ерошил волосы, что-то шептал и вдохновенно взмахивал рукой.

— Речь зубрит,— пропищал пастушонок кудряшу.

Галкин лишь время от времени бросал взгляд в сторону суда и краем уха прислушивался к отчетливо звучащему голосу председателя. У председателя высокий лоб, светлая остренькая бородка, пенсне, длинные волосы. Справа от него — два приезжих члена, простые рабочие с фабрики, лица их вдумчивы, сосредоточены; слева — два местных: лысый

крестьянин Ерофеев и рыжеусый кузнец из совхоза. Сбоку секретарь.

Пострадавший Терентий не явился по болезни. Решили его не тревожить.

Начался допрос свидетелей. Первой допрашивали мать Петра, Афросинью. Галкин присел на кончик скамьи, стал слушать. Но слушать было нечего: Афросинья хлюпала в слезах, сморкалась, бессвязно выкрикивала наболевшие слова и фразы.

Председатель мягким и внятным голосом сказал:

— Успокойтесь, гражданка, говорите... Расскажите всю свою жизнь.

— Ох, батюшка, кормилец, судья хороший!.. Какая ж наша жисть... Вот оглохла, вот головушка трясется... Жисти не было.

Галкин стал шарить взглядом. Петр Терентьич руки засунул в рукава, низко опустил голову.

Любовь Даниловна бодрилась. Она кивнула Галкину и попробовала робко улыбнуться. Румяная Груня крепко уселась возле серого, неуклюжего Михайлы-мужа, успевшего отпустить кое-какую бороденку. Черная коса ее по-девичьи отброшена назад — пусть посудачат люди,— и желтые бусы медлительно колышутся на груди. Она не спускает глаз с Петра, и глаза ее тоскуют. А впереди — сельская знать и седовласый поп; он сокрушенно, как мытарь, воззрился на алтарь и под шумок запустил в нос аппетитную понюшку табаку.

— Верно-верно-верно! Правильно,— скороговоркой, с места подтверждает он показания свидетелей.

Вот вышел свидетель — крестный Петра Терентьича; он не торопясь, с достоинством поклонился председателю и судьям. Председатель протер пенсне и как-то по-особому ласково осмотрел его фигуру. От старика веяло силой мужицких полей и запахом ржаного хлеба. Он весь круто замешен и крепко пропечен — как сбит. Седеющая борода его в крупных кольцах, лоб высок, морщинист, нос широк, над ясными умными глазами темные козырьки бровей, как крылья.

— Какая, братцы, бабья жизнь, к свиньям,— заговорил он густым, словно ржаное сусло, голосом.— Самая собачья жизнь.

— Верно-верно-верно! — поддакнул поп и визгливо чихнул, клюнув в колени носом.

По толпе прокатился дружный бабий вздох, и сотни глаз уставились в широкую спину старика крестьянина.

— В девках с зари до зари работушка,— гудел старик,— выйдет замуж за пьянчугу — смертный бой. А ребят носить — шутка? Сегодня родила, а завтра иди коров обхаживать. От этого самого баба в сорок лет — труха. У мужика харя красная, а бабью личность в кулачок свело. Это надо понимать. Старух мы вырабатываем по глупости своей, вот кого. Взять Афросинью, и взять Терентия. Нешто это факт? Вот и неприятности. А тут винцо. А в башке-то нет ни хрена, а сердце-то кошачье, с перцем. Обожрется винищем, страху над собой никакого нет, кругом погано,— кого бить? Бабу. «Держи рыло огурцом, а то ударю!» Хрясь по уху, хрясь по другому, да за косы, да об пол, и пошло...

— Верно-верно-верно...

Бабы завздыхали, людской пласт шевельнулся, скамейки скрипнули. Председатель резко постучал в стол, народ смолк, словно умер, и паникадило прищурило огни.

— Вы спрашиваете личность Петра Терентьича, что, мол, за человек такой? Человек он, можно сказать, новой жизни. Дай бог нам побольше таких людей, тогда и мы человеками себя восчувствуем. Кто с умом, ежели, тот видит — пришли новые люди, а новых людей мало вовся. Другой и молодой, да старый. А крестник не таков. И напрасно вы, братцы, посадили его на подсудимую скамью. Сначала Терентия надо на скамью, да и других мужиков разбойных, пьяниц, с волости десятка два. Вздрючить их, сукиных детей, прости ты меня, господи, чтоб помнили до морковкина заговенья, чтоб не измывались над бабами, как над собаками.

Народ опять шевельнулся. Кто-то, крепясь, всхлипнул, чья-то рука перекрестилась. А в задних рядах закричала баба Степанида:

— Вот что, ребята! Вы моего мужика, Макарку, поганого, взбутетеньте по суду всем миром, намните ему, живодеру, бока. Вот он сидит. Чего в уголке-то притулился, кобель борзой?!

— Гражданка, вы нарушаете...

— А ежели не дадите ему окорот,— пуще завизжала баба Степанида,— вот те Христос, топором зарублю!.. При всех объявляю. Тьфу, чтоб те холера задавила,— плюнула она Макару в бороду.

— Верно-верно-верно...

Перед ней вырос милицейский... А крестный Петра говорил, как молотом бухал:

— В одном, братцы, виню крестника, что промазал по зверю. В брюхо бы его надо стрелять, подлеца, мучителя.

Народ глухо охнул, мужнки стнснулн зубы н отхаркнулнсь. Петр быстро поднял голову, взглянул на крестного н поник опять.

Галкнн не расслышал, что сказал председатель: председатель, кажется, прнгласнл старнка сесть на место. Старнк пошел, тяжко сопя и дергая кудлатой головой. На ходу, высоко вскииув руку, он на всю церковь резко прогудел:

— Мое слово верное. Не бей жеиу! Жеиа благословляется богом не на бой, а на любовь. Погнбнете, пьяиицы, без любвн. Собачью ярью не прожнть. Весь мир без любвн погнбнет! Знай!

Этн мужнцкне слова в народ, как в рощу внхрь: все сорвалось, вышло нз повнновенья, зашумело, и огонькн паникаднла колыхнулнсь. Мужнкн крякали н кашлялн, бормоча ругательства; бабы голосилн, нстернчески выкрикнвая: «Ой, тошио! Ой, мнлеиькне судьи православиые, заступннчкн...» Две молодухи билнсь головами о стену, плакалн навзрыд, внзжа н громко отсмаркнваясь на пол; баба Степаинда вскочила на скамейку и, перекосив рот, со всего маху бросила в голову Макара одиу за другой свои собачьн рукавнцы. Порченая Митрофаииха, с искаженным, страшным лнцом, корчилась в судорогах, рвала на себе волосы, лаяла по-собачьн, крнча: «Уйди, уйди, уйди!» Она жевала язык, губы кровенилнсь н кнпели.

И в народ, в крнкн, разрывая гвалт, кричал председатель, крнчали судьн, кричал поп, осеняя всех крестом. Но внхрь крутил, роща гиулась н гудела. Тогда на лавку вздыбнл богатырем крестный Петра и сразу покрыл весь гам:

— Стой! Замолчь! Здесь церковь божня! Здесь человека судят...

Говорнли еще свндетелн, говорила баба Степаннда, заведующий совхозом, фельдшер, вышел было жаловаться на жену непротрезвнвшнйся Макар, но распоряженнем председателя — пьяным в суде не место — Макара быстро удалили.

Показання фельдшера былн не в пользу подсуднмого: поступок уважаемого Петра Терентьнча — поступок нзуверский, прямо-таки разбойничнй, ведь тогда перед подсудимым стоял родной отец. Неужели нельзя было принять предупреднтельных мер, называемых в меднцнне профилактнка? Напрнмер, вместо того чтобы пронзводнть преступную вивисекцню нз дробовика, не лучше ль было б отца закатать в тюрьму заранее, не доводя его до буйного прнпадка, то есть аффектум спнритус.

Во время его речи доктор с председателем, конечно, улыбались. Комсомолец же Галкин — и другие комсомольцы — краснел, бледнел, кусал губы. Как! Не может быть, чтоб Петр Терентьич был виновен! Нет!

А показания замужней вдовухи Василисы и ее сожителя Захара Кузьмича были для подсудимого убийственны.

Подсудимый выпрямил спину, несколько раз приподымался, чтоб крикнуть «ложь», но под предупреждающим жестом председателя садился вновь. Любовь Даниловна нервно крутила концы башлыка, вздыхала. У Груни прыгал подбородок, она скорбно глядела на Петра Терентьича, но перед ее глазами плыл туман.

Захар Кузьмич, поблескивая выпуклыми круглыми очками, правое стеклышко которых было склеено бумагой, и все время оглядываясь на свою грозную бабу Василису, монотонно, как над гробом, дудел, конечно, от Священного писания, стараясь рыть подсудимому могилу. Поп и ему поддакивал: «Верно-верно-верно».

И грубо, нагло заверезжал голос Василисы:

— Убивец он, убивец! Вяжите его, окаянного, судьи-батюшки...

— Гражданка!

— Он, убивец, за Грунькой моей таскался, ладил в жены взять, вот те Христос. Сам, пьяный, похвалялся мне: «Не бывать тебе, Василиса, за отцом, убью отца». Вот те Христос...

Галкин схватился за голову. Председатель строго:

— За ложные показания, гражданка...

— Пошто ложные!.. Да чтоб распалась моя утроба... Да чтоб мне... Он Груньку обманул, другую взял. Эй, молодчик, чего молчишь!

«Ага, ага!» — злорадно-язвительно заскакало по толпе. Кто-то слегка присвистнул.

Груня вся вдруг передернулась, затопала дробно в пол, всплеснула руками, повалилась на плечо Михайлы-мужа и заголосила. Но сразу же откачнулась от него с гадливостью и упала пластом к коленям беременной Катерины.

Галкин дрожал и холодел. Он сорвался с места и вновь крупно стал шагать вдоль казенки, судорожно запустив руки в карманы галифе. Что дальше говорилось, он не слышал. Все в его душе полетело кувырком. Вся речь, все, что он хотел сказать в защиту Петра Терентьича, сразу разлетелось в дым. Конечно, после показаний Василисы подсуди-

мый густо влип, и пощады от суда ему не будет. Но это ж не так, не так, неверно! Галкин знает, Галкин уверен в Петре Терентьиче, как в самом себе, Галкин докажет это. Но как, какими словами?

Галкин шагает взад, вперед, с отчаянием озирается по сторонам: иконы, народ, мужичьи встрепанные головы, хвостики мерцающих огней и чей-то тягучий, скучный, будто лысое поле, голос.

Это доктор давал свои показания как специалист. Он говорил и полчаса, и час, говорил тихо, непонятно, пересыпая речь мудреными словами, то и дело поправляя на носу очки.

Народ устало зевал, подремывал, пятеро крестьян пошли в ограду покурить. Дремали огоньки чадя, и в рядах шептались. А голос скрипел, скрипел...

Деду капнуло с паникадила на плешь. Он не спеша задрал бороденку вверх, не спеша вытер рукавом лысину и отодвинулся. А храпевшей с запрокинутой головой старухе восковая капля шлепнулась на самый кончик носа. Старуха схватилась за нос и, открыв сонные глаза, слюняво зашипела на прыснувшего в шапку пастушонка:

— Это ты, Колько, созоровал. Я те...

— Колько! Колько! — звали паренька. Он поднялся на цыпочки и видит: у судейского стола ораторствует Галкин.

— Товарищ председатель и товарищи судьи,— говорит он, и голос его рвется.— Мы, комсомольцы, конечно, по возрасту, не имеем права вести во время суда дебаты иль дискуссии. Но мы ходатайствуем всем корпорем, чтоб выслушали нас в защиту обвиняемого.

Председатель шепнул судьям справа, шепнул слева и, добродушно взглянув сквозь пенсне на побледневшее лицо Галкина, сказал:

— Пожалуйста.

За спиной Галкина, по два в ряд, топтались комсомольцы. Он стоял лицом к алтарю, на восток, и левым плечом к суду. Перед ним, перекинув нога за ногу и схлестнувши кисти рук в замок, сидел в солдатской шинели Петр Терентьич. Он спокойно глядел в растерянные, загоравшиеся глаза Галкина, и между ними, от сердца к сердцу, от души к душе, прошел невидимый ток высокой человеческой любви. Петр Терентьич шире открыл глаза, едва заметно улыбнулся, и юноша радостно боднул головой, кашлянул и, одернув меховую куртку, начал:

— Мы, комсомольцы... Мы, коммунистическая моло-

дежь... Мы пришли сюда всем корпорем для того, чтобы, так сказать, по всей правде... По всей чистой совести, так сказать, заявить о том...

Он волновался, переступая с ноги на ногу, проглатывал слова, вытягивал шею, как будто ему не хватало воздуха, и поворачивал болезненно-нервное лицо то к председателю, то в сторону народа.

По рядам прошуршало сбивчиво:

— Тише, братцы, Галкин говорит... Хи-хи-хи... Слухай.

— Дуть их надо, сволочей!

— Что? — И Галкин сразу поперхнулся. Ударив ладонью по столешнице, он уставился в пол, как бы ища слов и мыслей. Кудряш комсомолец растерянно ковырял в носу, а девушка с вишневыми глазами, красуясь свежим личиком и яркой кашемировой повязкой, улыбалась. Маленький Колько во все глаза разглядывал председателя и, подражая ему, движением руки откидывал назад гладко стриженные свои волосы, поправлял на носу несуществующее пенсне, гримасничал.

— Я очень извиняюсь, товарищи. Я не могу сейчас гладко, как по писаному, я устал и робею, все спуталось как-то, но это ничего, главную суть скажу по-своему,— овладел собой Галкин, и голос его становился уверенней и крепче.— Мы просим товарища председателя и судей, мы умоляем не верить некоторым ораторам, я не буду намекать на личности, а только скажу, товарищи, что толстая ораторша, она всем известна как самая скверная гражданка, которая торгует самогоном, поэтому веры ее словам нет! Это она все врет, взводя такое, прямо скажу, подлое обвинение на Петра Терентьича. А почему она может защищать пострадавшего Терентия Гусакова? Ответ, товарищи, ясен — он ее бывший сожитель от живой жены, которую он преступно истязал, как последнюю клячу, или хуже в десять раз, пороча новый деревенский быт в глазах культуры. И обратите, товарищи, внимание, как деревня разлагается по всем слоям. Пьянство, разбой, поножовщина, непростительный разврат и сифилис... Мужья калечат жен, отцы — детей. А кругом такая тьма, как в непроходимых брянских лесах. И это наша Россия, новая Россия, за которую, за благо которой пролито столько человеческой крови и всяких легло жертв!.. Может быть, старики принюхались, им ничего по нраву, а нас от такой России, откровенно скажу, тошнит. Наше молодое... Наша молодая душа, товарищи, такую Россию не желает. К черту ее! Даешь новую Россию!! Даешь новую жизнь!

К черту пьянство, к черту самогон, к черту увечье женского...

— Стоп-стоп-стоп! — И священник, деревянно волоча отсиженную ногу, двинулся к оратору.

— Извиняюсь, батюшка...— пал на землю голос Галкина, и опять взвился.— А Петр Терентьич всем известен. Он, товарищи, не покладая рук работал с нами, другой раз больной и расстроенный неприятностями с отцом. И много хорошего мы от него узнали, просветились, так сказать, и желаем просвещаться впредь. Да не одних нас! Расспросите настоящих крестьян — всякие разъяснения от него шли, всякая помощь. Да, таких людей, товарищи, не судить надо, а дорожить ими. Отстранять таких людей — это все равно что вешки в чистом поле зимою выдергивать. От таких людей жизнь крепнет. И ежели вы, товарищ председатель и товарищи судьи,— Галкин повернулся к суду возбужденным лицом, и все комсомольцы повернулись.— Если вы, товарищи, не найдете полную возможность окончательно оправдать его — судите лучше нас, судите меня! — Галкин сильно ударил себя в грудь, лицо его скривилось, заморгало, голос сорвался.— Судите нас, судите меня, ссылайте, сажайте в острог!! — вне себя кричал Галкин, тряся головой и вскидывая руки.

Весь народ до одного замер, открыл рот и выпучил глаза. Паникадило вспыхнуло костром.

Юношу подхватили заведующий совхозом и девушка с вишневыми глазами. Он шел над землей, по воздуху, и всхлипывал, его грудь распирало чувство острого блаженства и умиротворения.

Колько слезно заревел, по-детски пуская пузыри. Его тоже душило какое-то непонятное, большое и радостное чувство.

Галкин жадно глотал на улице рыхлый пахучий снег, прерывисто дышал и улыбался:

— По-моему, должны оправдать...

— Оправдают, оправдают,— сказал, дрожа, завсовхозом.

А там, за красным столом, предоставили слово подсудимому. Он начал тихо, без жестов, попросту:

— Да, я выстрелил в отца, но я спас жизнь матери. Товарищ доктор, защищая меня на суде, объяснял, что я был в то время невменяем,— напрасно — я выстрелил в отца сознательно. Мне больше сказать нечего. Снисхожденья не прошу.

Суд совещался в сторожке. Пользуясь перерывом, батюш-

ка пилил церковного старосту, рыжебородого косого мужика:

— Гляди, все свечи сжег!.. Вот и отвечай...

— Вы же, батюшка, сами приказали...

Поп понюхал табаку и крикнул, взмахнув клетчатым платком:

— А кто же их знал, этих товарищей!.. Вместо суда митинг завели. В воскресенье придется храм святить...

Суд совещался недолго.

Петр Терентьич Гусаков был оправдан. Он выслушал приговор спокойно, потом уткнулся в горячую ладонь и несколько мгновений был как в столбняке.

Первым бросился поздравлять его фельдшер.

— Честь имею... от всей души! Какое же могло быть сомнение...

И гнилозубое, одутловатое лицо его кисло-сладко улыбалось.

Любовь Даниловна говорила ему своим бодрым голосом. Афросиньи не было: она почувствовала себя плохо и ушла. Груня стояла далеко от всех в темном углу, упершись затылком в стену, и тихо плакала, сама не понимая — от горя иль от радости.

— Пойдем, пойдем... Распустила рюмы-то!.. Оправдали...— звал ее Михайло-муж.

Гасили огни, батюшка обматывал шею шарфом, крестный Петра, встряхивая скобкой полуседых волос, гулко говорил:

— Спасибо, товарищ председатель. И вам, судьи-мужики, спасибо. Вышло правильно. Спасибо от всех крестьян.

В куполе сгущалась тьма, сквозь голубоватый сумрак едва поблескивала позолота царских ворот, на улице тоже темнело.

Поздним вечером поднялся свежий ветер. По полям и дорогам полз белый туман, и коньки крыш курились. В ночь разыгралась метель. Терентий не спит. В избе темно и тихо, за стеной, по мужичьей широкой земле метельная тьма вся в визге, вся в хохоте, плаче.

Терентий слушает — глаза открыты,— и кто-то из тьмы темным, тягостным шепотом зовет его:

«Пойдем».

А метель пуще, метель воет в трубе, плещет в окна, кому-то стелет в поле последнюю постель.

Зайцы притулились под елками и зарываются в снег, лисицы глубже лезут в норы, стая волков, потявкивая и скуля, правит свой путь к жилью. На знакомом пригорке стая са-

дится, поворачивает морды на метель, обнюхивает крылья седого ветра — наносит жилым дымком и вкусным запахом хлевов... Волки отфыркиваются, ляскают зубами, как цирюльник ножницами, и поджаро бегут вперед, пуская слюни.

«Пойдем...»

Терентий встает. Он долго надевает тулуп, и дрожащая рука его неуклюже шарит по углам, разыскивая посох.

Свежий ветер с размаху бросается на избы, метет поля, взвиваясь до самых туч, и, ворвавшись в лес, набитый нежитью и лешими, валит с ног подгнившие дубы.

Терентий ушел.

1924

Михаил Пришвин

НЕРЛЬ

I

Мы ждали это 14 марта, но 12-го вечером появились признаки, что событие свершится, может быть, в эту же ночь, и потому я побежал в аптеку за сулемой и карболкой, а жена пошла в сарай за соломой. Когда я вернулся, солома была уже в кухне, я опрыскал ее сулемой, уложил в углу, и весь этот угол отгородил бревном и, чтобы не откатывалось, прибил к стене гвоздями. Наша Кэт знала цель этих приготовлений по прошлому разу, дождалась спокойно и, как только я кончил работу, шагнула через бревно и свернулась в углу на соломе.

Мы не ошиблись: в эту ночь Кэт родила нам шесть щенков: три сучки и три кобелька. Все три сучки были поменьше кобельков и вышли совершенно в мать, в немецкую легавую с большими кофейными пятнами на белом и по белому частый крап. У одной на макушке, на белой лысинке, была одна копейка, у другой — две копейки, третья сучка была без копейки, просто с белой полоской на темени, и заметно была поменьше и послабее сестер. А кобельки вышли в отца, Тома: пятна были несколько потемнее, у двух почему-то на белом пока не было крапу, а третий был значительно крупнее других, весь в пятнах, крапе, таком частом, что казался весь темным, и вообще был тяжел и дубоват. Дубец — мелькнуло слово у меня в голове, я поймал его и вспомнил охоты свои по выводкам на речке Дубец. Слово мелькнуло недаром, я очень удачно охотился на Дубце, и мне показалось — неплохо будет в память этих охот назвать новую собаку Дубцом. Да и пора вообще бросить трафаретные клички и давать свои собственные, местные, ведь каждый ручеек, каждый пригорок на земле получил свое название без помощи греческой мифологии.

Из этого помета я решил себе оставить кобелька и сучку. Название для сучки мне сейчас же пришло в голову, как

только мелькнул Дубец. Я назову ее Нерлью, потому что на болотистых берегах этой речки прошлый год много нашел гнездовых дупелей.

Но я не знаю, мне кажется, было что-то больше охоты на этой странной и капризной речке. Она такая извилистая, что местами от излучины до излучины через разделяющий их берег можно было достать. Я плыву на челноке по течению, правлю веслом, чтобы не уткнуться в болотистый берег, подгребаю, завертываю. Впереди виднеется церковь, и кажется, очень недалеко, но вдруг река завертывает в противоположную сторону, церковь исчезает, и через долгое время, когда я снова завертываю, село оказывается от меня много дальше, чем было вначале. Слышно, где-то молодой пастух учится играть на берестяной трубе, звуки то сильнее, то тише, но слышны мне — все тот же пастух, та же мелодия, те же ошибки. К обеду я подплываю, но село оказывается не близко от берега, мне идти туда незачем. Я отдыхаю на берегу. Пастух перестал. А потом я удаляюсь вперед по реке, и пастух опять меня преследует до самого вечера. Только уже когда садилось солнце, мне была милость: река выпрямилась, увела меня от села далеко, и в крутых лесных берегах пение птиц перебило оставшееся в ушах воспоминание неверной мелодии. Вода очень быстрая несет меня, только держи крепче весло в руке. Я не пропускаю глазами проплывающую в воде щуку, голубую стрекозу на траве, букет желтых цветов, семью куликов на гнилом краю затонувшего челнока, сверкающий в лучах вечернего солнца широкий лист водяного растения, на трепетной струе поклоны провожающих меня тростинок. Какой бесплодный день на реке и какое очарование: никогда не забуду и не перестану любить.

Дикая Нерль, я воплощу твое имя в живую собачку, для которой великим счастьем на земле будет с любовью смотреть на человека, даже когда он запутается в излучинах своей жизни.

II

Со времени рождения моих щенков я устроился обедать в кухне: очень удобно во время еды с высоты стола наблюдать и раздумывать о судьбе этих маленьких животных. Там, внизу, кишит пестрый мир слепцов, и вечно глядят на меня поверх них глаза матери, стараясь проникнуть в меня и узнать судьбу, но я тоже не волен, я не знаю еще, в кого удастся мне воплотить имена Нерль и Дубец. Я же понимаю, что

вес и форма не все для рабочей собаки, в собаке должно быть прежде всего то, что мы условились называть умом, а это сразу узнать в слепом потомстве красавицы Кэт невозможно. Моя рабочая собака прежде всего должна быть умная, ведь даже слабость чутья вполне возмещается пониманием моего руководства, и с такой собакой больше дичи убьешь, чем с чутистой, но глупой.

Так я обедаю, ужинаю, чай пью и думаю о своем, и беседую с женой, и глаз не отвожу от гнезда. А если читаю газету, то слышу, как спящие видят сны: в жизни едва рот умеют открыть, а там во сне на кого-то уже по-настоящему лают собачками. Но я бросаю газету, когда они просыпаются и начинается у них интересная борьба за существование. Тогда каждый щенок пускает в ход свою силу, ум, проворство, хитрость в борьбе за обладание задними, самыми молочными сосцами. Как только этот спящий пестрый клубок маленьких собачек пробуждается, все они бросаются в атаку на сосцы. Лезут друг на друга, одни проваливаются и там залегают под тяжестью верхних, неудачники скатываются вниз, мелькая розовыми, как у поросят, животами, оправляются, снова взбираются. Можно бы, конечно, разделить слабых и сильных, кормить их отдельно. Но как узнать действительно слабых и сильных? Сегодня лучшее достанется сильным мускулам, завтра сильный умом перехватил добычу у большого и сосет на первой позиции. Я сдерживаю в себе жалость к более слабым на вид и, пока не найду своей Нерли, не позволю себе вмешаться в дело природы.

Тот чумазый щенок, который помог мне выдумать кличку Дубец, в первые же дни настолько окреп, что теперь сразу всех расшвыривает, захватывает самую лучшую заднюю сиську, ложится бревном, не обращает никакого внимания, что на нем лежат другие в два яруса, и знай только почвякивает. А хуже всех маленькой сучке, у которой на темени белая лысинка без копейки, ей достаются только самые верхние сосцы-пуговки, и, верно, она никогда не наедается.

В собачьем понимании мы, конечно, настоящие боги: сидят боги за столом, как на Олимпе, едят, обсуждают судьбу своих собак. А мы каждый день спорим с женой. Женщина жалеет маленькую собачку, говорит мне, что она самая изящная, вся в мать, и нам непременно надо вмешаться в дело природы и не дать ей захиреть. Жалость помогает ей открывать новые и новые прелести в любимой собачке и соблазнять ими меня. Мне и с одной женой трудно бороться за свой план, но однажды на помощь ей к нашему Олимпу присоединя-

ется новая богиня жалости. Это была одна наша знакомая, хрупкая телом, но сильная. Она вмиг поняла другую женщину, и обе стали просить у меня за слабое животное. Я очень уважаю эту Анну Васильевну, мне пришлось пустить в ход все мои силы.

— Не бросайтесь жалостью,— говорил я,— поберегите ее для людей, подумайте, что другие просто морят ненужных щенков, а я имею план выбрать себе друга, уважая законы природы. Мы часто губим добро неумной жалостью.

Анна Васильевна попробовала стать на мою разумную точку зрения:

— Да ведь она же больших денег стоит, вы погубите не только собачку в своем опыте, но и деньги.

Я не поверил искренности Анны Васильевны, когда она, бессребреница, заговорила о деньгах, и ответил решительно, чтобы нам больше не спорить и начать о другом:

— Не нужны мне деньги, и пусть собачка погибнет, берегите свое для людей; там, в этом мире...

Я указал вниз на борьбу за сосцы:

— Там не боятся погибели, там смерть принимают как жалость природы.

Мы сели обедать молча. Жена подала Анне Васильевне постное: грибы и кисель. Я очень люблю постное, мои говяжьи котлеты приобретают особенный вкус, когда вокруг постятся. Я ем говяжьи котлеты и стою за посты.

Я извинился перед Анной Васильевной за свои котлеты и, чтобы смягчить резкость своих слов перед этим, стал рассказывать о множестве исцеленных желудков во время постов.

Когда мы доедали последнее блюдо, маленькие животные там, внизу, насосались молока, стали позевывать, укладываться друг на друга, пока, наконец, не сложились в свою обыкновенную сонную пирамидку. Для тепла и покоя мы прикрываем их сверху моей старой охотничьей курткой, а мать наконец-то освобождается, отправляется в другой угол к миске с овсянкой, приправленной бульоном из костей. Кэт справляется со своим блюдом скорее, чем мы с одним своим третьим. Возвращается к гнезду и укладывается возле щенков.

Но, конечно, спор, не доведенный до конца, течение мысли, остановленное насилием, в глубине нас продолжается, и, благодаря этой неуемности мысли, появляется вдруг как бы чудом, вне нас повод для продолжения спора и заключения.

Мы говорили о полезном значении постов для здоровья,

а в то же время все смотрели в гнездо. И вот под курткой начинается какое-то движение, тихое, осторожное, показывается голова с белой лысинкой и наконец вся она, та самая слабая и изящная сучка, из-за которой весь сыр-бор загорелся. Все остальные щенки спят крепко и взлаивают. Нет никакого сомнения, что маленькая сучка задумала нечто свое. Сначала, однако, мы думали, что это она, как все щенки, отходит немного в сторону от гнезда, чтобы освободиться от пищи. Но сучка, выбравшись из-под куртки, ковыляет по соломе прямо к матери, сосет из задней сиськи, наливается, засыпает у нее под лопаткой, сытая и в тепле, гораздо лучше, чем под моей охотничьей курткой. Нас всех, конечно, это поразило: ведь только что спорили о жизни, и все обошлось само собой, сучка сыта.

— Вот, дорогая Анна Васильевна,— сказал я, торжествуя победу,— вы же сами не раз мне говорили, что в тяжелой борьбе за кусок хлеба вы завоевали себе нежданное счастье, какое не снится сытым и обеспеченным, что вы благословляете за это даже тех, кто хотел вам причинить зло. Как же должно благодарить меня это маленькое животное, что я не позволил вам его прикармливать и вызвал простую догадку в ее крошечной, только что прозревшей головке!

III

В другой раз, вечером того же самого дия, когда наши щеики пробудились и начали атаку, маленькая сучка с белой лысинкой в этой борьбе не участвовала. А утром я нашел ее не под курткой, а под лопаткой у матери. Мы очень обрадовались и, ие решаясь только за одио это признать ее Нерлью, смеясь, пока стали называть ее Анной Васильевной, которую очень любили. Через несколько дией, когда наша маленькая Анна Васильевна очень поправилась, мы заметили, что она гораздо тверже других щенят начала иаступать иожками, и появилась у нее новая особениость: оиа стала бродить по гнезду, совершая путешествия в уголки, все более и более далекие от матери. Все другие щенки знают только два положения: спать и бороться между собою за сосцы. Анна Васильевна догадалась исключить из своей жизни грубую борьбу за существование, силы ее с каждым днем прибывали, и мы вполне понимаем с жеиой и очень радуемся, что освобожденную энергию она использует для любознательности. И так спокойно было изо дия в деиь, погружаясь

в природу собак, понимать свою жизнь, свои достижения; ведь нам тоже приходилось много бродить.

Пределом путешествий Анны Васильевны было бревно высотой в четыре вершка. Для маленькой тут кончались все путешествия: она могла только поставить передние лапки на бревно и отсюда заглядывать на простор всего пола, как мы любуемся далью полей. Туда, в эту даль, уходила мать к своей миске, что-то делала там и возвращалась обратно. Анна Васильевна стала дожидаться матери на бревне, а когда она возвращается и ложится, обнимает лапками ее нос, полизывает губы, узнавая мало-помалу вкус бульонной овсянки. И вот однажды, когда Кэт перешагнула через бревно, Анна Васильевна с высоты барьера вгляделась в нее, лакающую бульон, и стала сильно скулить. Мать бросила еду, вернулась, опрокинула дочь носом с барьера и, наверное, думая, что она не может освободиться от пищи, стала ей делать обыкновенный массаж живота языком. Дочь скоро успокоилась, мать вернулась к еде. Но как только Кэт удалилась, Анна Васильевна поднялась на барьер и принялась еще больше скулить. Мать оглядывается, не может понять, переводит глаза на меня и начинает тоже скулить.

В глазах ее: «Не понимаю ничего, помоги, добрый хозяин».

Я говорю ей:

— Пиль!

Это значит разное, смотря по тону, каким говорится; теперь это значило: «Не обращай внимания, принимайся за еду и не балуй собачку». Мать принимается лакать, а дочь, обиженная невниманием матери, делает вгорячах движение, переваливается через барьер и раскорякой бежит прямо к миске.

Нам было очень забавно смотреть на мать и дочь у одной миски: Кэт, вообще не очень крупная собака, с превосходным розовым выменем, вдруг стала огромным животным, и рядом с ней точно такая, с теми же кофейными пятнами, с тем же крапом, с таким же на две трети обрезанным хвостом и во время еды с длинненькой шейкой, крошечная Анна Васильевна стоит и тоже пробует делать, как мать. Но скоро оказывается, ей мало, чтобы лизать край миски, она поднимается на задние ноги, передние свешиваются за край. Ей, наверно, думается, что это вроде барьера, что стоит приналечь, переброситься, и тогда откроется вся тайна миски. Она делает такое же рискованное движение, как только что было на бревне, и вдруг переваливается в миску с бульонной овсянкой.

Кэт уже довольно много отъела, и Анне Васильевне в миске было неглубоко. Скоро она вываливается оттуда без помощи матери, вся, конечно, покрытая желтоватой овсянкой. Потом она раскорякой бежит обратно, начинает скулить у бревна. В это время случилось, пробудился Дубец и, услыхав какой-то визг за бревном, сам ковыляет туда. А маленькая Анна Васильевна в это время была уже сама на бревне и вдруг — здравствуйте: перевалилась прямо к Дубцу за барьер. Дубец понюхал ее, лизнул — очень понравилось.

Но что всего удивительней было нам, это когда на другой день из-под куртки вылезла Анна Васильевна, вслед за ней высунул башку и Дубец, поплелся за ней к барьеру, перевалил через барьер, проковылял к миске, втяпался в нее передними лапами и залакал. После того оказалось, что первое путешествие Анны Васильевны в миску в мире маленьких собачек означало то же самое, что в нашей человеческой жизни открытие новой страны. За Колумбом, известно, все повалили в Америку, а у собак — в миску. Маленькая сучка с белой лысинкой научила Дубца, и потому что он такой громадный и на нем есть что полизать, когда он выгваздывается в овсянке, то первыми припали к нему обе сучки, с копейкой на лысинке и с двумя копейками. Обе эти сучки скоро поняли все и тоже стали путешествовать к миске. Но долго еще два больших белых без крапу и с розовыми рыльцами кобелька держались отдельно от веселого общества и ничего не знали об открытии Америки. Нам пришлось поднести дикарей к тарелке и насильно, уткнув их носы в молоко, держать там, пока не поймут и не хлебнут. И голос наш, призывавший: «тю-тю-тю», первая поняла Нерль, и Дубец пустился бежать по примеру ее, потом вслед за Дубцом бежали и сестры ее, сучки с копейкой и двумя копейками на лысинках, и под конец согласились дружные дикари с розовыми рыльцами. А когда однажды во время нашего обеда собачья публика пробудилась и тоже захотела обедать и Нерль, почувствовав голод, бросила скулящих сестер и братьев, подбежала к Олимпу и стала теребить богов за штаны и за юбку, то нам не оставалось никакого сомнения, что маленькая изящная собачка с белой пролысинкой была именно наша задуманная Нерль.

1926

Борис Пильняк

ЖУЛИКИ

Письмо и повестка пришли одновременно, привезли их вечером. Пусть прошло семь лет с того июльского дня, когда в селе,— в сенокосном удушье они, она и он, ходили в церковь венчаться, и поп все посматривал в окно — не пойдет ли дождь, не опоздать бы ворошить сено; тогда он настаивал на церкви, и она, стоя под венцом, все хотела собрать мысли и перевспомнить всю свою жизнь — и не могла, следила за батюшкой и за тучей на горизонте: и, правда, пошел дождик, и батюшка из церкви побежал в поле, копнить...— пусть прошло семь лет — пусть сейчас вечер: не могли не поникнуть и руки и голова, и вся она,— именно потому, что время идет, время уносит, ничего не вернешь, все проходит. У женщины в тридцать семь любовь, многое — позади: у мужчины в тридцать семь — только разве замедлились чуть-чуть движения дней и вечеров.

Решить надо было б правильно и просто — так, что письма и повестки из суда, где стоит казенное слово «ответчица», не было:— все кончено без судов, кончено временем, и его правом сильного, и ее гордостью,— и надо было бы вновь взять ведро и пойти к колодцу за водой и полить рассаду (огромная радость сеять в земле и видеть, как возрастает тобою посаженное!):— заспешила, вспомнила, какие тряпки в чемодане надо отобрать, что взять с собою...— пусть стрижи за окном летают, обжигают воздух так же, как каждую весну: все — пусть!

Что же, у нее есть труд, у нее есть труд впереди, есть заботы, у нее будут вечера,— надо жить: н а д о   ж и т ь!

Сторож Иван,— он же кучер, он же дворник, он же:— ну, как каждый день не ругать его, когда ему говоришь про Фому, а он отвечает Еремой?! Он сказал, что пароход проходит теперь на заре, надо выехать с полночи. И в полночь Иван потащил по грязям на телеге -- полями, просторами,

непокойным рассветным ветром; рассвет отгорел всем земным благословением; а на берегу узналось, что пароход будет только к вечеру: Иван покряхтел, помотал головой и, уверив, что скотине дома никто без него толком не задаст, уехал обратно. На воде, у берега стояла мертвая конторка, на горе прилепилась изба. На пороге избы сидела баба. Бессонная ночь вязала движенья, и нельзя было додумывать мыслей.

Баба от избы покликала, сели рядом, на пороге.

— Вы, что же, сторожами здесь живете?

— Муж мой лесным сторожем служит. Сами мы дальние. Детей у меня четверо, четыре сына.

И так и запомнился этот день — пустой, с пустой конторкой, с избой над рекою,— и с о с ч а с т л и в о й женщиной. К полдням все уже зналось,— что эта баба счастлива, что она и ее муж хохлы (так сказала она), киевляне,— что муж ее тихий и добрый человек, двадцать лет служил у немца-колониста, и немец любил его за доброту (немец иной раз и бивал мужа, но муж был добрый, незлобивый,— не сердился, а немец любил: даже корову собственную разрешил держать),— что на Украине у нее дочь, замуж вышла, детей народила, внучат; старший сын ее теперь тоже лесником служит, женился было, да неудачную жену себе взял, все с другими мужиками бегает,— собирался было разводиться, пошли в волость расписываться, но в волости затребовали рубль шесть гривен:— так и не развелись, денег жалко; остальные три сына при отце живут, один комсомолец,— а жалования муж получает, слава богу, восемь рублей на своих харчах. Была эта баба морщиниста, как старый гриб, ходила в красном платке, и была, была счастливой безмерно, всем на этом свете довольной: комсомолец, сын ее, теперь ходил на раскопки, рыли курган, вырывали гроба из веков,— платили ему тридцать копеек в день, дуром валились деньги,— и нельзя было исчерпать бабиного счастья. В избушке на горе было по-малороссийски чисто выбелено известью,— от русской печи сидеть там было душно и мухи донимали: сидели все время на пороге. Приходили в заполдни муж и сыновья, обедали, посадили и гостью за стол, ели из общей миски щи из свежей крапивы; мужчины были молчаливы, поели, покрестились и легли в тени у дома спать; и гостью отвели спать — в сарай на сено; разбудили к чаю: самовара не было, кипятили воду на костре, у костра и попили чаю; отец взял винтовку, пошел в лес, сыновья пошли по своим делам; и опять старуха говорила о счастье, о том, что муж незлобивый, ему и в морду можно дать. После-

обеденный сон скомкал время, баба говорила тихо и внимательио, и казалось, что изба эта, и эта баба, и ее дела, и сыиовья, и муж — известны с испокон веков, и ие было сил — хотя бы внутренно бунтовать против этого бабиного счастья: все было все равно.

И в этом безразличии отсвистел пароход, потащил мимо сумеречиых берегов, в соловьииом крике, в плеске воды под колесами. И безразличио прошел уездиый городишко в пыли, где надо было пересаживаться с парохода на поезд. На минуту странным показалось наутро, что вчера поля и деревья были зелены, а нынче здесь, где мчал поезд, было еще серо. И вечером была Москва. Ничто не заметилось.

И новой ночью в номере на Тверской опять логически ясной стала иелепость приезда: были, любили, разошлись, ей иикак ие нужиа выпись из постановления суда о том, что — «такой-то райониый суд слушал и постановил» — быть ей свободиой от прежних морозов и зацветать для новой любви,— новой любви у нее не было; новая любовь была у него,— но и о ней она ничего не знала, ибо его не было около иее вот уже три года. Что ей?— что же, она агроном, она горда!..— и она горько плакала этой ночью, первый раз за эти дни.

В суд надо было явиться в одиннадцать, и она пришла без пяти одиннадцать. Он встретил ее в дверях, пошел навстречу, улыбиулся дружески, сказал:

— А я думал, что ты не придешь, стоило по пустякам тащиться, я бы прислал тебе выпись...— и замялся, и сказал, о чем писал уже в письме:— Мне неприятно было посылать тебе повестку, это глупое слово «ответчица», словно ты подсудимая. Ну, как поживаешь, как дела?

Ответила:

— Коиечно, глупо было приезжать, но у меня скопились еще дела по службе. Живу по-прежнему, много работы.

— Ты где остановилась, когда приехала?

— На Тверской, в гостинице. Приехала вчера вечером.

— Почему же ты не приехала прямо ко мне? Сейчас же после суда поедем, я перетащу твои вещи. Ведь мы же друзья, ведь никто не виноват, Аринушка, милая...

Она ничего не ответила. Он понял, что она не может быть искреииеи. Но она делала все усилия, чтобы быть простой.

Судья спросил: сколько лет, как зовут, что вы имеете против?— какую фамилию вы хотите носить?— Он, «истец», сказал:— Я бы хотел, чтобы ты оставила свою фамилию.—

Она не думала об этом, она залилась кровью, ей показалось, что ее оскорбляют,— она сказала растерянно:

— Да, я хочу оставить фамилию мужа.

Судья попросил расписаться, объявил, что за выписью из постановления суда надо прийти завтра.

— Можно идти?— спросила она судью.

— Да, все уже кончено,— ответил муж.

— Поедем к тебе за вещами.

Они выходили из суда, мимо них провели за штыками арестованных.

— Я поеду сейчас в наркомат,— ответила она.— У меня будет очень занято время. Ты возьмешь завтра выписку, тогда пришли ее мне в деревню. Всего хорошего,— и она протянула руку.

Он не взял руки, он заволновался.

— Послушай же, ведь мы любили друг друга, мы остаемся друзьями. Невозможно расстаться так.

— Не забудь прислать выписку, она мне очень нужна. Ну, конечно, у нас нет поводов ссориться. Я просто буду очень занята.— Она улыбнулась, тряхнула бодро рукой.— Давай руку.

— Что же, все кончено?— спросил он.

— Выходит так,— ответила она.— Прощай, я спешу.

Она поехала на городскую станцию купить билет.

И в этот же день вечером она ехала обратно. С ней в купе, в полупустом поезде сидел старик в чесучовом пиджаке, кряхтел, ел колбасу из корзиночки, отрезая мелкими ломтиками, приносил на станциях в чайнике воду. На ночь они оба забрались на верхние полки.

И поздно ночью в купе пришли двое, забрызганные грязью, в сапогах, в кожаных куртках, с портфелями,— от них пахло распутицей, бессонницей, напряженной работой, бодростью, табаком. Ехали они, должно быть, недалеко,— не раздевались, открыли окно, закурили, разговаривали.

Разговаривали они о кооперации, были, должно быть, кооперативными работниками,— говорили о неудачах и победах кооперации, о ее буднях и о ее практической работе, о том, что русская кооперация еще не созрела, чтобы торговать обувью и одеждой, что не удается также кооперативная торговля мясом,— говорили просто, буднично, чтобы убить время. Потом надолго заговорили о служащих в кооперации, о приказчиках, кассирах, весовщиках, сторожах. Большой процент неудач кооперации они возлагали на неподготовлен-

ность кооперативных служащих. За предпосылку, правильную, как аксиома, они брали правило, что каждый приказчик, заведующий лавкой, кассир — жулик, и обсуждали, как этого избежать или как сделать, чтобы жульничали меньше. Слова *жулик* они не употребляли, оно вытекало само собою; они говорили, что каждый служащий берет себе и своей семье бесплатно мясо, масло и вообще все, чем торгует (мясная торговля не удается именно потому, что никак нельзя проконтролировать, сколько вышло фунтов разных сортов мяса из данной туши), что даже у членов правлений есть обычай «Христа славить», то есть «завертывать» себе по фунтику того и другого. Один из собеседников рассказывал, что иной раз приказчики проворовываются явно, и тогда неизвестно, как с ними поступать: рассчитать, отдать под суд?— во-первых, огласка, а во-вторых, на его место придет второй такой же, а отданный под суд потянет за собой и всех остальных, и надо налаживать дело вновь. Второй доказывал, что прогонять не надо, разве уж в очень редких случаях,— а лучше приказчика держать на такой грани, чтоб он чувствовал, что догадываются, что он жульничает: никому неохота прослыть вором,— ну, его и держать на этой грани в страхе, как бы не ославился он вором.

Потом они ушли, эти два кооператора,— в ночь, в деревню, на полустанке. Когда поезд тронулся, старик на полке поднялся, свесил ноги, посидел так недолго, слез, чтобы закрыть окно, и вновь сел на полку.

— Не спите?— спросил он.— Слышали, как разговаривали? О том, что у человека честность может быть,— об этом ни слова не сказали. Так, стало быть, и есть на самом деле. Мне вот что непонятно, уж и не знаю почему,— только чужого я никак не возьму и всегда не понимал, как это делается. Слышали, как разговаривали?— не о людях, а о номерах,— об инструментах плохого качества.

И тогда она поняла, что самое существенное в ее поездке — убогое счастье бабы над рекой и этот ночной разговор. Да, жизнь каждого человека связана так, что — не все ли равно будет, если его, человека, взять с поправкой на испорченную машину, испорченную жульничеством, безграмотностью, ложью, любовью,— связанную государственностью, трудом, куском хлеба,— тою же любовью. И, быть может, счастье на самом деле в том, чтоб быть связанным так, когда нет рубля шестидесяти копеек на гербовую марку при разводе, как связана та баба над рекой,— как не связана она. Ей было оскорбительно слушать тех здоровых, что пришли

и ушли ночью, от которых пахло весенней распутицей и здоровьем. Жизнь человека — большая обязанность, никак не в его воле, всячески связанная.

Старик напротив, проснувшись уже окончательно, заговорил, хотел поговорить подольше, спросил, куда едет, где работает,— обрадовался, узнав, что она агроном, сообщил, что он уездный врач. За вагонным окном возникал рассвет. Она заговорила с ним, первый раз заговорила за эти дни,— хотела говорить.

Врач рассказал: ездил в Москву, там его дочь выходит замуж за инженера такого-то. Это была фамилия ее мужа.

Она спросила:

— За Григория Андреевича?

— Да, за него,— ответил врач.— А вы его знаете?

Она ответила односложно и легла на полке лицом к стене, сделав вид, что хочет спать. Он — этот старик врач — стал врагом: он — вор, он украл...

Когда она слезла с парохода, она увидела, что избы над горою нет, там торчала одна лишь обгорелая печь да несколько недогоревших бревен. И ей рассказали о событии: в этой избе жила семья разбойников, грабивших на дорогах, убивавших людей, семья выселенцев-малороссов, отец, четыре сына, мать. Когда пришла милиция их арестовывать, они стали отстреливаться, стрелял и одиннадцатилетний младший сын и старуха мать; в перестрелке убили отца и четырех сыновей: тогда старуха подожгла избу и умерла в огне.

Иван, говоривший всегда про Ерему, когда с ним заговаривали про Фому, всю дорогу рассказывал подробности перестрелки, ставшие уже легендарными, и всячески поносил разбойников.

1925

Юрий Олеша

ПРОРОК

Козленков стоял на холме. Был жаркий летний день, необъятность, чистота, блеск. Среди необъятности стоял Козленков совершенно один, в парусиновой блузе, в сандалиях, в картузе, надетом по-летнему: кое-как. Лицо ощутимо покрывалось загаром.

Зелени было мало. Ландшафт был суховат. Чернели в грунте трещины. Грунт был звонок.

По крутой тропинке, ведущей на холм к подножию Козленкова, быстро взбирался ангел, огромный ангел с черными — до плеч — вьющимися волосами, не имеющий крыльев, могучий. На нем был шлафрок из красной, темной материи, в руке — посох, под шлафроком круто двигались колени.

Он вырос перед Козленковым на краю холма. Высокий посох с цветущими ярко-зелеными почками уперся в сухую землю среди травинок. Посох блестел, как блестит мебель. Почки походили на головки птенцов... Ангел стоял прямо. Кадык его имел форму кубка. Ангел протянул руку к плечу Козленкова.

В этот миг Козленков проснулся. Проснулся он, как просыпался ежедневно — около восьми часов утра. На столе зеленел остаток вчерашнего ужина: лук, салат. Козленков выпил стакан воды залпом.

Он умылся, оделся; было веселое утро, лето. Козленков выглянул в окно; ему показалось, что кое-где в зелени блестит роса, что вспорхнувшая птица уносит каплю. Всякое проявление воды тешило его, потому что после лука его мучила всю ночь жажда. По коридору бегала, прячась и взвизгивая, соседка.

Напившись чаю, он вышел из дому. Дворник сказал, что в соседнем доме повесилась девушка. Козленков поспешил посмотреть.

В соседнем доме посреди двора разбит был садик. Из окон

смотрели жильцы. Козленков подумал: «Опоздаю на службу»,— однако не устоял. Происшествие случилось на черном дворе. Козленков остановился под аркой. На него двигалось шествие: бабы, мужчины в жилетках, корзина с овощами, собаки, дети, метла; вынутую из петли несли на руках.

Она лежала на шествии, живая, ярко освещенная солнцем, в платье с напечатанными розанами. Вдали трубил рожок. Ехала карета. Козленков разузнал: девушка была несчастна, брошена, голодала.

Вдруг Козленков увидел темное, невскрытое после зимы окно, вату между рамами, гарус, свечу. Окно никакого отношения к самоубийству не имело. Затем: на крыльце сидела впавшая в детство старушка. Старушка ела, брала еду кусочками с колен.

«Горе,— подумал Козленков.— Ах, горе».

И стало ему всех жаль.

— Надо помочь!— громко, воодушевленно сказал он.

Он хотел сказать так:

«Я видел человеческое горе. Нужно помочь всем людям сразу. Нужно немедленно сделать нечто такое, что уничтожило бы человеческое горе разом».

— Помогут. Жива,— ответили из толпы.

Силой, которая могла бы уничтожить человеческое горе разом, Козленков не обладал. Он знал, что такой силы нет. Нужно ждать, накапливать эту силу.

Желание Козленкова было так страстно, порыв так неудержим, что согласиться хотя бы на минутное ожидание он не мог. Поэтому он подумал о чуде.

— Нужно сделать чудо,— вздохнул он.

На службе, в обеденный перерыв, жуя булку с колбасой, Козленков вспоминал утреннее происшествие. На глазах у него блестели слезы. Он сдерживал плач, глотать становилось труднее. Он воображал картину.

Он входит во двор с цветущим посохом. В садике поют птицы, качаются на кустах цветы, люди в страхе бегут с подоконников. Навстречу несут девушку. В пролете арки видна старушка, окно с гарусом. Он касается ладонью девушкина лба. Тотчас же окно поднимается ввысь, поворачивается к воздуху и солнцу, распахивается во всю ширь, свисают с подоконников пеларгонии, ветер раздувает занавески... Тотчас старушке возвращается молодость, сын; они едят арбуз, сидя за деревянным, чисто вымытым столом. Арбуз снежен, ал; косточки чисты, блестящи,— косточками

можно играть в блошки. А девушка... Все счастливы. Мечты исполняются, возвращаются утраты.

Козленков вдруг встал. Он вспомнил сон. С грохотом стул отошел назад. Поднялись дыбом страницы бухгалтерской книги.

Он открыл дверь в соседнюю комнату и переступил порог. Тотчас же все головы пригнулись. Он видел: открыты окна, за окнами — зелень, ветви. Тотчас же окна пришли в движение, какая-то сила, какой-то дух полетел на них, кидая во все стороны створки. Поднялись и зашумели ветви. Со столов, образуя смерч, взлетели бумаги. С громом захлопнулась за ним дверь. Противоположная открылась сама собой.

И — самое главное — он видел: все головы пригнулись, все головы упали ниц. Конечно, он знал, что причина — сквозняк. Но он видел также, что никто не может поднять на него глаз. И оценить значение этого он мог как угодно.

Он подумал: «Все упали передо мной ниц. Я иду. Я видел ангела. Я пророк. Я должен сделать чудо». Он прошел через ряд комнат, производя сквозняк, бурю. Путь его сопровождался криками. Крики означали:

— Осторожно! Двери! Двери! Ловите бумаги! Разобьется окно! Швейцаров нет!

Но Козленкову не запрещено было придавать крикам иное значение. Одни казались ему выражением восторга, другие — гнева. Он шел, как пророк,— долгожданный для одних, ненавидимый другими. Он исполнял волю пославшего.

Окна хлопали, вспыхивало стекло, в саду оттого летали молнии. И вот наступил экстаз. Козленков предстал перед главой учреждения. Глава стал медленно подниматься в кресле своем навстречу Козленкову. Пророк стоял взъерошенный сквозняком, бледный, с горящими глазами, задыхающийся.

— Выдайте мне жалованье за две недели вперед,— сказал Козленков. И через минуту он возвращался обратно, держа в руках записку главы учреждения.

— Чудо,— говорили вокруг.— Чудо. Чудом получил, чудом!

Деньги были получены. Он вышел. Все бросились к окнам. Он шел без шапки, встречные оглядывались.

Затем он искал вынутую из петли девушку. На том черном дворе сказали ему, что девушка в больнице. Его ударил неизвестный человек.

— Да не того бьешь,— закричала баба,— за что бьешь!

Неизвестный ударил его снова кулаком между лопаток.

Козленков странно выпрямился от этого удара. И от внезапного выпрямления легко, как-то поджаро, пустился по лестнице. Лицо его светилось. Он знал, что просто его приняли за другого, за виновника девушкиных несчастий. Он смолчал, потому что принял на себя вину другого. Осмеяный, он пронесся по двору.

В садике том играла мячиком девочка. Мячик попал в кустарник. Козленков полез по траве, по черной почве газона, разнял кустарник и поднял шар. С крыши видел все это дворник. Голову Козленкова усеяли лепестки, в ладони торчал шип.

Дворник, осиянный высотой, небесами, гремел над миром. Проклятья неслись с высоты. Фартук его развевался. Как раз то расположение материи, напоминающее свиток, какое бывает на мраморных ангелах, образовалось у ног дворника. И как раз дворник стоял над вершиной лестницы — обыкновенной пожарной лестницы,— но в лучах солнца лестница пламенела,— и Козленков ужаснулся.

Козленков приближался к больнице. Лепестки, тихо кружась, слетали с его головы.

— Я не могу,— вздохнул он.— Зачем послали мне ангела?

И он пошел домой. Во дворе у крыльца сидела прачка Федора.

Она продавала овощи. На крыльце стояла корзинка с грубыми — но с виду изваяными — капустными головами. Козленков взглянул. Капустная голова с завитыми листами — именно завитки эти мраморной твердостью и прохладой листов произвели тревогу в памяти Козленкова. Подобного статуйного характера завитки он видел сегодня на фартуке дворника.

Прачка держала в руках капустный шар. Была она в красном одеянии, могучая. Так и вчера в тот же час стояла она над корзиной, и вчера Козленков купил у нее молодого луку. Теперь он сделал то же самое. Прачка уложила капустную голову в корзину (голова скрипела в ладонях, как вымытая) и достала лук.

«Плохая прачка»,— подумал Козленков. Вчера вечером, ложась спать, он досадовал на жесткость простынь. Вчера же наелся он луку. Ночью он просыпался от жажды. Ему было жарко, он поворачивал подушку — и когда, мающийся и сонный, обретал обратную ее, прохладную сторону — наступало исцеление и успокоение. Но вскоре и эта сторона покрывалась жаром.

Удивительный день кончился. Вечером снова Козленков ел лук. Хлеб с маслом и лук — горький, сладкий, потный, с подмышечным запахом. Перед тем как ложиться, он пошастал рукой по натянутой на матрас простыне, дабы сгладить невидимую ее шероховатость.

Прошедший день был страшен. Козленков заснул. Вновь мучила его жажда, сушь, вновь сушь распростерлась перед ним: желтый, звонкий ландшафт, пористый грунт. Он спал. Тело его бунтовало, он метался, ища обратную сторону подушки, он протестовал спящий, он негодовал на самого себя, действующего во сне, протестовал против самого себя, вновь поднимающегося на холм... Он мычал во сне, бил по одеялу руками...

Но вновь остановился он на холме, и вновь снизу пошел на него ангел в красном одеянии, черноголовый и могучий. В ту секунду, когда видение началось, в теле спящего Козленкова началась изжога. Именно подступ изжоги к горлу, ход ее откуда-то из недр пищевода и был в сновидении появлением и ходом ангела. Но то знание, которое приобрел Козленков днем,— знание о сходствах, замеченных им между целым рядом предметов,— отразилось на работе сонного его сознания,— так как знание это было разоблачительным по отношению ко сну, то сон ослабел, сон готов был прерваться.

Еще секунда — и спящий воспрянул бы... И действительно, Козленков через секунду проснулся, успев увидеть перед собой на краю холма прачку Федору.

Козленков проснулся. Было светло. Он напился воды, засмеялся и заснул.

1929

Борис Лавренев

ПОГУБИТЕЛЬ

1

Баронесса фон Дризен умерла прилично и аккуратно, как подобало даме высшего света и породистой остзейской немке.

В субботу вечером она долго плескалась в ванной, вызвав даже раздражение соседей, торопившихся в театр и начавших усиленно колотить в дверь.

Баронесса вышла наконец в коридор в своем синем халатике, сухонькая, маленькая, с белыми пушистыми волосами, выбивавшимися из-под чепчика, сухо заметила ожидавшим у двери:

— Господа, по правилам я могу занимать ванную пятнадцать минут, а я занимала двенадцать с половиной. Ваше нетерпение не имеет законных оснований. Кажется, за время революции можно приучиться к дисциплине и организованности.

И плывущей старушечьей походочкой проплыла в свою комнату, как всегда щелкнула изнутри хитрой задвижкой.

В воскресенье она не появлялась из комнаты, но никто этого не заметил, а если и заметил, то не придал значения. В понедельник финка Керволайнен, носившая в квартиру сине-опаловую воду, называвшуюся сливками, долго и безуспешно толкалась в баронессину дверь. Понемногу к финке присоединились все наличные жильцы, и наконец кто-то припомнил, что и вчера баронессы не было видно. Над столпившимися в коридоре людьми провеял ледяной ветерок подозрения. Послали за управдомом. Управдом с римским носом, прыщавым профилем грозно приказал гражданке Дризен открыться и не задерживать трудящихся, но и этот повелительный зов жизни не вызвал отклика.

Дворник привел милиционера, управдом сбегал за стамеской и топором.

Замок страдательио затрещал, дверь распахиулась, люди суиулись в иее и отпряиули, устрашеииые злобиым и визгливым окриком: «Дурр-раки, хамы...»

— Да вы, граждаие, не пугайтесь, это еииый попугай орет,— сказал растерявшемуся иа момент управдому жилец крайией комиаты, официант кооперативиой столовой «Красиое молоко» Тютюшкии,— ои завсегда обкладывает.

— Попугай?— переспросил управдом.— А по какому праву попугай может обкладывать домовых представителей? Как это, товарищ милициоиер?..

Но милициоиер, ие отвечая, решительно вошел в комиату. За ним, как вода в губку, втяиулись остальиые.

В комнате было полутемио от опущеииых желтых шторок. Пахло табаком, лавандовой водой и чистотой, свежей и блестящей иемецкой чистотой.

На постели, под зеленым шелковым одеялом, украшеиным по опушке узором кружева, скрестив прозрачные желтые ручки под подбородком, лежала хозяйка, плотио сжав тонкие черточки губ и уставив иос в потолок.

Милициоиер, осторожио подымая ступни, чтобы ие стучать, подошел к покойиице и, дотронувшись до лба, отдериул руку. Управдом, следом за иим, зачем-то постучал указательиым пальцем по косточке худой кисти руки и иагиулся иад кроватью.

— Чистеиькая дамочка,— сказал ои,— даже ничуть ие пахнет,— и обериулся к жильцам, сбившимся у двери.

— Граждане, иечего толпиться. Обыкновенный факт коичины. Выйдите. Могут остаться только присутственые личности по обязанностям.

2

Этим, собственно, и заканчивается рассказ о бароиессе фои Дризен. К этому не пришлось бы прибавить ни одной строчки, если бы по капризной воле судьбы не оказалось, что у покойницы осталось имущество, заключавшееся в мебели красиого дерева стиля «ампер», как иазывал его управдом, и сундук с платьем и другим хламом.

Кроме того, оказалось, что у бароиессы иет иаследников, а если и есть какие-нибудь отдаленные, то никому не было

известно их местопребывание. Управдом, он же комендант (дом принадлежал тресту коммунальных домов), поспешно сообщил в правление треста исходящей бумажкой о таком необычном обстоятельстве, а правление треста, опросив юрисконсульта и осведомившись, что по закону имущество лиц, не имеющих наследников, должно быть описано финотделом и по истечении шести месяцев со дня смерти, если не явятся претенденты, поступает в казну,— срочно известило финотдел «на предмет принятия зависящих».

Агент финотдела, явившийся на следующее утро, переписал мебель стиля «ампер» и прочие баронессины богатства, в том числе и зеленого лысеющего попугая, который сразу возненавидел финагента, словно был лицом свободной профессии и яростно орал сквозь прутья клетки:

— Дуррак... хам... взяточник.

Некогда покойный барон фон Дризен, разоренный сложным и сутяжным процессом, обучил попугая этим невежливым словам перед тем, как пригласил в гости весь состав суда, рассматривавший дело в последней инстанции и отказавший в иске. Попугай радостно приветствовал сенаторов заученными словами.

Теперь попугай орал то же, не понимая всей огромности социального сдвига и не подозревая, что агенты финотдела иначе воспитаны, чем упраздненные чины гражданского кассационного департамента.

Но агент великодушно пренебрег попугаевой контрреволюцией и, окончив опись, торжественно вынул из портфеля палочку сургуча, медную печать и елочную свечку.

— Нет ли у вас, товарищ, спичек?— спросил он коменданта, отрезая перочинным ножом кончик веревочки.— Дверь опечатаем, и шесть месяцев пускай стоит.

Управдом-комендант кашлянул и ответил солидно:

— Спички, конечно, есть, но дозвольте спросить, так сказать. Приходилось читать насчет верблюдов, что они точно могут прожить без ежедневного питания несколько месяцев, а про попугаев не осведомлен.

— Ах ты ж, господи,— спохватился агент,— и верно ведь. Забыл про попугая.

— Как же быть?

— Олухи... болваны... мерррзавцы,— завопил вдруг попугай так бешено, что управдом и агент вздрогнули и попятились.

— Неужто понимает, сукин сын?— растерялся управдом и добавил:— Так как же быть?

Агент почесал портфелем кончик носа.

— Уж и не знаю. Вот оказия... Позвоню сейчас инспектору, спрошу распоряжения.

Управдом рассеянно переминался с ноги на ногу у домового аппарата, пока агент разговаривал с начальством.

— Так я и думал,— произнес наконец агент, кладя трубку,— придется вам.

— Что вам?— спросил управдом, склонив голову,— то есть, как же мне это понимать?

— Вам придется взять попугая на свою ответственность на время розыска наследников.

— Как?— скривился управдом, подняв в защиту обе ладони к лицу.— Это, то есть, извините. Я член союза и права свои знаю. Он подохнет, а я в ответе. Спасибочки. От людей покоя нет, один водопроводчик Жомов по субботам, свинья, дебоши делает такие, что жизнь не мила, а тут еще за попугая отвечай. Не согласен. И в инструкции таких правил нет, чтоб управдомы за животную отвечали. Сами берите на здоровье.

— Ха-ха-ха,— раскатился из клетки попугай.

Финагент даже подпрыгнул от неожиданности и злобно плюнул в сторону попугая.

— У, паршивец. И всегда мне судьба такая. Другим хорошие дела достаются, а мне как назло. То коты, то моськи, а теперь попугая нанесло.

Он безнадежно махнул рукой и опять отправился говорить с инспектором.

— Вот что,— сказал он, обтирая пот со лба,— придется, значит, не опечатывать комнату, а ключ я передам вам, под вашу ответственность. Мы снесемся завтра с вашим трестом и решим, что делать, а пока комната с содержимым доверяется вам.

— Каррашо,— рявкнул попугай.

— Тебе, сатане зеленой, может, и хорошо,— мрачно ответил управдом, косясь на клетку,— а нам каково, будь ты неладен.

Он с сердцем захлопнул дверь комнаты и повернул ключ с такой злостью, словно поворачивал нож в сердце врага.

3

На следующий день управдом получил из правления треста бумажку.

В бумажке за всеми надлежащими подписями стояло коротко и официально:

«Управдому дома № ... т. Плевкову. Правление треста ставит вас в известность, что после переговоров с фининспектором участка по поводу оставшегося после скончавшейся гражданки Дризен имущества, в том числе зеленого попугая, трест и финотдел пришли к соглашению, постановив приравнять означенного попугая к скоропортящимся импортным продуктам, которые закон разрешает продавать ранее шестимесячного срока. Трест предлагает вам взять попугая гражданки Дризен на свое иждивение впредь до торгов. За содержание и воспитание попугая расходы будут оплачены финотделом после торгов, согласно вашего счета. Завадмотделом (подпись). Секретарь (подпись). Завканцелярией (подпись)».

Управдом бросил бумажку на стол, взглянув на жену, и смачно выругался.

— Ты что, идол? С утра в пивную шлялся, прости господи мою муку. Что при детях ругаешься?

— Дура,— сказал управдом,— пивные еще заперты, десятый час. А вот лучше приготовься уплотниться.

— Отцы родные!— всплеснула руками управдомша,— это еще что за напасть? И так, кажется, живем — дохнуть некуда. Куда ж уплотняться? Да как ты это допустить можешь?

— Придется, мамаша,— подмигнул управдом,— вселяют нам очень ответственного гражданина.

Управдомша открыла рот и приготовилась завопить, что ей плевать на всех ответственных, что она тоже недаром кровь проливала, но управдом ткнул ей в лицо бумажку треста и торжественно вышел.

Спустя десять минут он шествовал по двору обратно в квартиру. За ним шагал лохматый и опухший, как от водянки, дворник Алексей и, вытянув вперед руки, как будто неся хрупкую драгоценность, тащил клетку с ругавшимся на весь двор попугаем.

Управдомовы дети встретили водворение ответственного гражданина в квартиру восторженным, уничтожающим барабанные перепонки воем, так что даже сам попугай притих и испуганно забился в угол клетки,

посматривая оттуда покрасневшим от безумной злобы круглым глазом, полуприкрытым серовато-прозрачной пленкой.

Когда же дети добрались до клетки, обуреваемые желанием поближе познакомиться с новым жильцом, и мальчишка, просунув палец между прутьями, тронул попугая за хвост, попугай, вздыбив перья, стремительно обернулся и разом сорвал с дерзкого пальца кожу с мясом, от ладони до ногтя.

4

В «Вестнике губернского Совета» и газете «Голос Коммуны» появились объявления, извещавшие граждан, что в четверг девятнадцатого апреля по такой-то улице, в помещении домовой конторы состоятся торги на наследство, оставшееся от гражданки фон Дризен и состоящее в говорящем попугае серо-зеленого цвета и неизвестного возраста, при начальной оценке в двадцать пять рублей.

Оценил попугая в такую сумму синеносый аукционист финотдела, знаток аристократической жизни, читавший романы Фонвизина и Веселковой-Кильштет.

Внизу была приписка, что в случае, если первые торги не состоятся,— назначаются вторые на двадцать девятое апреля.

Неделю, до девятнадцатого апреля, попугай баронессы терроризировал управдома и его семейство криком и дерганьем прутьев клетки клювом, от чего по квартире разносился едкий и надрывающий нервы звук, словно десятки мальчишек скребли стекло о стекло.

Ругался он по-прежнему неожиданно и как-то замечательно впопад, заставляя выруганных съеживаться от неприятного ощущения, но, несмотря на все старания управдомова сынишки, не хотел обновить запас старорежимных ругательств другими, соответствующими запросам нового быта, и решительно отказывался повторить фразу «лорду в морду», которой мальчишка с упрямым старанием оглушал его с утра до вечера.

В попугае жил закоснелый баронский консерватизм, и принять революцию он явно не мог и не желал.

Девятнадцатого апреля попугай в клетке был отнесен с утра в домовую контору и там странно и неожиданно притих, очевидно страшась новой судьбы.

Дворник, внесший его, сказал управдому:

— Молчит, как рыба.

Управдом подозрительно покосился на попугая и пробормотал:

— Молчит-то он молчит. Да не к добру. Сволочь, а не животное.

Понемногу в контору собрались бездельные обитатели дома, за ними приволоклись две старушки в наколках с выражением светской строгости на засушенных губах и какой-то веселый человек в пальто с котиковым воротником и котиковой шапке. Человек был немного навеселе, войдя, шумно поздоровался со всеми, подошел к клетке, постучал по ней, заставив попугая насторожиться, и сказал радостно·

— Живой ведь, стерва. А? Что вы скажете, граждане?

За всех сурово ответил управдом:

— Мы дохлыми живностями не торгуем, гражданин.

Гражданин улыбнулся.

— Я ж и говорю... А можно ему под хвост заглянуть на устройство? — вдруг спросил он после короткой паузы.

Старушки шарахнулись, остальные заржали.

И опять мрачно ответил управдом:

— Чего ж там смотреть? У него сзади, как и спереди.

Гражданин широко и сожалительно развел руками.

— Ну и несознательность! Значит, по-вашему, гражданин, у человека тоже все равно, что лицо, что...— Тут он добавил такое слово, что у старушек дрогнули наколки, а управдом, покраснев, шагнул вперед, чтобы проявить власть, но в эту минуту появился аукционист. С американской быстротой он уселся за столик, поднял молоток и распевцем объявил о начале торгов...

— Итак, граждане, торги начинаются. Продается попугай. Оценка двадцать пять. Кто больше?..

В конторе водворилось молчание. Попугай при первых звуках голоса аукциониста оживился, нахохлился, внимательно посмотрел на него и в тишине обронил веско и значительно: «Идиот».

Молоток выпал из руки аукциониста, он поперхнулся, а веселый гражданин хлопнул себя по ляжкам и загоготал. Аукционист бросил на него презрительный взгляд и повторил:

— Кто больше?

Веселый перестал хохотать и, придвинувшись, сказал аукционисту:

— Милай, уступи за пятерку. На такую стерву не жаль синенькой.

– Не мешайте, гражданин,— отмахнулся аукционист.— Кто больше?

Выждав минуту, он встал и объявил:

— Торги считаются несостоявшимися. Окончательные, как указано в объявлении.

Злой и подавленный товарищ Плевков принес попугая обратно в квартиру, выдержав бурную атаку жены.

— Опять? Опять черта этого принес? Чтоб духу его не было. Забирай его с клеткой и сам с ним катись, пьяница несчастная.

Управдом швырнул клетку в угол и ушел в пивную утверждать правоту воззрений супруги на собственную личность.

5

Но и вторые торги не состоялись. Тогда разъяренный управдом сообщил тресту, что он больше не желает держать поганую птицу, потому что «означенная птица ругается скверными словами старого строя, вредно заражая моих детей, которые пионеры». К заявлению он приложил счет за кормление и воспитание попугая в сумме одиннадцати рублей шестидесяти девяти копеек. Такая точность цифры вытекала из его долголетнего опыта, в котором он осознал, что в высших инстанциях вызывают сомнение только счета, составленные в круглых цифрах, хотя бы эта цифра выражалась всего в одном рубле.

Через три дня он получил ответ.

«Сообщаем в ответ на ваш...— писал трест,— что после сношений с финотделом по содержанию вашей просьбы, финотдел нашел нужным отказаться от владения попугаем гражданки Дризен, как имуществом убыточным. Вместе с тем финотдел сообщает, что не имеет препятствий к переходу попугая в вашу собственность в возмещение понесенных расходов...»

Управдом долго хлопал глазами и вдруг, разорвав бумажку, стал неистово топтать ее ногами на глазах дворника, опешившего от такого попрания начальственных бумаг, и при этом выразился несколько раз по адресу треста и по адресу финотдела совершенно нецензурно.

6

Но судьба решила покарать не только неповинного управдома, но и еще одного несчастливца.

Зловредный рабкор «Меткий глаз» всадил в отдел городской хроники малюсенькую заметочку, но эта заметочка в глазах завфинотделом разрослась до размеров осинового кола. Рабкор писал о волокитстве и бюрократизме в финотделе вообще и, в частности, приводил случай с попугаем. «Как же мы можем подымать нашу производительность,— писал рабкор,— когда операция по продаже попугая бывшей баронессы принесла пролетарскому государству сплошные и тяжелые убытки. Плата за объявления о торгах, оплата аукциониста и расходы по содержанию птицы значительно превысили оценку, причем попугай так и остался непроданным. Финотделу нужно подтянуть своих работников, чтобы они работали не по-попугаеву».

Завфинотделом написал очередное длинное опровержение и вызвал к себе в кабинет инспектора злополучного участка. Полчаса он мылил ему голову и в заключение, когда инспектор сваливал всю вину на агента, сказал:

— Так научитесь подбирать себе людей, а не то мне придется подумать о том, кого подобрать на ваше место.

Фининспектор вышел от зава с дрожащими коленками, и пружина злобы, свернувшаяся в душе от нагоняя, распрямившись, хватила по подчиненному.

7

Управдом Плевков сидел вечером дома один. Жена ушла с ребятишками в кино. Управдом переписывал ведомость квартплаты, а за его спиной в клетке тихо спал попугай.

Заслышав стук в передней, управдом встал и пошел открывать.

На пороге он увидел финагента. Пальто его было расстегнуто, шапки на голове не было, волосы слиплись космами, глаза вращались в орбитах, как красные шарики. Из кармана торчало горлышко бутылки. Он повалился на грудь управдому.

— Товарищ Плевков! А, товарищ дорогой. Ты дома? Я к тебе. К тебе, милый. Из-за кого погибаю? К тебе пришел.

Покажжжи мне его, черта зеленого, покажи погубителя моего. Милый...

Управдом отступил назад, втаскивая нежданного гостя в квартиру.

Финагеит ввалился в комнату и, пошатнувшись, стал перед клеткой. Глаза финагеита приобрели какое-то странное выражение. Он дрогнул всей спиной и, вытащив из кармана бутылку, залпом допил остаток водки.

И немедленно вынул из другого кармана другую бутылку.

— Товарищ Плевков, выпьем. Выпьем, голубок. Пусть ему ни дна ни покрышки. Попугай?.. Говорящий?.. Серо-зеленый?.. Возраст неизвестен?.. Ах ты дьявол! Выгнали ведь меня. Выгнали. Из-за кого? Ты думаешь — он птица?.. Черт он, самый настоящий черт на мою погибель...

Управдом мотнул головой, как будто от острой боли, и вышиб пробку.

— А мне, думаешь, жизнь сладка? Жена прямо на стену лезет. А куда его дену? Дарить пробовал. Никто не берет. Судьба индейка.

Спустя полчаса оба сидели у стола, обняв друг друга, пьяные в дым.

Управдом качался и тянул лениво и смутно:

— Нет... Ты мне вот скажи... Кто ж мы такие, ежели в Советской республике и нечистая сила зеленого цвету человека, гражданина профсоюзного, уничтожить может. Нет, ты мне скажи. Кто ж мы тогда такие, а?

В углу комнаты зашуршали перья и хриплый голос резко брякнул:

— Дуррраки, взяточники, олухи.

Управдом вскочил. Лицо его перекосилось мучительной судорогой, глаза застыли на клетке. Подняв одну руку, на цыпочках, он подошел к клетке, открыл задвижку и всунул руку внутрь. Финагеит, так же на цыпочках, качаясь, шел за ним. Попугай стремительно вцепился в руку, но управдом выдержал боль, не пискнув, и захватил попугая. Секунду он держал его, вытащенного из клетки, и человечий и птичий глаза застыли в смертельной ненависти.

Потом управдом тихо спросил:

— Так кто мы? Дураки? Дураки? Ах ты ж, рабкор в перьях!

Он размахнулся. Серо-зеленый комок мелькнул в воздухе и шмякнулся о стену. Управдом затрясся и схватился руками за голову, потом сел на пол.

Финагент дико прищурил глаз, присвистнул, стал на карачки, уткнувшись лицом в расплющенный комок перьев, и завыл, обливаясь пьяными слезами:

— Ве-е-чная память!

1928

Алексей Чапыгин

ЛОБОДЫРЫ

Река широкая, угрюмая. За рекой в стороне деревня. Деревни здесь редки. Река идет на восток, в одном месте дает поворот к северу — на повороте шумят пороги. В порогах вода бурлит день и ночь, зиму и лето.

Летит чайка — белый воздушный парус; за чайкой по откосу мотается ее тень и тоже летит, чуть-чуть отставая от поздней одинокой чайки. Солнце, большое, ярко-розовое, идет к закату.

Шумят пороги... По берегам кое-где еще не скошены наволоки[1]. В траве пестреет ромашка с желтым сердечком, кашка белая и розовая выглядывает из травы.

От реки пахнет мокрой сосновой корой, порывы ветра наносят со сгорка запах ржи; вдали на полосах виднеются шапки суслонов.

Вспоминая вслух домашнюю размеренно-ленивую сутолоку, по берегу реки уныло бредут фигуры мужиков, парней, они баграми толкают приставший к берегам сплав.

Бревна лениво, так же как гонщики, раскачиваются, медленно пошевеливаясь, но, попав на плесо, идущее к склону в пороги, начинают плыть быстрее, ближе к порогам они уже несутся, задевая за камни, отскакивают, словно сердятся, что их задержали... Над обрывом в пороги бревна зацепились за камни, их прижали вновь приплывшие, а вода шипит, свистит, нагоняет все новые и новые партии бревен, громоздит их в косматую кучу — растет залом.

Вода все сильнее и больше злится — раскидывает бревна то вверх, то по бокам, они скрипят, шуршат и, успокоившись, плотно улегшись в заломе, составляют великую заботу и труд человеку протолкнуть их к морю, к заводам.

Идущие люди по берегу с баграми изредка кричат:

---

[1] Н а в о л о к и — поемные луга.

— Робяты-ы!
— Чего?
— У порогов заломило-о!
— А лешой с ним — ломи-и!
— Значит, становой на неделю-у!
— Выспимси-и у огонька-а!

Людям с баграми в руках все равно, доплывет ли сплав до места или зазимует... Они знают одно: их собрали в исполком, послали в выгонку, обещали через неделю смену, а придет ли смена — не знают.

Солнце село. Стало кругом быстро чернеть. Везде угомонилось, только на заломе идет беспрерывная работа: камни у порога зацепили голову сплава, вода нагоняет хвост — все новые и новые бревна летят к залому.

Из кустов, с берегов и перелесков партиями тянется к залому народ, чтобы побалагурить, сварить еду и выспаться у прибрежных костров.

— От-до-о-х, робятки-и!

С обрывистого берега черная фигура десятника подала голос:

— Лободыры-ы, при-ивал!
— Ы-ры-ы... а-а-лл! — идет по реке пространный отзвук.
— Сказался, милый! Привалим...
— Спать — не работать!

Черны берега, лишь матово сияет вода реки. Гребень пены сверкает, ползет по залому вверх. Шум ветра сливается с шумом воды. Шумит, размахивая ветвями да вершинами, старый лес, подступивший к берегам.

Северное сияние, вспыхнув, выделяет на миг в черной стене деревьев породу леса: то ствол сосны, то березу, то ель. В зеленовато-белом сиянье ясно видно распростертую над чревом пропасти косматую громаду бревен, она становится все неприступней и зловеще растет.

Гонщики говорят:

— Река, робяты, мосты мостит!
— Лободырам могилу стряпает!
— Робятки-и! У кого спички-и?
— Руби знай! Спички тут.

Звенят топоры, трещит дерево, костер за костром, очерчивая прыгающие круги, блещет красными пятнами по реке.

На горе, над рекой, когда-то была деревня — вымерла. Избы свезли, а бани еще кое-где остались. У одной из бань на сгорке фигура часового, она смутно чернеет и кажется

такой же заброшенной, как и постройка, которую он стережет. В оконце бани тусклый огонек, из бани время от времени два голоса выкрикивают песню:

Как схватил медведь корову за рога!
Ну, теперь, млада, я мужу не слуга!

На плоте у харчевой будки под таганом свой огонь — там десятники и досмотрщики по лесной готовят чай.

На берегу лободыры варят кашу, похлебку. У костров мелькают то черные, то серые лохмотья, иногда лоскут красной рубахи, сапог желтый, плохо смазанный дегтем, то лапоть или голые заскорузлые ступни ног.

— Шумит водяного мельница!— говорит один.

Другой замечает свое:

— Шолоник[1] дует! Того гляди, завтра памороку с дождем натянет.

— Да, под дождиком неладно быть... А те, черти, в байнето поют.

— Их не замочит! им тепло...

— Дров много — у леса дров не занимать...

— А хто это, братцы, в байне-то?

— Старые лободыры! Микишка с Харитонком — сысовляна.

— Вишь! А пошто они?

— Сказано от начальства — «труддизинтёры»!

— Врешь!

— А как по-твоему?

— Комиссар бает — «саболдажники». Самогонку, вишь, гнали в байне-то. Гыт: «Не спущу, города спробуете!»

— Спустит!

— «Не спущу», гыт!

— Спустит, потому без них нельзя...

— Ну-у?

У другого костра кто-то рассказывает:

— Бродил, бродил — в церькву зашел, холодно мне было, и голодуха долит... В церькви темно — лучина горит, поп в холоде тоже заплетается. Огляделся — гроб стоит, а на гробу написано в разных местах: «Торговый дом Синицына»; из каких-то, вишь, канфетных ящиков сколочен. Думал я — купчиха померла, а поспрошал: «Нищий преставился». Плюнул, пошел смышлять еды, потому знают чудотворцы, что робята не богомольцы, ежели в брюхе

[1] Юго-западный ветер.

кишка к кишке. Эй, робятцы! Искорье от вас да на нас — чуете?

— Ни-што-о! Наши да ваши бархаты не горят — заштрахованы.

У того же костра, с другой стороны, еще голос:

— Приехал эдакой в деревню, уружье купил. «Я, гыт, ныне из дворянского звания, ком-беднота-а!» Изба у ево старая да большая. Ну, известно, скушно, зачал стрелять в окна да образа... Запрягет, бывало, братниных коней пару в челн, к челну колеса приладит, едет да колом пихается, будто по воде — галуха, право! Робята юром, бабы сзади... Нашлась дура, замуж пошла... Гы-ы! Осенью рано мороз пал — холодина в избе, спят на соломе, а постелей с подушками окна затычут... Сгоношил он шальной бабе робенка и помер, штоб ему царство небесное!..

Пахнет травой, водой от реки, дымом костров. Подростки стараются, рубят ближайшую изгородь, кусты можжевельника, кидают в огонь, огни трещат, сыплют мелкие звезды в черное небо. До половины реки пляшут на гребнях волн рыжие гривы; у берега, в тусклом отблеске неровных струй, изгибаются тени людей, а водопады шумят...

У другого костра кто-то громко рассказывает сказку, и люди тянутся туда, обступили плотно, даже снизу не видать огня, светятся лишь головы и лица.

— Жили два старика, и ништо им, робятцы-братцы, не удавалось, а надумают — бестолково выходит. Вот раз надумал один: «Давай-кось торгованами станем?» — «А какой товар повезем, али старух своих на мясо изрубим?» — «Нет, пошто старух! Давай ты снегу сани наклади, я песку, да поедем в город».

На сгорке поют:

Все мужья до жен горазд добры,
Обрядили своих баб в бобры!

— Ишь, черти!

— Н-да, робятцы-братцы! Не продали старики свой товар; едут домой. Один опять надумал: «Давай меняться товарами?» — «Давай».— «Тебе песок, мне снег. Только песок дороже снегу; снег растает, а песок никогда. Придачи прошу три копейки!» — «Ладно, дома отдам!» Приехал старик домой и дома вспомнил: три-то копейки попу за требу отдал, а больше нет. Только знает, что другой старик по бедности своей долгу не простит. Подумал, надумал, сказал: «Пойдем, старуха, на кладбище в часовню, разденусь я,

а ты привяжи меня к доске. Придет сосед долг просить, плачь и скажи: «Помер». Ну, старуха так, робятцы, все и сработала. Только другой старик ей не поверил, пришел на кладбище, залез под часовню, ждет, думает: «Врешь, есть захочешь — оживешь!»

Мой-то муж злодей недобрый был,
Ни куницу, соболя не подарил...

— Запоете ужо, баиники, как в город свезут!

— Ни черта они не боятся!

— Так вот... Лежит старик под часовней и чует: пришло туды много людей, а были то разбойники, обкрали церькву. Зачали тут делить краденое, атаман и говорит: «Саблю надо сготовить, не ровен час, имать придут»,— и вынул саблю, застукал ей и ище говорит: «Тут покойник — это, значит, мертвое тело, а дай-кось я об ево саблю попробую, востра ли? Неужели нараз не перерублю?» Скинул он шапку, засучил рукава да ка-ак замахнется, а старик с перепугу сорвался с доски да как заорет что есть духу: «Вставайте из гробов все мертвые!» Другому старику примстилось что-то страшное, он как почнет под полом возиться да головой стукать, а разбойники — бежать. Отбежали верст пять, одумались. «Надо, братцы-робятцы, глянуть, сколь мертвецов повылезло?» Только никто не идет, но один сыскался: «Дай пойду, погляжу, а вы ждите меня!» Подполз он к часовне, приткнулся к стенке и слушает: «Ты мне три копейки должен, я беру за то атаманову шапку!» Вернул разбойник к своим и говорит: «Их столько вылезло что нашего добра им не хватило и по три копейки твою, атаман, шапку делят!»

— Надо спать!— говорит кто-то.

В другом месте еще рассказ:

— Принес кузнецу железо: «Скуй топор!» — «Ладно, приходи завтря». Пришел. «Нет, гыт, топор не вышел, ножик выйдет!» — «Ну, черт с тобой — куй ножик!» — «Приходи завтря». Пришел. «Нет, гыт, ножик не вышел».— «А что выйдет?» — «Да шило, гыт, выйдет!» — «Куй шило, в хозяйстве гоже».— «Приходи завтря!» Пришел. «Нет, гыт, шило не вышло».— «Да что ж у тя выйдет-то?» — «Да шип выйдет».— «Когда прийти?» — «А не уходи, гыт, я живо!» Взял он, накалил железо и в воду бросил — зашипело. «Вот те, гыт, вишь, на энтот раз своего добился!»

— Таких кузнецов по всякому делу много!

— Эй, слушь! Камиссар идет.

— Пущай идет!

К лободырам подошел комиссар. У огня расступились, дали место. Он сел на обрубок дерева, поправил кобуру с револьвером, закурил, потом сказал громко и раздельно, чтоб было слышно многим:

— Кто из вас, товарищи, по сплаву ловчее и смелее?

— Удалых тут много!

— Едреные мужики есть!

— Сколько вас здесь, по реке, и у огней?

— С подростельником сот пять наберется!

— Кто из вас залом разберет?

— Таких, правду тебе сказать, нету!

— Нет? А как же быть?

— Нету, ей-ей!

— Врет он, товарыш камиссар!

— Я тоже думаю: не может быть такого! Неужели в толпе?..

— Двое есть, они разберут!

— Ну вот! Зовите их сюда.

— Позвать нельзя — там часовой!

— Ах, это те, в бане? Дезертиры труда?

— Они из веков такие, товарыш!

— Не может быть! Из веков ничего не делали?

— Ничего! Только пьянствовали, на балалайке аль гармошке играли, ну, а когда залом — работали, и деньги им за то давали немалые...

Комиссар встал, пошел в гору к бане. Вслед ему кто-то крикнул:

— Им раз плюнуть — разберу-ут!

В черной тесной бане с черными стенами от дыма, с черным лоснящимся потолком, с черной каменкой, с полка, тоже черного, торчали четыре подошвы потрепанных лаптей; из глубины полка на комиссара глядели четыре глаза. В стене воткнутая в паз смольливая лучина коптила. От нее было больше дыма, чем света. Длинный уголь змеился впереди огня, окаймленный серыми каемками пепла. Близко в стороне, на маленьком оконце стекла, тускло маячил тусклый отблеск.

Комиссар вошел, нагибаясь, чтоб не запачкать о потолок фуражки, придвинул плотнее к стене хромую скамью, сел.

— Поди-к ты! Товарыш камиссар... сам товарыш... Честь, значит,— слышь, Харитон? эй, слышь?!

— А ну яво в куричий хвост!

— Пришел поглядеть, не сбегли ли? Не сбегем. Все мужья до жен горазд добры-ы!

— Слышь, погодь, Харитон!

— Гожу. Это он нас наладить хочет в город... Ну, да погоди-и-т!

— Я пришел поговорить с вами, товарищи.

— Мы не товарыши — мы бобыли деревни Сысовы.

— Слушайте! Я освобожу вас и, если разберете залом, выхлопочу вам наградной паек.

— Заломило? Значит, лободырам масленица!

— Она самая! Делать нечего, а баб да девок много — гуляй!

— Беретесь?

— Залом как залом. Сперва багром, а там хошь помялом...

— Часового я сниму, идите к кострам и завтра начинайте!

— Надо сторговаться, товарыш, без торгов не начнем!

— А вы знаете, за что посажены? Вы посажены за саботаж и самогонку, которую здесь гнали, и я ее нашел... На работе вы не были и от десятника багров не приняли.

— Пошто ты, товарыш, пришел сюды? Ведь народу у реки тьма. Оно правда, багров не взяли, а пошто нам их? Бревна толкать не мужики, мальчишки могут... Наше дело залом ломать. У тебя, товарыш, закон: всяк будь на месте, дела не делай, а от дела не бегай. Не работаешь — лодырь! Наша правда така: «Крой да песни пой, а почнешь кручиниться — вошь накинется!» И ходим мы с балалайкой, покеда придется за триста глупых двоим умным работать,— тогда давай нам багры!..

— Это все рассказы! Не выйдете разбирать залом, то за самогонку и труддезертирство вас будет судить ревтрибунал. Поняли?

— Пустое! Сам нас не выдашь, а вот по твоим законам, товарыш, правда, судить надо... Самогонщик иной последний фунт ржи варит, да спортит и пьет кисель, столбун окаянный! Вот мы с Харитонкой когда-ся пили, а еще все полупьяны,— потому выпьешь воды, а закваска в брюхе бродит, и тошно, ой, как тошно!

— Если так скверно, зачем пьете?

— В городу тебе пымать самогонку дело скорое, и милиции там много, и народу густо... В деревне с самогонкой дело затяжное — место широкое, и закон тут мало значит...

Комиссар презрительно улыбнулся:

— Какой же, по-вашему, должен быть закон для деревни?

Говоривший, с лицом, замаранным сажей, сел на полке, размахивая заскорузлой, тоже черной лапой, сказал:

— Простой! Вот моя думка: старикам да взрослым, кои обсеменились, подай водку; подростельник, молодежь то ись, чтоб ни-ни! Их, ежели в свином образе сыщутся,— сажай в чулан да на работу без отдоху. Тогда, по моей арихметике, и самогонка изничтожится, и хлеб цел останется, кому захотца бурду пить? Стариков, былых пьяниц, спасать нечего — пропьются, небойсь, опасутся!

Лежавший на полке потянул приятеля за рубаху.

— Перед начальством, Микифор, сидеть негоже — ложись!

— Ну, я не о том с вами пришел говорить: вы знаете, что вас ждет,— строго сказал комиссар.

Никишка лег и лежа заговорил:

— Не пужай — пуганы! Подумай: сколь раз мы смерти в зубы глядели?.. Ты нас расстрелять можешь, а залом дальше по реке на аршин не двинешь. Вся сила в нас. Нас двое немудрых, опрахотелых суседа, Микишка шальной да Харитонко... Водки мы на своем веку ведра выпили, платьишко носили дешевое, жили глупо, но ты нас не перешивай и не пужай. Расстреляй возьми, а залом-то в порогах обмерзнет, сгниет, водяному на огородь гож будет. Но ежели твое начальство правильное, то тебя тоже за лес судить будут!..

Комиссар встал, сгибая под низким потолком голову. Тот же голос продолжал:

— Часового ты убери — ветер на него, потому сгорок крутой, дождит часто, а мы и так не побегем, хошь спи на нас — смирны!

— Часовой солдат — не баба и должен быть там, куда назначен! Еще вас спрашиваю, Харитон и Никифор, идете вы разобрать залом и похвалу получить или...

— Ежели на двоих даст он бутылку спирту, фунт табаку и старухам нашим чаю, сахару,— разберем!— сказал другой голос.

Комиссар ушел. Из бани послышалась песня:

Ты пальто мое, пальто-о!
Не берет тебя никто!
Выйду в люди, закричу:
Караул, пиджак хочу-у!

Утром комиссар стоял на сгорке. Десятники собирали людей. По небу громоздились густые тучи, слегка моросило. Ветер, пробегая полями, сгибал местами несжатую рожь.

На воде извивались белесые барашки, а залом все рос, но рос не в вышину, а в ширину,— прибывающие к залому бревна располагалнсь по реке плотными, широкими массами. Лободыры подшучивали.

— Кончило городнть! Зачало мостить.

Бревна наводопели, лоснились. Народ, собравшись, гудел. Кто-то в толпе бормотал песню, другой кто-то подхватывал скороговоркой:

Лободыры, речные печальиики,
Выгонялн вас к лесу начальиики.
Гиали лес, подгоняли да такали,
Выводили буренку да плакали
Было дело в иедавиих годах,
Вишь, оставили портки иа рогах!

Напрягая голос, комиссар крикнул:

— Перестаньте петь! Слушайте-е! Кто из вас, товарищи, разберет залом, получнт наградной паек: чай, сахар, крупу, табак!

Лободыры молчат, упершнсь баграми в землю.

Головы опущены. Слышен шум ветра, шум водопадов, слышно шуршанье бревен.

— Стыдно, товарищи! Неужели в такой толпе нет смелого разобрать бревна?

— Да, вишь, товарыш! Залом-от надо разбирать с лица.

— Там как знаете!

— Затылок-от, вншь ты, на реку глядит, а лицо в пороги!

— Не мне вас учить — вы знаете, как и что делать!

— Теперича так: тронь-ка ево с порогов-то, душу не уволокешь... Один гром от ево на пять верст пойдет!

— Я скажу еще: тот, кто пустнт лес дальше, получит за работу продуктами!

— Конешно, мы о продуктах соскучали... Мы бы, ежели что не смерть...

— Ну, принимайтесь!

— Чуем, товарыш, примемся!..

Народ направился по мостам к залому, засуетнлись нескладно, вяло принялнсь вышибать из залома бревна, откатывать вниз и для виду покрикивали, предупреждая друг друга.

Комиссар оглядел копошащихся у залома людей, сурово, не без гордости, оглянулся на гору, на черную лачужку с часовым у дверей, пошел к себе, а вслед ему кто-то крикнул:

— Ослобони банных! Наши зря будут время вадить.

Каждый день лободыры, выгнанные десятниками разбирать бревна, работали не покладая рук, смело ходили по сплошному, широкому мосту, который от берега до берега все плотней мостила буйная река, вышибали застрявшие в заломе бревна, бревна скатывались вниз, скользя и глухо постукивая, иные перекатывались через залом, водопады жадно подхватывали их и с треском гнали мимо каменных выступов, омываемых бешеной водой, а залом стоял недвижимо. С каждым днем работа велась скучнее, ленивее, лободыры посмеивались сами над собой:

— Один рубит, а семеро в собачий хвост трубят!

Вечером пожилые гонщики разводили на берегу на прежнем месте костры, кипятили воду, ели сухари, похлебку и черствый хлеб. Иногда, у кого была, варили соленую рыбу и, поужинав, устраивались спать, наговорившись вволю. Младшие, наскоро поев, мылись, причесывались одним гребешком на двадцать человек и по мостам, как по суше, уходили за реку, в одинокую деревню за три версты от залома. Деревня была большая, девок много, а парней мало, и лободыры считались желанными гостями на «сбеганье» и вечеринках. Пока было светло и сухо, играли среди деревни, плясали «шином» вроде польки, а натоптавшись под звуки гармошки, забирали каждый свою пару, уходили сидеть за гумна или бани. Возвращались утром не к работе, а в перелески и кусты, спали. После обеда, позевывая и поплевывая на руки, тянули из залома баграми бревна, но залом от бесцельной работы, казалось, окреп, осел на целый год.

Комиссар приходил, долго и зорко смотрел за рабочими, удивлялся, что, несмотря на все усилия, залом не поддается.

Сегодня лунная ночь. За рекой в деревне молодые лободыры затеяли «сбеганье» по скошенным наволокам, прятались с девками да садились под зароды, потому что из деревни их мужики погнали:

— Кажинную ночь в гумно с цигарками, еще пожар учините, чужие!

Парни не унывали, ночь светлая, теплая. Девки — те надумали свое: откупили для вечеринки избу и с полуночи перебрались гулять туда.

У залома лободыры долго не ложились спать, балагурили с парнями, шутили, когда те собирались на гулянье:

— Во што, робяты! Стоять мы здеся ище долго будем —

лесу много, хошь избу строй. А вы девок приводите сюды, и нам весело будет.

— Правда, женачи! Ужо вам баб приведем.

На сплошной помост залом кидал огромную косматую тень, верхушка залома серебрилась от пены, пена выползала все выше, крутилась на ветре и разлеталась в сизом лунном воздухе.

Над водопадами, выше залома, вверх к небу стоял голубой блестящий столб мелких брызг. Над сонным жнивьем летала медленно и деловито крупная серая сова, иногда садилась на изгородь и, присвистывая, щелкала клювом.

Водопады бормотали свое, однообразное, много вековое.

Комиссар постоял на обрыве над порогами, с замиранием сердца поглядел в глубину пропасти, куда бесконечно уходили гигантские полосы белесой с ярко-синим воды, выкурил папиросу, пошел, медленно разглядывая залом и огни под горой. Подошел по сгорку к бане, освободил с поста часового, потом спустился вниз, где лободыры благодушно устраивались около огней на ночлег, вызвал из харчевой старшего десятника:

— Как быть с теми, в бане?

— Правду сказать — полагается им спирт..

Комиссар махнул сердито рукой, ушел к себе.

Старший десятник, войдя в баню, развернул сверток поставил бутылку на скамью. На полке четыре берестовых подошвы мигом исчезли — два черных человека, словно большие налимы, неслышно соскользнули с полка.

— Приказано передать! Тут все, и закуска... Только, ребята, лес должен быть завтра в порогах.

— Оно взаправду? — сказал один, дрожащей рукой хватаясь за посудину.

— Погоди, Микиша! Надо толком, тут где-то кринка была...

— Эво, нашел!

— Помаленьку... с водушкой надо! с водушкой!

— Слышите, ребята? Лес должен быть завтра в порогах!

— Слышим... Ты говори, милай! Ты, видать, недавно в десятниках?

— Да, первый сплав... Я в комхозе...

— Так, в коньем возе? Лес завтря не будет в порогах

— Жаль, а хотелось бы скорее.

— Погоди, Микиша! Надобно вместях, а то ты...

— Ты, милай, воздай товарышу камиссару — чтоб ему долго жить! — спасибо, да скажи, лес никак не будет завтря в порогах!

— Они, вишь, пятнадцать верст... Эй, Харитонко! Лешай, не переливай... Не, брат ты мой... не заработано-о...

— Ты о песне суди! чего с работой...

Так не будет в порогах? Жаль! Очень уж надоело глядеть, как люди зря трудятся... Ну, я иду, простите — ухожу

— Уходи — добрый день!

— Теперь еще ночь!

— Оно ты верно, что ночь, а мы-ы? Мы день, потому в черном — белое, а в белом все черное. Ты глянь: рожи черные, руки черные, а саван белой, ежели на тот свет обрядят ладом... Ты стой, десятник! Ты товарышу так и скажи: Харитонко да Микишка баяли — лес завтря не будет в порогах, будет за порогами. Понял?

Десятник ушел, подумал:

«Скоро как напились и хвастают, черти!»

Костры потухли, народ уснул. Луна передвинулась за полночь, стала еще ярче. За рекой песни и отдаленный шум гуляющих лободыров, скрип гармошки, визги и визгливые припевки девок смутно спорили с шумом водопадов.

Без шапок, обросшие, взъерошенные, слегка пошатываясь, расправляя длинные руки, вышли из бани двое черных, обнялись и, тычась лицом в лицо, закурили друг от друга. Покурив, ощупываясь, как слепые, сели на крутой сгорок, свесив ноги в лаптях, запели:

Да ие глупой я у батюшки росла,
У родителя разумницей слыла!
На поскотину коровушку сведу,
Отшачу свою кручинушку-беду.
Може, леший там коровушку возьмет?..

Из-за копоти, приставшей к волосам и лицам, они потеряли отличие друг от друга.

— Ладно угостил! Ты, Харитоша, как?

— Ей-богу ладно! Во што, браток Микишка, половина у нас осталась, но пить погодить... по-о-годить.

— Верно! дело кончить, а там хошь в звонари наймуся али в попы иди...

— Ты все о деле? Дело плевое, а песня, брат, штука ежели...

— Нет, дело первое. А слышь?
— Что-о?
— За рекой наши лободыры гуляют, девок грабают... Слышь?
— Право... оно так!
— Покеда залому не было, боялись в лодке ехать туды...
— Обосновались... зимовать ладят!..
— А знаешь, Харитон! Пущай-ка они там верст десятку око́ла дадут, а?
— Верно!
— Эх, головушка! Ночь месячная, иголки собирай.
Из-под шаркающих лаптей посыпались мелкие камни. Двое сошли к берегу реки, ходили около спящих лободыров, трогали ряд воткнутых в землю багров, один сказал:
— Черт народ! Жир копит, а багры ладом насадить лень.
— Я нашел по руке!
— Гляди насадку!
Найдя у реки багры, двое черных пошли к залому, и чем ближе шли, тем шаги их делались быстрее и легче. Поблескивали подмокшие лапти. Когда полезли на гору залома, один подал голос:
— Гляди-и!
— Вижу, торцевые здесь!
— Не трожь покеда!
Багры в их руках сверкали и постукивали, вонзаясь то тут, то там,— черные появились на гриве залома и, не трогая ни одного бревна, исчезли с другой стороны над шумящей пропастью.
Снова окрики, уже громкие, во весь голос:
— Бе-ери-сь!
— Держу-у!
— Скачи в сторону!
— На дальное — знаю!
— Вышибай!
— Ска-а-чи-и!
Начался оглушительный треск. Вертелись, ползли, кувыркались в глубину водопадов бревна. Голубой столб водяной пыли, казалось, до самого неба засиял над пропастью. В глубине ее, среди белой ночи, торчали каменные косы.

Двое черных, теперь мокрых, с прилипшими к телу рубахами, как существа, родные подводному миру, неслись вниз на бревнах, среди бревен. Вот бревно одного, брошенное страшной силой воды, летит на каменный выступ. Черный,

стоя на нем, не дал ему удариться с ним вместе — среди пены и брызг он мелькнул, молниеносно поймав багром другое бревно, а прежнее, ударившись об острый камень, расщепалось и переломилось.

Черные мечутся молча в аду брызг, шума, скрипа и треска, они знают каждый выступ в берегах, каждую бухту и к одной такой пристали, оттолкнув бревна. Бревна, оставленные ими, понеслись каменным руслом, а мокрые черные, прижавшись плотно к стенке узкого уступа, норовят закурить и высекают огонь. Мимо их каменным руслом гремят, пролетая, бревна, иногда обломки бревна, щепки и пена.

— Вымыло, брат Микиша!

— Потрезвило — надо ище выпить!

От треска, грохота, шума люди у огней просыпались, вскакивали и спрашивали спросонок:

— Кто?

— Залом-от?

— Залом!

— Глянь — вишь, у байны часовой ушел!

— Нечистая сила эти сысовляна!

— Да... Теперь, лободыры, забирай кошели — в порогах скоро!

— Ночи доспать не дали, черти!

Залом быстро таял. Вот уж тронулись мосты. Харчевую десятники крепили, а то бы ее унесло — пороги глотали и тянули в себя лес.

С другой стороны реки, в лунном свете, по серовато-зеленому берегу бежали черные человечки, подавали голоса за реку:

— Плоты-ы!.. Эй, плоты-ы!

— Ы-ы-ы... ты-ы...

— Давайте-е пло-о-ты!

— Ы-ы-ы,— стоял по реке отзвук.

Со стоянки от залома неторопливо советовали:

— А вы, парень-ки-и, еще гуляйте-е!

— Баб веди-и-те-е!

— Шишкайте-е-сь!

— Е-е-е-сь...

— Пло-о-о-ты!

В той же бане, теперь уже не охраняемой никем, на полке, при дымном свете лучины, лежали двое голых, Никишка с Харитоном. В бане было тепло, платье их сохло на грядке над каменкой.

Никишка тренькал на балалайке, рука плохо слушалась и худо попадала на струны. Харитонко сонно полупьяным голосом напевал:

Во саду ли бабу вздули —
Девка убежала-а!

1923 — 1925 гг.

Михаил Булгаков

ХАНСКИЙ ОГОНЬ

Когда солнце начало садиться за орешневские сосны и бог Аполлон Печальный перед дворцом ушел в тень, из флигеля смотрительницы Татьяны Михайловны прибежала уборщица Дунька и закричала:

— Иона Васильич! А, Иона Васильич! Идите, Татьяна Михайловна вас кличут. Насчет экскурсий. Хворая она. Во щека!

Розовая Дунька колоколом вздула юбку, показала голые икры и понеслась обратно.

Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне Михайловне.

Ставни во флигельке были прикрыты, и уже в сенцах сильно пахло йодом и камфарным маслом. Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка Мумка и белое заячье с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз.

— Аль зубы? — сострадательно прошамкал Иона.

— Зу-убы...— вздохнуло белое.

— У... у... у... вот она, история,— пособолезновал Иона,— беда! То-то Цезарь воет, воет... Я говорю: чего, дурак, воешь среди бела дня? А? Ведь это к покойнику. Так ли я говорю? Молчи, дурак. На свою голову воешь. Куриный помет нужно прикладывать к щеке — как рукой снимет.

— Иона... Иона Васильич,— слабо сказала Татьяна Михайловна,— день-то показательный — среда. А я выйти не могу. Вот горе-то. Вы уж сами пройдите тогда с экскурсантами. Покажите им все. Я вам Дуньку дам, пусть с вами походит.

— Ну, что ж... Велика мудрость. Пущай. И сами управимся. Присмотрим. Самое главное — чашки. Чашки самое

главное. Ходят, ходят разные... Долго ли ее... Возьмет какой-нибудь в карман, и поминай как звали. А отвечать — кому? Нам. Картину — ее в карман не спрячешь. Так ли я говорю?

— Дуняша с вами пойдет — сзади присмотрит. А если объяснений будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела.

— Ладно, ладно. А вы — пометом. Доктора — у них сейчас рвать, щеку резать. Одному так-то вот вырвали, Федору орешневскому, а он возьми да и умри. Это вас еще когда не было. У него тоже собака выла во дворе.

Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала:

— Идите, идите, Иона Васильич, а то, может, кто-нибудь и приехал уже...

Иона отпер чугунную тяжелую калитку с белым плакатом:

УСАДЬБА-МУЗЕЙ
Ханская ставка

Осмотр по средам, пятницам
и воскресеньям
от 6 до 8 час. веч.

И в половине седьмого из Москвы на дачном поезде приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых смеющихся людей человек в двадцать. Были среди них подростки в рубашках хаки, были девушки без шляп, кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте. Были в сандалиях на босу ногу, в черных стоптанных туфлях; юноши в тупоносых высоких сапогах.

И вот среди молодых оказался немолодой лет сорока, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый, если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходивших до колен и перетянутых на животе ремнем с бляхой «1-е реальное училище», да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину голого человека, а ноги у него были разные — правая толще левой, и обе разрисованы на голенях узловатыми венами.

Молодые люди и девицы держались так, словно ничего

изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы, но старого скорбного Иону голый поразил и удивил.

Голый между девушек, задрав голову, шел от ворот ко дворцу, и один ус у него был лихо закручен и бородка подстрижена, как у образованного человека. Молодые, окружив Иону, лопотали, как птицы, и все время смеялись, так что Иона совсем запутался и расстроился, тоскливо думал о чашках и многозначительно подмигивал Дуньке на голого. У той щеки готовы были лопнуть при виде разноногого. А тут еще Цезарь, как на грех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно, а на голого залаял с особенной хриплой, старческой злобой, давясь и кашляя. Потом завыл — истошно, мучительно.

«Тьфу, окаянный,— злобно и растерянно думал Иона, косясь на незваного гостя,— принесла нелегкая. И чего Цезарь воет. Ежели кто помрет, то уж пущай этот голый».

Пришлось Цезаря съездить по ребрам ключами, потому что вслед за толпой шли отдельно пятеро хороших посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и красная из-за голого. При ней девочка-подросток с заплетенными длинными косами. Бритый высокий господин с дамой красивой и подкрашенной и пожилой богатый господин-иностранец, в золотых очках колесами, широком светлом пальто, с тростью. Цезарь с голого перекинулся на хороших посетителей и с тоской в мутных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик дамы, а потом взвыл на иностранца так, что тот побледнел, попятился и проворчал что-то на не известном никому языке.

Иона не вытерпел и так угостил Цезаря, что тот оборвал вой, заскулил и пропал.

— Ноги о половичок вытирайте,— сказал Иона, и лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда когда он входил во дворец. Дуньке шепнул: «Посматривай. Дунь...» и отпер тяжелым ключом стеклянную дверь с террасы. Белые боги на балюстраде приветливо посмотрели на гостей.

Те стали подыматься по белой лестнице, устланной малиновым ковром, притянутым золотыми прутьями. Голый оказался впереди всех, рядом с Ионой, и шел, гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени.

Вечерний свет, смягченный тонкими белыми шторами,

сочился наверху через большие стекла за колоннами. На верхней площадке экскурсанты, повернувшись, увидали пройденный провал лестницы и балюстраду с белыми статуями и белые простенки с черными полотнами портретов и резную люстру, грозящую с тонкой нити сорваться в провал. Высоко, улетая куда-то, вились и розовели амуры.

— Смотри, смотри, Верочка,— зашептала толстая мать,— видишь, как князья жили в нормальное время.

Иона стоял в сторонке, и гордость мерцала у него на бритом сморщенном лице тихо, по-вечернему.

Голый поправил пенсне на носу, осмотрелся и сказал:

— Растрелли строил. Это несомненно. Восемнадцатый век.

— Какой Растрелли? — отозвался Иона, тихонько кашлянув.— Строил князь Антон Иоаннович, царствие ему небесное, полтораста лет назад. Вот как,— он вздохнул.— Прапрапрадед нынешнего князя.

Все повернулись к Ионе.

— Вы не понимаете, очевидно,— ответил голый,— при Антоне Иоанновиче, это верно, но ведь архитектор-то Растрелли был? А во-вторых, царствия небесного не существует и князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще я не понимаю, где руководительница?

— Руководительша,— начал Иона и засопел от ненависти к голому,— с зубами лежит, помирает, к утру кончится. А насчет царствия — это вы верно. Для кой-кого его и нету. В небесное царствие в срамном виде без штанов не войдешь. Так ли я говорю?

Молодые захохотали все сразу, с треском. Голый заморгал глазами, оттопырил губы.

— Однако, я вам скажу, ваши симпатии к царству небесному и к князьям довольно странны в теперешнее время... И мне кажется...

— Бросьте, товарищ Антонов,— примирительно сказал в толпе девичий голос.

— Семен Иванович, оставь, пускай! — прогудел срывающийся бас.

Пошли дальше. Свет последней зари падал сквозь сетку плюща, затянувшего стеклянную дверь на террасу с белыми вязами. Шесть белых колонн с резными листьями вверху поддерживали хоры, на которых когда-то блестели трубы музыкантов. Колонны возносились радостно и целомудрен-

но, золоченые легонькие стулья чинно стояли под стенами. Темные гроздья кенкетов глядели со стен, и точно вчера потушенные были в них обгоревшие белые свечи. Амуры вились и заплетались в гирляндах, танцевала обнаженная женщина в нежных облаках. Под ногами разбегался скользкий шашечный паркет. Странна была новая живая толпа на чернополосных шашках, и тяжел и мрачен показался иностранец в золотых очках, отделившийся от групп. За колонной он стоял и глядел зачарованно вдаль через сетку плюща.

В смутном говоре зазвучал голос голого. Повозив ногой по лоснящемуся паркету, он спросил у Ионы:

— Кто паркет делал?

— Крепостные крестьяне,— ответил неприязненно Иона,— наши крепостные.

Голый усмехнулся неодобрительно.

— Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтоб потом тунеядцы на них ногами шаркали. Онегины... трэнь... брень... Ночи напролет, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего.

Иона про себя подумал: «Вот чума голая навязалась, прости господи»,— вздохнул, покрутил головой и повел дальше.

Стены исчезли под темными полотнами в потускневших золотых рамах. Екатерина II в горностае, с диадемой на взбитых белых волосах, с насурьмленными бровями, смотрела во всю стену из-под тяжелой громадной короны. Ее пальцы, остроконечные и тонкие, лежали на ручке кресла. Юный курносый, с четырехугольными звездами на груди, красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. А вокруг сына и матери до самого лепного плафона глядели княгини и князья Тугай-Бег-Ордынские со своими родственниками.

Отливая глянцем, чернея трещинами, выписанный старательной кистью живописца XVIII века по неверным преданиям и легендам, сидел в тьме гаснущего от времени полотна раскосый, черный и хищный, в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли родоначальник — повелитель Малой орды хан Тугай.

За полтысячи лет смотрел со стен род князей Тугай-Бегов, род знатный, лихой, полный княжеских, ханских и царских кровей. Тускнея пятнами, с полотен вставала

история рода с пятнами то боевой славы, то позора, любви, ненависти, порока, разврата...

На пьедестале бронзовый позеленевший бюст старухи-матери в бронзовом чепце с бронзовыми лентами, завязанными под подбородком, с шифром на груди, похожим на мертвое овальное зеркало. Сухой рот запал, нос заострился. Неистощимая в развратной выдумке, носившая всю жизнь две славы — ослепительной красавицы и жуткой Мессалины. В сыром тумане славного и страшного города на севере была увита легендой потому, что первой любви удостоил ее уже на склоне своих дней тот самый белолосинный генерал, портрет которого висел в кабинете рядом с Александром I. Из рук его перешла в руки Тугай-Бега-отца и родила последнего нынешнего князя. Вдовой оставшись, прославилась тем, что ее нагую на канате купали в пруду четыре красавца-гайдука...

Голый, раздвинув толпу, постучал ногтем по бронзовому чепцу и сказал:

— Вот, товарищи, замечательная особа. Знаменитая развратница первой половины девятнадцатого века...

Дама с животом побагровела, взяла девочку за руку и быстро отвела ее в сторону

— Это бог знает что такое... Верочка, смотри, какие портреты предков...

— Любовница Николая Палкина,— продолжал голый, поправляя пенсне,— о ней даже в романах писали некоторые буржуазные писатели. А тут что она в имении вытворяла — уму непостижимо. Ни одного не было смазливого парня, на которого она не обратила бы благосклонного внимания... Афинские ночи устраивала...

Иона перекосил рот, глаза его налились мутной влагой и руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но ничего не молвил, лишь два раза глубоко набрал воздуху. Все с любопытством смотрели то на всезнающего голого, то на бронзовую старуху. Подкрашенная дама обошла бюст кругом, и даже важный иностранец, хоть и не понимавший русских слов, вперил в спину голого тяжелый взгляд и долго его не отрывал.

Шли через кабинет князя, с эспантонами, палашами, кривыми саблями, с броней царских воевод, со шлемами кавалергардов, с портретами последних императоров, с пищалями, мушкетами, шпагами, дагерротипами и пожелтевшими фотографиями — группами кавалергардского, где служили старшие Тугай-Беги, и конного, где служили младшие, со

снимками скаковых лошадей тугай-беговских конюшен, со шкафами, полными тяжелых старых книг.

Шли через курительные, затканные сплошь текинскими коврами, с кальянами, тахтами, с коллекциями чубуков на стойках, через малые гостиные с бледно-зелеными гобеленами, с карсельскими старыми лампами. Шли через боскетную, где до сих пор не зачахли пальмовые ветви, через игральную зеленую, где в стеклянных шкафах золотился и голубел фаянс и сакс, где Иона тревожно косил глазами Дуньке. Здесь, в игральной, одиноко красовался на полотне блистательный офицер в белом мундире, опершийся на эфес. Дама с животом посмотрела на каску с шестиугольной звездой, на раструбы перчаток, на черные, стрелами вверх подкрученные усы и спросила у Ионы:

— Это кто же такой?

— Последний князь,— вздохнув, ответил Иона,— Антон Иоаннович, в квалеградской форме. Они все в квалегардах служили.

— А где он теперь? Умер?— почтительно спросила дама.

— Зачем умер... Они за границей теперь. За границу отбыли при самом начале,— Иона заикнулся от злобы, что голый опять ввяжется и скажет какую-нибудь штучку.

И голый хмыкнул и рот открыл, но чей-то голос в толпе молодежи опять бросил:

— Да плюнь, Семен... старик он...

И голый заикнулся.

— Как? Жив?— изумилась дама.— Это замечательно!.. А дети у него есть?

— Деток нету,— ответил Иона печально,— не благословил господь... Да. Братец ихний младший, Павел Иоаннович, тот на войне убит. Да. С немцами воевал... Он в этих... в конных гренадерах служил. Он нездешний. У того имение в Самарской губернии было...

— Классный старик...— восхищенно шепнул кто-то.

— Его самого бы в музей,— проворчал голый.

Пришли в шатер. Розовый шелк звездой расходился вверху и плыл со стен волнами, розовый ковер глушил всякий звук. В нише из розового тюля стояла двуспальная резная кровать. Как будто недавно еще в эту ночь спали в ней два тела. Жилым все казалось в шатре: и зеркало в раме серебряных листьев, альбом на столике в костяном переплете и портрет последней княгини на мольберте — княгини юной,

княгиии в розовом. Лампа, граненые флаконы, карточки в светлых рамах, брошеииая подушка казалась живой... Раз триста уже водил Иона экскурсаитов в спальню Тугай-Бегов и каждый раз испытывал боль, обиду и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие глаза равиодушно шарили по постели. Срам. Но сегодия особеиио щемило у Ионы в груди от присутствия голого и еще от чего-то неясиого, что и понять было нельзя... Поэтому Иона облегченно вздохнул, когда осмотр кончился. Повел незваиых гостей через биллиардиую в коридор, а оттуда по второй восточной лестнице на боковую террасу и вои.

Старик сам видел, как гурьбой ушли посетители через тяжелую дверь и Дуиька заперла ее на замок.

Вечер иастал, и родились вечерние звуки. Где-то под Орешневом засвистали пастухи на дудках, за прудами звякали тонкие колокольцы — гнали коров. Вечером вдали прокотало несколько раз — на учебной стрельбе в красноармейских лагерях.

Иона брел по гравию ко двору, и ключи бреичали у него на поясе. Каждый раз, как уезжали посетители, старик аккуратно возвращался во дворец, один обходил его, разговаривая сам с собой и посматривая винмательно на вещи. После этого наступал покой и отдых, и до сумерек можно было сидеть на крылечке сторожевого домика, курить и думать о разиых старческих разиостях.

Вечер был подхощящий для этого, светлый и теплый, но вот покоя на душе у Ионы, как назло, не было. Вероятно, потому, что расстроил и взбудоражил Иону голый. Иона, ворча что-то, вступил на террасу, хмуро огляиулся, прогремел ключом и вошел. Мягко шаркая по ковру, он поднялся по лестнице.

На площадке у входа в бальный зал он остановился и побледнел.

Во дворце были шаги. Они послышались со стороны биллиардной, прошли боскетную, потом стихли. Сердце у старика остановилось на секунду, ему показалось, что он умрет. Потом сердце забилось часто-часто, вперебой с шагами. Кто то шел к Ионе, в этом не было сомнения, твердыми шагами, и паркет скрипел уже в кабинете.

«Воры! Беда! — мелькнуло в голове у старика.— Вот оно, вещее, чуяло... беда». Иона судорожно вздохнул, в ужасе

оглянулся, не зная, что делать, куда бежать, кричать. Беда...

В дверях бального зала мелькнуло серое пальто, и показался иностранец в золотых очках. Увидев Иону, он вздрогнул, испугался, даже попятился, но быстро оправился и лишь тревожно погрозил Ионе пальцем.

— Что вы? Господин? — в ужасе забормотал Иона. Руки и ноги у него задрожали мелкой дрожью.— Тут нельзя. Вы как же это остались? Господи, боже мой...— Дыхание у Ионы перехватило, и он смолк.

Иностранец внимательно глянул Ионе в глаза и, придвинувшись, негромко сказал по-русски:

— Иона, ты успокойся! Помолчи немного. Ты один?

— Один...— переведя дух, молвил Иона.— Да вы зачем, царица небесная?

Иностранец тревожно оглянулся, потом глянул поверх Ионы в вестибюль, убедился, что за Ионой никого нет, вынул правую руку из заднего кармана и сказал уже громко, картаво:

— Не узнал, Иона? Плохо, плохо... Если уж ты не узнаешь, то это плохо.

Звуки его голоса убили Иону, колена у него разъехались, руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол.

— Господи Иисусе! Ваше сиятельство. Батюшка, Антон Иоаннович. Да что же это? Что же это такое?

Слезы заволокли туманом зал, в тумане запрыгали золотые очки, пломбы, знакомые раскосые блестящие глаза. Иона давился, всхлипывал, заливая перчатки, галстух, тычась трясущейся головой в жесткую бороду князя.

— Успокойся, Иона, успокойся, бога ради,— бормотал тот, и жалостливо и тревожно у него кривилось лицо,— услышать может кто-нибудь...

— Ба... батюшка,— судорожно прошептал Иона,— да как же... как же вы приехали? Как? Никого нету. Нету никого, один я...

— И прекрасно, бери ключи, Иона, идем туда, в кабинет!

Князь повернулся и твердыми шагами пошел через галерею в кабинет. Иона, ошалевший, трясущийся, поднял ключи и поплелся за ним. Князь оглянулся, снял серую пуховую шляпу, бросил ее на стол и сказал:

— Садись, Иона, в кресло!

Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого, с выдвижным пультом для чтения, табличку с надписью «В кресла

не садиться» и сел напротив Ионы. Лампа на круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело вдавилось в сафьян.

В голове у Ионы все мутилось, и мысли прыгали бестолково, как зайцы из мешка, в разные стороны.

— Ах, как ты подряхлел, Иона, боже, до чего ты старенький! — заговорил князь волнуясь.— Но я счастлив, что все же застал тебя в живых. Я, признаться, думал, что уж не увижу. Думал, что тебя тут уморили...

От княжеской ласки Иона расстроился и зарыдал тихонько, утирая глаза.

— Ну, полно, полно, перестань...

— Как... как же вы приехали, батюшка? — шмыгая носом, спрашивал Иона.— Как же это я не узнал вас, старый хрен? Глаза у меня слепнут... Как же это вернулись вы, батюшка? Очки-то на вас, очки, вот главное, и бородка... И как же вы вошли, что я не заметил?

Тугай-Бег вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе.

— Через малую веранду из парка, друг мой! Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки (князь снял их), очки здесь уже, на границе, надел. Они с простыми стеклами.

— Княгинюшка-то, господи, княгинюшка с вами, что ли?

Лицо у князя мгновенно постарело.

— Умерла княгиня, умерла в прошлом году,— ответил он и задергал ртом,— в Париже умерла от воспаления легких. Так и не повидала родного гнезда, но все время его вспоминала. Очень вспоминала. И строго наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Она твердо верила, что мы увидимся. Все богу молилась. Видишь, бог и привел.

Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку. Иона, заливаясь слезами, закрестился на шкафы с книгами, на Александра I, на окно, где на самом донышке таял закат.

— Царствие небесное, царствие небесное,— дрожащим голосом пробормотал он,— панихидку, панихидку отслужу в Орешневе.

Князь тревожно оглянулся, ему показалось, что где-то скрипнул паркет.

— Нету?

— Нету, не беспокойтесь, батюшка, одни мы. И быть некому. Кто ж, кроме меня, придет.

— Ну, вот что. Слушай, Иона. Времени у меня мало. Поговорим о деле.

Мысли у Ионы вновь стали на дыбы. Как же, в самом деле? Ведь вот он. Живой! Приехал. А тут... Мужики, мужики-то!.. Поля?

— В самом деле, ваше сиятельство,— он умоляюще поглядел на князя,— как же теперь быть? Дом-то? Аль вернут?..

Князь рассмеялся на эти слова Ионы так, что зубы у него оскалились только с одной стороны — с правой.

— Вернут? Что ты, дорогой!

Князь вынул тяжелый желтый портсигар, закурил и продолжал:

— Нет, голубчик Иона, ничего они мне не вернут... Ты, видно, забыл, что было... Не в этом суть. Ты вообще имей в виду, что приехал-то я только на минуту и тайно. Тебе беспокоиться абсолютно нечего, тут никто и знать ничего не будет. На этот счет ты себя не тревожь. Приехал я (князь поглядел на угасающие рощи), во-первых, поглядеть, что тут творится. Сведения я кой-какие имел; пишут мне из Москвы, что дворец цел, что его берегут как народное достояние... На-ародное... (зубы у князя закрылись с правой стороны и оскалились с левой). Народное — так народное, черт их бери. Все равно. Лишь бы было цело. Оно так даже и лучше... Но вот в чем дело: бумаги-то у меня тут остались важные. Нужны они мне до зарезу. Насчет самарских и пензенских имений. И Павла Ивановича тоже. Скажи, кабинет-то мой рабочий растащили или цел? — Князь тревожно тряхнул головой на портьеру.

Колеса в голове Ионы ржаво заскрипели. Перед глазами вынырнул Александр Эртус, образованный человек в таких же самых очках, как и князь. Человек строгий и важный. Научный Эртус каждое воскресенье наезжал из Москвы, ходил по дворцу в скрипучих рыжих штиблетах, распоряжался, наказывал все беречь и просиживал в рабочем кабинете долгие часы, заваленный книгами, рукописями и письмами по самую шею. Иона приносил ему туда мутный чай. Эртус ел бутерброды с ветчиной и скрипел пером. Порой он расспрашивал Иону о старой жизни и записывал, улыбаясь.

— Цел-то цел кабинет,— бормотал Иона,— да вот горе, батюшка ваше сиятельство, запечатан он. Запечатан.

— Кем запечатан?

— Эртус Александр Абрамович из комитета...

— Эртус? — картаво переспросил Тугай-Бег.— Почему же именно Эртус, а не кто-нибудь другой запечатывает мой кабинет?

— Из комитета он, батюшка,— виновато ответил Иона,— из Москвы. Наблюдение ему, вишь, поручено. Тут, ваше сиятельство, внизу-то, библиотека будет и учить будут мужиков. Так вот он библиотеку устраивает.

— Ах, вот как! Библиотеку,— князь ощерился,— что ж, это приятно! Я надеюсь, им хватит моих книг? Жалко, жалко, что я не знал, а то бы я им из Парижа еще прислал. Но ведь хватит?

— Хватит, ваше сиятельство,— растерянно хрипнул Иона,— ведь видимо-невидимо книг-то у нас,— мороз прошел у Ионы по спине при взгляде на лицо князя.

Тугай-Бег съежился в кресле, поскреб подбородок ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковинно похож на портрет раскосого в мурмолке. Глаза его подернулись траурным пеплом.

— Хватит? Превосходно. Этот твой Эртус, как я вижу, образованный человек и талантливый. Библиотеки устраивает, в моем кабинете сидит. Да-с. Ну... а знаешь ли ты, Иона, что будет, когда этот Эртус устроит библиотеку?

Иона молчал и глядел во все глаза.

— Этого Эртуса я повешу вон на той липе,— князь белой рукой указал в окно,— что у ворот. (Иона тоскливо и покорно глянул вслед руке.) Нет, справа, у решетки. Причем день Эртус будет висеть лицом к дороге, чтобы мужики могли полюбоваться на этого устроителя библиотек, а день лицом сюда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку. Это я сделаю, Иона, клянусь тебе, чего бы это ни стоило. Момент такой настанет, Иона, будь уверен, и, может быть, очень скоро. А связей, чтобы мне заполучить Эртуса, у меня хватит. Будь покоен...

Иона судорожно вздохнул.

— А рядышком,— продолжал Тугай нечистым голосом,— знаешь кого пристроим? Вот этого голого. Антонов Семен. Семен Антонов,— он поднял глаза к небу, запоминая фамилию.— Честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря, если только он не подохнет до той поры или если его не повесят в общем порядке на Красной площади. Но если даже повесят, я перевешу его на день-два к себе. Антонов Семен уже раз пользовался гостеприимством в Ханской ставке и голый ходил по дворцу в пенсне,— Тугай проглотил слюну,

отчего татарские скулы вылезли желваками,— ну что ж, я приму его еще раз, и тоже голого. Ежели он живым мне попадется в руки, у, Иона!.. не поздравлю я Антонова Семена. Будет он висеть не только без штанов, но и без шкуры! Иона! Ты слышал, что он сказал про княгиню-мать? Слышал?

Иона горько вздохнул и отвернулся.

— Ты верный слуга, и, сколько бы я ни прожил, я не забуду, как ты разговаривал с голым. Неужели тебе теперь не приходит в голову, как я в ту же секунду не убил голого? А? Ведь ты же знаешь меня, Иона, много лет? — Тугай-Бег взялся за карман пальто и выдавил из него блестящую рубчатую рукоятку; беловатая пенка явственно показалась в углах рта, и голос стал тонким и сиплым.— Но вот не убил! Не убил, Иона, потому что сдержался вовремя. Но чего мне стоило сдержаться, знаю только один я. Нельзя было убить, Иона. Это было бы слабо и неудачно, меня схватили бы, и ничего бы я не выполнил из того, за чем приехал. Мы сделаем, Иона, большее... Получше,— князь пробормотал что-то про себя и стих.

Иона сидел, мутясь, и в нем от слов князя ходил холодок, словно он наглотался мяты. В голове не было уже никаких мыслей, а так, одни обрывки. Сумерки заметно заползали в комнату. Тугай втолкнул ручку в карман, поморщившись, встал и глянул на часы.

— Ну, вот что, Иона, поздно. Надо спешить. Ночью я уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот что,— у князя в руках очутился бумажник,— бери, Иона, бери, верный друг! Больше дать не могу, сам стеснен.

— Ни за что не возьму,— прохрипел Иона и замахал руками.

— Бери! — строго сказал Тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белые бумажки. Иона всхлипнул.— Только смотри, тут не меняй, а то пристанут — откуда. Ну-с, а теперь самое главное. Позволь уж, Иона Васильевич, перебыть до поезда во дворце. В два ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги.

— Печать-то, батюшка,— жалобно начал Иона.

Тугай подошел к двери, отодвинул портьеру и сорвал одним взмахом веревочку с сургучом. Иона ахнул.

— Вздор,— сказал Тугай,— ты, главное, не бойся! Не бойся, мой друг! Я тебе ручаюсь, устрою так, что тебе ни за что не придется отвечать. Веришь моему слову? Ну, то-то...

Ночь подходила к полночи. Иону сморило сном в караулке. Во флигельке спали истомленная Татьяна Михайловна и Мумка. Дворец был бел от луны, слеп, безмолвен...

В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа, мягко и зелено освещая вороха бумаг на полу, на креслах и на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорали стеариновые свечи в канделябрах. Нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах, Александр I ожил и, лысый, мягко улыбался со стены.

За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в штатском платье и с кавалергардским шлемом на голове. Орел победно взвивался над потускневшим металлом со звездой. Перед человеком сверх вороха бумаг лежала толстая клеенчатая тетрадь. На первой странице бисерным почерком было написано вверху:

Алекс. ЭРТУС
История Ханской ставки

ниже:

1922—1923.

Тугай, упершись в щеки кулаками, мутными глазами глядел не отрываясь на черные строчки. Плыла полная тишина, и сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты, часы. И двадцать минут, и полчаса сидел князь недвижно.

Сквозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук. Князь очнулся, встал, громыхнув креслами.

— У-у, проклятая собака,— проворчал он и вошел в парадный кабинет. В тусклом стекле шкафа навстречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, побледнел, болезненно усмехнулся.

— Фу,— прошептал он,— с ума сойдешь.

Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя в стекло, и вдруг яростно ударил шлем оземь так, что по комнатам пролетел гром и стекла в шкафах звякнули жалобно. Тугай сгорбился после этого, отшвырнул каску в угол ногой и зашагал по ковру к окну и обратно. В одиночестве, полный, по-видимому, важных и тревожных дум, он обмяк, постарел и говорил сам с собой, бормоча и покусывая губы:

— Это не может быть. Не... не... не...

Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые зыбкие люди. Круто повернув на одном из кругов, Тугай подошел к стене и стал всматриваться. На продолговатой фотографии тесным амфитеатром стояли и сидели застывшие и так увековеченные люди с орлами на головах. Белые раструбы перчаток, рукояти палашей. В самом центре громадной группы сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача человек. Но головы сидящих и стоящих кавалергардов были вполоборота напряженно прикованы к небольшому человеку, погребенному под шлемом.

Подавлял белых напряженных кавалеристов маленький человек, как подавляла на бронзе надпись о нем. Каждое слово в ней с заглавной буквы. Тугай долго смотрел на самого себя, сидящего через двух человек от маленького человека.

— Не может быть,— громко сказал Тугай и оглядел громадную комнату, словно в свидетели приглашал многочисленных собеседников.— Это сон.— Опять он пробормотал про себя, затем бессвязно продолжал: — Одно, одно из двух: или это мертво... а он... тот... этот... жив... или я... не поймешь...

Тугай провел по волосам, повернулся, увидел идущего к шкафу, подумал невольно: «Я постарел»,— опять забормотал:

— По живой моей крови, среди всего живого шли и топтали, как по мертвому. Может быть, действительно я мертв? Я — тень? Но ведь я живу,— Тугай вопросительно посмотрел на Александра I,— я все ощущаю, чувствую. Ясно чувствую боль, но больше всего ярость,— Тугаю показалось, что голый мелькнул в темном зале, холод ненависти прошел у Тугая по суставам,— я жалею, что я не застрелил. Жалею.— Ярость начала накипать в нем, и язык пересох.

Опять он повернулся и молча заходил к окну и обратно, каждый раз сворачивая к простенку и вглядываясь в группу. Так прошло с четверть часа. Тугай вдруг остановился, провел по волосам, взялся за карман и нажал репетир. В кармане нежно и таинственно пробило двенадцать раз, после паузы на другой тон один раз четверть и после паузы три минуты.

— Ах, боже мой,— шепнул Тугай и заторопился. Он огляделся кругом и прежде всего взял со стола очки и надел их. Но теперь они мало изменили князя. Глаза его косили,

как у хана на полотне, и белел в них лишь легкий огонь отчаянной созревшей мысли. Тугай надел пальто и шляпу, вернулся в рабочий кабинет, взял бережно отложенную на кресле пачку пергаментных и бумажных документов с печатями, согнул ее и с трудом втиснул в карман пальто. Затем сел к конторке и в последний раз осмотрел вороха бумаг, дернул щекой и, решительно кося глазами, приступил к работе. Откатив широкие рукава пальто, прежде всего он взялся за рукопись Эртуса, еще раз перечитал первую страницу, оскалил зубы и рванул ее руками. С хрустом сломал ноготь.

— А т... чума! — хрипнул князь, потер палец и приступил к работе бережней. Надорвав несколько листов, он постепенно превратил всю тетрадь в клочья. С конторки и кресел сгреб ворох бумаг и натаскал их кипами из шкафов. Со стены сорвал небольшой портрет елизаветинской дамы, раму разбил в щепы одним ударом ноги, щепы на ворох, на конторку и, побагровев, придвинул в угол под портрет. Лампу снял, унес в парадный кабинет, а вернулся с канделябром и аккуратно в трех местах поджег ворох. Дымки забегали, в кипе стало извиваться, кабинет неожиданно весело ожил неровным светом. Через пять минут душило дымом.

Прикрыв дверь и портьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По вспоротому портрету Александра I лезло, треща, пламя, и лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрепанные томы горели стоймя на столе, и тлело сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел. В глазах его теперь были слезы от дыму и веселая бешеная дума. Опять он пробормотал:

— Не вернется ничего. Все кончено. Лгать не к чему. Ну так унесем же с собой все это, мой дорогой Эртус.

...Князь медленно отступал из комнаты в комнату, и сероватые дымы лезли за ним, бальными огнями горел зал. На занавесях изнутри играли и ходуном ходили огненные тени.

В розовом шатре князь развинтил горелку лампы и вылил керосин в постель; пятно разошлось и закапало на ковер. Горелку Тугай швырнул на пятно. Сперва ничего не произошло: огонек сморщился и исчез, но потом он вдруг выскочил и, дыхнув, ударил вверх, так что Тугай еле отскочил. Полог занялся через минуту, и разом, ликующе, до последней пылинки, осветился шатер.

— Теперь надежно,— сказал Тугай и заторопился.

Он прошел боскетную, биллиардную, прошел в черный коридор, гремя, по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул из освещенной луной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк. Чтобы не слышать первого вопля Ионы из караулки, воя Цезаря, втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму...

1923

Михаил Зощенко

СТАКАН

Тут недавно маляр Иван Антонович Блохин скончался по болезни. А вдова его, средних лет дамочка, Марья Васильевна Блохина, на сороковой день небольшой пикничок устроила.

И меня пригласила.

— Приходите,— говорит,— помянуть дорогого покойника чем бог послал. Курей и жареных утей у нас,— говорит,— не будет, а паштетов тоже не предвидится. Но чаю хлебайте сколько угодно, вволю и даже можете с собой домой брать.

Я говорю:

— В чае хотя интерес небольшой, но прийти можно. Иван Антонович Блохин, довольно,— говорю,— добродушно ко мне относился и даже бесплатно потолок побелил.

— Ну,— говорит,— приходите тем более.

В четверг я и пошел.

А народу приперлось множество. Родственники всякие. Деверь тоже, Петр Антонович Блохин. Ядовитый такой мужчина со стоячими кверху усиками. Против арбуза сел. И только у него, знаете, и делов, что арбуз отрезает перочинным ножом и кушает.

А я выкушал один стакашек чаю, и неохота мне больше. Душа, знаете, не принимает. Да и вообще чаишко неважный, надо сказать,— шваброй малость отзывает. И взял я стакашек и отложил к черту в сторону.

Да маленько неаккуратно отложил. Сахарница тут стояла. Об эту сахарницу я прибор и кокнул, об ручку. А стакашек, будь он проклят, возьми и трещину дай.

Я думал, не заметят. Заметили, дьяволы.

Вдова отвечает:

— Никак, батюшка, стакан тюкнули?

Я говорю:

— Пустяки, Марья Васильевна Блохина. Еще продержится.

А деверь нажрался арбуза и отвечает:

— То есть как это пустяки? Хорошие пустяки. Вдова их в гости приглашает, а они у вдовы предметы тюкают.

А Марья Васильевна осматривает стакан и все больше расстраивается.

— Это,— говорит,— чистое разорение в хозяйстве — стаканы бить. Это,— говорит,— один — стакан тюкнет, другой — крантик у самовара начисто оторвет, третий салфетку в карман сунет. Это что ж и будет такое?

А деверь, паразит, отвечает:

— Об чем,— говорит,— речь. Таким,— говорит,— гостям прямо морды надо арбузом разбивать.

Ничего я на это не ответил. Только побледнел ужасно и говорю:

— Мне,— говорю,— товарищ деверь, довольно обидно про морду слушать. Я,— говорю,— товарищ деверь, родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать. И вообще,— говорю,— чай у вас шваброй пахнет. Тоже,— говорю,— приглашение. Вам,— говорю,— чертям, три стакана и одну кружку разбить — и то мало.

Тут шум, конечно, поднялся, грохот.

Деверь наибольше других колбаснтся. Съеденный арбуз ему, что ли, в голову бросился.

И вдова тоже трясется мелко от ярости.

— У меня,— говорит,— привычки такой нету — швабры в чай ложить. Может, это вы дома ложите, а после на людей тень наводите. Маляр,— говорит,— Иван Антонович, в гробе, наверное, повертывается от этих тяжелых слов... Я,— говорит,— щучий сын, не оставлю вас так после этого.

Ничего я на это не ответил, только говорю:

— Тьфу на всех, и на деверя,— говорю,— тьфу.

И поскорее вышел.

Через две недели после этого факта повестку в суд получаю по делу Блохиной.

Являюсь и удивляюсь.

Нарсудья дело рассматривает и говорит:

— Нынче,— говорит,— все суды такими делами закручены, а тут еще, не угодно ли. Платите,— говорит,— этой гражданке двугривенный и очищайте воздух в камере.

Я говорю:

— Я платить не отказываюсь, а только пущай мне этот треснувший стакан отдадут из принципа.

Вдова говорит:

— Подавись этим стаканом. Бери его.

На другой день, знаете, ихний дворник Семен приносит стакан. И еще нарочно в трех местах треснувший.

Ничего я на это не сказал, только говорю:

— Передай,— говорю,— своим сволочам, что теперь я их по судам затаскаю.

Потому, действительно, когда характер мой задет,— я могу до трибунала дойти.

1923

БАНЯ

Говорят, граждане, в Америке бани отличные.

Туда, например, гражданин придет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет — мол, кража или пропажа, номерка даже не возьмет.

Ну, может, иной беспокойный американец и скажет банщику:

— Гут бай, дескать, присмотри.

Только и всего.

Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подают — стираное и глаженое. Портянки небось белее снега. Подштанники зашиты, заплатаны. Житьишко!

А у нас бани тоже ничего. Но хуже. Хотя тоже мыться можно.

У нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню (не ехать же, думаю, в Америку),— дают два номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой.

А голому человеку куда номерки деть? Прямо сказать — некуда. Карманов нету. Кругом — живот да ноги. Грех один с номерками. К бороде не привяжешь.

Ну, привязал я к ногам по номерку, чтоб не враз потерять. Вошел в баню.

Номерки теперича по ногам хлопают. Ходить скучно. А ходить надо. Потому шайку надо. Без шайки какое же мытье? Грех один.

Ищу шайку. Гляжу, один гражданин в трех шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит, а третью левой рукой придерживает, чтоб не сперли.

Потянул я третью шайку, хотел, между прочим, ее себе взять, а гражданин не выпущает.

— Ты что ж это,— говорит,— чужие шайки воруешь? Как ляпну,— говорит, – тебе шайкой между глаз — не зарадуешься.

Я говорю:

— Не царский, – говорю,— режим шайками ляпать. Эгоизм,— говорю,— какой. Надо же,— говорю,— и другим помыться. Не в театре,— говорю.

А он задом повернулся и моется.

«Не стоять же,— думаю,— над его душой. Теперича,— думаю,— он нарочно три дня будет мыться.

Пошел дальше.

Через час гляжу, какой-то дядя зазевался, выпустил из рук шайку. За мылом нагнулся или замечтался — не знаю. А только тую шайку я взял себе.

Теперича и шайка есть, а сесть негде. А стоя мыться – какое же мытье? Грех один.

Хорошо. Стою стоя, держу шайку в руке, моюсь. А кругом-то, батюшки-светы, стирка самосильно идет. Один штаны моет, другой подштанники трет, третий еще что-то крутит. Только, скажем, вымылся — опять грязный. Брызжут, дьяволы. И шум такой стоит от стирки — мыться неохота. Не слышишь куда мыло трешь. Грех один.

«Ну их,— думаю,— в болото. Дома домоюсь».

Иду в предбанник. Выдают на номер белье. Гляжу — все мое, штаны, не мои.

— Граждане,— говорю.— На моих тут дырка была. А на этих эвон где.

А банщик говорит:

— Мы,— говорит,— за дырками не приставлены. Не в театре,— говорит.

Хорошо. Надеваю эти штаны, иду за пальтом. Пальто не выдают — номерок требуют. А номерок на ноге забытый. Раздеваться надо. Снял штаны, ищу номерок — нету номерка. Веревка тут, на ноге, а бумажки нет. Смылась бумажка.

Подаю банщику веревку — не хочет.

— По веревке,— говорит,— не выдаю. Это,— говорит,— каждый гражданин настрижет веревок — польт не напа-

сешься. Обожди,- говорит,- когда публика разойдется – выдам, какое останется.

Я говорю:

— Братишечка, а вдруг да дрянь останется? Не в театре же,— говорю.— Выдай, говорю, по приметам. Один,— говорю,— карман рваный, другого нету. Что касаемо пуговиц, то,— говорю,— верхняя есть, нижних же не предвидится.

Все-таки выдал. И веревки не взял.

Оделся я, вышел на улицу. Вдруг вспомнил: мыло забыл.

Вернулся снова. В пальто не впущают.

— Раздевайтесь,— говорят.

Я говорю:

— Я, граждане, не могу в третий раз раздеваться. Не в театре,— говорю.— Выдайте тогда хоть стоимость мыла.

Не дают.

Не дают — не надо. Пошел без мыла.

Конечно, читатель может полюбопытствовать: какая, дескать, это баня? Где она? Адрес?

Какая баня? Обыкновенная. Которая в гривенник.

1924

КРИЗИС

Давеча, граждане, воз кирпичей по улице провезли Ей-богу!

У меня, знаете, аж сердце затрепетало от радости Потому строимся же, граждане. Кирпич-то ведь не зря же везут. Домишко, значит, где-нибудь строится. Началось — тьфу, тьфу, не сглазить!

Лет, может, через двадцать, а то и меньше, у каждого гражданина небось по цельной комнате будет. А ежели население шибко не увеличится и, например, всем аборты разрешат — то и по две. А то и по три на рыло. С ванной.

Вот заживем-то когда, граждане! В одной комнате, скажем, спать, в другой гостей принимать, в третьей еще чего-нибудь... Мало ли! Делов-то найдется при такой свобод-

ной жизни. Ну, а пока что трудновато насчет квадратной площади. Скуповато получается ввиду кризиса.

Я вот, братцы, в Москве жил. Недавно только оттуда вернулся. Испытал на себе этот кризис.

Приехал я, знаете, в Москву. Хожу с вещами по улицам. И то есть ни в какую. Не то что остановиться негде — вещей положить некуда.

Две недели, знаете, проходил по улицам с вещами — оброс бороденкой и вещи порастерял. Так, знаете, налегке и хожу без вещей. Подыскиваю помещение.

Наконец в одном доме какой-то человечек по лестнице спущается.

— За тридцать рублей,— говорит,— могу вас устроить в ванной комнате. Квартирка,— говорит,— барская... Три уборных... Ванна... В ванной,— говорит,— и живите себе. Окон,— говорит,— хотя и нету, но зато дверь имеется. И вода под рукой. Хотите,— говорит,— напустите полную ванну воды и ныряйте себе хоть цельный день.

Я говорю:

— Я, дорогой товарищ, не рыба. Я,— говорю,— не нуждаюсь нырять. Мне бы,— говорю,— на суше пожить. Сбавьте,— говорю,— немного за мокроту.

Он говорит:

— Не могу, товарищ. Рад бы, да не могу. Не от меня целиком зависит. Квартирка коммунальная. И цена у нас на ванну выработана твердая.

— Ну, что ж,— говорю,— делать? Ладно. Рвите,— говорю,— с меня тридцать и допустите,— говорю,— скорее. Три недели,— говорю,— по панели хожу. Боюсь,— говорю,— устать.

Ну, ладно. Пустили. Стал жить.

А ванна, действительно, барская. Всюду куда ни ступишь — мраморная ванна, колонка и крантики. А сесть, между прочим, негде. Разве что на бортик сядешь, и то вниз валишься, в аккурат в мраморную ванну.

Устроил тогда настил из досок, живу.

Через месяц, между прочим, женился.

Такая, знаете, молоденькая добродушная супруга попалась. Без комнаты.

Я думал, через эту ванну она от меня откажется, и не увижу я семейного счастья и уюта, но она ничего, не отказывается. Только маленько нахмурилась и отвечает:

— Что ж,— говорит,— и в ванне живут добрые люди.

А в крайнем,— говорит,— случае, перегородить можно. Тут,— говорит,— к примеру, будуар, а тут столовая..

Я говорю:

— Перегородить, гражданка, можно. Да жильцы,— говорю,— дьяволы, не дозволят. Они и то говорят: никаких переделок.

Ну, ладно. Живем как есть.

Меньше чем через год у нас с супругой небольшой ребеночек рождается.

Назвали его Володькой и живем дальше. Тут же в ванне его купаем — и живем.

И даже, знаете, довольно отлично получается. Ребенок то есть ежедневно купается и совершенно не простуживается.

Одно только неудобство — по вечерам коммунальные жильцы лезут в ванную мыться.

На это время всей семьей приходится в коридор подаваться.

Я уж и то жильцов просил:

— Граждане,— говорю,— купайтесь по субботам. Нельзя же,— говорю,— ежедневно купаться. Когда же,— говорю,— жить-то? Войдите в положение.

А их, подлецов, тридцать два человека. И все ругаются. И, в случае чего, морду грозят набить.

Ну, что ж делать — ничего не поделаешь. Живем как есть.

Через некоторое время мамаша супруги моей из провинции прибывает в ванну. За колонкой устраивается.

— Я,— говорит,— давно мечтала внука качать. Вы,— говорит,— не можете мне отказать в этом развлечении.

Я говорю:

— Я и не отказываю. Валяйте,— говорю,— старушка, качайте. Пес с вами. Можете,— говорю,— воды в ванную напустить — и ныряйте с внуком.

А жене говорю:

— Может, гражданка, к вам еще родственники приедут, так уж вы говорите сразу, не томите.

Она говорит:

— Разве что братишка на рождественские каникулы...

Не дождавшись братишки, я из Москвы выбыл. Деньги семье высылаю по почте.

1925

ЛИМОНАД

Я, конечно, человек непьющий. Ежели другой раз и выпью, то мало — так, приличия ради или славную компанию поддержать.

Больше как две бутылки мне враз нипочем не употребить. Здоровье не дозволяет. Один раз, помню, в день своего бывшего ангела, я четверть выкушал.

Но это было в молодые, крепкие годы, когда сердце отчаянно в груди билось и в голове мелькали разные мысли.

А теперь старею.

Знакомый ветеринарный фельдшер, товарищ Птицын, давеча осматривал меня и даже, знаете, испугался. Задрожал.

— У вас,— говорит,— полная девальвация. Где,— говорит,— печень, где мочевой пузырь, распознать,— говорит,— нет никакой возможности. Очень,— говорит,— вы сносились.

Хотел я этого фельдшера побить, но после остыл к нему.

«Дай,— думаю,— сперва к хорошему врачу схожу, удостоверюсь».

Врач никакой девальвации не нашел.

— Органы,— говорит,— у вас довольно в аккуратном виде. И пузырь,— говорит,— вполне порядочный и не протекает. Что касается сердца, очень еще отличное, даже,— говорит,— шире, чем надо. Но,— говорит,— пить вы перестаньте, иначе очень просто смерть может приключиться.

А помирать, конечно, мне неохота. Я жить люблю. Я человек еще молодой. Мне только-только в начале нэпа сорок три года стукнуло. Можно сказать, в полном расцвете сил и здоровья. И сердце в груди широкое. И пузырь, главное, не протекает. С каким пузырем жить да радоваться. «Надо,— думаю,— в самом деле пить бросить». Взял и бросил.

Не пью и не пью. Час не пью, два не пью. В пять часов вечера пошел, конечно, обедать в столовую.

Покушал суп. Начал вареное мясо кушать — охота выпить. «Заместо,— думаю,— острых напитков попрошу чего-нибудь помягче — нарзану или же лимонаду». Зову.

— Эй,— говорю,— который тут мне порции подавал, неси мне, куриная твоя голова, лимонаду.

Приносят, конечно, мне лимонаду на интеллигентном подносе. В графине. Наливаю в стопку.

Пью я эту стопку, чувствую: кажись, водка. Налил еще. Ей-богу, водка. Что за черт! Налил остатки — самая настоящая водка.

— Неси,— кричу,— еще!

«Вот,— думаю,— поперло-то!»

Приносит еще.

Попробовал еще. Никакого сомнения не осталось — самая натуральная.

После, когда деньги заплатил, замечание все-таки сделал.

— Я,— говорю,— лимонаду просил, а ты чего носишь, куриная твоя голова?

Тот говорит:

— Так что это у нас завсегда лимонадом зовется. Вполне законное слово. Еще с прежних времен... А натурального лимонаду, извиняюсь, не держим — потребителя нету.

— Неси,— говорю,— еще последнюю.

Так и не бросил. А желание было горячее. Только вот обстоятельства помешали. Как говорится — жизнь диктует свои законы. Надо подчиняться.

1926

ИМЕНИННИЦА

До деревни Горки было всего, я полагаю, версты три. Однако пешком идти я не рискнул. Весенняя грязь буквально доходила до колена.

Возле самой станции, у кооператива, стояла крестьянская подвода. Немолодой мужик в зимней шапке возился около лошади.

— А что, дядя,— спросил я,— не подвезешь ли меня до Горок?

— Подвезти можно,— сказал мужик,— только даром мне нет расчету тебя подвозить. Рублишко надо мне с тебя взять, милый человек. Дюже дорога трудная.

Я сел в телегу, и мы тронулись.

Дорога, действительно, была аховая. Казалось, дорога была специально устроена с тем тонким расчетом, чтобы

вся весенняя дрянь со всех окрестных полей стекала именно сюда. Жидкая грязь покрывала почти полное колесо.

— Грязь-то какая,— сказал я.

— Воды, конечно, много,— равнодушно ответил мужик. Он сидел на передке, свесив вниз ноги, и непрестанно цокал на лошадь языком.

Между прочим, цокал он языком абсолютно всю дорогу. И только когда переставал цокать хоть на минуту, лошадь поводила назад ушами и добродушно останавливалась.

Мы отъехали шагов сто, как вдруг позади нас, у кооператива, раздался истошный бабий крик.

И какая-то баба в сером платке, сильно размахивая руками и ругаясь на чем свет стоит, торопливо шла за телегой, с трудом передвигая ноги в жидкой грязи.

— Ты что ж это, бродяга! — кричала баба, доходя в некоторых словах до полного визгу.— Ты кого же посадил-то, черт рваный? Обормот, горе твое луковое!

Мой мужик оглянулся назад и усмехнулся в бороденку.

— Ах, паразит-баба,— сказал он с улыбкой,— кроет-то как?

— А чего она? — спросил я.

— А пес ее знает,— сказал мужик, сморкаясь.— Не иначе как в телегу ладит. Неохота ей, должно статься, по грязи хлюпать.

— Так пущай сядет,— сказал я.

— Троих не можно увезти,— ответил мужик,— дюже дорога трудная.

Баба, подобрав юбки до живота, нажимала все быстрее, однако по такой грязи догнать нас было трудновато.

— А ты что, с ней уговорился, что ли? — спросил я.

— Зачем уговорился? — ответил мужик.— Жена это мне. Что мне с ней зря уговариваться?

— Да что ты? Жена? — удивился я.— Зачем же ты ее взял-то?

— Да увязалась баба. Именинница она, видишь, у меня сегодня. За покупками мы выехали. В кооператив...

Мне, городскому человеку, ужасно как стало неловко ехать в телеге, тем более что именинница крыла теперь все громче и громче и меня, и моих родных и своего полупочтенного супруга.

Я подал мужику рубль, спрыгнул с телеги и сказал:

— Пущай баба сядет. Я пройдусь.

Мужик взял рубль и, не снимая с головы шапки, засунул его куда-то под волоса.

Однако свою именинницу он не стал ждать. Он снова зацокал языком и двинул дальше.

Я мужественно шагал рядом, держась за телегу рукой, потом спросил:

— Ну, что же не сажаешь-то?

Мужик тяжело вздохнул:

— Дорога дюже тяжелая. Не можно сажать сейчас... Да ничего ей, бабе-то. Она у меня, дьявол, двужильная.

Я снова на ходу влез в телегу и доехал до самой деревни, стараясь теперь не глядеть ни на моего извозчика, ни на именинницу.

Мужик угрюмо молчал.

И, только когда мы подъехали к дому, мужик сказал:

— Дорога дюже тяжелая, вот что я скажу. За такую дорогу трояк брать надо.

Пока я рассчитывался с извозчиком и расспрашивал, где бы мне найти председателя,— подошла именинница. Пот катил с нее градом. Она одернула свои юбки, не глядя на мужа, просто сказала:

— Выгружать, что ли?

— Конечно, выгружать,— сказал мужик.— Не до лету лежать товару.

Баба подошла к телеге и стала выгружать покупки, унося их в дом.

1926

БАРЕТКИ

Трофимыч с нашей коммунальной квартиры пошел своей дочке полсапожки купить. Дочка у него, Нюшка, небольшой такой дефективный переросток. Семи лет.

Так вот, пошел Трофимыч с этой своей Нюшкой сапоги приобретать. Потому как дело к осени, а сапожонок, конечно, нету.

Вот Трофимыч поскрипел зубами — мол, такой расход,— взял, например, свою Нюшку за лапку и пошел ей покупку производить.

Зашел он со своим ребенком в один коммерческий магазин. Велел показать товар. Велел примерить. Все вполне хорошо — и товар хорош, и мерка аккуратная. Одно, знаете, никак не годится — цена не годится. Цена, прямо скажем, двенадцать целковых!

А Трофимыч, конечно, хотел подешевле купить эти детские недомерки — рубля за полтора, два.

Пошел тогда Трофимыч, несмотря на отчаянный Нюшкин рев, в другой магазин. В другом магазине спросили червонец. В третьем магазине опять червонец. Одним словом, куда ни придут — та же история: и нога по сапогу, и товар годится, а с ценой форменные ножницы — расхождение и вообще Нюшкин рев.

В пятом магазине Нюшка примерила сапоги — хороши. Спросили цену: девять целковых, и никакой скидки. Начал Трофимыч упрашивать, чтобы ему скостили рубля три-четыре, а в это время Нюшка в новых сапожках подошла к двери и, не будь дура, вышла на улицу.

Кинулся было Трофимыч за этим своим ребенком, но его заведующий удержал.

— Прежде,— говорит,— заплатить надо, товарищ, а потом бежать по своим делам.

Начал Трофимыч упрашивать, чтобы обождали.

— Сейчас,— говорит, ребенок, может быть, явится. Может, ребенок пошел промяться в этих новых сапожках.

Заведующий говорит:

— Это меня не касается. Я товара не вижу. Платите за товар деньги. Или с магазина не выходите.

Трофимыч отвечает:

— Я лучше с магазина не выйду. Я обожду, когда ребенок явится.

Но только Нюшка не вернулась.

Она вышла из магазина в новеньких баретках и, не будь дура, домой пошла.

«А то,— думает,— папаня, как пить дать, обратно не купит по причине все той же дороговизны».

Так и не вернулась.

Нечего делать — заплатил Трофимыч, сколько спросили, поскрипел зубами и пошел домой.

А Нюшка была уже дома и щеголяла в своих новых баретках.

Хотя Трофимыч ее слегка потрепал, но, между прочим, баретки так при ней и остались.

Теперь, после этого факта, может быть, вы заметили:

в государственных магазинах начали отпускать на примерку по одному левому сапогу.

А правый сапог теперь прячется куда-нибудь, или сам заведующий зажимает его в коленях и не допускает трогать.

А детишки, конечно, довольно самостоятельные пошли.

Поколение, я говорю, довольно свободное.

1927

Максим Горький

РАССКАЗ

Когда человек узнал, что в трех днях пути от его становища пришлые люди вспахали в степи машинами огромный кусок никогда еще не паханной земли и машинами засеяли его, человек подумал, что это такие же древние люди, каков он сам, но глупее его.

В старом теле его жила тысячелетняя душа, и он знал: горе и радость всех людей степи в том, чтоб пахать землю, сеять и собирать хлеб, а все иное, что делают люди, можно не делать. Земля родит человека для работы на ней, а когда человек изработает силу свою, она поглощает тело и кости его.

Летом над землею знойное солнце плывет медленно, а за ним прилетает с востока горячий ветер и, выжигая хлеб, травы, сушит человека тоской, сушит страхом голода. Изредка ветер сгоняет в степь черные тучи, они поят землю дождем, и тогда душа радуется — будет много хлеба. Зимою солнце скользит в небесах быстро, пронзительно холодный ветер носится по степи, шуршит по земле, свистит, скупо сеет снег, а по ночам поет всегда одну и ту же песню:

«Восходит солнце и заходит, а земля пребывает вовеки».

«Род приходит и род уходит, а земля пребывает вовеки».

Человек не думал о тяжелом, уничтожающем смысле этой песни потому, что он слишком хорошо знал смысл ее. Думал он о своем скоте, о жилище своем и хлебе, думал иногда о жене своей, но думал всегда только о своем и почти никогда о себе.

Он был уверен, что нет машины, которая поборола бы силы зноя и холода, и не изменит машина путь злых ветров.

Человек этот был издревле привычен жить надеждами на помощь извне от бога, от жреца и знахаря,— жить без веры в силу разума своего, темной надеждой на тайные силы вне человека.

Когда пришла пора уборки хлеба, он, полудикий степняк, собрав свой скудный урожай, пошел посмотреть, как собирают хлеб машинами пришлые люди. Может быть, удастся посмеяться над ними.

Широкоплечий, коротконогий, в тяжелых сапогах, в толстом кафтане цвета дорожной пыли, он стоял среди степи, точно вырубленный из камня, серое бородатое лицо его — тоже каменное. Между шапкой, сдвинутой на брови, и бородою недоверчиво, угрюмо светились темные глаза — «зеркало души». Волосатые ноздри его равномерно дышали, шевеля серые усы.

Он смотрел, как пришлые люди суетятся вокруг сооружения, мало похожего на машину, а скорее на диковинного зверя, каких иногда видишь во сне. Длинная шея зверя не имеет головы, а хвост его, весь из ножей, сбоку огромного, неуклюжего туловища. И туловище так нескладно, как будто уже измято, изломано степным ветром. Трудно понять, как работает это чудовище из дерева и железа, как управляют люди силою его. Люди — обыкновенные, но — молоды они. Двигаются быстро, а не похоже, что работают торопливо. Если эта машина опрокинется набок, она может придавить не менее пятерых.

— Ее как звать? — спросил человек.

— Посторонись,— ответили ему, но он не сошел с места.

Сбоку или впереди чудовища дрожит и фыркает железный медведь на колесах, толстую шею его оседлал парень без усов, почти мальчишка, пиджак на нем вымазан маслом и как будто пошит из кровельного железа. Парень, толкая ногами свою машину, повернул колесо, широкие ободья железных колес тоже повернулись, большая машина покачнулась, застучала и покатилась по сухой земле, сметая хвостом колосья хлеба, подхватывая их десятками тонких, как гвозди, железных пальцев; колосья поплыли над хвостом машины куда-то в бок ее, она тряслась и ревела от жадности, пожирая их, из перерубленной шеи машины полетела солома, полова, пыль.

Человек стоял, глядя вслед ей, рот его открывался и закрывался, тряслась борода, казалось, что он кричит, на голову и плечи его сыпалась солома, летела в лицо, в бороду, он покачивался, тыкал палкой в землю, передергивал плечами, поправляя котомку на спине. Потом, точно его выдернуло из земли, он тяжело, но споро побежал за комбайном, помахи-

вая палкой, котомка за спиною прыгала, точно подгоняя его. Бежал не один, бежали и еще другие мужики, но ему, видимо, хотелось обежать вокруг машины, он обгонял всех, но не успевал за нею, спотыкался, и все казалось, что он кричит.

Все-таки он догнал комбайн, когда тот пошел тише, догнал и, рискуя попасть под ножи косилки, тяжело запрыгал рядом с нею. Какой-то длинный человек оттолкнул его.

— Дьявол,— хрипло сказал он, отирая пот с лица широкой, чугунной лапой.

Комбайн остановился, он подбежал к рукаву, из которого в подставленный мешок сыпалось толстой струею зерно, и, сунув пригоршни под золотую струю, зачерпнул ими зерна. Несколько секунд он смотрел на него, приподняв пригоршни к лицу, согнув пыльную тугую шею. Потом, показывая зерно окружающим, сказал хрипло и задыхаясь:

— Настоящее... Дьяволы! А?

Рядом с ним стояли такие же, как сам он, но помоложе его, они смотрели на машину также очарованно, но и как бы испуганно и завистливо. Старик бросил зерно в мешок и тотчас же снова, сунув руку под струю, схватил горсть зерна, бережно спрятал его в карман кафтана. То же сделали еще двое-трое. Один сказал, вздохнув:

— Придумано!

— Не угонишься за ней,— сказал другой, а третий хмуро протянул:

— Где-е там...

Было сказано и еще несколько неопределенных слов, но ни в одном из них не прозвучала радость. Гордость и радость звучала только в словах тех людей, которые рассказывали о внутреннем устройстве машины, о ее работе.

— Все ж таки около нее наши хлеборобы,— задумчиво сказал кто-то.

— А кто ж? Земля требовает опыту...

Утешив друг друга, люди эти отошли прочь от рабочих «Гиганта», а тот, старый, коротконогий,— остался.

Он поднял с земли палку и, точно шпагу, вытер конец ее полой кафтана, затем, вытряхивая пальцами солому из бороды, медленно пошел вокруг машины. Он щупал ее руками, взглядами, легонько постукивал палкой, размышляюще останавливался и снова шел, потряхивая бородой, поправляя шапку. Каменное лицо его стало как будто шире,— может быть, он стиснул зубы?

Потом он стоял в толпе, на митинге, и слушал речи ораторов, опираясь на палку обеими руками, глядя в землю.

Изредка он шарил палкой у ног своих, щупал землю, как бы пробуя: та ли это земля, какою она всегда была?

Раздавали награды рабочим, наиболее энергично потрудившимся на новом гигантском поле. Когда награжденные получали подарки, он пристально, из-под ладони, смотрел на них. Получила награду девица, работавшая на тракторе.

— И — девке,— сказал старик соседу, потом, усмехаясь, добавил: — Заманивают.

Вскоре он пошел прочь, равномерно, через каждые три шага, тыкая палкой в землю, не оглядываясь. Возможно, что глубоко взволнована была тысячелетняя, покорная силам природы душа его.

Может быть, он завистливо думал, что новые люди способны побороть и суховей, который насмерть выжигает хлеб, и мороз, убивающий зерно в земле.

1929

ПРИМЕЧАНИЯ

Николай Ляшко

Ляшко (наст. фамилия — Лященко) Николай Николаевич (1884—1953). Член КПСС с 1928 г. Родился в семье солдата. Рано начал трудовую деятельность, с 1901 г. участвовал в рабочем революционном движении, был в тюрьме и ссылках.

Печатался с 1904 г. Наиболее известные произведения Н. Ляшко посвящены жизни и борьбе российского пролетариата: романы «Доменная печь» (1925), «Сладкая каторга» (1934—1936), рассказы. Был одним из руководителей литературного объединения «Кузница» (1920—1931), в которое входили поэты В. Александровский, В. Казин, Н. Полетаев, прозаики Ф Гладков, А. Новиков-Прибой; программным произведением «Кузницы» был «Цемент» Ф. Гладкова.

Рассказ «Первое красное знамя» печатается по изданию: Ляшко Н. Избр. произведения: В 3-х т. М.: ГИХЛ, 1953. Т. 1.

Ольга Форш

Форш (урожд. Комарова) Ольга Дмитриевна (1873—1961). Родилась в семье генерала, начальника округа среднего Дагестана. Училась живописи. Печаталась с 1907 г. Наиболее известные произведения — исторические романы «Одеты камнем» (1924—1925). «Михайловский замок» (1926), автобиографический роман «Сумасшедший корабль» (1931). Первая публикация рассказа «Марсельеза» не выявлена. Печатается по изданию: Форш О Соч.: В 4-х т. М.: ГИХЛ, 1956. Т 4.

Дмитрий Фурманов

Фурманов Дмитрий Андреевич (1891—1926) родился в Костромской губернии в семье крестьянина. Детские и юношеские годы провел в Иваново-

Вознесенске. Участник первой мировой войны и Великой Октябрьской социалистической революции. С 1918 г. был членом КПСС.

Во время гражданской войны Д. А. Фурманов находился в Красной Армии, занимая ряд должностей: командир, комиссар, работник политорганов. С 1921 г. жил в Москве, работал в Госиздате.

В печати выступал с 1912 г. Автор статей, очерков, повестей, рассказов, романа «Мятеж» (1925). Наибольшую известность получил роман Д. А. Фурманова «Чапаев» (1923), ставший одним из классических произведений социалистического реализма.

Рассказ «Шакир» при жизни автора не печатался. Впервые опубликован в журнале «Молодая гвардия», 1926, № 12.

Печатается по изданию: Фурманов Дм. Собр, соч.: В 4-х т. М.: ГИХЛ, 1961. Т. 3.

Максим Горький

Максим Горький — псевдоним Алексея Максимовича Пешкова (1868—1936). Родился в семье столяра-краснодеревщика. Рано лишился отца и начал трудовую деятельность. Переменил множество профессий, исходил и изъездил значительную часть России. За революционную деятельность неоднократно подвергался арестам и ссылкам. Сидел в Петропавловской крепости. Печатался с 1892 г.

Максим Горький — один из крупнейших писателей XX столетия, родоначальник литературы социалистического реализма, по словам В. И. Ленина — «громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению»[1]. Перу М. Горького принадлежат романы «Мать» (1906), «Дело Артамоновых» (1924—1925), «Жизнь Клима Самгина» (1925—1936), многие повести, рассказы, очерки, пьесы, статьи.

М. Горький был выдающимся организатором, руководителем и редактором: издательское товарищество «Знание», издательство «Парус», журнал «Летопись», в советское время — серии «История гражданской войны», «История фабрик и заводов», «Жизнь замечательных людей» и др., журналы «Работница», «Крестьянка», «СССР на стройке» и др. Крупнейший общественный деятель, тесно связанный с международным рабочим движением, Горький был личным другом В. И. Ленина. Один из организаторов и первый председатель правления Союза писателей СССР (1934—1936).

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 49.

«Рассказ о необыкновенном» впервые напечатан в организованном М. Горьким журнале «Беседа» (Берлин), 1925, март, № 6—7. Печатается по изданию: Горький М. Собр. соч.: В 30-ти т. М.: ГИХЛ, 1952. Т 16.

Валентин Катаев

Катаев Валентин Петрович родился в 1897 г. в Одессе в семье учителя. Участник первой мировой войны. Член КПСС с 1958 г. Герой Социалистического Труда (1974).

Печатается с 1910 г. Автор многочисленных произведений стихотворных, прозаических и драматических жанров.

Наибольшей известностью пользуются романы «Время, вперед» (1932), тетралогия «Волны Черного моря» (1936—1961), повести «Сын полка» (Государственная премия СССР, 1946), «Маленькая железная дверь в стене» (1964), «Трава забвения» (1967).

Рассказ «Родион Жуков» впервые был опубликован в журнале «Красная новь», 1926, № 7. Образ матроса-потемкинца возникает у писателя и в повести «Белеет парус одинокий» (1936).

Печатается по изданию: Катаев В. Собр. соч.: В 10-ти т. М.: Худож. лит., 1982. Т. 1.

Александр Яковлев

Яковлев (наст. фамилия — Трифонов-Яковлев) Александр Степанович (1886—1953) родился в семье маляра, в городе Вольске. Участник первой мировой войны. Темы Волги и трудового народа стали ведущими в его творчестве. Перу А. Яковлева принадлежит первая попытка в крупножанровой форме описать Октябрьскую революцию — повесть «Октябрь» (1918) А. Яковлев — автор романов «Ступени» (1940), «Огни в поле» (1934—1935), многих повестей, рассказов, очерков, в том числе и о экспедициях по спасению Нобиле и Амундсена, участником которых был Яковлев.

В основе рассказа «Жгель» впечатления от пребывания писателя в подмосковном городке Гжель, с XVIII в. прославившегося гончарными и керамическими изделиями, а затем фарфоровой и фаянсовой посудой

Рассказ «Жгель» печатается по изданию: Яковлев А. Избр. произведения. М.: ГИХЛ, 1957.

Михаил Шолохов

Шолохов Михаил Александрович (1905—1984) Рано начал трудовую деятельность, участвовал в событиях гражданской войны и установлении Советской власти на Дону. Член КПСС с 1932 г.

Начал печататься в 1922 г. Выпустил сборники «Донские рассказы», «Лазоревая степь» (1926). В 1928 г. напечатал первую книгу четырехтомного романа «Тихий Дон» (закончен в 1940; Государственная премия СССР, 1941), принесшего ему всемирную известность. Автор романа о коллективизации «Поднятая целина» (1932—1959; Ленинская премия, 1960), романа «Они сражались за Родину» (не закончен), рассказов и статей. За выдающиеся заслуги М. А. Шолохову дважды (1967, 1980) присвоено звание Героя Социалистического Труда. Шолохов — лауреат Нобелевской премии (1965), академик АН СССР (1939). Крупный общественный деятель, член ЦК КПСС (1961—1984). Депутат Верховного Совета СССР (1937—1984).

Рассказ «Бахчевник» печатается по изданию: Ш о л о х о в М. Собр. соч.: в 8-ми т М.: Правда, 1975. Т. 8.

Всеволод Иванов

Иванов Всеволод Вячеславович (1895—1963) родился в Семипалатинской области в семье учителя. Рано «пошел в люди», перепробовал множество профессий, обошел и объехал значительную часть Сибири.

Публиковался с 1915 г. Переехав в 1921 г в Петроград, вошел в круг людей, близких к М. Горькому. Вс. Иванов стал одним из организаторов и членов литературной группы «Серапионовы братья», в которую входили также Н. Тихонов, К. Федин, М. Зощенко, В. Каверин и др. Вс Иванов — автор многочисленных произведений, среди них повести о гражданской войне «Партизаны» (1921), «Бронепоезд 14-69» (1922), «Цветные ветра» (1922), роман «Похождения факира» (1935), пьесы, рассказы.

Рассказ «Когда я был факиром» печатается по изданию: И в а н о в Вс Собр. соч.: В 8-ми т. М.: Худож. лит., 1974. Т. 2.

Александр Фадеев

Фадеев Александр Александрович (1901—1956) родился на Дальнем Востоке. Участник гражданской войны, был партизаном. Член КПСС с

1918 г. Автор романов «Разгром» (1927), «Последний из Удэге» (1929—1940, не окончен), «Молодая гвардия» (1945—1951; Государственная премия, 1946). Крупный общественный и литературный деятель, один из руководителей РАППа (1926) и Союза писателей СССР (в 1946—1954 гг.— генеральный секретарь). Член ЦК КПСС (1939—1956), депутат Верховного Совета СССР (1946—1956).

Рассказ «Рождение Амгуньского полка» написан в мае — октябре 1923 года, опубликован в журнале «Молодая гвардия» в том же году под названием «Против течения». Игорь Сибирцев, которому посвящен рассказ — двоюродный брат, старший друг и боевой соратник Фадеева. Член подпольного горкома РКП(б), он приобщал будущего писателя к партийной работе. В образе Никиты Селезнева сохранены черты И. Сибирцева. Рассказ имеет и автобиографическую основу: Фадеев был одно время комиссаром 22-го Амгуньского полка.

Печатается по изданию: Фадеев А. Собр. соч.: В 4-х т. М.: Правда, 1979. Т. 2.

Федор Гладков

Гладков Федор Васильевич (1883—1958) родился в крестьянской семье, прошел большую жизненную и трудовую школу, участвовал в революционном движении и гражданской войне. Член КПСС с 1920 г.

Начал печататься в 1900 году. Наиболее известное произведение Гладкова — роман «Цемент» (1925), рассказывающий о восстановлении промышленности. Автор романа «Энергия» (1932—1938), автобиографической трилогии «Повесть о детстве» (1949; Государственная премия СССР, 1950), «Вольница» (1950; Государственная премия СССР, 1951), «Лихая година» (1954). Ф. В. Гладков был и общественным деятелем, одним из руководителей Союза писателей СССР, директором Литературного института (1945—1949).

Рассказ «Зеленя» впервые опубликован в журнале «Новый мир», 1922, № 1 (журнал издавался одноименным издательством, вышел всего один номер). Печатается по изданию: Гладков Ф. Собр. соч.: В 5-ти т. М.: ГИХЛ, 1950. Т. 1.

Артем Веселый

Артем Веселый — литературный псевдоним Николая Ивановича Кочкурова (1899—1939). Родился в Самаре в семье волжского крючника. В марте 1917 г. становится большевиком, под руководством В. В. Куйбышева ведет

революционно-пропагандистскую работу. В гражданскую войну Н. И. Кочкуров — боец, редактор и сотрудник красноармейских газет

В печати выступает с 1921 г. Был одним из организаторов литературной группы «Перевал» (1923—1932), в которую входили также М. Пришвин, М. Голодный, Д. Кедрин, А. Платонов, А. Малышкин, М. Светлов, Э. Багрицкий и другие писатели. Группа выпускала литературные сборники «Перевал» (1924—1928), вышло шесть номеров.

Артем Веселый — автор исторического романа «Гуляй, Волга» (1932), рассказов и очерков. Наиболее значительное произведение писателя — эпопея «Россия, кровью умытая», вобравшая и некоторые из ранее публиковавшихся повестей и рассказов.

«Отвагн зарево» печатается по изданию: Веселый А. Россия, кровью умытая. Куйбышев: Кн. изд-во, 1979.

Мариэтта Шагинян

Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888—1982) родилась в Москве в семье врача. Член КПСС с 1942 г. Герой Социалистического Труда (1976). Произведения М. С. Шагинян очень разнообразны по жанрам: здесь и один из первых в советской литературе детективных романов «Месс-Менд» (1923—1925), и роман о социалистическом строительстве «Гидроцентраль» (1930—1931), книги о И.-В. Гете, Т. Г. Шевченко, Низами, многочисленные путевые очерки, рассказы, стихи. За тетралогию о В. И. Ленине «Семья Ульяновых» (1957) М. С. Шагинян была удостоена Ленинской премии (1972).

Рассказ «Агитвагон» впервые опубликован в журнале «Красная нива», 1923, № 38. Печатается по изданию: Шагинян М. Собр. соч.: В 9-ти т М.: Худож. лит., 1971 Т 1

Исаак Бабель

Бабель Исаак Эммануилович (1894—1941) родился в Одессе. Окончил Одесское коммерческое училище. Печататься начал в 1916 г. в журнале «Летопись». В годы гражданской войны — боец и сотрудник газеты Первой конной армии. В 1923 г. выступает в печати с рассказами, составившими книгу «Конармия» (1926). Автор цикла «Одесские рассказы» (1931), других рассказов, очерков, пьес.

Рассказ «Соль» впервые был напечатан в журнале «Красная новь», 1925, № 2. Печатается по изданию: Бабель И. Избранное. М.· Худож лит., 1969.

Алексей Толстой

Толстой Алексей Николаевич (1883—1945) родился в дворянской семье в Самарской губернии. Учился в Петербургском технологическом институте.

В печати впервые выступил в 1904 г как поэт. В предреволюционные годы выдвигается в число наиболее авторитетных прозаиков-реалистов, его творчество получило горячее одобрение М. Горького, большевистской «Правды». В дни первой мировой войны — военный корреспондент газеты «Русские ведомости». Октябрьской революции поначалу не принял, в 1919—1923 гг. находился в эмиграции. В 30-е гг А. Н. Толстой становится одним из самых популярных советских писателей. Наиболее известны трилогия о революции и гражданской войне «Хождение по мукам» (1921—1941, Государственная премия СССР, 1943), исторический роман «Петр Первый» (1929—1945, не окончен; Государственная премия, 1946), научно-фантастические романы «Аэлита» (1922) и «Гиперболоид инженера Гарина» (1927—1939), повести «Детство Никиты» (1921), «Гадюка» (1927), повесть-сказка для детей «Золотой ключик» (1935). Во время Великой Отечественной войны А. Н. Толстой снискал себе всенародную любовь пламенными патриотическими статьями. А. Н. Толстой избирался депутатом Верховного Совета СССР (1937—1945), был действительным членом Академии наук СССР (1939).

Рассказ «Бывалый человек» впервые был опубликован в журнале «Красная нива», 1927, № 7. Печатается по изданию: Т о л с т о й А. Полн. собр. соч.: В 15-ти т. М.: ОГИЗ, ГИХЛ, 1947. Т. 5.

Александр Серафимович

Серафимович (наст. фамилия — Попов) Александр Серафимович (1863—1949) родился на Дону, в семье казака. Учился в Петербургском университете. За революционную деятельность подвергался ссылке. Был журналистом в донских и московских газетах. В 1888 г. впервые выступил в печати с рассказами. Горячо приветствовал Октябрьскую революцию, в 1918 г. вступил в РКП(б), в качестве корреспондента «Правды» ездил на фронты гражданской войны. Наиболее известное произведение А. С. Серафимовича роман «Железный поток» (1924), посвященный событиям гражданской войны на Юге России. В 1943 г. А. С. Серафимовичу присуждена Государственная премия СССР.

Рассказ «Два брата» впервые напечатан в газете «Красная звезда», 1928, 23 февр. Печатается по изданию: С е р а ф и м о в и ч А. Собр. соч.: В 4-х т М.· Правда, 1980. Т. 3.

Александр Неверов

Александр Неверов — литературный псевдоним Александра Сергеевича Скобелева (1886—1923). Родился в Самарской губернии, рос в доме деда — мелкого торговца. Работал сельским учителем в школах Самарской губернии, фельдшером в самарском лазарете.

Начал публиковаться в 1906 г. Автор многих рассказов и повестей, преимущественно о крестьянстве. Наибольшую известность получили повести «Андрон Непутевый» (1922), «Ташкент — город хлебный» (1923), роман «Гуси-лебеди» (1923).

Рассказ «Далекий путь» впервые был напечатан в литературно-художественном сборнике «Книга о голоде», издание Самарской губернской комиссии помощи голодающим, ГИЗ, Самарское отделение, 1922. Печатается по изданию: Неверов А. С. Собр. соч.: В 4-х т. Куйбышев: Кн. изд-во, 1958. Т. 2.

Лидия Сейфуллина

Сейфуллина Лидия Николаевна (1898—1954) родилась в семье бедного сельского священника, крещеного татарина. Воспитывалась у бабушки. До того, как стала писательницей, Л. Н. Сейфуллина работала учительницей, актрисой — преимущественно в сельских районах.

Первые произведения Сейфуллиной печатались на страницах журнала «Сибирские огни». Появившиеся в середине 20-х гг. повести «Перегной» (1922) и «Виринея» (1924) утвердили имя ее в литературе.

Рассказ «Инструктор «красного молодежа» впервые был напечатан в журнале «Молодая гвардия», 1923, № 6. Печатается по изданию: Сейфуллина Л. Н. Соч.: В 4-х т. М.: Худож. лит., 1980. Т. 1.

Константин Федин

Федин Константин Александрович (1892—1977) родился в Саратове, в семье приказчика. Учился в Московском коммерческом институте. В 1914 г отправился в Германию усовершенствоваться в немецком языке и, застигнутый войною, оставался там вплоть до 1918 г. Вернувшись в Советскую Россию, служит в Красной Армии, активно сотрудничает в красноармейских и советских газетах. С 1922 г. находится на творческой работе, входит в группу «Серапионовы братья».

Печататься начал в 1915 г. Широкую известность и признание К. Федину принес роман «Города и годы» (1924). За ним последовали «Братья» (1927—1928) и другие романы, повести, рассказы Более тридцати лет

писатель работал над трилогией о становлении советской интеллигенции — романы «Первые радости» (1945), «Необыкновенное лето» (1948; за оба романа Государственная премия СССР, 1949), «Костер» (1961—1977, роман не окончен).

К. Федин был крупным общественным и литературным деятелем, одним из руководителей Союза писателей СССР (в 1959—1971 гг.— первый секретарь правления, в 1971—1977 гг.— председатель правления). Избирался депутатом Верховного Совета СССР в 1962—1977 гг.

Рассказ «Конец мира» впервые опубликован в альманахе «Литературная мысль», кн. 1, Петроград, издательство «Мысль», 1922. Печатается по изданию: Федин К. Собр. соч.: В 12-ти т. М.: Худож. лит., 1982. Т. 2.

Николай Никандров

Никандров (наст. фамилия — Шевцов) Николай Никандрович (1878—1964) родился под Москвой в семье служащего. Детство, юность провел в Севастополе и в дальнейшем накрепко связал свою судьбу и творчество с «тружениками моря». Учился в различных учебных заведениях, служил сельским учителем в Пермской губернии. За революционную деятельность Н. Никандров неоднократно подвергался арестам и ссылкам. Он побывал во множестве мест Российской империи, переменил разные профессии, жил нелегально по чужому паспорту, находился в эмиграции (1910—1914). В послереволюционные годы продолжал заниматься физическим трудом: был рыбаком, виноградарем. С 1922 г.— на литературной работе в Москве.

Печататься Н. Никандров начал в 1903 г. Его творчество 10-х гг.— повести «Береговой ветер» (1909), «Ротмистр Закатаев» (1912), «Во всем дворе первая» (1912) — получило одобрение и поддержку М. Горького, А. Куприна.

Рассказ «Диктатор Петр» впервые был опубликован в альманахе «Недра», 1923, кн. 2. Печатается по этому изданию.

Николай Тихонов

Тихонов Николай Семенович (1896—1979) родился в Петербурге в мещанской семье. Участник первой мировой войны, гусар. В 1918—1922 гг. находился в Красной Армии.

Печатался с 1920 г. Участник объединения «Серапионовы братья». Автор поэм «Лицом к лицу» (1924), «Киров с нами» (1941; Государственная премия СССР, 1942), многих других поэм, сборников стихов. Писал и прозу,

за сборник повестей и рассказов «Шесть колонн» (1968) удостоен Ленинской премии (1970).

Н. С. Тихонов вел большую общественную работу, был председателем Советского комитета защиты мира (1949—1979), депутатом Верховного Совета СССР (1946—1979). Лауреат Международной Ленинской премии (1957).

Рассказ «Бирюзовый полковник» впервые был опубликован в журнале «Звезда», 1927, № 5. Печатается по изданию: Тихонов Н. Собр. соч.: В 6-ти т. М.: ГИХЛ, 1959. Т 2.

Сергей Сергеев-Ценский

Сергеев-Ценский (наст. фамилия — Сергеев) Сергей Николаевич (1875—1958) родился в Тамбовской губернии в семье учителя. Окончил учительский институт, служил в армии, учительствовал. Участник русско-японской войны. С 1906 г. и до конца жизни в основном жил в Крыму. Академик АН СССР (1943).

Печататься С. Н. Сергеев-Ценский начал в 1898 г. Автор повестей «Печаль полей» (1909), «Пристав Дерябин» (1911) и многих других. За роман о Крымской войне «Севастопольская страда» (1937—1939) писателю была присуждена Государственная премия СССР (1941). Наиболее известное произведение С. Н. Сергеева-Ценского, над которым он работал почти всю жизнь,— эпопея «Преображение России», в которую были включены и некоторые из ранее написанных произведений (всего в эпопее 12 романов и 3 повести).

Рассказ «Сливы, вишни, черешни» впервые был опубликован в журнале «Красная новь», 1928, № 11. Печатается по изданию: Сергеев-Ценский С. Н. Собр. соч.: В 12-ти т. М.: Правда, 1967. Т. 3.

Андрей Платонов

Платонов (Климентов) Андрей Платонович (1899—1951) родился в Воронеже, в семье слесаря. С 14 лет А. Платонов начал трудовую деятельность. После окончания политехникума работал председателем губернской комиссии по искусственному орошению, специалистом по электрификации сельского хозяйства.

В печати впервые выступил в 1918 г. В 1922 г. выходит в свет первая книга стихов А. Платонова. В последующие годы появились повести «Город Градов» (1926), «Епифанские шлюзы» (1927), «Сокровенный человек» (1928), рассказы, литературно-критические статьи.

Рассказ «Родина электричества» печатается по изданию: Платонов А. Течение времени. М.: Моск. рабочий, 1971.

Леонид Леонов

Леонов Леонид Максимович родился в 1899 г. в Москве, в семье крестьянского поэта-самоучки. Окончил московскую гимназию. Служил в Красной Армии.

Печататься Л. Леонов начал в 1922 г. и с редкой творческой интенсивностью в течение десяти лет стал одним из крупнейших писателей своего времени. Его романы: «Барсуки» (1924), «Вор» (1927;1959), «Соть» (1930), «Скутаревский» (1932), «Дорога на Океан» (1935). За роман «Русский лес» (1953) первым из советских писателей был удостоен Ленинской премии (1957). Он автор также многих рассказов, статей, пьес, из которых наибольшую известность получила драма «Нашествие» (1942; Государственная премия СССР, 1943).

Леонид Леонов — крупный общественный деятель, в 1929 г.— председатель Всероссийского союза писателей, затем один из организаторов и руководителей Союза писателей СССР. Депутат Верховного Совета СССР (1946—1970), Герой Социалистического Труда (1967), академик АН СССР (1972)

Рассказ «Возвращение Копылева» впервые опубликован в журнале «Звезда», 1928, № 1. Печатается по изданию: Леонов Л. Собр. соч.: В 10-ти т. М.: Худож. лит., 1981. Т. 1.

Д. Н. Кардовский, которому посвящен рассказ,— известный советский художник, график и живописец.

Вячеслав Шишков

Шишков Вячеслав Яковлевич (1873—1945) родился в Тверской губернии в семье купца. После окончания технического строительного училища отправился работать в Сибирь, ставшую второй родиной писателя и давшую основной материал его творчеству.

Литературную деятельность начал в 1908 г., будучи опытным инженером-геодезистом, исследователем сибирских рек и дорог.

С 1915 г. опубликовал сотни рассказов, многие повести, очерки. Самое значительное произведение писателя — роман «Угрюм-река» (1933), рассказывающий о развитии и гибели русского капитализма в Сибири. Перу В. Шишкова принадлежит и историческое полотно «Емельян Пугачев» (1938—1945, не закончен), за которое писателю была присуждена Государственная премия СССР (1946).

Рассказ «Свежий ветер» впервые был опубликован в журнале «Молодая гвардия», 1924, № 4. Печатается по изданию: Шишков В. Я. Собр. соч.: В 10-ти т. М.: Правда, 1974. Т. 2.

Михаил Пришвин

Пришвин Михаил Михайлович (1873—1954) родился в Орловской губернии в семье купца. Окончил Елецкую гимназию, Тюменское реальное училище, затем учился в Лейпцигском университете. По профессии — агроном.

В результате путешествия на Север России появилось первое произведение М. Пришвина «В краю непуганых птиц» (1908). Тема человека и природы стала ведущей в творчестве писателя. Им написаны романы «Осударева дорога» (опубликован в 1957), «Кащеева цепь» (начат в 1923, полностью опубликован в 1960), повесть «Кладовая солнца» (1945), многочисленные очерки, рассказы, миниатюры.

Рассказ «Нерль» входил в созданную в середине 20-х г. книгу «Родники Берендея», впоследствии дополненную и переименованную автором в «Календарь природы». Печатается по изданию: Пришвин М. М. Избр. проза. Воронеж: Центрально-Черноземное изд-во, 1979.

Борис Пильняк

Пильняк (Вогау) Борис Андреевич (1894—1941) родился в Московской губернии в семье земского ветеринарного врача. Детство его прошло в уездных городах Подмосковья и на Волге — в Саратове и Нижнем Новгороде, где он окончил гимназию. Затем — Московский коммерческий институт.

Творчество Б. А. Пильняка крайне неровное в идейном и художественном отношении. Он автор многих повестей и рассказов, путевых очерков. Наибольшую известность получил его роман о революции и гражданской войне — «Голый год» (1921).

Рассказ «Жулики» впервые был опубликован в журнале «Огонек», 1925, № 29. Печатается по изданию: Пильняк Б. Избр. произведения. М.: Худож. лит., 1976.

Юрий Олеша

Олеша Юрий Карлович (1899—1960) родился в Елисаветграде в небогатой дворянской семье. Детство и юность провел в Одессе. Окончил гимназию. Печататься начал в одесских изданиях.

С 1922 г. жил в Москве, в газете «Гудок» выступал с фельетонами на железнодорожные темы, подписывая их псевдонимом «Зубило».

В 1924 г. опубликовал сказку для детей «Три толстяка», сделавшую его имя известным широкому читателю. Писательскую славу еще больше упрочила повесть «Зависть» (1927) и спектакль по пьесе, сделанной на основе романа — «Заговор чувств» (поставлена во МХАТе). Посмертно

(1961) опубликована книга эссеистско-автобиографических записей «Ни дня без строчки».

Рассказ «Пророк» впервые был опубликован в журнале «30 дней», 1929, № 7, под заглавием «Сон». Печатается по изданию: Олеша Ю. Избранное. М.: Худож. лит., 1974.

Борис Лавренев

Лавренев Борис Андреевич (1891—1959) родился в Херсоне в семье педагогов. В детстве сбежал из дома, плавал несколько месяцев юнгой на морских судах. В дальнейшем тема моря, моряков, преимущественно военных, стала ведущей в творчестве писателя. Учился в Московском университете, участвовал в первой мировой войне. В дни Февральской революции Б. Лавренев был адъютантом коменданта Москвы. В конце 1918 г. вступил добровольцем в Красную Армию, работал в газетах.

Впервые в печати Б. Лавренев выступил как поэт в 1911 г. Сам он считал началом своей работы 1916 г. (антивоенный рассказ «Гала-Петер»), читательское признание пришло к нему с публикацией повестей «Ветер», «Сорок первый» (обе — 1924) и др. Кроме повестей и рассказов, особую известность получила драма Б. Лавренева «Разлом» (1927), посвященная событиям Октябрьской революции на Балтийском флоте. Дважды (1946 и 1950) Б. Лавренев был удостоен Государственной премии СССР.

Рассказ «Погубитель» впервые был напечатан в журнале «Прожектор», 1928, № 10. Печатается по изданию: Лавренев Б. Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Худож. лит., 1963. Т. 2.

Алексей Чапыгин

Чапыгин Алексей Павлович (1870—1937) родился в Олонецкой губернии в бедной крестьянской семье. С ранних лет он познал нужду, мальчиком был отправлен в Петербург, работал на предприятиях и в мастерских, был учеником живописца.

В печати А. П. Чапыгин выступал с 1903 г. Его повести и рассказы были в основном посвящены глухой северной деревне, в них широко использовались предания старины. Был близок символистам.

Революция 1917 г., близость к М. Горькому привели к значительной идейно-творческой эволюции писателя. Наряду с критико-реалистическим изображением темных сторон русского крестьянства появляются характеры гордых, сильных людей непоколебимой народной нравственности («Насельница», 1924). Особую известность А. П. Чапыгину принесли исторические произведения, созданию которых он посвятил наиболее зрелые свои годы. Роман «Разин Степан» (1926—1927) — «шелками вытканный», по выражению М. Горького,— стал первым в литературе масштабно-художественным

изображением народного героя в связи с темой развития народного сознания, темой народной революции. Неоконченным остался исторический роман «Гулящие люди» (1930—1937). Перу А. Чапыгина принадлежат также автобиографические повести.

Рассказ «Лободыры» впервые был напечатан в журнале «Петроград», 1923, № 7. В дальнейшем неоднократно переделывался автором, так что сам писатель датировал его 1925 г. Рассказ печатается по изданию: Чапыгин А. Собр. соч.: В 5-ти т. Л: Худож. лит., 1967. Т. 1.

Михаил Булгаков

Булгаков Михаил Афанасьевич (1890—1940) родился в Киеве в семье профессора духовной академии. Окончил медицинский факультет Киевского университета. Служил врачом в глухой смоленской деревне.

Литературную работу М. Булгаков начал в 1920 г. на Кавказе, продолжил ее в Москве, сотрудничая как фельетонист и репортер в «Гудке» и других периодических изданиях. Первое крупное произведение М. А. Булгакова — роман «Белая гвардия» (1925, полностью опубликован в 1965), раскрывающий идейный крах белого движения, привлек внимание читателей и критики, был высоко оценен М. Горьким. Написанная на основе романа пьеса «Дни Турбиных», поставленная МХАТом в 1926 г., имела огромный зрительский успех. Сложность идейных позиций писателя, порой принимаемая и толкуемая неверно, вызывала ожесточенные нападки критики, прежде всего рапповской.

Центральное произведение писателя, над которым он работал до последних своих дней,— роман «Мастер и Маргарита» (опубликован в 1966—1967). В 1965 г. напечатан неоконченный «Театральный роман» («Записки покойника»), биографическая повесть «Жизнь господина де Мольера».

Рассказ «Ханский огонь» впервые был опубликован в «Красном журнале для всех», 1924, № 2. Печатается по изданию: Булгаков М. Избранное. М.: Худож. лит., 1980.

Михаил Зощенко

Зощенко Михаил Михайлович (1895—1958) родился в Полтаве. Учился в Петербургском университете, добровольцем ушел в первую мировую войну на фронт, был командиром батальона, отравлен газами и демобилизован. После революции и в годы гражданской войны будущий писатель служил в Красной Армии, испробовал множество профессий.

Первые публикации относятся к 1921 г. «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова» (1922) имели большой читательский успех. Твор-

чество Зощенко высоко оценил М. Горький. С конца 20-х и в 30-е гг. Зощенко — один из популярнейших советских писателей. Его многочисленные короткие рассказы выходили во многих издательствах, печатались в журналах и газетах. В 1934 г. выходит «Голубая книга» — произведение необычной жанровой структуры, соединяющее в себе традиционный зощенковский короткий рассказ с философскими размышлениями о путях цивилизации, с историческими отступлениями. Перу М. Зощенко принадлежат также пьесы, переводы.

Рассказы «Стакан», «Баня», «Баретки» печатаются по изданию: З о щ е н к о М. Избранное: В 2-х т. Л.: Худож. лит., 1978. Т. I.

СОДЕРЖАНИЕ

А72 **Антология русского советского рассказа (20-е годы)** / Сост., вступ. статья и примеч. С. Боровикова.— М.: Современник, 1985.— 543 с.

В пер.: 3 руб.

Настоящий сборник открывает серию книг, посвященных русскому советскому рассказу, и имеет целью познакомить читателя с историей его развития.

Первая книга — рассказы 20-х годов. Сборник представлен лучшими произведениями М. Горького, А. Толстого, Вяч. Шишкова, А. Платонова, Вс. Иванова, М. Шолохова, Л. Леонова, М. Булгакова и др.

А $\frac{4702010200-032}{М106(03)-85}$ 111—84

ББК84Р7
Р2

АНТОЛОГИЯ РУССКОГО СОВЕТСКОГО РАССКАЗА
(20-е годы)

Составитель Сергей Григорьевич Боровиков

Редактор
Л. ИСАЕВА

Художественный редактор
Е. АНДРЕЕВА

Технические редакторы
В ЮРЧЕНКО, Л. АНАШКИНА

Корректоры
Т СТЕЛЬМАХ, Г. ПАНОВА

ИБ № 3235.

Сдано в набор 04 05 84 Подписано к печати 25.09.84 Формат 84×108/32 Гарнитура литер. Печать высокая Бумага тип № 1. Усл. печ. л 28,56. Усл краск-отт 28,56 Уч.изд л. 31,86 Тираж 250 000 (100 001 250 000) экз. Заказ 91. Цена 3 руб.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 144003, г Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»